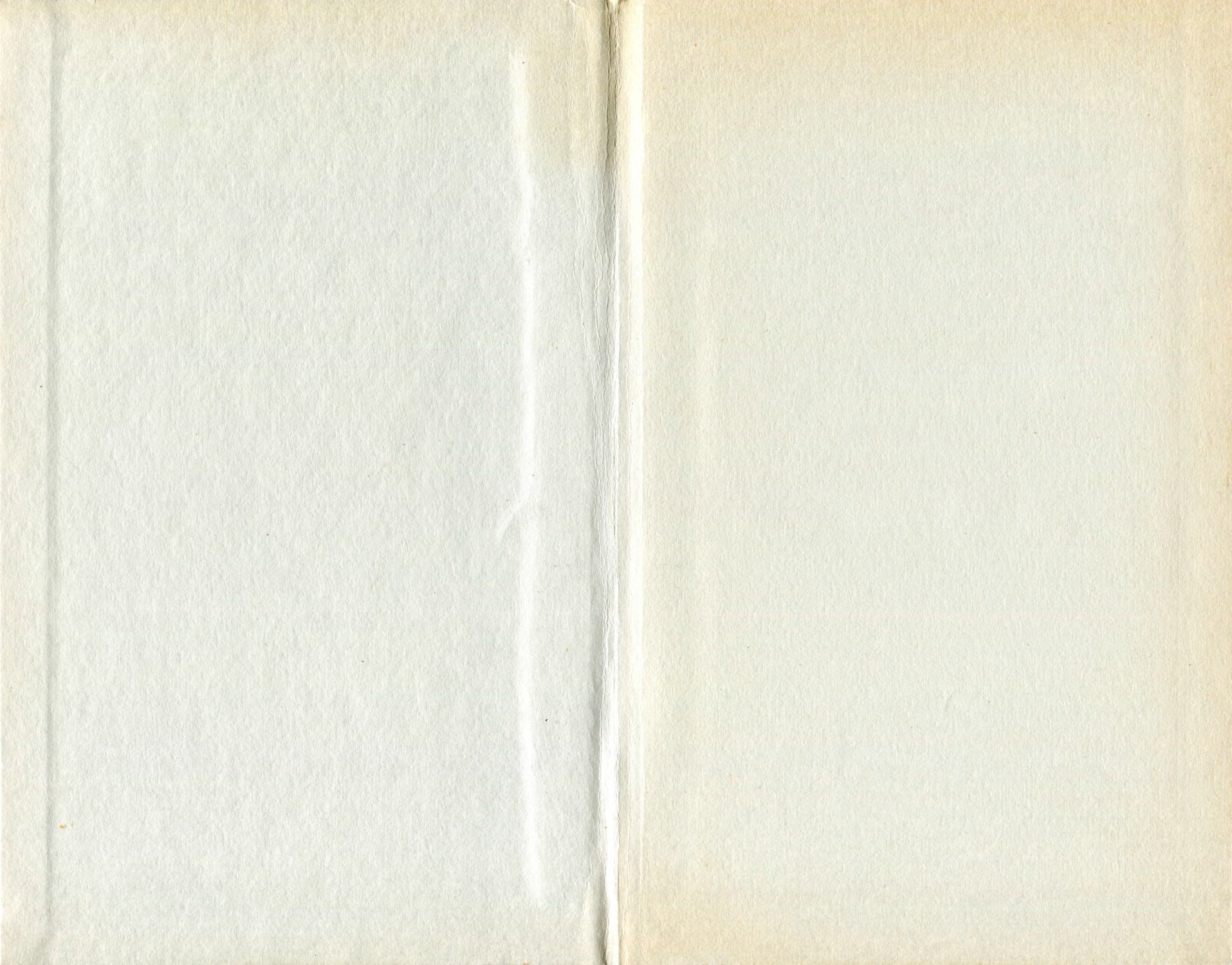


БИБЛИОТЕКА ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ

СТУПЕНИ ЖИЗНИ





СТУПЕНИ ЖИЗНИ

ПОВЕСТИ

Перевод с башкирского

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1989

Составители Р. К. Амиров, И. М. Каримов
Оформление худож. Ю. Боярского

С 88 Ступени жизни: Повести/Сост. Р. К. Амиров,
И. М. Каримов; Послесл. Р. К. Амирова; Пер. с башкир.
А. Борщаговского и др.; Худож. Ю. Боярский.— М.:
Современник, 1989.— 591 с.— (Б-ка литератур народов
Поволжья и Приуралья).

ISBN 5-270-00596-4

Повести, составившие настоящий сборник, откроют широкую панораму жизни Башкирской АССР — первой среди автономных республик в семье братских народов нашей страны, отмечающей 70-летие со дня образования.

Произведения классиков башкирской советской литературы и писателей старшего поколения (М. Гафури, Д. Юлтыя, А. Карная, Г. Хайри, И. Насыри, С. Агиса, Х. Давлетшиной, К. Мэргэна, З. Бишевой), полные драматических событий и веселых происшествий, рассказывают о бурных катаклизмах истории и непреходящих человеческих ценностях — порою философичные, порою строго сдержанные или чувствительные, — в них жизнь и характер народа.

4702110000-282
M106(03)-89 192-89

ББК 84Баш7

ISBN 5-270-00596-4

© Составление, послесловие, оформление.
Издательство «Современник», 1989

МАЖИТ ГАФУРИ

ЧЕРНОЛИКИЕ

(ОДНА ИЗ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ ПРОШЛОГО)



МАЖИТ ГАФУРИ (1880-1934)

Классик родственных башкирской и татарской литератур, свидетель трех революций, народный поэт Башкирии Мажит Гафури (Габдельмажит Нурганеевич Гафуров) отразил в своем творчестве путь демократической мысли от просветительства к революции. Его стихи периода первой русской революции «Пора настала», «Песня радости», «Богач» выражали охватившее народные массы чувство освобождения от социального гнета. Гневным голо-сом народа, возмущенного кровавой бойней империалистической войны, прозвучало стихотворение «Видно, нет тебя, аллах!». А стихотворениями «Красное знамя», «Татарскому джигиту», в которых традиционные восточные мотивы переплелись с агитационной публицистикой, башкирская поэзия начала свою новую эпоху.

В своих прозаических произведениях Мажит Гафури стремился запечатлеть яростную борьбу между новым, нарождающимся и темными силами уходящего мира. Его многогранное творчество выразило думы и чаяния, мечты и надежды родного народа.

С чувством сострадания к судьбам своих героев в повестях дореволюционной поры («Бедняки», «Солдатка Хамида») и послереволюционных лет («Черноликые», «Ступени жизни») он масштабно, с позицией новой эпохи, показал зарождение новых отношений, новых социальных сил, противопоставив их страшному прошлому.



1

Случилось это лет тридцать тому назад. Мы, младшие шакирды¹, раньше других после вечерней молитвы вышли из мечети и вернулись в медресе.

После вечерней молитвы к нам на урок должен был прийти хазрет². Поэтому медресе, где мы жили, было прибрано, низкий стол у окна покрыт клетчатой скатертью, а справа, на полу, горкой сложены несколько подушек.

Вскоре после нас вернулся Гали-хальфа³ и подал нам знак, что идет хазрет. Мы тут же расселись и уткнулись в книги, сделали вид, будто внимательно читаем.

Дверь открылась. Медленно вошел Сафи-хазрет. Мы тотчас же встали и, сложив руки на груди, застыли как каменные изваяния. Хотя никто из нас не знал никакой вины за собой, сердца наши гулко забились.

Войдя, хазрет произнес общее для всех приветствие. Когда он перешагнул через деревянную оградку, переступить которую хоть на вершок мы, шакирды, не смели, и остановился на расстоянии аршина от нее, один из шакирдов-подхалимов с подобострастием принял из его рук палку, другой, став на колени, стащил валенки и поставил их на приличествующее его сану место. Гали-хальфа снял с хазрета лисью шубу и с особой почтительностью унес ее в свою комнату.

После этого хазрет уселся на приготовленные для него подушки и, не сказав никому ни слова, вынул из кармана очки. Поднял их к свету лампы, протер стекла носовым платком и, надев очки, посмотрел на сидящих вокруг шакирдов.

Мы молчали в ожидании, когда заговорит хазрет. Окинув строгим взглядом шакирдов и помещение медресе, он спросил:

¹ Шакирд — учащийся медресе, духовного учебного заведения.

² Хазрет — духовное лицо, священнослужитель.

³ Хальфа — преподаватель в медресе (духовной школе).

— Какой сегодня урок?

Шакирды ждали этого вопроса, поэтому ответило сразу несколько голосов:

— Сегодня, таксир¹, «Гакаид».

Держа в руках «Гакаид» — одну из книг, по которым шло обучение в медресе, — шакирды опустили на колени и сели, поджав под себя ноги, вокруг хазрета. Они разложили перед собой книги и приготовились слушать. Хазрет взял одну из лежавших на столе книг, помедлил немного и внушительным голосом пророкотал:

— Хади, прочти отрывок!

Шакирды, сложив на коленях руки и нагнув головы, устремили глаза в книги. Хади начал медленно читать по большой незнакомой нам книге.

Вскоре хазрет велел ему остановиться. Хади умолк. Хазрет, тоже помолчав и покашляв, принялся объяснять слово за словом все прочитанное Хади. Хазрет все более воодушевлялся. В беседу вступили хальфа и старшие шакирды.

Мы, младшие шакирды, сидели изумленные смелостью хальфа и старших шакирдов, тем, что они, как равные, спорят с хазретом.

Особенно удивлялись мы смелости и красноречию маленького, тщедушного шакирда Салима, по прозвищу Голубок.

В медресе раздавались только голоса хазрета и спорящих шакирдов. Мы слушали их затаив дыхание и даже боялись пошевелинуться.

2

Урок был в самом разгаре, когда дверь медресе распахнулась и с громкими криками ввалились какие-то люди. Так громко и беспорядочно орут только на пожаре. Мы испугались: неужто загорелась крыша медресе?

Не то что мы, младшие шакирды, от такого крика вздрогнул даже хазрет. Диспут мигом прекратился, и все уставились на дверь.

Это были пять-шесть здешних крестьян. Не в силах стоять спокойно на месте: они озирались по сторонам, оглядывались назад, кричали, размахивали руками, все хотели что-то рассказать. По их возбужденному виду, по тому, как они топтались у

¹ Т а к с и р — «мой господин», «дорогой хазрет».

порога, можно было понять, что произошло какое-то страшное, необычное событие.

Если бы здесь не было муллы и старших шакирдов из других медресе, мы, наверное, испугались еще больше.

Хазрет сдвинул очки на лоб и строго спросил у толпившихся людей:

— В чем дело? Что случилось? Раскричались на ночь глядя, будто на пожаре!

Но те, вместо ответа, стали глядеть куда-то назад, словно у них было дело поважнее вопросов хазрета, и закричали:

— Не отпускайте их! Держите крепче!

— Посмотрим, что скажет хазрет!

— Не выпускайте их из рук!

Такое непочтительное отношение к хазрету удивило нас еще больше. «Никак, вора поймали!— подумали мы.— Или что-то и того страшнее!» Глаза шакирдов так и вспыхнули от любопытства и нетерпения.

Раздраженный такой бестолковостью хазрет крикнул сердито:

— Ну, что случилось? Повернитесь сюда и отвечайте!

— Нет, нет! Теперь им не удрать!— послышалось с улицы.

Решительно все — странное поведение крестьян, дубины в их руках, угрожающие, воинственные голоса, доносившиеся снаружи,— все говорило о том, что и впрямь случилось нечто чрезвычайное.

А тут еще в гул толпы на улице, в крики: «Тише! Тише! Потерпите немного!»— впелся тонкий, жалобный плач.

Крестьяне все еще не могли успокоиться и толком ответить на вопрос хазрета,— они по-прежнему вертелись, подталкивая друг друга.

И в третий раз закричал сердито хазрет:

— Ну, что случилось? Скажите толком! Светопреставление началось, что ли?

Наконец один из них выступил вперед.

— Страшное дело, хазрет!— дрожащим голосом заговорил он.— Испорченные люди, предаваясь пороку, валялись под ногами. Мы их поймали и привели к вам, чтобы вы рассудили по шариату.

Сказал так и, все еще вздрагивая от возбуждения, оглянулся на своих товарищей. Он дышал часто, как человек, долго бежавший без отдыха, глаза выпучены, лицо бледно.

Наше недоумение росло,— никто ничего не мог понять. У хазрета лопнуло терпение:

— Какие испорченные люди? Что? Что-нибудь украли в

деревне? Говорите же скорей! — гневно спросил он, приподнявшись с места.

На помощь первому крестьянину пришел другой.

— Сын Шакира Закир... — сказали оба разом.

Но хазрет прервал их:

— Пусть говорит один из вас!

Тогда вышел вперед старик Габдрахман. Он постоял в раздумье, будто примеривался: как бы начать свою речь с самого нужного слова, и только сильнее разжег наше любопытство.

— Такое дело, хазрет, что и язык не поворачивается. Закира, сына Шакира, поймали с дочерью Фахри... Так Гайфула с Салимом и нас, стариков, позвали, пусть, говорят, тоже будут свидетелями. Я только-только с вечернего намаза вернулся и сел пить чай, а тут они... Вот так... Плохи дела, хазрет! Рассуди, хазрет, как шариат велит!

Тут и у него тоже прервалось дыхание. Словно сомневаясь, сможет ли он растолковать дело такой важности, старик оглядел стоявших вокруг людей, словно ища у них поддержки.

Суть страшного события стала ясна. Тайна перестала быть тайной.

Хазрет нетерпеливо выслушал старика Габдрахмана и поднялся с места. Лицо его стало еще гневнее.

Некоторые старшие шакирды покраснели.

А в меня словно ударила молния.

«Дочь Фахри!.. — пронеслось в моей голове. — Так ведь это Галима-апай¹, дочь Фахри-бабая², родного брата моего отца, что живет по соседству с нами. Я же ее больше родной сестры люблю! Как же она стерпит такой стыд! Так это она жалобно, тонко плакала на улице? А как же семья Фахри-бабая? Как она вынесет такой позор?» И все-таки я не мог до конца понять все происшедшее, не мог представить, что Галима пленница этих злодеев с горящими глазами, с дубинами в руках.

Я опустил голову, в глазах потемнело. Казалось, что все шакирды смотрят только на меня.

Сейчас уже никто не думал об уроке, книги, лежавшие перед нами, были забыты. Все, кто был в медресе, смотрели на хазрета, ожидая его слова.

¹ А п а й — тетя; обращение к женщине, старшей по возрасту.

² Б а б а й — дедушка.

Хазрет кашлянул в знак того, что это — дело крайней важности, и, поразмыслив немного, спросил:

— Кто это видел? Свидетели есть? Для подтверждения истинности такого рода деяний по шариату полагается четыре свидетеля.

Мы затаили дыхание. С каждой минутой, с каждым словом муллы значительность события все более возрастала. Как только хазрет умолк, несколько человек закричали разом:

— Есть свидетели! Свидетели готовы!

Хазрет проникся еще большей серьезностью и сказал:

— Где нечестивцы? Приведите их сюда!

Все шакирды разом повернули головы к двери.

Еще сегодня утром я видел Галиму-апай. Какая она была радостная! А теперь, наверное, совсем другая — дрожащая, раздавленная страхом и позором!

Несколько голосов подхватило приказание хазрета:

— Сюда! Приведите их сюда!

Широколицый, грубый Сайфулла открыл дверь и крикнул:

— Тащите их сюда!

Мысль о том, что сейчас в медресе введут виновников шума, поднятого среди ночи, взволновала всех шакирдов; желая поближе увидеть людей, совершивших столь тяжкий грех, они подались вперед, но строгий окрик хазрета вернул их на место.

Дверь открылась. Крестьяне, толпившиеся у порога, посторонились, давая дорогу. Сердце мое забилося еще сильнее.

Вот два парня, крепко держа за руки, ввели Закира-абый¹ и подтолкнули немного вперед. Бешмет на нем разорван, шапка смята, на левой щеке запеклась кровь, а над правым глазом темнел кровоподтек. Я с трудом узнал его. Остановившись перед хазретом, он опустил голову, словно стыд пригнул его. Шакирды разом вздохнули — будто получили в назидание урок.

Следом ввели Галиму-апай. За руки ее не держали, но окружили так, чтобы она не смогла убежать. Она плотно закрыла лицо шалью. От непрестанного плача, от стыда и отчаяния, сжимавшего ее сердце, она издавала странные, отрывистые звуки, напоминавшие икоту.

Но странное дело — то, что девушка осталась одна среди стольких мужчин в унижительном, вызывающем жгучую жалость положении, на всех, кто находился здесь, произвело

¹ А б ы й, а б з ы й — дядя; уважительное обращение к мужчине, старшему по возрасту.

действие обратное тому, что переживал я. Шакирды жадно усталились на нее, им мало было смотреть на ее дрожащее под шалью тело, они хотели видеть ее лицо.

Да, это была Галима. Я узнал ее шаль в желтых цветах, ее будничное платье в мелких красных горошинках по белому полю. На ней был бешмет, сшитый только в этом году. Войдя, она склонилась еще ниже, подобно поникшей ветке вербы. Слабость и страх загнали ее в угол, заставили прижаться к стене. Сейчас она была похожа на маленького, выпавшего из клетки маленького соловья — окружили его хищные кошки, обступили со всех сторон, а он прижался к земле и трепещет всем телом от ударов нежного своего сердца.

Печаль и жалость охватили меня. Как она была красива. В эту минуту мне тоже хотелось заглянуть в ее прекрасные глаза!

И еще хотелось вскочить, разогнать этих хищников, окруживших мою Галиму-апай, освободить ее.

Да, односельчане мои, сторожившие свои жертвы, — Сайфулла с горящими глазами, козлобородый Гарай, подпоясанный зеленым кушаком, с заткнутыми за него рукавицами, а рядом Гайфулла, — стоял и подрагивал ногой с таким видом, словно совершил очень важное дело, Салим в сдвинутой набок шапке, с грязным шарфом, обмотанным вокруг шеи и концами пропущенным под пояс, — показались мне отвратительным хищным зверьем.

Старик Габдрахман прежде мне очень нравился. Нравилось, когда он приходил в наш дом и неторопливо, спокойно вел беседу; мне было приятно видеть его в белой чалме по дороге в мечеть. «Какой добрый человек! — думал я. — Вот кому назначено попасть в рай». Но сегодня и он казался мне злым, противным стариком, хлопотавшим по пустяковому делу и ни за что обижающим хороших людей.

Долговязого Ибрая я и прежде не любил. А сейчас был и вовсе мерзок.

Я представил отца Галимы-апай — дядю Фахри и ее мать — тетю Хамиду. Как они вынесут, как выдержат это?

Дядя Фахри очень горячий человек. За малый пустяк колотит он палкой сыновей, даже жена боится его гнева. Даже за то, что не налила вовремя теплой воды в рукомойник, тете Хамиде приходится выслушивать горькие упреки. А ведь сорок лет прожила с ним! Можно представить себе, что он сделает с Галимой за такой грех! Попадет не ей одной, он будет тяжело бранить и тетю Хамиду.

Окинув гневным взглядом согрешивших, хазрет обратился к толпе:

— Ну, кто видел? Кто будет свидетелем и даст показания? Пусть выйдут вперед.

Вперед вышли Гайфулла и Салим, сложили руки, как на молитве.

— Хазрет,— почтительно сказал Салим,— вначале видели мы, потом Сайфулла и Гарай, затем остальные.

Тогда шагнули Сайфулла и Гарай, тоже сложили руки и встали перед хазретом, ожидая вопросов.

— И вы видели? Где видели?— спросил хазрет.

— Видели, видели, хазрет!— ответили оба разом.— Они сидели... они сидели очень близко друг к другу.

Гайфулла, злорадно ухмыльнувшись, добавил:

— Скажи лучше, что они обнимались.

Хазрет возразил:

— Нет, только того, что они сидели близко друг к другу, недостаточно. По шариату, грех блудников должны видеть четыре человека одновременно. Это дело не простое.

— Хазрет, мы видели, видели!— поспешил уверить его Салим.— В точности, как вы сказали! Только, когда пришли Сайфулла и Гарай, они уже сидели.

Остальные поддержали его:

— Это уже так, хазрет, мы их видели.

— Нет, хазрет, они говорят неправду,— тихим, испуганным голосом проговорил Закир,— мы только сидели и разговаривали. Они так, со зла...

Но голос его потонул в шуме — люди бесились, кричали:

— Молчи ты, черное лицо!.. Ты еще смеешь здесь разговаривать! Бесстыжий!

Они, наверное, тут же избили бы его, если бы хазрет, встав с места, не утихомирил их возгласом:

— Спокойно, не шумите! Ждите решения шариата!

В это время и Галима-апай жалобным, раздирающим душу голосом вскричала:

— О господи! Напраслина все это! Клевета!

Она заплакала, но ее слова и жалобный плач покрыли крики:

— Безгрешные они! Мало им того, что было! Еще другого греха нужно!

— По-твоему, значит, по шариату можно и так сидеть...

— Видно, девушкам нынче все разрешается!..

— Ладно, посмотрим, что на это шариат скажет...

Попытка Галимы и Закира оправдаться только распалила их. Хазрет снова поднялся и, призвав всех к порядку, собрался что-то говорить. Но дверь медресе распахнулась, и чей-то крик заглушил голос хазрета:

— Где эти бесстыжие? Где эти черные лица?

Все вздрогнули и посмотрели на вошедшего — это был дядя Фахри — отец Галимы-апай.

Увидел я его страшные, горевшие бешенством глаза, бледное лицо, услышал сказанные в ярости слова — и как сидел, так и стал погружаться в какую-то пучину.

При виде отца Галима-апай задрожала еще сильнее, всем телом прижалась к печке.

Дядя Фахри с разинутым в ярости ртом оглянулся вокруг, как будто хотел проглотить всех собравшихся. Вперив глаза в Галиму, он смотрел на нее с минуту, затем начал колотить ее палкой по спине, приговаривая:

— Бесстыжая, бесстыжая, опозорила мои седины, перед всем миром осрамила!

Никто и не шевельнулся. Стояли и смотрели. «Что ж, — наверное, думали они, — отец есть отец и проучить дочку его отцовское право. Ни бог, ни шариат слова против не скажут».

Услышав горькие рыдания Галимы-апай, я заплакал.

Хазрет шагнул вперед и крикнул:

— Держите его! Не давайте бить! Решение еще не вынесено.

Только после этого старик Габдрахман вырвал палку из рук дяди Фахри. Гали-хальфа вскочил с места, обхватил дядю Фахри и оттащил его в сторону.

Увидев, как мучают Галиму, Закир не выдержал, кинулся было к ней, но его грубо схватили и едва не избили тут же, в медресе.

Хотя дядю Фахри держали несколько человек, он все время врался к Галиме-апай, грозился избить ее, но вырваться не мог.

Душераздирающий плач Галимы заставил людей стихнуть. Вдруг стало слышно, как в стекла окон медресе ударяются лбы любопытных, желающих заглянуть внутрь, увидеть столь важное в жизни аула событие. Весть эта в короткое время облетела деревню, и люди, забыв про сон, примчались, чтобы увидеть все собственными глазами. Десятки глаз смотрели настороженно, ожидая решения муллы и наказания блудников по шариату...

Дядя Фахри все еще бушевал, свирепо поглядывал то на толпу, то на дочь.

Наконец хазрет заговорил.

— Фахри, будь терпелив,— сказал он торжественно.— Хотя это и неслыханное у нас дело, но не из тех, каких в мире не случается. И преступление, подобное этому, предусмотрено шариатом. Однако любое лихое деяние нужно тщательно проверять. В священных книгах сказано: «Терпение — от бога, а поспешность — от шайтана».— И, обращаясь к людям, которые привели Закира и Галиму, продолжал:— Вы должны говорить только правду. За ложь вы сами подвергнетесь наказанию. Не говорите ли вы ложь из-за вражды? Из мести? Из злого умысла? Шариат строг и справедлив, он требует: когда дело касается тяжкого греха, решение должно выноситься лишь после тщательной проверки,— заключил он, строго глядя на свидетелей.

После таких слов хазрета некоторые свидетели как будто впали в сомнение. Но зачинщики заговорили разом:

— Хазрет, мы говорим то, что видели. Мы же этих блудодеев не из их домов привели сюда. Нет, между клятью и забором были они, они... Это мы видели собственными глазами.

Тогда вышел вперед один хальфа и заговорил высоким от волнения голосом:

— Хазрет, мы ведь живем в России, здесь не разрешены телесные наказания по шариату.

Его поддержали другие хальфа, а затем и Салим-Голубок. Он сказал, что свидетели дают разноречивые показания, стало быть, не доказано, что девушка и парень совершили блуд.

Видя, что дело оборачивается так, я обрадовался. Какой же он славный, какой добрый Голубок Салим! Я был удивлен и восхищен тем, что маленький Салим оказался таким смелым и бесстрашным, и начал уже надеяться, что хазрет оправдает Галиму и признает ее безгрешной.

Но спор еще только разгорался. Началось обсуждение, какое в этом случае положено наказание? Оказывается, если греховодники молоды, им надлежит получить по сто ударов плетью, если они стары, их можно забить камнями.

Так как речь зашла о премудрых тонкостях шариата, присутствующие немного притихли. Даже дядя Фахри чуть успокоился; он больше не трясся и не рвался к Галиме-апай.

Воспользовавшись паузой в ученом диспуте, из толпы вышел парень и сказал:

— Нет, хазрет, они только сидели и разговаривали. Дело

было не так, как говорят эти...— он кивнул на Сайфуллу и его приятелей.

Но слова эти произвели на присутствующих совсем иное впечатление, чем я ожидал. Сайфулла, Гайфулла, Салим, Гарай, будто слова эти шилом кольнули прямо в черные их души, зашумели, заорали, налетая на этого парня:

— По-вашему выходит, что можно сидеть ночью наедине с девушкой, которая уже на выданье? Что это за разговоры?

Парню пришлось укрыться за спинами шакирдов. Вмешались хальфа, едва уняли взбудораженных людей...

Хазрет недовольно поерзал на подушках и сказал сердито:

— Вы только горячитесь и мешаете установить истину. Я знаю, что закон запрещает нам применять телесные наказания,— продолжал он, глядя на честного хальфа.— И что в наших краях нельзя судить по шариату. Но если мы не хотим погрязнуть в распутстве, то даже малый грех нельзя оставлять безнаказанным. И следовать велениям шариата — наша обязанность, об этом ясно говорят священные книги.— Внимательно следя за настроением толпы, хазрет повел издали:— Шариат требует: если кто-либо из вас заметил непотребное дело, он должен исправить его своими руками. Если он не в силах исправить, то должен рассказать об этом. Если же и тогда он не в состоянии исправить, то должен воспротивиться непотребству душой и открыто высказать это.

Выслушав хазрета, люди закричали:

— Так, хазрет, так!

В медресе снова поднялся шум. Опять поник головой Закир-абзый, еще тесней прижалась к печке Галима-апай. Похоже было, что дело решится не скоро. Хальфа затеяли диспут, большинство из них держали сторону Галимы и Закира. Несколько раз брал слово Голубок Салим, он открыто защищал их.

Но все остальные считали, что такой грех нельзя оставить безнаказанным, твердо держались своего.

Видя, что добиться единодушия не удастся, хазрет подумал немного и сказал:

— Ямагат!¹ По всему видать, дело это сегодня не разрешится. Завтра допросим каждого свидетеля и постараемся исполнить веление шариата. Сегодня же отведите их в разные места и поставьте сторожей... но чтобы никто из вас не судил руками!— предостерег он.

¹ Ямагат — обращение к обществу.

Совет хазрета был принят. Парни решили отвести Закира-абзый в дом сторожа, а Галиму-апай — к старику Габдрахману. Хотя и раздавались голоса, предлагающие запереть обоих в черную баню и поставить у бани караул.

Дядя Фахри, пока ждал решения, молчал, сейчас же в ярости вскочил с места и закричал:

— Ты! Ты!.. Чтобы ноги твоей в моем доме не было! Человеку, совершившему невиданный в нашем роду грех и осрамившему меня на старости лет, нет места в моем доме!

Пошатываясь, дрожа от иступления, он вышел из медресе.

Следом увели Галиму и Закира. Немного погодя ушел и хазрет.

За весь вечер никто в медресе не брал книг в руки. Все говорили только о происшедшем.

И за вечерним чаем разговор шел все о том же. Большинство шакирдов защищали Галиму, они считали, что все это из-за мести подстроили деревенские парни. Раздавались и другие голоса.

— Ну и красива же она!— говорил кто-то.— Я ее видел раньше. Жалко бедняжку... Опозорилась, встречаясь с таким мужиком...

Чем больше я слушал, тем горше становилось на душе. Шакирды заметили, что я тяжело переживаю ее несчастье, даже плачу втихомолку, и принялись меня дразнить.

Если кто-нибудь из них, подойдя ко мне, говорил: «Вот что сделала твоя сестра Галима», то другой непременно добавлял: «Какой стыд, просто посмешище!» Хотя и знали, что Галима-апай не родная мне сестра. Я крепился изо всех сил, но вскоре заплакал. Они только того и ждали и, тесно обступив меня, принялись меня дразнить пуще прежнего. Тут мне стало совсем плохо, и я тихо зарыдал. Но они только посмеивались.

— Чего он плачет?— спрашивал кто-нибудь.

— Из-за сестры. Она ведь его сестра...

— Если твою сестру поймают с парнем, и ты заплачешь.

— И впрямь позор!

Они потешались, а я все плакал, спрятав лицо в ладони.

Уже в постелях они продолжали говорить все о том же. Я улежся, но долго не мог успокоиться. Я думал о Галиме-апай и страдал за нее.

Затем сон смешался с явью. Мне все время снилась Галима-апай. Вот она пришла к нам по делу... Веселая, смеющаяся... Вдруг она упала... Ее, плачущую, уводят какие-то

страшные люди. Платье на ней изорвано... Галиму бьют, она пытается бежать. Наконец она убежала от своих мучителей, но упала в глубокую яму... Смотри-ка, да ведь это дядя Фахри гоняется за ней! Нет, оказывается, это не дядя Фахри, а кто-то другой... Она плачет, молит о помощи, но некому помочь ей. Я хотел было броситься к ней, но ноги мои одеревенели, и, споткнувшись, я упал. А Галима-апай исчезла в какой-то темной пропасти...

От такого страшного сна я проснулся. Лежу в поту, сам дрожу, сердце так и колотится. Закрыв глаза, а заснуть снова не могу. Так и промаялся до утра. Услышав голос казы¹, будившего шакирдов на молитву, я торопливо оделся, бросил подушку на полати и ушел домой.

3

Светало, и жители деревни уже встали. Женщины и девушки шли к колодцам, мужчины вели лошадей на водопой. Они собирались по двое-трое и обсуждали вчерашнее происшествие.

— На весь аул беду накликают! Вот увидите!

— С какими лицами они будут теперь ходить?!

— Ах бесстыдники!.. Черные лица!..

— Закиру тут же надо было помять кости. Мало всыпали! — шумели они.

Было видно, что дело принимало серьезный оборот: за ночь новость обошла всех и взбудоражила деревню.

Обычно у нас дома было легко и радостно. Мать встречала меня на пороге и, радуясь моему приходу, расспрашивала о медресе. Не то было сегодня. Грустная, поникшая, готовила мать чай. Отец сидел, глубоко задумавшись.

Пока я раздевался, они ничего не сказали мне. Только когда я сел к столу, мать спросила:

— Что так рано вернулся?

По натуре своей мой отец был полной противоположностью своему брату Фахри. Отец — человек мягкий и покладистый. Ни в какие скандалы не лез, всегда оставался спокойным, уравновешенным и, что бы ни случилось, не бранился никогда.

Рядом с тихим отцом мать казалась женщиной особенно расторопной, подвижной и говорливой. Но и у нее был

¹ К а з ы — лицо, следившее за внутренним распорядком в медресе.

добрый характер. Поэтому сегодня они хоть и были расстроены, но запальчивости не выказывали. Об их печали можно было судить только по невеселым лицам и ягостному молчанию.

После долгого молчания мать спросила:

— Что было вчера в медресе? Ты видел свою Галиму-апай?

Я не знал, что ответить, и сказал только, что видел, но лицо ее было закрыто, и она все время плакала, уверяя хазрета, что все это злая напраслина.

— Что случилось с Галимой?— удивилась мать.— Ведь ничего такого за ней не замечалось. Весь род опозорила.

— Что случилось?— сказал отец.— Да увидели парни-завистники, как они разговаривают друг с другом, вот и заварили кашу.

— «Грех!— кричат.— Грех!» А ничего не было!— согласилась мать.— Вся деревня говорит про Закира и Галиму. Как же быть Галиме, как жить дальше? Кайнага¹ говорит, чтобы Галима домой и не показывалась, если, говорит, увижу, то голову ей размозжу... Куда она теперь денется?

— Куда?!— воскликнул отец.— Мы возьмем ее к себе. Я знаю Галиму, она не такая... она не способна на блуд. Хоть весь аул, хоть весь мир говори, а я не поверю!

Услышав это, я очень обрадовался:

— Верно, отец, так и сделаем!

Больше я ничего не сказал.

Отец и мать снова замолчали, и унылое это молчание тянулось, пока к нам не пришла тетя Хамида. За одну ночь она сильно изменилась, лицо стало мертвенно бледным, веки опухли.

Вошла она, и в доме стало еще сумрачней. Все молчали, не зная, с чего начать.

После долгой тишины заговорила мать:

— Проходи вперед, садись пить чай!

— Разве мне до чая теперь?— тетя Хамида тяжело вздохнула.— Со вчерашнего вечера глаз не сомкнула... О боже, значит, нам суждено испытать и такое!.. Как стерпеть такой позор?.. Как показаться людям на глаза?

Она заплакала, от горестных слов и надрывного плача мы совсем пригорюнились.

— Потерпи, апсынкаем²,— помолчав, сказала мать, — все

¹ К а й н а г а — деверь, брат мужа.

² А п с ы н — так называют друг друга снохи. А п с ы н к а е м — ласкательное от апсын.

это тоже и напраслина. Галима не такая девушка. Случается ведь, что на девушку возводят напраслину.

В разговор вступил отец:

— Енте, имей терпение. Галима — лучшая в деревне девушка, вот ей и не могут простить этого, только ищут повода, чтобы придрататься. Не верю я этому!

Отец и мать не надеялись на то, что их слова успокоят тетю Хамиду. Но, считая, что горе ее велико, говорили мягко, утешающе.

— В том, что ты горюешь,— продолжала мать,— проку мало. Где вы были, когда она из дому уходила? За девушкой нужно присматривать.

Вытирая глаза кончиком головного платка, тетя Хамида глубоко вздохнула.

— Как уследишь? Она уже в возраст вошла и стала благоразумной. Галима ведь не теленок, на привязи не удержишь. Мы думали, она сидит у вас. Когда поднялся шум, мы выбежали, решили, что начался пожар... А их уже окружили. Я кричу: «Что случилось?» И сын Хакима бросил нам в лицо: «Вашу Галиму поймали с Закиром... За единственной дочерью не смотрите, а она распутничает!»

И тетя Хамида заплакала снова.

Мать и отец принялись всячески утешать ее. Но их уговоры совсем не действовали на тетю Хамиду. Она все вздыхала и охала.

— Кто сам такого не пережил, никогда не поймет!— сбивчиво заговорила она потом.— Как тяжело!.. Попробуй, стерпи, если твою дочь поймали с парнем! Не то что в нашем ауле, во всей округе такого не слыхали! Отец наш — человек крутой, горячий. С горя даже к чаю не притронулся сегодня. Он говорит: «От срама не могу выйти на улицу, показаться людям на глаза. Пусть эта дрянь и домой не возвращается!.. Убью!..»

Припомнив угрозы мужа, тетя Хамида заплакала пуще прежнего. На глазах матери тоже показались слезы. Отец молча вздыхал. Наш дом наполнился печалью, словно отсюда только что вынесли покойника.

4

Я вышел за ворота нашего дома.

Вся деревня гудела. Народ собирался толпами. У каждого на устах были только Закир и Галима. Обычно деревню

поднимали на ноги такие события, как сгоревшая баня, чья-нибудь внезапная смерть или вдруг узнавали, что кто-то забил украденную козу. Но вчерашняя новость по значительности и чудовищности превзошла все доселе известное. Кто мог выйти из дому: старики и молодежь, мужчины и женщины, ребятишки — все толпой валили к дому муллы. Только мои родители да тетя Хамида с дядей Фахри сидели дома, стыдясь и опасаясь выйти на люди.

Постояв некоторое время за воротами, я вышел на улицу. Люди, проходившие мимо, презрительно поглядывали на дом дяди Фахри, как бы говоря: «Этот дом проклят».

Парни помоложе роняли, проходя мимо меня:

— Красивые девушки часто бывают такими!

— Слишком гордо себя держала!

— Да-а, от мужчин прятаться она не умела!

— Вот он, дом развратницы Галимы!

Набожные старушки бормотали:

— О господи, наставь их на путь благочестия!

— Если бы твое дитя принесло в дом такой позор, что стала бы ты делать?

— Они еще блудом своим на весь аул беду накличат!

— И как только бога не боятся?!

— Бога не боятся, так людей бы постыдились!

И ни одного слова сочувствия Галиме, ни одного голоса в ее защиту! Страх охватил меня: как бы их не забили до смерти!.. В прошлом году в соседней деревне убили одного конокрада. Как бы и их не погубили!

Не прошло и получаса, как люди, словно черное воронье, окружили дом хазрета. Стоял тихий гул, словно ждали выноса покойника. Всем не терпелось собственными ушами услышать приговор шариата, собственными глазами увидеть расправу над блудодеями.

Вскоре в дом хазрета вошли все хальфа. Народ дал им дорогу. Многочисленный конвой вывел Закира из дома сторожа. При виде его толпа подалась навстречу и вмиг окружила его. Смотрели так, будто впервые увидели некое чудовище, именуемое Закиром.

— Вот так парень — взял девушку без свадьбы! — закричали из толпы.

— Свадьбу справлять, деньги уйдут... А так — легко!

— Шагай быстрее! Вчера небось пошустрее был!

Я слушал злобные выкрики и не верил, что это мои односельчане. Это были чужие люди, враги Галимы и Закира, наши враги.

Чем ближе подходил Закир к дому хазрета, тем больше росла толпа, тем громче становились издевательские выкрики.

— А вон и ту ведут!— проверещал чей-то пронзительный голос.

Толпа плеснулась на соседнюю улицу.

Галиму-апай я увидел только издали — она шла закрыв лицо платком и опустив голову. Мне показалось, что она стала еще меньше, чем вчера...

Толпа мгновенно окружила Галиму. Послышались возгласы:

— Вот и она!..

— Ишь ты, притворяется, будто совестно ей. Бесстыдница!

— Блудница, на весь аул беду накликала!

— Девушка, а такое творит!

— Красивые девки все греховодницы!..

Не в силах видеть это тяжкое зрелище, я повернул домой. Меня обогнали двое. Один из них сказал:

— Вероятно, старик Фахри дома.

Я понял, что они посланы за Фахри, и поспешил следом за ними.

Они вошли прямо в дом и, даже не поздоровавшись, с порога сказали:

— Иди, Фахри-абый, хазрет зовет, тебя там ждут!

Дядя Фахри побелел, губы его затряслись.

— Зачем я нужен там?— с трудом произнес он.— Мне до них нет дела. С сегодняшнего дня она не дочь мне. Пусть делают с ней что хотят.

Испугавшись посланцев хазрета и жестоких слов Фахри, тетя Хамида снова начала плакать.

Но посланцы сурово взглянули на Фахри и с видом людей, полных решимости довести важное дело до конца, заявили:

— Нас это не касается. Может, и ты против слов хазрета, против велений шариата пойдешь?

При слове «шариат» дядя Фахри вздрогнул, взгляд застыл, словно он увидел перед собой что-то страшное. Безвольно качнулся из стороны в сторону, глянул на посланцев, на плачущую тетю Хамиду, словно просил их о помощи.

— Поскорей, Фахри-абый!— сказал один.— Не заставляй ждать хазрета и народ. Наверное, хотят тебя о чем-то спросить. Против шариата не попрешь, сам знаешь.

— Гонцов не казнят, Фахри-абый,— сказал другой.— Хазрет сказал, мы и пришли. Мы тебя не приведем, так

другие за тобой придут. Уж очень народ взбудоражен.

Дядя Фахри опять с мольбой посмотрел на тетю Хамиду, никогда я не видел у него такого жалобного взгляда.

Тетя Хамида проговорила испуганно:

— Сходи уж... Наверно, богом так назначено... Нельзя избежать того, что предопределено судьбой.

Дядя Фахри медленно поднялся с места, всем своим жалким видом он походил на овцу, которую ведут на убой.

— Как я пойду? С каким лицом выйду к народу? Отцы-деды сраму такого не знали, я на старости лет изведаль!

Низко опустив голову, брел дядя Фахри по улице. Я шел за ними, пока они все трое не скрылись в толпе.

Я решил было постоять в сторонке, подождать, что будет с Галимой. Но мне не пришлось долго стоять. Некоторые женщины и парни показывали на меня пальцами и разглядывали меня так, будто и я причастен к этому позору. Это бы еще полбеда. Но жена хромого Насыра, тыча в меня пальцем, закричала:

— Вот он, каенеш¹ Закира! Видать, зятя и сестру встретить пришел!

— Ждет, когда зять даст ему перочинный ножик,— сказала другая.— Ведь назавтра после прихода в дом жених дарит перочинный нож!

— Зятя, которые дарят перочинные ножи, за клетью не прячутся, а внутри клетки, за занавеской...— хихикнула третья.

Ко мне подбежал щербатый мальчишка.

— Ты что, получил перочинный ножик с красным черенком?— спросил он.

От такого стыда я не выдержал и убежал домой. Спустя некоторое время на улице поднялся шум. Слов было не разобрать, голоса сливались, образуя сплошной гул, какой обычно бывает на людных базарах. Гул ширился и вскоре охватил всю улицу.

Я выглянул за ворота и увидел толпу. Она шла в нашу сторону. Впереди всех вели Галиму и Закира. Платок ей повязали так, чтобы он не закрывал лица. Оно было вымазано сажей, левая ее рука привязана к правой Закира, а его лицо так густо покрыто сажей, только глаза блестели.

Я обомлел от страха. Галима-апай ступала безвольно, слепо, как лунатик. Поток людей нес их, будто щепу. Когда подошли к дому дяди Фахри, толпа остановилась, закричала:

¹ Каенеш — родственник мужа или жены

- Глядите на их черные лица!
- Пусть это послужит всем уроком!
- Губители народа!
- Попирающие шариат!
- Развратники!

Стучали камнями по доскам, в Галиму и Закира летели старые лапти. Девушка согнулась, теряя сознание, но ее подхватили под руки и подтолкнули вперед. Она уже не плакала, стояла молча, не издавая ни звука. Изредка на ее черном лице испуганно сверкали белки, но глаза тотчас же закрывались,—страшно ей было смотреть на этих озверевших людей.

Из дому выбежал дядя Фахри — он недолго пробыл у хазрета,— бросился к Галиме-апай. Ударил ее по щеке и плюнул в лицо.

— Чтоб ноги не было в моем доме!— закричал он исступленно.— Чтобы ты не переступала моего порога! Уходи куда хочешь! Сгинь! Исчезни!

Повернулся и скрылся в воротах своего дома.

Галиму-апай и Закира-абзый повели по улице дальше. С новой силой возобновились выкрики и издевательства.

Все время мои родители оставались дома. Я не знал даже, видят ли они в окно это тяжелое зрелище или нет. Но когда толпа миновала наш дом, мать выбежала за ворота и, застегивая на ходу шубу, догнала толпу.

— Водят людей, как медведей на привязи! Опозорили невинных!— повторяла она.

Отец вышел следом за ворота, пытался остановить ее.

— Напрасно идешь,— бормотал он.— Видишь, они как бешеные собаки, как бы и тебя не растерзали.

У отца трясся подбородок и голос дрожал: казалось, вот-вот заплачет. А толпа смеялась над моей матерью.

— Может быть, ты и есть главная сватья?— кричали ей.— Вон как защищает их!

Толпа повернула на соседнюю улицу. Я боялся за мать, как бы разъяренная толпа и впрямь не избила ее. Не зная, что придумать, я последовал за отцом в дом. Опустив голову, отец повторял:

— Ах, пропала, бедняжка! На всю жизнь сделала себя несчастной... Есть ли что-либо тяжелее этого?

«Вот, значит, какова она, жизнь! — думал я, пораженный.— Девушка с парнем не могут остаться наедине хотя бы одну минуту, не могут поговорить сердечно! Зачем так? Отчего этот случай перевернул вверх дном всю деревню? Ведь

даже, когда поймают вора с поличным, так с ума не сходят. Ворам лицо сажей не мажут, по улицам не водят. Над ними так не глумятся, и вся деревня не бежит следом за ними!»

В ушах звучали гнусные голоса обвинителей Галимы-апай, перед глазами стояли их омерзительные лица. Казалось, что в самой душе, оскверняя ее, отпечатался их страшный облик. И еще я не мог забыть и самой Галимы-апай в окружении бушующей толпы, ее лица, вымазанного сажей, ее скорбных глаз.

«Нет, лица ее истязателей, хоть их и не коснулась сажа, были чернее лица Галимы-апай. Но она исчезла и больше к нам не придет! А если она и вернется в наш дом,— думал я,— то ее светлая, беззаботная душа окажется навек погасшей».

5

Я то шел в дом, то выходил на улицу. Где мать, где Галима-апай? Почему не идут? Не знаю, сколько прошло времени, но минуты ожидания казались бесконечными. Отец долго сидел молча, затем ушел в хлев.

Наконец после долгого ожидания на улице послышались голоса. Теперь их было меньше, чем прежде, и они не были так сильны. Я стремглав кинулся к воротам.

Мать вела за руку Галиму и, оглядываясь назад, что-то говорила небольшой кучке людей, шедших за ними. Галима еле двигалась, опустив голову, плотно, со всех сторон, укутанную платком. Казалось, она вот-вот упадет, и если еще не рухнула, так лишь потому, что мать крепко поддерживает ее под руки.

Толпа разошлась, значит, гнев людей утих, и они разбрелись по домам, а Галима-апай осталась невредимой. Я немного успокоился. Но увидел обессиленную Галиму-апай, безучастную ко всему — хоть возьми и на этом самом месте заруби топором, и снова от тоски сжалось сердце.

Несмотря на бледность и сильное волнение, мать держалась хорошо. Она чувствовала себя человеком, вырвавшим ягненка из пасти волка.

— За их несправедливость, за то, что опозорили Галиму, пусть почернеют их лица, пусть будут они навек опозорены,— повторяла она.

Когда подошли к нашим воротам, Галима-апай вдруг стала вырываться, хотела убежать в хлев.

— Идем, родная, идем,— говорила она нежно.— Иди к нам. Сейчас выпьем чаю, все пройдет. Они же получают свое за подлую клевету...

Галима-апай все же не открывала закутанного в шаль лица, тряслась, как в лихорадке, и все порывалась уйти.

Мать сказала еще мягче:

— Не мучайся напрасно, деточка... Все пройдет, нужно перетерпеть. Ты сейчас успокойся, зайдем в дом...

— Нет, я умру! Я уйду... Я утоплюсь!— повторяла она. И снова стала рваться из рук матери.

При этих словах мама побелела как полотно и, собравшись с силами, потащила ее к дому.

— Умрет она! Не говори пустое... Идем, идем, деточка!.. Я подошел и тоже ласково сказал:

— Идем, Галима-апай, идем к нам!

Я крепко схватил ее за левую руку. Приподняв немного платок, она посмотрела на мать и на меня. И отчаяние, и надежда были в этом взгляде. Она словно спрашивала: «Можно мне еще жить на свете? Неужели есть еще люди, которые считают меня человеком?» Но тут же, словно испугавшись чего-то, рванулась назад.

— Оставь, Галима, уйти и не думай,— сказала мать, придерживая ее.— Зайдем к нам. Вот и твой дядя идет. Идем же скорей.

— Нет, я не пойду,— упорно сопротивляясь, проговорила Галима.— Он будет ругать меня, я боюсь... Я не зайду... Мне стыдно... Нет, я уйду!..

Подошел отец. Видимо, он давно наблюдал за Галимой и слышал все.

— Идем, Галима, идем, дочка!— сказал отец и погладил ее по плечу.— Куда ты пойдешь? Мы знаем, все это напраслина, ты не виновата, греха на тебе нет... Пойдем!

Он отнял у меня ее руку и повел к дверям.

Медленно ступая, Галима-апай вошла в дом. Шла неохотно, как невеста, насильно выданная замуж, в слезах входит в дом к ненавистному жениху и злой свекрови, как несчастный колодник на веки вечные входит в острог.

Мать бережно усадила ее на хике¹.

Господи, что же творилось у нее в душе, если даже в наш дом она вошла, содрогаясь от стыда и страха.

А еще накануне Галима-апай была такой радостной... Вчера пополудни, когда я пришел домой, чтобы взять в медресе

¹ Х и к е — нары, низкие полати.

что-нибудь съестное, она заглянула к нам. Мы как раз собирались пить чай. Галима-апай болтала без умолку, рассказывала всякие забавные вещи и рассмешила нас. Видя, как хлопочет мама, она сама взялась разливать чай. Да разве только вчера! Каждый раз, когда она к нам приходила, весь дом оживал, даже молчаливый отец вступал в общий разговор.

А какой веселой, какой радостной была Галима-апай летом прошлого года, в пору сенокоса и жатвы. Дядя Фахри и его жена любили ее так, как только можно любить свою родную плоть, но и мои родители считали Галиму за дочь, души в ней не чаяли. Я же любил ее больше родной сестры. И она отвечала нам такой же нежной привязанностью и держала себя у нас так же свободно, как в собственном доме. Она приходила к нам работать, помогала убирать сено и жать рожь. Обычно, собираясь на сенокос, она клала в телегу свои легкие грабли, помогала грузить необходимые в поле вещи; сама проверяла, как уложены хлеб и крынки с айраном¹, вместе с моей матерью сноровисто готовила все нужное для чаепития. Чудесной утренней порой мы выезжали на широкие луга, и сидящая в нашей телеге Галима-апай умножала красоту утра, и мы не замечали, как быстро приезжали на покос...

До сих пор вижу перед собой ее радостную, озорную, такую, какой она была в прошлом году, в пору, когда копнили сено.

Приехав на луг, она первой засучила рукава и, взяв в руки грабли, начала убирать сено с того места, какое выбрала сама. Остальные пристроились уже к ней в ряд.

Галима сметала копну высотой в свой рост и только тогда остановилась, когда мой отец окликнул ее:

— Галима, доченька, не уходи далеко, другим будет тяжело. Копны должны быть одинаковые, не то трудно придется, когда будем метать стог.

Но она, задорно поглядывая на мужчин, нашла что ответить и на это.

— Если у вас не хватит сил,— засмеялась Галима,— я сама смечу. Не складывать же копны величиной с подушку!

Пока другие проходили два ряда, Галима успевала пройти три. Она смеялась часто, с удовольствием, и смех ее, казалось, шел из самой глубины души. Своей веселостью она заражала и всех нас.

¹ А й р а н — разбавленное водой квашеное молоко.

Когда мужчины улеглись в тени на отдых, пили ледяной айран, Галима с двумя подругами ушла к озеру, в густые заросли тальника. Когда я повел туда лошадей на водопой, она пела нежную, задушевную песню. Я слушал ее и поражался тому, что такой веселый человек, как Галима-апай, может петь столь грустную песню.

К полудню сено было собрано, и мы расселись пить чай. Но Галима-апай и тут не присела, не дала роздыха себе, сама приготовила все и напоила нас чаем.

Когда метали стог, я оставался при лошадях. Все успевала Галима-апай — и копну подать, и песенку спеть, и перекинуться со мной шуткой. Наконец почти все сено было сложено, Галима взяла у отца длинные вилы и подцепила ими добрый ворох сена.

Все уверяли ее, что закинуть это сено на стог ей не под силу.

— Нет, ты не справишься,— говорили ей,— уж лучше не берись, только руку вывихнешь!

Но Галима умело подняла огромный ворох сена и швырнула его на стог. И еще, и еще... Но мой отец отобрал у ней вилы.

— Хватит, Галима, еще покалечишься!— сказал он.— Спасибо тебе за труд и за силу!

Пока собирались в дорогу, Галима-апай решила сходить с девушками по ягоды. Проводив их взглядом, дядя Гимай сказал:

— Эта Галима даже самым хватким джигитам не уступит. Жаль, что девушкой уродилась...

Отец ответил ему:

— Слов нет, Галима девушка проворная и работающая. Одна половину всей работы по хозяйству ломит. Вот за такую хватистость в работе завистники и называют ее «полумужиком». Вот как они понимают ее трудолюбие и силу. Бесстыдные люди, что с них спросишь!

— Такой и надо быть,— кивнул дядя Гимай.— А то ведь на других женщин посмотреть — мямля мямлей. За что же ее-то винить? За то, что не такая, как они?

Так прошел тот памятный день. Сено было убрано, стог сметан. Запрокинув голову, отец залюбовался стогом.

— Очень хороший получился стог,— сказал он.— Под дождем сено не было, чуешь, как благоухает? Пусть стоит благополучно!

Мы запрягли лошадей, тут и Галима с подругами вышла из лесу. Глядя издали на стог, она засмеялась и крикнула нам:

— Эх вы, даже стог как следует не могли считать. Ско-
сился, как чалма у Шайхи-суфи, вот-вот завалится!

Отец, и в самом деле усомнившись, спросил:

— Галима, ты правду говоришь?

— Нет, она шутит,— успокоили его остальные.— Если бы
Галима сама метала стог, он бы у нее согнулся, как старик
Садри!

Так со смехом и шутками доехали до самого аула.
Когда мы приехали домой, солнце уже садилось, но мы и не
заметили, как прошел в работе долгий день. Галима и теперь не
думала об отдыхе, подоила коров и пришла к нам ужинать.

Галима ходила с нами и на жатву. Так сноровисто, так
задорно работала она, что, глядя на нее, и все не чувство-
вали тяжести работы.

Всегда была весела Галима-апай, и летом, и осенью, и
даже еще вчера была весела...

А теперь — черною мглой застило ее веселость и саму ее
будто накрыло этой мглой...

Раньше, бывало, зайдя к нам, она садилась к чаю, не
ожидая приглашения, и начинала хозяйничать вместо матери:
и суп подаст, и чаю нальет. В нашем доме она чувство-
вала себя даже свободнее, чем в родительском.

А сегодня же она и к нам вошла, словно в острог. Си-
дела молча, словно среди чужих людей, не поднимая головы.

Посидела так несколько минут, уронила вдруг голову на
грудь, закрыла лицо сложенными как для молитвы ладонями
и расплакалась снова.

Отец и мать растерянно переглянулись.

Мать подошла к ней, ласково обняла ее:

— Не плачь, Галима. Ты ведь сейчас в нашем доме.
На помощь матери поспешил отец.

— Не убивайся так, дочка, ты ведь нам как родное дитя...—
проговорил он растроганно.— Будь как дома. Я схожу пос-
мотрю за скотиной, а вы пока садитесь пить чай. Я скоро
приду.

И он поспешно, словно боялся расчувствоваться, вышел.
Тяжело было ему видеть ее горе. А еще хотел, чтобы
Галима-апай почувствовала себя свободней и, не стесняясь
его, умылась и привела себя в порядок.

Как только отец вышел, мать налила в кумган¹ теплой
воды, поставила около печки таз и мыло.

¹ К у м г а н — металлический кувшин с крышкой, предназначенный для
омовения.

— Умойся, Галима. Я поставлю самовар. Ты не горюй. От твоих слез и нам тяжело.

И стала снимать с ее головы шаль. Галима-апай начала было упираться, но потом отдалась воле матери.

Чтобы не смущать ее, я тоже вышел следом за отцом.

— Как она там?— спросил отец.

— Умывается,— ответил я.

Больше мы ни о чем не говорили.

6

Когда я вернулся в дом, Галима-апай сидела уже умытая, с платком на голове. И, как чужой человек, упорно отводила глаза в сторону. Мать накрывала стол для чая.

— Это пусть у них почернеют лица!— говорила она с гневом.— За то, что они так несправедливо обидели тебя, пусть они сами будут опозорены!

При виде меня Галима-апай вздрогнула, будто в дом зашел незнакомый человек. Отвела на миг край платка, глянула на меня и закрылась снова. Я даже не успел разглядеть ее лица.

«Даже меня стыдится! Будто я в чем-то виню ее!» —с горечью подумал я.

Чай был готов. Прежде Галима сама села бы к чаю и пригласила бы нас всех... Но сейчас и головы не повернула. Смотрела перед собой, словно не знала, что делать со своим безмерным горем. А ведь, наверное, со вчерашнего дня глотка воды не испила. Даже руки к пище не протянула — будто и чай, и еда были отравой.

Наконец после долгих уговоров она подсела к расстеленной на хике скатерти. И то лишь бочком, опустив глаза, словно молодая сноха, впервые попавшая в дом жениха и до смерти боящаяся злой свекрови. А что там, на скатерти, какая еда — не глянула даже.

А мама все пыталась успокоить Галиму-апай. Но та на все увещевания матери ни слова — лишь кончик шали наматывает на палец и разматывает, наматывает и разматывает. Опять принялась упрашивать мама. Наконец она выпила чашку чаю и перевернула ее вверх дном, дала понять, что больше пить не будет. От ломтя хлеба отщипнула лишь маленький кусочек, будто только хотела попробовать его на вкус. Все слова утешения, сказанные матерью, не прояснили ее лица, полного печали, не успокоили душу, потрясенную сознанием страшного позора. Она прятала свое лицо не только от

целого мира, но и от нас. Мне очень хотелось увидеть ее глаза, но она вернулась на прежнее место у печки и вся ушла в тягостные думы.

«Эх, снять бы с ее души горе,— страдал я вместе с ней, — вернуть бы ей вчерашнюю радость!»

Мать вышла в сени. В избе остались только я и Галима. Она сняла платок, сложила его вдвое и снова повязалась. Глянула на меня. И в этот короткий миг я увидел ее лицо и глаза. Глаза у нее запали, веки покраснели и распухли, длинные ресницы поникли, подобно стебелькам, прибитым тяжелой росой. И все же она показалась мне еще красивее, еще прекраснее, чем раньше.

Я ждал, что Галима-апай заговорит со мной. С этой надеждой я даже приблизился к ней, делая вид, что ищу какую-то вещь. Но она ничего не сказала. Еще раз посмотрела на меня глубоким взглядом и закрылась платком.

7

Сегодня я не пошел в медресе. Теперь это медресе для меня самое отвратительное, самое страшное место, хуже которого не может быть ничего.

Вечером мать спросила:

— Почему ты, сынок, не идешь в медресе?

Я ответил, что мне не хочется и сегодня я побуду с ними. Мать ничего не сказала. Отец в разговор не вмешивался. И я остался дома.

До самого вечера Галима-апай даже с места не сдвинулась. И за ужином была такой же, как утром,— сидела опустив глаза. Стараясь хоть немного рассеять тяжелое уныние, мать и отец затеют разговор, но тут же и умолкнут, словно теряясь перед этой мучительной тишиной; их слова не производили впечатления ни на Галиму, ни на них самих.

Мы ждали, что заглянет тетя Хамида, но она не пришла. Это, конечно, дядя Фахри запретил ей переступить порог нашего дома. Вот так два брата, их семьи, которые жили душа в душу, честно делили радости и горести и за всю жизнь ни разу косо не посмотрели друг на друга, из-за этой беды провели день порознь. Калитка между двумя дворами обычно открывалась и закрывалась по нескольку раз на дню, со вчерашнего дня ни разу и не скрипнула. Я подумал, что от этого горе моих родителей было еще сильнее.

Обычно, когда я бывал дома, отец просил меня почитать какую-нибудь книгу и молча внимательно слушал. Мать между

делом прислушивалась к чтению и в забавных местах смеялась. Но сегодня все рано легли спать.

Хотя усталость долгого дня и давала себя знать, я никак не мог заснуть. Тягостные картины проходили перед глазами. Отец и мать тоже не спали. Я не знал, спит ли Галима-апай, даже дыхания ее не было слышно. Мы лежали в глубокой тишине, в мрачной тьме, казалось объявшей весь мир, и только биение наших сердец напоминало о жизни.

Но вот тишину разорвали звуки какой-то песни. Они приближались к нашему дому. Высунув голову из-под тулупа, я прислушался. Голоса раздавались уже возле дома. Я выглянул в окно и задрожал от страха — посреди улицы остановилось несколько человек. В одно мгновение в голове промчались мысли одна ужаснее другой. А что, если эти люди пришли причинить зло нам и Галиме-апай? Но через несколько секунд они затянули песню снова. Вот что мы услышали:

Галима калфак¹ надела — все в горошинках шитье!
Галиме никто не нужен — есть любимый у нее!
По степи гневной несется: я по масти узнаю.
По глазам, от слез распухшим, я несчастье узнаю...
Сзади хлева клетью построил скаредный старик Фахри,
Галима за клетью с милым обнималась до зари.
На платке ее шелковом нету белого пятна.
Говорят, спала с Закиром с нижней улицы она.
У ее порога вырос, говорят, репей во тьме.
Говорят, Закира крепко привязали к Галиме.

.....

Ягоды она собирает — у нее дрожат сулпы²
Так, привязана к джигиту, шла, дрожа, среди толпы.
Ранним ветром разметало сено, что скосил старик.
О красавице в деревне каждый ведает язык.
Ветры здесь бывают злые — день и ночь гудят в степи:
Если ты спала с джигитом, то глумление терпи.
Из-за этого твой парень не расстанется с тобой!
Хамида-старуха плачет над дочернею судьбой...
У Фахри не распрягали мы коней в вечерний час,—
То не мы слагали песню, хоть поем ее сейчас!..

Эту полуночную песню, сложенную для того, чтобы унижить Галиму, поиздеваться над ней, над нами, над семьей дяди Фахри, мы выслушали с таким ужасом, словно не песня рвалась с улицы, а огненные стрелы летели и впивались со всех сторон в стены нашего дома.

Едва раздались первые слова песни, Галима-апай запла-

¹ К а л ф а к — женский головной убор, расшитый жемчугом, кораллами или бисером.

² С у л п ы — серебряные монеты, прикрепленные к косе женщины.

кала. Отец и мать вначале молчали, будто и не слышали этой песни, но когда Галима заплакала, они не стерпели. Как я уже говорил, отец не был вспыльчивым человеком, но на этот раз и он вскипел.

— Нет, такого я не стерплю!— воскликнул он, вскочил с постели и стал искать свою одежду.— Выйду и зарублю кого-нибудь из них топором — на месте!

Но мать была теперь не та, что днем, она как-то съежилась, присмирела. Мать то утешала Галиму, то успокаивала отца:

— Прошу тебя, не выходи... Они убьют тебя! Собаки полают и уйдут. Потерпи!..

Я тоже не мог улежать, подошел к отцу.

— Видишь, уже допели, уже уходят!..

Затем взял за руку Галиму-апай и сказал:

— Не плачь, апай, не расстраивайся понапрасну: они уже ушли.

И действительно, вскоре парни, буянившие на улице, ушли, их голоса все удалялись, а потом и вовсе пропали в ночи. Отец немного успокоился, сел на хике.

— Пусть у них навсегда почернеют лица! — промолвил он глухо.— Хорошо, что ушли. Даже если пришлось бы умереть, все равно прикончил бы одного-двух!

Галима плакала теперь тише.

И только мать оставалась спокойной.

— Не век собакам лаять! Что же делать, всем рты не заткнешь.

Утешив нас таким образом, она приказала мне лечь. В доме снова наступила тишина.

Я долго лежал меж сном и явью и наконец заснул.

Но и сны пришли страшные, сумбурные. Снилось, что мы вместе с отцом, матерью и Галимой-апай идем куда-то. Вдруг я остаюсь один. За мной гонится какой-то безобразный старик. Я не могу убежать от него — у меня отнимаются ноги. Вот-вот старик схватит меня... и вдруг он превращается в маленького мальчика. Я начинаю с ним бороться; хотя он и маленький, но одолел меня и повалил на землю. Я с трудом встаю... и вижу: по нашей улице разъяренная толпа преследует Галиму-апай. Она с криком бежит в мою сторону, все ближе и ближе... Так это не Галима-апай, а какая-то безобразная старуха. Я бегу от нее, но она гонится по пятам. Моя мать стоит невдалеке, но, вместо того чтобы заступиться за меня и спасти от безобразной старухи, она почему-то смеется надо мной...

Я проснулся среди этих страхов и присел на нарах. Мать сидела около бредившей Галимы. Испуганный, пытаюсь понять, что она говорит, я подошел к ним. Отец что-то искал на полке. Он нашел «Афтияк»¹ и положил книгу у изголовья Галимы. А сам бормочет немногие молитвы, какие знает, и плюет по сторонам. У Галимы-апай глаза закрыты, будто спит, но то и дело она вздрагивает, выкрикивая что-то несвязное.

— Уходи прочь!.. Не нужно, я не пойду... Останусь... Вот еще... Что они говорят!.. Отец проклял... Ни за что не пойду, нет, лучше умереть... О боже, что я сделала? Мое лицо никогда уже не побелеет!.. Закира убивают! Не открывайте мой платок... Опять идут! Куда бежать?! Ломают дверь!.. Поют... Разве это песня!.. Умру... Идут убивать!

Мать пыталась привести ее в чувство.

— Галима, родная, ты бредишь! Проснись,— просила она,— прочти молитву. Она, бедняжка, так напугана вчерашним...

Повторив еще раз: «Идут убивать!»— Галима открыла глаза. Она дрожала и смотрела на нас широко открытыми глазами, будто не веря, что находится у нас.

— Деточка!..— снова заговорила мама, стараясь отвлечь ее, уверить в том, что все страшное ей привиделось только во сне.— Это сон, сон тебе приснился... Прочти молитву. Ничего уже не случится, ты ведь теперь у нас.

Убедившись, что все виденное только что было сном и сейчас опасность не грозит, Галима вздохнула и улыбнулась:

— Да, я испугалась... Я бредила?

Она лежала тихо, с открытыми глазами.

Мать больше не ложилась. Поглядев в окно, она сказала мне:

— Кажется, светает. Я не лягу. Ложись, сынок, спи... Только после этого я уснул...

8

На следующий день я проснулся позже всех. Отца дома не было, а мать пекла оладьи. Еще толком и не проснувшись, я отыскал глазами Галиму. Она уже встала и сидела у стены. На ее повязанную белым голову был накинута платок. Галима посмотрела на меня долгим взглядом. Впервые за последние сутки смотрела она на меня так прямо и проникновенно, как смотрят на близкого человека. Я опустил глаза, мне

¹ «А ф т и я к» — сборник маленьких сур Корана.

казалось, что я причиню ей боль своим внимательным взглядом. Я очень хотел поговорить с ней, как бывало прежде, вовлечь ее в беседу, но не решался,— мне казалось, что и этим я тоже причиню ей боль, всякие слова сейчас казались неуместны. Порою Галима-апай вздыхала и тихо стонала — как человек только что очнувшийся от обморока. Я подумал, что, если даже спрошу о чем-то, ответа все равно не получу.

Мать кончила печь оладьи и стала накрывать на стол.

— Ты была расстроена и вдобавок, наверно, простудилась,— сказала она, заботливо поглядывая на Галиму.— Сейчас дам тебе отвар черной смородины. Пропотеешь, и головная боль пройдет.— И она вынула из сундука кулечек сушеной смородины.

Это был повод заговорить с Галимой-апай. Я подошел к ней и спросил:

— Галима-апай, у тебя голова болит?

Она ответила тихо:

— Болит.

И больше не сказала ни слова. Она и матери отвечала односложно и только на ее настойчивые вопросы. И все же я обрадовался: Галима-апай заговорила и уже не сидела, как вчера, закрыв лицо шалью. И если ее впредь никто не будет тревожить, быть может, она забудет о том, какому великому позору обрекли ее люди без всякой вины.

Мама подала чаю. Закутавшись в шаль, Галима-апай присела на хике. Съела несколько оладьев, выпила смородинового отвара. Лицо ее порозовело, на лбу и щеках выступили мелкие, как роса, капельки пота. Затем мать приготовила постель, чтобы она могла хорошенько пропотеть.

Настроение Галимы было лучше, чем минувшей ночью и утром. Она только собралась лечь, как пришла тетя Хамида. Увидев в дверях мать, Галима-апай вздрогнула так, словно где-то рядом ударила молния.

Зайдя в комнату, тетя Хамида не сказала ни слова, даже не поздоровалась с нами, она долго, пристально смотрела на Галиму. Этот долгий взгляд можно было истолковать двояко — как желание досыта наглядеться на несчастную дочь, прежде чем накинуться на нее с руганью, или как растерянность матери, не знающей, что говорить и какими словами выразить горе, мучившее ее уже третий день. «Проходи, енге¹ Хамида»,— мягко сказала мама, но тетя Хамида ничего ей не ответила, все так же не сводила заплаканных глаз с дочери.

¹ Енге — обращение к пожилой женщине.

— Эх, дитя, дитя... Что случилось с тобой... Опозорила нас, опозорилась сама, потеряла все свое счастье! — с болью, с укором сказала она и заплакала.

И Галима, душевные раны которой только-только начали было затягиваться, откинулась к стенке и застонала. Потом, откинув платок, открыла лицо и посмотрела матери в лицо:

— Нет на мне греха, нет! Мама, не убивайте меня, я сама умру...

Она едва не плакала, губы ее посинели, а глаза закатились в муче.

Оказавшись меж двух огней, моя мать, не зная, к кому браться, кого слушать, растерялась.

— Хамида-енге, ты потерпи, не вини Галиму, на ней нет греха, ее погубили. Ты должна это понять. Ее, бедную, и без того жестоко обидели. Полежи, Галима, тебе нужно как следует пропотеть, не то голова снова разболится, — она подошла к Галиме и погладила ее по голове.

Галима же, словно вдруг очнувшись, посмотрела вокруг широко открытыми глазами. Не говоря ни слова, устремив взгляд куда-то далеко перед собой, она принялась теревить обеими руками кончик своего платка.

Тетя Хамида, увидев, как страдает дочь, сразу смягчилась.

— Не знала, не знала я!.. — заговорила она совсем другим голосом. — Отец вконец извел меня: «Куда ты смотрела?! Почему не следила?!» Что только он не наговорил мне! Кому не довелось пережить такое, не поймет этого. Кто выдержит вчерашний уличный позор?! — слезы и причитания полились вновь.

О том, что все это растравляет раны дочери, напоминает ей о пережитом и о безотрадном будущем, заставляя ее страдать еще горше, она и не думала.

— В жизни всякое может случиться, — сказала мама. — Не впервые возводят клевету на человека. Сказано ведь, что пророк Юсуф из-за этого двенадцать лет находился в темнице... А Зулейха¹, оплакивая его, ослепла... Бог обещал, что пошлет беды и испытания своим возлюбленным рабам.

Все это мать говорила проникновенно, с увлажненными глазами.

Но тетя Хамида никак не могла взять в толк слова моей матери и продолжала тянуть свое:

— Что пристало пророкам, для нас не годится. Нас судят быстро. С каким лицом мы покажемся теперь людям на гла-

¹ З у л е й х а — возлюбленная Юсуфа (по библии — Иосиф Прекрасный).

за? Что было вчера ночью? Ее отец навзрыд плакал от стыда. «Чтобы,— говорит,— ты мне больше не приводила ее на глаза!— предупредил он меня.— И сама не смей ходить к ней! Нет ей от меня прощения!» Только сейчас вот заснул он, я и не утерпела, прибежала. Что ни говори, ведь дитя родное, сердце не выдерживает.

— А кайнаге Фахри тоже надобно быть потерпеливей, как-никак мужчина,— возразила мама.— Что ж теперь, о камень головой? И ты должна была сказать ему, чтоб терпения набрался.

— Уж очень он самолюбивый,— Хамида безнадежно махнула рукой.— Никого не послушается, а меня тем более.— Она вздохнула.— Стараешься забыть, но не получается. Уж очень тяжело все это!

Нельзя было понять, слушает их Галима-апай или нет. Сидит, вздыхает. Поглядела на нее тетя Хамида и совсем потерялась. Жалость и сострадание выступили у нее на лице. И все же она не могла понять, что творилось сейчас в душе Галимы-апай, полагала, что проявлять жалость и сочувствие к дочери она не должна.

— Не знаю уж, ума не приложу!— вздохнула она и подседа к дочери.— Вот уж горе откуда не ждали! Что же ты надедала, доченька? Голова болит? Заболит, заболит! Загубили тебя, родная моя! — продолжала она, поглаживая ее по спине.

Видно, думала, что эти слова могут облегчить ей страдания, никак не понимала, как тяжело было слушать их дочери.

Галима-апай сидела закрыв лицо платком. Тетя Хамида тихо плакала. Когда молчание стало совсем уже тягостным, зашел мой отец. Он молча разделся и, укоризненно глядя на плачущую сноху, сказал:

— Что вы ей все горе обновляете? И о ней ведь надо подумать. Не такие это дела, за которые в Сибирь отправляют, не убийцы ведь они какие-нибудь! Зачем терзать себя и других! Вот я утром встретился с Салимом, а он и говорит: «Зазря они ее загубили. В молодости всякое бывает!» Вот видите, если уж другие знают, что это клевета, то мы и подавно должны знать и помнить.

В доме стало как-то легче. Моя мать пришла в свое обычное ровное расположение духа и принялась за повседневные хлопоты. Тетя Хамида вытерла глаза и вздохнула свободнее.

Но это спокойствие длилось недолго. Дверь неожиданно распахнулась, и появился дядя Фахри. Он ворвался с таким видом, будто только и ждал удобного момента и наконец дождался.

Как и позавчера, когда он примчался в медресе, к хазрету, глаза у Фахри были вытаращены, лицо побелело, и трясся он как и тогда, когда набросился с палкой на Галиму. В былые времена, входя в наш дом, он произносил слова приветствия и радушно здоровался со всеми. А теперь... Какие там приветствия, какие расспросы о житье-бытье и здоровье!

— А, уже успела, уже прибежала, окающая! — набросился он на тетю Хамиду. — А ну-ка, прочь отсюда, пока я тебе голову не расшиб! Я ведь говорил тебе: не смей смотреть на ее черное лицо. Век ее не прощу!

Он кричал, бранился, кидался из стороны в сторону, словно искал, на кого бы наброситься еще. Его жуткий вид, хриплый от ярости голос, резкие, бессмысленные движения наводили страх.

Галима испуганно взглянула на отца, вслушалась в его не оставлявшие ей никакой надежды слова.

— Отец, я не виновата! — вскричала она. — Нет, нет... Я боюсь... Куда уйти? Спасите меня!

Она упала на подушки и забилась в судорогах, издавая нечленораздельные звуки. Мой отец подошел к дяде Фахри.

Подняв руки, отец встал перед ним, будто умоляя его и в то же время защищая Галиму.

— Брат, что ты делаешь! — сказал он тихим голосом. — Ты ведь свое дитя убиваешь! Эх, брат, брат!.. — покачал он головой. — Подумай сам, разве светопреставление наступило, что ты так отчаиваешься...

Тетя Хамида, чувствуя поддержку моего отца, заговорила:

— Тебе говорю, отец: не будем губить собственное дитя. Боже мой, что еще суждено мне пережить!.. — и она снова заплакала.

Мать подошла к Галиме и кротким, ласковым голосом стала утешать ее, накрыла одеялом, взяла ее руки в свои.

Несмотря на мольбы, на то, что Галима лежала без сознания, дядя Фахри не смягчился. Уставившись на отца, он закричал:

— Не лезь в мои дела, не усердствуй, нечего защищать эту бесстыжую... А-а, ты-то хороший, раз самому не пришлось испытать такое...

И снова накинута на тетю Хамиду:

— Говоришь: «наше дитя»?! Какое она нам дитя?! Кто насмеялся над тобой и сам стал посмешищем для всех... Уходи, говорю, сейчас же уходи!

В гневе он топнул ногой и закричал, ткнув пальцем в нас:

— Вон сторожа, нашлись уже, они и присмотрят за ней!

Она больше не наша дочь! «Не губи», дескать. Пусть сгинет, пусть брызгами разлетится. Сама себе погибели искала! И как только земля ее держит, уж другую давно бы проглотила!

Облегчив душу проклятиями, он направился к двери, но, оглянувшись на Галиму, добавил:

— Лежит и скулит, как собака. Вот так бьет божье проклятье! О господи! Как лежит, так пусть и околеет!.. Только не смей переступить порог моего дома, не смей показываться мне на глаза — убью!..

Уходя, он сильно хлопнул дверью. Отец подался было за ним, но лишь махнул рукой и остался.

Ярость дяди Фахри, его злоба ко всем, кто брал под защиту Галиму, заставили нас надолго замолчать. Он ушел, а дикая сцена все еще стояла перед глазами.

— Что будешь делать с таким человеком! — первой заговорила тетя Хамида. — Домой страшно вернуться. Два дня он как бешеная собака, готов наброситься и искусать. Уж лучше мне живьем в могилу лечь! — и опустила в землю измученный взгляд. Не было у нее воли, чтобы противостоять гневу Фахри.

Отец и мать сидели ошеломленные.

— Нужно потерпеть! Со временем все пройдет, — только и повторяли они. — Что теперь поделаешь! О господи! — вздыхали они и умолкали вновь.

Наконец тетя Хамида ушла.

— Что с ними делать? Можно подумать, что это мы во всем виноваты... — проговорил отец огорченно и, уставившись в одну точку, о чем-то глубоко задумался.

— Они свою дочь ненавидят больше, чем кто-нибудь посторонний. Ведь никто не белее молока и не чище воды, а они бедняжку Галиму так мучают. Теперь из-за нее и нас за врагов считают, — бормотала мать.

Потерянно бралась то за одну, то за другую вещь, словно не знала, за какое дело приняться.

9

И эта ночь прошла так же тревожно, как и прошлая. Галима бредила, испуганно садилась на постели, порою вскакивала на ноги, порывалась уйти куда-то. Мать заботливо укладывала ее, Галима засыпала, и снова слышались ее бессвязные слова.

— О боже мой, убивают бедняжку... Сошла ли сажа с моего лица? Все пропало... Что они делают?.. Умру, но не вернусь...

Отец убьет меня... Идет хазрет-бабай... Беги, беги!.. Опять идут... Родной, не уходи, пойдем вместе... Я сейчас, только принесу воды... Оказывается, здесь спокойно. Фи, и они пытаются петь!.. Заприте дверь, они ведь идут... Я уйду, уйду... Умру, но уйду... Отдайте мою шаль!»

Тишина наступила только под утро. Отец и мать больше не вставали к уснувшей Галиме и свечей не зажигали.

Утром отец сказал мне:

— Гали, иди в медресе. Ты и вчера пропустил занятия, и позавчера.

— Ступай, сынок,— сказала и мать,— как бы там вещи твои не растащили.

Как мне не хотелось идти в медресе, как не хотелось встречаться там с людьми! Но, чтобы не огорчать и без того расстроенных родителей, пришлось послушаться. И это казалось мне самым тяжким делом на свете.

Медленно одевшись, я вышел из дому, но у самых ворот остановился в нерешительности. Я боялся, что встречу односельчан и они посмеются надо мной и над Галимой-апай. Только убедившись, что на улице почти никого нет, я проскользнул в ворота и со всех ног помчался к медресе, отворачивая лицо от встречных.

На беду, уже возле самого медресе я столкнулся с Гараем и Салимом, теми самыми, которые задержали в тот вечер Галиму и Закира.

— Стой-ка, Гали, стой! — попытались они остановить меня.

Я сделал вид, что не слышу их. Это их разозлило, и они закричали мне вслед:

— Что делает твоя Галима-апай? Лежит в объятиях жениха? Покажи-ка свой перочинный ножик!..

Дойдя до медресе, я встал, боясь войти. Ясно, что ученики станут издеваться надо мной.

В одном дворе размещались пять медресе. Я жил в доме, который находился в дальнем конце двора.

С опаской открыл я ворота. Первый, кто встретился, был Гали-хальфа с длинным полотенцем через плечо и кумганом в руках. Он шел совершать омовение.

Прежде он и не заговаривал со мной, да и не знал меня как следует, но сегодня, заметив меня, спросил:

— Ну, Гали, как дела? Разве Галима сестра тебе?

У меня словно язык отнялся. Хотел было сказать: «Нет, не сестра» — и не смог.

— Сестра...

— Разве это дело,— сказал он многозначительно,— про- падать из-за простого парня, из-за мужика! Пропала бедняж- ка, а ведь такая красавица!

Раньше я считал его хорошим, серьезным человеком. Те- перь, слушая его слова, в которых, несмотря на сожаление, сквозила насмешка, я почувствовал не только стеснение и не- ловкость, но и удивился тому, что он, Гали-хальфа, говорит такие вещи. С этой минуты он стал мне неприятен. Видя, что я от стыда опустил голову, он продолжал:

— Заходи. С теми, кто совершает неугодное шариату, бы- вает вот так. И твоей сестре не следовало этого делать.

В окне нашего медресе я увидел любопытные лица ша- кирдов — наблюдали за мной и Гали-хальфа и, наверное, слы- шали весь разговор. От всего этого — неожиданных поучений Гали-хальфа и любопытства шакирдов, которые, конечно, сра- зу набросятся на меня с вопросами, потом будут смеяться надо мной,—захотелось тут же повернуться и уйти домой. Но я пересилил себя. Мне казалось, что зайти в медресе и пере- нести все нападки — мой долг. В тяжелом душевном смяте- нии я переступил порог медресе.

Обычно никто не обращал внимания, кто из шакирдов при- шел, кто ушел. Сегодня же, едва я переступил порог, на меня устремилось множество глаз. Я еще не дошел до своего места, как ребята окружили меня и засыпали вопросами:

— Гали, почему вчера не пришел?

— Ты болел?

— Так ведь его сестру поймали, вот и не пришел.

— Конечно! — согласился шакирд постарше. — Стыдно ведь из дому выходить!

Стараясь не обращать внимания на их слова и не выдавать своего волнения, я снял чекмень, сел на место и взял в руки книгу.

Я открыл книгу и уставился в страницу, но ничего в ней не видел... Однако шакирды продолжали забрасывать меня вопросами, смеялись, делали вид, что сочувствуют, и это еще больше кололо мне сердце. Я был бессилен отвечать им, бессилен защищать себя. Слезы готовы были брызнуть из глаз. И оставаться было невыносимо, и уйти из медресе я не мог. Шакирды окружали меня все теснее. Я был побежден, я был непереносимо унижен, у меня потемнело в глазах. И тут в ме- дресе вошел Салим-Голубок и отогнал всех от меня.

— Что вы тут собрались? — прикрикнул он на них. — Здесь не балаган с танцующим медведем! Сейчас же разойди- тесь по своим местам!

Шакирды мгновенно притихли и рассыпались по местам, будто их окатили водой.

Салим-Голубок самый способный из шакирдов, и его, несмотря на молодость, сделали хальфа. С ним считаются в медресе, и не только шакирды, но и старшие хальфа с ним не спорят. Заступничество Салима-Голубка спасло меня, и я вздохнул свободнее. Отогнав шакирдов, Салим обернулся ко мне:

— Тебя обижают? Если они опять будут приставать к тебе, ты только скажи мне.

Так я избавился от насмешек ребят. Правда, некоторые из них, встретив меня в укромных местах, продолжали дразнить и если не словами, то гримасами и жестами напоминали о нашем позоре. Я не говорил о них Салиму: только зря себя расстраивать, да и вообще я не любил жаловаться.

Сегодня хазрет пришел поздно. С его появлением шакирды затихли. Прежде я видел хазрета по нескольку раз на день. Но два минувших дня не видел, и теперь он казался мне совсем другим. Теперь он мне казался страшным, недобрым человеком, который невинным людям мажет сажей лица. Не такой уж он и злой, убеждал я себя, это не он, это шариат повелел вымазать сажей Галиму и Закира и водить их по улицам деревни. Но в каком-то уголке души крепко засела неприязнь к нему. Он, он один был виноват во всем! Прежде, когда я слышал, как осуждали хазрета: «Наш хазрет хитер и лукав, его жадная рука все загребает к себе, уж лучше не связываться с ним», не очень этому верил, и люди, говорившие так, были неприятны мне. Но сейчас я был согласен с ними.

Теперь я находил, что его уроки преследуют единственную цель: причинять неприятности другим, готовить шакирдов к тому, чтобы и они за пустяковые провинности мазали лица людей сажей.

Старшие шакирды уселись вокруг хазрета, и урок начался. Сегодня он повел речь об отсечении руки.

— Если кто-нибудь украдет у другого что-либо, — тянул монотонно хазрет, — и если даже стоимость вещи равна только десяти дирхемам¹, по шариату полагается отрубить руку вору.

Я застыл от ужаса. Я вспомнил Салахи, пойманного в прошлом году с украденным гусем, вспомнил, как его били и расшибли ему голову. «Как же и ему не отрубили руку по локоть?» — подумал я.

¹ Д и р х е м — серебряная монета в 15 копеек.

— Если будут задержаны девушка и парень, — продолжал хазрет, — бить их, по сто плетей каждому, если же поймают пожилых людей, следует закопать их по пояс в землю и побить камнями...

Я слышал заунывный голос хазрета, объяснявшего, что за любую ничтожную вину можно засечь человека плетью, побить камнями, отрубить руки и причинить множество других страданий, и рисовал себе жуткие картины. Все эти наказания здесь, на нашем грешном свете. На том свете кары еще более жестокие. Там грешников сжигают на адском огне, служители ада, сыпля искры из глаз, усердно бьют грешников дубинкой по голове. Одна только мысль обо всех этих ужасах повергла меня в отчаяние.

Об этом же было написано и в лежавшей передо мной книге. С каким же удовольствием хазрет говорит о муках и страданиях людей на этом и на том свете. Я и раньше слышал о таких вещах, но думал, что о них только в книгах пишут, а на самом деле таких жестокостей не творят. Но увидел собственными глазами, как Галиму-апай наказали так, как того требуют священные книги, вспомнил, как вымазали ее лицо сажей и, словно во время светопреставления, водили по улицам на посрамление всему народу, как все, не исключая родного отца и матери, швыряли ей в лицо безжалостные слова, кричали: опозоренная, бесстыжая, на всю деревню беду накликала! — вспомнил, наконец, ее замученную, лежащую в бреду — и понял, что написанное в книгах бывает и в жизни.

Теперь мне казалось, что все судьбы людские висят на волоске. Я думал об этом, и урок не шел в голову. По дороге домой меня преследовали страшные картины: побитые камнями бородатые мужчины, зарытые по пояс в землю, и женщины с распущенными волосами и окровавленными лицами... Юноши и девушки с кровавыми рубцами на спинах — от ста ударов плетью... Какие-то несчастные в рубище, с руками, отрубленными по локоть, кровь, капающая с уродливых обрубков... Ад, охваченный ярким пламенем, огромные черные клубы дыма, обнаженные мужчины и женщины, извивающиеся в страшном огне. Служители ада с выпученными глазами и дубинками в руках... Видел я и Галиму-апай с Закиром: вымазанные сажей, связанные друг с другом, идут они по многолюдной беснующейся улице...

Дома у нас была бабушка Гильми с Нижней улицы. Они с матерью сидели около неподвижной Галимы-апай. Не знаю, о чем они говорили до моего прихода, но при мне разговор шел только о Галиме — старуха Гильми учила мать, что нужно делать, чтобы прогнать болезнь, пугала мать и Галиму всякими напастями, уверяла, что если они не послушаются ее, то никогда Галима не поправится.

Старуха считала даже, что Галима-апай и вовсе может лишиться рассудка. И приводила такие страшные примеры, что мать бледнела, а Галима дрожала так, будто рядом с ней сидит оборотень, жалась к стене. Бабушка Гильми и мать положили под изголовье Галимы Коран в старом переплете, чтобы девушка была спокойна, пока заговорят ее болезнь. Галима не сопротивлялась, но на старуху Гильми поглядывала весьма враждебно.

Перечислив «срочные меры», необходимые для исцеления, старуха Гильми принялась рассказывать о том, что говорят о девушке в ауле. Старуха тараторила без умолку, хотя Галиме, наверное, все это слушать было невыносимо. Мама же невольно поощряла бабушку Гильми, слушая с большим вниманием такие подробности, о которых говорить совсем не следовало. Некстати вспомнила о том, как были пойманы Галима и Закир. И при этом все, что слышала от людей, перевирала вкривь и вкось. Уж так она хотела, чтобы заклинать и заговаривать болезнь Галимы-апай поручили ей.

Зашла тетя Хамида, и разговор разгорелся с новой силой. Тетя Хамида со слезами на глазах жаловалась на свою судьбу, говорила, что забежала, улучив момент, когда дядя Фахри ушел к мулле, что она растерялась и совсем не знает, что делать, а счастливая жизнь вот уже три дня как оставила их дом.

Видно, для того, чтобы утешить ее, старуха Гильми начала весь свой рассказ сначала, еще более сгущая краски. От начала до конца пересказала все, что уже пришлось выслушать Галиме и моей матери.

Галима не находила себе места: то опустит голову, то угрюмо посмотрит на них, то отвернется в сторону и уставится в одну точку.

А те, вместо того чтобы утишить жгучую боль ее сердца, продолжали наперебой сокрушаться, умножая и без того великое горе Галимы-апай.

Посидела Галима-апай, словно муха, спеленутая паутиной, рванулась вдруг, поднялась и направилась к двери.

Видно было, что она пришла к какому-то решению. Моя мать испуганно бросилась за ней и, обняв, быстро спросила:
— Галима, ты куда?

Та вырвалась и, глядя на всех широко раскрытыми глазами, проговорила, задыхаясь:

— Я уйду... Сказала — уйду, значит, уйду!

Старуха Гильми и тетя Хамида бросились на помощь матери и обступили Галиму:

— Милая, не уходи!

— Нельзя уходить! Куда же ты пойдешь?

Но Галима, словно и не слыша их, упрямо повторяла, что уйдет, и рвалась к двери. Тетя Хамида растерялась и заговорила плачущим голосом:

— Погибло мое дитя! Дочь моя, не уходи! Успокойся, ничего с тобой не случится.

Схватив Галиму за руку, она пыталась увести ее к хике, старуха с матерью тоже вцепились в нее, тоже потянули к хике, но она все так же рвалась к двери. Женщины растерялись, старуха Гильми шептала молитвы и плевала по сторонам.

Я побежал за отцом.

— Отец,— вскричал я,— иди скорее в дом: с Галимой-апай случилось что-то!

Отец бросился в дом.

Галима была уже у самой двери, хотя все три женщины повисли на ней.

— Я уйду!..— повторяла она.— Я уйду! Мне незачем жить!.. Зачем вы держите меня?..

— Милая, куда ты идешь? — спросил отец и осторожно взял ее за руку.— Хочешь выйти на улицу? Сядь, пожалуйста?

Галима посмотрела на отца и покорилась, она как будто немного успокоилась. Взяв Галиму под руки с обеих сторон, ее усадили на хике. Она опять накинула на себя шаль и молча уставилась перед собой.

Все утихли, охваченные чувством глубокого горя и бессилия перед случившимся. Только старуха Гильми хоть с виду и опечалилась, но в душе, кажется, радовалась.

— Бабушка Гильми, прочитала бы ты ей молитвы с дутьем¹,— проговорила тетя Хамида после долгого молчания.

Мать поддержала ее. В глазах отца мелькнуло недовольство их затеей, но он угрюмо молчал. А старуха, только этого и ждавшая, вся просияла.

— Вот именно, так и следует сделать! — затараторила

¹ Полагая, что причина болезни — злые духи, читают молитвы и дуют на больного, как бы отгоняя духов.

она. — Давно нужно было почитать молитву и подуть на Галиму. Какая-то нечисть коснулась ее, она и испугалась.

Старуха подошла к Галиме и только было начала шептать молитвы и дуть на нее, как та закричала, отгоняя ее от себя обеими руками:

— Уходи отсюда, уходи, говорю!.. Я не больна... Ай, ведьма, какая она страшная! Уходи, уходи!..

Несмотря на это, старуха Гильми хотела продолжать ворожбу, но, увидев отчаянную ярость Галимы, отступилась.

— Черти не любят, когда читают молитвы... — сказала она. — Вот почему она не хочет... Черти боятся молитв...

При этих словах и отец вскочил с места:

— Что ты шипишь здесь, ведьма?! Уходи вон отсюда!

Старуха Гильми, хоть и почувствовала себя крайне неловко, все еще не сдавалась; опасливо отодвигаясь от разгневанного отца, она сказала:

— Ай, ай, кем эти люди стали? Называют меня ведьмой, а сами кто? Мои сыновья и дочери не лежат вот так, опозоренные, потеряв рассудок...

Отец сжал кулаки и не на шутку наступал на старуху.

— Сейчас же уходи! — повысил он голос. — И не показывайся мне на глаза, шайтан, колдунья!

Только после этого она присмирела и попятилась к выходу, приговаривая:

— Ухожу, сейчас ухожу. Подумаешь! Никто не умеет лучше меня заговаривать. А они отказываются...

Не сдержав гнева, отец крикнул ей вслед:

— Уходи! Не попадайся мне на глаза! Если и будем заговаривать, то без тебя, колдунья, обойдемся! Пусть твои молитвы останутся при тебе!

— Ты не очень-то заносись, — прошипела она уже в дверях, — не смейся над молитвой и религией: ведь господь бог уже наказал вас. Ваша Галима воображала о себе невесть что, все «я» да «я»... — И она хлопнула дверь.

Отец был вне себя от гнева и никак не мог успокоиться.

— Зачем вы пустили сюда эту старуху из преисподней? — бранил он женщин. — Весь их проклятый род занимается колдовством.

Тяжелая эта сцена и бесстыдные слова старухи для Галимы-апай не прошли даром. Она вся ушла в тяжелую мертвую задумчивость. Если взгляд ее случайно падал на какой-нибудь предмет, она долго не могла отвести от него глаз. За ужином она ни к чему не притронулась и только после долгих уговоров матери выпила чашку чаю.

Мать и отец, посоветовавшись, решили позвать завтра дядю Фахри и тетю Хамиду, потолковать с ними, прочесть весь Коран, все заклинания и заговоры. Если же и это не поможет, показать ее ишану¹...

Наступившая ночь прошла еще беспокойнее, чем минувшая. Только за то время, когда я не спал и мог наблюдать за Галимой-апай, она несколько раз вставала, в бреду говорила бессвязные слова, шарила руками по сторонам, будто искала что-то.

Ее испуганный шепот: «Опять идут!.. Их много! Пришел хазрет... Я убегу!» — сменялся радостными восклицаниями: «Идет, идет! Как бы не увидели!.. Родной, ты пришел? Ведь увидят! Вот пришли сваты... Мы сыграем свадьбу... Когда же он вернется? Не убегай, не убегай, ничего не случится...»

Потом, казалось, она приходила в себя и, повинувшись голосу матери: «Ложись, милая, ложись», нехотя ложилась.

11

В следующие два дня Галима-апай стала совсем странной. То она сидела, опустив голову, словно что-то сосредоточенно подсчитывала, то, обрадовавшись неведомо чему, лепетала что-то бессвязное, ничего в этих словах смешного не было, но она смеялась, как ребенок. И смех и радость Галимы одинаково пугали нас.

Отца и мать не обманывало то, что внешне Галима держалась как нормальный человек, — они стали поглядывать на нее с опаской. И в самом деле, все поведение Галимы-апай было неестественным. И смех и слезы ее всякий раз были неуместны. И она уже не стеснялась, как в первые два дня. Она держала себя свободно и как-то слишком уж непринужденно. Но страдала все так же — и днем и ночью. По ночам она бредила, и чаще всего бред этот был радостный, восторженный. Все у нее теперь было не по-людски — и сон и явь — она напоминала человека, тронувшего умом.

Отец несколько раз заходил к дяде Фахри. О чем они говорили, я не знаю. Но, увидев наконец, что дядя Фахри с тетей Хамидой пришли к нам и гнев несчастного отца сменился испугом, я понял, что отношение их к Галиме изменилось.

Сегодня дядя Фахри уже не был гневен, как прежде, — напротив, он утих и присмирел. Хотя Галима при его появлении закрылась шалью и отвернулась, но она уже не боялась отца, как прежде, и не так стеснялась — иногда даже взглядывала молча на отца. Теперь дядя Фахри сам будто стыдился

¹ Ишан — глава религиозной общины.

чего-то, не знал, с чего начать, долго смотрел на дочь, глубоко вздыхал и, виновато отведя от нее глаза, проговорил:

— Это, верно, божье предопределение. Возьмем ее домой. Нужно прочесть весь Коран и попробовать заговорить.

Слезы катились из глаз тети Хамиды, она была тронута до глубины души.

— Родная моя! Вернись домой, мы с отцом пришли за тобой. Идем, родная, идем,— говорила, поглаживая дочь по спине, слезы у нее так и катились из глаз.

Но Галима недоверчиво посмотрела на нее и после короткого раздумья сказала:

— Нет, не вернусь. Отец сердится, он, наверно, будет меня бить и гнать. Он ведь говорит, что я ему не дочь. Нет, не вернусь.

Все так же поглаживая ее по спине, как маленького ребенка, тетя Хамида взмолилась:

— Деточка! Отец сам пришел за тобой. Идем, родненькая, дома тебе будет хорошо.

Услыхав слова дочери, дядя Фахри пришел в отчаяние. Он стоял и не мог произнести ни слова. Наконец, сделав над собой усилие, он сказал:

— Доченька! Прошу тебя: вернись, родная... Ты мое дитя, я больше не сержусь на тебя... Я был неправ, когда сердился. Идем, родная...

Не договорив, он отвернулся и вытер слезы. Повернув к дяде Фахри открытое лицо, Галима-апай слушала его доверчиво, словно ребенок, но ничего не говорила и только улыбалась в ответ.

Тогда заговорили и мои родители.

— Галима родная,— сказал отец,— хочешь остаться здесь или вернуться домой? Пришел Фахри, он зовет тебя, он больше не сердится.

— Зачем ему сердиться? — поспешила вставить слово моя мать.— Он не сердится. Случается, что отцы гnevаются, да скоро прощают.

— Милая, никто ведь уже не сердится,— сказала тетя Хамида, заглядывая в глаза дочери.— Вернемся. Не расстраивайся больше. Мы тебя очень любим, идем.

Галима легко вскочила с места и заговорила возбужденно:

— Если так, то я вернусь... Вы ведь не сердитесь на меня, да? Оттуда меня не уведут?

Она пытливо оглядела всех, изменилась вдруг в лице, села в испуге на хике и сказала:

— Нет, я не вернусь. Меня оттуда уведут... Отец будет бить... О боже мой, ведь у меня лицо черное! — Ее взгляд задержался на побледневшем лице матери. — Сойдет с лица чернота, а? Я ведь еще в зеркало не гляделась... Дайте мне зеркало... Даже мыла нет... — сказала она тревожно. — Мыло унесла Нагима... У них ведь лица белые. А может, вернуться? Они не будут бранить меня?

Дядя Фахри совсем растерялся. Бессвязные слова дочери звучали страшным укором.

— Нет, милая, никто тебя не заберет, — ласково сказала тетя Хамида, — и лицо у тебя не черное, оно белое, совсем белое.

— И мыло есть, и все есть, и лицо твоё белое, — уверяла ее моя мама.

— Вернись, детка. Мы на тебя не сердимся и никогда не будем сердиться, — подойдя к ней, сказал дядя Фахри. — Я куплю тебе душистое мыло.

Отец мой молчал. Разговор прервался.

Галима-апай помолчала, подумала немного.

— Вернусь-ка я... — радостно заговорила она. — Мама, а мои вышитые платки еще целы? Они мне очень нужны.

— Целы, детка, целы, — успокоила ее тетя Хамида. — Все в твоём сундуке — и полотенце, и платки, и занавеска. Вернемся, детка.

— Ага, есть! — воскликнула Галима, не поднимаясь с нар. — А эта глупая Нагима говорила, что все унесли. Вот обманщица!

— Кто же позволит, родная? Никто ничего не брал. Где у тебя болит, милая? — спросила тетя Хамида.

— Ничего у меня не болит. Только вот с сердцем что-то неладно, уж очень сильно колотится... Голова болит... нет, должно быть, и она не болит... Я боюсь людей, они мажут лицо сажеей... смеются надо мной... поют... — Галима беспокойно огляделась и умолкла.

— Вставай, Галима, пойдем домой, там все есть, а чужих людей нет. Идем, — сказала тетя Хамида.

Галима-апай встала и, тихо повторяя: «Идем, идем», взяла шаль и вместе с моей матерью и тетей Хамидой направилась к двери.

Дядя Фахри сокрушенно посмотрел ей вслед:

— Эх, дитя, дитя! — и больше ничего не смог сказать.

Скрипнула напоследок дверь, и в нашем доме наступила тишина. Была такая пустота, словно отсюда только что вынесли покойника.

Глубоко вздохнув, отец сказал:

— Вот оно как, кричали: «Шариат... шариат!» — а на деле-то погубили бедное дитя!

Слова отца зловеще прозвучали в моих ушах. «Шариат,— подумал я,— это, оказывается, такая вещь, которая губит людей, сводит их с ума...»

12

Галима ушла к своим родителям, но покой в наш дом не вернулся. Хотя и не было теперь поминутной тревоги, но несколько раз на дню мы узнавали, как там Галима. Мои родители часто заглядывали в дом дяди Фахри и делили с ними их печаль.

За то, что мои родители приняли в дом Галиму после того, как она была схвачена с Закиром и их с вымазанными сажей лицами водили по деревне, за то, что они защищали ее, нам пришлось выслушать немало попреков: мол, дали приют «опозоренной». Даже соседи перестали заходить к нам. Но скоро люди опять стали заглядывать к нам, и даже такие зачастую, кто прежде никогда и не бывал у нас.

Многие из них и не думали разделить наше горе, их просто разбирало любопытство; хотелось поглядеть, как мы себя чувствуем, как переживаем такое злосчастье, и не собирается ли наша «черноликая» Галима показаться на люди.

Мало того, они назойливо лезли к нам с деревенскими сплетнями. Были и такие, кто, пользуясь размягченностью попавших в беду людей, рассчитывали погостить у нас; для них несколько раз на день кипятили самовар. От этих людей мы узнали, как все это пережили Закир и его родители.

Говорили разное. Говорили, что хотя родители Закира стыдились позора сына, которого с лицом, вымазанным сажей, водили по улицам, однако большую часть вины валили на дядю Фахри, тетю Хамиду и Галиму-апай, потому что, дескать, для молодого человека это не так зазорно: его позвали — он и пошел, а старикам нужно было лучше смотреть за дочерью.

Закир же, после того как их с позором водили по улицам, провел ночь дома, а утром, когда все еще спали, ушел из аула.

Одни говорили:

— Стыдно людям на глаза показаться, вот и уехал куда-то наниматься на работу... Вернется ли? Как можно выдержать такой позор?

— В тот день они его крепко избили. Так что в город он поехал, к доктору, рану на голове лечить. А такую рану скоро не залечишь,— уверяли другие.

Третьи добавляли:

— Нет, совсем не так. Он уехал, чтобы подать в суд на тех, кто избил их и, исполняя волю шариата, водил по улице с вымазанными сажей лицами.

Оказывается, закон запрещает избивать, мазать лица сажей и прилюдно глумиться над людьми. На тех, кто задержал Галиму и Закира, кто нанес им побои, и на хазрете, по чьей воле их водили по улицам, лежит большая вина.

Народ дивился не тому, что Закир поехал к врачу, а тому, что парень, виновный в таком грехе, осмелился подать жалобу в суд на хазрета и своих односельчан.

Еще говорили, что, уезжая, Закир пригрозил: «Я их в тюрьме сгною. Мы здесь не по велениям шариата живем, здесь есть закон. По закону не полагается наносить побои парню и девушке, с которой он гуляет, и водить их на посрамление... Ничего, они еще сами попадутся в свой капкан».

Родители Закира так и говорили всем: «Наш Закир не оставит их в покое, уж он сунет их двумя ногами в одно голенище. Сейчас они нас опозорили, но мы еще увидим их позор!»

Люди, приходившие к нам, тоже говорили по-разному.

— А ведь верно,— соглашались одни,— зачем было ловить их, избивать и водить по улицам? Это совсем неразумное дело... В молодости всяко бывает... С самого начала не следовало раздувать дело...

— Нет, неверно! — возражали другие.— Разве можно винить хазрета за то, что он выполнил веление шариата? Так что зря парень хлопочет, ничего у него не выйдет. Закон и вера заодно. Закон тоже за грех не хвалит.

Конечно, мои родители с такими рассуждениями не соглашались.хлопоты Закира они считали справедливыми.

— Никто из нас не белее молока и не чище воды,— говорили они.— Разве за то, что люди разговаривали друг с другом, можно так позорить их?

Таким образом, в нашем доме ежедневно велись разговоры о Галиме-апай и Закире. Люди спорили, до крика доходили, но никто и не подумал о том, что никакие слова, никакая правда Галиме-апай уже не помогут...

Видя, что болезнь Галимы-апай не проходит, ее начали лечить молитвами и заклинаниями. Было испробовано все: ста-

руха соседка опускала перед ней расплавленное олово¹ в холодную воду, долго читала молитвы, суфи Джалят, настойчивая старуха Гильми тоже приходила, пробормотала свои заклинания. Галиму без конца заставляли глотать разные снадобья. Но ни снадобья, ни ворожба не помогали, она оставалась такой же странной, какой была еще у нас. То дрожала в страхе, то ни с того ни с сего начинала радоваться и все бормотала, бормотала про себя. А чаще сидела уставясь в одну точку и думала, думала что-то... Эти зловещие приступы бреда и безумия порой доходили до предела — в такие моменты она враждебно смотрела на окружающих ее людей и угрюмо молчала. Если кто-нибудь подходил к ней, стараясь уловить смысл ее бессвязных, путаных слов, Галима смотрела недобрым взглядом, будто видела этого человека впервые, и сердито гнала прочь от себя.

Каждое утро к нам приходил кто-нибудь из дома дяди Фахри и рассказывал, как провела ночь Галима: опять бредила, часто вскакивала с хике, все пыталась куда-то уйти. Бессильные изменить что-либо, мы покорно следили за тем, как день ото дня ухудшалось состояние Галимы-апай.

За последнюю неделю тетя Хамида и дядя Фахри вконец измучились, день и ночь ходили за больной, уже с ног валились.

Мать заходила к ним по несколько раз на день, бывало, и ночи просиживала у них без сна и возвращалась только под утро.

Однажды, вернувшись от них на рассвете, мать рассказала отцу, что состояние Галимы резко ухудшилось, она ведет себя совсем как «бесноватая», и они, посоветовавшись в доме дяди Фахри, решили прочесть весь Коран и поворожить еще раз.

Отцу это пришлось не по душе, но спорить он не стал.

— Ладно,— сказал он,— попробуйте еще раз. Но поможет ли?

Мать сказала, что и многие так советуют.

Утром дядя Фахри забил лучшую овцу, мама и тетя Хамида принялись убирать дом, готовить еду и печь бэлиш². Даже мне нашлась работа. Мне поручили позвать муллу с нижнего конца деревни, всех хальфа из медресе и старика муэдзина³. Они должны были прийти сразу после полуденного намаза, поэтому приготовления в доме дяди Фахри шли очень

¹ Знахарка опускает в холодную воду расплавленное олово, и по форме, которую оно принимает, судит о том, что испугало больного.

² Б э л и ш — большой пирог с любой начинкой.

³ М у э д з и н — служитель в мечети, созывает прихожан на молитву.

спешно. Они сами не справлялись со всем и позвали на помощь несколько женщин-соседей.

Хотя в доме стояла суматоха, шли шумные, словно к свадьбе, приготовления, Галима оставалась совершенно безучастной ко всему — то сидела молча, то напевала, то с грустным видом что-то рассказывала себе.

Настал полдень. Клокотал котел, полный мяса. Несколько бэлишей румянились в печи. Тетя Хамида и ее помощницы каждое дело начинали словами: «Бисмилла»¹. Они усердно молились.

— Дай, боже, исцеление! — молили они. — Да будет это в добрый час...

Соседка помоложе все приговаривала:

— Пусть выздоровеет, и мы с таким же усердием устроим ей свадьбу.

До прихода хальфа, муллы и муэдзина оставалось уже немного.

Моя мать и тетя Хамида приготовили место на хике и решили одеть Галиму-апай во все лучшее. Подойдя к дочери, тетя Хамида сказала:

— Галима родная, сейчас придут мулла и хальфа. Они прочитают молитву, поворожат. После этого ты выздоровеешь. Они придут, а ты только полежишь в новом платье здесь, на хике.

— Мулла?! — испуганно вскричала Галима-апай. — Не надо, не надо! Я их боюсь, они будут плевать мне в лицо, вымажут лицо сажей... Не надо, говорю, не надо! — и она замахала руками, будто отгоняла от себя страшное видение.

— Галима родная, — уговаривала ее моя мать, — теперь они придут только для того, чтобы прочесть молитвы. Они прочтут весь Коран, подуют на тебя, и ты выздоровеешь. Ты только оденься и полежи. Они сделают свое дело и уйдут, а ты станешь здоровой, как прежде, и голова не будет болеть, и тосковать перестанешь...

Ласковые, с мольбой сказанные слова моей матери подействовали на Галиму-апай. Испуг сменился радостью, и она спросила:

— Зачем они придут? Будет свадьба?.. Хорошо... — Посмотрела внимательно на мать и вдруг опять заупрямилась: — Нет, пусть не приходят. Они уведут меня... Будут водить по улицам...

— Вот, даст бог, выздоровеешь, и свадьбу сыграем, — убеждала ее моя мать. — Мы позовем их и тогда. А сейчас

¹ Б и с м и л л а — буквально «во имя бога».

оденься, закрой голову платком и полежи смирно, они прочитают молитву, подуют и уйдут.

Галима обрадованно засмеялась:

— А, так!.. Значит, они прочтут молитву и уйдут, а потом будет свадьба? А где Закир? И он придет? Ведь у меня нет белил... А где мои чулки?

Она подошла к своему сундуку.

Видя, что Галима больше не упрямится, моя мать сказала с облегчением:

— Да, родная, все так и будет... Только ты оденься. Достань из своего сундука новое платье и надень его.

Но Галима снова впала в странное состояние.

— О господи, как у меня болит голова! Как болит голова!— воскликнула вдруг Галима-апай, морща лоб.— Где мои вышитые платки? Здесь нет белого платка, который я цветным гарусом расшила... Мама, ты не брани меня, я ведь отдала его Закиру. Ты уж не ругай меня. О боже мой! Где мои белые перчатки? Надо пришить к ним красивые кисточки...

— Родная, все это в твоём сундуке,— сказали в один голос моя мать и тетя Хамида.— Откроем сундук и посмотрим.

Открыли сундук. Галима уселась около него поудобнее и начала рассматривать каждую вещь. Брала в руки платок или полотенце и подолгу разглядывала его. Вспоминала какую-нибудь подробность, связанную с этой вещью, клала ее обратно и вынимала другую.

Перебирая вышитые ею платки и портянки¹, она говорила:

— Это для подарка... Это будет для бирна²... Эти портянки жениху...

Она вспоминала мечты и желания той поры, когда она любовно ткала и вышивала свое приданое.

— Ну, родная, надень платье,— сказала моя мать,— завяжи платок и накройся шалью. Скоро придут мулла и хальфа.

Галима посмотрела на нее удивленными, широко раскрытыми глазами, а затем, видимо, вспомнила что-то.

— Да, когда они придут, у нас будет свадьба,— сказала она успокоенно и снова принялась шарить в сундуке.

Поискала и вынула пахучее мыло с нарисованной на обертке красивой девушкой. Сначала она пристально разглядывала картинку, потом с удовольствием понюхала мыло.

— Мама, это ведь подарок Закира. Он привез мыло из города и тайком подарил мне...— И она снова понюхала

¹ По обычаю, девушка вышивала портянки в подарок жениху.

² Бирна — подарок жениху и его родным от невесты.

мыло и взглянула на обертку. — Очень красивая девушка... А Закир сказал, что я красивее. Мама, разве я такая красивая, а? Нет... У меня ведь болит голова... Он к нам не придет, никогда в жизни не придет... Этот платок я вышивала, чтобы подарить ему... — Она взяла один из платков и стала засовывать его в чулок.

— Ты красивая, дитя мое, ты и сейчас красивая. Скорее одевайся, платок отдашь потом, — торопила ее тетя Хамида, но Галима была слишком занята своим делом и плохо слушала мать.

Теперь у Галимы никаких тайн не было. Она стала рассказывать о платке, который прежде тайком от всех отдала Закиру, о подарке Закира и о встречах с ним наедине.

— Милая, оденься уж, — настаивала мать.

— Нет, я не буду сейчас одеваться, — возразила она. — Я оденусь, когда соберусь на гулянье, на девичью горку. Мне нужно еще ткать холст...

— Вот, смилуется бог, выздоровеешь и на гулянье пойдешь, и все будет у тебя, родная, — сказала тетя Хамида и отвернулась, утирая слезы.

Моя мать и соседки тоже вытерли слезы.

Спустя минуту Галима взяла одно из своих платьев и достала из какого-то потайного карманчика святое, сложенное в несколько раз письмо.

— Это письмо Закира! — объявила она, ничуть не стесняясь. — Мама, прочесть его вам? — и она начала вертеть письмо в руках.

— Ладно, дитяtko, — остановила ее мать, — прочтешь потом, когда оденешься.

После долгих уговоров она вынула праздничное платье и начала его надевать. Видя, что Галима надевает его прямо на другое платье, моя мать удержала ее:

— Родная, сними сначала это платье, потом наденешь другое. Волосы причеши.

Когда она сказала так, я вышел. Уже в дверях я услышал:

— Как болит у меня голова!

14

Отец и дядя Фахри готовились встретить муллу и хальфа. Они велели мне выйти за ворота и поглядывать, не идут ли они.

Я долго ждал. Наконец народ высыпал из мечети, и группа людей отделилась от толпы.

Все были в чалмах и под мышкой держали Коран. Они не

спеша направились в нашу сторону. Я бросился к отцу и сообщил, что мулла идет, затем вернулся в комнату, где одевали Галиму-апай.

— Идут! — выпалил я.

И так у меня получилось громко и тревожно, что, услышав слово «идут», Галима-апай испугалась.

— Идут? — тревожно переспросила она. — Кто идет?.. Зачем?.. Нет, нет, пусть не приходят, не надо!

Тетя Хамида и мать бросились к ней:

— Родная, успокойся, они придут и уйдут. Вот, бог даст, и ты выздоровеешь после их молитв.

Галима замолчала, но все еще была напугана и дрожала, будто на морозе. Потом легла на приготовленное место посреди хике и укрылась покрывалом, словно спряталась от кого-то.

В соседнюю комнату входили мулла и хальфа. Сюда доносился их говор, голоса отца и дяди Фахри, встретивших гостей приветственными словами:

— Заходи, мулла-агай, милости просим!..

— Вы хальфа, вы уважаемые люди, проходите вперед!..

— Идем, идем!.. Хорошо, ладно!

Услышав, как они приглашают друг друга пройти, Галима-апай высунула голову из-под покрывала и огляделась. Хотя Галима очень изменилась, она была еще красива. Ее побледневшее лицо и затравленный, испуганный вид вызывали жалость.

Вскоре вошел дядя Фахри:

— Мулла и хальфа пришли. А у вас как? Вы готовы? — он взглянул на Галиму. — Если готовы, то можно и заходить.

Он вопросительно глянул на тетю Хамиду и на мать. «Ладно, пусть зайдут», — сказали они, и он вышел.

Дверь открылась, и один за другим вошли мулла с нижнего конца деревни, хальфа и муэдзин.

С их приходом комната наполнилась движением. Держа в руках Коран, они упрашивали друг друга сесть в передний угол.

Несколько секунд Галима лежала спокойно. Но как только они с шумом расселись вокруг нее, она резко подняла голову и метнула взгляд по сторонам.

— Пришли... Пришли! — закричала она и попыталась встать.

И непонятно было, испугалась она муллы и хальфа или обрадовалась им.

Но она, приподнявшись на хике, крикнула:

— Опять пришли!.. Они пришли мазать лицо черным!.. Спасите меня!

И все увидели, насколько велик ее страх перед людьми в чалмах.

Обычно моя мать и тетя Хамида очень стеснялись муллы, муэдзина и хальфа, старались не только не показывать им лицо, но и вообще не попадаться на глаза. Обстоятельства были тяжелые, Галима никак не могла успокоиться, и им про стеснительность пришлось забыть. Мой отец тоже подошел к ней, взял за руку, поправил на ней одеяло:

— Галима, дочка, лежи спокойно... Они только прочитают Коран, пошепчут, заговорят — и все. Они не будут мазать тебя сажей.

На помощь ему поспешили моя мать с тетей Хамидой:

— Мы здесь, милая, будь спокойна. Вот, даст бог, выздоровеешь...

Они нарочно говорили громко, чтобы Галима хорошо слышала их, помнила, что они здесь, рядом с ней, и не боялась ни муллы, ни тех, кто пришел с ним.

Но как они не утешали ее, мои родители и тетя Хамида, Галима-апай не могла побороть страха и все повторяла свое и пыталась встать с хике.

Решив, что наконец наступил самый благоприятный момент для вмешательства, мулла и хальфа принялись торопливо, в один голос, читать Коран:

— «Агузе биллахи, минашшайтан ирразим...¹ Бисмилла...»

Услышав, как больше десяти голосов затянули разом, Галима рванулась с места, в отчаянии замахала руками.

— Не надо! Не надо!.. — закричала она, смертельно напуганная.

Но несколько сильных рук тут же схватили ее, и она не могла даже шевельнуться. Несмотря на вопли Галимы, мулла и хальфа, пришедшие заговорить ее болезнь, продолжали свое дело. Они хором прочитали «альхам»², затем, сказав: «Ла-хауля веля куата илла биллахлазыйм»³, они разом наклонились над Галимой и — «Тьфу, тьфу!» — плюнули в ее лицо.

Видно, Галима вспомнила, как водили ее недавно по улицам, плевали в лицо при всем народе и как она готова была провалиться от позора сквозь землю, броситься живьем в огонь.

¹ Слова молитвы, означающие: «О боже, я верю, что ты отворишь меня от шайтана».

² Начальные слова первой суры Корана.

³ Молитва о спасении от всех бед.

— Нет, я не грешна! Зачем вы плюете мне в лицо?! Я утоплюсь!.. Вот я в воде... О боже мой, я избавилась от них!..

Она говорила все тише и тише, наконец, откинувшись на подушку, замерла, как неживая. Не обращая внимания на то, что она без сознания, заклинатели ее недуга принялись читать молитвы с еще большим усердием. Словно уже победив врага — бесов и шайтанов, совративших, по их мнению, Галиму, они вошли в полный раж. То заунывно тянули, то выкрикивали, а то и пели свои молитвы...

Выкрикивая хором тексты «лахауля», они стали дуть и плевать на Галиму с небывалым пылом. Мне стало страшно. Не только больной человек, тут и вполне здоровый мог испугаться насмерть.

Я невольно подумал: а ведь и мне когда-нибудь случится заболеть и бредить и они точно так же будут истязать меня.

Придя в сознание, Галима-апай подняла голову, но дюжие руки сидящих рядом людей не дали ей встать. Придерживая одной рукой Галиму, другой сжимая Коран, они продолжали торопливо читать и все так же плевали на Галиму. Галима снова попыталась встать. Но множество сильных рук прижимали ее к хике. Тогда она приподняла немного голову, плюнула в лицо мулле, сидевшему поблизости, и откинулась на подушку.

Странно, но никто не обратил внимания на то, что больная плюнула мулле в лицо. Вскоре Галима снова пошевелилась, посмотрела на всех расширившимися глазами и, болезненно искривив губы, улыбнулась — словно смеялась над своими истязателями. Затем отвернулась и натянула на себя с головой одеяло.

Но мулле и хальфа не понравилось, что Галима спрятала голову под одеяло. Наверное, когда заговаривают, лицо больной должно быть открыто, — иначе что за смысл плеваться? Несмотря на отчаянное сопротивление Галимы, они стянули с ее головы одеяло и снова открыли лицо девушки.

Галима вцепилась обеими руками в одеяло и тянула его на себя, пытаясь укрыть голову. Но они упрямо вырывали одеяло из ее рук, и Галима стала метаться сильнее прежнего.

Но заклинателям не было никакого дела до ее мук. Теперь они уже не на шутку схватились с шайтаном, смутившим девушку, громче стали голоса и чаще плевки. Почувствовав, что ей не совладать с этой страшной сворой, Галима уже и не пыталась прятать голову. К ее спутанным, свисавшим с висков волосам и к лицу прилипли плевки. Она посинела, дышала часто, надрывно, взгляд помутился.

Дядя Фахри стоял в углу и, опустив голову, смотрел в пол и повторял с болью: «О дитя мое, дитя!»

Мать и тетя Хамида выходили в соседнюю комнату, где готовилось угощение. По их взглядам было видно, как они терзались. Чтение Корана продолжалось больше часа.

Под конец Галима неподвижно, с закрытыми глазами лежала среди бесновавшихся людей в чалмах, словно растерзанная когтями ненавистных обычаев.

До сих пор стоит перед моими глазами ее трагический, вызывающий сострадание и жалость и жгучую боль образ. Закрыв длинными ресницами свои черные глаза, она лежала, недвижимая, сдавшись этой проклятой жизни.

И до сих пор я ясно вижу ее — одну из бесчисленных жертв ужасного прошлого...

Когда мулла и хальфа перелистали весь Коран и с последними строчками «лахаули» швыряли в ее прекрасное лицо свои последние ядовитые плевки, Галима уже ничего не чувствовала...

Мулла и хальфа ушли в соседнюю комнату, к столу, а плевки на лице Галимы-апай остались невытертыми, у нее уже не было сил даже на то, чтобы поднять руку...

15

Заклинатели вышли радостные, будто они совершили большое дело, словно войско, воодушевленное победой над врагом.

Они высыпали во двор, чтобы повторить омовение. Отец приказал мне подать им кумган и сливать на руки воду.

На свежем воздухе хальфа почувствовали себя вольготно. Они вошли в хлев, а я остался по другую сторону тонкой, со множеством щелей стены. Вероятно, они подумали, что я ушел.

— Ну-ка, Гали-агай, достань, — сказал один из них. — Что-то голова разболелась.

Гали-хальфа вынул из кармана что-то завернутое в бумагу, развернул и, бережно держа обеими руками, протянул товарищам.

Несколько человек разом протянули руки, щепоткой взяли что-то с бумаги и положили на ладонь другой руки. Затем, запрокинув головы и открыв рты, высыпали это под язык. Гали-хальфа тоже насыпал себе под язык этого порошка, аккуратно свернул бумажку и опустил ее в нагрудный карман. И уже через несколько минут они стали совсем другими, оживились, засмеялись, языки у них развязались.

Выплюнув странное это снадобье, первым заговорил Нагим-хальфа:

— Ну и мягкая же у нее рука! Когда она хотела встать, я схватил ее за локоть и почувствовал, что моя рука тает в блаженстве.

Тут и остальные выплюнули зелье и заговорили все разом. Габдулла-хальфа похвалялся пуще Нагима-хальфа.

— А я? А я?— сказал он возбужденно.— А я взял ее за ногу под одеялом. Ох и горячее же у нее тело!— он хихикнул.— Она отдергивает ногу, а я не пускаю...

Третий, высокий юноша с нездоровым землистым лицом, говорил, неприятно кривя губы:

— Я не отводил взгляда от ее лица, ей-богу! Она ведь как райская гурия... Жаль, что она пропала, заболела... Я все боялся, что она закроет лицо. Хорошо, что тот старый шайтан каждый раз стаскивал с нее одеяло...

Видимо, «старым шайтаном» он называл муллу.

— Вероятно, он и сам был не прочь поглазеть на нее,— сказал кто-то, чьего лица я не мог разглядеть.

Но другой возразил серьезно:

— Братец, у кого есть душа в теле, тот не может не любоваться ею.

Я думал, что по крайней мере Габдрахман-хальфа — скромный человек и не примет участия в их разговоре. Но и он не остался в стороне.

— И правду говорят: самое лучшее яблоко ест червь,— заметил он своим скрипучим голосом.— Такая красивая, а пропала, бедняжка, из-за неуча-мужика. Уж коли так хотелось гулять, так дала бы знать нам. Передала бы письмо через Гали, уж мы знали бы, как обойти шариат...— выложил он свою «печаль».

Один из хальфа, сплюнув через двери хлева что-то зеленое, уныло сказал:

— Пустое вы мелете. Я бы и сейчас женился на ней, на такой... Когда она рвалась из рук, я коснулся ее груди... Ох!

Они долго стояли так, видно забыв, где находятся. Я начал мерзнуть. А они и не думали выходить из хлева.

Но в это время отец выглянул во двор и, заметив меня, крикнул:

— Пусть хальфа изволят войти!

Услышав слова отца, хальфа торопливо пополоскали рты водой из кумгана, вытерли губы платком.

— Чтоб никакого запаха,— заметил один,— если мужики пронюхают, не то что молодых девушек заговаривать, даже к старухам не позовут.

— Да, лучше, чтоб не знали...— согласились другие.

В комнате было уже приготовлено место для обеда и расставлены тарелки. За обедом хальфа нельзя было узнать — такими они стали святошами, казалось, напрочь забыли, о чем только что с таким азартом говорили в хлеву. Теперь они изъяснялись книжными словами и, сочувственно покачивая головами, рассуждали о различных болезнях. Но от их книжных речей ни дяде Фахри, ни моему отцу не становилось легче. Гости почувствовали это и, желая угодить хозяевам, завели разговор о другом. Обычно, когда мулла и хальфа стилизовались с неверием «невежественных» людей, глухих даже к тому, что произошло на их глазах, они начинали вспоминать о давних временах.

Так случилось и теперь.

Пространно, приводя множество примеров, рассказывали мулла и хальфа о том, как в прежние времена люди переносили тяжкие несчастья, побеждая их терпением, а если они и не могли избавиться от бед в этой жизни, то получали в награду неслыханные блаженства на том свете.

Обо всем вспомнили спасители Галимы — о чудесах известных в прошлом святых и крупных ишанов, об их священном дыхании и молитвах, исцелявших самые ужасные болезни; о голодных и нищих, которых эти святые люди делали сытыми и богатыми. После этих рассказов стало казаться, что в прежние времена и впрямь всякие тяготы переносились легко, бедность была привлекательной, а болезни — блаженством, ниспосланным самим аллахом.

У дяди Фахри лицо посветлело, казалось, он забыл о болезни Галимы. Отец тоже понемногу начал вступать в разговор. Видя, что дело пошло на лад, мулла и хальфа оживились, стали наперебой хвастаться тем, как они в молодые годы и даже совсем недавно, всего несколько лет тому назад исцеляли болезни, как выздоравливали несчастные от одной их молитвы. Нагнав страху рассказами об ужасных болезнях, они перешли к нечистой силе. Разумеется, здесь никто не сомневался в существовании чертей и духов, и разговор на эту тему велся чрезвычайно серьезно и увлеченно.

Вспоминали, кто из односельчан и при каких обстоятельствах видел чертей, кто заболел, а кому удалось спастись.

Муэдзин был очень старый человек. И весь свой долгий век изо дня в день в самое темное время ночи¹ ему приходилось ходить в мечеть одному, так что обо всем этом

¹ Муэдзин отправлялся в мечеть, чтобы сзывать к молитве, совершаемой до восхода солнца.

он должен был знать лучше других. Спросили его мнение на этот счет.

Старик муэдзин, польщенный вниманием, дал волю своей болтливости.

— Да, немало повидал я в этой жизни,— охотно начал он.— Вот, к примеру, расскажу один-два случая. Однажды, после вечерней молитвы, отправился я к Галяви. Они позвали меня к сыну, который заболел оттого, что его задел бес¹. Мальчика мучили корчи. Я начал дуть, читать молитву, а мальчик пуще того корчится, бредит, аяты² мои повторяет и этим силу их убивает. Повторяя за мной молитвы, он расстраивал их действие. Тогда я как следует дал ему по щеке и спрашиваю: «Что тебе мерещится? Отвечай сейчас же!» Парень присмирел и говорит: «Муэдзин-бабай, ты меня не трогай, они не велят мне говорить».— «Кто не велит?»— спрашиваю. А он шепчет: «Боюсь, боюсь!..» Я еще раз смазал его по щеке, он и взмолился: «Скажу, скажу... Это рыжая собака старика Мингаза». Видно, черт представился ему в виде собаки. Я написал на бумажке: «Рыжая собака старика Мингаза»— и, сотворив молитву, хотел сжечь бумажку. Мальчик вышел из себя, кричит: «Аллаха ради не сжигай, она меня кусает». Но я, не обращая на него внимания, начал жечь. Тот мечется, пытается вырвать у меня бумажку. Но я не посмотрел на него и сжег. После этого он сладко заснул... Так как повозился я немало, то и задержался у них до глубокой ночи. На улице попалась мне собака, величиной с быка, то вперед забежит, то сзади крадется. «А-а, у тебя там не вышло,— подумал я,— так ты сюда пришла...» Прочитал молитву и взмахнул палкой. И оборотень этот мигом исчез...

Мулла и хальфа удивленно покачали головами и рассмеялись. (А почему рассмеялись, я тогда еще не понимал.)

— Подождите, еще не все,— жестом остановил их старик.— Вернулся я домой, а моя остабикэ³ говорит: «Почему так поздно? Я баню истопила, ждала тебя, не дождалась и сама помылась. Сходи в баню один». Я отправился в баню, разделся, взобрался на полку и только было начал париться, как кто-то вцепился сзади в веник. «А, ты и сюда успела прийти, злая тварь?!»— закричал я, прочитал молитву, и бес с

¹ По мусульманским религиозным представлениям, если бес задевал человека, последний заболел: становился немым, глухим и пр.

² Аят — стих из Корана.

³ Остабикэ — жена священнослужителя.

шумом свалился под полук. Я с удовольствием попарился и вышел. Черти ведь только и ждут удобного случая, чтобы причинить зло человеку. Вот...

Но мулла прервал муэдзина.

— Бесы у мусульман все-таки лучше, — сказал он, — вот у кяфиров¹ бесы — истинно враги человека... — и пробормотал какую-то короткую молитву.

Муэдзин, которому понравилось внимание собравшихся, охотно подтвердил слова муллы.

— Воистину так, ваши слова весьма справедливы, — сказал он. — Однажды зимней ночью я совершил омовение и отправился в мечеть. Темно хоть глаз выколи. Я вошел в мечеть с тем, чтобы растопить печь и погреться у огня. Вошел и... обомлел! Комната для чтения фарыза² и комната для чтения сунната³ полны людей, совершающих намаз. Но эти люди не были похожи на нас. Страшно тонкие, а зада и вовсе нет. Я понял, что это мусульманские бесы читают молитву. Я прочитал про себя «Сураи ен»⁴ и уселся в сторонке. И знаете что? Они, как и мы, бьют земные поклоны, но совершенно бесшумно. Ну ни звука! Совершили намаз и, как туман, беззвучно рассеялись. И никакого мне вреда не причинили...

Хальфа с туго набитыми ртами не переставали дивиться рассказу старика муэдзина. Хазрет подтвердил его слова. Он сказал, что мусульманские бесы не только не причиняют вреда, напротив, они приносят пользу мусульманам.

Один из хальфа сказал:

— Хазрет, по-видимому, они потому так бесшумны, что относятся к разряду привидений.

Другие хальфа, достаточно насытившиеся к тому времени, тоже вступили в беседу. Теперь, на сытый желудок, заговорили об ангелах. Однако я не мог понять, что это за бесы из разряда призраков.

Отец и дядя Фахри тоже ровно ничего не понимали, хотя и слушали с большим вниманием. Лицо дяди Фахри то бледнело, то краснело, а в иные минуты оно выражало крайний испуг.

Говорили о том, что бесы принимают различные обличья, о всяких небылицах, связанных в представлении народа с оборотнями и привидениями, о том, что в некоторых людей

¹ К я ф ы р — не исповедующий ислам, неверный.

² Ф а р ы з — обязательная часть молитвы.

³ С у н н а т — необязательная часть молитвы. Опоздавшие к началу службы могли ограничиться только чтением фарыза.

⁴ С у р а и е н — аят Корана о бесах.

вселяются черти. Должно быть, все это казалось им интересным и веселым. Но я видел, что нашим домашним от всей этой чертовщины даже есть расхотелось.

Больше всех, наверное, испугался я. В каждом углу мне мерещились черти, казалось, что один из них задел Галиму-апай и потому она захворала. Я с ужасом думал о том, как выйду один в хлев дать лошади сена, как пойду в баню или ночью схожу во двор. Я ведь верил тогда каждому их слову и мысли не допускал, что хальфа могут говорить неправду.

Долго тянулось застолье, страшные истории следовали одна за другой. До отвала наевшись, принялись за чай.

Перед концом чаепития дядя Фахри вышел в соседнюю комнату к Галиме и вернулся очень расстроенный.

— Мулла-агай,— сказал он горестно,— Галима снова мечется...

Он-то глубоко верил в то, что после молитвенного обряда Галима выздоровеет. И по тому, с какой болью произнес он эти несколько слов, было видно, что дядя Фахри потерял последнюю надежду. Услышав эту новость, опечалился и мой отец. Но ни мулла, ни муэдзин, ни хальфа не выразили признаков беспокойства.

— Фахри-агай,— сказал мулла хладнокровно,— ты и не надейся, что она выздоровеет сегодня же. В священных книгах сказано, что исцеление наступает через три дня, а если нет, то нужно ждать неделю, а по истечении недели, если болезнь не уходит, нужно терпеливо ждать сорок дней.

Так мулла на много дней продлил надежду дяди Фахри.

— Значит, она не скоро выздоровеет?— спросил мой отец. Мулла не растерялся:

— Нельзя предвидеть дела бога. Если это случилось в добрый час и ангелы сказали «аминь», она может выздороветь и в один день. Нельзя знать, когда свершится милость божия, потому бог и велел никогда не терять надежды на его милость. Только шайтан, сказал он, живет без надежды. Нужно покориться божьему повелению и терпеливо ждать.

Что могли возразить на эти слова дяди Фахри и отец? Только еще ниже опустили головы. Разумеется, им не хотелось оказаться в одной компании с шайтаном.

Прочитали фатиху¹ за ниспосланную пищу, и дядя Фахри раздал заранее приготовленные подарки. Мулла и хальфа снова прочли фатиху, выразили пожелание скорейшего выздоровления Галимы и разошлись по домам.

¹ Ф а т и х а — благодарственная молитва.

Хотя мулла со всем своим причтом совершили молитвенный обряд над Галимой и получили за это полновесную садаку¹, лучше ей не стало. Моя мать решила остаться на ночь здесь, у тети Хамиды и дяди Фахри, чтобы разделить с ними и это горе. Мы с отцом вернулись домой.

Я долго не мог заснуть.

Я не мог забыть страдания Галимы-апай, страшный молитвенный обряд, мерзкие плевки, отвратительную болтовню хальфа в хлеву, рассказ муэдзина о нечистой силе. Эти бесы, горя глазами, крутились передо мной, вот-вот набросятся и проглотят живьем. А мулла, муэдзин, хальфа конечно же друзья этих бесов, призраки, сбивающие людей с пути...

16

Шли дни.

Теперь я редко появлялся в медресе, а если и приходил, то учиться как прежде уже не мог. В моей душе родилось недоброе против хальфа. Теперь я уже не считал, что они «хорошие люди», медресе казалось мне гнездилищем всякой нечисти. Раньше я оставался ночевать в медресе, но теперь унес свою подушку и кошму и уходил на ночь домой. Отец и мать на это ничего не сказали. Так в моей жизни произошла перемена, маленькая, но все-таки перемена.

Несмотря на то что Коран прочитали от корки до корки, прекрасное лицо Галимы-апай оплевали нещадно, она чахла все больше. Если чего и добились, так разве того, что заговаривалась она теперь по-иному.

— Мулла плюет мне в лицо! — вскрикивала она, отмахиваясь обеими руками. — Тянут за ноги... За руки хватают!..

Проснувшись в испуге, она все повторяла:

— Они кричат, бьют меня, душат... Мулла-бабай гонит...

Возможно, если бы Галиму после страшного потрясения того вечера, когда ее и Закира привели в медресе, и особенно после позора следующего дня оставили в покое, если бы она не слышала разговоров, не прошла через странную ворожбу и заклинания, от которых и здоровый-то человек сойдет с ума, если бы по сто раз на дню не выслушивала проклятий и утешений, — возможно, она и выздоровела. Но случилось иначе. Каждый день ей приходилось слышать такое, что нагоняло на нее ужас. В полный голос возмущались при ней ходившими по аулу слухами: вот, дескать, бесстыдники, говорят, мол, в нашу Галиму бесы вселились. Со-

¹ Садака — подношение.

седи, заходя к дяде Фахри, с опаской поглядывали на нее. Если Галима бывала в комнате одна, они боялись заходить, а если и заходили, то смотрели на нее как на кикимору или медведя на привязи. Галима видела, что ее боятся, и это рождало в ее душе еще большую подозрительность. Старухи рассказывали ей страшные истории и небылицы о том, как в памятном им году дочка такого-то сошла с ума, ходила по улицам и пугала детей, а сына такого-то коснулся шайтан, и он окосел, стал криворотый и кривошей.

Теперь уже не только посторонним, но и нам Галима стала казаться не просто больным человеком, пораженным временным недугом, а несчастной, ум которой помрачился. И мы тоже стали побаиваться Галимы. И не только в речах и поведении изменилась, даже обликом она стала другая: глаза стали еще больше, потускневшие от боли, они теперь горели лихорадочным огнем, лицо вытянулось, щеки впали, чистая светлая кожа поблекла и пожелтела. Будто не любимая дочь у родителей, а заброшенная сиротка, голодная, холодная, бесприкайная, без единой близкой души.

День ото дня углублялся ее недуг, но дядя Фахри, тетя Хамида и мои родители все еще верили, что настанет день, она выздоровеет и станет прежней красавицей Галимой. Неустанно изыскивали все новые и новые для нее лекарства и верили: есть где-то на свете такое снадобье, такая сила, что в одно мгновение уничтожит болезнь Галимы-апай.

У каждого встречного-поперечного спрашивали совета, и что люди ни скажут — тут же испытывали на больной. Чего только не пила бедная Галима-апай, какие только люди не ворожили над ней! Она привыкла к бесконечным плевкам и щиплению знахарей, ко всякому отвратительному пойлу, которое день-деньской вливали в нее! Она присмирела и уже не сопротивлялась, как прежде. Но покорялась она не потому, что верила в пользу знахарских ухищрений, — просто теперь у нее не было ни воли, ни желаний. Она была чем-то вроде неразумного ребенка — что скажут, то и сделает. Куда девалась прежняя быстрая, ловкая Галима!

17

Закир как исчез, так больше ничего о нем не слышали. Однако слухи и сплетни о нем не затихали.

— Он уехал и больше не вернется, — говорили одни. — С каким лицом он покажется односельчанам? Нет, если хоть капля стыда осталась, он не вернется!

— Погодите, вот залечит свои раны и явится! И кое-кто еще пожалеет, что ни за что опозорил невинных людей,— говорили другие.

Уже пошли по аулу песенки и глумливые стишки про Закира и Галиму. Особенным успехом пользовались эти песенки у младших шакирдов, они переписывали их друг у друга в толстые тетради, потом тетради эти переходили из рук в руки. Издевательские куплеты распевали не только у нас, их, благодаря шакирдам, знали и в соседних деревнях.

Песенки, стишки, сплетни доходили и до наших семей, растравляя душевные раны, умножая горе и печаль.

Галима-апай тоже слышала все это, но стыда-позора она уже не понимала. От насмешек не терзалась, потому что и терзаться теперь она была неспособна...

Прошел месяц, как ушел Закир, и мы слышали весть о его возвращении.

Да, он вернулся.

Встретив его, я поразился. Он исхудал, щеки теперь не горели румянцем, глаза провалились. Над левой бровью краснел рубец, словно от удара копытом, правый глаз будто сощурен. Куда подевалась его стройность! Он ходил наклонившись вперед, как человек, у которого болит живот или поясница. Уже издали бросалась в глаза его сумрачность. Увидел я его, у меня сжалось сердце. Казался чужаком, брел как человек, придавленный горем или только что поднявшийся с постели после долгой изнурительной болезни.

— Он лежал в больнице,— говорили люди,— но не вылез; у него кровоизлияние было... Видать, уже не поправится... Он подал в суд на тех, кто нанес ему побои, и на хазрета... Если, говорит, выздоровею, пока не отомщу, не успокоюсь. Я-то, говорит, ничего, мне все нипочем, а вот Галиму сгубили. Очень жалеет ее, горюет, они ведь и в самом деле любили друг друга.

Толкам не было конца, и, конечно, услужливые соседи все несли к нам и в дом дяди Фахри.

Передавали люди и хвастливые слова тех, по чьей вине Закир был схвачен, опозорен и избит. «Если он не уймет-ся,— якобы говорили они,— мы ему еще не то покажем: снова ребра пересчитаем, все зубы вышибем и дадим их в собственных руках подержать». Говорили, что и хазрет ругает Закира на чем свет стоит: «Пусть этому окаянному парню никогда не будет добра! Мало того, что он совершил грех, он еще на старших жалобы подает, чтоб его скрючило, чтоб у него руки-ноги отнялись!»

Таким образом, с возвращением Закира о событии, которое стало уже было забываться, заговорили снова.

И опять услужливые соседи, кто бы чего в каком бы конце деревни ни сказал, все несли к нам. И с каждым днем в двух домах становилось все сумрачней, все печальней.

В последнее время к нам часто навевывалась мать Закира и делила с нами общее горе.

Спустя несколько дней после возвращения Закира она пришла особенно подавленная. Моя мать оставила все свои дела и начала участливо расспрашивать ее о Закире. На вопрос матери: «Как там Закир, жив-здоров вернулся?» — она ответила со вздохом:

— Вернулся-то он здоровым, но очень уж худой и слабый. Доктора сказали ему, что его болезнь ушла внутрь, чтобы он не работал и сидел дома. Хоть старается виду не показывать, но он совсем, совсем не такой, как прежде. Все думает, думает о чем-то. Не знаю, что и будет.

— Оказывается, его тогда сильно побили, — сказала мать. — Салим хвалился, что трехфунтовой гирей ударил Закира в спину и у Закира из носу хлынула кровь.

Мать Закира испугалась.

— Чтоб они подошли, чтоб грязными брызгами разлетелись! — крикнула мать Закира. — Погубили сына ни за что. Я смотрю ему в лицо, а это не его лицо, и мне делается страшно. Ночами он стонет, будто у него что-то болит. Как бы кровь в сердце не затекла...

Моя мать подошла к ней и сказала, словно бы по секрету:

— Совсем погубили! Вот и наша Галима... умом помешалась... и с каждым днем хуже и хуже. А девушка была-то как ягодка!

Мать Закира сказала тихо:

— Говорят, что Галима сошла с ума, в нее вселились бесы... бог ее наказал. Дескать, ангелы теперь оставили дом Фахри и там поселились бесы...

При этих словах мама изменилась в лице:

— С такого позора сойдешь с ума! Мы и сами готовы с горя помешаться... Вчера смотрю на Галиму — взяла какой-то платок и тешится им, сама невеста что говорит... Прислушалась: а это она свадьбу играет. Смотрю и чуть не плачу. Иногда она приходит в себя и как будто понимает, что говоришь ей, но потом снова... Каких только лекарств не давали ей! Да толку мало. Кайнага говорит: «Пусть нищим останусь,

только бы Галима выздоровела. Я ее к ишану Ажмату повезу, говорят, его заклинания помогают». Вчера продал двух овец, в дорогу собирается. Скоро они из-за Галимы по миру пойдут...

— Ведь дитя родное, — сокрушенно покачала головой мать Закира. — Как не горевать! И я из-за сына вся извелась. Его отец говорит: «Не убивайся зря, что толку о происшедшем жалеть?» Закир-то вроде держится, еще и меня успокаивает: «Не печалься, — говорит, — мама, я поправлюсь, и Галима выздоровеет». Только о ней и думает. Если бы и впрямь выздоровели, мы бы им такую свадьбу сыграли — у всех врагов сердца бы сгорели от зависти!

— Уж только бы выздоровели! А уж за свадьбой дело бы не встало! — обрадованно подхватила мама.

И лица их сразу прояснились, осветились надеждой. За такими разговорами просидели долго, нынешними горестями печалились, от грядущих дней ждали счастья...

18

Галиму все же свозили к ишану Ажмату, но лучше ей не стало.

Правда, стала поспокойнее, меньше бредила, реже вскакивала по ночам, не так часто вздрагивала и пугалась неведомо чего. Но по-прежнему грустила и разговаривала сама с собой или же была весела, как ребенок, и беспечна.

Если бы тетя Хамида или мама не меняли ей платье, она бы, наверное, неделями не снимала его, волос она теперь не расчесывала, лица, если не скажут, не мыла. Но если уж начнет мыться, то трет и трет, никак не может остановиться.

— Милая, — скажет ей тетя Хамида, — хватит, твое лицо уже чистое.

— Нет, нет, чернота еще не сошла, — отвечала Галима-апай. — Они ведь сильно измазали, теперь так просто не сойдет, — и терла лицо до тех пор, пока не уставала, пока в кумгане не кончалась вода.

Затем, даже забыв утереть лицо, она принималась за что-нибудь другое.

Мы понемногу начали привыкать к ее выходкам, речам, к ее безумию. Галима все больше становилась похожей на дурачка, жившего в другом конце аула, которого так и звали: Сумасшедший Ахмет.

Конечно, никто из наших не хотел сравнивать Галиму-апай с дурачком Ахметом, даже в мыслях не мог допустить, но

слова эти: «Сумасшедшая Галима» — нам приходилось слышать все чаще и чаще. Наша красавица Галима — сумасшедшая! Мы были оскорблены этим, но молча терпели. «Что поделаешь! — вздыхали взрослые. — Коли аллах предопределил!»

— Какая же она сумасшедшая? — утешали мы себя. — Она еще выздоровеет, еще будет веселой и счастливой.

Но уже сами себе не верили.

Мне было тяжело слышать, когда соседские мальчишки говорили: «Сумасшедшая Галима» — и я часто ссорился с ними из-за этого.

Моя сестра, моя любимая Галима-апай — сумасшедшая!..

19

Зима прошла, наступила весна. Раскинувшиеся под лучами улыбающегося солнца луга покрылись манящей зеленой травой.

Пригорок за деревней, куда девушки выходили на игры, снова стал красивым, зазеленели мелкие деревца вокруг.

Девушки, которые всю зиму до истомы в руках пряли пряжу, ткали полотно, вздохнули свободнее и по пятницам приходили на этот красивый пригорок.

Подростки, занятые по горло на весенней пахоте, теперь стали собираться у зарослей мелкого кустарника, близ Девичьей горки, играли в свои мальчишеские игры, искали птичьи гнезда и таскали оттуда яйца...

И взрослые, пользуясь перерывом между весенними и летними работами, шли на край луга и отдыхали на душистой зеленой траве.

В прежние годы сюда приходила и Галима-апай, самая красивая и бойкая из девушек аула. Она всегда верховодила играми девушек. В ту пору и я играл там с мальчишками, весь день пропадал.

А в нынешнем году вся красота этих мест потеряла для нас свою прежнюю привлекательность. Галима, кажется, и вовсе забыла о шумном пригорке, не нужны стали ей веселые девичьи игры, да и подруги позабыли о ней. И тетя Хамида с дядей Фахри не хотели, чтобы Галима показывалась на игрищах. Если она вспоминала о них, сразу отвлекали чем-нибудь, все время были настороже. Незаметно для Галимы они стерегли ее и удерживали дома.

Но теперь Галима почти ежедневно, даже по пятницам, спускалась к реке за их огородом. Сидела там часами, забыв

о доме, до тех пор, пока за ней не приходили тетя Хамида или моя мать. Раньше мама и тетя Хамида боялись, что, оставшись одна, Галима-апай может упасть в воду, и не спускали с нее глаз, если сами были заняты, поручали мне; но время шло, ничего не случалось, и надзор ослаб. Только вспомнив о ней, они бежали на огород взглянуть, все ли в порядке.

Сидя у реки, Галима собирала какие-то травы, ненужные хворостинки и играла увлеченно, как ребенок. Если кто-нибудь подходил к ней, она молча оборачивалась и снова принималась за игру.

Случалось, что она оставалась на берегу одна, тогда мальчики и девочки окружали ее и дразнили. Она очень сердилась, ругала их, но никого не трогала. Гнев Галимы-апай был совсем другой, чем гнев здоровых людей: она обижалась как-то особенно — мило, беспомощно. Я спешил к ней на помощь, отгонял мальчишек и оставался с ней.

Если тетя Хамида или моя мать замечали, что ее дразнят ребята, они выходили из себя, с бранью набрасывались на озорников.

Однажды я спустился к реке и стал украдкой наблюдать за Галимой-апай. Она сидела под зелеными ивами и разговаривала сама с собой:

— Ведь пришли... что ты скажешь... Разве бегут от свадьбы!.. Закир уехал на базар. К его возвращению нужно вскипятить самовар... Он принес подарки, очень красивые... Слава богу, и лицо мое теперь снова белое...

Грусть и радость то и дело сменялись на ее лице.

Заметив меня, Галима некоторое время смотрела пристально, словно гадая, кто же перед ней.

— И ты пришел?— сказала она наконец.— Куда же они ушли? Ходишь здесь, пугаешь людей...— она говорила недовольно, будто стесняясь моего присутствия.

— Галима-апай, кого я напугал?— спросил я.

Она еще раз пристально посмотрела на меня и ответила:

— Он боится!.. Ты уйди, а он пусть придет...

Когда же я сказал: «Пойдем, апай, домой», она глухо вздохнула: «Что ж, пойдем» — и покорно побрела за мной. По пути она часто останавливалась, оглядывалась, будто сомневаясь в чем-то и желая вернуться, но затем снова шла за мной.

Я часто наблюдал, как она, сидя в одиночестве, играла с травой и хворостинкой как с куклой, иногда же, положив подбородок на колени, грустно пела.

Как-то в пятницу я луговой дорогой шел домой. Неподалеку от полянки, где обычно собирались на игрища, я увидел кого-то в окружении детворы, дети теребили, кружили его. Девушки с удивлением смотрели в их сторону. Я подошел ближе. В кругу мальчишек стояла, улыбаясь, Галима. Мне стало и жалко, и стыдно.

Очевидно, вспомнив то время, когда она была еще здорова, Галима пришла сюда, но ее прежние подруги, взрослые девушки, облюбовали другое место, и, направляясь к ним, она очутилась среди детей. Уходя из дому, она так густо набелилась, что на лице ясно виднелись полосы. Хоть платье на ней было новое, но надела она его наизнанку и платок повязала старый, грязный. Радостная, ничуть не смущаясь, стояла она среди шумной оравы детей.

Меня бросало то в жар, то в холод, я быстро подошел к Галиме-апай, хотел увести от детей, но она заупрямилась. Она стояла и словно бы удивленно смотрела туда, где парни пели под гармошку.

Вскоре пришла и тетя Хамида, очень расстроенная тем, что Галима явилась сюда, стояла на виду у всех.

— И не заметила, как ушла!— повторяла она сокрушенно.

Подошла к дочери и стала осторожно уводить ее. Галима не сопротивлялась, но шла медленно и все время оглядывалась, словно не хотела расставаться с таким приятным местом. Девушки, собравшиеся на игры, смотрели нам вслед. До нас донеслись чьи-то сочувственные слова:

— Сумасшедшая Галима!.. Бедняжка, до каких дней дожила!..

Услышав это, тетя Хамида тяжело вздохнула:

— И у нас было время, когда Галима ягодкой красовалась, как и вы... Что поделаешь, если богу так угодно!— и из глаз ее покатились слезы.

«И в самом деле, если бы не загубили ее...— подумал я.— Было и у нас чудное время, когда она была краше ягодки».

20

Шли дни и месяцы. Жителям деревни уже приелись разговоры о Галиме и Закире. Только если вдруг встречали невзначай Галиму-апай, люди менялись в лице, смотрели на нее как на диковинное существо и проходили дальше.

— Бедняжка, и себя загубила, и у родителей из-за нее почернели лица, приняли они стыд...— говорили некоторые, смотря ей вслед.

Закир хоть и не выглядел таким цветущим, как прежде, но все-таки держался на ногах.

О Закире же говорили:

— Он болен, крепко болен, хоть и держится пока. Нет, не поправится он, болезнь у него внутри сидит.

Теперь односельчане уже не удивлялись тому, что Галима неприкаянно бродит по деревне. Не только они, но и наши домашние как будто привыкли уже к тому, что Галима стала полоумной, вроде Сумасшедшего Ахмета с другого конца деревни. Дядя Фахри, тетя Хамида, мои родители надежды на ее выздоровление еще не потеряли, но ждали уже без прежней уверенности. Даже старались больше об этом не говорить.

Галима теперь вела себя совсем как ребенок. Она приходила и к нам. Отец и мать смотрели на все, что она делала, на ее внезапные приходы и молчаливые исчезновения как на поступки ребенка.

Сама же Галима нисколько о себе не печалилась — она просто не понимала своего состояния.

Хотя мы вроде и привыкли потихоньку к ее помешательству, но боль тяжелым камнем лежала на сердце.

И не видно было конца ее мучениям, нашей душевной боли и страданиям. Так и шли наши дни — горе попеременно с надеждой...

Почти каждый день Галима-апай уходила за огород, к реке, в тень, занятые работой, мы уже не присматривали за ней, разве изредка наведывались туда. Она бродила по двору, позади дома, где рос картофель, выходила на огород и спускалась к реке. Возвращалась сама; только иногда, если ее долго не было, кто-нибудь отправлялся за ней.

Бывало и так, что она вставала раньше всех, с восходом солнца, и уходила к реке. В таких случаях ее приводила обратно тетя Хамида или я, если мне случалось подняться на рассвете, чтобы привести с луга лошадь.

Однажды утром, когда я встал рано, тетя Хамида попросила меня:

— Милый, сходи, пожалуйста, пригляди за своей Галимой-апай, ни свет ни заря ушла. Как бы в воду не упала... Я поспешил к реке.

Галима-апай с беззаботным видом сидела на берегу, опустив ноги в воду, и смотрела на течение. Даже когда я подошел, она как сидела, так и осталась сидеть: она уже не обращала внимания на людей и никого не стеснялась. Под лучами утреннего солнца плавали гуси и утки: хлопали крыльями, ве-

село ныряли, вода летела брызгами и расходилась волнами. О чем думала она? Любовалась ли играми гусей в тихой, утреннему спокойной воде? Завидовала ли радости уток, которые важно разгуливали со своими утятами по берегу и о чем-то шумно лопотали? Галима-апай внимательно смотрела на все это, как человек, находящийся в здравом уме; порой улыбалась, порой сидела грустная, будто погрузившись в глубокие думы.

Я постоял возле нее минутку и сказал:

— Галима-апай, пойдем домой...

Она же не отрывала глаз от какой-то точки на воде и слов моих будто и не слышала. Я повторил просьбу. Только тогда она как бы очнулась и, обернувшись ко мне, спросила:

— Зачем домой?.. Разве они пришли? Нет, я совсем не хочу их видеть...— и снова она отвернулась.

— Кого ты не хочешь видеть? У нас никого нет,— сказал я.

— Муллу, людей... Они плюются, мажут сажей лицо...— на лице Галимы отразился испуг.

Птицы все еще плавали в воде и громко хлопали крыльями, радуясь утру. Но вот уткам и гусям, видимо, надоело плавать, и они стайкой вышли на берег. Навстречу им шумно и торопливо спускалась другая стайка. Добежав до воды, они нырнули, вынырнули, отряхнулись и точно так же захлопали крыльями.

Залюбовавшись ими, я позабыл о доме и, не отрываясь, смотрел на реку. Только услышав чьи-то шаги, я оторвал взгляд от воды и посмотрел на человека, идущего по берегу. Это был Закир.

Я не знаю, видели Закир с Галимой хотя бы издали друг друга после того зимнего дня, когда их, избитых, с вымазанной сажей лицами, провели по улице, но так близко они сошлись первый раз.

Закир поравнялся с нами, уже прошел мимо... и вдруг увидел Галиму-апай. И Галима-апай сразу изменилась в лице, вздрогнула, будто от испуга. Закир стоял, побелев, не в силах ничего сказать, потом шагнул к ней.

— Галима!.. Это ты, Галима?..— сказал четыре слова и замолчал, словно ожидая ответа.

Глаза Галимы, как только она услышала голос Закира, наполнились слезами. Но лицо ее тут же посветлело, она улыбнулась и легко сказала:

— Ой, Закир, разве ты вернулся? Я измучилась, ожидая тебя... Ведь один выводок этих гусей наш... Нет, нет!

Ты уходи... Если нас увидят, мы пропали...— И она стала пугливо озиаться по сторонам, но тут же успокоилась.— Садись-ка, садись. Они не придут. Мы посмотрим, как плавают гуси... О, на твоём лице уже нет сажи!— сказала она удивленно.

От этих слов Закир побелел ещё больше. Растерянный, он сел рядом с ней и спросил:

— Галима, ты болеешь? Тебе тяжело?

— Нет, зачем мне болеть!— ответила она с улыбкой.— Я болела до свадьбы, а потом выздоровела. Так говоришь, будто не знаешь.— И, склонив голову, рассмеялась.

Закир совсем потерялся. Потом мягко, словно пытаясь что-то объяснить ей, сказал:

— Вот ты поправишься, тогда будем жить вместе, нам будет очень хорошо,— утешал он ее.— Тогда и мы разведем таких же гусей и уток, с такими же красивыми утками, как эти.

Но Галима, не дав ему договорить, огорченно спросила:

— А что, разве ты оставляешь меня? Мама говорит: «Выздоровливай, выздоравливай, будет свадьба...» Можно подумать, что я больна. Да, говорят, что я сумасшедшая... О боже мой, неужели я больна?..

Тень какой-то мучительной думы легла на её лицо, она опять уставилась в воду. Затем она вдруг запела:

Когда я для матери тку полотно,
От устали руки немеют в ночи...
Тоски и страдания сердце полно,
Горит оно, пышет, как пламя в печи.

Кончив петь, она совсем близко придвинулась к Закиру, улыбнулась и сказала:

— Нет, не буду петь... стесняюсь. Ещё увидят!— и огляделась по сторонам.

От этой песни и последних слов Галимы у Закира на глазах выступили слезы. Заметив это, Галима сказала:

— Ах родной мой, не плачь... Разве на свадьбе плачут?

Одни слова Галимы-апай словно говорили о том, что здоровый ум возвращается к ней, но другие, сказанные следом, не оставляли никакой надежды.

Растерянные и подавленные, стояли мы на берегу реки, когда на огороде появилась тетя Хамида. Увидев, что Закир здесь с нами, она закрыла платком половину лица и повернула обратно.

Закир тоже заметил тетю Хамиду и догадался, что она шла за Галимой.

— Галима, родная, вон твоя мама идет,— сказал он.

Вскочив с места, Галима закричала:

— Мама, мама!— Ее крик можно было понять и как возглас радости, и как испуганный зов на помощь.

Тетя Хамида остановилась, повернула к реке и, словно нехотя, направилась к нам. Она чувствовала себя неловко, будто стыдилась кого-то. Подойдя к нам, она остановилась, растерянная, не зная, с чего начать разговор.

— Здравствуй, Закир! Вот как изменилась жизнь... Жив-здоров ли?..

— Здоров, Хамида-апай...— начал было Закир. Но Галима перебила его:

— Мама, мама! Вернулся Закир... Я пойду к ним... Мы уже отпраздновали свадьбу...

От ее слов Закиру стало неловко, он покраснел и, желая рассеять неловкость, сказал:

— Устроим свадьбу... Скорей поправляйся...— и неуверенно посмотрел на тетю Хамиду.

Слезы навернулись на глазах тети Хамиды, и она проговорила дрожащим голосом:

— Будет, дети мои, будет и свадьба... Только ты поправляйся, доченька... Давно бы сыграли свадьбу... да враги... враги погубили...

Вроде бы и разговору конец. Повеселев, Галима вдруг сказала:

— Я буду купаться... Идемте купаться!

Она сняла с головы платок и положила его перед собой, погладила руками свои длинные черные волосы и, отбросив их назад, поднялась с места.

Видя решительные движения Галимы, тетя Хамида и Закир растерялись.

— Не нужно, милая, еще рано купаться,— сказала тетя Хамида и взяла ее за руку.— После придешь купаться, с девушками...

— Верно, еще рано,— поддержал тетю Хамиду Закир.— Домой нужно идти, Галима.

И она, услышав слова «рано», «домой», тут же забыла о своем желании купаться. Потом она скривила рот, будто передразнила нас, опустилась на землю и принялась рвать траву и забавляться ею.

— Идем, родная, идем скорей,— сказала тетя Хамида, желая покончить с этой тяжелой сценой.— Отец дома ждет... Ему нужно уходить в поле.

Наклонившись, она повязала Галиме платок.

Закир сказал:

— Галима, милая, иди... И я спешу домой, мне тоже нужно работать...— Отвернувшись, он утер слезы.

— Ну, тогда идем!— сказала Галима и быстро пошла вперед. Затем остановилась, холодно поглядела на Закира и сказала:— Ты оставайся... У нас дома Закир... Он меня, наверное, ждет... Он каждый день приходит к нам... И никому, кроме меня, не показывается. Если увидит тебя, будет сердиться...— И она быстро пошла в гору.

Мы с тетей Хамидой пошли следом за ней, а Закир застыл на месте, беспомощно глядя нам вслед. Дойдя до нашего дома, я оглянулся. Закир шел медленно, опустив голову и то и дело посматривал в нашу сторону. К моему изумлению, Галима ни разу не оглянулась назад и, когда вернулась домой, о встрече с Закиром не сказала ни слова, молча села за стол.

На вопрос дяди Фахри: «Почему так долго?»— тетя Хамида ответила неопределенно:

— Так вышло.

По-видимому, не хотела растревлять его душевную рану и пока о встрече Закира с Галимой решила умолчать...

21

В прежние годы наши семьи к сенокосу и жатве готовились загодя, как к празднику. Работа спорилась и проходила весело. В этом году, оттого что Галима была нездорова, страда прошла уныло, работали без подъема, мы все время помнили про Галиму, как весело, как споро работала она.

Чаще других вспоминала ее моя мать.

— С Галимой,— начинала она,— оглянуться не успеешь — и сено уже собрано, и стог сметан...

Ответа долго нет, наконец отец или дядя Фахри скажут со вздохом:

— Верно, уж такая судьба. Как подумаешь, с сердцем делается что-то неладное. Погубили бедное дитя!

На этом разговор обрывался, и дальше работа шла в томительном молчании.

Отсутствие Галимы действительно очень чувствовалось. При ней дело делалось с шутками и смехом, не заметишь, как день прошел. А теперь под горестные слова потрясенных бедой стариков работа совсем не ладилась.

Грустные уходили мы на работу, и по возвращении домой ничего веселого нас не ждало.

Галиму мы находили в самых различных хлопотах: то поила кур, то, извозившись как ребенок, стирала какую-

нибуть совершенно ненужную вещь и беззаботно разговаривала сама с собой. Или возвращалась с реки совершенно вымокшая, грязная, и тетя Хамида, сдерживая слезы, меняла ей платье. Или спала совсем не ко времени. Лицо ее бывало сплошь залеплено мухами, как рот ребенка, наевшегося перед сном кислого молока.

Мы возвращались домой голодные, но сразу забывали о еде. Хотелось уйти, убежать куда-нибудь, чтобы не видеть ее. А тут и соседи или их ребятишки спешили посыпать соль на наши раны:

— Галиму бояться дети!..

— Когда взрослые уходят в поле, она пугает детей...

— Сегодня она чуть не утонула, едва вытащили...

— Разгуливала голая у реки, и все смеялись над ней...

Так судачили они, не скрывая того, что Галима до смерти надоела им.

От таких разговоров сердце дяди Фахри, тети Хамиды и наши сердца сдавливала жгучая боль. Где-то в тайных уголках души гнездились даже желание, чтобы Галима умерла, чтобы разом кончились и ее страдания, и наша неистребимая мука, вечный перед глазами укор. Эта страшная мысль стала проскальзывать в словах тети Хамиды и дяди Фахри.

Однажды, когда нас не было дома, соседские ребята, должно быть, принялись дразнить Галиму, и она погналась за ними. Дети в испуге разбежались и оставили без присмотра порученных им кур и цыплят. Коршуны, кружившие над деревней, унесли несколько цыплят.

Когда соседка узнала, как случилось, что погибли цыплята, она, едва мы вернулись с поля, явилась к тете Хамиде и с порога накинута на нее:

— Мы не виноваты, что ваша Галима бесноватая! Мы больше не можем терпеть. И жалеть ее не станем. Надо будет, руки-ноги ей переломать!

— Аллаха ради, не сыпьте мне соль на сердце, и без того оно уже клочьями висит, — подавленно ответила тетя Хамида. — Хочешь, за двух своих цыплят весь выводок у меня забери. — И она заплакала навзрыд. — Разве мы сами придумали себе эту муку! Кто сам не пережил, тот не поймет. И без того сердце разрывается, вечная мука — доченька моя, вечный укор, глазам моим истязанье!

«Галима-апай — глазам истязанье!»

Потрясенный этими словами, я убежал.

«Галима-апай, моя Галима-апай, такая красавица, такая добрая душа, и теперь она — «глазам истязанье»! Что де-

лать, где найти такое лекарство, чтобы вернуть ей прежний ум и красоту!»— подумал я и заплакал.

Порою мой отец или дядя Фахри, проводив Галиму горестным взглядом, говорили:

— Пусть бы уж одно из двух...

Смысл этих слов был понятен: «Пусть Галима выздоровеет или умрет».

Пусть выздоровеет или умрет!

Но Галима не слышала этих слов, а если и слышала, то не понимала. Я жалел ее все больше, она становилась мне еще более близкой, и я старался не отходить от нее.

22

Пришла осень. Хлеб в полях убрали и давно свезли на гумно. Часть хлеба обмолотили и ссыпали в амбар.

В прежние годы обычно сразу после обмолота начинались разговоры о том, что пора, дескать, везти хазрету гушер¹. Не проходило и недели, как мы с отцом насыпали два мешка отборной ржи и везли к хазрету.

Завидев нас, хазрет радовался, уводил отца пить чай и меня похвалить не забывал. Отец, довольный тем, что исполнил свой долг, с достоинством входил в дом хазрета. Затем хазрет читал молитву, и мы шли домой.

Так же прилежно исполнял эту повинность и дядя Фахри, каждый год исправно вез «десятину» на гумно хазрета.

В этом году даже и разговора о гушере не было, хотя хлеб уже давно был на гумне. Когда мать напомнила было об этом, отец резко оборвал ее:

— Я жалею, что прежде возил гушер этому обрубку мяса,— сказал он.— Уж лучше я помогу какой-нибудь сироте или отдам на лечение Галимы...

Теперь отец смотрел на хазрета и всех хальфа без прежнего почтения.

«Только людей губить способны!»— говорил он.

После того как хазрет выставил Галиму-апай на посмешище, а хальфа болтали в хлеву всякое непотребство, я зарекся идти в медресе, я видеть его не мог.

Как всегда после окончания летних работ, в наше медресе стали сходиться шакирды из других деревень. Ребята нашей деревни тоже принялись за учебу.

— Ну, балам, наступило время учебы. Что будешь де-

¹ Гуш е р — десятая часть доходов, отделяемая в пользу муллы.

лать? — спросил отец, словно предоставляя мне самому право решать.

Я ответил не задумываясь:

— В наше медресе я не пойду!

Отец немного подумал и сказал:

— Ладно. Я и сам не хочу оставлять тебя здесь. В этом году пойдешь в городскую школу. Там все по-другому. Думаю, как-нибудь осилю.

Как я обрадовался! В груди так и пело: «Поедешь в городскую школу!» Я поспешил сообщить товарищам, что скоро уеду в город. Весть об этом быстро разлетелась по аулу и дошла до хазрета. Встретив отца на улице, хазрет сказал ему:

— Слышал, что забираете Гали из моего медресе, в город отправляете? Если правда, нет моего благословения на это!

— Да вот подумываю...— ответил отец.

— Да почернеет у него лицо!— вспыхнул хазрет.— Проклятия не боитесь?! Одна из вас уже нарушила шариат, за что была проклята и поражена бесами!

Но отец не смолчал и резко ответил хазрету:

— Ты и виноват в том, что наша Галима погибает. Если твои молитвы сбываются, исправь своего горбатого отпрыска, приведи его в человеческий вид, а то ходит по деревне как шайтан!

Вернувшись домой, отец рассказал о своей стычке с хазретом.

— Ох, как бы его проклятье не исполнилось!— испугалась мать.

— Пусть его благословение останется при нем!— все еще никак не мог остыть отец.— Пусть своего горбатого шайтана исправит! Пусть не держит свою остабикэ, как собаку, на кухне. Если бы он был хорошим человеком, то не имел бы четырех жен! Поедем через неделю, нужно готовиться,— повернулся ко мне отец.

Мать тоже была согласна отпустить меня. «Коли дело зашло так далеко,— обрадовался я,— больше не передумают!.. Уеду в город, буду учиться. Уйду от здешней темной жизни!»

23

Все приготовления позади, наступил день отъезда. Лошадь уже стоит запряженная. Дядя Фахри и тетя Хамида пришли проводить нас. Следом явилась и Галима-апай.

— Вот Гали вырос и уезжает в город... Хорошо, когда

человек здоров,— сказала тетя Хамида, поглядывая глазами, полными слез, то на меня, то на Галиму-апай.

— Пусть учится. Вот мы погибли из-за невежества. И не только сами погибли, но и других загубили. Сотворишь что-то по невежеству, а потом каешься, да поздно...— нарушил гнетущее молчание дядя Фахри.

Он тоже посмотрел на Галиму и низко опустил голову. Та стояла, будто одна среди чужих, и молчала. Она не понимала, что я уезжаю в город; она то улыбалась, простодушно, по-детски, то сразу становилась угрюмой. Сегодня она была особенно бледна. Все удрученно смотрели на нее. Мать погладила меня по плечу и мягко сказала:

— Будь старателен, сынок, не забывай нас,— и утерла глаза.

Я был растроган их лаской и участием: и что-то теплое покатилося по щекам.

Только отец держал себя в руках: он готовил все необходимое для дороги и был занят лишь этим.

Когда приготовления были окончены, по обычаю, все присели, прочитали молитву, пожелали мне счастья. Я поднес сложенные ладони к лицу и сквозь дрожащие пальцы прошел взглядом по всем моим родным. На глазах у матери слезы. Тетя Хамида дрожит. У дяди Фахри глаза закрыты и губы часто вздрагивают. Только Галима-апай даже рук своих не подняла, в удивлении смотрит на нас.

По окончании молитвы я простился с каждым в отдельности. Они крепко, сердечно жали мне руку. Последней я протянул руку Галиме-апай и сказал:

— Будь здорова, Галима-апай.

Но Галима колебалась, не зная, дать ли мне руку.

— Прощайся, деточка. Он уезжает в город,— подсказали ей.

Только после этого она пожала мою руку и равнодушно спросила:

— Когда вернешься? Привези мне мыло! Когда Закир ездит в город, он непременно привозит мыло.— Она улыбнулась, но сразу посерьезнела.— Отец, и я поеду в город... Там будет интересно...— и она пошла к двери.

— Не надо, дочка,— остановила ее тетя Хамида,— девушки в город не ездят, им нельзя ездить.

Галима подалась назад и с выражением безнадежности на лице проговорила:

— Тогда я схожу по воду: там, верно, ждут.

Не ожидая, пока я отъеду, она ушла к себе домой.

Выезжая из ворот, мы увидели ее: с ведром в руках шла она по воду, смотрела на нас и что-то говорила. Из-за скрипа повозки я не расслышал ее последних слов. Провожающие смотрели нам вслед, утирая глаза.

Когда мы проезжали мимо дома хазрета, он как раз выходил из ворот, держа в руках толстые книги. Отец поздоровался с ним, но тот ничего не ответил, только зло посмотрел на нас.

Отец крикнул ему:

— Пусть твое проклятье падет на твою же голову!

Стегнул лошадь, и мы с грохотом выехали из деревни.

24

Город показался мне удивительно красивым. И дома, и школы, и обучение в школе — все было не таким, как в нашем ауле. Когда отец уехал, я погрузил несколько дней и быстро привык к самостоятельной жизни. Деревню вспоминал редко, но трудно было забыть моих домашних, дядю Фахри, тетю Хамиду и Галиму. И первое письмо из деревни было для меня настоящим праздником. Я принялся за него, даже не рассмотрев как следует присланные гостинцы. В письме было много поклонов, от каждого в отдельности. Передавали привет и от Галимы-апай.

«Галима все хворает,— сообщали в конце письма.— Твой дядя Фахри возил ее к ишану для молитвы с дутьем и привез амулет, но, кажется, и он никакого исцеления не дает. Напротив, ей стало хуже. Уже не понимает, что ей говорят. По ночам следим за ней. Если средства позволят, думаем свозить ее в город».

Разумеется, письмо меня очень огорчило. Пока я ждал, когда дядя Фахри с Галимой-апай приедут в город, пришло второе письмо. Его привез наш деревенский сосед. Первым делом я спросил у него:

— Здоровы ли наши?

Он, не долго думая, ответил:

— Все здоровы, только твоя Галима-апай умерла.

— Как умерла?!

— Упала в прорубь, бедняжка,— сказал он.— Только через два дня нашли. До приезда станового и доктора три дня сторожили ее тело. Фахри-агай с женой никак в себя прийти не могут. Но,— добавил он,— может, это и к лучшему. Все равно бы она не выздоровела.

— Погибла... бедная моя сестра!— проговорил я, потрясенный известием.

— Да, уж так. В последнее время ей было совсем плохо. А теперь люди говорят, что призрак Сумасшедшей Галимы бродит по деревне. Оказывается, он в виде огня вышел в печную трубу дома Фахри-агая! Не только дети, но и взрослые женщины по ночам боятся выходить на улицу!

Я не стал слушать эти рассказы, ушел в школу и там, в уединении, начал читать письмо.

«Нас постигло большое горе,— писали мне после обычных приветов.— Твоя Галима-апай умерла, утонула в проруби. В последнее время мы почти не спали, очень горевали и от людей всякой напраслины наслушались. Как ты уехал, ей стало совсем плохо, уже ни на шаг нельзя было отходить от нее. Но, видать, смерть не усмотришь. Сколько ни глядели за ней, и все же не углядели. Однажды пошла по воду и упала в прорубь. Нашли только через два дня, а еще через три похоронили...»

Я отложил письмо. Моим глазам представилась жизнь Галимы, позор и страдания последних месяцев. Я вспомнил ее облик, всю ее жизнь последних лет: как она росла первой красавицей в деревне, как все любовались ею, как лелеяли ее, словно цветок, в нашей семье и в семье дяди Фахри,— цветок, украсивший обе семьи, вспомнил ее ловкость и силу в труде. Вспомнил я и тот страшный вечер прошлой зимы, когда ее привели к хазрету, осудили, а наутро вымазали лицо сажей и водили по улицам на посмешище всему аулу. Вспомнил, как она металась в испуге, когда мулла и хальфа пришли читать Коран... Как лишилась рассудка и превратилась в ребенка...

Картины, одна ужасней другой, вставали перед глазами, и терялась, пропадала среди них былая красота Галимы-апай, словно тот «призрак», о котором говорил привезший письмо сосед, она все время меняла облик...

То кажется, что она плачет:

«Меня погубили, измазали мое лицо сажей!..»

Но вот уже радуется:

«У нас была свадьба...— говорит она и весело смеется. — Идет Закир...»

И сразу бледнеет:

«Нет, нет!..— кричит она.— Уходи, Закир, уходи!»

Вот, надев платье наизнанку, идет к девушкам:

«И меня примите в игру»,— говорит она и смотрит просительно, как ребенок.

И вдруг вздрагивает, трясется:

«Идут муллы!.. Они измажут мое лицо сажей!»

И, пытаясь скрыться от них, от их отвратительных лиц и грязных глаз, она закрывает свое лицо.

То мне кажется, что она у реки, голая, гоняется за детьми.

И когда все ее муки и страдания, пережитые за последний год, сошлись в моем воображении воедино, я увидел, как она бегом спускается к проруби, падает туда и исчезает навеки...

Я вздрогнул и снова перечел письмо, которое не выпускал из рук. Я представил, как тащили ее из проруби, как три дня продержали исстрадавшееся тело в доме сторожа и наконец опустили в могилу. Завернутая в белый саван, моя красавица Галима-апай исчезла под землей... Вокруг ее могилы муллы в чалмах, старые хальфа читают Коран. Похоронив красивую девушку, они получают подношения и читают, читают молитву. Положив перед собой длинные полотенца, любовно сотканые руками Галимы для ее будущей счастливой жизни, они сидят и равнодушно глядят на ее могилу...

* * *

Когда я вспоминаю события, происходившие тридцать лет тому назад: страдания Галимы-апай, измазанные сажей лица несчастных, толпу, орущую им вслед: «Опозоренные!» — перед моими глазами снова, как живая, встает моя бедная сестра, и кажется, что она говорит:

«Одна из миллионов жертв старой жизни — это я!»

И действительно, она одна из миллионов жертв старой жизни, и для меня самая печальная жертва.



ДАУТ ЮЛТЫЙ

АЛИМА,
ИЛИ СВАДЬБА
СТАРИКА
МЫРДАША



ДАУТ ЮЛТЫЙ (1893—1938)

О первых шагах в литературе Даут Юлтый (Даут Исхакович Юлтыев) вспоминал так: «Я особенно любил стихотворения Г. Тукая и С. Рамиева. А книгу М. Гафури «Жизнь молодая» почти всю знал наизусть. Под их влиянием у меня пробудилась мысль писать стихи. Первое свое стихотворение «Летнее утро» я написал под влиянием Г. Тукая».

Проклятия в адрес империалистической войны, участником которой он был («Сумка», «Кровавый базар»), в годы революции сменяет призывная публицистика стихотворения «Встань, батыр, на стремена!». Первый редактор первой республиканской газеты «Башкортстан», теоретик и строитель литературного процесса, Д. Юлтый в составе башкирской делегации на IX съезде партии был принят Лениным и имел с ним беседу об отражении в печати постигшего край жестокого голода.

Масштабы преобразований 20-х годов находят отражение в его поэмах «Сказка о нефти», «Айхылу», «Майсара», очерковых циклах «Шеф-паровоз», «На железной дороге».

Один из зачинателей башкирской советской драматургии, в трагедии «Карагул», в драмах «Салават» и «Мактымхылу» отвоёвывал образы и сюжеты прошлого народа у сторонников узконационалистической трактовки.

Повесть «Алима, или Свадьба старика Мырдаша» и особенно дилогия «Кровь» оказали серьезное влияние на формирование эпических традиций в башкирской литературе. Их возвращение к читателю после 1957 года, вместе с посмертной реабилитацией автора, восстановили насильно разорванную линию развития башкирской прозы.



1

На берегу Тука, в большом башкирском ауле Юлаево жил такой Умматкул-агай, еще не старый человек, состоятельный и предприимчивый купец. Он привозил из города различные товары, продукты и напитки. Бедные сельчане мало что могли купить в лавке Умматкула, самое лучшее всегда доставалось боярам, так раньше в башкирских аулах называли русских помещиков и зажиточных людей.

Однажды в июне, когда местные богатеи и наехавшие гости в Юлаево бояре из других аулов ставили на зеленом берегу реки свои белые юрты, готовясь к гулянию и предвкушая угощения Умматкула, пронесся слух, что купец скоропостижно скончался прямо в своей лавке. Схватился за сердце и упал на мешки с мукой, лицо посинело, даже какие-то пузыри изо рта пошли, а потом сразу и дышать перестал, помер,— так рассказал прибежавший к юртам работник купца. Эта невеселая весть удивила, ведь многие хорошо знали Умматкула, энергичного, подвижного человека, он отличался примерным здоровьем, никогда не пил, не курил, вовсе не стар, чтобы умереть так неожиданно и очень не вовремя.

Повздыхали баи и бояре по своему поставщику Умматкулу, продукты и вино взяли у его помощников, помянули добрым словом верного слугу, да скоро среди веселья и позабыли о нем. Не на похороны же в самом деле собрались.

А помер Умматкул от перенапряжения да от жадности. Недосыпал он, недоедал, все время и все силы тратил на купеческие дела, у него всегда были одни заботы, как бы лучше ублажить богатых чревоугодников, повыгоднее проверить сделку, денег накопить побольше. Хитрый купец хорошо знал, что богатеи не скупятся, если ты можешь в любой момент, ночь, за полночь, предложить такие напитки, яства, копчености и разносолы, что и в городских кабаках не всегда сыщешь.

Изворотлив был Умматкул, хитер. Но и жаден без меры.

Вот, к примеру, в самом начале этого лета он вдруг принялся собирать где попало бросовые шкуры и никуда негодную шерсть. Особенно много навез во двор костей. Кучи лошадиных мослов и ребер страшно топорщились у завалинок сараев и за домом. Умматкул собирался осенью этот хлам выгодно сдать на мебельную фабрику в городе и обогатиться.

Эта странная затея Умматкула вызвала в ауле различные кривотолки. Одни попросту посмеивались над его неумной жадностью — хочет, мол, даже из гнилых костей сделать доход, вот до чего хитер! Люди совсем старые и древние старухи уверяли, что повредился разумом Умматкул, натаскал в свой двор ведьминых костей из сырых и темных заколдованных распадков, злые духи не простили такого надругательства, иссушили мозги, испортили всю кровь и остановили сердце. А как иначе объяснишь, что такой большой и здоровый Умматкул помер в одночасье, ведь совсем не болел ничем.

Место Умматкула вскоре занял купец Мырдаш из ближнего аула Каратаево. Старик Мырдаш пообещал, что будет исправно обеспечивать жителей обоих аулов всем необходимым, товарами и провиантом.

У почившего Умматкула остались наследники, дочь по имени Алима и два сына.

Старший, транжира Иманкул, беспутный гуляка, любил играть в карты на деньги или на отцовский товар, пить вино с товарищами и кутить в городских трактирах, попусту тратя оставшиеся от отца накопления.

Давлеткул, младший сын купца, был совершенно другим человеком, скромным и целеустремленным. Учился в хорошем медресе и совершенно не помышлял о купеческих делах. Он еще был полон возвышенных мечтаний о просветительском пути, мечтал нести в народ грамоту и знания о справедливом устройстве жизни. В таком же духе Давлеткул старался воспитывать и сестренку, смышленную Алиму. Он втайне надеялся, что со временем из нее получится хорошая учительница, ведь ничего благороднее этого занятия нету на свете.

Матушка их, Хабиба-енге, женщина простая и добрая, порядком затурканная беспокойным мужем, очень любила младших, Алиму и Давлеткула, и была довольна, что дети мечтают о порядочном и уважаемом людьми занятии. Иногда она немного жалела, что доходное торговое дело прекратилось в

их семье после смерти отца. Старший-то сын, Иманкул, уже сколько добра по ветру пустил, не будет от него толку и заботы. Карты да пьянка — вот все его дела. Полгода не прошло, как младшему пришлось самому зарабатывать деньги на учебу.

Спустя год после смерти Умматкула о нем напоминали только разбросанные по двору кости, свалявшиеся клоки шерсти да полусгнившие шкуры. Ящики, по которым Умматкул начал было раскладывать весь этот мусор, разлезлись. Груды досок и хлама были теперь во дворе, некогда ухоженном и приличном. Разбитый тарантас, ходок и две, так и не починенные, телеги тоже пришли в окончательную негодность. Словом, подворье Умматкула выглядело совершенно заброшенным.

Все развеял по ветру беспутный Иманкул, семья обеднела, а ведь у него самого было двое маленьких детей.

Бросив их на слабосильную больную жену, неразумный Иманкул, прослышав, что в большом и веселом городе Ташкенте хлеб легко достается, уехал в далекие края искать денег и счастья. Жена Иманкула, поплакав, вернулась в родной аул к своим старикам, которые тоже перебивались с хлеба на воду. Так и опустел второй дом на подворье покойного Умматкула.

Бежали дни, подошел срок призыва в армию для Давлеткула. Вместе с другими парнями он уехал осенью служить в неизвестном направлении.

Утихла, совсем заглохла некогда богатая и шумная жизнь во дворе большого дома Умматкула. Покосился местами плетень, осыпалась глина со стен, провалилась кое-где крыша на сараях и дворовых постройках. Теперь тут остались две слабые женщины, старая Хабиба-енге и малая Алима. Кто же плетень поправит? Некому починить крыльцо, крышу перекрыть, а было у них два дома и немало надворных построек. Второй дом пришлось заколотить, амбар продали на вывоз.

Алима к этому времени закончила обучение. Была она трудолюбивой девочкой и, благодаря способностям, выучила не только те предметы, которые преподавали в медресе, но и основательно познакомилась по другим книгам с географией и историей, математикой и литературой. Давлеткул, когда приезжал из медресе домой, занимался с Алимой, стараясь передать ей все, что узнавал сам. Она на удивление быстро схватывала новое, поэтому в учебе была впереди сверстниц, успевала даже помогать младшим девочкам. Эти учительские занятия очень были ей по сердцу.

Теперь Алима всякую свободную от наемной и домашней работы минутку проводила за книгами, молитвой и уже знала наизусть половину Корана, за что ее очень уважали старики аула. Однако местный мулла строго-настрого запретил ей толковать суры: мол, женщине это не положено.

Вместе с Хабибой-енге они, как могли, тянули невеликое и все более приходящее в упадок хозяйство. Так и текли, проходили потихоньку их одинокие и однообразные дни.

Однажды осенним вечером Алима осторожно заговорила с матерью о том, что не пора ли ей попробовать силы как учительнице, а то знания, таким трудом приобретенные, теперь пропадают без употребления. Она всегда мечтала учить детей грамоте. Дом брата пустует, ветшает, так что и место есть, где собирать девочек.

— Мама, это мечта всей моей жизни, я себя готовила к такому занятию, давай попробуем? — убеждала Алима неопределенно молчавшую и вздыхающую мать. — Помнишь, я еще маленькой любила чему-нибудь учить подружек.

— Ох, доченька, — отложила Хабиба-енге шитье. — И не знаю, что говорить, как думать... Что народ скажет? Боязно мне за тебя, люди не всегда добром за добро платят, я жизнь прожила, поверь мне. Пойдут какие-нибудь пересуды, замучаешься...

— Ах, мама! Какие могут быть пересуды? Я добра людям хочу и общей пользы. Разве плохо быть грамотной? Вот соберу девушек на посиделки, подумаем вместе, обсудим. И ты послушаешь, посоветуешь нам. Со стариками поговори, соседями...

— Уж и не знаю, дочка. Тревожно мне от твоей задумки. Боюсь, не поймут нас сельчане. Некоторые, конечно, согласятся учить детишек, разве я спорю. Но вот что старики скажут о твоей затее? На всякое дело нужно согласие старших, иначе не принято. Ты девушка, а наши обычаи строгие... Посмотри сама, мальчиков не хотят учить грамоте, а ты вон чего захотела, девчонок! Слышала, как говорит старик Губаш? Старик Губаш мудрый человек, он говорит, ученые дети родителям не помощники, в старости не опора, потому что они отвлекаются на пустые науки, а на работу желания не остается. Во многом знании много зла, вот как говорит мудрый Губаш. В словах его, дитя мое, большая правда.

Загрустила Алима. Она почувствовала, что мать сердцем не согласна с ней. Но для чего же тогда она училась и

так старалась? Для чего не спала ночами и отказывала себе в маленьких девичьих радостях? Конечно, мама права, не все люди сразу поймут, что она хочет их детям добра и счастья в жизни. Но вот скоро вернется из армии брат, тогда будет легче жить и разговаривать со всеми, кто не понимает ее намерений. Постепенно все поверят ей и поддержат ее.

А если она сейчас не решится начать учительствовать, о чем мечтала всегда, то какой будет смысл в ее существовании? Жизнь без благородной цели превратится в бесконечную череду унылых будней. Вот и брат Давлеткул не раз говорил ей: «Будешь учить детей грамоте, они узнают, что такое справедливость, поймут смысл жизни. Ты, Алима, должна служить народу, а учительство — это самое важное дело на земле! Ученый человек знает свое достоинство, а неграмотный и темный до конца дней останется рабом сильных, всегда помни об этом, сестренка!»

Однако сомнение и тревога закрались в сердце Алимы. Мама прямо не сказала, хорошее ли дело задумала она. И не запретила, и позволения не дала... Как понять, разобраться?

По характеру девушка спокойная и мягкая, Алима с большой робостью думала о том, как-то будет она разговаривать о школе со старшими аксакалами. Да и с молодыми родителями тоже, наверное, будет непросто. Настороженно относятся сельчане ко всему новому, а тут и вовсе неслыханная затея...

Еще в детстве заботливый брат Давлеткул научил сестренку немножко играть на тальянке, Алима оказалась способной, теперь она часто брала гармошку брата, наигрывала любимые мелодии. Это заметно помогало ей, успокаивало и веселило разволновавшуюся душу, грело сердце. В такие минуты матушка, оставив дела, присаживалась на лавку и слушала игру дочери. На лице матери разглаживались скорбные морщины; светлели глаза, тихой кроткой радостью светилось родное лицо.

Но все чаще из окна Алимы стали слышаться грустные протяжные мелодии. Соседи говорили, что бедняжка истосковалась по брату, неизвестно где запропавшему в тяготах далекой военной службы. Вот и сейчас взяла Алима тальянку, принялась подбирать недавно слышанную новую мелодию, размышляя о своей судьбе.

Она всегда мечтала стать учительницей, что же ждать? Надо, надо решиться попробовать, не стоит оглядываться на

всякий недобрый шепоток. Народ пока темный, предрасудки очень глубоко сидят в нем. Не стоит обращать внимания на злые и несправедливые слова, а такие речи придется услышать, это Алима понимала. Она должна быть целеустремленной, стойкой, чтобы достигнуть самого маленького успеха! Так говорил ей и любимый брат Давлеткул.

Мелодия, кажется, удавалась ей, уже слышались ладные и стройные переборы... Хорошо! Еще немного усилий, и сельчан удастся порадовать новой музыкой.

Девушки аула любили собираться в доме Хабибы-енге и Алимы, благо места много и суровых мужчин нет.

Алима никогда не отказывалась поиграть. Бывало, что девушки сами сочиняли частушки. Сидели, разговаривали, пели песни, шили и вязали. Родители спокойно отпускали дочерей к Алиме, потому что знали, в ее доме не бывает парней, за девичьи посиделки что волноваться. На полатах да за печкой много не насидишься.

Бабушка Хабиба была человеком добрым и приветливым, она не сердилась, если парни изредка заходили вечерами к ним в дом. Хулиганистые мальчишки галдели под окнами, заглядывали из любопытства в избу, иногда и пошумят во дворе.

— Ничего,— говорила матушка,— пускай. Скучно молодежи, пустая тишина хуже человеческого шума.

Гармошка Алимы всех утихомиривала и привораживала. Даже мальчишки, раскрыв рты, замирали на завалинке под окнами.

Долгими вечерами начитанная Алима затевала беседы с девушками о разных вещах, вовсе подругам не известных. Девушки увлекались, забывали про частушки, откладывали шитье, готовы были слушать хоть ночь напролет. Их ограниченный и тусклый мирок расширялся, расцветчивался красками, просыпалось любопытство. Они узнавали от Алимы, что на свете существуют другие страны, удивительные природные явления и различные механические чудеса. И везде простые люди много трудятся, добывают хлеб тяжелой работой на богачей и помещиков.

Алима читала вслух книги, в которых рассказывалось, как устроить справедливую жизнь для трудового народа, это было малопонятно и очень удивительно. Но девушкам больше нравилось, когда Алима пересказывала книжки, где молодые люди не думали о куске хлеба, но все время страдали из-за

несчастной любви, а в конце к ним приходили богатство и счастье, а девицы соединялись со своими возлюбленными — французскими принцами и рыцарями.

Так исподволь, постепенно, Алима пробудила у некоторых подруг желание учиться грамоте, они стали приходить к самодеятельной учительнице как ученицы, а не только как слушатели.

В ход пошли старые тетрадки брата, огрызки, остатки его карандашей, сохранившиеся бумаги отца, на некоторых было порядочно чистого места, где можно было писать буквы. Печная заслонка служила грифельной доской. Было у Алимы несколько новых карандашей, она разрезала их на части, хватило всем желающим. Даже оберточная бумага от чая, сахара и мыла пригодилась для учебы, с одной стороны эти бумажки были чистые.

Считать начали, как и положено, на палочках. А книг Алимы с картинками, картами и примерами вполне хватило на первое время, чтобы увлечь девчат, заразить их желанием учиться: Хабиба-енге присаживалась в сторонке, слушала, как Алима рассказывает задание или читает книгу вслух.

Постепенно Алима почувствовала, что уже не может жить без нового занятия. Она ночами размышляла о том, как улучшить учительские дела, как побольше заинтересовать девушек. Ушло чувство одиночества и пустого течения времени, дни заполнились делами, а жизнь смыслом. Настолько увлеклась Алима, что даже брату стала много реже писать безответные письма, а работу по дому и в огороде делала быстрее, сэкономила время.

«Дорогой брат!— писала Алима Давлеткулу.— Не сердись на меня, что я пишу тебе редко, я исправлюсь и буду писать часто. Теперь я очень занятая, потому что учу грамоте девушек нашего аула. Я всегда помнила и не забывала, что ты говорил мне, когда был рядом со мной и матушкой. Я запомнила твои слова, что надо служить народу. Вот теперь я занимаюсь тем, что служу народу, потому что учу его детей грамоте и письму. Это для меня самое главное дело моей жизни, я буду стараться достигнуть своей цели. Я теперь не замечаю, как летят-пролетают дни и ночи, потому что поняла, что смысл моей жизни в такой работе. Уважаемый мой брат, ты прости меня, что пишу редко. Скоро я буду писать тебе много. Я только часто плачу и рыдаю, что от тебя нет никаких известий. Мама тоже плакала, она боялась, что тебя ранило на какой-нибудь войне насмерть...»

Однажды принесли в их дом затертый грязный конверт,

это было письмо от брата. Давлеткул писал про трудную армейскую жизнь, о голоде, опасностях и лишениях. Но очень хвалил занятия и дела Алимы, обещал писать, давать советы сестре, чтобы ее учительство продвигалось успешнее.

Письма от Давлеткула стали приходить почаще. Он старался приободрить сестру, просил быть настойчивее в делах и подробнее в письмах. Молодой солдат радовался, что сестренка нашла дело по душе, он понимал всю сложность и важность ее работы. От участливой заботы брата у Алимы умножались силы.

А трудности не заставили себя ждать. Прибавлялось учениц у Алимы, иные делали замечательные успехи. Но поползли по аулу и округе недобрые слухи, пересуды о ее учительстве. Распространялись сплетни, пущенные в ход злыми и завистливыми людьми. Темные силы имели над людьми огромную власть.

Сначала пробежал слухок, что Алина подговаривает девушек неуважительно относиться к старшим, к их наставлениям, привычкам и обычаям. Толковали еще, что она учит девушек писать нехорошие записки и даже любовные письма парням в другие аулы, приглашения на посиделки, заставляет заманивать парней на свои ночные нехорошие дела. И поют они там по ночам русские песни с дурными словами, гуляют, шумят, играют на гармониях немецкие песни, злословят про уважаемых аксакалов. А самое страшное: ругают муллу и аллаха!

Потом начали болтать, что в доме выжившей из ума старухи Хабибы вообще происходят жуткие ночные шабаши, собираются там дурные парни со всей округи, разбойники всякие, девушки занимаются с ними ужасными делами. Все это соблазном, стараниями Алимы!

Как снежный ком, сплетни обрастали подробностями, и вот уже черные слова о колдовских делах старухи Хабибы и ее дочери разнеслись по другим аулам.

Слухи, один грязнее другого, один другого невероятнее, множились и словно ветром рассеивались вдоль берегов Тука.

Алина заметила несколько раз, как поздними вечерами под окнами их дома мелькали люди, подглядывающие, подслушивающие. С болью в сердце заметила она как-то двух стариков, что очень огорчило и серьезно озаботило Алиму. Потеряешь доверие у стариков, вернуть, восстановить его будет почти невозможно. Это она хорошо знала, хотя и прожила пока небольшую жизнь.

Некоторые девушки сами перестали приходить к ней на

уроки. Тех же, кто был посвоевольнее и посамостоятельнее, увели из ее дома матери и отцы.

А однажды несколько пожилых женщин во главе с известной крикливой старухой устроили в доме Хабибы-енге настоящий скандал. Они выложили весь запас гадких сплетен и слухов, что бродили по округе про Алиму и ее школу. С ужасом слушала все это бедная старая Хабиба. Алима защищалась, как могла, убеждала и уговаривала замороченных глупой и злобной старухой темных женщин, не понимающих счастья своих дочерей. Но мало чего добилась Алима. Закончилось все тем, что женщины с воплями и угрозами в адрес самозваной учительницы уволокли домой девочек чуть не за волосы. Старуха-предводительница погоняла их своей клюкой, осыпая руганью и проклятиями.

Долго в тот вечер плакала Хабиба-енге, уговаривала смириться, отступить, бросить неуважаемое людьми занятие.

— Видишь,— говорила она,— не принимает тебя народ. Значит, поспешила. Не иди поперек старого,— причитала мать.— Поломают люди тебе судьбу и жизнь, сама погибнешь ни за что и меня опозоришь на старости лет, я уже старая и больная совсем, дай мне дожить спокойно последние дни мои, пожалей, дочка... И себя не губи, и меня, доброе имя своего брата побереги...

Алима вконец расстроилась. Не решилась она на этот раз возражать матери, в сердце вселилось горькое сомнение в пользе и нужности ее дела.

Как же так, думала Алима, я только добра хочу людям, столько сил отдаю им, ничего не прошу взамен, а они платят мне черной неблагодарностью. И вспомнилось ей в эти тяжелые дни, как ее беспутный брат Иманкул, споря с ней и Давлеткулом, приговаривал постоянно, сколько ни делайте людям добра, они вам никогда этого не простят! Неужели прав был сгинувший в неизвестном городе Ташкенте непутевый брат?..

Тяжелое время настало для Алимы. Заметно поредела стайка девушек, которые приходили к ней в дом. Не засиживались допоздна, боялись пересудов и осуждения.

Самые злобные старухи нашептывали по всем углам про Алиму: мол, соблазнил девку шайтан, связалась она с дьявольским отродьем, путается с ведьмами и ведьмаками, да и сама она бесовское отродье, а никакая не дочь Хабибы. Алима лишила несчастную женщину ума, притворившись ее дочерью, накрасила свои рыжие волосы сажей и притворилась!..

— Поглядите, добрые люди,— шипели змеиные языки,— поглядите, какой бесовской огонь вспыхивает по ночам над домом старой несчастной Хабибы. В окнах мрак, непроглядная ночная, а над трубой вспыхивает. Откуда такое? Да все от ее бесовской дочушки. И тени с крыльями мотаются над домом и сараями, а это и есть бесенята да чертенята, родственнички Алимы проклятой, слетаются к ней. Это все те, что Умматкула неразумного иссушили да извели. Поворошил их чертовы кости! Такое никому не прощается. Попомните наши слова, и мать свою, бедную Хабибу, без времени сведет ведьмачка Алима в могилу!

— Разве не знаете,— подхватывали другие,— вон и двор их опустошился, дом набок съехал, завалится скоро и раздавит бедную Хабибу. А ведьмачка в трубу улетит к своим бесенятам!

— Да-да-да, к Алиме, видать, давно сам шайтан сватается, вот она и старается угодить ему сатанинскими придумками, сводит с пути праведного наших детей. Бойтесь, бойтесь ее, бегите, пока не поздно, от их дома подальше! Не пускайте к ней своих дочек, Алима из них колдуний сделает...

Трусливые темные женщины с ужасом слушали такие речи. Находились, что полностью верили старушечьим бредням, бывало, боялись своих телят или гусей брать домой, если те ненароком забредали во двор Алимы. Бабки бормотали, что она на всякую скотину и птицу может напустить смертельную порчу. И повелось! Споткнулся конь в борозде — проклятие Алиме. Утащила лиса курицу, это Алимы проделки... Все же некоторые девушки, кто постарше, продолжали ходить к Алиме. Но не было прежнего веселья в ее доме. Все стали тихие, осторожные и грустные.

Однако ко всему привыкает человек, к самому дурному и тяжелому тоже. Постепенно перестали люди слушать новые басни недобрых людей, отмахиваться начали от них. Вот ведь, говорили иные, наши дочери теперь дома вечерами Коран нам пересказывают, календари читают. Разве не богоугодное дело делает Алима? Люди видели, что их дочери как были уважительны к старшим, такими и остались, даже лучше стали, потому что грамотный человек может новым интересом порадовать неграмотного. Девушки не чурались никакой работы, по-прежнему исправно управлялись в поле и на своем дворе, ничего предосудительного в их поведении не замечалось. Наоборот, уставшие за день отцы и матери, наскучавшие старики с нетерпением ждали возвращения своих детей и внуков от Алимы, потому что те всякий раз, вернувшись, рассказывали

что-нибудь новое и интересное про удивительные страны, про жизнь людей в тех чужезадальных городах и государствах.

Время медленно, но верно восстанавливает справедливость, понемногу изменилось и отношение односельчан к Алиме и ее занятиям.

— Одумайтесь, люди добрые!— начали защищать Алиму разумные люди.— Вспомните, ее отец был хорошим хозяином, работающим человеком, вина не пил, табака не курил, почитал аллаха, только что умер не ко времени, и никакие ведьмы тут не виноваты. Добра же другим хотел. Только сердце не выдержало лишнего напряжения непосильного труда. Маленько жадный был, это правда, но честный и хороший человек.

— И брат ее, Давлеткул,— подхватывали другие,— тоже очень достойный джигит. Слышать, служит отличным солдатом. И медалей заслужил много.

— Пусть, пусть Алима учит наших дочерей. Она бескорыстная девушка. Подумайте сами, пришлось бы за немалые деньги нанимать учителя или муллу, чтобы дети выучили молитвы и читали Коран, а вот Алима все сделает бесплатно. Это же так выгодно всем нам!

— Правильно, правильно!— громко кричали двуличные, тихонько подшептывая друг другу, подмигивая.— Пускай работает бесплатно, если такая дурочка нашлась...

Однако были и такие, что хотели поддержать бедный дом Хабибы-енге, чем могли:

— Совсем Хабиба-енге с Алимой обнищали, обносились. Если рот откроют, прямо кишки видать, вон до чего. Надо бы маленько помогать им. В семье нет ни одного мужчины, а сами они слабосильные.

Однажды деревенский богатеи, дед Мустак, человек бездетный и угрюмый, зашел во двор Хабибы-енге. Громко постучав палкой о ставень, он дождался, пока в окошко выглянула Хабиба-енге, неожиданно приветливо поздоровался, справился о здоровье. Послушал, молча кивая. А потом и говорит:

— Хабиба-енге, твоя дочь Алима, слышал я, по своей воле и старательно учит детишек и девушек нашего аула грамоте и счету. Это хорошо. Она у тебя молодец, ты правильно воспитала свою дочку. Я одобряю твое поведение и хвалю Алиму. Только много ли вы благодарности видели от людей за свои полезные дела? Скажи-ка, хоть кто-нибудь принес вам зерна чашку?

Хабиба-енге вздохнула:

— Вот сын Хайбрахмана-бая немножко помогает. Тетрадки привозил, книжки из города...

— Это достойный джигит. И я,— важно продолжал Мустака,— человек разумный и справедливый, ты меня знаешь. Я даю твоей дочери за ее труд лампу и керосину. И отрез на платье для праздника. И еще вот что. Поди и возьми из лавки Ермета за мой счет сахару, муки и чаю. Я ему сказал, сколько чего дать. Для Алимы там приготовлен красивый платок. А тебе калоши новые. Собирайся, иди в лавку. Все за мой счет. Чтобы вы с дочерью знали, какой я добрый и справедливый человек. Кто хорошо работает для людей, для тех я щедрый, а кто лентяй и лежебока, для тех я скупой. Так и говори.

Хабиба-енге не сразу и нашлась, какими словами благодарить старика Мустака, уж очень все это было неожиданно, прямо счастье привалило к их нищенскому прозябанию.

— Пусть Алима все время читает молитву, благодарит меня и аллаха!— И, не дождавшись, что на это скажет готовая прослезиться Хабиба-енге, степенно удалился.

Для старушки и ее дочери подарки были как манна с неба. Алима тоже не могла скрыть искренней радости. Давно уже, неделями, пили они с матерью пустой травяной чай без крошки сахара.

Всей душой благодаря Мустака-агая, Алима взяла в лавке это богатство, да еще лавочник Ермет нежданно прибавил от себя мешочек крупы. Правда, сказал при этом, что, мол, как разбогатеешь, отдашь мне долг, а пока запишу за тобой.

В этот вечер в доме Хабибы-енге случился настоящий праздник. Долго сидели за самоваром и не могли напиться досыта настоящего чая с сахаром, потом ели крутую кашу с растительным маслом. Подруги прикидывали на себя цветастый платок Алимы, переливчатую ткань для платья, советуя напечей, что и как из этой ткани сшить.

Поступок Мустака, слывшего в ауле человеком довольно скупым, стал как бы знаком для всех остальных сельчан, конечно, кто имел хороший достаток. Одни привезли сена для скотины, другие дрова. Поправили всем миром завалившийся плетень, починили на избе и сарае протекавшие крыши.

Потихоньку затихли, а скоро и вовсе заглохли несправедливые слухи про Алиму. «Душа-девка!— говорили о ней, когда вечерами из окошка дома Алимы слышалась серебряная мелодия тальянки.— Вон как чувствительно грустит о родном брате. Беспокоится, не случилось ли чего с ним на чужбине, ждет не дождется...»

Постепенно девушку стали приглашать в зажиточные дома на праздники и свадьбы. Скоро так само собой сложилось, что без Алимы вроде и застолье не получается как надо — не хватало веселья и радости. Старики оживали и молодели от ее игры и песен. Даже женщины становились светлее и радостнее, забывали о своих натруженных телах и, кто помоложе, пускались плясать и петь частушки, благо Алина была большой мастерицей их сочинять. Пусть ненадолго, но под игру Алимы отступали повседневные тяготы и бесконечный труд, радость приходила в сердца, и за это люди были очень благодарны неутомимой веселой девушке.

К весне школа Алимы стала почти как настоящая. Многие девушки посещали занятия регулярно, некоторые даже оказались способными: стали помогать в учебе тем, кто помладше. Теперь ни у кого из родителей это уже не вызывало недовольства.

Наиболее упрямые, злые старухи и старики при случае все еще поругивали самозваную учительницу, но на таких не очень обращали внимание. Алина жила полной жизнью, она была счастлива, исполнялась мечта ее, смыслом наполнились дни.

Весной, когда начал сходить снег с уставшей земли и постепенно обнажился мусор на улицах и по задворкам, деревенская молодежь собралась во дворе дома Хабибы-енге. Убрали железный хлам, совершенно проржавевший, выкинули в овраг кости и прогнившие шкуры, оставшиеся от странных занятий Уматкула-агая, от всего, что когда-то было главным делом его последних дней, а теперь превратилось в прах, ржавчину и гниль.

Скоро двор Алимы покрылся стрелками молодой травы. Однажды ночью выбросили лаковые изумрудные листочки две березы перед воротами. Алина с подружками посадила под окнами и в огороде проросшие семена цветов, привезенных в свое время Давлеткулом из немецких колоний, семена быстро взошли, двор покрылся невиданными цветами, это долго удивляло сельчан, ведь в их дворах под цветы места никогда не находилось.

Совсем недавно все между надворными постройками было захламлено, завалами громоздились полуразвалившиеся ящики, корзины с костями, шкурами и железяки. Слипшаяся,

свальявшаяся шерсть и тряпки со шкурами дурно пахли, вид всей этой гнили вызывал отвращение.

Теперь земля покрылась травой и цветами.

Подкрашенные свежей зеленой краской наличники радовали глаз. Блестели чистые, прозрачные стекла окон.

А когда из-за цветных занавесочек по вечерам раздавались звуки гармонии Алимы, доносились песни, редко какой прохожий не задерживался тут. Всякому хотелось постоять у плетня, послушать пение и музыку, понаслаждаться видом ухоженного двора, цветами, порядком и чистотой.

Пришло лето. Жаркие дни июня принесли горячий степной ветер, он врывается в распахнутые окна, гнал сор и пыль по улицам аула, вечерами приносил волны душистых запахов с цветочных лугов предгорий. Там кое-где стояли по опушкам липовых рощиц улья, начинался сбор первого меда.

На склонах холмов, по берегам стариц и прудов, на молодой траве паслись кобылицы с жеребятами; скоро будет дойка, баи готовились к изготовлению кумыса.

Когда в деревне заканчивается посевная, до первого сенокоса у сельских жителей есть немного дней, не слишком занятых работой, короткий отдых после первой страды. И люди стараются повеселее отдохнуть перед следующим трудом. Шумят сабантуи, к этим же дням приурочивают ярмарки, гулянья и свадьбы. На праздниках батыры демонстрируют свою удачу и силу, наездники каждого рода или аула хвалятся мастерством джигитовки, показывают и продают скакунов разных пород и стати.

Городские гости, бояре да купцы, состоятельные чиновники в эту пору любят приезжать в аулы погулять на природе и отдохнуть, попить браги и свежего кумыса.

По зеленеющим берегам Тука, вблизи родников и на опушках тополиных рощ забелели юрты приехавших из города жителей. Их ухоженные, разодетые в дорогое жены и сытые дети радуются солнцу, воле, простору, резвятся на лугах и у воды, затевают игры и развлечения. Ночами горят по берегам костры, далеко разносится запах крепкого бульона, варится в котлах молодая конина, шипит в боярских кружках веселая густая брага.

В аулах наступает время сватовства. Люди ходят из дома в дом целыми семьями, устраивают смотрины невест, обсуждают выгодность свадебных сделок и размеры калыма. Шум и гам стоит в ином доме целый день, а к вечеру случается

и ссора. Хотя о женитьбе речь идет, а все же сначала торг, и разве обойдется без крупного разговора, если торгуются за сотню рублей.

Появились свадебные заботы и в доме богача Хайбрахмана. Сын его, который готовился стать муллой, задумал жениться.

Какая суeta царила во дворе Хайбрахмана! Родственники и работники сновали по двору, таскали из погребов в дом окорока и колбасы, доставали прошлогодние медовые соты и сваливали в бочонки для подкисания, чтобы приготовить хмельной напиток. Свежий цветочный мед разливался по липовым бадейкам — его в деревянных пиалах подадут к чаю многочисленным гостям, сватам и свахам.

С лугов пригоняли молодых кобылиц для подоя, кумыс тоже должен быть самый свежий, холодный и пенистый. Пару молодых жеребцов поставят в стойло на несколько дней и не будут давать ничего, кроме парного молока, чтобы мясо приобрело особый вкус и нежность.

На улице от хозяйского стада стояла пыль столбом, словно пурга мела. Крикливые пастухи отбирали самых жирных и упитанных овец для убоя, загоняли их в отдельный сарай.

Во дворе бая работали плотники, сбивали длинные лавки и столы, строили деревянный каркас для навеса, чтобы защитить гостей от солнца и зноя.

Шумел, гомонил аул. Ждал праздника и дармового угощения на несколько дней. Даже ремесленники, жившие отхожим промыслом, не спешили уходить в дальние аулы на работы, тоже ждали свадьбу в доме щедрого Хайбрахмана, надеясь недельку потешить душу, попить и поесть вволю, пошуметь и погорланить песни, забыться от бедности в пляске и хмелю.

Люди живо обсуждали предстоящее гулянье, вспоминали свадьбы и праздники прошлых лет у других хозяев и говорили, что, судя по приготовлениям, нынешняя свадьба в доме Хайбрахмана станет самой большой, самой сытной и пьяной, самой долгой и щедрой. Ведь Хайбрахман человек очень богатый, у него много работников, собственная семья крепкая, в суровой строгости держит дом бай. Скота у него тучи, табун лошадей в двадцать голов! Его неумная натура хорошо известна далеко в округе, а после такой невиданной свадьбы он и вовсе станет знаменитым.

Наконец на двух тройках приехали разнаряженные сваты. Прежде чем остановиться у дома Хайбрахмана, тройки с

гиканьем и свистом пронесли несколько раз по аулу туда и обратно, поднимая клубы пыли. На всю деревню звенели колокольчики под дугами! Развевались цветные ленты на упряжи и оглоблях. Детвора толпой носилась за повозками, не в силах отвести восхищенно горящих глаз от яркого убранства тарантасов, от гладких и сильных коней, в хвосты и гривы которых тоже были вплетены яркие шелковые ленты. Из тарантасов сваты и дружки их разбрасывали горстями леденцы, мальчишки кидались в пыль и траву искать сласти, дрались, отнимали конфеты друг у друга.

Когда храпящие кони стали у дома Хайбрахмана, там уже собрались чуть ли не все жители аула.

Певцы и танцоры, кураисты и гармонисты, разодетые в лучшие свои одежды, бодро ходили между белыми юртами, поставленными недалеко от дома, на просторной зеленой лужайке. Одни пробовали свои голюса, другие настраивали инструменты, репетировали песни.

Веселое оживление царило кругом. Народ с нетерпением ждал, когда сваты начнут хмельное балагурство, хотелось посмотреть, как оно наберет размах и силу.

Этот веселый праздник затянул в свой круговорот и Алиму. Она была особо приглашена Хайбрахманом, бай вежливо и ласково просил все дни быть у него на дворе, играть и петь, веселить и ублажать самых знатных, важных и уважаемых гостей, обещал заплатить щедро, и деньгами и продуктами. В народе в то время считалось большим грехом, если приглашенный не приходил на свадьбу. Никто не мог нарушить старый обычай, никто и не нарушал — не часто перепало беднякам вволю попить кислушки и вдоволь поесть.

Алима не очень любила шумные и многолюдные сборища, но неразумно было бы отказываться от хорошего заработка, да и обычай нарушать негоже.

Была и еще одна важная причина, почему Алима с искренней радостью согласилась все дни быть у Хайбрахмана и веселить гостей. Очень ей нравился младший сын бая, Канзафар. Тайно знакомы они уже были давно...

Канзафар, джигит, заметный среди сверстников независимым характером, учился в Каргалинском медресе Оренбурга. Гордый красивый юноша был известен среди сельчан не только крутым нравом, но и справедливостью. Жених богатый, из самой состоятельной семьи округи. Многие девушки с робким интересом заглядывались на Канзафара. Однако сам парень, хоть и был избалован вниманием городских барышень, не скрываясь, выделял из всех девушек родного аула

Алиму. Он знал о ее занятиях, одобрял и даже несколько раз посылал дорогие подарки. Скромная, но энергичная и умелая Алима была по сердцу Канзафару. Они изредка переписывались, Алима просила у Канзафара новые книжки, учебники. На первую ее такую просьбу Канзафар охотно откликнулся, с тех пор и появилась между ними связь и переписка.

Постепенно в словах и письмах Канзафара стало все больше чувства, последнее время он постоянно уверял Алиму в своей преданности, в горячей любви к ней. Алима же робела отвечать на такие письма и слова. В редкие свидания с Канзафаром она старалась переводить разговор на другое: расспрашивала о его жизни в городе, увлеченно рассказывала о своей самостоятельной школе. Он помогал ей, но снова и снова говорил о любви, тоске, о том, что скучает по милой Алиме среди городских барышень. Не очень-то верила Алима, но приятно было слышать такое...

Однажды Канзафар пообещал на собственные деньги построить для Алимы и ее подруг настоящее медресе в ауле.

— Отец тебя очень уважает, Алима. Я с ним разговаривал о строительстве, он обещал помочь. Вообрази только, будешь главной учительницей во всей нашей округе. И дом для школы мы тебе построим большой и крепкий, на сто лет хватит.

Такие слова подкупили мечтательную Алиму, да и понятно, что это предприятие вполне по силам богатому роду Канзафара.

— Это было бы замечательно, Канзафар! — восторгалась Алима. — Весь аул, вся округа будут благодарны тебе и твоему отцу. Добрые дела не забываются в народе никогда.

— Все для тебя сделаю, милая моя Алима, — ласково говорил Канзафар, осторожно обнимая девушку за плечи, наклоняясь к ней.

— Нет, нет, Канзафар, не надо... — отстранялась Алима, волнуясь.

Но сердце ее полностью принадлежало этому честному и отважному юноше. Не всякий байский сынок станет встречаться с девушкой из бедной семьи. С нежностью думая ночами о Канзафаре, Алима чувствовала и неясное беспокойство, словно бы подсказывало бедное сердце: не мечтай слишком, девушка, не обнадеживайся сильно, подумай, пара ли ты знатному Канзафару...

Хабиба-енге однажды поделилась с дочкой секретом. Оказывается, Канзафар просил выдать Алиму за него замуж, обещал засыпать девушку серебром и золотом, разодеть в

шелка и парчу, клялся, что все ее желания будет исполнять по первому слову и всю жизнь.

— Нет, сынок, нет, уважаемый Канзафар,— отвечала после раздумья Хабиба-енге.— Посуди сам, разве отец твой и вся ваша многочисленная родня позволят тебе связываться с бедняками? Никогда не позволят. Даже если и случится чудо, сначала согласятся, уступят тебе, то потом не будет никакой жизни моей единственной доченьке в вашем доме, ведь отец твой сделает из нее батрачку, какое уж там золото да серебро, какие шелка...— говорила Хабиба-енге, грустно вздыхая.— Да, да, Канзафар, так оно и будет, я много лет на земле прожила, всякого повидала.

Но Алима не могла понять тревоги и опасений матери. Девушка была переполнена любовным чувством, она верила красивым и страстным словам возлюбленного, верила и своим мечтам. Последнее время только и жила надеждами, редкими встречами с Канзафаром, его обещаниями и планами. Будущее представлялось ей светлым, радостным, наполненным любовью к ней Канзафара и желанным учительским делом — чудесное будущее рядом с единственно нужным человеком.

...Вот и сегодня, на этом большом празднике, она чувствовала себя легко и естественно, куда делась ее стеснительность, робость. Все у нее получалось.

Она играла на звончатой гармонии неумоимо и весело, сама удивляясь невесть откуда берущимся новым мелодиям. Легко вспоминались, казалось бы, давно позабытые песни и озорные частушки. Люди восхищались Алимой, дивились ее мастерству. А стоило ей прерваться, отложить гармошку, тут же гости начинали настойчиво приставать, уговаривать спеть еще что-нибудь. Родственники же Канзафара, так те даже и строгое недовольство выражали, если Алима намерена была отдохнуть.

— Мы тебя и Хабибу-енге, Алима, кормим и поим сколько дней, щедро заплатим. Так уж будь добра, голубушка, работай на совесть, чтобы наши дорогие гости были довольны.

Алима, усталая и покорная, снова включалась в общее веселье.

И тут же начинали радостно шуметь друзья парня:

— А где наша сваха гармонистка? — громогласно орали они.— Такую гармонистку и артистку и свахой не грех к себе взять! Пойдешь, Алима?

Сельчане, шутя, противились этим зазывным шуткам, они говорили, не отдадут Алиму ни за что, ни в какой самый богатый дворец, ни в какие самые красные боярские хоромы!

— Она у нас одна затейница на весь наш большой аул, ни за что не отдадим.

— А еще читать, писать и учить детей и взрослых может, вот она какая!

— Читает-пишет, как утка по воде плывет, и поет соло-вьем, на инструменте мастерица,— поддерживали балагурство доброжелательные гости.

Хоть и шутки все это были, но такие слова до горячих слез грели душу Алимы, ведь Канзафар видит все и слышит. В эти минуты она ощущала себя своей в доме Хайбрахмана, сердцу становилось вольно, билось оно со сладким напряжением, словно желанные перемены в ее судьбе совсем близки. И так хотелось, чтобы Канзафар гордился ею и радовался вместе... Но пока свои чувства она передавала тальянке и песням, и музыка звучала ярче, озорнее. При таком скоплении людей Алима не могла открыто общаться с Канзафаром, народ это бы осудил.

Промелькнула неделя богатой байской свадьбы. Разъехались гости. Разбрелись по дальним местам некоторые сельчане-мужчины,— на отхожий промысел, на заработки.

Сенокосная страда поднимала людей с восходом, затемно возвращались с полей и лугов усталые работники.

Жизнь входила в привычную колею. Но еще хранился праздник в душе Алимы, ведь целую неделю удалось побыть рядом с возлюбленным. Теплые вечера на берегу реки, нежность его сильных и осторожных рук, долгие разговоры и еще более долгие прощания, когда и заря показывалась из-за гор...

Любовными воспоминаниями жила Алима, ночами не давали спать эти грезы. То въяве слышала она страстный шепот Канзафара, то с внезапным приливом жара и стыда чувствовала его живую ласку... Гнала она от себя такие видения — и умоляла продлиться, продлиться... Это состояние было похоже на то, которое она ощутила в детстве, далеко-далеком счастливом и беззаботном детстве, когда, полная безмятежной радости, она купалась в лучах солнца на цветущем лугу, и ласка утренних лепестков и росистой травы давала восторженное наслаждение, и хотелось долго-долго бегать, кружиться среди луга, солнца и тепла... Подобное, с пугающим головокружением, испытывала она и теперь, когда ночами вспоминались тихие поцелуи Канзафара, шея и щеки вспыхивали; становилось жарко, Алима сбрасывала одеяло и долго лежала,

коротко и часто дыша, всматриваясь в непроглядную тьму за окном, ожидая...

Сон был легок. Утром будущее представлялось ей непрерывным сияющим днем, пронизанным восторгом любви и взаимности.

Подруги и соседи видели, как изменилась Алима, даже не узнавали ее тальянку и песни. Мелодии стали протяжны, неизбывная тоска слышалась в них, зов неудовлетворенной любви.

Приезжая в аул, Канзафар уже не таясь приходил к Алиме по вечерам. Интересными были его речи, в городской жизни он узнавал много нового и необычного. А книжки почему-то теперь перестали привлекать Алиму, даже занятия с девушками она стала проводить без прежней старательности и строгости.

Всю жизнь заполнило ожидание Канзафара.

Он обещал райскую жизнь своей Алиме, сулил журчащие ручьи из меда, молока и шербета, низал слова, словно делал дорогие бусы из крупного жемчуга, монисто из золотых и серебряных монет... Они мечтали о совместной жизни в достатке и беззаботности, о путешествиях и других странах, благо Канзафар многое мог рассказать о невиданном.

Однажды Хабиба-енге так сказала парню:

— Канзафар, я все вижу, ведь доченька моя за несколько последних месяцев совсем иная стала, неузнаваемая... И сердце мое болит, Канзафар. Ты всю душу девушке разбередил и занял ее сердце, одним тобой живет, даже занятия забросила... Она всегда была у меня послушная, как шелк. Косо не глянет, слово поперек не скажет. А теперь? Возражать стала на мои замечания! А то и совсем не отвечает, словно не слышит, что я ей говорю по нескольку раз. Так, Канзафар, дальше дело у нас не пойдет... Алима честь теряет, опозорит меня и наш род на всю округу, люди станут плевать и отворачиваться. Я старая, Канзафар, мне недолго осталось жить на земле, я не перенесу такого срама. Разве ты хочешь свести меня в могилу раньше времени?

Канзафару не очень понравились эти суровые слова, но он сдержался и спокойно спросил, чего же хочет Хабиба-енге.

— Если решил поставить себе Алиму ровней, то скажи об этом родителям и всем родственникам, присылайте сватов. Вот как я считаю.

Старое опытное сердце Хабибы-енге сжималось при этих

словах, она чувствовала, что такой оборот дел почти невозможен, а если и случится чудо, отзовутся Канзафар и его родители на предложение ее, то не будет долгим счастье Алимы. Никогда не станет она своей в байской семье, пройдет умопомрачение первых любовных месяцев, и сделают ее батрачкой при муже.

Долго молчал Канзафар. Он был умный парень, а жизнь уже научила трезво смотреть на события. Не волен он распорядиться своей судьбой. Слово отца непререкаемо, как закон. А что скажет отец? Что скажут родственники? Канзафар понимал, согласия отца на свадьбу с Алимой ему не добиться.

— Ладно, бабушка Хабиба, я все сделаю, как вы говорите. Попробую сделать так.

Произнес это Канзафар, не глядя в глаза Хабибы-енге, и у нее навернулись слезы, совсем плохо стало на душе. Предчувствовало сердце матери, что ждут ее любимую и единственную дочку тяжелые дни.

Хабиба-енге рассказала об этом разговоре дочери, утаив, конечно, свои сомнения, скрыв неопределенный ответ парня.

Алима же была вне себя от радости. Она никогда бы не решилась затеять такой серьезный разговор с Канзафаром, это не было принято, запрещалось строгим обычаем. А теперь она узнала, что ее тайные мысли мама высказала возлюбленному, осталось только терпеливо ждать в счастливой надежде событий, которые переменят судьбу. Расцвела, разразвилась Алима, предупредительна и нежна стала с матерью и вовсе не замечала ее грустных, озабоченных тревожными думами глаз.

Подружки дивились перемене в поведении Алимы, которая снова стала общительной и говорливой, снова начала собирать их в своей комнатке, развлекать игрой и пением. Подруги догадывались обо всем, желали ей удачи. Многие, конечно, и завидовали.

Между тем проходил день за днем, но от Канзафара не было никаких вестей, не присылал он ни писем, ни записочек, сам не показывался, не приезжал в аул из города.

Для матери Алимы это не было неожиданностью. Предчувствия ее оправдывались. Хабиба-енге уже видела тот недалекий день, когда откроются глаза у бедной девочки, прозреет она умом и сердцем, и старая женщина заранее глубоко жалела свою дочь.

Матушка была печальна, сердце болело все сильнее. Алима по-прежнему была беспечна и радостна. Как слепо влюб-

ленное сердце, как туманится разум и не видит, не понимает очевидного, всем вокруг давно понятного!

Однажды вечером со двора Хайбрахмана-бая выехал ходок, запряженный парой серых лошадей в яблоках. Янифа, близкая подружка Алимы, как раз видела это, прибежала и рассказала, взволнованная, что в тарантасе был Канзафар, люди говорят, он целых два дня гостил у отца.

Алима была поражена известием. Не хотела верить, приискивала разные оправдания любимому. Не хотела слышать правду! Заболел Канзафар, конечно же лежал больной, пришлось теперь ехать в медресе больному, а она и не почувствовала этого. Не сумела даже навестить, не смогла придумать, как свидеться с ним. Сама виновата... Но Янифа добавила, что поговаривают о недалекой женитьбе Канзафара на городской барышне, едва ли не с этим приезжал он к отцу. Люди слышали, как они круто и громко ругались между собой во дворе перед тем, как парню уехать.

Да... С больным сыном не станет отец ругаться... Алима терялась в догадках. Почему, почему не пришел Канзафар, не заглянул хоть на краткую минутку, ведь она ночами не спит, каждый миг ждет его посещения и слова... Почему даже не сообщил через знакомых, что не может прийти? А вдруг он отправился в город за свадебными подарками для нее? Не хотел приходить с пустыми руками, спорил с отцом, сколько и чего купить... Но мог хоть словом обмолвиться о своих намерениях, ведь Алима вся извелась, его ожидая.

Нет, она все же не понимала, что происходит... И ничего утешительного не придумывалось. Мысли, одна тяжелее другой, приходили в голову, а предположение подруги о городской барышне для Канзафара и вовсе повергло Алиму в полное уныние, она горько расплакалась на плече Янифы.

Неужели Канзафар предал, неужели нашел другую и теперь отправился к ней? Но так неожиданно... Он же ни словом не обмолвился, что общается в городе с барышнями, даже наоборот, всегда рассказывал о городских с презрением, высеивая их чопорность и спесь.

Тоска, но уже не сладкая, любовная, а тоска безнадежности и обмана заползла в сердце Алимы холодной змеей. Неизвестность вызывает немыслимые фантазии, самые невероятные картины. Болело и ныло неопытное доверчивое сердце, девушка потеряла сон, даже есть почти перестала. Хабиба-енге деликатно молчала. Обе уже понимали, что судьба окончательно отвернулась от их дома. О чем говорить в такое время? Только лишние слезы, лишняя боль.

Застыв как мумия, не в силах избавиться от одолевающих мрачных дум, закутав голову шалью, часами сидела в неподвижности у окошка, словно немая, Алима. Исчез с ее пухлых щек румянец, запали глаза, темные круги появились вокруг них. Глянет на свою страдающую доченьку Хабиба-енге и уйдет тихонько за печку всплакнуть, потому что нечего сказать, нечем утешить.

Последние дни Алима совсем сдала. Ляжет на тахту в самый темный угол, отвернется к стенке и тихо плачет, тихо и непрерывно, вздрагивая всем телом, словно побитая собачонка. Даже ночь не приносила облегчения, потому что сон приходил на краткий миг, а думы ночью чернее и безнадежнее.

Как-то утром, возвращаясь из ночного с табуном лошадей, пастух Хайбрахмана-бая, старик Вахит, подъехав на коне к окошку дома Хабибы-енге, постучал кнутовищем в ставень:
— Дома ли уважаемая Хабиба-енге?

В окошко выглянула печальная Алима, она рядом была, на лавке. Увидела пастуха, сердце застучало у самого горла, волнующее предчувствие охватило все ее существо. Глядя на заросшее щетиной лицо, она лихорадочно пыталась предугадать, какую же весть принес старик. Хоть чем-то порадует или окончательно отнимет слабую надежду?

Но ничего нельзя было понять по лицу Вахита. Невыразительные, узкие и мутные глазки его ничего не сказали Алиме, а сам Вахит молчал, что-то жуя, словно корова жвачку.

Алима кликнула матушку. Сама ушла в другую комнату, чувствуя, что ничего отрадного не принес пастух.

— Хабиба-енге! — сказал Вахит, навалившись грудью на подоконник. — Хозяин велел мне передать вам, что хочет видеть вас с дочерью у себя дома. Велел приходить прямо с утра, пораньше. Сейчас и идите, а то разгневается хозяин, вы знаете моего хозяина, он не терпит непослушания.

Все сразу поняла Хабиба-енге, ничего не переспросила.

Вахит удивился неприветливости и осерчал:

— Ты слышала, что я тебе сказал? Прямо сейчас отправляйтесь!

Пастуха не любили в ауле, это был настоящий пес при своем хозяине.

Алима невольно слышала грубые слова Вахита, вся сжалась от дурного предчувствия и молча стала собираться. Однако мать строго сказала, чтобы она оставалась дома. Алима при-

села на лавку, зябко притулившись к теплому боку печки. И закрыла глаза. В самом деле — зачем идти? Все понятно и так...

У открытого окна появилась Курбанбика, соседка, она шла на ручей полоскать белье и звала Алиму с собой. Не откликнулась Алима. И не знала, сколько времени пробыла в полузабытии.

Очнулась от голоса мамы.

Хабиба-енге сидела в дальнем темном углу уютной их избы и глухим голосом тихо говорила, что нечего больше ждать им, не на кого больше надеяться.

А скоро, обнявшись, они неудержимо и безутешно плакали вместе, не в силах сказать друг другу ни слова. И некому было на всем белом свете приободрить их, некому поддержать две сиротские души.

Когда Канзафар сказал дома о своем желании жениться на Алиме, отец сначала принял это как глупую шутку. А потом невероятно разбушевался, не хотел больше ничего слушать.

И вся родня поднялась против парня, посыпались ругань и укоры в глупости и непослушании.

— Неблагодарный шакал! — орал отец. — Такое ли будущее прочил я тебе? Только дураку могло прийти в голову связать свою жизнь с нищенкой и блудницей! Для того ли хлил я тебя и воспитывал, отдал в самое дорогое медресе! Я не жалею денег, чтобы тебя учили лучше всех, чтобы ты жил в городе в прекрасных квартирах!

— Ты не мой сын, ты отродье шайтана! — распалялся отец. — Хочешь опоганить наш знатный и уважаемый род? Кому нужна эта Алима, сирота и оборванка? И отец у нее был глуп и жаден и помер от жадности и глупости своей, и братья у нее один другого хуже, солдат да бродяга-пьяница... Что ты получишь за Алимой? Две горсти стертых монет с платья ее матери?

Канзафар, зная вспыльчивый и неумный нрав отца, все же поначалу пытался спорить, говорил о чудесном характере девушки...

Ничего не хотел слышать Хайбрахман.

— Поступишь по-своему, не дам согласия. Никогда не дам. Прогоню из дома, и будешь нищим вместе со своей Алимой. Недолго вы проживете без гроша в кармане!

Вот этот-то громкий скандал и слышали люди...

Канзафару была дорога честь Алимы, он испытывал силь-

ное чувство и понимал, что отвечает перед судьбой и аллахом за ее жизнь. Но угроза лишиться наследства и благополучия напугала парня. Он хорошо знал, что отец слов на ветер не бросает.

Все же Канзафар пытался возражать, и в доме возник раздор. Когда убедились, что Канзафар серьезно заупрямился, отец сменил тактику. Хитрый, он сделал вид, будто успокоился, даже вроде решил подумать... Но велел сыну в тот же вечер отправляться в город, якобы нужно срочные бумаги передать знакомому купцу.

Сын повиновался. Он участвовал в предприятиях отца и срочность деловых отношений понимал хорошо.

Отец же, как только тарантас сына скрылся за околицей, послал с нарочным одному знакомому баю в Оренбург письмо, прося немедленно посетить сына и пристроить его к такому делу, чтобы тот не смог отлучаться из города, наказывал со всей возможной строгостью смотреть за парнем, занять все его свободное время, велел нанять толковых учителей, чтобы как следует и быстро Канзафар освоил русский язык.

Хайбрахман целил далеко и наверняка. Он хотел из сына сделать грамотного городского купца, а для широких и дальних связей русский язык был совершенно необходим.

Уехал Канзафар, и Хайбрахман-бай тут же позвал к себе Хабибу-енге, строго отчитал, что так дурно воспитала дочь. Разговор этот, тяжелый и позорный для старой женщины, затеял при всех родственниках.

Больно ударил бай! Долго он говорил, грубо и громко, дружно поддакивала его родня. Хабиба-енге ушла со двора бая совершенно сломленная и униженная.

А ведь сначала... Когда старая женщина, в которой все-таки теплилась слабенькая надежда на хороший исход дела, пришла в этот богатый дом, коварный бай встретил ее ласково, провел в передний угол, усадил на почетное место. Велел принести пиалу свежего кумыса, которую сам протянул Хабибе-енге.

— Отведай, уважаемая Хабиба-енге, моего свежего кумыса, оцени, хорошо ли получился напиток. А я пока хочу тебе сказать о наших с тобой заботах, уважаемая. Ты женщина полуграмотная, темная, но умная и понятливая, я уверен, быстро сообразишь, что я хочу тебе сказать. Ты прожила не маленькую жизнь, но, кажется мне, мало чего в ней смыслишь. Прости меня за такие слова, уважаемая! Ну, ты пей, пей кумыс-то. Хочешь, еще принесут.

Хабиба-енге немного успокоилась. Поблагодарила за утешение и приготовилась слушать.

И тут ласкового бая словно подменили. Он прошелся по горнице туда-сюда и заговорил вдруг громко и резко:

— Что это вы надумали со своей беспутной дочкой, уважаемая Хабиба-енге? Чужим трудом жить? На чужом поту и труде счастье построить? Или из ума на старости лет ты вышла, что богатства захотелось? Богатство руками добывают, работой с утра до ночи, как я, а не обманом, как ты. Неужели вы с Алимой аллаха не боитесь? Ведь покарает, жестоко покарает он вас за такие дела! Ну, если нет у тебя ни гроша, так пришла бы ко мне, разве я не даю займы всем, кто нуждается? И тебе не раз давал, забыла? Черные вы люди, нищие, никак благодарить не умеете!.. И что такое ты надумала, подлая, такие гадости только в городе можно творить, а в деревне все на виду, никто тебе не простит до последнего дня такой подлости! Разве можно развращать молодого, образованного, хорошо воспитанного джигита? Мой сын порядочный человек, ученый человек, у него большое будущее, а ты подсунула ему свою грязную девку, немытую оборванку нахальную. И та хороша! Послушала тебя, глупую женщину, окружила парня, соблазнила, вертит им, как хочет, деньги выпрашивает, подарки. Позор на твою голову, старая, невиданное в наших краях дело ты сотворила!

Пораженная несправедливыми наговорами, Хабиба-енге хотела было протестовать, намерилась что-нибудь сказать в защиту себя и дочери, но бай не давал и рта раскрыть, а еще кликнул домашних. Те собрались, и тут, конечно, старая женщина совсем потерялась.

— Вы посмотрите, правоверные! Эта бабка из своей дочери сделала отъявленную шлюху, ее распутством живет, заставляет брать деньги с хороших парней, вот и моего обобрали совсем! И не одного моего, не одного моего! Мне говорили, жаловались, но я молчал до времени, теперь-то все ей скажу, все...

— А? — повышал голос, взвинчивал сам себя Хайбрахманбай.— А детей малолетних зачем развращаете? Зачем собираете их в своем доме по ночам? За такое можно и на каторгу отправить, с вечным позором из аула выгоним, камнями побьем, так и знай! Правильно я говорю? — обращался он к домочадцам.

Те дружно поддерживали, охая и возмущаясь.

— Что же ты молчишь, старая? Нечем оправдаться, да? Всей округе давно известно, чем занимается твоя грязная

дочка! Покрываешь шлюху, беспутницу, а не удастся тебе ничего скрыть, от добрых людей ничего не спрячешь, немного ты наживешь на разврате, на распутной Алиме! Да и сама ты распутная, что говорить. Я не помню такого позора, хотя прожил долгую жизнь. Проститутки, обе вы с ней проститутки, вам место в публичном доме, а не в нашем ауле!

Хабиба-енге задыхалась, слезы обиды и бессилия душили ее.

— Вон из моего дома! — грозно проорал бай. — Вон, и никогда не показывайтесь мне на глаза, ни ты, ни твоя подлая Алима! Жена! Выброси собакам чашку, из которой пила эта женщина!

Хайбрахман сделал все, чтобы раздавить мать Алимы, у него был точный расчет. Униженная и оболганная, Хабиба-енге все расскажет дочери, теперь они не посмеют и глянуть в сторону дома Хайбрахмана, не то чтобы помыслить о Канзафаре.

Спасти сына от глупой и, как понял отец, почти непреодолимой любви к Алиме вот какова была цель, и тут любые средства на благо.

Хайбрахман топал ногами, слюна брызгала изо рта, он старательно стучал кулаками по столу, хотел уstrasшить старую Хабибу. Даже сам устал от этого спектакля.

Задами и околицей, прячась за сараями и плетнями, боясь попасться на глаза даже курице, словно в темном тумане, пробиралась Хабиба-енге домой. Ей казалось, что она сразу умрет, как только доберется до своей кровати.

И все же ни сама Хабиба-енге, ни Алима не могли вообразить, до какой степени осрамлен их дом и они сами.

Ядовитая жуткая сплетня распространилась по аулу, выползла и в другие селения. Очень старались подпевалы бая, лизоблюды и приспешники его...

Начали поговаривать, что несчастный юноша, сын знатного Хайбрахмана, срочно поехал в Казань лечить страшную болезнь, которой его заразила распутница Алима. Везде только и судачили об этой новости. Старики проклинали Алиму, а совсем недавно хвалили за бескорыстную работу. Никто не здоровался, не разговаривал с Хабибой-енге, отвернулись все.

Соседи старались переходить на другую сторону улицы, если встречались со старой Хабибой. Алима же выбегала из дому только за водой на ручей ночью, чтобы никого не встретить.

Даже родственники озлобились, не нашлось в их сердцах

места милосердию и сочувствию. Грозилась написать обо всем Давлеткулу, никаких объяснений не желали слышать от иставшей Алимь и ее матери, неизвестно как еще живой от горя.

— Зачем вы связались с богачами? — ругались родичи. — Что теперь с вами делать? Неужели бы мы оставили вас в нищей беде, как-нибудь собрались бы и помогли. Так нет, занялись какой-то школой, а к чему привело?

— До какого позорного занятия докатилась ты, Алима, какое горе всем нам, кто мог подумать, что из скромной девушки получится беспутная девка!

Алима будто закаменела, замкнулась.

Удивляясь себе самой, она иной раз огрызалась на ругань родственников, однако это только распалило их.

Она охладела ко всему, что происходило вокруг нее, зачерствело сердце и страдания не принимало.

За несколько дней повзрослела Алима. Ей было жалко, что разочаровалась в людях. С презрением думала она о темных их душах, с такой готовностью подхвативших дурную сплетню. С презрением и жалостью глядела на глупых родственников, бездумно подвывающих баю и злобным лакеям его. И уже понимала, что с людьми делает чужая власть и чужое богатство, как калечат их ум и души подачки, кабальный хлеб с хозяйского стола, в какое рабство и суеверие затягивает темная неграмотность. Жалко было Алиме людей, но и ненавидела она их теперь сильно. А про себя почему-то перестала думать, странное равнодушие появилось. Даже сердце успокоилось, недавно еще готовое разорваться от обиды и обмана. Наплевать на все, будь что будет, плетью обуха не перешибешь.

Несколько верных подруг Алимь тайком от соседей и родителей приходили к ней в дом под покровом ночи. Иногда приносили немудреную еду, поддерживали, чем могли, всеми забытых мать и дочь.

Редко брала Алима в руки тальянку, ничего, кроме тягучих заунывных звуков, теперь у нее не получалось, ведь в ожесточившемся сердце Алимь было пусто. Нечему было радоваться, не о ком и тосковать. С равнодушной покорностью ждала она новых ударов судьбы.

2

Сильные и богатые издавна используют для своих вероломных дел ленивых подхалимов. Словно специально создана для

грязных затей эта человеческая мразь, волки в овечьих шкурах. Из них получаются ревностные бездумные исполнители, доносчики, провокаторы и обманщики всех мастей, верные псы своих хозяев. Власть и богатство обстригают подлые проделки их руками, сами же повелители зачастую остаются в стороне.

В каждом ауле найдутся неглупые плуты, эдакие ловкие пройдохи, большие охотники за чужой счет попить, сладко поесть, очень облегчающие себе жизнь благодаря недалеким простодушным любителям подхалимства и неумных славословий в свой адрес.

Средней руки купец Мырдаш из аула Каратаево для таких мастеров-лгунишек — сущий клад. Очень падок на лесть и похвалу, любит выказать себя богатым, удачливым и щедрым, но еще больше любит, когда о его чудесных качествах говорят все вокруг.

И вот в один базарный день хитрецы из аула Каратаево, как говорится, напихали ему соломы за пазуху.

А подосланы они были на этот раз баем Хайбрахманом, он поручил своим приспешникам сосватать глупому и тщеславному Мырдашу Алиму. Бай не сомневался, что оболганная девчонка и Хабиба-енге ухватятся за Мырдаша, как тонущий за соломинку. Что еще остается Алиме, всеми презираемой, ненужной теперь никому.

Подсев к Мырдашу за столик в кабаке, завели каратаевцы медовые речи.

— Ассалям-вагалеюкум, друг Мырдаш! Слыхали мы, что дела твои идут совершенно замечательно, много у тебя хорошего товара, значит, будет еще больше! Ведь добро к добру идет!

— Богатеешь не по дням, а по часам...

— Уважаемый, видный человек...

— Самый уважаемый человек в округе купец Мырдаш. Просто честь и радость посидеть с таким достойным аксакалом за одним столом, мудрые речи его послушать...

— Вагалеюкум-ассалям, Мырдаш-агай! Аллаху угодно твое процветание.

— Иншалла!¹ — кричали подхалимы чуть не хором. — Афарин!²

Улыбался и кивал старик Мырдаш, расцветала его душа, молодело сердце.

¹ Аналогично русскому «Дай бог!».

² Честь и слава! Молодец! Bravo!

— А вот помощника достойного почему не заимеешь, а? Толкового да работающего конторщика себе. Глядишь, и дела пойдут ловчее, дополнительный прибыток. Всех перещеголяешь!

— Мы знаем, Мырдаш-агай, что ты и сам можешь справиться, но для солидности!

Мырдаш совершенно обмяк, обрадовавшись такой большой похвале.

Накупил вина, принялся угощать приятелей, хотя некоторых из них и видел едва ли не впервые.

— Э, нет, ребята! Погожу я с конторщиками, пока сам замечательно справляюсь. Все говорят, какой я удачливый и разумный хозяин... Я важную сейчас мысль имею. Пока тайна очень большая, но вам, так и быть, скажу. Только никому ни слова, договорились?

— Ну что ты, что ты, Мырдаш-агай! Могила! — подзадоривали самолюбивого купца собутыльники. — Сделай честь, окажи доверие, поделись планами!

— Я вот чего думаю. Надобно мне сначала построить в ауле большой каменный магазин. Из белого камня. Или кирпичный, из красных кирпичей!.. Как в городе, двухэтажный. На первом будет торговля происходить, внизу подвалы и склады. А на втором этаже моя контора. Вот тогда и конторщиков найму. Всем торговцам в округе на зависть... Вывеску закажу железную с картинками, мануфактуру пусть нарисуют и окорок.

— О Мырдаш! Важное дело ты затеял. Как тебя народ станет уважать, если увидит такую заботу, даже представить трудно.

— И на нас можешь рассчитывать, обязательно поможем строить красный магазин!

Шумели приятели, наперебой восхваляя доброту и разумность Мырдаша, лезли к нему с бесконечными тостами. Кто-то раскошелился на бутылку вина, зная, что за это одуревший от похвал Мырдаш тут же закажет три.

Словно в меду и в масле купался купец, распустил хвост веером. Расщедрился — и пошло: стакан за стаканом, бутылка за бутылкой. Еды полный стол! Прихлебателей набежало на дармовое угощение — что мух на мед, неведомо кто, невесть откуда. Пошел пир горой за купца Мырдаша, большого человека...

И вот между возлияниями привалился один из собутыльников к потному Мырдашу и говорит на ушко:

— Дорогой друг, ты же видишь, до чего мы тебя любим

и как уважаем. У нас и слов не хватает, тебя достойных! А я самый уважительный человек и хочу доложить тебе большой секрет.

— Давай! — благосклонно кивнул Мырдаш. — Все секреты мне всегда первому!

— Конторщика знаю одного, ой какой конторщик! Образован, умен, собой хорош... Помощником дельным будет и... женой ласковой.

— Зачем говоришь! — подскочил Мырдаш на стуле. — Какой такой женой? Опомнись, чего несешь тут?

— Да-да-да, — клонился к Мырдашу другой человек, дыша в лицо горячим перегаром. — Не удивляйся, специально для тебя подыскали.

— У, нечестивцы! — в пьяном кураже заорал Мырдаш. — Наверное, какую-нибудь христианку негодную хотите засватать, знаю вас! Смеетесь, да? Не собираюсь я жениться, отвязитесь! Зачем еще жена, у меня есть жена Салиха, а грамоту без вашей девки знаю лучше всех!

— Мырдаш, Мырдаш, — гладили по плечам, успокаивали разбушевавшегося купца приспешники Хайбрахмана-бая. — Какая христианка? За кого ты нас принимаешь? Мусульманочка чистокровная, молоденькая, крепенькая, в самом соку! Вот увидишь, благодарить будешь!

— А? — поутих Мырдаш. — Молоденькая?.. А кто такая и откуда, отвечайте, нечестивцы!

— Алима! — сладко прошептал первый прямо в волосатое ухо Мырдаша. — Дочка покойного Уматкула и Хабибы-енге.

Хмель из старика как ветром выдуло, он отшатнулся от приятелей:

— Что говорите! Брехуны пьяные, подлые хитрецы! Хотите подсунуть мне дурной товар, да? Разве неизвестно, кто такая эта девка? Да я ее в батрачки не возьму, ей только у русских помещиков свиней пасти, больше ничего.

— Погоди, Мырдаш-агай! — перебивали приятели. — Никого не слушай, нас слушай. Сейчас правду скажем, никто не знает!.. Это же сплетни про нее рассказывают, врут все, врут от зависти, что она отказывает всем, сватов гоняет из дома.

— Да какие сплетни? — горячился Мырдаш. — Мне брат самого Хайбрахмана-бая рассказывал про ее делишки. А другие? Все, везде говорят.

— Хайбрахман! — подхватили приятели, перемигиваясь. — Так Хайбрахман и распустил сплетни про Алиму,

прекрасную девушку, лучшую девушку в ауле. А знаешь почему? Она отказала его сыну Канзафару. Чуть не от ворот прогнала сватов, вот Хайбрахман и решил отомстить таким образом. Теперь понял?

...Видя, что упрямый сын еще не окончательно подчинился его воле, бай рассчитал, что сломленная и опозоренная Алима не откажется от предложения старика Мырдаша. Кому же она после такой славы нужна? Только этому самолюбивому и глупому купчишке.

Хайбрахман щедро заплатил теперешним собутыльникам Мырдаша, чтобы они из всех сил расхваливали Алиму, самого Мырдаша, даже велел себя поругать маленько, чтобы загордился старик. Вот и пели теперь приспешники Хайбрахмана, пьянчужки и бездельники, что нет лучше человека, чем купец Мырдаш, и нет на свете прелестней замечательной Алимы. Ведь за удачный оборот дела ждало их вознаграждение. Хорошо было этим врунам: Хайбрахман деньжат дает, а Мырдаш поит-кормит. Верно, не один день будет им такое угощение.

— Никого не слушай, Мырдаш, только нас слушай. Мы одни настоящую правду знаем и тебе одному по секрету говорим. Нигде нет девушки лучше Алимы! От зла и зависти врут про нее, так и знай.

— А еще мне известно,— старался самый верный прислужник Хайбрахмана,— что бедная Алима очень по тебе, Мырдаш, вздыхает. Прямо измучилась, извелась. По сердцу, видать, пришелся ты ей. А что? Завидный жених, богатый, знатный, известный и вовсе не старый еще. Вон ты какой бравый у нас, что тебе толку от старухи Салихи, детей не родила, сама больная вся... Никуда не годится твоя апай, выгони ее прочь, возьми в дом Алиму. Сына тебе родит, помощником станет!

— Решайся, Мырдаш, спеши! А то гляди, уведут Алиму дальние купцы в свои края, опоздаешь.

— Слыхали мы, что даже из Оренбурга сваты собираются.

— Алима к тебе сама побежит, пальцем только вот так помани.

— Судьба в руки идет, Мырдаш-агай! А как нос подотрешь баю Хайбрахману, а?

Мырдаш тут совсем растерялся.

— Вон что... Неужто такие дела? Надо подумать маленько... Совсем молодая, разве пойдет за меня... А Хайбрахман, это да, он позеленеет от зависти, вот будет знатно! Много о себе воображает. Подумаешь, бай какой!

— Пойдет, пойдет, еще как пойдет, просто бегом побегит, мы уж знаем! Ты у нас джигит! Разве какой парень перепьет тебя? Где им!

Глотнул Мырдаш на радостях жгучей водочки, заулыбался, захорохорился, грудь колесом и руки в бока.

А приятели старались из последних сил:

— Гордая девка, строгая! Мусульманка правоверная, сама Коран читает. А уж красавица... Прямо гурия.

— Хватит думать, Мырдаш! Решай давай. Тебе и беспокоиться ни о чем не нужно, сами приведем ее к тебе, только слово скажи.

— Утром нос Хайбрахману-баю и евонному сынку!

Приосанился Мырдаш и уже сидел важный, словно жених на свадьбе. Поглаживал жидкую свою бороденку, в хмельном тумане сладко мечтая о жизни с молодой женой. Разве это справедливо, что у всех есть дети, а у них с Салихой нету? Удача сама идет в руки. Глупо отказываться. Это же надо: самому Канзафару, сыну знатного человека, отказала. Да... Чудесная удача, надо быстренько ее за хвост хватать.

Много собралось народу вокруг стола Мырдаша, все наперебой хвалили щедрого купца. И пиво заказывалось не дюжинами, а целыми корзинами. Желающих было столько, что вино хоть бочками выкатывай. Так разгулялась компания, что после закрытия базара долго они еще шумели на улицах.

Утром Мырдаш еле очухался, выпил три ковша воды и снова спал до обеда. Весь вчерашний день был словно в тумане. Голова раскалывалась, трещала, как мороженный кочан. Напился пива, сколько поместилось в желудке, немножко отошел. И принялся вспоминать, что же за праздник он устроил вчера себе и своим товарищам.

Подавая обед, жена Салиха не стерпела обиды, съязвила:

— Ну что, гуляка, совсем память отшибло? Забыл приглашение? Старый, а неразумный такой... Твоя новая родня с утра ждет тебя в гости, а ты вон уже как набрался! Разве прилично будущему зятю являться выпивши? И куда только в тебя лезет, бочка бездонная. Посмотри, пузо выше носа стало.

— Чего такое говоришь, женщина? — не понял речей жены Мырдаш. — Какая родня? Голову мне морочишь, да?

Однако в мозгах постепенно светлело, кое-как припомнился вчерашний вечер и застольные разговоры.

Желая выпытать, что же он наплел, Мырдаш невинно спросил:

— Ну, ну... Скажи-ка, женушка, чего такое я наболтал

тут? Может, лишнего перебрал, ерунду какую наговорил, а? Расскажи, расскажи...

— Прикидываешься, старый! — сердилась Салиха, не чувствуя подвоха. — Вчера чуть не половину мужиков из Юлаева притащил к себе, вон во дворе две корзины бутылок, всех перепоил, сам чуть не до смерти опился, а потом где-то мотались. Ты все орал на весь аул: Алима, где моя дорогая Алима!

— Какая такая Алима? — хитрил Мырдаш. — Наверное, юлаевские захотели свою девку выдать за богатого купца, а я по пьянке и пошутил. Давайте, говорю, мне ее в младшие жены. Это же шутки у нас такие, не понимаешь? Брось свои глупости мне тут говорить, не серди меня.

— Глупости!.. Вот я посмотрю, как ты к Хабибе-енге отправишься, увидим глупости. Обмануть меня задумал?

Высосав еще ковшик пива, Мырдаш, притворно охая и кряхтя, слез с тахты, подошел к зеркалу. Долго стоял, поворачиваясь так и сяк, разглядывая свое одутловатое лицо, совершенно заплывшее после вчерашних возлияний.

Мырдаш короток, широк в кости, сутул. Фигурой напоминает медведя. На темном и плоском, изрытом оспинами лице, как пробка от бутылки, торчит маленький вздернутый носик, а на одной ноздре имеется коричневая бородавка. Четыре щетинки растут на ней в разные стороны. Мырдаш взял ножницы и остриг их. На левом глазу бельмо, вокруг него извилистые сосудики, красные и кривые, как червячки. Эх, хоть бы этого бельма не было!.. И бородавку хорошо бы свести как-нибудь... Да... Напугаешься такой рожи ночью.

Чужие люди, кто видел Мырдаша впервые, просто ужасались его внешности, до такой степени старик непригляден.

— Ничего, ничего, — бубнил теперь Мырдаш, хмуро разглядывая свою косматую и жиденюкую бороденку, — богато да уважаемого какая не полюбит? Любая быстро полюбит. С лица не воду пить. Что красота! Денежки зато при мне. Много монет! Еще больше будет... Чем больше монет, тем больше любви, так вот, дорогая моя Алима. Ай, только надо, пожалуй, бороду подровнять, очень уж она раскосматилась.

Мырдаш ходил по комнате и разговаривал сам с собою.

— Дом мой немножко поизносился, это раз. Надо собраться, заменить несколько венцов внизу... Крышу перекрыть. А лучше новую совсем, надо бы новую, непременно в этом году и начну. Все новое!.. Чекмень, шубу! Пояса шелковые! Мебель закажу, кровать широкую. Гору подушек пуховых... И сундук, да, сундук нужно новый и большой для подарков и

добра. Ни в чем не будет нуждаться моя молодая Алима, разодену, картинка будет!..

Мырдаш сел за стол, с удовольствием выхлестал полковша пива, утерся.

— Зачем бормочешь тут, а?— прервала радостные размышления Салиха.— О своей грязной девке мечтаешь? Разве не слышал, во что превратила ее неразумная Хабиба? Все знают, все видят, а ты как слепой котенок.

— Чего разболталась, старая!— погрозил кулаком Мырдаш.— Алима самому Канзафару отказала, вот Хайбрахман и распустил про нее сплетни. Все почему? От зависти ко мне, поняла? От зла да зависти, вот почему!

Салиха обомлела от таких глупостей. Вовсе пропил остатки ума муженек.

— Нам сам аллах велел жениться. От судьбы не уйти. Видать, это на роду написано, значит, так тому и быть. И не зуди мне тут, не расстраивай! Чего ты злая, Салиха? Соперницы боишься? Вон и губы трясутся, как у лошади, никак, плакать надумала? А ну брось. Знаешь, не люблю бабьих слез. Глянь на себя в зеркало, гляны! А?.. Старая, седая, нездоровая вся... Бездетная! Почему ты такая бездетная, а? Зачем мне такая? Зря прожил с тобой жизнь, не заметил и как. Это ты, все ты виновата, что у нас детей нету. На кого я оставлю богатство? Ты подумала хоть раз? Ладно, не плачь. Хватит причитать, кому сказал? Оставайся, не гоню. Живи пока. Только будешь ругаться да вредить, смотри, быстро выставлю вон. Развод дам, и все!

Расплакалась Салиха, горько стало от слов мужа. В самом деле, обидел бог неизвестно за что, не дал детей. Она уже понимала, не нужно было сердить мужа, ведь что ему стоит выгнать на улицу старую и больную.

— Муж дорогой, по мне хоть пятерых сразу бери, веди в дом сколько хочешь, твоя воля, я не сержусь, зачем развод. Что делать, если судьба у меня такая тяжелая, что же делать... Мырдаш, муж уважаемый, я другого боюсь.

— Чего это ты боишься, кроме меня?— удивился Мырдаш.

— А вдруг Алима не пойдет за тебя? Такая молодая... Только напрасно людей насмешишь, опозоримся мы с тобой на старости лет. Видишь, разве я о себе думаю? О тебе думаю, дорогой муж. Я по твоей чести плачу, а не от своей обиды. Разве не веришь своей верной Салихе, а?

Довольный Мырдаш улыбнулся, развалился на перине.

— Давно бы так. А то ишь чего... Сразу бы хорошо го-

ворила, а не сердила весь день меня. Ладно, подай мне халат. Пойду по делам. Теперь дел много.

Салиха мыла посуду не столько водой, сколько слезами солеными. Такое горе пришло в ее жизнь... Пятнадцать лет прожили вместе, чуть не половину их провели в бедности. И все эти годы он почитал Салиху как лучшую женщину на свете, душа в душу жили. Баловал, берег, ласкал и нянчился поначалу как с малым дитем. Сам голодал, но никогда не оставлял ее голодной. Бывало, последнее отрывал от себя, лишь бы его Салиха была спокойна и сыта. Очень любил Мырдаш свою Салиху, хвалился перед людьми, и это счастливо грело ее сердце. Где эти времена?.. Бывало, и пьяный Мырдаш рвался домой, к своей Салихе, а не как другие, к чужим женщинам или по неизвестным гостям. Хорошо, ладно жили, пока потихоньку не разбогател Мырдаш. Хотя какое богатство... Так, достаток, без нужды и долгов. Разбогател, появились дружки-собутельники, стал вздорен и груб, покрикивать начал, шпынять... И вот не родила Салиха ему ни сына, ни дочери, хотя тайком и по старухам ходила, и в город не раз ездила к врачам, не помогло ничего... Отвернулось от нее счастье. Выстудился дом без детей. Может быть, потому и стало пусто в сердце Мырдаша, что одиноки они. Раньше времени постарела Салиха, сгорбилась, потухла.

Не покой и счастье принесло в дом богатство Мырдаша, а горе и раздор. Полный котел и новая одежда не заменили ласкового слова, ушло согласие.

А теперь богатство Мырдаша казалось Салихе бомбой, которая затаилась под ее жизнью и судьбой и могла взорваться в любой момент и разнести Салиху в мелкие клочья. Откуда возникла эта подлая Алима? Ведь раньше не поминал ни разу... Не пожалеет старую свою жену Мырдаш, нет, не пожалеет, совсем чужой человек стал, дурь вошла в него, седина в бороду — бес в ребро...

Тяжелые дни настали для Салихи. Что завтра взбредет в голову Мырдашу? Не человек он теперь, злой гончий пес, а она загнанная зайчиха.

Хайбрахман-бай не обманул своих приспешников, не тот случай был, чтобы скупиться. Хорошо поработали, на славу. Угощая их в своем доме, бай от души хохотал, слушая рассказ о том, как ловко удалось окрутить Мырдаша. Славно все получилось! Мырдаш будет доволен, Алима устроит свою судьбу, Канзафар образумится. Хабибе-енге успокоение на старости... Только надо обязательно, чтобы сначала развод был

у Мырдаша с Салихой. Все благодарить должны бая, молиться на него. Стольким людям устроил правильную судьбу, столько неразумностей выправил. Ах, глупый, пустой народ, что бы ты делал без нашего ума и наших денег? Коверкают друг другу жизнь, а потом жалуются. На себя надо жаловаться! Овцы, бараны, а не разумные люди.

— Сильнее подзадоривайте Мырдаша! Вот мулле отнесите денег, пусть разведет их быстро,— расплачиваясь, приказал Хайбрахман.— Если ославится — его беда. Не отходите ни на шаг, выдумывайте что хотите. Спешить нужно! Следите за ним во все глаза, чтобы не отступился он от своего намерения. Случаем передумает, от дурака не знаешь, чего ждать, так поженим их хитростью или силой. А к мулле я еще сам схожу.

Однажды, когда Мырдаш с гордым видом удачливого человека проезжал на своем новом тарантасе по улицам аула, его остановил Хайбрахман.

— Здравствуй, дорогой Мырдаш! Погоди, не спеши, остановись, удели маленько внимания мне, скромному твоему другу. Не заглянешь ли в гости чаю попить, кумысу отведать? Почти нас своим посещением!

Поначалу Мырдаш оторопел. Не только он сам, отец его не бывал в доме бая Хайбрахмана. Уже в молодости Хайбрахман был несколько лет старшиной в ауле, теперь эта должность перешла к сыну Гаязу. Бая знают везде, даже крупные русские помещики почитают за честь водиться с ним. Дела у него с банками и городскими боярами, многие чиновники в городе — друзья Хайбрахмана. Земли две тысячи десятин, дома и подворья в трех аулах, хутора в степи, загоны в луговых предгорьях. Сила большая, власть большая, кругом его слово имеет вес. Неудивительно, что приглашение такого человека было для Мырдаша полной неожиданностью. Бедный купчик растерялся, заробел как мальчишка.

Выручил его хозяин. Взял под руку, провел в дом к столу, усадил, поднес кумысу и затеял долгий разговор о торговых делах, щедро давая советы, предлагая помощь и защиту в случае нужды.

Старая лиса, он немало повидал на своем веку недалеких тщеславных людишек, знал, как можно завоевать их доверие. Приласкай, выкажи уважение и заинтересованность в занятиях, похвали. Полезно подачку какую-нибудь подсунуть под хорошим предлогом... Вот и все — верный слуга готов. На таких людях, разоряя их, и разбогател Хайбрахман.

И сейчас он, ведя обстоятельный разговор, тихонько выпытывал у Мырдаша о его делах, думая не только о сыне, но и о том, нельзя ли хитростью какой немножко обобрать Мырдаша, заманить его в долговую ловушку.

— Да, брат Мырдаш, финансы твои нужно поправлять маленько, я подумаю, как тебе помочь. Пожалуй, надо дать кредит, потом вернешь.

— Это для меня такая честь, не знаю, как и благодарить... Чем буду расплачиваться за советы ваши драгоценные? Процент за кредит двойной отдам, не сомневайтесь.

Принесли в графине кислушку, Хайбрахман своими руками наполнил пиалу Мырдаша.

— Ну, коли так, осуши до дна, чтобы между нами была дружба и согласие на все времена. Мы же с тобой не чернь какая-нибудь, должны держаться друг друга. Пей, не оставляй капли на дне, злой мысли в сердце!

Все постепенно выведал Хайбрахман, подливая словоохотливому Мырдашу. А как подоспело время, захмелел гость, Хайбрахман и говорит:

— Я теперь много времени дома провожу. Болезни донимают, лежать надо. Но знаю, где что происходит, и разговоры известны. Вижу, наше времечко потихоньку уходит, теперь все скоро перейдет в ваши руки, кто помоложе. Да... Жизнь одна, спеши брать от нее побольше радости. Дошло до меня, хочешь принять в дом молодую жену? Так ли это, правду ли люди говорят?

— Точно пока не решил,— как мог, степенно произнес охмелевший Мырдаш.— Но намерение такое есть.

— Молодец! Хвалю, хвалю. Ты же, считай, сейчас в самую силу вошел, тебе молодуха ой как необходима. А Салиха твоя, сам вон рассказываешь, болеет. Детей у нее нету опять же... Кому дело твое продолжать? Некому будет! Давай разводишься быстро, помогу. Я старый совсем, а не удержался, взял еще молодую татарочку. Разве можно ограничиваться одной женой? Никак нельзя. Чем больше, тем лучше. Хоть и старые, а сердце все одно ласки хочет, а? Сколько было жен у пророка Мухаммеда, помнишь?

— Да, никак, девять, уважаемый Хайбрахман.

— Правильно, девять. И ни одной старухи. А невольниц? Сотни!.. А у пророка Даута? Его девяносто жен ласкали, вот как надо жить. Наш закон так велит, против закона не иди. Это дело богоугодное, не греховное. Ты же скоро очень богатым станешь. Я помогу. Сможешь содержать две или да-

же три жены? Сможешь, конечно! Ты и больше сможешь, я знаю. Ну, это к слову. Твое дело.

Хайбрахман не жалел сил... Еще и еще нахваливал собеседника, говорил об уважении и почете, которыми тот якобы пользуется не только среди односельчан, но и далеко за пределами аула...

На седьмом небе чувствовал себя Мырдаш!

И тут-то Хайбрахман и спрашивает:

— А не секрет ли, из какого рода берешь молодую жену?

— Зачем секрет?— с готовностью ответил Мырдаш.— Алима приглянулась мне...

— Дочка Хабибы-енге? Какой замечательный выбор!— всплеснул руками Хайбрахман.— Знаю, как же, слышан... Глупости про нее говорили одно время, но ты разумный человек, понимаешь, злые языки пустое болтали. Замечательная девушка, скромная, работающая, грамотная. Я бы сам почел за честь взять такую в дом, да вот не приглянулся ей мой сын, — притворно вздохнул бай, опустив плечи в скорби.

На какую высоту в этот миг вознесся Мырдаш — легко представить!

Ушел он из дома Хайбрахмана в небывалом состоянии, словно заново родился. А за воротами его уже поджидали Ермет, Батрай и Шагали, байские дружки, заранее наученные, как себя вести, что говорить, вроде бы нечаянно встретившиеся с Мырдашем именно в этот момент.

Мырдаш хотел важно прошествовать мимо, а не тут-то было:

— Ассалям-вагaleyкум, Мырдаш! Что мы видим? Ты у нас скоро другом станешь Хайбрахману? Товарищей верных позабудешь, заважничает, загордишься. Ай, дорогой, не обижай нас.

И снова завели славословия. Хозяин строго наказал ни на миг не упускать купчишку, чтобы не остыл, не вздумал даже сомневаться в своем решении.

— Скоро, скоро большой праздник объявлю, всех созову. А вы, как самые близкие мои товарищи теперь, в гости приходите, разговор будет,— на прощание сказал Мырдаш.

Именно этого и надо было Ермету, Батраю и Шагали. Мырдаш легко стегнул коня и во весь опор пронесся по улицам аула, мимо дома Алимы, чтобы видела девушка, сколько в нем удали и силы.

За деревней Мырдаш придержал уставшего коня. Развлясь в тарантасе, он предался сладким мечтам о молодой жене, новая жизнь теперь была совсем близко. Что получится? Все, буквально все кругом, даже такой большой человек, как Хайбрахман-бай, не только поддерживают его намерения, но торопят, помогают... Немножко завидуют ему даже! Что сказал Хайбрахман? За честь почел бы взять такую девушку в свой дом, вот как. Еще немного, и все заговорят о его новой жене. Богат я, удачлив,— в сладкой хмельной полудреме думал о себе Мырдаш,— вот что значит, если ты угоден аллаху да ума не лишен. А с чего начал?.. С пятиста рублей. Теперь сотнями ворочаю, скоро тысячами, Хайбрахман кредит обещал... Стану как камень драгоценный, и молодая жена будет достойной оправой мне...

Все вокруг только и говорили о скорой свадьбе Мырдаша. Дружкам он поручил подготовку, только они что-то медлили, объясняя нерасторопность свою желанием сделать все как можно лучше. Мырдаш не торопил. Подумаешь, недель раньше, недель позже. Главное — много хороших людей вокруг него, все любят и помогают. Сорил деньгами направо, налево, тратился на угощения, отправил в город людей за покупками, вел переговоры о строительстве нового дома. Решил до свадьбы съездить не только в Оренбург, но и в Казань, прикупить у тамошних купцов лучших яств и товаров для своего магазина.

Наконец Мырдаш послал сватов к Хабибе-енге для предварительного разговора. Те вернулись и наврали старику столько, сколько он хотел услышать.

А Хабиба-енге была в ужасе от подтвердившихся слухов... Оказалось — правда. Что сказать Алиме? Она же совсем сойдет с ума от таких вестей. Сваты Мырдаша расписывали его как богатея невиданного, красавца писаного, уверяли, что ни она, ни вся их родня ни в чем не будут нуждаться. Неразумно, мол, отказываться от предложения. Мудрая Хабиба и сама это понимала, да ведь Алима никогда не поймет... Отвечала она сватам вежливо, но уклончиво, надо подождать немного, придет из армии Давлеткул, брат Алимы, вот тогда и поговорить можно еще раз...

Сваты обо всем подробно рассказывали Хайбрахману. Тот давал советы, указывая, что перевернуть Мырдашу.

И вот как ему преподнесли. Алима, мол, сама просто в

слезах от счастья, что Мырдаш решил взять ее себе в жены, но боится девушка нарушить обычай, хочет дожидаться брата со службы.

— А когда Давлеткул придет? Неизвестно. Может быть, совсем не придет. Нет, ждать нечего, нужно придумать другой план, Мырдаш!— убеждали дружки.— Например, просто украсть Алим, она будет рада такому обороту дела. Засиделась девушка, заждалась.

— А что Хабиба-енге?— с беспокойством спрашивал Мырдаш. Ему все же хотелось устроить все так, чтобы о нем говорили только хорошее.

— Свадьбу без матери нельзя, конечно,— сочувственно и с пониманием кивали приятели.— Но мы ее потом привезем, это недолго. Хабиба-енге все поймет, простит и еще благодарить тебя будет.

— Да вот я отправил людей в Оренбург, чтобы товару нового привезли всем для подарков...— сомневался Мырдаш.

— Это ничего. Хайбрахман все даст, он встретился нам, очень расспрашивал. Когда же, говорит, Мырдаш-агай пригласит меня на праздник? Велел тебе приходить, смотреть его товар и подарки. А потом, когда твои люди привезут что-нибудь из Оренбурга, отдашь. Так сказал Хайбрахман!

Мырдаш подумал-подумал и согласился с новыми планами. В самом деле, зачем сомневаться, если невеста давно заждалась.

— Все, джигиты! Решили. Давайте готовиться. Не желаю больше ждать.

Подкупив хорошей подачкой муллу и старосту, он быстро оформил разводные бумаги, отделив Салихе сколько положено по закону имущества. Договорился о покупке для нее и небольшой избы. Все же многие годы верной женой была.

Когда это устроилось, он нанял новую служанку, чтобы в доме все сияло и блестело к тому моменту, как он приведет молодую жену. Девушку взял из самого бедного дома, чтобы работала усердно, безропотно. Жена должна отдыхать, тогда подольше будет молодой и нежной.

Помощники привезли новые ковры, мебель, несколько больших зеркал. Обновил Мырдаш всю свою одежду, щеголял теперь исключительно в чистом и свежем. И сундук был полон подарков для Алимы. Оставалось самое главное — увести, украсть ее из родного дома. Наверное, совершенно истомилась в ожидании его невеста!

Подружки, конечно, давно рассказали Алиме о намерениях старика. И хоть грустна была она, переживала предательство Канзафара, но не могла удержаться от смеха, слушая о приготовлениях Мырдаша. Что затеял сумасбродный купец? Смеялись, вышучивали жениха и подружки, никто из них не воспринимал всерьез его намерений. Веселилась вместе с девушками Хабиба-енге, видя, что дочка не обижена слухами.

— Алима,— говорила мать,— Мырдаш хоть и купец, но из простых людей, он человек доверчивый, слабый. Наверное, это наши враги научили его свататься к тебе, чтобы задеть тебя лишний раз. Не обращай внимания!

Прошло несколько дней после этого разговора. Однажды Хабиба-енге говорит:

— Дитя мое, хватит тебе сидеть в одиночестве дома, довольно грустить, забыть пора обо всем, и о Канзафаре надо забыть. Надо жить дальше, а то совсем ты у меня засохнешь. Смотри, вон уже и поля желтеют, в этом году хорошая будет жатва. Пошла бы, нанялась к баю. Нужно трудиться, Алима, а то мы с голоду помрем зимой. Гляди, обносились совсем мы с тобой. Обновки купить денег надо. Можно не бояться пойти к людям, слухи забылись.

— Да, мама, ты права,— соглашалась Алима.— Хватит сидеть взаперти. Надоело мне, устала. Обнищали мы с тобой, пора смириться. Я думала об этом уже не раз.

Видя, что дочка совсем оттаяла душой, Хабиба-енге успокоилась. И долго в этот вечер рассказывала ей о своей молодости, как легко и радостно было работать в поле с такими же молодыми, усталость не брала, хватало сил и на веселье, гулянье до утра на берегу Тука. Очень хотелось матери, чтобы к Алиме вернулись жизненные силы.

Аул располагался на небольшом холме, из окна дома были видны вечерние поля с волнующимся морем хлебов. Алима воображала себя на полевом просторе, в ней пробуждалось полузабытое чувство свободы и радости, которое обещали солнце, птицы, облака в высоком осеннем небе, ароматы жнивья и студеной глоток воды из родника.

— Алима с родственниками нанялась к бояру Шабалову!— моментально сообщили Мырдашу его приятели. Хайбрахман быстро сообразил, что такая ситуация очень удачно вписывается в его планы.

— Они работают на полях, иногда там ночуют. Мырдаш,

ты, конечно, понимаешь, что это она сделала нарочно, чтобы удобнее сбежать к тебе, а нам легче ее умыкнуть! Какая удача, все само в руки идет! Нельзя ждать ни дня, надо немедленно действовать, Мырдаш. Решайся, давай команду.

Весть эта несказанно обрадовала жениха, он щедро угостил друзей водочкой и пивом, и в застолье они подробно обсудили все детали, разработали план, как заправские стратеги.

Решили так сделать. Забить несколько баранов и приехать на поля Шабалова, как бы мяса продать работникам. С собой наемные ребята прихватят водочки, чтобы задобрить и отвлечь мужчин, особенно дядю Алимы, известного своей строгостью. Напоить, накормить всех, ну дальше все должно получиться просто.

Простота привлекает, план понравился Мырдашу, тем более что всем обещали заняться его дружки, ему же предстояло только тихо сидеть в условленном месте.

Немалые радости ждали и помощников Мырдаша.

— Настоящей удачей для нас будет эта хитрость! Похитим Алиму, отдадим в объятия Мырдаша, а потом все само устроится. Главное, разнести по округе слух, что Алина в доме Мырдаша, тогда она уже никуда не денется. Домой не убежит. Поплачет маленько, и все. И Хабиба-енге, если совсем не поглупела, не захочет позора девчонке, быстренько согласится, да еще и уговорит дочку поменьше артачиться. А пока растрясем-ка женишка покруче, пусть раскошелится, баранов пожирнее отберет, водки побольше купит, чтобы и нам погулять. Настрижем с этого купчишки шерсти побольше!

Им, конечно, было совершенно все равно, удастся ли Мырдашу жениться на Алиме или нет; была бы причина, благодаря которой можно крутиться вокруг тугих кошельков Хайбрахмана и Мырдаша, побольше вытянуть из доверчивого женишка, услужить Хайбрахману, хотя этот лишнего не даст. Такие дела они проворачивали уже не раз, пока выходили сухими из воды. А если теперь случится неудача? Ничего, за спинами могущественный Хайбрахман-бай, пусть придумывает, как защитить их, а то недолго и разболтать обо всем, дорого ему обойдется. В случае неудачи и Мырдаша легко высмеять, он же сам затеял это глупое дело, вовлек их, неразумных, в авантюру, и теперь, мол, из-за глупости сумасброда этого терпят они такой позор. Да, так лучше будет, что возьмешь с Мырдаша, мелкий человек. А Хайбрахмана по-

зорить нельзя! Пригодится еще не раз. Да и отомстит за болтовню так, что костей не соберешь...

Словом, душа их была спокойна. Все рассчитано.

Уже неделю трудится Алима с родственниками и подругами на полях Шабалова. Работа — лучшее лекарство от всех чевзгод. Вечером нет ни сил, ни времени вернуться мыслями к недавнему. Придет Алима домой, поест и, только коснется голова подушки, сразу проваливается в сон.

Окрепла Алима, в глазах появился блеск, на лице улыбка.

— Фу, не сглазить бы!— говорила тетя Халида.— Как ты похорошела, тебе работа на пользу, доченька. Молодец, что забываешь о худом. Так, глядишь, снова откроешь свою школу, а?

— Не знаю, тетушка, пока об этом некогда думать. Надо денег нам с мамой заработать, скоро зима придет.

Когда же приблизился срок окончания найма, она попросила дядю продлить договор с бояром.

За день до открытия ярмарки помощники бая произвели замеры на полях. Работники отправились за расчетом в контору. Несколько женщин, дети и Алима остались в поле, у лесной опушки. Они развели костер, поставили в котле кипятить воду для чая.

Дети играли, носились друг за другом по полю, валялись в траве и снопах. Алима на этот раз захватила из дома гармошку, чтобы поиграть сельчанам с прежним удовольствием и порадовать их. Работы закончились, сейчас привезут расчет и угощение. Настроение у всех было приподнятое. Тем более, что боярин пообещал заключить новые договоры, намечалось строительство мельницы.

Напившись чаю с душицей, накормив детишек, все собрались на речку искупаться. И тут резвились вовсю, визжали и брызгались долго, благо песчаный берег в этом месте полого уходил в воду, омуток был мелкий. Дети ни за что не желали вылезать из воды. Алима, как ребенок, играла вместе с ними.

Веселой гурьбой, посвежевшие, отдохнувшие и голодные, вернулись к шатрам. Работники уже приехали из конторы, некоторые навеселе. Дядя Алимы прикатил на своем тарантасе и вовсе пьяный, с разудалой песней. Зная его неумный характер, тетя Халида сильно обеспокоилась, ругалась, что он унесется сейчас на ярмарку кутить, и потихоньку выудила из его кармана деньги, спрятала у себя.

— Да он сам ни копейки не потратил на водку,— защи-

щали его мужчины.— Встретились какие-то знакомцы, тоже приехали за расчетом, пастухи, что ли. Они и раздобылись, угостили нас крепко.

— Халидушечка, дорогая моя, разве не знаешь меня,— хмельно улыбаясь, ластился дядя Хафиз.— Все до копеечки привез, да еще угостили! Такие хорошие ребята, они сейчас сюда приедут, к нам, мяса привезут, вина! Даже и денег им сразу не нужно, сказали: потом расплатимся! Добрые! Да вон, на холме, гляди, это они мчатся сюда на тарантасе, встречайте!

Двое парней оказались новыми работниками боярина Шабалова. В тарантасе у них были пряники и конфеты, чай, водка. Выгрузили две свежеразделанные бараньи туши.

Обрадованные мужчины столпились, собрались расплачиваться. Оказалось, парни продают вино и мясо очень дешево, сказали, хозяин Шабалов велел отблагодарить работников за добросовестный труд.

И скоро жирный бульон булькал в большом казане, раскупоривались бутылки, началось долгое веселье и степенные разговоры.

Дядя Хафиз и то пустился в пляс, забыл про ярмарку. Не пришлось уговаривать и тетю Халиду, она была не прочь гульнуть в такой большой компании, умела петь и охотно плясала вместе со всеми, могла занять разговорами, большая любительница посплетничать, это всем нравится.

— Давайте, ребята, наливайте себе, меня не обходите! Две недели горбатились мы с утра до ночи, натруженному телу теперь положен сладкий отдых!

Парни приехали из Гумерова, деревни, расположенной недалеко от имения боярина. В разговорах выяснилось, что один из них оказался даже каким-то дальним родственником дяде Хафизу, а другой тете Халиде, только Алима не совсем разобрала, по какой линии, что-то вроде путались в именах парни, или хмель замутил всем мозги, уже и не понять было.

К ночи Алима уложила детишек, поиграла еще немного честной компании и ушла потихоньку спать в крайнюю палатку.

Постепенно затихало веселье у костра. Опившись и обвевшись, работники улеглись где сидели, кто на соломе, кто на кошме, накрывшись кто чем, благо ночи пока были теплые.

Тишина воцарилась в бескрайней степи. Изредка похра-

пывал конь, так и не распряженный из тарантаса. Этой странности даже не заметили жнецы и косари, мирно посапывающие теперь у костра. Не заметили хозяева, что, щедро угощая их, парни-то сами почти не пили ничего.

Алима сквозь сон внезапно почувствовала удушье. Проснулась и в мгновенном смертельном страхе поняла, что кто-то крепко прижимает к лицу подушку. Быстрые, грубые и сильные руки скручивали тело словно веревками—ни двинуться, ни крикнуть. Ее во что-то завернули, подняли, понесли, спеша и спотыкаясь, один раз больно уронили на землю, она хотела вскочить на ноги, но оказалось, щиколотки обмотаны веревкой, а рукава завязаны. Не успела дернуться, сдавленно крикнула, тут же на нее навалился кто-то тяжелый и ловкий, скрутил, смял, и снова потащили дальше, бросили в тарантас, ноги прижали тяжелым мешком.

Храпя, лошади понеслись. Алима как куль болталась между облучком и сиденьем, больно стучаясь о какие-то углы, хотя ее крепко держали за плечи.

Кое-как высвободив лицо, она увидела черный силуэт человека, сидевшего на передке. Он со всей мочи погонял лошадей, подпрыгивая, дергаясь, оглядываясь и покрикивая, чтобы крепче держали девчонку.

Что происходит? Куда, зачем ее везут так страшно? Может, разбойники или пьяные сумасшедшие из неизвестного дальнего села? Хотят надругаться, замучить, убить и утопят потом в реке! Ужас охватил все ее существо. Собрав все силы, она дернулась в отчаянии, чудом освободились руки. Ухватила за край тарантаса, пытаясь выпрыгнуть, вывалиться наружу на спасительную землю. Но тот, кто придерживал плечи, схватил за волосы. Алима завизжала от боли.

— Стукни ее, чтобы молчала!— проорал парень, погонявший лошадей.

— Кто вы такие!— не давалась Алима, кусаясь, царапаясь.— Куда меня везете, зачем, куда!..

Тот, что сидел сзади, сграбастал ее за плечи, прижал руки к туловищу и сунул в рот локоть, Алима бесполезно вцепилась зубами в суконный рукав.

Пригнув к себе, дыша прямо в лицо водочным перегаром, человек прохрипел:

— Да не ори ты как резаная, а то и вправду зарежу, дура. Мы же просто тебя украли, не ори!

— Зачем украли, куда?— Алима вдруг ослабла, силы кончались у нее.

— Ну украли, и все, что непонятно? Мы тебя замуж везем, сиди тихо, какая ты вертлявая, как кошка.

Вблизи лицо парня показалось ей знакомым, и она немного успокоилась.

— Я тебя узнала! Я знаю тебя, всем скажу...

— Кому скажешь, сестрица?— парень, кажется, даже посмеялся.— Кому ты расскажешь, Алима? Правильно, что узнала. Это мы вчера приехали к вам на тарантасе, гостинец привезли, мяса чуть не задарма, а ты орешь.

— Не нужны мне ваши гостинцы, отпустите немедленно, я домой хочу!

— Так мы везем домой, прямо к твоему дорогому мужу Мырдашу.

Сидевший на облучке парень обернулся и захохотал:

— Га-га-га! Теперь ори сколько вздумает, уже далеко уехали.

— Ах, разбойники!— Алима высвободила руку и вцепилась парню в лицо.— Караул, помогите, помогите!

Но где ей справиться, опять зажали рот рукавом.

— Поздно уже орать, брось, никто тебе тут не поможет. Степь кругом, ночь темная, ну кто услышит, сама подумай.

— Зачем уговариваешь!— опять обернулся возница.— Стукни ее разок головой, надоела.

Но его товарищ не ругался и не бил, только крепко держал Алиму за руки.

— Перестань, от нас еще никто не уходил. Бесполезны твои слова. Давай садись рядом со мной на лавку, быстрее доедем, а то расшибешься вся.

Алима в тоске уже и сама понимала, что не будет толку ни от ее криков, ни от ругани. Ну, выскочит из тарантаса, куда денешься? Попробуй приди домой в аул, свои же шарашахаться будут, как от прокаженной, вон, мол, с двумя парнями всю ночь в степи блудила, а теперь домой приползла, драная кошка... Ужас, какой ужас и несчастье, ну почему такая страшная судьба, зачем такие наказания, за какие грехи? Теперь что делать? Высвободиться, убежать и в омут головой, больше ничего не остается...

Алима ослабла совсем и горько заплакала.

Парень обхватил ее за плечи, прижал к себе, даже по волосам погладил.

— Не плачь, зачем плакать. Наверное, очень хочешь по-

скорее к своему ненаглядному женишку? Истосковалась, вот и плачешь, да?

Он засмеялся. И возница, обернувшись, тоже хохотнул: — Такого распрекрасного джигита ты и во сне не видела. На башке ничего не растет, зато на носу шишки растут. Одноглазый шайтан! — сказал и свистнул так, что уши заложило.

Алима не ругалась, только плакала и стонала, ей уже было все равно. Жизнь кончилась, ничего не поправишь. Сейчас привезут ее к этому уроду Мырдашу, она его убьет, загрызет, а потом сама утопится в реке. Пусть все будет как случится, на то воля аллаха. Затихла Алима.

— Ну вот, молодец, — гладил ее по голове парень. — Давно бы так. А я тебя, Алима, давно приметил, знаешь? Меня зовут Асхаль, у боярина Шабалова наемным работником. Мельницу будем строить.

— Что мне до тебя, — тихо всхлипывала девушка. — За сколько купил вас Хайбрахман-бай, скажи?

— Зачем Хайбрахман? — удивился Асхаль. — Это все дела купца Мырдаша, ты же ему невестой предназначена, а не Хайбрахману. Мырдаш обещал мне много денег дать за тебя, а Хайбрахмана я и не видал.

— Не ври! — слабо крикнула Алима. — Я знаю, кто это подстроил, это Хайбрахман-бай насильно хочет отдать меня своему лизоблоду Мырдашу. Я все поняла, бай и Мырдаша купил, и тебя, и всех вас, всех, всех!..

— Что-то я не очень понимаю, Алима! — удивился Асхаль. — Мне сказали, что и ты согласна в жены к Мырдашу...

— Тебя тоже обманули, эти подлые богачи всех обманули, и вас тоже.

Въехали в деревню, повозка влетела в открытые ворота крайнего дома, на крыльце толпились несколько человек.

— Ладно, — тихо сказал Асхаль. — Ты води пока себя спокойно, словно смирилась. Я придумаю что-нибудь. Только сама не убегай, а то догонят все равно, только хуже будет, тогда совсем пропадешь.

И закричал другим голосом:

— Принимайте товар! В целости и сохранности невеста!

Алиме развязали ноги, сняли одеяло и халат. Взяли с обеих сторон под руки и завели в избу, потом в большую комнату. Алима зажмурилась от света и слез.

Помня наказ Асхаля, она постаралась успокоиться, не вырывалась, вела себя смирно, кратко.

В красном углу, на целой горе ковров восседал принаряженный Мырдаш. Вокруг него стояли трое его приятелей, тоже принаряженные, ухмылявшиеся самодовольно и мутно, сразу видно, уже нализались кислушки. А ближе всех к сияющему одноглазому жениху сидели главные его подручные, Батрай и Ермет, и не знал несчастный Мырдаш, что именно они, кто клялся в самой большой верности ему, есть преданные псы Хайбрахмана-бая и что в душе у Батрая и Ермета уже большой праздник — сделано дело, хороший куш ждет их у бая!

В комнате было душно, воняло брагой и вареным мясом.

— Здравствуй, милая девушка!— пропел Мырдаш, с вожделением рассматривая стройную красавицу, не веря, что такое сокровище уже в его руках.— Подойди поближе к своему господину, не бойся. Это аллах подарил мне тебя.

Обида, невыносимая горечь чуть не разорвали сердце Алимы!

Осмелев и забыв слова Асхаля, она оттолкнула державших ее за локти, шагнула к Мырдашу:

— Не бывать никогда, что ты задумал, мерзкий старик! Сам продался баю и меня купил? И все твои холуи тоже псы продажные, тьфу на вас! Умру, а никогда не быть по-твоему! Лучше сразу отпусти!

— Ай, как некрасиво ругаешься, девушка, разве можно ругаться девушке,— сладко заговорил Ермет.— Такая ученая, а не чтишь шариат.

— Обижаешь жениха, девушка!— строго добавил Батрай.— Смотри, вместо свадьбы в поганую яму тебя посадим, хлеба не дадим.

Сник Мырдаш, он не ожидал такого отпора. Хмуро глядел он на пылающую гневом Алиму и на своих растерявшихся приятелей. Что такое? Говорили, невеста сама к нему рвется, ждать ни дня не желает, а тут разоралась как старая баба, обругала его больше всех, словно он враг или насильник какой-нибудь... Где же ее ласка да любовь, где нежные слова радости и благодарности? Это не девушка, это ведьма какая-то!

Алима рванулась к двери, на пути оказались люди, двое схватили ее за одежду, но зла и сильна была она сейчас,— один отлетел к печке, другой растерялся на миг, тем временем Алима выскочила в сени, на крыльцо и закричала что было силы:

— Помогите, помогите! Люди, сюда, на помощь!

Выбежали за ней разъяренные неудачей Батрай и Ермет, один успел закрыть ей рот своей потной вонючей ладонью, другой нагнулся, обхватил за ноги:

— Держи крепче бешеную девку, крепче!

И поволокли почти волоком опять в дом, ругаясь, спотыкаясь в темноте, мешая друг другу. Алима визжала что было мочи... Притащили ее на кухню, бросили на пол.

— Вставай, ненормальная. Только себе хуже делаешь,— примирительно сказал Батрай.— На, воды попей,— протянул он кружку.— Успокойся пока.

В углу кухни сидели две молчаливые женщины. Алима ждала хоть от них защиты и доброго слова, но те молчали и отворачивались, пряча лица за платками.

Стуча зубами о край кружки, захлебываясь слезами и водой, Алима сделала несколько глотков. Наверное, нужно смириться, разве справишься с целой ордой насильников? Вон и женщины тоже за них. Все куплены, заодно. Что толку орать, кричать, бороться...

— Утихла?— наклонился Батрай.— Так-то лучше, давно бы...

— Пошел прочь, пес!— плюнула в лицо Батраю Алима.

— У, змея!— замахнулся Батрай, но одна женщина все же остановила.

— За самую паршивую собаку в этой деревне пойду замуж, а не за вашего уроды, так и передайте ему, а заодно и погонщику вашему, Хайбрахману!

— Ну, поплачешь ты еще у нас за такие слова!— пригрозил Батрай, утираясь.— Сиди здесь, пока не приду. Даже со стула не поднимайся, поняла? Головой отвечаете!— погрозил он кулаком женщинам, те мгновенно согнулись, как под камчой.

— Хотя толку от вас... Асхаль!— крикнул в дверь Батрай.— Где ты? Иди сюда быстро!

Когда Батрай вышел из кухни, Асхаль отправил женщин распрягать коня, присел около Алимы.

— Я же просил тебя вести тихо, Алима,— осторожно сказал Асхаль.— Или и мне не поверила? Зачем подняла такой шум, теперь нам труднее будет...

— Что труднее?— отодвинулась Алима.— Холуй вы все, вот кто. Шкуры продажные.

— Труднее будет нам с тобой убежать отсюда,— после недолгого молчания спокойно и рассудительно произнес Асхаль.— Значит, не хочешь замуж за купца Мырдаша? А за кого хочешь?— неожиданно улыбнулся парень.

— Ни за кого,— огрызнулась Алима.— Ненавижу всех.

— Ты подумай. Глянь на меня, чем тебе не пара, а? Пойдешь за меня замуж? Я, правда, не такой богатый, как Мырдаш, но зато не такой и страшный.

— Как тебе не совестно шутить сейчас,— всхлипнула Алима.— Издеваешься надо мной, противный.

— А я не шучу,— серьезно сказал Асхаль.— Ты мне давно нравишься, да все случая не было поговорить, ты же не бывала нигде, взаперти сидела. Наконец-то вдвоем...

Настороженно слушая, Алима всматривалась в лицо парня, ища усмешку, издевку. Но глаза Асхалья были серьезны и глубоки, он неотрывно смотрел на Алиму, не прятал взгляд. На красивом выразительном лице было искреннее сострадание.

Огорченное сердце Алимы так ждало хоть какого-то сочувствия среди клубящейся вокруг нее беды, что готово было самое простое участие, самую обычную жалость принять за спасение. Она уже отчаялась освободиться, больше того, уже и смысла никакого не видела ни в своем освобождении, ни вообще в дальнейшем существовании на земле. И вдруг — такие слова от этого незнакомого парня... Лукавит или в самом деле хочет помочь, сп... ти? Никому ведь из них нельзя верить...

— Ну, Алима... Решайся. Сейчас не время сомневаться и думать. Посмотри, разве я похож на этих всех прихлебателей байских? Пусть я пока небогат, но вот построим мельницу, хозяин Шабалов человек справедливый, он обещал сделать меня мельником, если буду стараться, а о другой мельничихе, кроме тебя, я бы и не мечтал!

Алима совсем растерялась, уж очень неожиданны были речи эти, словно лучик теплого солнца среди осеннего мрака и стыни.

— Поверь мне сейчас, Алима. Доверься, потом разберешься, убедишься, что я хочу тебе добра. Я же люблю тебя давно.

— Ты... Любишь?.. Как я могу поверить таким словам, Асхаль? Меня столько унижали, столько лгали обо мне везде, а ты про любовь...

— Я никогда не верил сплетням. Алима, сейчас не время разговаривать. Поднимайся, нужно бежать, пока они не опомнились.

— Если твои глаза не лгут, я согласна,— прошептала сквозь слезы Алима.— Только спаси, спаси меня от этого ужаса, от насильников. Я ненавижу Мырдаша и всех этих лакеев, я верю тебе...

— Тогда посиди минутку тихо,— горячо шепнул парень и быстро вышел из кухни.

И почти сразу вернулся со своим напарником, который был с ним в тарантасе. Алима похолодела: опять ее гнусно обманули! Избавилась от одних дикарей, попала к другим. Она судорожно оглянулась по сторонам, на глаза попалась кочерга у печки...

— Мухтар! Посмотри на девушку,— с подъемом произнес Асхаль.— Ее обманули, хотят отдать Мырдашу, разве тебе не жалко ее? Напрасно мы ввязались в это дело, ославимся попусту, будем ходить с позором, всеми презираемые. Давай спасем ее от Мырдаша, а себе вернем хорошие имена. Решайся, помогай, спрячем Алиму у меня в деревне, я решил взять ее в жены!

— Да что ты такое говоришь?!— ужаснулся Мухтар.— Годится ли такое дело, образумься. Хайбрахман никогда не простит, что ты! А Мырдаш? Столько денег потратил, он же надеялся на нас, верил...

— Мухтар,— горячо заговорил Асхаль,— я денег у Хайбрахмана не брал, а Мырдашу все отдам до копейки, не нужны мне его грязные деньги. Если ты боишься купцов, то хоть помоги мне, прикрой, пока мы будем убегать. Меня хозяин Шабалов защитит, он посильнее твоего Хайбрахмана. А ты говори, что ничего не видел и не слышал, вот и все.

— Как же так, мне придется деньги отдавать Хайбрахману, а я уже все пропил...— растерянno произнес Мухтар.

— На, мои возьми, отдашь баю!— Асхаль вынул из кармана пачку денег.— А сейчас иди в комнату, успокой их всех, чтобы подольше не хватились.

— Ну, если так, тогда ладно,— живо ответил повеселевший Мухтар, запихивая ассигнации за пазуху.— Тогда вам нужно торопиться, а то они хотят упрятать куда-то Алиму, пока не смирится. Говорят сейчас об этом, место надежнее выбирают... Бегите с богом, аллах вам судья, только следов постарайтесь не оставлять, а то мне попадет!

— Ладно, ладно,— сердито проговорил Асхаль.— Уж очень ты трусливый. Иди к Мырдашу, заболтай их там чем-нибудь подольше.

— Айда!— обратился Асхаль к Алиме.— Вон, надень фуфайку, закутай платком голову, чтобы не узнал никто.

Взявшись за руки, Алима и Асхаль выскочили на крыльцо,

осмотрелись. Ночь, глухая и недоброжелательная, властвовала пока в мире. Пришлось долго, как им показалось, бесконечно долго привыкать к тьме, чтобы проявились очертания домов, заборов, берега и его камней... Забрехала собака. Асхаль бросил в темноту кусок лепешки, пес замолк.

Вскоре юноша и девушка были на берегу. Запыхавшиеся, горячие, они упали под скирду сена, настороженно прислушиваясь, нет ли звуков погони. Пока все было спокойно.

— Асхаль,— прошептала Алима, принякая к груди парня,— неужели нам удалось сбежать? Побежали дальше, скорее, скорей... Вон, гляди, что там темнеет за валуном? Лодка?..

Почти на ощупь пробрались по мокрой траве к призрачному валуну. Лодка оказалась полузатопленной.

— Ничего,— сказал Асхаль.— Должны успеть... Смотри, на востоке уже светлеет. Пойдем быстро. Не может быть, чтобы на берегу не было хоть плота какого-нибудь.

Обнаружилось несколько связанных между собой бревен. Видимо, на них хозяин переправлял сено с другого берега; остатки травы были прижаты двумя шестами.

Асхаль столкнул плот в воду, перетащил с берега чурбак.

— Садись, Алима. Ноги не замочи, а то заболеешь.

— Уже промокла совсем,— тихо ответила Алима.

Заметно посветлело. Близился рассвет. Густой туман клоками и рваными полосами плыл над темной водой; другой берег еле-еле обозначился.

Но впереди приветливо и дружелюбно звенела перекатами спасительная река. Асхаль хорошо знал каждый ее поворот, смело правил утлый плотик прямо на струю, в главное течение.

За поворотом, над горой и долиной открылась полоска светящего неба, она уже слегка окрасилась розовым — скоро над лесом взойдет солнце.

Асхаль умело и споро орудовал сосновым шестом, даже было слышно, как вокруг бревен от сильного движения журчит вода.

— Алима,— обернулся улыбающийся Асхаль.— Уже не боишься ничего?

— Не боюсь ничего,— как эхо ответила девушка.— С тобой ничего не боюсь...

— Ну, Алима, крепче держись!— громко и с новой радостью сказал Асхаль.— За поворотом начинается порожистое место, слышишь, река прямо кипит. До переката нам

нужно успеть поближе к тому берегу... Бери-ка ты второй шест, помогай мне.

Сквозь полупрозрачную пелену тумана доносился грозный шум, усиливающийся с каждой минутой рокот,— звуки беспрестанной борьбы светлой воды с темными камнями. Асхалю с Алимой теперь нужно было собрать все силы, быть мужественными и смелыми, чтобы преодолеть последнюю опасную стремнину.

1929



АЛИ КАРНАЙ

МЫ ВЕРНЕМСЯ



АЛИ КАРНАЙ (1904—1943)

Вошедший в литературу в конце 20-х годов Али Карнай (Имамгали Мухаметдинович Зулькарнаев) запомнился современникам как резковатый, но честный и принципиальный человек. Активный участник крупных преобразований в жизни республики, он одним из первых в башкирской литературе поставил проблему гармонии человека и природы (в сборнике рассказов «На повороте»). В начале 30-х годов он создал множество очерков, зарисовок о драматических процессах коллективизации и индустриализации, о том, как после открытия нефти в Башкирии в 1932 году аграрный край становился «вторым Баку».

Своеобразной была его писательская «технология». Неожиданно исчезая из поля зрения близких, он появлялся через несколько месяцев с новой повестью — о жизни ли хлебного совхоза («Огни в степи»), о формировании ли первого поколения рабочих-нефтяников из башкир («Ишимбай»). Самым значительным словом писателя стала повесть «Мы вернемся», опубликованная за два года до войны, правдивый рассказ о сложном периоде становления Советской власти в Башкирии — крестьянской Вандее на севере республики.

Признанный негодным к военной службе из-за слабого зрения, Али Карнай добровольцем пошел в сформированную в 1942 году Башкирскую кавалерийскую дивизию. Человек, несмотря на свою сдержанность, глубоко эмоциональный, он остро переживал потери и неудачи первых лет войны. Это и привело его к трагическому решению о самоубийстве в один из срывов в 1943 году.



1

Сагидуллин прислонился к бочке, стоявшей перед навесом пожарного сарая, и на минуту смолк, глядя на людское море перед собой. Люди тоже молчали. Над аулом висел тот особенный хрустальный звон, какой бывает только в весенние дни от бесчисленных бурливых ручейков. Доносилось неумелое мычание телят. На просохшей прошлогодней соломе, радуясь солнечному теплу, резвились дети. Видно было, как с полей и пригорков, от тающих снегов поднимался пар. С прогретого навеса пожарки падали последние капли. Стояла приятная пора ранней весны. Дышалось так легко, свободно, будто эту легкость и свободу придавали волнующие запахи талых снегов и таинственно-синий воздух пробуждающейся природы.

Сагидуллин развернул плечи, как бы стараясь побольше вобрать в себя этого свежего, весеннего воздуха. Внимательно посмотрел на стоявших перед ним людей.

«О чем они думают? Каких от меня ожидают слов и какой готовят ответ? У нескольких сот человек, конечно, не может быть одинаковых мыслей. Вот ближе всех стоит мулла Ахмадулла Халитов. Кривоват на один бок. Его голубые глаза как бы безучастно устремлены вдаль, в горы, возвышающиеся за селом. Но голову он склонил, готовый слушать, не пропустив ни одного слова. Выдровая шапка надвинута на самые брови. На лице такое выражение, будто человек он тут случайный, просто «раб божий», не принимающий участия в подобных делах...»

Так думал Сагидуллин и хорошо понимал, что Ахмадулла-мулла не так уж простоват, каким хотел бы казаться. Месяц назад, когда были распущены волостные земство и продовольственная управа, среди свивших себе там гнездо баев, попов и мулл, оказывающих упорное сопротивление Советам, был и Ахмадулла. Какой только грязью не поливал он тогда

большевиков!.. Возле него стоят Вафа, Салимгарей и другие баи. Известно, какой у них может быть ответ.

А вот оттесненные в сторону люди в лаптях, поношенных бешметах и таких же шапках, фронтовики в истрепанных шинелях — они совсем другие. На их лицах усталость и злость, во взглядах вопрос, требующий прямого ответа. Это — стосковавшиеся по работе, по сохе и плугу люди. Щекочет им, должно быть, ноздри запах чернозема, просыхающего на солнцепеке. Они из тех, кто вынес на своих плечах всю тяжесть четырех лет войны. И мысли у них сейчас, наверно, о самом простом и насущном — о мирном труде...

— Товарищи! — произнес Сагидуллин после минутной паузы, и стоявшая перед ним толпа разом ожила. Зашевелились шапки, заколебались плечи. Лишь в первых рядах, где собралась деревенская верхушка, — никакого движения. По-прежнему вид у баев — величественный и надменный: дескать, пой-пой, а мы послушаем...

— Товарищи! Мы, рабочие всей России, оторвав голову гидре буржуазии, установили диктатуру пролетариата. Товарищ Ленин, большевики указали нам светлый путь к свободе. Для всех бедняков он один-единственный, и этот путь — коммунизм, товарищи! — говорил Сагидуллин. — Во всей стране теперь утвердилось Советская власть. И в нашей Кулбашевской волости, вы сами это знаете, власть в руках пролетариата, в руках волревкома. В селах избираются Советы...

При этих словах Сагидуллина Ахмадулла-мулла дернулся, будто хотел выпрямить кривую спину, подался вперед.

— А у нас не было твоих Советов и не будет, если пожелает того аллах! — крикнул он.

Мулла явно хотел сбить с толку оратора, прервать его выступление, но Сагидуллин, не обращая на него внимания, перешел к конкретным сельским делам.

— Это для нас не новость, — сказал он. — Мы очень хорошо знаем, Ахмадулла-хазрет, что благодаря тебе и старанию других богачей в ауле Идельбаево до сих пор не организованы Советы! Но деревенские бедняки не потерпят этого. Приближается сев. Ахмадулла-мулла хотел бы, как и прежде, засеять пятьдесят десятин, а Салимгарею-баю дать сто десятин, не об этом ли мечтаете? А как же с помощью беднякам? Или пусть они опять остаются под гнетом Салимгарея, Вафы?

Прежней тишины на сходе как не бывало. Обступившие бочку баи сразу утратили надменность и высокомерие,

загорячились, замахали руками. Поднялся гвалт, начались споры. Люди будто и забыли о Сагидуллине. Один фронтовик в рваной шинели и заячьей папахе, худой, с запавшими от голодухи глазами, пронзительно закричал:

— Братцы, пришло время заткнуть бездонную глотку бая Салимгарея! Мы на фронте в окопах гнили. Они здесь в масле катались! Довольно!

Его слова будто керосину подлили в огонь. Страсти накалились.

В общей суматохе никто не заметил исчезновения Ахмадуллы-муллы. Прибежавший за ним, работник марийский парень Кугебай, сказал на ухо хозяину:

— Пришел один русский, дядя мулла, тебя спрашивает. Ахмадулла-мулла вскоре же и вернулся.

— Если уж Советы, так не большевистские! — надрывался в эту минуту бай Салимгарей. — Пусть будут в них свои люди, мусульмане! Нам длинноволосые и узкоштаные не нужны!

Мулла быстро протолкался вперед и встал рядом с Сагидуллиным, который пытался навести тишину.

— Миряне! — сказал Ахмадулла, поднимая руку. — Вот я постоял, подумал и пришел к такой мысли: зачем нам препираться попусту? Если всюду Советская власть, то и нас не оставят в стороне! Снимем с поста старосту, выберем свои Советы! Кто захочет встать во главе нашего Совета, того и выберем. Кто согласен? Пусть выйдет и скажет сам.

В одно мгновение народ притих. Было странно слышать «надо избрать Совет» из уст Ахмадуллы-муллы, темневшего при одном упоминании слов «коммуна», «Ленин». Искренне он говорит или притворяется? В тишине кто-то выкрикнул:

— Закира надо поставить во главе Совета!

Народ поддержал это предложение: «Правильно!», «Пусть будет Закир», «Свой человек». Казалось, люди только и ждали, когда произнесут имя Закира. Все взгляды устремились к нему. Закир, стоявший недалеко от бочки, сказал:

— Я что? Если народ выберет, я не против!

Дело приняло неожиданный оборот. Теперь и думать нельзя было о том, чтобы предложить кандидатуру из подготовленного Сагидуллиным списка бедняков. Собравшиеся на сход жители аула хвалили Закира:

— Лучшего не найти! Он рожден для того, чтобы встать во главе Совета!

— Прав Ахмадулла-мулла! — слышалось со всех сторон.

В этой горячке, кроме Сагидуллина и бедняцкого актива, вряд ли кто задумался о подозрительно быстром превращении Ахмадуллы-муллы в сторонника Советской власти. Сагидуллин встревожился. Он нисколько не сомневался, что в маневре муллы скрывается какая-то опасность, но от неожиданности несколько растерялся, принялся обсуждать кандидатуру Закира.

«Уверен, что хотят подsunуть кулацкого выкормыша... Несомненно, такую цель преследует мулла...» — подумал Сагидуллин, а вслух сказал:

— Воля ваша, товарищи! Вы сами должны знать, кого выбираете. Лишь бы не оказался он душонкой, продавшейся баям за осьмуху чая. Я не знаю товарища Закира, вероятно, хороший человек он... Сами разберитесь и крепко подумайте перед тем, как выбирать. Кто хорошо знает его: достойный ли он человек? Сможет ли постоять за интересы бедняков?

Сагидуллина показали на высокого дюжего мужчину в солдатских сапогах с широкими короткими голенищами, в холщовой стеганке и коричневой солдатской шапке. Несколько человек с похвалой отзывались о Закире:

— Фронтовик!

— Толковый парень!

Сагидуллин переглянулся с активистами, но ни тени протеста не заметил в их глазах.

Когда люди начали расходиться, мулла приблизился к Сагидуллину, широко улыбнулся и, разглаживая пальцами рыжую редкую бороденку, сказал:

— Вот как быстро разрешили задачу, брат Гиндулла! А вы стараетесь отстранить нас. Как знать, может, я и есть самый подходящий для Совета человек? На одно лишь я сержусь — не советуешься с нами. Нельзя ломать близко от того места, где держишься руками, так-то, браток!

2

Последние слова Ахмадуллы стрелой вонзились в сердце комиссара. Он почувствовал в них лицемерие и непримиримую вражду. Сагидуллина начинало терзать раскаяние:

«Почему я не отложил собрания? Надо было обязательно перенести его на другой день, а тем временем разобраться, проверить кандидатуру. Что за человек этот Закир? Почему он сразу согласился?»

Все пять километров пути, от Идельбаево до аула Сабаше-

во, Сагидуллина не покидали раздумья, сомнения, перемешанные с упреками в собственный адрес... В Сабашево он ехал по вопросу контрибуции, которую должны были выплатить баи. По дороге он встретил знакомого человека по имени Ишмаммет. Сагидуллин не удержался и рассказал ему о делах в Идельбаево.

Ишмаммет был портным. В народе он слыл человеком много повидавшим, много знающим, умеющим поговорить по душам с кем угодно. Кругленькое добродушное лицо, круглая, коротко стриженная борода, веселые карие глаза, короче говоря, весь его вид, движения, манеры, располагали и привлекали к себе. Он считался человеком широких и правильных взглядов на жизнь. Муллы не любили его. Он нередко отпускал по их адресу такие обидные словечки, как «взяточное воронье», и прочее.

Как-то в разговоре с Сагидуллиным председатель Сабашевского сельсовета Гильманша с похвалой отозвался об Ишмаммете. Сагидуллин и прежде слышал много хорошего о портном. «Может быть, услышу от него что-либо полезное?» — подумал комиссар и поделился с ним своими сомнениями, спросил собеседника:

— Как понять Ахмадуллу? Кто такой Закир?

Ахмадулла-мулла приходился дальним родственником Ишмаммету. Хотя Ишмаммет и не любил его, но иногда заезжал в гости. У Ахмадуллы никогда не переводилась брага. А хмельная медовая брага была, как говорится, слабостью портного. Мулла в свою очередь также не терпел родственника и называл его не иначе, как «дурак». Но то ли он побаивался острого языка Ишмаммета, то ли вспоминал про родственные узы, только никогда не отказывал портному в приеме и не жалел для него браги.

Комиссар и портной порешили, что пока один из них будет заниматься своими делами в Сабашево, другой съездит в Идельбаево, разузнает все, что можно разузнать и о человеке, избранном главой Совета, и о потаенных замыслах Ахмадуллы.

3

Кугебай находился в хлеву, закладывая коровам на ночь солому и сено, когда со скрипом отворились ворота. Он еще издали узнал Ишмаммета, ведущего под уздцы своего сивку. Ишмаммет по обыкновению весело крикнул еще от ворот:

— Здравствуй, Кугебай!

Работник тоже встретил его с улыбкой, увел лошадь под навес и дал ей овса. Кугебаю нравился Ишмамет. Какой-то особый он человек. Всегда смеется, шутит, с его круглого лица, кажется, никогда не сходит улыбка... Но сегодня все его добрые представления об Ишмамете оказались разбитыми. Началось с того, что в дверях портной столкнулся с выходящей из дому Салимой, принялся громко высказывать девушке комплименты, взял ее за локоть.

Сердце Кугебая будто обдали ледяной водой. Вот уже два года живет он у муллы в батраках, и с первых дней у него с Салимой установились дружеские отношения.

Марийский парень Кугебай смотрел на Салиму с оттенком грусти, как, скажем, мальчишки смотрят через забор чужого сада на недоступные спелые яблоки. Положение Салимы в этом доме было почти таким же, как и батрака Кугебая, она тоже от зари до зари гнула спину, работая по хозяйству. Но с муллой ее связывало близкое родство. Матери Ахмадуллы-муллы и Салимы были родными сестрами. Когда родители Салимы умерли, она, оставшись сиротой, перешла жить к двоюродному брату. Правда, особенных родственных чувств к мулле она не испытывала. Иногда жаловалась Кугебаю на тяжелую жизнь в чужом доме. А Кугебай не решался открыть ей свое сердце. Виной тому была, наверное, красота Салимы, сводившая с ума многих парней. В ауле, пожалуй, нет такого парня, который бы не заглядывался на Салиму и не мечтал о ее внимании. Но подступиться к девушке никто не мог. И не только потому, что жена муллы Бика держала ее в ежовых рукавицах, строго следила за ней, если и отпускала куда-нибудь, то не иначе, как в сопровождении батрака. Салима и сама не стремилась на улицу, не тянуло ее на посиделки. Была она замкнутая, тихая, немногословная. Испытывающе смотрели ее глаза из-под длинных приопущенных ресниц. Многие не выдерживали этого взгляда. Кугебай тоже избегал с ними встречи. Парень лишь тайком любовался ею.

Робел он перед девушкой и по другой причине. Ахмадулла-мулла и его жена Бика унижали батрака больше, чем Салиму. На него чаще кричали, его сильнее ругали. Кугебая не впускали в жилые комнаты, ему отвели место в хлеву. Какое могло быть равенство между Кугебаем и Салимой!

Но, несмотря на все, между молодым, как тополек, парнем и девушкой установилась еще не оговоренная, еще не принявшая определенной формы дружба.

— Кугебай, накопи мне дров! — попросила Салима. Застывший было с вилами в руках Кугебай встрепенулся. На этот раз он не отвел от ее глаз своего счастливого взгляда:

— Хорошо, Салима!

* * *

Ишмамет понял сразу, что мулла сегодня в приподнятом настроении, сам выпивая стакан браги, он успевал гостю наливать два, а то и три стакана. На едкие словечки портного отвечал мягкой, прощающей усмешкой.

Ишмамет опьянел и утратил свою обычную веселость. А вскоре вовсе ударился в меланхолию и неожиданно для самого себя заговорил:

— Мулла, ты сам видишь, три года живу бобылем... А время идет... И кого угодно не возьмешь...

Мулла спрятал улыбку. Признание Ишмамета не было для него неожиданностью. Давно приметил, что портной заглядывается на Салиму.

— Ты, должно быть, понимаешь, о чем идет речь, — продолжал Ишмамет и впервые за весь вечер серьезно взглянул на муллу.

— Как не понимать! Очень хорошо понимаю, — ответил мулла. — Салима славная девушка. Наше родство могло бы еще больше укрепиться. Только вот ты на стороне большевиков, а я, как известно, видеть их не могу!

— Я не большевик, — ответил Ишмамет. — Но и не вражду с ними.

— А мне и не требуется, чтобы ты с ними враждовал. Напротив, очень хорошо, если ты будешь находиться среди них, выведывать их замыслы!

— А тебе какая от этого польза?

— Раз уж станешь зятем, своим человеком, надеюсь, не трудно будет держать меня в курсе большевистских дел, сообщать их секреты.

Ишмамет внезапно протрезвел. Он почувствовал, что мулла привязывает его к себе какой-то грязной веревкой. Посмотрел на него широко раскрытыми глазами. А тот продолжал:

— Народ не на их стороне, а на нашей. Да и тебя вряд ли сделают комиссаром. Но тем не менее попробуй с ними сблизиться, пусть они примут тебя за своего. Помоги мне взметнуть в небо прах этих ненавистных Советов!

— А если я твои слова передам Сагидуллину? — багро-

вея, сказал Ишмамет. Глядя на него, можно было не сомневаться, что он так и поступит. Но мулла не утратил спокойствия.

— Не донесешь! Знаю... А Салима всегда была послушна моему слову!

Ишмамет резко поднялся.

— Ладно, я поеду. Возвращаться пора,— и, не зная, что еще сказать, торопливо распрощался. Мулла уже из дверей крикнул ему:

— Предлагаю тебе святое дело, хорошенько подумай!

4

Земля была скована несильным морозцем, обычным для конца марта. Хрустя ледком в подмерзших лужицах, лошадь Ишмамета вышла со двора Ахмадуллы. В доме муллы в то же самое время из-за занавеса показался хорошо одетый мужчина с военной выправкой.

— Догадываетесь, мулла, в чем здесь дело? — спросил он, закуривая папиросу.

— Да, конечно, господин поручик! — ответил Ахмадулла. — Его, несомненно, послал сюда Сагидуллин!

— Верно, мулла! Кажется, товарищ большевик что-то учуял. Ну и славно же ты его обработал сегодня на сходе. Тебе не муллой быть, а старшиной, господин Халитов! Ты, оказывается, настоящий политический деятель!

Довольный мулла принялся совершать омовение перед тем, как отправиться на очередной намаз. А поручик, засунув руки в карманы, ходил взад-вперед по комнате, что-то обдумывая. Потом, подойдя к мулле, мывшему ноги в блестящем медном тазу, сказал:

— Мне пора! Вы уж сделайте так, как я говорил, господин Халитов. Политика — она окольные дорожки любит. Сейчас мы хитрить должны. Если хотите с корнем их уничтожить — притворитесь сегодня лисой. Волком же — будете завтра... Через день приезжайте ко мне на совещание. А если бы вы из своего портного сделали агента, он бы принес вам немалую пользу. Не забывайте мои советы!

— Аббязательну прихадум, господин поручик! — коверкая русские слова, ответил мулла.

Поручик облачился в отлично сшитую офицерскую шинель без погон, надел такую же коричневую, как у фронтовиков, шапку и вышел во двор. Там он вывел из-под навеса

тонконового скакуна, нетерпеливо плясавшего на месте, вскочил на него и скрылся в том же направлении, куда уехал и Ишмамет.

А Ахмадулла-мулла собрался на вечерний намаз. Выходя из ворот, он чуть не столкнулся со своим соседом Салимгареем. В мечеть они пошли вместе. По пути присоединился к ним подслеповатый бай Вафа.

— Как же так получается, мулла? — спросил Вафа. — Ведь до этого наши мнения никогда не расходились...

— После намаза оба пожалуйста ко мне, узнаете, — сухо ответил мулла и, заведя проходившего по другой стороне улицы Закира, погрозил ему пальцем:

— Ты смотри у меня, помни!

— Так и будет, хазрет, — донеслось в ответ.

К возвращению из мечети дома был приготовлен хороший ужин. Когда мулла стал возиться за печкой, жена проворчала:

— Опять эту дрянь ищешь, чтоб налакаться... Гости же придут... Вон, в углу она, ослеп, что ли...

— Не ворчи, Бика, — ответил мулла. — Разве не пьют проходящие к нам люди? Вот увидишь, они и сейчас явятся подвыпившими. Что же мне остается делать? Подай тус-так!¹

Салимгарей и Вафа действительно пришли навеселе. Они много ели, много болтали, Ахмадулла был сдержаннее и строже обычного.

— Сегодня приезжал офицер Гудов из Ново-Петровского! — перешел он к делу. — Знаете Гудова? Толковый человек. К самому сходу подоспел. Видел и слышал, как мы выступаем против выборов в Совет. Он-то меня и отозвал тогда...

— Да, сейчас не те времена, — продолжал Ахмадулла-мулла. — Гудов говорит: лисой сейчас надо быть. Хоть и русский, но верно говорит. Пока не наступит наш день, пусть будет тишь да гладь. Усыпить надо этих псов, стать их друзьями! Поняли? А послезавтра в доме Гудова состоится совещание, никому — ни слова! Судьбу всей Кулбашевской волости в наши руки передают. Мы будем зачинателями... Деньги, конечно, потребуются... до захвата волости. Ясно вам?

— Ясно! — закивали баи.

Ахмадулла заглянул за занавеску и громко крикнул:

— Сейчас же отправьте Закиру два мешка муки! — обер-

¹ Тус так — деревянная чаша.

нулся к гостям, добавил: — Закир теперь приручен. Я его на сходе обработал. Салимгарей-бай, ты тоже подкинь ему того-сего: ситчика, чайку...

Гости сидели долго, много выпили. Салимгарей и Вафа не могли нахвалиться брагой муллы.

— Тебя, мулла, следовало бы в Москву послать как мастера этого славного напитка,— посмеивался Салимгарей-бай.

Проводив гостей, мулла задержался у ворот. Ночь была полна очарования. Звонко похрустывал ледок под ногами редких прохожих. Прозрачен и звонок был воздух. Горизонт отливал зеленью там, где давно уже село солнце. Нестерпимым блеском сиял тонкий полумесяц, вернее, четвертушечка его, а купол неба, осыпанный крупными звездами, был просторнее и выше, чем зимой. Ахмадулла прислушивался к далекому серебряному перебору гармони, доносившемуся с молодежных посиделок, и с наслаждением вдыхал родниковый воздух весны. Душу переполняло чувство радости и довольства. Да и отчего не быть довольным? Все его помыслы, все мечты сбываются. Отец воспитывал его в надежде сделать муллой, сам он тоже стремился к этому — и вот стал муллой. Мало того, женился на дочери богатого муллы, оказался зятем уважаемого человека. Вдобавок, под приход ему отвели один из самых покорных аулов.

За двадцать лет он подчинил своему влиянию почти всех жителей Идельбаево. Невежественные, доведенные баями до предела кротости и послушания, они стали легкой добычей посланника аллаха. В других селах, глядишь, люди попадают всякие. Иные, не довольствуясь религиозными медресе, уезжали в город, устраивались на заводы, учились. А в Идельбаево люди благодаря старанию мулл не знали, что такое учеба, да и знать не хотели. Между собой воровством занимались, но байское добро не трогали. Верили они в существование аллаха или нет — но в своего муллу верили, как в бога. Привыкли быть рабами, преклонять голову перед сильными мира сего. Кажется, самым нелюбимым для них занятием было — думать. Жители Идельбаево влачили свое существование по принципу: «За нас думает мулла. Темный народ — черная овца, что даст аллах, тем и проживет». Большинство из них жило в ужасающей нищете, ходили полуголые, полуодетые.

В ауле рядом с мечетью находилось что-то вроде школы. Здесь каждый идельбаец в свои 17—18 лет «обучался» год-два. Вся учеба заключалась в том, что надо было зубрить

темные непонятные арабские слова, в которых не то что люди, а и сам шайтан не разберется. И «ученики» большей частью занимались тем, что курили мох, набивая его в чайник и потягивая из носика дым, издевались над теми, кто помоложе и послабее, пили вино тайком от муллы и муэдзина, искали всякие другие развлечения, доходившие до драк.

Ничего не видели люди от баев и муллы, кроме побоев кожаными плетями и работы до черного пота — а почитали их. Идельбаевцы могли последними словами обругать отца и мать, но ничего дурного не сказали бы про муллу...

Потому и доволен своим положением Ахмадулла-мулла. Не год от года, а день ото дня богатеет. Надеется, что в скором будущем обгонит самого бая Салимгарея. Если у него сегодня лишь один работник, марийский парень Кугебай, кто знает, может, скоро весь аул, все Идельбаево будет гнуть спину на него!

Только вот одно беспокоит муллу. Изменилось вдруг Идельбаево, лежавшее до сих пор среди гор как спокойное тихое озеро. Будто какая-то неведомая сила взбаламутила в озере воду и заволновалось оно — не стало в ауле покоя. Вернувшиеся с фронта солдаты не пришли отдать мулле салям¹, не зазывали его к себе домой на чай. Откуда только взялись большевики? Кому потребовались эти самые Советы? Какой шайтан придумал происшедшие изменения? Откуда нагрянула такая беда в ту самую пору, когда Ахмадулла начал только богатеть, когда он, как ворон, распластавший крылья, готов был ринуться за крупной добычей?

Об этом думал мулла, стоя у ворот. Что делать дальше — знал он твердо.

«С корнем вырвать! Никого не оставить в живых, уничтожить и прах развеять по ветру!..» — думал про себя мулла. Но вернувшись в дом, стал уже размышлять вслух:

— Я им еще покажу, кто такой Ахмадулла-мулла!

— Кому покажешь? Большевикам? — отозвалась жена, кормившая грудного ребенка. — Тоже дело нашел! Зачем тебе вмешиваться? Дети ведь есть, кто знает, как все это обернется. Стой себе в сторонке и помалкивай.

— Без тебя хорошо знаю, что делать! Сама помалкивай! — обрезал ее мулла. — Лучше приготовь постель. А о том, что видишь и слышишь — никому ни слова! Ясно?!

¹ С а л я м — приветствие.

Войдя в комнату Камалова, Сагидуллин закурил и принялся расхаживать из угла в угол.

— Тревожусь я, товарищ Камалов! — сказал он, резко остановившись посреди комнаты. — Вчера идельбаевский мулла проделал странный маневр. Сам прожженный контрреволюционер, а выступил за выборы в Совет... Во время митинга, говорят, какой-то всадник приезжал к нему, лишь вечером уехал... Я там людей оставил последить... А как думаешь на счет Давлетшина? Не шпион ли он? По-моему, в волости надо было бы усилить наблюдение.

— Так, так, — спокойно начал Камалов. — А кого в Идельбаево избрали председателем сельсовета?

— Из бедняков. Фронтвик. Но вся беда в том, что кандидатура не наша. Надеяться на него трудно... Ошибку допустил я, не отложив собрание...

— Не слишком ли ты подозрителен, дружище? Есть ли основания, — не обижайся за прямоту, — бросаться в панику? А может, мулла и впрямь изменил свое мнение о Советах? В конце концов, не он и не какой-нибудь там бай стал председателем Совета! Фронтвик, бедняк, что тебе еще нужно? В Давлетшине же я и сам сомневаюсь, но это еще не повод для паники. Учись, брат, сдерживать себя! Я вот поеду в Сабашево... Кстати, пока ты здесь, надо ревком собрать, решить один вопрос. Во многих аулах в земельные списки не вносят женщин. Построже предупредить надо... Как думаешь?

— Снег еще не стаял, не рано ли землю делить?

— Не сегодня завтра растает. Уже сейчас следует прикинуть, сколько придется на душу. Землю разделим быстро, чтобы сразу приступали к севу.

Сагидуллин и Камалов — противоположные по характеру люди. Камалов — спокойный и рассудительный, прежде чем вымолвить — обдумает каждое слово, к любому человеку найдет подход. Сагидуллин, напротив, — живой, от природы горячий человек. Если Камалов, заложив ногу за ногу, может беседовать часами, Сагидуллина редко увидишь сидящим. У него нет привычки потакать, а тем более угождать кому бы то ни было. Держится он независимо, свободно, не прячет своих симпатий и антипатий. При разговоре обычно улыбается и прямо смотрит в глаза собеседнику, но когда сталкивается с человеком враждебных помыслов — в глазах его вспыхивает непримиримая ненависть.

Люди называют Камалова «тактичный человек», «умный мужик». От него исходит дружелюбие. Никогда не увидишь, чтобы он вспылil, сказал что-либо злое, накричал. Он не только тепло и дружески относится к своим красногвардейцам, но умеет спокойно и приветливо беседовать даже с баями и муллами. И никак не поймешь по его глазам — друга он в тебе видит или врага.

После заседания ревкома Сагидуллин поехал в свой родной аул Тарташыево, что рядом с волостным центром. Комиссар направил коня к дому, решив не заходить в правление, но шум около сельсовета привлек его внимание, и он поскакал туда...

Возле избы, в которой располагался сельсовет, собралась большая толпа. Прямо на улицу, на снег, вынесен стол. За ним стоят председатель Хаматьян, секретарь сельсовета, волпродкомиссар Идрисов. Продкомиссар увещевает плачущую женщину:

— Нельзя быть такой несознательной! Нельзя, чтобы у тебя было двадцать рублевok, а у других — ни одной... Если мы не заберем их у тебя, что люди подумают о нас? Скажут: коммунизм не должен быть таким.

Эффектно выглядит Идрисов на фоне пестро и плохонько одетых крестьян. Он в коротком желтом полушубке, на ногах новые блестящие сапоги. На поясе висят маузер и две гранаты. А из рук свешивается и шевелится, как змея, плетеная кожаная нагайка. Но в словах и движениях этого веснушчатого человека с приплюснутым носом чувствуется какая-то вороватая торопливость, неуверенность... Вот он нетерпеливо вскочил на стол.

— Товарищи, што такое коммунизм? Коммунизм — это равенство во всем. Если у тебя, допустим, две рубахи, а у меня ни одной, ты, значит, одну должен отдать мне!

Кто-то крикнул из толпы:

— Если будешь бездельничать, не только рубахи, но и портков у тебя не будет... А люди все равно не дадут, зря не надейся!

Продолжавшая плакать женщина произнесла сквозь слезы:

— А он ведь требует... Силой забирает!

— Што за контрреволюция?! — закричал Идрисов. — Мы должны покончить с частной собственностью, товарищи! Так приказал сам Ленин!

Вперед выступил Сагидуллин.

— Что здесь происходит? — спросил он у людей.

— Ох, Гиндулла-туган¹, — запричитала одна из женщин, — этот комиссар отбирает у нас мониста².

— А у меня сережки отнял, — пожаловалась молодуха. — Сказывает, между всеми людьми поровну поделит...

Сагидуллин за полу сдернул Идрисова со стола, сердито глянул на него сверху вниз.

— Говоришь, Ленин приказал отнимать у женщин мониста? Почему врешь? Зачем ты пачкаешь нашу Советскую власть?!

Идрисов уперся руками в бока, принимая независимый вид.

— Вот што, гражданин Сагидуллин! Если ты военком, то я — продком! Попрошу тебя не вмешиваться в мои дела!

Сагидуллин побагровел от гнева, глянул на председателя:

— Как ты допустил такое? Согласен с ним, что ли?!

Председатель Хаматьян, простоватый робкий мужичок, проямлил:

— Он грозитя стрелять! У шести женщин мониста отрезал, с обыском ходит по домам...

«Эс-ер, сволочь!» — подумал Сагидуллин об Идрисове и приказал председателю: «Отобрать оружие!»

В присутствии Сагидуллина председатель расхрабрился. Упирающийся Идрисов в течение минуты был обезоружен. Награбленные мониста вернули владельцам. Идрисов вскочил на коня и уже по дороге в Кулбашево погрозил Сагидуллину кулаком:

«Мы еще поговорим с тобой, комиссар!»

6

Возле самого моста через речушку стоит маленький приземистый дом. Крохотные подслеповатые окна, почерневшая соломенная крыша. Родной дом Гиндуллы Сагидуллина. Старик Наретдин плел лапти, когда в избу вошел сын. Он поднял голову и сразу же молча опустил ее, продолжая работу. Сагидуллин поздоровался, отец не ответил. В доме воцарилась тягостная тишина. Прерывая ее, Гиндулла громко спросил:

— Ну, как дела? Какие новости в ауле? Мать, нет ли чего горяченького? Сильно проголодался!

¹ Т у г а н — родимый, ласковое обращение.

² М о н и с т а — лента с серебряными монетами для переплетения кос.

Возившаяся у печки старуха Магрифа при виде сына преобразилась. Радостью засветилось морщинистое лицо, задрожали и непослушными стали руки. Она бестолково засуетилась, роняя вещи. Покатилась по полу крышка от самовара, выплеснулась из ковша вода.

— Сейчас вскипачу, сейчас подоспеет! — приговаривала она, переставляя самовар с одного места на другое. С упреком посмотрела на мужа. И он снова поднял голову. Недружелюбно кольнули сына выцветшие голубые глазки из-под топорщившихся бровей. Покрытое желтым пушком сморщенное лицо отца показалось Сагидуллину еще более худым и постаревшим.

— Вернулся, красавец! Ну что, все кругом громите, ломаете?.. Отнимаете мониста у женщин, разыгрывая комедии? Всех хотите уравнять, а? Выродки!..

Сагидуллин уже привык к подобным встречам. Когда бы ни пришел военком домой — январским льдом ложились на его сердце тяжелые слова отца. Однако он терпел, стараясь сохранять спокойствие. Удерживал его умоляющий взгляд матери, как бы говоривший: «Сынок, не сердись на отца! Ты ведь знаешь его характер. Ради бога не поднимай шума. Ты же так редко бываешь дома, дай хоть нагляжусь на тебя вдоволь...»

Гинди пронизывала острая жалость к матери. Какую радость видела она в жизни? От кого слышала она приветливое слово? Всю жизнь провела она в нужде и бедности: возле печи да в хлопотах по хозяйству у сельских богачей. Сила ее уходила на чужих людей, заботы согнули спину.

Старик Наретдин скуп на ласку. Забитый и голодный, он всегда ворчит и злится. Вне дома разговаривает спокойно и рассудительно. Покорно склонив голову, выслушивает оскорбительные ругательства баев и их жен. Но по возвращении домой весь набухает злостью. В это время старуха Магрифа боится мужа, держится тихо и незаметно, молчит, чтобы случайным словом не вызвать у него новый приступ ярости.

— Ты не ворчи, отец! — сказал Сагидуллин, усаживаясь за стол.

Мать поставила перед ним хлеб и остывший картофель. Он невесело принялся за еду. Тощая серая кошка вскочила комиссару на колени, замурлыкала, потирая свои худые ребра об его ремень. Привыкшего к шумной жизни, — Сагидуллина давила эта унылая тишина, нарушаемая лишь мурлыканьем кошки, сопеньем старого Наретдина и постукиваньем кочеды-

ка¹. Натянутая обстановка напоминала ему о безрадостных детских годах. Уже тогда между ним и отцом заметна была отчужденность. Не только жене, но и единственному сыну старик Наретдин никогда не сказал ласкового слова, ни разу его не побаловал, как другие отцы. После того как Гинди уехал в город на завод и поступил учиться, отец и вовсе настроился враждебно. Ведь Гинди учился не для того, чтобы стать муллой или на худой уж конец хальфа. «Был бы порядочным человеком,— думал старик Наретдин,— сам бы жил в достатке и за родителями бы присмотрел. Мне ведь шестьдесят пять лет, пора бы и на покой уйти, не заботясь о хлебе насущном, отдавая свободные часы чтению намаза».

Старик Наретдин и сегодня заговорил о наболевшем.

— Посмотри на своего красавца! — желчно сказал он жене. — Вот как он почитает родителей, заботится о них. Нет, чтоб спросить, не умираем ли мы с голоду, есть ли в доме еда — жрет, что подано! Комиссар! Бальшауик! Ни богу — свечка, ни черту — кочерга!

— Мы ведь позавчера достали пуд муки,— тихо ответила старуха Магрифа. — Его хлеб едим...

Голос у нее задрожал.

— Ты помолчи! — крикнул Наретдин. — С тобой не разговаривают.

На сей раз Сагидуллин не выдержал. Рука с куском хлеба повисла в воздухе. Он положил хлеб обратно на стол:

— Вот что, отец,— глухо произнес. — Больше я не позволю тебе кричать на мать!.. Что это за дело, кроме ворчанья да крика от тебя ничего другого не услышишь? И насчет моего комиссарства помалкивай. Не для себя я комиссар, а для бедняков, пойми ты это!

— Ни себе, ни людям от тебя пользы — ни на копейку! Вот я тоже бедняк, где же твоя помощь?

— Не сразу, отец. В один день ничего не делается. Вот увидишь, через несколько лет...

— Через несколько лет, говоришь? — вспыхнул старик, и еще яростнее застучал в его руках кочедык. — Через несколько лет я в могиле буду! А как прикажешь мне жить сегодня, дурак?

Сагидуллин уже рот было открыл, чтоб ответить, но встретился с умоляющим взглядом матери, махнул рукой и вышел на улицу. В дверях столкнулся с нищей старухой, которая ловко прошмыгнула в дом.

¹ Кочедык — приспособление для плетения лаптей.

Небо было пасмурное, низкое. В сгустившихся сумерках оно казалось черным и плоским, как потолок в бане. На дороге таял выпавший накануне снег. Погода больше напоминала осень, чем весну. Сагидуллин зябко поежился, но на свежем воздухе он немного успокоился, только голова продолжала болеть после бессонной ночи. Сегодня он решил лечь пораньше, взялся уже было за ручку двери, собираясь переступить порог, но остановил его голос старухи-нищенки, доносившийся из дома:

— Все государи мира поднялись против большевиков. Говорят, из-за Каф-горы бесчисленные войска идут. Огнем и железом карают большевиков и тех, кто с ними. Во многих аулах против комиссаров народ поднимается...

Сагидуллин резко отворил дверь. Увидев его глаза, старуха-нищенка попятилась от страха.

— Ты чего врешь?! На месте пристрелю, контра!

— Уходи, бабка, ступай себе с богом,— сказал Наретдин.— Этот дурак и вправду может убить! — Потом перевел взгляд на жену и добавил: — Дай ей, бедняге, хлебца...

Нищенка исчезла. Сагидуллин со сжатыми кулаками расхаживал по комнате. Потом попросил:

— Постели мне, мама.

Но не мог успокоиться и снова вышел во двор. Он даже рассердился на себя за то, что вспылал из-за какой-то нищенки. Мало ли теперь таких? Подобные речи в последнее время можно услышать на каждом шагу. Но все же старуха вызвала у него подозрение. Странное лицо у нее, да и голос не похож на старческий. Черные глаза блестят, как у молодых.

Скрипнула дверь, послышался горячий шепот матери:

— Гиндулла, сынок! Ты остерегайся, когда ходишь... Многие люди злы на тебя... Поговаривают, что убить собираются!

Она стояла маленькая, беспомощная, с любовью и тревогой глядя на взрослого сына. В эту минуту ему особенно жалко было ее. Не найдя слов, которые могли бы выразить переполнившие сердце сыновние чувства, комиссар молча вошел в дом.

На другой день Сагидуллин вернулся в Кулбашево. Здесь на улице, ему опять встретилась знакомая сухорукая нищенка. Старуха шагала размашисто, бодро. Если вчера одну непод-

вижную руку она прижимала к груди, то теперь размахивала обеими. У Сагидуллина снова шевельнулось подозрение.

— Эй, бабка, остановись-ка на минутку! — крикнул он.

Старуха, притворяясь, что не слышит, пошла еще быстрее. Сагидуллин пришпорил коня, догнал ее и приказал:

— Идем со мной!

Старуха переменялась в лице, жалобно заулыбалась, приговаривая:

— Почему ты издеваешься надо мной, сынок? Какой я тебе вред причинила?

Сагидуллин отвел ее к дружинникам:

— Присматривайте получше, чтобы не сбежала!

Вечером на ревкоме был поставлен вопрос об Идрисове. Тот был извещен о заседании, но не явился. Слово взял Камалов:

— Недопустимый поступок совершил Идрисов. Мы не давали ему права отбирать у женщин мониста. Его поведение бросает тень на всех коммунистов. Мы не можем оставить его на посту продкомиссара. Но...

Сагидуллин нетерпеливо прервал его:

— Идрисова следует немедленно арестовать.

— погоди, не торопись, товарищ Сагидуллин, — как всегда, спокойно сказал Камалов. Но во взгляде его блеснуло недовольство. Он продолжал: — Вместе с тем мы не можем закрывать глаза и на ошибку товарища Сагидуллина. Не надо было обезоруживать Идрисова при народе. Мы и после могли бы это сделать. Я должен предупредить тебя, товарищ Сагидуллин, оставь свою горячность. Такое командирование не принесет пользы.

— Идрисов состоял в партии эсеров. Дай ему волю, он бы нас живьем съел! Если оставить его на свободе, он может совершить непоправимое! — крикнул Сагидуллин.

На заседании Идрисова вывели из состава ревкома. Предложение Сагидуллина о его аресте было отклонено подавляющим большинством голосов. Один Кузьмичев поддержал военкома со словами:

— Идрисов — грязный человек, как бы чего не натворил. Но Камалов спокойно заметил:

— Вы оба относитесь к людям с излишним подозрением. Нельзя так!

К концу заседания из Сабашево приехал Ишмамет. Со своей обычной улыбочкой поздоровался:

— Чуть не утонул в грязи. В такую распутицу собаку не выгонишь на улицу. А я вот приехал! Не помешаю?

Камалов принял его приветливо. После того, как разошлись члены ревкома, они еще долго сидели вдвоем и разговаривали. Ишмамет сообщил, что в окрестных аулах баи и муллы подстрекают народ на выступление против Советов. Камалову он по-свойски сказал:

— Поостеречься бы тебе, брат Ахмет! Ведь кто знает, как все это обернется...

По просьбе самого Ишмамета Камалов перевел его в волюсть на должность начхоза ревкома.

Камалов уже собирался лечь спать, когда к нему пришел один из дружинников:

— Сбежала старуха, которая была у нас под арестом...

В глазах Камалова удивление:

— Под арестом? Какая старуха?

— Еще днем военком привел какую-то нищенку и приказал стеречь ее.

— Вот уж не знаю, зачем ему понадобилась нищая старуха. Доложите самому Сагидуллину.

Когда Сагидуллин узнал о побеге старухи, он вскипел от ярости, побежал к дружинникам. Командир боевой дружины — крупный рябой мужчина — сперва растерянно мигал глазами перед взбешенным военкомом, хватаящимся за кобуру с наганом. Потом по-солдатски отдал честь:

— Виноват, товарищ военком!

— Брось это свое — под козырек, товарищ Рамазанов! Ты ведь не старорежимный солдат, — махнул рукой Сагидуллин.

Он сразу остыл. Мирно посмотрел на дружинников. Ощувив внезапно подступившую усталость, сел на подоконник и скрутил сигарку.

В большой комнате горела десятилинейная лампа, на столе в беспорядке валялись два жестяных котелка, кружки, ломти хлеба. В углу пирамидой сложены винтовки. За столом дежурный штаба Андрей Лаптев чистит наган. Перед приходом военкома парень тихо и мечтательно напевал. Когда дежурный вскочил, чтобы отдать рапорт, военком не обратил на него внимания — он был вне себя. Андрей сел на место, продолжая возиться с наганом. Человек пять дружинников лежали на нарах, вытянутых вдоль стены. Некоторые громко похрапывали.

— Конечно, это была не старуха... Лазутчица, — рассуждал Сагидуллин. — Не зря я ее арестовал. Эх, ребята!

Он взволнованно прохаживался по комнате.

— Иначе бы, товарищ военком, не убежала, разворотив

доски в полу,— подтвердил Рамазанов.— Я ведь говорил часовому...

Сагидуллин остановился посреди комнаты и уже без тени раздражения дружески сказал:

— Давайте пить чай, ребята!

И сам принялся разжигать огонь в печке.

— Слушаю, товарищ военком! — повеселел Рамазанов, взял котелки и, сильно пригнувшись в дверях, вышел на улицу за водой. Потом они оба сидели перед печкой, глядя на жарко горящие поленья, и неторопливо беседовали. О жизни, о службе...

Сагидуллин спросил у Рамазанова:

— Часовых давно проверял, Аухади?

— Перед вашим приходом, товарищ комиссар, все на местах.

— А ты, Андрюша, крепко скучаешь по молодой невесте? — обернулся военком к Лаптеву.— Третьего дня, кажется, собирался ее навестить. Ну что, съездил?

Лаптев вертел в руках наган и, не поднимая головы, смущенно кивнул.

— Ладно, ладно,— усмехнулся военком.

С веселым треском догорали в печке дрова, добела раскаленные угли шевелились, как живые. Сагидуллин смотрел на них и какой-то внутренний голос нашептывал ему: «Эх, браток Гинди! Вот так же сгорает твоя молодость. Что хорошего ты видел на белом свете? Тебе пошел тридцатый год, а что интересного было у тебя за тридцать лет? Что ожидает тебя в будущем? Может, сегодня, сейчас, в сию минуту предательская пуля оборвет твою жизнь... Ни крова у тебя не было, ни жены. В родной дом вернешься — старый отец встречает как врага. Несчастный ты человек, Гинди!»

Но в ответ на этот голос встали в рост, поднялись, как в штыковую атаку, другие мысли: «Придут, обязательно придут и светлые, радостные дни, и безоблачное будущее! Разве это не само счастье — бороться за счастье людей, посвятить свою жизнь тому, чтоб свободной стала их жизнь, гореть в огне, от которого — еще ярче свет наших великих идей?! Вот дружинники... Вряд ли их знания больше моих. Но они пришли по своей воле. За новую жизнь готовы пожертвовать своей. Правда, месяц назад их было тридцать человек. Сейчас осталась только половина. Зато оставшиеся — надежные люди. Они не отступят. А во всей России нет числа им, взявшим в руки оружие, чтобы дать отпор любому, кто посягнет на власть Советов!»

Сагидуллин поднял голову. Андрей Лаптев крутил барабан нагана. Рамазанов ворошил поленья под котелком и рассказывал:

— Понимаешь, товарищ военком, три года проторчал я на фронте. До чего осточертело! Ты сам воевал и должен понять. Не приведи даже недругу отвесть такого! Вернулся, за работу взялся — жена умерла. Хорошая была жена, надежная. Вряд ли когда такую встречу... К тому же, не мог мириться с деревенскими порядками. Такой уж беспокойный я человек, товарищ военком! Не уживаюсь с плохими людьми! То ли война меня так испортила...

Сагидуллин внимательно посмотрел на него. Положил ему на плечо руку, попросил:

— Спой, Аухади, да только так, чтобы не разбудить отдыхающих. Потихоньку...

— Спеть можно, товарищ военком. В детстве я скотину у русских пас. У них красивым песням выучился. Когда я им пел их же песни — диву давались. Правда, голос у меня уже не тот...

Он немного помолчал, глядя в огонь, и тихо запел. К его песне присоединился сдержанный басок Сагидуллина. В комнате стало печально и тревожно, будто осенние листья затрепетали на ветру в ненастную ночь:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

Рамазанова и Сагидуллина поддержал своим приглушенным баритоном Андрей Лаптев. Они пели негромко, сосредоточенно, уставясь на пышущие жаром угли. В их глазах плясало отраженное пламя.

Когда песня кончилась, сзади послышалось:

— Ух, как здорово!

Это проснувшиеся дружинники. Трое уже успели спрыгнуть с нар, потягивались. Только один из лежавших по-башкирски пробурчал:

— Ну, принялись завывать... Как волки!

— Ничего ты не понимаешь, чудило, — ответил ему Рамазанов. — У русских красивые песни! Но если хотите, я могу и башкирскую спеть.

Его стали упрашивать:

— Спой, Рамазанов!

— Ну, просим тебя!

Аухади подмигнул в сторону нар, где лежал, отвернув-

шись к стене, башкирский парень, потом перевел взгляд на темное окно, вздохнул и, как всем показалось, с этого вздоха началась протяжная, печальная народная песня:

На больших листах белой бумаги
Написаны письма Буранбая...

Дружинник поднялся с нар, обеими руками протирая глаза. Зачем-то подошел к двери, вернулся обратно и улегся на спину, заложив руки за голову.

Все, кто был в комнате, замерли, слушая Рамазанова. Не находил себе покоя лишь один башкир. Он снова вскочил с нар, распахнул окно и сел на подоконник. У него раздувались ноздри как от быстрого бега, сверкали черные уголья глаз. А красивый сильный голос Рамазанова дрожал, повествуя дальше:

Прочитав письма Буранбая,
Горько плакали деревенские старики...

Волнение передалось даже русским дружинникам, не понимавшим слов этой песни. И у них учащенно бились сердца. А певца трудно было узнать: его рябое лицо озарилось мягким внутренним светом, широко раскрытые глаза, устремленные в ночное окно, будто увидели вдруг те места, по которым ходил страдалец Буранбай, и голос этот, похожий на горный ручей, казалось, лился из тех самых лесистых краев...

8

Это были первые дни Советской власти. Каждая губерния, каждый уезд становились республикой со своими совнаркомом. Была эпоха «власти на местах» без достаточно четкого подчинения центру, без единой дисциплины, идущей от верхов к низам, без прочной системы, определяющей задачи каждого звена. Как партийные, так и беспартийные большевики вели дела, нередко руководствуясь лишь классовым инстинктом. А незавершенных дел и нерешенных проблем было больше чем достаточно. В двери стучалась весна — надо разделить землю, учитывая и женщин, чтобы по ровну приходилось на каждую душу. Земли теперь много. Крестьяне Кулбашевской волости получают тысячи десятин, которыми владели четырнадцать крупных и мелких помещи-

ков. До сих пор крестьянская семья из семи-восьми человек имела крохотный клочок, отныне она становилась хозяином десятка десятин. Важно было помочь беднякам провести весенний сев, обеспечить их семенами. Но кулаки и зажиточные крестьяне прятали в подпольях тысячи пудов зерна и продавали его безбожно дорого. Требовалось установить твердые цены на хлеб, организовать его вывозку в центр. Вставляли другие неотложные задачи: и в партийной работе, где все больше становилось желающих вступить в партию, и в области народного просвещения. Для народа, почти не знавшего ранее грамоты, нужно было чуть ли не одновременно и открывать школы, и выискивать педагогов. Из старых учителей многие саботировали. Некоторые выходили из ревкома, хлопая дверьми: «Не согласны учить почти бесплатно! Будете платить деньги — будем работать!» На что спокойный человек председатель ревкома Камалов, но и он порою не выдерживал, горячился:

— Вот и разговаривай с ними! Ведь образованные люди, должны бы понять. Разве сейчас такое время, чтобы говорить о деньгах! Сердца у них нет, что ли?

Пришлось открыть учительские курсы для тех, кто пожелал работать безвозмездно.

Кулбашевская волость находится вдали от городов и железных дорог. Среди населения процветают религиозный фанатизм, старинные обычаи и нравы, варварство и раболепие. Баи и муллы — безраздельные хозяева. За их плечами многовековой опыт закабаления сельчан. Одним они сулят «рай» на том свете, других на этом свете подкупают осмухой чая или фунтом муки, строптивых устрашают. Запугивают чем угодно: адом, кнутом, проклятьем. Натравливают людей друг на друга, восстанавливают население против неугодных, не дают житья тем, кто вздумает мыслить самостоятельно.

Немудрено, что даже честные люди, своим трудом добывавшие кусок хлеба, становились инертными, трусили, боялись плохо отозваться о богатеях, предпочитали подчиняться им, но жить спокойно. Если и были сокровенные мысли, никому не высказывали. На душе одно, на языке другое. Становились привычными ложь, подхалимство, лицемерие, обман.

Но гром канонады четырехлетней бесцельной войны, холодные окопы, пропитанные запахом крови, ужас смерти и стоны искалеченных, нужда и лишения — все это заставило оставшихся в живых очнуться, оглядеться по сторонам, по-

нять и ощутить всю бесчеловечность и невыносимость прежней жизни. Чаще стали попадаться в аулах люди в простреленных шинелях, в коричневых или белых заячьих папах. У них были худые изможденные лица, нервные движения, непримиримые взгляды. Вокруг них, ощутив родство, сплывались массы бедняков. В февральские дни они вместе разгромили волостную управу, скинули царских прислужников. Но тогда в их рядах было много баев и мулл, которые тоже кричали «Да здравствует!» Во время выборов органов временного управления волости их голоса звучали чаще и громче. Многие из них становились заправскими ораторами.

Как же так? Какое имеют отношение к революции баи да муллы? Разве не положен им конец? — вот вопросы, на которые искал ответ вернувшийся в конце декабря 1917 года в родной аул Ака большевик Ахмет Камалов. В первые же дни он выступил перед односельчанами. Несмотря на морозный день, народу собралось много. Камалов взобрался на огромный затвердевший сугроб у дома старика Сафуана и с высоты его произнес речь. Он поднимал руку, как делают это опытные ораторы, и говорливая толпа умолкала. Ведь перед жителями аула стоял их «ученый» односельчанин Ахмет. Они видели его впервые после двух лет разлуки. Война изменила парня. Он повзрослел, стал серьезнее.

Один из пришедших стариков сокрушенно вздохнул:

— Сколько человек учился, а муллой так и не сделался, бедняжка!

Другой буркнул:

— Лишь бы не стал надоедать со списками в учредилку!

Но Ахмет Камалов заговорил о том, что Советская власть победила всюду.

— В России новая жизнь начинается! — сказал он. — А у вас? Вы все еще подчиняетесь баям. Карама-бая боитесь! Стыдно, товарищи, — аул Ака продолжает жить по-старому!

На сугроб рядом с Камаловым вскарабкался Карам-бай.

— Брат Ахметгариф, — укоризненно произнес он. — Прежде ты казался мне порядочным парнем. Вроде бы учился, и я надеялся, что поумнееешь, вернешься в аул муллой, уважаемым человеком. Как жаль, что эти надежды не сбылись! Правду говорю, не ожидал я, что ты станешь таким шалопаем! Ну скажи, какой вред народу от меня или от другого богатого, например, почтенного человека — старосты Шакира?

У вас на языке: «бедняки, бедные люди»! А от кого им больше пользы: от тебя или от меня? Говори!

Карам-бай славился своим острым, как нож, языком. Он высмеивал и побеждал многих ораторов из города и волости и чувствовал себя сильнее большевиков. Но на этот раз промахнулся. Камалов спокойно продолжал, обращаясь к мелькавшим в толпе серым солдатским шинелям:

— Друзья, солдаты! Ради чего мы теряли здоровье, годами валяясь в окопах, испытывали неслыханные лишения и муки? Многие из вас оставили на войне руки, ноги. Нам ли нужны были эти миллионы убитых?.. Матери, жены, отцы! Зачем вы на смерть отправили ваших сыновей, мужей, братьев? Кому это было нужно? Вот ему и другим, таким же, как он! — Камалов показал на Карама-бая. — Они наживались на смерти солдат!

В толпе послышались выкрики:

— Верно!

— Справедливо говоришь, туган!

— Достаточно попили нашей крови!

— И еще кричат, бесстыжие!

И спокойный до сих пор, безучастный ко всему происходящему аул Ака преобразился, словно вдохнули в него жизнь.

Вскоре Камалов переехал жить в волость. Его выбрали председателем ревкома. С первых дней возвращения на родину он не знал покоя. Не было у него понятия о доме: где работал, там и жил. Комната головного писаря бывшей управы превратилась в его кабинет и спальню.

При слове «кабинет» у читателя может возникнуть представление о просторном помещении с хорошей обстановкой, с красной скатертью на столе, с телефонами. Увы! Не то что в этой комнате, во всей Кулбашевской волости в ту пору не было ни единого телефонного аппарата. Не ведом здесь был и телеграф. А войдя в этот кабинет, вы бы увидели бревенчатые, почерневшие от времени стены, на одной из них лозунг, написанный мелом на красном полотне: «Вся власть Советам!» Посреди комнаты — выдавший за свой век немало старшин письменный стол, исцарапанный, расшатанный, но готовый прослужить еще бог весть сколько лет. В тон ему подобраны и стулья. В углу прислонены винтовки, на полу ящики с патронами. У окна низкая железная койка. На ней-то и спит председатель.

Вместе с Камаловым в кабинете живет совсем еще юный, веселый паренек, известный в народе как «писарь Хайри».

На ночь он располагается на столе, постелив случайное тряпье, и долго ворочается на своем ложе, попыхивая в темноте сигаркой. Он подружился с Камаловым в первую встречу да так и не расставался с ним. «Писарь Хайри», угловатый и щуплый паренек, своим жизнерадостным характером, своим веселым искренним смехом был симпатичен всем, кто его знал, пользовался авторитетом у всех работников волсовнаркома. Работая в продовольственном отделе, он умел отыскивать хлеб, запрятанный баями в самые невероятные места.

9

В сорока километрах южнее Кулбашево, на высоком берегу Белой, раскинулся небольшой уездный городок. Утопающие в садах домишки взбегают на гору, с которой хорошо просматриваются заречные дали с голубыми пятнами озер, зелеными лугами и кустарниками, синеющими на горизонте лесах. В весенние дни, будто лиловая туча опускается на город — цветет сирень. В буйной зелени на склоне горы белорозовыми пятнами проступают яблони и вишни. Если глядеть в эту пору на город с плывущих по Белой пароходов, он кажется нарядным и милым. В деловой части города на открытом месте возвышается выкрашенный охрой большой трехэтажный дом. Он резко выделяется среди зданий и заметен издали.

Здесь располагалась бывшая женская гимназия. С приходом Советской власти воспитанницы гимназии и ее дирекция объявили большевикам бойкот, прекратив занятия. В опустевшем помещении разместился уездный ревком, прозванный впоследствии совнаркомом. В классных комнатах расположились боевые дружины, штаб ревкома.

В середине марта, часов в десять утра, когда стало ощутимо припекать солнце, отражаясь в бесчисленных лужицах дорог, в кабинет председателя уездного ревкома вошел высокий скуластый человек в военной фуражке, в шинели, в сапогах со шпорами. С едва уловимым акцентом, но совершенно свободно заговорил по-русски:

— Товарищ Чернявский, здравствуйте! Я приехал к вам с неотложными делами. Фу! Спешил, жарко, разденусь-ка я...

Сняв шинель и фуражку, он остался во френче и галифе. С первого взгляда его можно было принять за бывшего офицера. Но у военных не встретишь такой длинной густой

шевелюры и походы вразвалочку. В его движениях и словах проскальзывали грубоватость, опрометчивость. Но все это у него было естественным и не порождало у собеседника неприязни.

— Пожалуйста, проходите, садитесь! Добро пожаловать в наши края! — по-башкирски, тоже с чуть заметным акцентом сказал ему Чернявский. В кабинете кроме него находился голубоглазый богатырь в матросской форме. Чернявский кивнул:

— Знакомьтесь, товарищи! Это один из наших активных партийцев товарищ Сагидуллин, военком Кулбашевской волости. А это — начальник летучего отряда товарищ Александр Демидов. Недавно вернулся из Кронштадта. Кстати, он собирается с отрядом в ваши края, Сагидуллин, в Тураевскую волость. Там свили гнездо контрреволюционеры... Впрочем, сначала поговорим о Кулбашевской дружине... А ты, Александр, оформляй документы и завтра же — в путь.

— Есть, Алексей Иванович! — ответил матрос, козырнув по старой привычке. Он собрался было уходить, но от порога вернулся.

— Запишите, товарищ Сагидуллин, мой адресок. Будет время — навещайте. Лучше познакомимся.

— Правильно, Александр, — одобрил Чернявский. — Военком расскажет подробнее, что происходит в Тураево. Так ведь, Сагидуллин?

Беседа с гостем затянулась.

— Хлеб! Прежде всего хлеб, товарищ Сагидуллин! Самое главное сейчас — хлеб! — несколько раз повторил Чернявский. — Центр голодает. Предстоит большая работа. Нужно будет вырвать бедноту из-под влияния баев и мулл. Замечаете, как контрреволюция старается восстановить против нас массы? Какие грязные сплетни распространяются о большевиках? Нам тоже надо бы агитацию превратить в оружие, товарищ Сагидуллин. Ну, а с теми, кто прибегает к насилию и террору...

Чернявский отошел к окну, посасывая короткую трубку. Сагидуллин смотрел на него и думал:

«Все в нем просто — и слова, и одежда. Не кричит, не горячится, как я! Не старается показать, что он выше!»

Чернявский вернулся к своему столу, принялся рыться в бумагах. Сагидуллина он сказал:

— В общем, если потребует обстановка — пару пулеметов выделим... Да и сами позаботьтесь об оружии. У многих

фронтовиков оно есть. А что касается хлеба — хорошенько пошевелите помещиков и баев.

10

Демидов познакомил Сагидуллина с городом. Сам он здесь родился и вырос.

— Разные видел города, а свой люблю больше всех, — рассказывал Александр. — Нравится мне то, что на горе он стоит и зеленью окружен со всех сторон. Вон там кончаются последние улочки и сразу начинается лес, «орешником» мы в детстве называли его... А ты посмотри, какая картина открывается на Белую, на ее плесы! Без конца можно любоваться... А вот люди... о них, пожалуй, и говорить не следовало бы. Впрочем, кое-что и здесь объяснимо. Говоря словами одного из героев «Ревизора», откуда три года скачи, но не доберешься до другого государства. Глуховатый уголок. Духовные потребности людей невелики. Прячется каждый в своей норе, задумываться не любят. — Демидов вдруг спохватился. — Что это я наговариваю на свой город. Всякие ведь люди в нем живут. Но тех, кто исповедует обязательское «моя хата с краю», я особо ненавижу.

Они поднялись по Вознесенской — самой богатой, центральной улице города. Вознесенская начиналась на берегу Белой большими каменными амбарами и взбиралась на гору к церкви Михаила Архангела, разделяя город на западную и восточную половины. Ее мостовая выстлана камнем, тротуары местами асфальтированы, но большей частью выложены каменными плитами. Снег здесь давно уже растаял, и улица была по-весеннему открытой.

У двухэтажного кирпичного домика Демидов остановился в раздумье. Потом обернулся к спутнику:

— Раз уж здесь оказались — зайдем к моему другу по морской службе. Да и отец его занятный человек...

На воротах красовалась вывеска: «Починка и ремонт музических инструментов. И. С. Вольф». Арабской вязью было приписано: «Ремонтируем граммофоны и другие музические инструменты». Для убедительности нарисованы аляповатые гармошка и скрипка. Демидов повел гостя к черному входу, где висела дощечка: «Вход к мастеру справа вниз». Нарисованный на дощечке указательный палец приглашал посетителя сойти по шаткой лестнице в помещение, где с трудом можно было различить две двери. На правой смутно белела надпись: «Мастер». Демидов открыл ее.

Здесь находилась квартира Владимира Вольфа, матроса, с которым Александр вместе служил в Кронштадте. Хозяин сидел в одной тельняшке и пил чай. При виде вошедших он вскочил с места:

— Айда, Саша... Проходите,— сказал он и внимательно посмотрел на незнакомого ему человека.

— Знакомься, мой друг Сагидуллин,— отрекомендовал его Демидов.

Владимир поклонился гостю и потащил Сагидуллина к столу. Перехватив его любопытный взгляд, он беспомощно развел руками:

— Вы уж извините, ребята, у нас такой беспорядок.

Действительно, в комнате царил хаос. На подоконнике, который находился на одном уровне с мощеным двором, можно было увидеть грязные тарелки, корки хлеба, примус, стаканы. Давно не чищенный медный самовар весь позеленел. Возле печи на сундуке — ворох тряпья. За неплотной ширмой виднелась неприбранная кровать с разбросанными подушками и скомканным одеялом. Обстановка безмолвно свидетельствовала об отсутствии в доме хозяйки.

— После смерти матери некому следить за порядком,— как бы оправдывался Владимир.— А сестренка — маленькая, одна с хозяйством не справляется.

По своему телосложению и, возможно, по физической силе Владимир Вольф не уступал Демидову. Рельефно вырисовывались под тельняшкой мускулы. Голова крепко посажена на толстой короткой шее. Волосы курчавятся, как у многих европейских евреев или цыган. Глаза у Владимира большие, черные.

«Славный парень! — подумал Сагидуллин.— Наверно, многие девчата теряют покой, увидев такого».

Но еще больше понравилась Сагидуллину во Владимире его обезоруживающая простота, его застенчивая улыбка.

На голоса из соседней комнаты вышел отец Владимира, старый еврей Исаак Соломонович. Глядя на него, никто бы не подумал, что этот маленький, щуплый, большеносый старичок с белоснежными пейсами и есть отец Владимира. Только большие черные глаза у обоих были поразительно схожи.

Сагидуллина познакомили с ним. Вольф-старший ни минуты не сидел спокойно. Он то и дело вскакивал, размахивал руками, громко разговаривал, вертел головой. За какие-то полчаса он успел рассказать Сагидуллину всю семейную биографию. Владимир—его единственный сын. Вместе с Сашей Демидовым учился в реальном училище. С дет-

ства они дружили. В войну Демидова взяли во флот. Владимир тоже не хотел отставать. Скрыл, что он еврей, нашел поддельные документы и, несмотря на то, что не подходил по возрасту, записался добровольцем. Затем участвовал в двух революциях.

— Молодец, Иссак Соломонович! Хорошего большевика вырастили,— сказал Сагидуллин. Однако старик при слове «большевик» нахмурился и торопливо прервал гостя:

— Нет, нет! Этого не говорите! Я в политику не лезу. И Владимира вырастил не для того, чтобы он совался в политику. Я мечтал, что он станет музыкантом. Ведь как он играл на фортепьяно, мой Володя! Если бы вы слышали, как он играет!

Владимир, зная, что любимый конек старика — музыка, попытался остановить его.

— Ладно, отец, об этом как-нибудь в другой раз.

Но куда там! Горячего коня не сразу остановишь, и если старый Исаак заговорил о музыке, прервать его было нелегко. А если слушатель имел еще и кое-какие познания в искусстве!.. Когда старик узнал о том, что Сагидуллин знаком с нотами и любит петь, он просиял, схватил его за рукав и потащил с собой в другую комнату.

— Идите, дорогой друг, идите! Я что-то покажу вам!

Сагидуллин оказался в мире музыкальных инструментов. Чего только не было здесь! На оштукатуренной, но давно не выдавшей побелки стене висели всевозможных форм и величин гитары, мандолины, домры. На большом столе мастерской выстроились гармони различных марок.

Старик усадил Сагидуллина, извлек из шкафа старинный черный футляр, движения его стали осторожны и торжественны, взгляд таинственным. Он походил на язычника, творящего заклинание. Бережно, обеими руками достал из футляра скрипку, подошел к Сагидуллину и шепотом произнес:

— Вы знаете, какая это скрипка?

Скрипка была старенькая, самая обыкновенная.

— Не знаю,— чистосердечно признался Сагидуллин.

— Скажу только вам, никому не открывайте секрет! Перед вами — скрипка самого Страдивариуса!..— патетически воскликнул старый еврей и внимательно посмотрел на гостя, проверяя, какое впечатление на него произведет такое сообщение.

Сагидуллин и впрямь опешил, не зная, что сказать. Как-то будучи зимой в губернском городе, он прочел в одной из

газет объявление: «В России имеется еще одна скрипка великого Страдивариуса. Для человека, который найдет ее, Петроградское музыкальное общество установило премию в три тысячи рублей».

— Хотите, я вам сыграю? Послушайте!

Вольф отошел к окну, потер смычок канифолью, настроил струны. Потом вскинул скрипку под подбородок и, как дебютант, представший перед тысячной толпой зрителей, величественно и строго объявил:

— Я исполню сонату Моцарта.

И вот тогда Сагидуллин ощутил нечто волшебное. Звук скрипки касался не слуха, он слышался сердцем. В первые мгновенья Сагидуллин сидел спокойно и посматривал в окно, за которым мелькали ноги проходящих людей. По одним ногам пытался представить человека. Порой отвлекался, разглядывая обстановку мастерской. Но постепенно перестал видеть окружающее. Звуки скрипки околдовали молодое сердце, заставили его дрогнуть. Вот он увидел себя на берегу широкого синего озера. Поляна усеяна цветами. Щебечут в березовой роще птицы. Он кого-то ждет. Но кто же должен прийти? И почему не приходит так долго?!

И вот, сжимая сердце тоской, завывла вьюга. Забесновался ветер, пригоршнями кидая колючий снег. И разом все стихло. В разрывах туч засияло солнце.

Когда музыкант опустил скрипку, раздались пушечные хлопки. В дверях стояли Александр Демидов с Владимиром и аплодировали. Сагидуллин был в восторге и не знал, что сказать. А старик, потупив глаза, ожидал признания. Сагидуллин, не говоря ни слова, подошел к нему и крепко пожал руку.

За разговорами просидели до полуночи. Сагидуллин несказанно рад был знакомству с семьей Вольфа, чувствовал себя у них непринужденно. Приятно было думать, что среди обывателей сонного уездного городка живут такие, как ему показалось, удивительные люди. Откуда они появились? Какой судьбой забросило их сюда? Расспросить подробнее Сагидуллин постеснялся. А тут еще Владимир помешал: стал тащить к столу на «прощальный ужин». Вместе с Демидовым он должен был отправиться в Тураево на подавление кулацкого восстания.

Сагидуллин на следующее утро уехал к себе, в Кулбашевскую волость.

Весна восемнадцатого года мало чем отличалась от предыдущих весен. Так же нетерпеливо и звонко, как и десятки лет подряд, по уличным канавам стекали к Белой ручьи. Лед на реке посинел и вздулся, изъеденный вешними водами. Потемнела и казалась издалека фиолетовой пересекавшая Белую зимняя дорога.

В уездном городке на первый взгляд текла ничем не потревоженная размеренная жизнь. Просидевшие всю зиму за крепкими запорами обыватели высыпали на улицу, шурились от яркого света, сплетничали, перевирали и без того скудные новости по десятку раз. На просохших каменных тротуарах играли в бабки реалисты в форменных шинелях с блестящими пуговицами. Занятия в училище пока не возобновились. Наигравшись в бабки, реалисты и сынки обывателей отправлялись гулять в сад, окружавший церковь Михаила Архангела. Церковь и сад находились на самой вершине горы. Снег сошел здесь раньше, чем на улицах, и в саду уже были тропинки.

На ветвях бузины и сирени набухали почки. На высоких тополях чернели шапки грачиных гнезд. Голубой отблеск ложился с неба на лужи, деревья, крыши домов.

Но если по форме восемнадцатая весна XX столетия казалась вроде бы обычной, то по содержанию она была необыкновенной. Вот пригревшаяся на солнце тихая улица наполняется топотом множества ног. С винтовками наперевес, с революционными песнями проходят по мостовой красногвардейцы. Стройны их ряды, но люди одеты на удивление пестро: они в шинелях — коротких, длинных, старых, новых; другие — в стеганках, полушубках, шубах. На ногах австрийские ботинки с обмотками, «ярманские» сапоги с короткими широкими голенищами, крестьянские лапти с суконными чулками. Пестреют заячьи папахи, вязаные башлыки, рваные ушанки. Но кому какое дело до одежды, когда лица солдат выражают безграничный энтузиазм, устремленность и взлет. Они поют сложенную в те дни песню:

И, как один, умрем
За власть Советов!

Дрожит мостовая, гремят голоса, сотрясая стекла в окнах домишек. Останавливаются на улице обыватели, перешептываются. Из окна дома с вывеской «Парикмахер Пузиков» выглядывает человек в белом халате, с бритвой в руке.

Вслед за ним тянется к окну его клиент с мыльной пеной на физиономии. «Портной И. В. Штокман» с ножницами выскочил на улицу. В окне часового мастера «П. Счастливец» сразу несколько любопытных. Когда отряд прошел, начались комментарии.

— Ну и войско! — покачал головой парикмахер Пузиков.

— И вот такие отныне будут нами управлять! — с ненавистью откликнулся его клиент.

— Нищие!

— Коммуна проклятая!..

Из-за угла показался сутулый человек с тростью, в демисезонном пальто и шляпе. И сразу раздался пронзительный мальчишеский крик:

— Далай-лама!

Улица снова пришла в движение. Отовсюду слышались голоса: «Далай-лама... Далай-лама». Табун мальчишек шумно преследовал этого человека:

— Эй, Далай-лама!

— Далай-лама, шляпу потерял!

Приблизившись к прохожему, можно заметить, что и шляпа и легкое пальто его заношены до предела, покрыты разноцветными заплатами. Подошва у одного сапога привязана шпагатом. А Далай-лама шагает, ни на что не обращая внимания. Его слезящиеся голубые глазки, морщинистое желтое лицо, лишенное растительности, с мелкими незапоминающимися чертами, не выражают ни страдания, ни гнева.

Появление Далай-ламы на улице было большим событием для обывателей. На его пути вырастали любопытные. Мальчишки похрабрее, точно маленькие собачонки, хватали его за ноги, дергали за пальто. Когда они начинали слишком надоедать прохожему, он останавливался и потрясал тростью.

Горожане в тысячный раз рассказывали друг другу его историю, жалели, высказывали различные соображения о дальнейшей его судьбе.

— Наверное, помрет скоро, бедняжка!

— Ну да, такие скоро не помирают!

Часовой мастер Счастливец, славившийся среди обывателей своим остроумием, с ухмылкой изрек:

— Говорят, большевики нашего Далай-ламу в Москву зовут, предлагают комиссаром стать.

— Вот-вот, они таких и собирают, — отозвался один из его клиентов.

А Далай-лама, дойдя до дома Вольфа, подозрительно огляделся по сторонам и юркнул в подвал.

Исаак Соломонович ремонтировал гармонь. Когда в дверях показался Далай-лама, он приветливо сказал:

— А, Аркадий Петрович? Проходи. Ну как дела?

Далай-лама машинально присел на предложенный стариком стул, потер обнажившуюся из-под пальто голую грудь и тихим голосом пожаловался:

— Горит! Все горит!

Лицо у него сморщилось, точно он собрался заплакать или засмеяться.

— Всю грудь что-то сжимает, стискивает, словно там огонь бушует,— продолжал он.— Покоя нет! Когда-то мне говорили: «Ты найдешь себе покой или в тюрьме, или в могиле». Да, так оно и получается. Или тюрьма, или могила!

Старый Вольф с состраданием взглянул на него, хотел сказать что-то, но Далай-лама перебил его:

— Нет, нет! Не отвечай, Исаак Соломонович. Спасибо тебе! Ты не похож на других горожан. Спасибо! Я больше не приду к тебе. Из-за меня и над тобой начнут смеяться...

Он сидел долго, бессвязно роняя слова. Трудно было понять, о чем говорит он, но в его речи слышалась глубокая боль. Исаак Соломонович, по-видимому, понимал собеседника и ни о чем не расспрашивал.

— Ты все же заглядывай, Аркадий Петрович,— сказал Далай-ламе старый еврей.— Судьбы наши в чем-то сходны. Мы понимаем друг друга, и я не сторонюсь тебя. Вот только крылья у тебя сломаны, не умеешь ты надеяться, верить. А я, коллега, не могу без нее жить — без веры. Что хочешь со мной делай, но я никогда не оставлю надежды!

Далай-лама с выражением муки на лице снова потер грудь, молча поник, потом резко встал и ушел не прощаясь. Исаак Соломонович покачал головой ему вслед...

А в маленьком уездном городке жизнь текла своей колеей. С наступлением темноты крепко запирались ворота и двери, каждый дом превращался в крепость. Обыватели, наказывая молодежи долго не задерживаться на гулянках, еще с вечера заваливались спать.

В глубокий сон погрузился уездный город. Только у хазрета Амануллы Еникеева за плотно закрытыми ставнями, в зале, украшенном пышными цветами, иранскими коврами и высокими трюмо, люди не спали. Здесь проходило собрание окрестных баев и представителей духовенства. Председательствовал сам Аманулла-мулла. Размахивая какой-то бумажкой, он говорил:

— Вы — имамы страны! Судьба мусульман в ваших ру-

ках. Хазрет муфтий¹ благословляет вас на великое дело! В рай попадет душа всякого, кто не пожалеет жизни в борьбе с большевиками. Так и объясните народу. Нас спрашивают: можно ли объединяться с русскими? Против большевиков не только с русскими, — а и с самим дьяволом не грешно заключать союз. — Мулла понизил голос: — В Ново-Петровском есть офицер Гудов. Он вам расскажет, как в ауле Идельбаево вместе с имамом Ахмадуллой-муллой они организовали сопротивление большевикам. Кроме того, в Кулбашевской волости успешно действует прапорщик Идрисов. А про тураевские события вы сами знаете. Но замечу, — нельзя увлекаться маленькими выступлениями. Надо подниматься разом. Скажем, бурлит Тураевская волость. Но одна она ничего не сделает. Нужно выступать всем уездом.

Громко застучали в дверь. Аманулла, бросив бумажку в огонь, спокойно сказал:

— Вы приехали в базарный день и остались у меня в гостях. Не бойтесь, имамы!

Он накинул шелковый чапан и пошел открывать дверь. Появились четыре красногвардейца во главе с Владимиром Вольфом. Он был в флотской одежде. На ремне — маузер и граната.

— Оставаться на местах, — предупредил Владимир сидящих за столом. — Нам придется произвести обыск.

Одному из красногвардейцев матрос приказал:

— Михаил, перепиши всех, кто здесь есть!

Обыск продолжался больше часа, но не дал никаких результатов. Аманулла-мулла ехидно ухмыльнулся.

— Кто вам дал право на обыск?

Владимир, обозленный неудачей с обыском, сквозь зубы выругался. Потом достал из бескозырки вчетверо сложенную бумагу:

— Вот ордер, подписанный председателем ревкома товарищем Чернявским!

По предположению Чернявского, в этом доме должно было найтись немало улик, подтверждающих антисоветскую деятельность его хозяина. При наличии их предписано было сразу же арестовать Аманулла-мулла. Но, не обнаружив улик, Владимир вынужден был лишь взять у муллы подписку о невыезде из города. Он вышел из дома Амануллы невеселый. После его ухода мулла с ненавистью процедил:

— Жид! Свинья!

¹ М у ф т и й — глава мусульманского духовенства.

Отряд Демидова отправился в Тураево лишь на следующий день после обеда. А тураевские муллы, совещавшиеся в городе, еще ночью разъехались по своим аулам.

12

Чернявский находился в кабинете один. Осторожно скрипнула дверь. Он поднял голову и увидел у порога Далай-ламу.

— Что вам угодно?

Далай-лама, облокотясь о дверной косяк, уставился на хозяина кабинета мутными слезящимися глазами. Чернявский показал на стул, стоявший напротив его стола, приглашая посетителя:

— Проходите, садитесь...

Но Далай-лама продолжал стоять у двери, машинально потер открытую голую грудь и после долгой паузы сказал:

— Наверно, удивляетесь этому посещению. Ведь вы меня не знаете... Да и я вас — не очень... А хочу знать: кто вы такой? Что вы собираетесь совершить на свете?

— Садитесь,— повторил Чернявский.— Если вы не знаете меня, то вас я знаю. Вы ведь — Аркадий Петрович Верхов, художник, сосланный сюда еще много лет назад. Присядьте. Вот так... А что касается меня, то я родился в этом городе. Молодость провел на Уральских заводах. А теперь...

— Я не об этом! Я хочу знать, что у вас на душе? Как относитесь к людям? У меня есть картина. Если вы меня поймете, я ее подарю вам...

На лице Чернявского — выражение досады оттого, что не может найти контакта с необычным посетителем.

— Пожалуйста, какая картина? — спросил он.

Художник внес из коридора большое полотно и прислонил его к стене. На первом плане к черным скалам прикован обнаженный человек. Цепи опутали его тело, но высоко вскинута гордая голова. Вздучились мускулы, готовые порвать цепи. А за скалистой пропастью открывается другой мир. Зеленеют деревья, солнцем освещены цветущие луга. Сидит там на белом камне девушка и играет на лире. Ее волнистые волосы шевелит ласковый ветер. За голубой прозрачной кисеей угадываются пленительные формы.

— Да... — протянул Чернявский, поглаживая в раздумье бородку.— Любопытная картина. Хорошо написана.

Далай-лама, словно опасаясь, что его не поймут, торопливо начал объяснять:

— Я хотел, чтоб походило на Микеланджело. Вы видите человека, стремящегося к абсолютной свободе, понимаете? Че-ло-ве-ка! Это не физиологические типы, а идеалы! Обнаженное тело — для красоты. Тело — только форма... Человек должен победить тьму, разорвать цепи, забросать пропасть камнями и выйти к свету, к радости.

Видно, не привык Далай-лама много говорить. Голос упал до шепота, в груди захрипело.

— Красивая картина, только нереальная, — с сожалением сказал Чернявский. — Вот если бы вы нарисовали нам красноармейца с винтовкой — было бы замечательно! И написали бы внизу: «Бей буржуазию!»

Аркадий Петрович Верхов опустил голову, потух в его глазах огонек. Чернявский почувствовал, что тот расстроился. «Решил, что я не понял», — подумал он и как можно мягче сказал художнику:

— Приходите сегодня вечером ко мне. Посидим, побеседуем.

В глазах Верхова промелькнули обида и удивление. Потом его желтое морщинистое лицо осветилось улыбкой.

— Спасибо вам, — промолвил он и, надев шляпу, быстрыми шагами вышел из кабинета.

Вечером Далай-ламу можно было видеть за чаем в доме председателя уездного ревкома. Щеки художника разругались, движения осмелели, голос стал тверже. Он размахивал руками:

— Алексей Иванович! Вы своим дружеским расположением жизнь в меня вдохнули! Вначале я насторожился, решил, что презираете мое творчество, унижаете, предлагая написать агитку. Потом понял, как это замечательно будет! Бей, кроши! А?

Взрыв оживления продолжался недолго. Вскоре художник притих, словно издалека доносился его печальный голос:

— Они меня травят, так как я во всем на них не похож. Науськивают на меня собак, своих сорванцов, издеваются как хотят, не могут простить моего безразличия к их обывательской жизни.

Он встал:

— Нет керосина, а то сразу бы начал работать. Очень рад, что встретился с вами, Алексей Иванович! Думал, помру и не найдётся человека, который бы понял меня. Ужасно трудно было жить! И вообще на земле я был только без-

билетным пассажиром. А на вас смотрю — удивительные вы люди. Парня с винтовкой обязательно нарисую. До свиданья!

Тень Далай-ламы пересекла желтую полосу света, падающую из окна на улицу. Она походила на большую ночную бабочку. Председатель ревкома долго стоял у окна, приклонившись лбом к прохладному стеклу, и думал о том, как необычно порою складываются человеческие судьбы.

13

По пути из города Сагидуллин завернул в аул Шадыкаево попить чайку да покормить лошадь. Здесь ему рассказали, что бывший продкомиссар Идрисов подбивает жителей окрестных аулов направиться в Тураево и поддержать выступление против большевиков. В этой волости избили и арестовали членов ревкома. Баи и муллы организовали там свою «Тураевскую автономию».

Сагидуллина не удивило, что Идрисов выступил против большевиков. Он подумал: «Оставишь волка на воле — не оберешься бед». Очень рассердился на Камалова, упустившего этого матерого врага. Заинтересовала Сагидуллина и «Тураевская автономия». «Ишь, какими наименованиями прикрывается кулачье! Видать, не зря Чернявский посылает туда лучший отряд красногвардейцев».

В Кулбашево Сагидуллин узнал подробности случившегося в соседней волости. Вопрос о «Тураевской автономии» обсуждался на закрытом заседании волостного революционного комитета. Вернувшиеся из Тураево посланцы Камалова поведали, как там обстоят дела. Сагидуллин сообщил, что туда из города направлен специальный отряд. Весть об этом обрадовала кулбашевских руководителей, но полностью не успокоила.

Тураевская волость граничит с Кулбашевской. Не приходилось сомневаться, что контрреволюционеры обеих волостей держат тесную связь. Огонь мог перекинуться и сюда. Стало известно, что в Кулбашево тайно прибыл прапорщик Идрисов.

Заседание ревкома затянулось. Да и не удивительно: назревала опасность. Чтобы предотвратить ее, приняли решение сразу же проверить обстановку, усилить работу с населением, изолировать баев и мулл, подозреваемых в причастности к заговору. Ревком поручил Сагидуллину найти и арестовать прапорщика Идрисова. Но было поздно. В комнату, где проходило заседание, вбежал запыхавшийся дружинник:

— Там, на площади перед мечетью, толпа... Шумят... Из сел собираются...

Действительно, возле мечети кто-то сколотил из досок высокую трибуну. Сделано это было без ведома волостного Совета. У крестьян узнали, что трибуну поставили по распоряжению Идрисова. Камалов хотел было сам туда отправиться и арестовать прапорщика. Но что бы он сделал в огромной толпе, где кулаки с трибуны несли яростную антисоветчину. Волрёвком запретил Камалову идти к мечети. Толпа могла разорвать его.

Время было раннее. Начало светать. Гасли костры на площади перед мечетью. Все ближе, все громче становились крики. Решено было обороняться в доме волостного Совета. Отряду дружинников из восемнадцати человек раздали патроны. У дверей вывесили объявление: «Волость на военном положении. К зданию группами не подходить».

Сагидуллин и Камалов понимали серьезность положения. Они срочно направили посланцев в Ново-Петровскую волость с просьбой о помощи. К соседям поехал комиссар по земельным делам Андрей Кузьмичев — высокий чернобородый богатырь. Он был хуторским крестьянином, жившим недалеко от Ново-Петровского. И теперь по хорошо знакомой дороге гнал своего скакуна. А на улицах Кулбашево страсти все разгорались. Баи повели толпу к дому волостного Совета, где в канаве залегли дружинники с видневшимися дулами винтовок. Сагидуллин вышел на крыльцо и крикнул в надвигавшуюся толпу:

— Товарищи крестьяне! По чьему злому умыслу вы устраиваете беспорядки? Баи толкают вас на неверный путь! Баи — кровопийцы, обманывают вас! Вам надо разойтись по домам! Мы не дадим уничтожить Советскую власть!

Раздался выстрел. Это Идрисов целился в Сагидуллина, но промахнулся. Военком скомандовал:

— Дружина! Огонь!

Прогревший залп посеял панику. Люди бросились врассыпную. Идрисов, размахивая наганом, закричал:

— В атаку! Ура!

Но он на улице остался один и от бессильной злобы погрозил Сагидуллину наганом:

— Ничего, мы еще сочтемся с тобой!

И вернулся к тем, кто оставил его в одиночестве. Сагидуллин достал маузер, хотел было выстрелить в Идрисова, но тут же вложил оружие в кобуру: «В спину не надо. Да и лучше живьем взять эту сволочь!»

Рассеянная выстрелами толпа снова собралась на площади и устроила митинг. Несколько человек с безопасного расстояния наблюдали за домом волостного Совета.

Ревкомовцы послали одного крестьянина на разведку. Огородами да улочками пробрался он на площадь и подслушал митинговавших кулаков. Вернувшись, сообщил их намерение: дожидаться вечера и захватить ревком, а если большевики не сдадутся, поджечь дом и никого оттуда не выпустить живьем.

Потянулись часы беспокойного ожидания. Уйти из волостного Совета было бы невозможно. Во-первых, Кулбашево окружено кулаками и их прихвостнями. Во-вторых, не дело оставлять волость на произвол. Чего бы это ни стоило, надо выстоять. Неизвестно, добрался ли Кузьмичев до Ново-Петровского? Успеет ли до ночи подойти подмога?

— Никогда не видывал такого длинного дня, — ворчал Сагидуллин, бесцельно тычась из угла в угол. Он был раздражен, ругался, предлагал с оружием пойти на площадь и разогнать толпу, пока еще светло.

Но Камалов не соглашался:

— Они не разойдутся оттого, что мы будем палить в небо. А если и разбегутся в одном месте — соберутся в другом. По ним же стрелять нельзя. Ведь не все они кулаки. Есть среди них и темные, поддававшиеся агитации крестьяне. Неужели можно стрелять в обманутых людей?

В неизвестности и тревоге прошел день. Зашло солнце. Начинало смеркаться. Идрисов и его люди, разделившись на две группы, окружили дом волсовета. Ревкомовцы решили стрелять в любого, кто приблизится. А помощи все не было...

Кольцо смыкалось теснее. Несколько человек пробрались за речку на пригорок. Оттуда дом волсовета — как на ладони. Завидев на пригорке людей с ружьями, один из дружинников выстрелил. А с улицы донесся голос Идрисова:

— Сдавайтесь! Иначе уничтожим!

Сагидуллин направил в сторону голоса маузер. И тут же в стены дома, на его крышу посыпались камни. Со звоном разлетелись стекла. Крупный камень упал на стол Камалова, опрокинув чернильницу. Внезапно в небо взметнулась ослепительная зеленая полоса, рассыпавшаяся снопом крупных ярких искр. То была военная ракета. Вдали застрочил пулемет. Разбрызгивая весеннюю грязь, в Кулбашево с гиком ворвался конный отряд и направился прямо к волостному Совету. Кто-то, стуча винтовкой об пол, вошел в темное здание и крикнул:

— Вы живы, товарищи? Зажгите свет!

Это был Кузьмичев. Тотчас же сделали облаву. Арестовали заправил мятежа. Идрисова нашли только под утро в хлеву, зарывшегося в солому. Тут же создали ревтрибунал во главе с Камаловым. Идрисов держался вызывающе. На вопросы не отвечал. Только на один: «В какой партии состоишь?» — зло, скривил рот и четко произнес: «эс-сер!» Больше ничего не сказал. Трибунал приговорил его к расстрелу. Идрисова отвели в березняк на окраине Кулбашево и расстреляли. Пятнадцать человек — мулл и баев — отправили под конвоем в город. В то же утро из уездного ревкома пришел пакет. В приказе, подписанном Чернявским, было следующее: «Кулбашевский ревком. Очень секретно. Срочно. Выдающего себя за большевика бывшего прапорщика Идрисова немедленно арестовать и с надежной охраной доставить в город. Под персональную ответственность председателя волревкома товарища Камалова».

14

Все пятнадцать контрреволюционеров, отправленных на рассмотрение городского ревкома, через три дня вернулись. Руководители Кулбашевского ревкома диву давались. Ведь арестованные не были рядовыми кулаками. У каждого из них немало отобрано земли и золота, на каждого наложена высокая контрибуция. Об их «симпатии» к Советской власти говорить не приходилось. Вернувшись, они распускали слухи: «В городе не разделяют людей на бедных и богатых, все равны. Только большевики нашей волости продались жидам».

Кулбашевцы ничего не могли понять. Камалов послал Сагидуллина в уезд, чтобы выяснить причины такого мягкого отношения к организаторам мятежа. Проклиная весеннюю распутицу, злой на товарищей из уездного ревкома, Сагидуллин лишь к концу дня добрался до города и сразу же направился к зданию бывшей женской гимназии. Чернявский на днях уехал в губком. Его замещал приятный, кареглазый Петр Самбуров. Он встретил Сагидуллина радушно, как близкого человека.

— А нашему боевому комиссару салям! — расплылся он в лучезарной улыбке, протягивая обе руки. Но, увидев злое лицо Сагидуллина, поспешно спросил: — Что случилось?

Сагидуллин сразу перешел к делу:

— Разве по характеристике, которую мы вам прислали, трудно было понять, что отпускать таких нельзя? Я не

имею в виду крайнюю меру. В расход вы могли их и не пускать. Но...

В голосе его звучали нотки обвинения, он не скрывал своего раздражения. Вид у него как бы говорил: «Сидите тут... красавчики! Попробовали бы поехать в волость и там поработать». Самбуров взглянул на забрызганную грязью старенькую шинель Сагидуллина, невольно перевел взгляд на свои сверкающие хромовые сапоги, на новое галифе. Усмехнулся и довольно сухо пояснил:

— Ревтрибунал не нашел достаточных мотивов для их изоляции, товарищ Сагидуллин. Нет улик, говорящих об их прямом участии в мятеже. Ваши обвинения слишком расплывчаты и общи. Нужны конкретные факты!

— Какие еще факты, когда именно они подстрекали народ к бунту? — вспыхнул Сагидуллин, зло сверкнув глазами на заместителя председателя уревкома.

Тот сердито ответил:

— Мы не шайка бандитов, чтобы без причин отправлять людей на тот свет. А содержать... В общем, не такое время, чтоб кормить их, тратить средства на охрану, товарищ Сагидуллин!

Покончив с делами в ревкоме и укоме партии, Сагидуллин решил навестить старого музыканта и Володю Вольфа. Он шел по Вознесенской, углубленный в раздумья. На душе у него было беспокойно. Шевелились смутные подозрения, но он боялся дать им волю. Казалось, что этим он бросит незаслуженную тень на таких людей, как Чернявский, Самбуров. Но как же могли эти люди признать невинными ярых контрреволюционеров? Ведь сразу видно, кто они, сразу становится ясно, что такие не оставят нас в покое...

Кто-то схватил его за локоть с громким удивлением:

— Кого я вижу! Здорово, товарищ Сагидуллин!

Военком вздрогнул. Перед ним стоял Александр Демидов. Он был не один. Приближались Владимир Вольф и две девушки. Владимир потряс Сагидуллина руку, дружески заглянул в глаза. Демидов познакомил его с девушками:

— Наши товарищи, а еще вернее — близкие друзья. Это комиссар здравоохранения уревкома Галина Горчакова. Дай руку, Галя. Понимаешь, они считают буржуазным пережитком протягивать при встрече руку, — пояснил Александр. — Но для первого знакомства оставим в силе старую привычку. А это Нина Северцева. Наша дорогая Ниночка. По секрету скажу: у Володи с Ниной особые отношения. На всякий случай — учти!

«У обоих такие хорошие девочки. Вот счастливый народ!» — вздохнул Сагидуллин. Любуясь девушками, он старался придать своему лицу строгость. «Вы, конечно, красивые. Только мне все равно. Для меня вы всего лишь товарищи!» — именно это должен был сказать его посуровевший взгляд. Но здороваясь, он невольно задержался перед Галиной, разглядывая ее скворчиные крылья бровей над такими же черными глазами и густые ресницы. Если бы потом у него спросили, какого цвета глаза у Горчаковой, он бы, наверно, затруднился ответить. Галина высокого роста, хорошо сложена, красоту ее статной фигуре придавали крупный бюст и тонкая талия. На узких губах блуждала несколько ироническая улыбка, а они оставались все такими же по-девичьи нежными и притягательными. Чуть удлиненный нос придает ее зарумянившемуся лицу серьезность. Нина же, в противоположность подруге, — маленькая, беленькая, с озорными карими глазами. Что особенно привлекало в ней — так это пухлые губки, открывающие в улыбке снежно-белые, ровные зубы. Волосы соломенного цвета в мелких кудряшках. При разговоре она забавно встряхивает ими и без конца смеется. Так и кажется, что в любом услышанном слове девушка ищет и находит смешной оттенок. В ее смехе, словах сквозит еще не утраченная детская наивность. Она, не в пример Галине, не может или не хочет хотя бы на секунду оставаться серьезной. Когда Александр упомянул об их отношениях с Володей, она с напускной обидой топнула ногой:

— Ну что ты болтаешь, Саша? Что у нас с ним особенного? Самые что ни на есть дружеские отношения, так ведь, Володя?

И засмеялась, не сводя с Володи своего не совсем дружеского взгляда.

Они по Вознесенской спускались вниз, в сторону Белой, где на большой поляне пестрели кое-как сколоченные легкие лавчонки, лотки. Здесь сидели торговцы мелким товаром, стучали молоточками сапожники, шныряли спекулянты, бродили обыватели, прицениваясь от нечего делать и ничего не покупая, изредка попадались крестьяне, приехавшие на «нижний городской рынок» или попросту «толкучку» из ближних деревень. Их ряды редели в весеннюю распутицу. На краю базара лепились лачуги чайханщиков с вынесенными на улицу столиками. Здесь дешевле чем где-либо можно было пообедать и посидеть за самоваром. Самый популярный среди чайханщиков — старик Вали, карлик с короткими ножка ми и непо-

мерно большой головой. Ему помогает косоглазая рябая дочь, оставшаяся старой девой. Они знакомы почти со всеми посетителями базара, даже некоторых деревенских зазывают по имени: «Эх, Гайнутдин-абзый!» или «Эх, Сайхутдин-кордаш¹!». Им известны все события, происходящие в мире.

Когда молодые люди проходили мимо его чайханы, старик Вали раздувал самовар голенищем старого сапога. Одновременно он разговаривал, адресуясь к кому-то незримо-му, наверно, сидевшему в лачуге:

— Может быть, ты большевик, Гайнулла-абзый, и пришел обкладывать меня контрибуцией? Хотя и нет у меня капитала, но боюсь я большевиков. Ведь у меня есть дочь! Скажут, они всех женщин хотят сделать общими.

Стоявшая рядом с ним рябая дочь смущенно покраснела и мечтательно потупила свои раскосые глаза. Старик, проводив взглядом трех парней и двух девушек, сердито крикнул дочери:

— На, скорее вскипяти самовар, косоглазый шайтан!

Широко разлилась Белая, подобравшись к самому городскому яру. А противоположного берега вовсе не было видно — сплошное море. Лишь в десятке километров от города, где река поворачивала, возвышались, будто выросшие из воды, высокие холмы.

Были последние дни ледохода. Лед шел не так густо, как вначале. Но встречались огромные льдины. Будто заблудившись, они подплывали к берегу, ударялись в яр и ломались на части. Иные, словно гигантские играющие рыбины, поворачивались на ребро. Льдины сталкивались, трескали, кружились в водовороте. Казалось бы, однообразная картина — ледоход, но трудно оторвать взгляд от реки. Слегка кружится голова от движения белых пятен по темному полю воды, от неумолчного шороха трущихся друг о друга и крошащихся льдин.

На берегу собрались почти все городские обыватели. Если бы спросить у них, почему они так долго стоят здесь и смотрят на ледоход, что они чувствуют, вряд ли кто-нибудь смог бы дать вразумительный ответ. А ведь каждую весну так: половодье притягивает к себе сотни зрителей, словно молча повествует им о таинственной истории мироздания. Даже у равнодушных людей появляется выражение осмысленной грусти. О чем же думают они, глядя на великий ледоход?..

¹ К о р д а ш — ровесник.

Наши молодые люди тоже долго и молча стояли перед разбушевавшейся рекой. Молчание прервала Нина Северцева. Глядя на воду, она сказала:

— В другое время всегда можно рассказать о том, что думаешь. А сейчас — никаких мыслей в голове. Чувствуешь себя маленькой и глупенькой. Не находишь слов, чтобы передать свои ощущения. Почему так?

Ей никто не ответил.

— Помнишь Балтику, Володя? — спросил Александр. Он, видимо, был поглощен воспоминаниями о Балтике и словно не расслышал слов Нины. Бывший моряк, сложив руки на груди, всматривался куда-то в даль. Легкий ветерок играл лентами его бескозырки, шевелил кудряшки Нины.

— ...Наш крейсер «Ярослав Мудрый» как раз в такое время затонул. Тоже заходило за волны солнце... Если бы не спасательный круг... Все-таки здорово я тогда сдрейфил... Эх, братва! Мы еще поживем!

К берегу подошло несколько парней с гармошкой.

— Ребята, идите сюда! — крикнул им Александр.

Гармониста попросили сыграть плясовую. Александр подмигнул Владимиру:

— Ну-ка, Владимир Исаакович! Вспомним Балтику!

— Просим! Просим! — закричали девушки.

Володя нерешительно улыбнулся, глубже надвинув бескозырку, медленно прошелся вместе с Александром по кругу. Постепенно их движения становились все быстрее и быстрее. Они целиком отдались пляске. Мелькали в воздухе матросские клеши и ленты бескозырок, лихо отстукивали каблуки. В вихре пляски не заметили, как сгрудились вокруг них зрители. Закончив пляску, огляделись с удивлением: откуда столько взялось народу? Из-под земли, что ли? Нина Северцева не сводила с Володи восхищенного взгляда. Зрители громко хлопали в ладоши.

Солнце «по пояс» скрылось за горизонтом. Его оставшаяся половина была багряно-красной. Косые лучи окрасили топорщившиеся льдины в алый цвет. Жарко плавилась оконца рассыпанных по горе домишек. На берегу Белой стало еще многолюднее. Звенели голоса, звуки гармошки. Где-то протяжно пели девушки:

Вниз по матушке по Волге...

Глядя на реку, Александр философски заметил:

— Знаете, Нина, вот и годы наши так же протекут! И жизнь пройдет таким половодьем, Ниночка?

— Ну вот! — недовольно ответила Нина. — Куда уж нашей жизни до половодья, когда она только начинается. Впрочем, не люблю я говорить об этом.

— Правильно! — поддержала ее Галина. — Давайте лучше помечтаем о будущем...

Подошло несколько парней и девушек. Одна с упреком обратилась к Северцевой:

— Ах, Нина, я тебя целый день ждала! — и поцеловала ее.

Другая, миловидная, черноглазая, сказала по-татарски:

— Не видишь, что ли? Прилипла она к этому типу.

— Ну, Ракия, так нельзя, — обиженно ответила подруга, взяла ее под руку и увела. Ракия, оглянувшись, процедила:

— Собрались всякие олухи! И к чему было останавливаться? Меня тошнит при одном их виде?

Один только Сагидуллин понял ее слова.

— Кто эта девушка? — спросил он у товарищей и перевел то, что она сказала.

— Нет ничего удивительного, — ответил Александр. — Все они — и Исакова, и Калинина, и Халикова — дети татарских баев. А вон тот, хорошо одетый парень, — приказчик Исакова Шакир Гареев. Говорят, он замечательный артист. Но почему они обозвали нас олухами? — пожал плечами Демидов. — Непонятно, ведь они нас совсем не знают.

— Зато знают, что мы большевики, — обернулся к нему Сагидуллин. — Они готовы лопнуть от злости, когда видят большевиков. Ну и пусть лопаются. Меньше дряни останется.

Байские отпрыски опять прошли мимо. На них никто и не взглянул.

— Давайте не обращать внимания, — сказала Галина. — Лучше смотреть на Белую, чем на них.

А река в этот час была прекрасна. Солнце зашло, но висело в густеющем небе бело-розовое облако. Оно отражалось в реке и продолжало окрашивать льдины в красные тона. Вода приобрела пурпурно-фиолетовые оттенки. Затуманилась даль.

— Как жаль, что я не художник! — воскликнула Нина Северцева.

Большая льдина высоко поднялась из воды, будто ее подтолкнули снизу, перевернулась, рождая тысячи радужных брызг. Из садика, раскинувшегося около церкви Михаила Архангела, доносилось треньканье на гитаре. Молодой голос задушевно выводил:

Это была простенькая — с незатейливым мотивом и такими же словами — песенка. Но то ли свежий вечер с зеленеющим над рекой небом и загадочно глядящими вниз звездами был тому виной, то ли предельно откровенный, искренний голос певца — песенка брала за душу.

— Пора бы и по домам,— вздохнул Демидов.

Они медленно прошли мимо хлебных амбаров и начали подниматься по Вознесенской улице. Александр наклонился к Володе и что-то ему шепнул, затем громко сказал:

— Галину мы, Сагидуллин, оставляем на твое попечение. Мне ведь пора к невесте. А у Нины с Володей, видимо, тоже своя дорога.

— Почему же так,— простодушно возразил Володя.— Галину мы могли бы и все вместе проводить. А ночевать, Сагидуллин, будешь у меня.

— Идет! — согласился комиссар.

15

Александр сразу исчез.

— Скоро у него свадьба. Вот и носится как чумной,— засмеялась Галина. Двумя парами — одна за другой — поднимались молодые люди по улице. В городе было шумно и празднично. Раскачивая неподвижный прозрачный воздух, звенели пасхальные колокола. У центра пары затерялись в толпе гуляющих. Сагидуллин пошел провожать Галину. Но когда дошли до ее дома, Галина в свою очередь вызвалась проводить Сагидуллина. Они чувствовали себя как старые знакомые, отыскавшие друг друга после долгой разлуки. И теперь спешили высказать все, что накопилось в душе. Сагидуллин взял Галину под руку. Ощувив ее тепло, он замер от нахлынувшего волнения.

Галина рассказывала о себе. Она единственная дочь учителя математики. В прошлом году вернулась домой, окончив в университете медицинский факультет. Мать у нее была неродная. Радости в семье не видела. Отец ее, Николай Гаврилович Горчаков, был опытный учитель, но, будучи человеком принципиальным, не уживался с коллегами. Поэтому и материальное положение его было не из прочных. Но дочь он любил беззаветно и старался дать ей образование. Когда Галина училась в университете, он оказывал

ей посильную помощь, а все же приходилось трудновато.

— В общем, жизнь меня не баловала,— сказала она спутнику и тут же добавила: — Однако, я не хочу жаловаться на судьбу. Как говорит Александр, мы родились в счастливый век. Уже сейчас живетя интересно и хорошо. А потом будет, наверно, еще лучше, правда?

Сагидуллин вместо ответа только сильнее сжал ее руку. На площади, освещенной газовым фонарем, они встретились глазами. Порою слова оказываются бессильными. Какие из них могли бы передать все значение этого взгляда? Слова иногда становятся не только бессильными, но и лишними. Любое, даже самое нежное слово сейчас прозвучало бы бессмысленно.

Бешено гудели над городом колокола. На площади около церкви началась процессия выноса плащаницы. Мерцали сотни восковых свечей. Выделившийся из хора голос: «Христос воскрес!» — на секунду завладел вниманием Галины.

— Мой отец здесь... Увидит меня глазеющей — обидится.

Сагидуллина удивило, что ее отец — верующий. «Вот тебе и ученый человек! Но если и она верующая — непростительно!» — подумал Сагидуллин, но ничего не сказал. Галина, словно прочитав его мысли, добавила:

— А я вот с детства не верю ни в аллаха, ни в бога, ни в черта. Чтоб только не обидеть отца, ходила в церковь и крестилась, вставая из-за стола. А он стал верующим после смерти моей матери.

Расставались они неохотно. Но ничего не поделаешь — Сагидуллина надо было ехать.

— Не следовало бы торопиться,— заметила Галина.— Река Варна разлилась, и мост разобрали.

Сагидуллина самому не хотелось уезжать, но как там в Кулбашево? Такие дела не отложишь...

— Я завтра зайду к дедушке Исааку, может, вы еще не уедете,— с надеждой сказала Галина.— А если не увидимся, вот вам мой адрес.

Сказала и смутилась и, как бы оправдываясь, добавила:

— Знаете, я очень рада этому знакомству. В нашем городе редко встретишь хорошего человека. Хоть в письмах будем поддерживать отношения.

Они попрощались. Сагидуллин шел к Вольфам. Он был переполнен мыслями о Галине. О чем бы не начинал думать, в памяти всплывал милый облик девушки: ее лицо, улыбка, глаза. Он полагал, что Владимир уже давно вернул-

ся и спит. Но Володя пришел лишь двумя минутами раньше. Старый еврей радостно встретил комиссара, быстро приготовил ужин. Пока Владимир и Сагидуллин пили чай, старик снова завел разговор о музыке. Он прочел целую лекцию о композиторах и исполнителях, но Сагидуллин сначала улавливал лишь отдельные слова:

— Моцарт с трех лет овладел клавишами... В семь лет печатали его произведения... Вот какие люди были на свете... А мой земляк Шопен? Великий Шопен!.. Жорж Занд его погубила... Эх женщины! Берегитесь их, мои дети... А Бетховен? Не простой смертный, а святой Людвиг Бетховен! Не могу без благоговения произносить его имя!.. Какие замечательные люди жили на земле!..

За разговорами Владимир со своим товарищем забыли даже о сне. Сагидуллин подробнее узнал историю их семьи.

Старик Вольф родился в Варшаве. Его отец был лучшим портным в Варшавском предместье. Исаак с юных лет проявил способности к музыке. Старик учил его в лучшей музыкальной школе. Требовалось много денег, приходилось работать не разгибая спины. Затем портной переехал в Одессу. Пришлось и сына забрать с собою. Здесь Исаак уже самостоятельно продолжал свою учебу.

Начинался 20-й век. В эпоху царствования Николая Второго волной прокатились по России еврейские погромы. Руководила погромами черносотенная организация «Союз русского народа». В Одессе произошли крупные столкновения между рабочими и черносотенцами. Отец Вольфа умер от полученных ран. В это время Исаак был уже женат и растил сына. В ярости он разбил камнем голову жандармскому офицеру. Его осудили на двадцать пять лет каторжных работ. Отбыв срок наказания, сокращенный наполовину, он вынужден был поселиться в этом маленьком городке. Здесь умерла его жена Сара Карловна. Ее похоронили у женского монастыря, за забором общего кладбища. Местные власти сказали: «На христианском кладбище нет места жидам». Сломленный житейскими невзгодами, привязанный к родной могиле, Вольф так и не смог покинуть этого города. Когда-то в Одессе ему пришлось жить с мастером, чинившим музыкальные инструменты. Имея за плечами небольшой опыт в этом деле, он открыл мастерскую.

Сперва новый поселенец отправился было в городской театр и стал предлагать свои услуги. Ему не давала покоя мысль о создании симфонического оркестра. Услышав предложение Вольфа, городской голова расхохотался. Дрожали от

смеха — его плоское лицо с длинными усами, жирный двойной подбородок, закатывались выпученные глаза. Вольф опешил. А городской голова, насмеявшись вдоволь, переменялся в лице: теперь уже от гнева затряслись у него щеки:

— Какая такая симфония? — заорал он, багровея. — С каких это пор у меня в городе стали орудовать жида? Пока я городской голова, никакие симфонии у нас не заведутся! А ты, дьявол, чтобы на глаза не попадался! Зап-порю!

После такого приема Исаак Соломонович вынужден был отказаться от мысли об оркестре. И все же городской голова однажды вспомнил о его существовании. В годовщину тезоименитства государя его пригласили на торжество. Старый еврей отправился туда со своей старенькой скрипкой, привезенной еще из Одессы. Он был убежден, что скрипка некогда принадлежала Страдивариусу. Кто знает, может, и действительно это было гениальное творение рук великого итальянца. А возможно, изготовил ее из простой березы какой-нибудь безвестный русский мастер. Но старый музыкант верил в тайну своего инструмента и молился на него, как молится верующий на святые образа.

— А ну, показывай свое мастерство! — крикнул ему окруженный дамами городской голова. Еврей увидел перед собой представителей местной верхушки — жандармского полковника, чинов полиции, начальника реального училища. Широкозадые фраки, мундиры, блестящие пуговицы, женские шелка. Люди с любопытством и издевкой взирали на музыканта. Старый Исаак не думал о своем потрепанном костюме, стоптанных штиблетах. Он с беспокойством спрашивал себя: «Что же им сыграть?»

— Людвиг Бетховен, «Крейцера соната», — объявил он и поднял смычок. Парадный зал городской управы впервые услышал такую необычную музыку, такую вдохновенную игру. Музыкант перестал видеть перед собой нарядную напомаженную публику, воображение унесло его на широкий дневной простор, где бродят по небу стада облаков, где в залитых солнцем кустарниках раздается то нежная флейта кукушки, то рассыпчатая трель соловья, где у заросшей бурьяном монастырской стены душа его столько раз витала и плакала над могилой жены.

Музыканта прервал недовольный голос распорядителя бала:

— Что за жидовская чепуха? Даешь барыню! Барыню, сукин сын!

Толстая дама, закатив глаза, пожимала плечами:

— Ничегошеньки не понимаю! Тянет и тянет!..

— Ануфрий Аббакумович прав,— поддержал кто-то городского голову.

— Развел нюни,— резюмировал начальник реального училища.

Скрепя сердце, Исаак принялся играть барыню. «Играй поживее!»— крикнул городской голова, вытолкнул в круг франтоватого почтового чиновника, затем сам затопал короткими толстыми ножками.

— Распузыривай! Наяривай! — кричал в сторону музыканта городской голова.

Вернувшись с бала домой, прячась от сына, старый музыкант по-детски заплакал. Он плакал от обиды за Бетховена, оттого, что, возможно, сам погубил свое дарование...

* * *

Утром Владимир вышел проводить Сагидуллина. Они медленно шли рядом с лошадьёю по раскисшей дороге. Владимир рассказывал об экспедиции против «Тураевской автономии».

— Мы предполагали, что мятежники расположатся фронтом и встретят нас залпами. Выслали вперед дозор, пробирались с осторожностью. Чувствовали себя как на фронте. Казалось, что будут жертвы, раненые. На окраине села Александр дал из пулемета очередь в воздух,— для устрашения «автономии». Но никто не выступил против нас. Правда, перед нашим приходом зверски избили дружинников. Кулаки и баи, поднявшие бучу, разбежались, попрятались. Жители же аула встретили нас хорошо. Темный народ. Запугали его баи...

Незаметно прошли восемь километров от города до реки Варна. Лед здесь только тронулся. Мелкие притоки Белой обычно вскрываются позже. Мост не успели снять — его снесло. Владимир принялся уговаривать Сагидуллина вернуться в город.

— Побудешь у нас до завтра. Лошадь оставишь, а сам переправишься на какой-нибудь лодке, тогда и льда будет уже меньше,— говорил он, не сомневаясь, что Сагидуллин так и поступит. Ведь сейчас через реку да еще с лошадьёю вряд ли перебраться. Но Сагидуллин отрицательно покачал головой:

— Нет, не могу задерживаться. Много дел ожидает!

Больше нельзя оставаться. Ничего не случится. Лошадь у меня отличная. Переберусь вплавь. А там, хотя бы на мельнице, погреюсь и посушусь...

Он выждал, когда проплывут крупные льдины, и повел коня в воду. Конь захрапел, заплесал на берегу, но после повелительного удара шпорами ринулся в ледяную реку. Вода сразу достигла плеч всадника.

— Эх, зря спешишь, браток! — сказал ему вслед Владимир и в ту же секунду увидел огромную льдину. На ней не было снега, как на других, потому-то она и оказалась незаметной, почти не отличимой от воды. Владимир побледнел и крикнул:

— Сагидуллин, берегись! Льдина!

Варна — река с быстрым течением и водоворотами. Лед здесь шел не так спокойно, как на Белой. Течение далеко унесло Сагидуллина. Владимир надеялся, что, может быть, опасная льдина не нагонит его, но ошибся. В мгновение ока многотонная глыба опрокинулась на коня. Сагидуллин тоже едва не остался под нею. Из всех сил он вцепился за край ледяной глыбы, выкарабкался на ее поверхность, но поскользнулся и, падая, схватился за ветви свесившейся над крутояром ивы. Владимира бросало то в жар, то в холод. Он онемел, не в силах сдвинуться с места. Сагидуллин по стволу дерева выбрался на берег, оглянулся в сторону Владимира и, помахав ему рукой, направился к мельнице.

— Беги, Сагидуллин, беги! — крикнул Владимир.

Услышав ли его голос или просто стараясь разогреться, Сагидуллин действительно побежал все быстрее и быстрее. Владимир долго смотрел на бушующий поток, но сколько ни напрягал зрение — не мог увидеть головы коня.

16

Они встретились в овраге, где проходила дорога из Идельбаево в Сабашево. Камалов с вожжами в руках сидел на облучке старенького тарантаса, в который была запряжена крупная ломовая лошадь. Ахмадулла-мулла погонял вороного красавца, легко несущего расписную бричку на мягких рессорах. Ахмадулла-мулла издали узнал Камалова и посторонился, чтоб дать ему дорогу, расплылся в улыбке:

— Ассалямагалеюкум! Мой саям человеку, несущему бремя государственных забот!

Камалов приветливо откликнулся:

— Вагалекумассалям! Куда держишь путь, мулла?

Они остановили коней. Всегда насупленное, строгое лицо Ахмадуллы-муллы сейчас сияло дружелюбием.

— Хай, обижаете, Ахмет-кордаш,— сказал он с упреком, но выражение его лица как бы говорило: «Не принимай всерьез мою обиду. Видишь, я улыбаюсь. Все равно отношусь к тебе, как к другу».

От пятидесяти десятин всего десять оставили, Ахмет-туган! Что поделаешь? Вам виднее. Так должно и быть, наверное. Мы не в обиде на тебя!

— Для всеобщего блага делается, для людей, мулла! — отвечал Камалов.— Ты посмотри, как народ радуется, а? Видишь, как трудятся в поле бедняки. Никогда не было у них такой радости. Сейчас вот еду в Сабашево. Там беднякам семена недодали, надо проверить.

— Правильно, очень правильно, Ахмет-кордаш! Как и ты, я тоже радуюсь тому, что происходит. Вместе со всей страной радуюсь, вместе печалюсь. Доброго тебе пути!

Изумительно синий день стоял над землей. Смеялось солнце, дрожал и переливался воздух, живой, прозрачный, ощутимый... Доносились голоса пахарей. С необозримой высоты летели вниз, к земле, трели жаворонков. Где-то ржал жеребенок. Где-то пели песню. Звуки сливались в одну торжественную музыку весны.

Люди спешили, работы было много. Впервые у них оказалось столько земли, конфискованной у помещиков и аульных баев. А для бедного крестьянина, связавшего свою судьбу с землей, поливающего ее потом, была ли большая радость? Вот пашет сабашезский соловей Ахметсафа. Нынче идет он не за сохой, а за новехоньким стальным плугом. Дали ему большевики этот плуг из имения богатого помещика. На красном обветренном лице Ахметсафы глубокий рубец — память о ранении на австрийском фронте. Сейчас он прокладывает борозду по направлению к дороге. Его приближения ждет Ахмадулла-мулла. Ахметсафа нехотя отдал салям, развернул коня и пошел было назад.

— Много теперь земли у тебя, Ахметсафа! — крикнул мулла.— Справишься ли один?

Ахметсафа не расслышал иронии в его голосе. Он остановил коня и принялся чистить лемех плуга.

— Конечно, одному трудно, — сказал он чистосердечно.— В этом году не удалось, а к будущей весне хотим объединиться и работать вместе, хазрет.

— Так, так. Советы сделали вас богатыми! Хорошо! А много получил семян овса?

— Совсем не дали. Я даже с председателем поругался...

— Так, так! Но ведь на одной земле, без семян не разживешься, Ахметсафа. А если все начнут делать общим, тогда и молодая жена твоя Бибисара станет общей.

Ахметсафа понял, куда клонит мулла. Он помрачнел, шрам на его лице стал еще заметнее.

— Стыдно так говорить о женщинах, хазрет,— сказал пахарь и погрозил мулле кнутом.— Я тебе покажу общее!

Мулла стегнул вороного. Ахметсафа проворчал:

— Знаем, падок до чужих жен! — и добавил: — Так-то вот!

Обойдя несколько кругов, он забыл о неприятной встрече с муллой. Ему опять передалось настроение радости, царившей на пашне. Он налег на плуг и протяжно запел:

Ак-Идель¹ полноводная, вода холодная —

Не плещи волной на меня.

На одной щеке — солнце, на другой — месяц,

Сохрани, господь, от дурного глаза тебя!

Не зря Ахметсафу прозвали соловьем за его чистый, звенящий на все поле голос. Его можно узнать издалека.

Бибисару, несущую мужу обед, люди каждый раз оповещали:

— Ахметсафа твой в логу Карагайлы пашет.

— Слышишь, Бибисара-килен, вон откуда его голос доносится?

— Бибисара-джинги, соловей твой сейчас возле озера Зайтуны. Только что там пел!

17

Кугебай издали узнал Салиму, несущую ему обед в поле. К ее приходу он распряг лошадей, дал им сена, соскоблил землю с двухлемешного плуга «сакко» — последней новинки Ахмадуллы-муллы.

Кугебай просил, когда подошла Салима, но, как всегда, молчал, не находя слов. Заметив, что Салима расстроена, нахмурился и он.

— Теперь уже не я буду приносить тебе обед,— сказала Салима.

¹ Ак - Идель — река Белая.

Они сели на опушке березняка. Отсюда открывалась хорошо знакомая картина полей, разделяющих аулы Идельбаево и Сабашево, синели на горизонте хребты высоких холмов. А в небе, словно льдины по разлившейся Белой, плыли белоснежные облака, бросая на землю быстро движущиеся тени. Позади, в только что зазеленевшем лесу, пробовала голос малиновка. От земли, покрытой прошлогодними листьями и травой, исходил влажный запах, пьянящий, как хмельная брага.

Салима уткнула подбородок в колени и беззвучно заплакала. Вздрагивали ее плечи. Сидевший рядом Кугебай насутился и перестал есть. Он вздохнул и, набравшись смелости, положил ей руку на плечо. Парень жалел ее и не знал, что сказать.

— Салима... Убежим? — решительно выпалил он.

Салима подняла на него печальные глаза. В них промелькнула надежда.

— Куда убежим? — спросила она. — Ты говорил однажды, что поедешь в Кулбашево и запишешься в дружинники... Меня с собой хотел взять... Но все равно не дадут покоя. Мой брат очень злой. Я ведь знаю, какой он. А Ишмамет еще хуже...

Кугебай очень рад, что Салима верит ему и готова отправиться с ним хоть на край света. Он смотрел на небо и напряженно о чем-то думал...

— Салима, убежим в город! — предложил он более конкретный план.

— Ах, Кугебай, что будет... Сегодня утром брат ударил меня вожжами. А еще муллой называется — такой жестокий и бессердечный человек! Говорит, если не буду улыбаться Ишмамету — задушит. А я не могу улыбаться Ишмамету, не люблю его! Двух жен брал, обеих в могилу загнал. Говорят, он хуже зверя... Скорее в воду брошусь, чем за него пойду!..

Кугебай, как мог, успокоил Салиму, и она отправилась домой. По дороге обернулась и помахала ему рукой.

Кугебай крикнул:

— Не грусти, Салима!

Батрак вернулся с пашни поздно вечером. Он издали заметил какое-то оживление во дворе. За картофельным полем из трубы бани курится сладкий дымок. Женщины таскают туда из колодца воду. Из кухни доносится запах сдобного теста, кипящего масла, жареного мяса. Встретившаяся жена соседа Насретдина Халима-джинги лукаво усмехнулась:

— Эй, мари, готовься отведать свадебных яств!

Кугебай задохнулся от промелькнувшей догадки.

— Что... ты говоришь? Свадебных? Сегодня?

Халима не ответила. Кугебай с беспокойством вошел во двор. Кто-то сказал ему, что Салиму заперли в угловой комнате. Он вышел на улицу и увидел ее в окне. Потом еще несколько раз выходил за калитку, сжимая кулаки от бессильного гнева. Появился Ишмамет, ведя за поводья сивку.

— А, здравствуй, Кугебай! — жизнерадостно крикнул он и сунул ему в руки поводья. Батрак на приветствие не ответил, но коня под навес отвел.

Засыпав лошадям овес, Кугебай вышел на улицу, сел на скамейку около палисадника. Сосед Насретдин подсел к парню и стал его дразнить:

— Ну что, мари, так ни разу и не удалось тебе поспать с Салимой? Эх, мари, сегодня капут Салиме. А хороша была девка, хороша!

Кугебай, почти не разжимая губ, ответил:

— Уходи. Тошно и без тебя. Что там у них — мне дела нет. зуб болит, понимаешь...

Он и вправду походил на больного: потускнел, съежился, пригнулся, руками придерживая голову. Со двора слышался голос Халимы-джинги:

— Баня готова!

Кугебая молнией озарила мысль. Он вскочил с места. Незаметно вывел на улицу коня Ишмамета и привязал его на углу дома. Потом взял из хлева охапку соломы и пошел к бане. Огляделся, прислушался, бросил солому у двери и ткнул в нее спичку. Вспыхнул огонь. Кугебай, пригнувшись, побежал прочь.

Над баней поднялся столб дыма. Метнулось пламя. «Пожар!» — крикнул Кугебай, а сам выскочил на улицу. Во дворе забегали. Завизжали женщины. Заскрипели двери. В сторону улицы распахнулось окно. Кугебай бросился к нему:

— Салима, скорей!

Девушка прыгнула, упала на руки работника, и сбегающие на пожар люди при лунном свете увидели летящего, будто в сказке, сивку и две человеческие тени на его спине.

А шум нарастал. Суетились люди. Гудел набат в пожарном сарае. По двору, как ошалелый, носился Ишмамет, хватая каждого встречного за одежду:

— Где сивка? Где мой конь?!

Спокойный Камалов разозлился на председателя Идельбаевского сельсовета. Многие жители, которым выделили семена, тут же их съели, а землю отдали в аренду баям.

— Значит, и твоя земля у муллы? — приставал к Закиру Камалов.

— До этого никому дела нет! — отвечал тот. — Земля моя. Что хочу, то и делаю с ней!

Камалов расстроился. Бедняки продолжали жить, как и прежде, при баях. К тому же заболел Сагидуллин. Камалов почувствовал себя беспомощным. Теперь он по достоинству оценил своего военкома, свалившегося в горячке после ледяного купания. Председатель волревкома вспомнил, как в первый же день болезни Сагидуллина обрушились на него крикливые солдатки, приходившие за причитавшимся им пособием. Когда работал Сагидуллин, Камалов даже не видел их. А сейчас... При воспоминании о солдатках председатель даже уши закрыл. Нехотя он вернулся в Кулбашево. Какова же была его радость, когда на крыльце волревкома он увидел Сагидуллина.

— Ты встал? Выздоровел?! — воскликнул он и даже обнял военкома. — Ну как себя чувствуешь?

— Одной рукой подкову разогну, — пошутил Сагидуллин. Он и сам был доволен, что так быстро поднялся с постели.

Товарищи решили отметить его выздоровление вечеринкой. Собралось человек тридцать дружинников и сотрудников Совета. Редко выпадал на их долю досуг, и они веселились от души. От пляски дрожал дом, заливалась тальянка. Пили чай, произносили тосты. Жена одного сотрудника спела старинную народную песню «Зияйлык». И снова плясали. Камалов отошел к окну, чтобы не мешать, и хлопал ладонями в такт музыке. Сам он не умел ни петь, ни плясать. Вышел Сагидуллин, приготовился к танцу, стараясь уловить такт, и уже было взмахнул руками, когда, заглушая тальянку, раздался выстрел и со звоном разлетелось разбитое стекло. После второго выстрела Сагидуллин бросился к лампе, чтобы ее погасить. Люди кинулись к окну. Но непроглядной стеной стояла черная апрельская ночь. Где-то рядом раздался стон, а затем — голос Камалова:

— Сагидуллин, меня в руку ранили. Перевяжи, пожалуйста!

Камалова отвели в его кабинет. Часть дружинников бро-

силась прочесывать улицу, другие окружили раненого и не уходили от него до утра.

Ночное происшествие осталось нераскрытым. Виновники не были найдены. В такую ночь в двух шагах не различишь человека. Но меры приняли: повесили на окнах занавески, приказали часовому обходить дом. Рана Камалова оказалась легкой и быстро зажила. Неприятный случай вскоре забылся. Только теперь по вечерам не приходилось открывать окно, чтоб насладиться красотой летней ночи.

А жизнь в волости текла своим чередом. Вставала заря, нарождался день. Открывался дом волостного Совета, принимая самых различных посетителей. Сюда приходили молодые пары, чтобы оформить брак, приносили зарегистрировать новорожденных, здесь выдавали метрики на умерших.

Вот с шумом и грохотом ввалилась в приемную пара средних лет. Муж угрюмо смотрит на вцепившуюся в него жену, та брызжет слюной, требуя:

— Мне нужен старшина! Я скажу только старшине!

— Не старшина, тетка, а председатель,— поправляет ее писарь Хайри.— С чем вы пришли?

— Ты, стало быть, писарь? Тогда я тебе расскажу! — снисходительно говорит посетительница.— Вот мой муж. Вернее, тот, кто называется моим мужем. Что хотите делайте, только заберите его от меня! Каждый день напивается и дерется! Я хочу развод, а он не дает развода!

Хайри приходится сталкиваться с разными людьми, выслушивать всевозможные просьбы. Одни умоляют, другие кричат. Он спокойно спросил у женщины:

— Сколько лет живете вместе?

— Восемь лет уже, туган,— ответила женщина. Тон вопроса удивил ее, она остыла.

— Восемь лет живете вместе и до сих пор не изучили друг друга? — начинает увещевать писарь.— Ты, дядя, если еще раз поднимешь руку на жену, ответишь по закону. В тюрьму посадим. Посидишь там недельку, поймешь, что женщин надо уважать... А ты, тетушка, будь поласковее с мужем, хоть иногда ему уступай. Вот и придет к вам мир.

— Не-ет, браток! От тебя толку не добьешься. Говорят, сейчас власть на стороне женщин. Старшину давай!

Хайри ничего не остается, как впустить их к Камалову. Пока писарь занимался с другими посетителями, супружеская чета вышла от председателя. Мужчина, склонившись к столу писаря, шепнул ему на ухо:

— Дружок, скажи честно: верно, что женщины теперь будут общими?

Секретарь подавил невольную улыбку и серьезно ответил:

— Так никогда не будет, дядя, поверьте. Слухи распространяют враги Советской власти, баи и муллы.

Мужчина смущенно взял жену под руку, они ушли. Секретарь с теплой улыбкой подумал о Камалове: «Помирил-таки их!» Приходили за пособием солдаты, шумели. Которые помоложе, строили глазки, подмигивали, дразняще потряхивали косами, в которых звенели мониста. Секретарь иногда поддавался чарам и не в силах был оторвать взгляда от глаз, сулящих неземные радости... С трудом одолевая себя, он опускал голову к бумагам и твердил: «Нельзя думать о таких вещах. Занимайся делом. А в четверг вернешься в свой аул — увидишь Фатиму. Она скучает и, наверное, ждет тебя — не дождется!»

19

Что говорить о маленькой волости, когда по всей стране перед советскими работниками возникали немалые трудности.

На железных дорогах, в депо вверх колесами лежали мертвые паровозы. Не дымили высокие заводские трубы, остыли котлы и молчали станки. В помещениях заброшенных фабрик селились дикие голуби. После Брестского соглашения о мире на некоторых заводах начались восстановительные работы, но голод демобилизовал рабочих. Иные предавались унынию. Ленин написал письмо питерским рабочим, говоря, что вся надежда на них, что «...надо организовать великий *«крестовый поход»* против спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников, великий *«крестовый поход»* против нарушителей строжайшего государственного порядка в деле сбора, подвоза и распределения хлеба для людей и хлеба для машин...»

Рабочие голодали, а кулаки и зажиточные крестьяне прятали хлеб. Привозили его в город и продавали по двести рублей за полмешка. Вдобавок приравненный Лениным к Тильзитскому соглашению Брестский мир, заключенный на кабальных условиях, лишал страну богатых хлебных губерний, отданных оккупантам.

В такую тяжелую пору необходимо было национализировать промышленность, поднять ее на ноги, организовать в хозяйстве строжайший учет и контроль, перейти от конт-

рибуции к имущественному и подоходному налогу, централизовать управление хозяйством, укрепив этим советский аппарат. Централизация — это была самая главная задача. Но какую работу ни ведем, какие меры ни принимаем — впереди неотвратимым ужасом вставал голод. Вместе с кулаками трудности первой поры использовали для контрреволюционной борьбы меньшевики и эсеры. Они выступали против государственной монополии и твердых цен на хлеб. В городах и селах, во всех уголках России злобещей тенью вставала контрреволюция с бомбой за пазухой, с черной агитацией против большевиков. В трудных, очень трудных условиях приходилось работать...

Аул Сабашево — один из самых хлебных в Кулбашевской волости. Многие кулаки держали десятки необмолоченных стогов. Да и у менее зажиточных людей аула был хлеб. Лишь у «потомственных» бедняков не имелось его ни в стогах, ни в тайных закромах. Жители аула хорошо знали, у кого сколько хлеба и где он запрятан, но молчали. Многие продотряды приезжали сюда из волости и возвращались ни с чем. Был не один приказ обмолотить стога, но они стояли по-прежнему. Когда сабашевцев вызывали в волость, все они отвечали:

— Лишнего хлебушка нет, родимые! Вряд ли до нового урожая дотянем!

И в то же время на городском базаре дружинники не раз составляли акты на сабашевских жителей, тайком продававших хлеб по завышенным ценам. В уезде, как черви в гнилье, копошились спекулянты. Не только в уездном городке, но и в губернском, на дальних железнодорожных станциях можно было встретить мешочников из Кулбашевской, Тураевской, Ново-Петровской волостей.

Камалов получил от Чернявского секретное письмо. В нем говорилось: «Ваше Сабашево — хлебное село. По слухам, только необмолоченных стогов там больше сорока. Сабашевские богачи — самые матерые в уезде. В чем дело, товарищ Камалов? Почему допускаете такое? Сам проверь факты! В течение недели в Сабашево не должно остаться ни одного лишнего пуда зерна!»

Камалова задело это письмо. Выходило, что Чернявский лучше осведомлен о происходящем в его волости, потребовалась специальная директива для выполнения рядового дела!

Камалов вызвал продкомиссара и дал ему нагоняй. Считавшийся невозмутимым человеком, председатель ревкома го-

рячился, как мальчишка, размахивая перед ним письмом Чернявского:

— Ты хоть бывал в Сабашево? А кто же туда ездил? Хафизов? Немедленно вызови его ко мне!

К приходу Хафизова Камалов успокоился. Даже встретил его приветливой улыбкой:

— Вот что, товарищ Хафизов! Говорят, в Сабашево имеются излишки хлеба. Ты там бывал. Да и вообще — понимаешь, как обстоят дела. Хлеб в снопах нужно обмолотить.

— Товарищ Камалов... позвольте назвать вас Ахмет-агай! Мы неоднократно производили там обыски, но ничего не нашли. Что же касается небольших стогов со снопами, то верно, есть они у двух-трех человек. Но мы решили пока их не трогать.

— Почему?

— Может, для волости понадобятся. Или, скажем, для кого-нибудь из дружинников...

— Тебе придется снова поехать в Сабашево, — сказал Камалов, — и приказать, чтоб обмолотили снопы. А у наиболее подозрительных людей снова произвести обыск.

Камалову довольно часто приходилось встречаться с Хафизовым, но он как-то не присматривался к нему. Невысокий, полный, с припухшим красным лицом, с торчащими в стороны желтыми усиками, заискивающе улыбаясь, Хафизов подобострастно и преданно смотрел на Камалова. Председатель ревкома поморщился и отвернулся. Хафизов сделал вид, что не заметил его гримасу. Впрочем, и многие другие относились к нему так же. Можно было подумать, что ему с молоком матери дана угодливая улыбочка и готовность выполнить все, что ни прикажет начальство: прыгнуть в огонь или в воду — безразлично.

«Подхалим!» — с презрением подумал Камалов, а вслух сказал:

— Иди, товарищ Хафизов! Выполняй задание!

— Будет сделано, товарищ Камалов! — с готовностью отозвался тот.

А к ночи восемь дружинников во главе с Камаловым нагрянули в Сабашево. Узнав, что Хафизов сидит у бая Самигуллы, Камалов обратился к секретарю:

— Хайри! Ты с дружинниками начинай обыск. Возьмите с собою также председателя сельсовета. А я с двумя товарищами пойду к Хафизову.

Писарь Хайри, став начальником отряда, посерьезнел,

хотя всего полчаса назад, по дороге в аул, шалил, как мальчишка, приставая с озорными, неприличными для взрослого человека шутками к дружинникам. На приказ Камалова он громко отозвался:

— Есть, Ахмет-агай!

Камалов вошел в дом Самигуллы незамеченным. Гости бая уже так напились, что языком не ворочали. Внезапное появление Камалова было для них как гром с ясного неба. Больше всех растерялся Хафизов, — теперь у него и уши покраснели. Самигулла-бай был трезвее других, но и он испугался, лепеча:

— Добро пожаловать, товарищ Камалов! Прошу к столу. А то вот комиссара едва уговорили, никак не соглашался. Может, отведаешь моей бражки?

Камалов бросил на Хафизова уничтожающий взгляд.

— Вот как вы выполняете порученное дело! — воскликнул он, выражая этим переходом с «ты» на «вы» крайнюю степень негодования. Камалов кивнул дружинникам: — Взять его! Сдай наган, Хафизов! Вот так... Дальше решим, как поступить с тобой. А пока отведите его в сельсовет и запиrite в сарае.

Дружинники увели Хафизова. Камалов обратился к баю Самигулле:

— А вы, бай, с зарей начинайте обмолот своих стогов.

— Крепко, ай, крепко берешься, начальник, — прошипел Самигулла. — Так и надорваться недолго!

Камалов сурово насупился:

— Не захочешь молотить — другие примем меры.

С утра аул стал походить на разворошенный муравейник. Всюду беготня, галдеж, в домах крики, брань. Сельсовет объявил: «Организуется коллективная работа по обмолоту байских хлебов. Плата за труд — зерном». Валом повалили бедняки. На токах застучали цепа, были пущены в ход байские молотилки. Задавали тон дружинники. Камалов и на другой день остался в Сабашево, только съездил по делам в соседний аул. Тщательный обыск принес тысячи пудов хлеба. Мешки с рожью и пшеницей находили в самых неожиданных местах. Хозяева обнаруженных тайников, видя, как уходит добро, темнели с лица, но молчали. Это были те кулаки, о которых сказано Лениным, что они «самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры», те «мироеды», которые, спекулируя хлебом в трудное для страны время, получали неслыханные барыши. Встречались здесь и середняки, не пользовавшиеся трудом батраков, и

просто зажиточные крестьяне, но жажда наживы и их превратила в «стяжателей», недалеко ушедших от закоренелых кулаков.

...Заскрипели, потянулись по дорогам в сторону города сотни подвод, нагруженных мешками. Из одного Сабашево было вывезено двадцать пять тысяч пудов хлеба. Оживились дела и в других селах Кулбашевской волости.

Несколько удачных операций провел Сагидуллин. Он объяснял народу цели установления государственной монополии на хлеб, сообщал, какие будут взиматься налоги, рассказывал, что вместо обесцененных «керенок» выпускаются новые советские деньги.

Медлительный, спокойный, хладнокровный Камалов — и тот изменился в эти дни, стал часто выезжать в аулы. Все баи, муллы и хлебные спекулянты трепетали при одном его виде.

20

В Кулбашево прискакал нарочный. Он протянул Камалову приказ Чернявского — немедленно явиться в уездный ревком. Вызывались работники ревкомов и из остальных волостей.

Из Кулбашево должны были приехать Камалов и Сагидуллин. Чернявский собирался поручить Сагидуллину новое, более ответственное дело в уезде.

В просторном кабинете Чернявского собрались все председатели волревкомов и другие коммунисты. Кулбашевские руководители подоспели как раз к открытию совещания. Чернявский усадил их недалеко от себя, как бы в знак особого к ним расположения. Этому никто не удивился. Камалов и Сагидуллин считались самыми авторитетными работниками уезда. Чернявский тихо и неторопливо заговорил:

— Товарищи! Сегодня мы собрались не на обычное заседание. Долго засиживаться не будем. Хочу сообщить вам невеселую весть...

Люди затаили дыхание. Было слышно, как билась в стекло и жужжала муха. Приглушенный голос Чернявского, два часовых в дверях в полной форме придавали обстановке тревожную торжественность.

Чернявский продолжал:

— Товарищи! Екатеринбург в руках белых чехословаков. Они приближаются. Возможно, скоро и нам придется эвакуироваться. Не должно быть никакой паники. Дисциплина!

Железная дисциплина! Надо усилить дружины. Если мы и уйдем, то ненадолго! Необходимо сгруппировать актив, хорошо поработать среди бедняков. И самое главное — успеть вывезти собранный хлеб в Самару.

Да, весть была невеселая. В кабинете сидели большей частью бывшие фронтовики. Войну они испытали на своей шкуре и хорошо знали, что такое эвакуация, какой это удар для Советов. Кроме того, у каждого есть своя личная жизнь, семья. О чем задумались приглашенные? Как они отнеслись к нерадостному сообщению? Нет ли среди них слабых или продажных душ?.. Чернявский переводил взгляд с одного лица на другое. Но ни на одном не заметил уныния или страха.

Председатель заговорил о предстоящей борьбе.

— Без схваток с врагом, без жестокой битвы не удастся нам обеспечить мирное социалистическое строительство. Ничего не поделаешь — свобода не дается без жертв. Вот что сказал Ленин:

«Вы знаете, что у нас в России положение теперь, в связи с чехословацким контрреволюционным мятежом, отрезавшим от нас Сибирь, в связи с постоянным возмущением на юге, в связи с войной, особенно тяжело, но понятно, что, чем труднее положение страны, на которую надвигается голод, тем более решительны, тем более тверды должны быть наши меры борьбы с этим голодом». Он произнес эти слова недавно, 27 июня, в докладе на профсоюзной конференции.

Поднялся с места Сагидуллин.

— Мы не пожалеем свои жизни в борьбе за революцию! Пусть партия знает, что мы коммунистами не только числимся на бумаге! Идеи коммунизма, как кровь, питают наши сердца!

Он хотел говорить спокойно, так же, как Чернявский, но не сумел. Его слова зазвенели, как бы ударяясь о большой гулкий колокол. После Сагидуллина взяли слово еще несколько человек. Чернявский, слушая выступавших и наблюдая за их лицами, еще раз убеждался, что такие люди никогда не предадут. Они гордо и смело смотрели в лицо будущему.

21

— Не испытавший в молодости таких минут человек должен считать себя несчастливym,— сказал Сагидуллин.

Он сидел с Галиной на скалистом обрыве холма, об-

росшего вековыми деревьями. Отсюда открывался живописный вид на Белую, освещенную яркой луной. Город остался за спиной, отделенный от них густым лесом. Смутно белели среди столетних дубов березы. Серебрились их листья при лунном свете и шевелились, как живые, с неясным лепетом и шепотом. Казалось, стоит напрячь слух, и услышишь, о чем разговаривают деревья. А они о многом могли бы рассказать, глубоко вросшие в землю дубы и спокойные мудрые березы. Какие только ветры не оведали их, какие только песни не доносились к ним.

Галине и Сагидуллину казалось, что они остались наедине друг с другом. Но в эту теплую ночь начала лета было много свидетелей их зарождающейся любви. Не без причины шелестели листья деревьев — они все дальше и дальше передавали весть о том, что еще два человека нашли свое счастье. Каждое слово молодых людей впитывали в себя цветы, возвращая их миру в нежном аромате. А луна? Не потому ли она выходит только по ночам, чтобы вести дальше тысячелетнюю летопись любви? Если бы она обладала даром речи, то могла бы поведать удивительные истории, перед которыми померкли бы сказки «Тысячи и одной ночи».

Узкой тропинкой Галина и Гиндулла спустились по обрыву вниз. Здесь было прохладнее, чем наверху. На дне оврага, рассекавшего гору надвое, в беспорядке разбросаны большие гладкие камни. Прыгая с камня на камень, бежал студеный ручеек. Незатейлива и прозрачна его песенка. В ней слышатся то голоса девушек, приходивших сюда за водой, то плач ребенка, который играл у родника и нечаянно ушибся.

Доносился близкий шорох волн, набегавших на песчаный берег. Внезапно запел соловей. К нему присоединились второй, третий. Это соловьиное трио звучало так необычно, что молодая пара остановилась, замерла...

Галина стояла перед самой серебряной гладью реки Белой. Сагидуллин любовался девушкой. У него вдруг возникло неодолимое желание поднять ее на руки, жадно целуя в губы, лицо, волосы. Но он сказал себе: «Не смей прикасаться, только смотри, смотри и сохрани в сердце...» И все же не в его воле было одолеть великий зов природы, той всемогущей природы, которая сумела подарить им и эту прекрасную летнюю ночь...

Начинало светать. На восточном склоне неба в пепельно-серый цвет вплелась алая нитка зари. Утро вернуло Галину

и Гиндуллу из мира любви в мир действительности. Галина зябко поежилась. Гиндулла накинул на ее плечи шинель. Девушка не смела поднять взгляда от смущения и счастья.

По уже знакомой тропинке они поднялись на лесистый обрыв...

Когда Сагидуллин вернулся, Камалов протер заспанные глаза и недоуменно уставился на товарища. Но что-то сообразил и лукаво засмеялся:

— Так-так, товарищ военком!.. Грешить начал на старости лет?

Сагидуллин с тревогой глянул на Камалова. В голове промелькнуло: «Уж не подглядывал ли этот постник?»

Но Камалов перешел к делам.

— Я скоро уезжаю,— сказал он.— А ты останешься. Сегодня вечером будет проведена серьезная операция. Чернявский объяснит. Короче говоря, должны сделать налет на монастырь. Контрреволюция!

— Знаю,— махнул рукой Сагидуллин.— Только не пойму, почему я должен оставаться здесь? Разве мало у меня дел в Кулбашево?

— Ведь ненадолго. Через три-четыре дня вернешься. Почему бы не помочь здешнему ревкому? Чернявский смотрит на тебя как на умелого разведчика. И я такого же мнения.

Камалов натянул одеяло, зевнул.

— Посплю-ка еще часок,— пробурчал он и отвернулся к стене.

Сагидуллин разделся, но как ни старался, не мог заснуть... Затем встал, оделся и вышел на улицу...

22

«Далай-лама повесился»,— эта весть с быстротой молнии облетела весь город. Дом старухи Платоники, стоявший на окраине окнами в поле, окружили обыватели, охочие до сенсаций.

— Что случилось?

— Говорят тебе, художник Верхов повесился!

— Какой художник? Неужто Далай-лама?

— Он самый.

— Ай, бедняжка!

— Нашли кого жалеть! Был бы стоящий человек!

— Не зря говорят, что собаке собачья смерть!

— В общем, подох...

— Не пристало так говорить о покойниках!

— Охо-хо, господи боже!

Самые пронырливые побывали уже в подвале, где жил Верхов.

— Записку оставил, что, мол, повесился в отместку большевикам,— переговаривались в толпе.

Появились три красногвардейца, заперли подвал. Но люди не расходились.

— Боятся показать!

— Раз сами виноваты...

— И для них наступит такой день!

В кабинет председателя ревкома Чернявского вошли незнакомые девушка и вооруженный дружинник.

— Кто вы? — спросил Чернявский.

Дружинник, переступая с ноги на ногу и поправляя на поясе патронташ, не знал, с чего начать.

— Я — мариец, а она...

Парень замолк, недоверчиво взглянув на присутствующих в кабинете людей.

— Товарищи, оставьте нас втроем,— попросил Чернявский.

Когда они вышли, парень начал рассказывать:

— Мы с ней из деревни убежали...

Это были Кугебай и Салима. Чернявский незаметно, но с любопытством поглядывал на них. У парня худощавое, обветренное лицо, брови насуплены, между ними пролегла упрямая складка... У миловидной девушки чуточку раскосые черные глаза смотрят доверчиво и прямо.

— Ты, дочка, башкирка, да, угадал я? — обратился к ней Чернявский.— Ну рассказывай, как вы очутились у Верховца?

Неожиданно для Чернявского девушка оказалась смелее своего друга. Она говорила неторопливо, как бы вслушиваясь в собственные слова. Лишь высоко вздымавшаяся грудь выдавала волнение.

После того, как Кугебай записался в дружинники, а она начала работать в столовой, они отправились на окраину города искать подешевле квартиру. Переходя от дома к дому, встретились с Далай-ламой.

— Он как репей прицепился к Кугебаю. Сказал, что у него есть свободная комната, живите, мол, в ней. И платы никакой не надо. Вместо платы, мол, я буду писать с него кар-

тину,— девушка показала на Кугебая.— Мы согласились. Старик очень полюбил нас. Он ставил перед собой Кугебая с винтовкой и красками рисовал его на холщовом лоскуте.

Чернявский оживился:

— А этот холст сохранился? Где он?

— Там же, в комнате. Вчера мы на ночь ушли из дома. Кугебаю надо было на караул. А я заночевала в столовой. Старик остался в комнате с каким-то долговязым чернявым татаринном.

— Кто он?

— Не знаю. Лупоглазый такой, с длинными усами. Они, кажется, выпивали.

Чернявский поручил Сагидуллину и Владимиру Вольфу разобраться в этой таинственной истории с самоубийством художника. Гинди и Владимир, взяв с собой Кугебая и Салиму, вошли в темную комнату художника. В ней стоял тяжелый тошнотворный запах. Художника еще не вынули из петли. Вошедшие в комнату в первую очередь увидели его свесившуюся набок голову и длинную шею, тонкую, как сама веревка, из которой была сделана петля. Из кармана заплятанного жилета выглядывал клочок бумаги. Сагидуллин вынул ее, прочитал и протянул Владимиру. На бумаге крупно было написано: «Не в силах вынести власть большевиков, по собственной воле отдаю свою душу богу».

— Как думаешь, Сагидуллин,— спросил Владимир,— могли поступить так человек, который именно с нашей стороны встретил внимание и заботу?

— Я тоже не верю этой записке, Володя. Мне кажется, совершенно преступление. Он не покончил самоубийством. И записку, по-видимому, не он написал...

— Пожалуй, так и есть.

Кугебай и Салима, бледные от ужаса, застыли в дверях. Пришел врач. Гинди и Владимир сняли одеревенелый труп художника и положили на пол. Врач занялся своим делом. Владимир отошел к стене, где вместо шторы висела белая грязная тряпка, отдернул ее и обомлел: прямо на него, наставив в упор винтовку, бежал красногвардеец в папахе с красной ленточкой. Рот у него был раскрыт в безмолвном крике. Сверху крупными буквами написано: «Бей буржуазию!»

Марийский парень, до сих пор стоявший без движения на пороге, всем телом подался вперед и впился глазами в картину. Гинди и Владимир посмотрели на него, перевели взгляд на холст и снова недоуменно уставились на парня. Красно-

гвардеец с картины и дружинник, стоявший у двери, были похожи как две капли воды.

Владимир принялся осматривать вещи покойного. Изучал каждый клочок бумаги, пытаюсь установить почерк художника, осмотрел неприбранную постель с грязным одеялом и засаленной подушкой, стал перебирать книги в шкафу.

— Какие отличные книги! — восхищенно заметил он. — Вот Роттердамский, Сервантес... Тут и «Божественная комедия»... Вальтер Скотт, «Война и мир», «Воскресение», — эге, чего только здесь нет, браток! Обязательно передадим нашей ревкомовской библиотеке.

В ящике стола обнаружили общую тетрадь в кожаном переплете.

— Дневник! — воскликнул Владимир, переворачивая страницы. — О, да тут и вчерашняя запись! Послушай, Сагидуллин!

«Сегодня закончил картину с изображением красного дружинника. Для натуры нашелся замечательный марийский паренек. Он батрачил у богатого муллы в одной башкирской деревне. Его любимую девушку хотели выдать замуж за старика. Он совершил поджог и с подругой бежал в город. Я встретил их на улице. Они искали квартиру. Оба такие красивые, сильные — через край плещет душевное и физическое здоровье. Когда они поселились у меня, я ощутил небывало приподнятое настроение!.. Иногда ночами я не спал и слушал, как они разговаривают, тихо и счастливо смеются. Я не завидовал и не жалел своей жизни, проведенной в бескрайнем одиночестве, — от души радовался их счастью. Теперь вот этот парень бежит с винтовкой в руках и без промаха палит в тех, кто стоит на пути к свободе. Картина мне самому понравилась, такой я и видел ее в собственном воображении... А Чернявский, Алексей Иванович, замечательный человек!.. Новые люди поднимаются в России!»

Владимир с Сагидуллиным переглянулись и направились к двери. На улице матрос сказал Гиндулле:

— В двух километрах отсюда в степи стоит хутор. Он остался еще от столыпинских времен. Люди говорят, что художник в последнее время не однажды туда заходил... Давай сходим, может, ухватимся за какую-нибудь ниточку.

После сырого полутемного подвала легко дышалось в открытой степи, но мысли о смерти художника заслоняли ее красоту. После долгого молчания Сагидуллин спросил:

— Покойный, кажется, был больным.

Владимир тяжело вздохнул.

— Да, у него была распространенная болезнь — запой...

— А почему его прозвали Далай-ламой?

— Кличку дали злые языки. Он был сослан сюда после событий 1905 года. Устроился чертежником в реальное училище. Любил рассказывать реалистам о своем путешествии на Кавказ, в Тибет. Как-то в разговоре коснулся буддийских и брахманских верований, описал обычаи народа, рассказал о далай-ламах, монахах-священниках, почитаемых наравне с богом. Он стремился поделиться своими знаниями, расширить кругозор учащихся. А реалисты прозвали его Далай-лама. Кличка сразу прижилась. Горожане с первых дней враждебно отнеслись к ссыльному. Он ведь предпочитал одиночество, не стремился угождать начальству — а таких, сам знаешь, не любят. Тем более в нашем городе.

— Да и не только в нашем,— задумчиво откликнулся Сагидуллин.— Впрочем, когда я жил на Урале, среди рабочих, там все было иначе.

— Хорошие люди и у нас встречаются. Но не часто. Как жемчужина в грудe раковин. А сколько здесь лживых, двуличных, ограниченных людишек. И вот слабые люди, не видя вокруг себя ничего светлого, не выдерживают, кончают с собой или подхватывают, как говорит мой отец, «питейную болезнь».

Сагидуллин прервал товарища:

— Не преувеличиваешь ли ты, Володя? Откуда такой мрачный взгляд. От горечи один шаг до неверия...

— Горечь нам с отцом довелось испытать полной мерой, так что не удивляйся. Но в неверии не упрекай. В наше дело я свято верю. Поверил еще тогда, когда в Петрограде на Финляндском вокзале слушал Ленина.

— Ну-у, ты видел его?

— О-о, брат, от его слов у меня сердце готово было выпрыгнуть из груди, чтобы для одних стать светильником, а для других...

Открывшаяся степь сверканием зелени и гомоном птиц приветствовала солнечное утро. В самую синь взмывали жаворонки. В березовой роще на берегу Белой кому-то гадала кукушка. Над полевыми неподвижными цветами порхали живые цветы — желтые, белые, пурпурные бабочки. Все вокруг радовалось жизни и воспевало ее.

— Жаль Аркадия Петровича,— сказал Владимир, срывая цветок.— Он часто приходил к нам. Кроме нас, пожалуй, у него никого не было. Чувствовал, где тепло,— туда и шел.

— Да, отец действительно и чуткий, и стойкий человек.

Столько вынес невзгод и не потерял веру в жизнь. Но теперь я за него спокоен: старик дождался-таки своего, бежит, хлопчет, создает пролетарский духовой оркестр!

Хутор состоял из единственного шестистенного дома с каменным амбаром, за ним виднелись вместительный хлев и большой фруктовый сад. Все это было обнесено забором из высоких жердей, а перед самым домом высилась зеленая металлическая решетка. Ворота тесовые с навесом и калиткой. Из-под них с лаем выскочили два здоровенных пса. Появился мальчик лет тринадцати-четырнадцати.

Сагидуллин спросил по-татарски:

— Отец дома?

— Нет!

— Кто же есть, кроме тебя?

— Тетя,— ответил мальчик и крикнул в калитку: — Рауза-апа! Выйди сюда!

На крыльце показалась чернобровая женщина средних лет, в платке и темном платье. Сагидуллин пристально посмотрел на нее. Казалось, что он уже где-то видел эти молодо блестящие глаза. Сагидуллин взял мальчика за плечо и быстро вошел во двор, подталкивая его перед собой.

— Где хозяин? — строго спросил женщину.

Она не ответила. Сагидуллин подошел ближе и повторил вопрос.

— Я глухая, ничего не слышу,— показала на уши женщина. Голос у нее тоже был вроде бы знакомый, но где он эту женщину видел и слышал — никак не мог вспомнить...

— Что разговаривать с глухой? — развел руками Владимир.

— Да, жалко, что никого в доме нет,— недовольно буркнул Сагидуллин.— Хозяина бы повидать...

На полпути к городу Сагидуллин вдруг остановился.

— Вспомнил! — крикнул он, хватая Володю за рукав.— Это лазутчица, которую я поймал в нашей волости.

Владимир оторопел. Сагидуллин рассказал ему историю со старухой. Слушатель недоверчиво покачал головой:

— Возможно, ты ошибся,— сказал он,— эта же глухая...

— Нет, она слышала больше, чем следует. Но... впрочем, черт ее знает!..

Возле дома Платоники все еще торчали любопытные. Сагидуллин раздраженно крикнул им:

— Разойдитесь, товарищи! Нечего вам здесь делать.

Обыватели неохотно стали расходиться, оглядываясь и бросая — одни с досадой, другие со злобой:

- А что, вам жалко, если постоим?
- Мы же никого не трогаем!
- Ишь какой «товарищ» нашелся...

23

Сагидуллин и Кугебай Азаматов ввели его в одну из комнат ревкома и усадили за стол. Затем Кугебай с винтовкой встал в дверях. На столе горела пятилинейная лампа. Комната заполнилась тенями трех людей и стала вроде бы еще теснее. Одна из теней напоминала птицу, изготовившуюся к полету. От сидящего на стуле человека на стену падала тень, похожая и на копну сена, и на могильный холм. У этого человека было широкое и круглое, как поднос, лицо, над жирными губами топорщились франтоватые черные усики. Он держался невозмутимо, что выводило из себя Сагидуллина:

— Зачем повесил художника Верхова? По чьему велению?

Арестованный изобразил невинную улыбку, обнажая крупные желтые зубы:

— Зря пристали к человеку, товарищ комиссар. За мной нет никакой вины.

Сагидуллин достал из стола бумагу, начал записывать.

— Имя, фамилия?

Арестованный обиженно насупился, как бы давая понять, что его оскорбляет подобное подозрение.

— Зовут Жандар Шаяхмет. Фамилия Хазиахметов — если вам это нужно.

— Профессия?

— Как говорите?

— Чем занимаешься, спрашиваю! То есть кто ты — спекулянт, вор или бывший жандарм? Почему тебя прозвали Жандар?

— А-а, вот вы про что! Я вышибалой служил, туган. В публичном доме... Как закрыли его, так нигде пока не работаю. Все хотел спросить, не возьмете ли вы меня к себе дружинником... А Жандаром прозвали потому, что около нас жил один жандарм, внешностью очень похожий на меня. В прошлом году его зарезали. Старик Бикбердеев, торговец мануфактурой, приревновал его к своей молодой жене, ну и ткнул ножиком. Вы не знаете Бикбердеева? Вот у кого жена так жена! Такую поискать...

— Ты мне зубы не заговаривай! Отвечай на вопрос: почему повесил художника? Кто приказал убить его?

— Што вы, комиссар! Я за свою жизнь мухи не обидел!

Сагидуллин побагровел. Вплотную подошел к Шаяхмету.

— А вечером что ты делал у него? Зачем приходил?

— Э-э, туган, кто к кому не ходит...

Рука Сагидуллина скользнула к кобуре. Шаяхмет переменился в лице.

— Прикажи выйти солдату, комиссар. Слово одно надобно сказать.

Сагидуллин кивком головы попросил Кугебая оставить комнату. Мариец ушел. Шаяхмет одну руку положил на стол, другой уперся в колено. Голова его сразу ввалилась в плечи.

— Теперь я скажу,— скривил он губы в усмешку, больше походившую на нервную гримасу.

— Действительно, повесил его я. Спиртом напоил, а потом...— Он провел рукой вокруг шеи и торжествующе сверкнул полузакрытыми глазами: — Теперь весь город говорит о том, что его погубили вы, большевики!

Шаяхмет поднялся с места, ухватился за стол, подаваясь грудью вперед и нагло продолжая:

— Ты, комиссар, лучше отпусти меня. Свидетелей у тебя нет! А просто так расстрелять — не имеешь права. Я собираюсь еще долго жить на этом свете. Хочу еще увидеть, как будут украшены вами телеграфные столбы в городе.

Чувствуя, как ему казалось, бессилие комиссара, свою полную неуязвимость, он держался свободно, снова уселся поудобнее на стуле, приняв прежний вид незаслуженно обиженного человека. Но за поблэдневшим лицом, как за стенкой печи огонь, клокотала у него ненависть. Независимым тоном, какого он придерживался с самого начала допроса, он сказал:

— Отпусти меня, комиссар. Все равно, если не ты, так другие отпустят. Ведь нет ни улик, ни свидетелей. Ничего не сделаете. А меня весь город знает, и еще как! Хочешь, дам тебе денег? Их у меня много... Впрочем, ваша братия на золото не падка...

Сагидуллин не выдержал.

— На, сволочь!

Вбежавший на выстрел Кугебай увидел корчившегося на полу бывшего вышибалу публичного дома. Он катался, ревя и сшибая стулья, потом дернулся и затих...

— Это не подвиг, товарищ Сагидуллин! — сказал ему Чернявский на другой день.

Комиссар слушал молча, отмечая про себя, как осунулся за последнее время председатель уревкома. Под упитанными прежде щеками проступили скулы, исчез второй подбородок, оставив болтавшуюся сморщенную кожу, в голосе сквозила усталость, покраснели от бессонных ночей глаза. Заложив руки за спину, Чернявский вяло, как отощавший гусак, расхаживал по комнате.

Сагидуллин оправдывался:

— Товарищ Чернявский, не ругайте меня за то, что пристрелил собаку!

Председатель остановился перед ним, продолжая сердиться:

— Мы не шайка каких-нибудь бандитов, чтобы расстреливать людей как угодно и где угодно! У нас имеется ревтрибунал!

— Если нужно, оформлю дело и отнесу в ревтрибунал. Красногвардеец Азаматов слышал и может подтвердить все его слова.

Сагидуллин чувствовал свою вину и понимал, как беспомощны его доводы.

— Ну вот, нашел выход! — сказал Чернявский, вышагивая по кабинету, потом добавил: — А я хотел перевести тебя в городскую разведку. Но выходит, парень, у тебя гайка слабовата!

Сагидуллин молчал. Председатель ревкома сел за свой стол и, уже мягче, произнес:

— Возвращайся в Кулбашево. Закончите вывозку хлеба, тогда решим, что делать дальше.

Петр Самбуров, под руководством которого отряд дружинников должен был произвести обыск в монастыре, явился к Чернявскому доложить о результатах.

За окнами светало, но Чернявский еще не ложился спать. Слушая Самбурова, он продолжал писать.

— Так что, товарищ Чернявский, в монастыре не обнаружено никакого оружия! — закончил свой рапорт Самбуров.

Алексей Иванович поднял голову и долго смотрел на своего заместителя. Пожалуй, впервые в его взгляде мелькнуло недоверие к этому человеку. Он тяжело поднялся со стула, разминая затекшие ноги, затем подошел к Самбурову и в упор спросил:

— Как следует обыскали?

— Помилуйте, Алексей Иванович, я говорю как большевик...

Он открыто посмотрел в глаза председателя уревкома, и его взгляд теперь уже не вызвал никаких подозрений. Они долго просидели вместе, обсуждая положение в уезде. Чернявский мысленно отругал себя за то, что с недоверием было отнесся к словам Самбурова. Однако где-то в глубине души осталась тень сомнения...

Собираясь соснуть часок, уже в постели, Чернявский вслух произнес:

— Все же надо быть начеку...

24

Галина проводила Сагидуллина до самой Варны. Когда они выходили из города, солнце поднималось из-за дальних холмов. Дорога вела вниз по широкому сырту, лежавшему между Белой и ее притоком. Взгляду открывался бесконечный простор: березовые рощи, поля, на которых, осыпая желтую пыльцу, колосилась озимая рожь, заливные луга, заросли ольхи и черемухи — в пойме Варны виднелись разбросанные по склонам холмов аулы, напоминавшие пасущиеся стада. А дальше холмистая степь, блистая излучинами рек и блюдечками озер, терялась у горизонта.

Отдохнувший конь Сагидуллина шел резво, готовый пуститься вскачь. Но Гиндулла придерживал его, оттягивая минуту расставанья с Галиной. Усадив ее перед собой в седле, Сагидуллин одной рукой поддерживал поводья, другой — прижавшуюся к нему Галину. Они разговаривали, торопливо перебивая друг друга.

— Чернявский, видимо, верно заметил, что «чего-то во мне не хватает», — критиковал себя Сагидуллин. — Да и Камалов об этом же самом говорил... Кругозора не хватает, что ли? Я ведь, Галя, не мог толком учиться. Исключительно самообразование... Учился, как Максим Горький. Помнишь, как он об этом писал?..

— Я как-то больше сначала Тургеневым увлекалась, потом — Толстым...

— Ой, Галина, Горького надо знать! «Старуха Изергиль», «Коновалов», «Фома Гордеев», «Жизнь Матвея Кожемякина» — перечитай все это. Вот где увидишь человека! Я, бывало, ночи напролет не расставался с ним...

Высоко в небе треугольником пролетали журавли. Острием угла они легко рассекали синь и удалялись, удалялись... Но немного погодя с довольным курлыканьем все семь птиц

снова выступали из синевы. Старики учили летать молодых.

— Вот и лето перевалило за середину,— задумчиво произнес Сагидуллин.— Давно ли переплывал я эту Варну в ледоход...

— Геннадий, сказать тебе...— Галина замялась и опустила глаза.

— Ну, конечно,— склонился над нею Сагидуллин.

— Я в положении, Геннадий...

— Да ну-у! — опешил Гиндулла и резко остановил коня.

— А приходится опять расставаться.

— Не печалься, родная, я, возможно, скоро перееду в город. Или же тебя заберу к себе... Мне все равно, где быть. Лишь бы с тобой... Что бы ни случилось, мы будем вместе!.. Особенно теперь.

Прощаясь, Галина заплакала.

— Что ты, Галя! — успокаивал ее Сагидуллин.— Зачем плакать?

А она, вытирая слезы, говорила:

— Ты не обращай внимания. Я просто очень мнительная. И вообще летом мне всегда не по себе... Делается как-то одиноко и тоскливо... Возможно, я скоро побываю в ваших краях.

— Да, а как ты сейчас доберешься до города? Пешком далеко. Давай-ка, я тебя и обратно отвезу!

— Не надо. Я люблю ходить пешком.

Галина неподвижно стояла, глядя, как удаляется Сагидуллин. Вот он уже скрылся из глаз, и она привстала на цыпочки, чтоб еще раз увидеть его и помахать платком...

«Зачем люди плачут на прощанье?» — думал Сагидуллин, не замечая, что и его глаза полны слез. Он сердито хлестнул коня. И конь понесся галопом, да таким, что военком вынужден был снова натянуть поводья.

Низко, почти над самой головой, с криком пролетел коршун. Сагидуллин еще раз обернулся туда, где уже скрылись за горизонтом дома, Галина, и тепло подумал:

«С какими хорошими людьми встретился я в этом маленьком городке!»

25

Председатель Сабашевского сельсовета Гильманша приехал в волость в канун базарного дня. Он вошел в ревком какой-то подавленный, отозвал Камалова в сторону.

— Поговорить надо, и чтоб никто не слышал...

Они вышли на улицу. За домом протекала маленькая речушка. Гильманша и Камалов спустились к ней.

— Плохи дела, Камалов-туган,— полушепотом произнес Гильманша, хотя поблизости никого не было, лишь в речке плескались утки да на каменистом обрыве противоположного берега две козы щипали траву.

— Перейдем на ту сторону,— предложил Камалов,— и вволю поговорим...

Они перебрались по шатким мосткам через речку, сели на камнях.

— Ну что там у тебя, председатель, рассказывай,— как всегда спокойно спросил Камалов.

— Баи хотят нас уничтожить. Готовят бунт. Завтра собираются приехать на базар. Как бы чего не произошло.

— Откуда ты узнал?

— Идельбаевский мулла на вечернем намазе проповедовал антисоветчину. Предупредил, чтобы в базарный день все были готовы.

На лице Камалова ни один мускул не дрогнул. «И это, мол, все?» — говорил его взгляд. Гильманша приводил новые доводы:

— Ишмамет наш тоже ведет себя подозрительно. Богатеть начал. Зачастил к идельбаевскому мулле. Говорят, тайно жил у него несколько дней сын Ново-Петровского богача офицер Гудов... Чую, надвигается недоброе.

«Сгущает. Видать, трусил бедняжка»,— подумал Камалов, глядя на его унылое, поблекшее лицо. Встретил беспокойный взгляд Гильманши, ожидающий совета.

— Сколько тебе лет? — спросил Камалов.

Председатель сельсовета не сразу ответил на такой вроде бы не относящийся к делу вопрос:

— Сорок пять, а что?

— Наверное, на фронте бывал...

— Два года оттопал на австрийском.

— А баев бояться не надо,— внушительно сказал ему Камалов. На свете, кроме баев, и бедняки есть. Они не позволят баям отобрать то, что дала им Советская власть. Не верится мне, чтобы они выступили против нас. К тому же — ураза¹ сейчас. В народе много верующих. Побоятся греха!

Камалов сорвал травинку, пожевал ее, безмятежно устремив глаза к сияющему голубизной небу. Гильманша встал.

— Я ни капли не верю нашим людям. На двух жителей

¹ У р а з а — пост, во время которого запрещается принимать пищу от утренней до вечерней зари.

один кулак,— сказал он с отчаянием в голосе.— Если мы не предпримем ничего, я не вернусь в аул, в город поеду. На меня давно уже баи зубы точат. Шагу не дают ступить спокойно...

— Хочешь бросить пост и скрыться? — повысил голос Камалов.— Ну ладно, завтра вернется из поездки по аулам Сагидуллин, соберем ревком, посоветуемся. Нельзя быть таким трусом...

Небо оставалось голубым и светлым до тех пор, пока солнце краешком не коснулось земли. А потом его сразу будто охватило пожаром. Пронизанная лучами закатного солнца пыль над возвращающимся стадом клубилась, как зловещий багровый дым. Дневная жара сменилась вечерней прохладой. Закричали во ржи перепела.

— Хороший выдался год — урожай будет,— мечтательно произнес Камалов.

С минарета мечети муэдзин прокричал призыв на молитву.

— Сейчас люди ужинать сядут. А ты соблюдаешь уразу, Гильманша-агай? — спросил Камалов.

— Мне не до уразы,— нехотя ответил председатель сельсовета.— Ты зря меня не слушаешь, надо бы принять какие-либо меры. Верить нельзя. Если поднимутся...

— Если поднимутся — отпор дадим,— закончил председатель волревкома.— Лично я не собираюсь оставлять свой пост и удирать куда-то. Хочешь — оставайся с нами. А коли нет, сам знаешь...

Секретарь Хайри, Рамазанов и Камалов втроем сидели на крыльце. Рамазанов сыпал один анекдот за другим про попов и мулл. Писарь хохотал до слез, в изнеможении хватаясь за живот. Из открытого окна штаба дружины доносилась песня. Пел Андрей Лаптев, подыгрывая себе на гармошке.

Царь Николашка водку лакал,
Гришка Распутин царицу ласкал.

Он пел так увлеченно и самозабвенно, что его можно было принять за пьяного. Вполне возможно, что парень и не вдавался в смысл песни, напевал машинально, думая в это время об оставшейся в деревне невесте. Гармошка в его руках порою замолкала, вздохнув басами, но ненадолго...

А летняя синяя ночь сама просилась в песню. Низко, почти над самым домом опустились крупные звезды. Полыхали зарницы, отражаясь на штыке часового. Звенели сверчки. Перекликались перепела. Ветер играл створкой окна. Запахом парного молока был пропитан воздух.

С крыльца ревкома доносился бубнящий бас Рамазанова, прерываемый взрывом хохота писаря Хайри. Андрей Лаптев, высунув из окна голову, старался расслышать, о чем говорят на крыльце, и тут же снова брался за гармошку. Теперь он, как нарочно, выбирал самые грустные песни, распаляя собственную душу воспоминаниями о любимой девушке.

26

На рассвете постучали в дверь. Камалов и Хайри спали в комнате рядом с кабинетом.

— Хайри, встань, дружок, спроси, кто там, — сквозь сон попросил Камалов.

Секретарь подошел к двери, прислушался, шепотом сообщил:

— Какие-то люди ходят. Кажется, их много.

Камалов быстро натянул брюки, приготовил наган.

— Спроси, кто там и что нужно.

За дверью послышался голос Ишмамета:

— Это я, я! Откройте!

— Открой! — сказал Камалов и положил наган на стол.

В комнату ворвались люди. Кто-то чиркнул спичкой. Кто-то по-русски сказал:

— С добрым утром, товарищ комиссар!

Камалов бросился к столу, где оставил наган, но его оттолкнули, повалили на койку.

— Не двигайся!

— Эй, хозяйева, хоть свечки у вас имеются?

Засветили свечу. Первым, кого увидел Камалов, был Ахмадулла-мулла. За ним стояли баи Салимгарей, Сафа, Закир и еще какие-то чужие люди. Появился офицер. Он подошел к кровати Камалова, учтиво представился:

— Я поручик Гудов! Прошу сдать волостную кассу и ключи!

Камалов не ответил. К нему подскочил Ахмадулла-мулла. Он трясся как в лихорадке, клокотал от ярости.

— Большевик, коммунист, комиссар! — прохрипел он. — Собака, дьявольское отродье! Задушу тебя!

— Я вам ничего не скажу. Я могу дать ответ только перед народом, — спокойно проговорил Камалов.

Офицер вынул маузер. Мулла ухватил его за руку:

— Нет! Дайте, я сам!

Он выхватил из-за голенища узкий длинный нож. Замахнулся и вонзил его прямо в сердце Камалова. Пытаясь

защититься, тот выставил вперед обе руки. Он так и упал в постель с протянутыми руками. Мулла выдернул нож, выжидающе посмотрел на жертву. И еще раз ударил им залитого кровью и уже мертвого Камалова, потом кинулся на него и принялся душить холодеющее тело, исступленно выкрикивая:

— Вот тебе... Контрибуция... Вот тебе хлеб! Горло перегрызу-у-у!

Солнце взошло такое же красное, каким оно садилось вчера за горизонт. Багряно пылали стекла в окнах волостного ревкома и штаба дружинников, окруженных озверевшей толпой. Первым из дома волревкома бросили в толпу секретаря Хайри.

— Вот, парень, мы и пришли к вам в гости,— крикнул кто-то из толпы и сшиб его ударом здорового кулака. Но тут же писаря опять поставили на ноги. Один маленький полный башкир с заплывшими щелками глаз принялся крутить ему ухо, с наслаждением выкрикивая:

— Что, наших жен захотели? Мало вам было солдаток? А?

Из уха хлынула кровь, забрызгав башкира. Люди опьянели при виде крови. Кто-то ударил секретаря колом. Кто-то крикнул:

— Дайте его сюда. Я знаю, как ему отомстить!

На крыльцо ревкома вышел Ахмадулла-мулла. Осипшим голосом он крикнул в толпу:

— Мусульмане!..

Взбесившаяся толпа притихла.

— Тише! Не шумите!..

— Это мулла из Идельбаево, Ахмадулла-хазрет!..

Мулла продолжал:

— Благословение аллаха снизошло сегодня на нас, мы начинаем священную войну против большевистской заразы! Вместо зимогоров¹ вернем себе прежних старшин. Нам на помощь из Катеринбурга идут тысячные войска. Мусульмане! Где только встретите большевиков, дружинников, их длинноволосых прислужников — уничтожайте весь этот сброд.

Толпа, точно многоликий хищный зверь, завывала. В дом дружинников посыпались камни, раздались одиночные выстрелы.

— Давай сюда дружинников!

— Давай-й!

¹ Зимогор — крестьянин, уходящий на отхожий промысел. В данном случае сказано как унижительное о босяках.

— Ай-ай-ай...

В окне показалась голова Рамазанова. Он крикнул:

— У нас патронов много. Кто хочет остаться в живых — не подходите близко! Мы все равно не сдадимся! В него выстрелили. Заорали:

— Собственные кишки заставим съесть!

27

Сагидуллин сразу по возвращении из города взялся за вывозку собранного хлеба. Доставленные в Кулбашево десять тысяч пудов зерна за несколько дней были перевезены в город. Проводив последнюю подводку, комиссар решил денек провести дома.

Он проснулся от грохота в дверь, инстинктивно схватился за наган.

— Гиндулла, сынок, пришли... — заплакала мать. Она бросилась к сыну, заслоняя его собою, вздрагивая при каждом стуке в дверь. Дверь сотрясалась. В нее били руками, ногами. С улицы слышались крики, брань, смех.

— Вот и наступили дни! — проворчал старик Наретдин и полуодетый, шлепая босыми ногами, направился к двери.

— Не открывай! — властно крикнул Гинди. — Пусть сами выломают и попробуют войти!

Ждать пришлось недолго. Старая плохонькая дверь поддалась.

В темном проеме показались две головы, извергая поток площадной брани.

Гинди сделал два выстрела. Старик Наретдин закричал ему:

— Не стреляй, дурак, ведь это наши односельчане!

В дверях застонали. Люди попятились назад. Крикнули:

— Выходите! Сдавайтесь! Дом подожжем!

Сагидуллин с наганом бросился к выходу. Он отстреливался до последнего патрона, затем метнулся в огороды. Но три или четыре человека одновременно напали на него, сбили с ног.

...Сагидуллина впрягли в телегу вместе с его отцом Наретдином. Старик стонал, обращаясь к односельчанам:

— Люди, а я-то какой вам причинил вред? Вы ведь сами знаете...

Но его ударили и сказали:

— Мы уничтожим все большевистское племя!

Сын и отец тянули за собой телегу, на которой сидели

кулаки, до самого Кулбашево. В одном из аулов Гиндулла, задыхаясь, попросил:

— Пить!

Кто-то крикнул:

— Комиссар воды просит! А ну, несите скорее!

Сагидуллин жадно взял в руки ковш с колодезной водой, поднес к запекшимся губам. Тот, кто приказал принести воду, выбил ковш из рук военкома.

— На, пей! — крикнул он, ударив Сагидуллина в переносицу. — Свою кровь пей, дьявольское отродье!..

Когда телега остановилась у крыльца ревкома, Ахмадулла-мулла собственноручно облил голову Сагидуллина керосином, попросил спичек. Военком громко закричал в толпу:

— Из каждой капли нашей крови родятся тысячи коммунистов! Вы убьете нас, но весь рабочий класс вам не уничтожить! Товарищи крестьяне! Баи и муллы вас обманывают! Вы еще пожалеете! Мы умираем за коммунизм!

Одежда его превратилась в лохмотья. Лицо опухло до неузнаваемости, длинные волосы, смоченные керосином, слипались, закрывая глаза. Он едва держался на ногах...

К голове комиссара поднесли спичку. Волосы вспыхнули, но Сагидуллин, собрав все силы, заставлял себя стоять. Стоять — живым факелом среди озверевших врагов. В окне штаба показался Рамазанов. Он видел, как корчась в агонии, военком упал на крыльцо. Рамазанов прицелился и выстрелил. Пуля угодила в лоб Ахмадулле-мулле. Как подкошенный, упал он сверху на Сагидуллина.

Толпа разбушевалась сильнее прежнего. На голову отца Гиндуллы опускались десятки дубин, будто цепа на току. Поручик Гудов выстрелил из маузера в Рамазанова. Но тот успел убрать голову. Поручик, размахивая маузером, заорал:

— Поджигайте дом!

Дом дружинников обложили соломой, облили керосином и подожгли. Пламя охватило стены. Из окна вместе с последним выстрелом донеслись слова Рамазанова:

— Мы все равно победим!..

Кулбашево потонуло в багровом дыму, запахе крови, вое и выкриках. Из окрестных аулов сюда стекались контрреволюционные отбросы. Вели привязанных к оглоблям или хвостам лошадей продотрядчиков, дружинников, учителей и бросали их на растерзание толпе. А она — осиным роем налетала на новые жертвы, насмерть молотила дубинами и кулаками ни в чем не повинных людей, стремившихся принести пользу ей же, этой толпе.

Иные жители Кулбашево в ужасе пытались покинуть село, но их вылавливали на дорогах и возвращали назад, избивая за то, что не хотели принимать участия в кровавой оргии.

Родная сестра Гильманши жила в ауле Шадыкаево. Ночью, огородами, с великой осторожностью, пробрался брат к ее дому. Хотел отдохнуть, запастись провизией и тут же уйти. На стук Гильманши в дверь тревожно откликнулись:

— Кто там? Как зовут?

Открыл ему зять, невесело усмехаясь.

— До каких времен дожили! самого себя боишься...— Гильманша попросил не зажигать огня. Сестра, спавшая с детьми на полу, встала, поставила перед ним на столе молоко, масло, хлеб.

— У нас можешь не опасаться,— сказал зять.— Наш аул не задело. Приезжали пятнадцать конных из Идельбаево, собрали на сход людей. Говорили: «Почему не идете в Кулбашево? Разве не хотите свою долю взять в свои руки?» От нас лишь пять человек уехало. Знаешь торговца мясом Фахретдина? Ох, и носился же он по деревне, подстрекая людей.

— Хорошо, что не пошли,— сказал Гильманша.— А вот я еле спасся. Да, не было у нас в волости самостоятельных людей. Ротозеи...

Заплакал кто-то из спящих на полу малышей. Другой, постарше, сел, слушая, о чем говорят взрослые.

— А ну, спите! — прикрикнула на них мать.

Гильманша торопливо ел. Сестра продолжала начатый разговор.

— Таким людям, как мы, незачем туда идти. Эх, только начала было налаживаться жизнь!.. А что-то теперь будет? Наверное, опять поставят старостой прежнего Сафуана, снова он примется пить кровь!..

— Наши все равно победят,— уверенно ответил Гильманша.— Я в город направился. Моим сообщите. Скоро вернусь...

Он ушел так же тихо, как и появился. Даже пригнулся зачем-то, будто кто-то мог его увидеть в такой темноте.

— Напрасно не ночуешь,— сказала на прощанье сестра.— Баньку бы истопила.

Но муж ее резонно заметил:

— Да разве бы он мог спокойно спать?

— И то правда,— вздохнула женщина.

Председатель Сабашевского сельсовета, «советский староста» Гильманша, выйдя из Шадыкаево, вынужден был пробираться лесными тропами, минуя беспокойные проселки, а днем, заведя людей, прятаться за деревьями. Однажды ему так захотелось пить, что пришлось выйти к тракту, вдоль которого струился ручей. Он остановился у каменного моста, оглядываясь по сторонам. Тракт был пустынным. У ручья сидела старуха с заплечным мешком. «Видимо, побирушка»,— подумал Гильманша.

— Здравствуй, бабушка.

Старуха с неожиданным проворством обернулась, держа в руке недоеденную краюху.

— Здравствуй,— прошамкала она, прожевывая кусок.

— Пить захотелось,— сказал Гильманша и шагнул к ручью. Окуная в воду усы и бороду, стал жадно пить.

— Пьешь, как корова! — бросила старуха.

Гильманша рукавом вытер рот и намокшую бороду, присел рядом, достал из-за пазухи хлеб.

— Прячешься? — спросила женщина.

Гильманша перестал жевать и с опаской посмотрел на старуху. Та загадочно произнесла:

— Не бойся, теперь никому вреда не принесу. Я в Кулбашево была. Видела, как там убивают. Не могу спокойно заснуть... Не думала я, что так будет...

Гильманша только сейчас заметил, что у старухи белые крепкие зубы, маленький свежий рот. А она продолжала:

— Видела, как ткнули огонь в волосы вашего комиссара Сагидуллина, слышала его стоны. Не выдержала, заплакала. А люди вокруг смеются, рычат, как собаки... Как я могла еще недавно быть вместе с этими жестокими людьми — не пойму...

— А все же почему ты это делала? — спросил Гильманша, снова принимаясь за еду.

— Если рассказывать сначала — дня не хватит. Да и рассказывать неохота...

Старуха сняла с плеч котомку, умылась в ручье и вытерла лицо подолом длинного платья. Гильманша был удивлен. Перед ним предстала женщина лет тридцати с гладким, еще не тронутым морщинами лицом,— знакомая уже читателю Рауза, с которой повстречались когда-то на хуторе Сагидуллин и Владимир. Не обращая внимания на удивление Гильманши, она продолжала:

— Ваш Сагидуллин, бедняжка, поймал меня однажды и посадил, я едва спаслась. Проницательный был человек!

К Гильманше вернулся дар речи.

— Кто ты такая? — спросил он.

— Я просто несчастная. И, наверно, глупая, — нехотя отозвалась женщина.

С дороги слышался цокот копыт. Приближался какой-то всадник. Гильманша вскочил.

— Дядей мне тебя назвать или по-другому — не знаю. Только знаю, что ты советский. Беги, прячься. Здесь многие рыщут в поисках таких, как ты, — предупредила Рауза, поднимая котомку.

Гильманша побежал к лесу. Женщина крикнула ему вслед:

— Опасайтесь Ишмамета! Сейчас он в городе!

Гильманша взобрался на высокое дерево и стал наблюдать за дорогой. По тракту промчались три всадника. Возле моста они остановились, поговорили о чем-то с женщиной и поехали дальше. Вслед за ними на проселке появился человек в простенькой телеге, запряженной одной лошадью. Женщина, видимо, попросила его подвезти, и они скрылись из глаз по дороге, ведущей в город.

Гильманша спустился с дерева, прислушался. В лесу было вроде бы спокойно. Он хорошо знал, что каждое дерево может оказаться ему другом и спрятать за собою в случае опасности. Среди лип и орешников петляла заброшенная лесная дорога. Следы копыт и колесных вмятин заросли здесь высокой травой, то и дело попадались упавшие поперек дороги деревья. По такой лесной дороге, конечно, труднее было идти, чем по ровному тракту, но зато приятнее: не пекло солнце, не уставали глаза, отдыхая на свежей зелени листвы. Гильманша хрустел валежником, вспугивая с обочин мелких пташек, следил за солнцем, чтоб не сбиться с пути.

— Странная женщина, — размышлял он, пробираясь в ту сторону, куда и она уехала. — Просила поостеречься Ишмамета. А что она знает о нем? Да, многое на белом свете перевернулось вверх дном...

29

Уездный ревком направил в Кулбашево отряд из пятидесяти красногвардейцев. Начальником отряда был назначен Демидов, его помощником Владимир Вольф.

Перед отходом отряда на базарной площади состоялся

траурный митинг. У трибуны выставили картину художника Верхова с изображенным на ней красным дружинником.

Чернявский произнес речь, грустную и суровую, посвященную Кулбашевской трагедии.

— Баи и муллы зверски замучили лучших наших людей,— прозвенел над площадью его высокий сильный голос.— Проповедуя от имени бога справедливость, честность, милосердие к ближним, они по-воровски, ночью, в постелях, убивают самых честных и справедливых людей! От нас не будет пощады наемникам мировой буржуазии и контрреволюционерам! Мы отомстим за смерть товарищей, погибших за победу революции!

Он замолк, потом дрогнувшим голосом добавил:

— Возможно, мы отступим. Но это ненадолго, товарищи! Мы вернемся...

В губернский город пришла телеграмма о приближении белочехов. Ревком начал готовиться к эвакуации. Остановив спускавшийся вниз по Белой пароход «Илья Муромец», стали погружать на него ревкомовское имущество. Вскоре подошли еще два парохода, занятые губревкомом, губкомом партии и другими советскими организациями. С зарей все три парохода друг за другом поплыли вниз по течению, шлепая плечами колес...

На большой пристани при слиянии Белой и Камы два парохода, расставшись, поплыли дальше, «Илья Муромец», маленький однопалубный пароходик, остался.

Перекликаются собравшиеся на берегу люди:

— Отступают.

— Наши, городские?

— Губернские только что проплыли.

На пароходе, единственном на пристани, прибавилось народу. Заполнена вся палуба.

— Ахтям! Ты, сынок, пиши!

— Интересно, как и кто будет эти письма доставлять!

— Вернетесь ли вы, родные?

Вдруг на пароходе стихли голоса. Над головами людей поникло большое красное знамя.

На берегу зашептались:

— Комиссаров убили...

— Баи и муллы в Кулбашево всех уничтожили...

— Хорошо, что хоть у нас пока тихо...

Тревога передалась и людям, оставшимся на берегу.

— Что же будет дальше?..

Командир посланного в Кулбашево отряда Демидов поднялся на палубу и отпрапортовал Чернявскому:

— Задание ревкома выполнено. Организаторы кулацкого восстания ликвидированы. Погиб от бандитского ножа мой заместитель, товарищ Владимир Вольф...

Старый Вольф, пряча лицо, отошел к трубе парохода, извергавшей клубы густого дыма. Плечи его судорожно вздрагивали. К старику подошла высокая молодая женщина. На рукаве повязка Красного Креста.

— В своей радости и в своем горе мы не одиноки, Исаак Соломонович,— сказала она. Галина Горчакова взяла старика под руку. А он, смахивая слезы, повторял:

— Я что-то замерз, очень замерз...

Чернявский и Демидов спустились в каюту. Председатель ревкома сообщил Александру невероятное:

— Петр Самбуров оказался предателем.

Демидов оторопел и удивленно вскинул брови:

— Как же это?

— Исчез, когда начали готовиться к эвакуации. Никто его больше не видел.

Чернявский положил руку на плечо Александра.

— Знаешь, Демидов, председатель губревкома сделал одно предложение. Скоро эти места, видимо, займут чехи. Кто знает, как будут развиваться события. В Сибири с помощью Антанты Колчак собирает новые силы... Что, если твой отряд останется в тылу врага? Придется прятаться в лесах. Но зато можно будет совершить немало полезного...

— Понимаю, Алексей Иванович,— согласился Демидов.

* * *

Галина решила через Александра Демидова послать письмо отцу. Перед тем как заклеить конверт, она еще раз перечитала его:

«Отец! Я не хотела говорить тебе о своем отъезде. Если бы ты узнал об этом раньше... сам понимаешь, что могло быть. Не сердись и не переживай за меня. Очень прошу тебя. Не хочется думать, что ты можешь быть нашим противником.

Вдумайся сам: капитализм свое отжил. Мир капитала — страшный мир. В его болоте тонут даже очень хорошие люди, превращаясь в мещан, не видящих ничего, кроме своего живота. В таком мире я не хочу больше жить. Хочу чувствовать себя человеком.

Оставляю тебе несколько книг — прочти их! Обрати внимание на «Фому Гордеева»! Ее рекомендовал Сагидуллин.

Я в положении, отец... Несмотря на горе, я не опускаю рук и не теряю надежд. Сагидуллин для меня — не только муж, в моей памяти он останется человеком великих дел и кристально чистой души. Я все силы приложу, чтобы воспитать ребенка похожим на него. Он будет человеком нового...

Мы отправились пароходом «Илья Муромец». Подолгу стоим на пристани. Жители окрестных деревень приходят нас проводить. На пароходке один парень красиво играет на гармошке. Когда мы отчаливаем, собравшиеся на берегу люди машут нам платками, фуражками. Женщины плачут. И я плачу... Но мы скоро вернемся!

Любящая тебя дочь Г а л и н а».

* * *

Пароход дал третий свисток. На берегу, на дебаркадере оживление, голоса.

На верхней палубе стоит кучка музыкантов. Блестят на солнце медные трубы. Среди них и Исаак Соломонович с кларнетом.

А люди шумят, женщина плачет, причитая:

— Господи, что же я теперь буду делать с тремя детьми на руках...

С парохода машут руками, шутят:

— Не грустите, мы ведь, как солнышко, завтра же вернемся!

— Мы вернемся, родные!

— До свиданья!

Убрали трап, пароход тронулся, и пристань стала отдаляться, таять... Качнулись в руках музыкантов трубы, и над речным простором, заставляя сжиматься сердца, грянула медь оркестра. Пароход, набирая скорость, поплыл вниз по течению...

На высоком берегу еще можно было различить отряд красногвардейцев. Он тоже направлялся в низовья Белой. И его тоже с горечью и надеждой провожали люди. И к ним неслось стократно повторенное:

— Мы вернемся, товарищи!

1939



ГАЙНАН ХАЙРИ

КОМНАТА



ГАЙНАН ХАЙРИ (1903—1938)

С творчеством поэта, публициста, прозаика Гайнана Хайри (Гайнана Хайретдиновича Хайриева) в башкирскую литературу 20-х годов буквально ворвалась жизнь молодежи с ее неутоленной страстью созидания, шумными спорами о новой морали, о судьбе женщины, о месте молодых в социальном преображении страны. Острота и оперативность поднятых проблем объяснялась и молодостью самого автора. Секретарь волкома комсомола, ответственный редактор молодежной газеты Г. Хайри жил в гуще этих проблем.

Он был одним из организаторов и руководителей Башкирской ассоциации пролетарских писателей (БАПП), избирался членом правления РАПП. Но в 30-м году, когда администрирование в области литературы перешло к навешиванию ярлыков, он был обвинен наряду с другими писателями в создании контрреволюционной организации «Усу» («Рост»), лишен всяких постов, побывал и под арестом. И хотя впоследствии обнаружилась лживость обвинений, ему так и не удалось распрямиться. Из-за вспыхнувших групповых дразг так и не увидел света завершённый им к 1929 году первый башкирский историко-революционный роман «Поворот», к читателю он пришел только в 1967 году.

Свидетель и участник бурных событий, Гайнан Хайри пристально всматривался в жизнь, видел и новых, уже «социалистических» делег (повесть «Кооператоры»), и несоответствие отсталого еще самосознания людей новым социальным возможностям («Комната»), и в то же время рост этого сознания, одолевавшего косные традиции («Женщина»), чутко улавливал и добрые приметы, и гримасы своего времени.

Драматическими были последние годы жизни писателя. Лишенный материальной и моральной поддержки товарищей по перу, больной туберкулезом, он отделяется от семьи и тихо угасает в 1938 году.



Приехавший из аула друг-приятель Шарифа допил чай и, поставив чашку на стол, сказал:

— С каких уже времен в городе живете, а виду городского все нет как нет. Ну, скажи, что в тебе городского? Так чтобы глянул на тебя кто-нибудь деревенский и сказал: «Гляди-ка, и не узнать — совсем другой человек!»

Гость, ясное дело, хотел посмеяться над Шарифом, но, видать, спохватился, что потешаться над житьем-бытьем друга детства вроде бы неприлично, бормотнул:

— Ну, это я так просто... — и замолчал.

Однако Шариф всякое слово, когда оно касалось его самого, оставлять без ответа не любил, тут же свою стежку пристегивал:

— Это прежде сразу видели, изменился человек, как переехал в город, или не изменился. Открыл в какой-нибудь подворотне лавчонку — значит, изменился, городской стал. А я так думаю: дело вовсе не в том, насколько ты высоко взлетел. Нынешние перемены в другом. Их, браток, без числа и без счета. Только надо пару глаз иметь, чтобы видеть, а коли не видишь, так пару ушей, чтобы слышать. Возьмем деревенского батрака, ну, скажем, вроде меня, — по каким только лестницам не карабкаешься, чтобы попасть в город! А попал — чтоб прижиться. И я по всем этим лестницам потаскался вдоволь. А что не разбогател... Так я и умысла такого не держал. Потому что считаю: баям богатство, божьим, говоря по-ихнему, радением затем и дается, чтобы их сна и покоя лишить.

Хадича, жена Шарифа, сидела и терзалась тем, что из-за окаянной этой нищеты даже не могут угостить как следует гостя. Теперь же, пока разговор от житейских нехваток не свернул на собственную их скудность, сказала:

— Какое там богатство! Где уж нам? Пусть о нем дру-

гие пекутся, а мы — что есть, тем и довольны...— и поспешила налить гостю горячего, исходящего паром чая.

Но и дальше разговор в застолье покотил по той же колее.

— Город хвали, а в ауле живи,— сказал гость.— Ну какое житье в городе? Домой, в деревню, вам надо возвращаться, хоть как, а возвращаться!

Шариф посидел, помолчал, словно перебирал нанизанные в памяти беды-невзгоды, что пережили он сам и его семья.

— А куда я вернусь? Когда батрачил у бая, мы у него в хлеву ютились, вместе с телятами. А теперь там, в доме моего живьем исчезнувшего хозяина, сам говоришь, правление колхоза. В ауле квартиру не снимешь, свою избу надо иметь. А нет избы — к кому-то просись. А к кому я попрошусь? Отца-матери, сестер-братьев, чтобы в тоске безысходной меня ждали, у меня нет. Так, стало быть, зачем мне возвращаться в аул? Солнце-то, браток, повсюду одно. А таким, как мы, что в ауле, что в городе — все одно — работа аж до седьмого пота. А тут я при месте, и жизнь какая-никакая, а своя. И жилье, сам видишь, чем хуже царских хором? Ну, кому такое оставишь? — он растроганно, как что-то родное, обвел взглядом облупившиеся стены, каждый обшарпанный угол своей комнаты, потом вопросительно посмотрел на гостя и повторил: — Кому такое оставишь?

— Ну, что ж, живите и радуйтесь, коли так,— чтобы не развеять его умиления, поддержал гость.

Только они попили чай, в комнату вошел какой-то незнакомый человек:

— Здесь живет Ахмадуллин Шариф?

— Здесь живет, вот он — перед вами сидит,— показала Хадича на мужа.

Незнакомец взял зажатую под мышкой тетрадку, перебрал несколько заложенных в нее бумажек и одну протянул Шарифу. Шариф, как приехал в город, ходил на курсы ликбеза, грамоту освоил, невежество свое под корень извел, татарскую газету от корки до корки, как говорится, вылущивал, а вот по-русски читать-писать так и не выучился и понять, что в бумажке написано, не смог. И потому спросил бодрим голосом:

— И для чего же такая бумажка?

— Повестка это. Приглашение, значит.

— Куда приглашают? Неужто в театр? Очень кстати, если в театр. Вот, земляк из аула приехал, сам его и свожу, пускай посмотрит.

— Нет, абзый, не в театр и не в гости, это в суд тебя приглашают.

Гость и хозяйева, изумившись такому приглашению, усталились на бумажку. Потом с испугом и смущением переглянулись между собой. А Шариф Ахмадуллин недоуменно вскинул глаза: «Эх, товарищ, не знаешь ты меня! Я ведь никого не бил, не убивал. И к чужому добру руку не тянул. Я чужое, может, пуще своего берегу. Про государственное же имущество и говорить нечего. Сколько уж лет склад охраняю. И хоть бы кроха какая из-под моего караула пропала! Так за что меня, Шарифа Ахмадуллина, тащить на суд? Может, ты пошутил просто?» — долгим, с укоризной взглядом посмотрел на посыльного и тихонько, чтоб другие не слышали, вздохнул.

— За что... на суд?

— Выселять вас отсюда будут, — сказал посыльный, сухо попрощался и вышел.

Унылая тишина заполнила комнату. В голове у Хадичи, словно муха в паутине, билась одна мысль: «Обязательно при госте надо было принести такую бумагу. Обязательно при госте...»

...Шариф зажег висевшую над столом электрическую лампочку — и «гусиное яйцо», как говорил он, осветило утонувшую в осенних сумерках комнату.

Гость вздрогнул от неожиданного света и замолчал. Они с Хадичой судачили про деревенское житье-бытье, про птицу-живность да катык-молоко.

— Видал? — сказал Шариф. — Ну, а живи я в деревне, разве знал такую благодать? Сам видишь, это «гусиное яйцо» без всякого керосина горит... Ни тебе угара, ни тебе головной боли. А ты меня домой, в деревню, зовешь.

— Тоже мне новость — «гусиное яйцо»! — хмыкнул гость. — Думаешь, только у вас, в городе, и есть? Вы, городские, не больно-то заноситесь. Конечно, у нас, деревенских, перемены невелики, одеты неказисто, едим-пьем все то же, однако вот это, — он ткнул пальцем в лампочку, — нам тоже не в диковинку. У вас она под потолком вместо лучины горит, а у нас хлеб молотит. Это раньше было, день на току цепом намахался — три дня поясницу не разогнешь. И ради того, что городской, мол, — сидеть и ждать, когда тебя из дома на улицу попрут? Нет уж, уволь. Езжай в аул, езжай, уж там тебя никто не погонит, никто на суд не потянет. Ты же не кулак. Был бы ты кулак там, бай, мулла или, как они, в колесо нашей советской арбы руку совал, чтобы, значит, спицы сломать, тогда иное дело, тогда, конечно, суд-распра-

ва... А будешь сидеть тихо, так и прижмут по-тихому... Да, тогда, конечно, суд, загонят, как скотину, в вагон с решетками и отправят белый свет поглядеть. А тебе или мне, нам-то что? Все, как говорится, теперь наше. А здесь покамест не похоже, чтобы все было твое.

То-то и оно. Теперь, после такой повестки, о том, что, мол, в царских хоромах живет, не поговоришь. Рад будешь, если гость не съезвит, что очень скоро ему, Шарифу, придется стоять перед судейским столом. Вспомнил, что гость с хозяйкой говорили про «катык-молоко», уцепился за слово и потянул нить разговора на себя. Но получилось, что «от медведя спасся, да волку попался».

— Вот, Миннихмет, ты нас в аул зазываешь. А если мы, скажем, в гости приедем, найдется у тебя катык-молоко, чтоб нас потчевать?

— Коровы нет, а в молоке не нуждаемся.

— Как это так? Может, теперь в ауле, как тут у нас в одной книжке нарисовано, быка доите?

Гость, рассмеявшись, покачал головой:

— До такой дурости у нас еще не дошли. А вот — не нуждаемся. У нас что надобно, все есть, хотя и ничего нет.

— Что-то я, браток, тебя не пойму.

— Так ведь у нас уже давно колхоз! И все — и коровы, и молоко — не чье-то, а общее. Всех, кто, значит, в колхозе работает.

— Стало быть, и до нас дошло, и наш сонный аул разбудили? Выходит, коли вернусь я туда, то быть мне в вашем колхозе. Да вот ничего не поделаешь, возвращаться, видать, не придется.

— Ты хоть Расскажи, каким таким ветром тебя в город занесло? — спросил гость. — Как в такие хоромы угодил?

— Да нет, браток, в город я, можно сказать, по накатанному въехал и сам не заметил. Помнишь, какие были годы? Быстрые, горячие, люди будто на раскаленной сковородке плясали. — Шариф обстоятельно откашлялся и принялся за рассказ.

— В тот самый год это было, тогда еще, помнишь, у моего хромого соседа жена в проруби утонула, а ты добровольно ушел к красным. Так вот, начали ваши, красные, значит, теснить. Мой хазрет и туда вьется, и сюда вьется, кольцами ходит, ну прямо змея, которую в муравейник бросили. Для него каждая весть о ваших победах — будто кто ему по лбу его же собственным зеленым с набалдашником

посохом стукнул. Хозяин прежде меня к себе и на порог не пускал, а тут то и дело в гостевую половину зазывает, чтобы, значит, с его женами, одна толще другой, рядом сидел, чай со сливками пил и за чаем советы ему всякие давал. Однако я ему с тогдашней своей головой ничего посоветовать не мог. Ты мулла, говорю, голова твоя в чалме, говорю, ты у работника своего советов не спрашивай, я фетву¹ давать не умею.

Это ведь в прежние времена зажмут, бывало, в горсти две-три серебряные монеты и идут к мулле: «Так, мол, и так, как мне с женой быть, дай фетву». То человек сам всем фетву давал, а теперь, значит, ему фетву дай! До седой бороды дожил, а с мужицкой шапкой не знался, так пусть теперь с чалмой своей советуется. Я и думаю про себя: «Воистину, хазрет, к чалме-то почтения больше, чем к своей голове».

Фронт все ближе, уже взрывы слышны. Велел тогда хазрет сани держать наготове, лошадям, которым в день по четверти ведра овса давали, теперь по полному ведру сыпать, а под конец уже только приговаривал: «Ехать надо, Шарифулла, ехать!» — «Ладно, — говорю, — коли так, оглобли к саням новые прикручу, лошадей накормлю, запрягу, можете ехать». А он: «Ты что это говоришь, Шарифулла? Чтобы слова твои ветром развеяло! Десять лет ты у меня жил, всей моей жизни опора, как же я тебя оставляю? Нет, нет, я этим окаянным ничего своего не оставляю, и больше таких слов не говори, прокляну!»

Дураков, сам знаешь, не сеют, не жнут, они сами рождаются. Прямо сказать, я тоже из таких дураков — несеян вырос. А та, что против тебя сидит и на меня смотрит, чего, мол, разболтался, жена моя Хадича, — богом мне в пару данная бестолочь. Долго мы с ней шушукались и решили: едем, вассалам! Что продавать — продали, что зарыть — зарыли и буранным днем отерли слезы варежкой и оставили родную сторонку. Вот в этот город приехали и в этом доме остановились. Дней десять жили вместе.

Но красные все теснят и теснят. Наш хазрет опять заговорил, теперь уж о Сибири. Только не со мной, а что ни день с хозяйкой вот этого дома, с Марией Петровной, советуется. Я тоже с женой посоветовался: я, говорю, не вор, не колодник, когда еще Сибирь увижу? Давай, жена,

¹ Ф е т в а — решение духовного лица о допустимости чего-либо с точки зрения Корана и шариата.

поедем, белый свет поглядим, нам что: от бая — снесь-еда, от бога — смерть-беда.

Мы-то так рассчитали, да хазрет посчитал по-своему. Чувствую, вроде как я ему больше не нужен. Прошло несколько дней, взяли хазрет с Марией Петровной свои семьи и унеслись туда, «где ветер потише». А мы, две бедолаги, собравшихся было свет повидать, выслушали от хазрета: «За все добро, что я от вас видел, господь с вами разочтется, от меня же примите мое благословение, а теперь прощайте, жизнь свою отныне правьте сами» — да с тем гостинцем и остались.

Собрались ехать домой, в аул, но все «завтра» да «завтра», сами не заметили, как здесь пустили корешки. Вот так с тех пор и живем в городе.

Хазрет, чтоб ему все наши беды на том свете отрыгнулись, обратно на родину вернуться не смог, однако Мария Петровна голову свою в целости-сохранности назад принесла. Да только ли! Пока она там ездила, в ее комнатах племянник жил, сын ее сестры, торговец Николай Кузьмич. А как тетка вернулась, освободил. Старуха эта будто невесть где была и невесть каких дел наворотила: только нос задравши и разговаривает. И дому и саду снова хозяйка. На днях она мне и говорит:

«Здесь, среди русских, вам, наверное, скучно? Может, лучше вам в другое место переехать, где татары живут?»

«Так ведь, — говорю, — наш мулла тоже креста не носил, татарин был. Вам с ним в Сибирь бежать не скучно было?»

На это она ничего не сказала, отрезала только:

«В моем доме живешь, так изволь платить».

Дня через два и подсчитала все: за время, что мы жили здесь, должны ей больше ста рублей. Я и подумал: вернись их власть, они даже убытки, что понесли, пока туда-сюда бегали, и те взяли бы с нас сполна, еще крепче уселись бы на нашей шее!

Ладно, это я, как говорится, с прямой дороги вбок вильнул. О деньгах говорю. Где я деньги возьму, чем заплачу? Что мне, из-за этих денег в прислугах быть у нее? Нет, уж из моего кармана ей даже затертый грош не откатится. Если же скажут платить, так лучше я не ей, а городскому Совету буду платить. Сказал я ей так, а она только головой покачала:

— Совету ты заплатишь, когда в советском доме будешь жить. А пока в моем доме живешь, изволь платить мне. А не хочешь — живи на улице.

Пришел день суда.

Шариф, чтобы прийти к назначенному часу, встал пораньше. И Хадича не поленилась, тоже встала, чаю приготовила, на голом, с облупившейся краской столе расставила чашки, ломтями нарезала черствый ржаной хлеб и в плетеной тарелке поставила посередине. И все время маялась мыслью: «Что же будет? Что же теперь будет?»

Когда Шариф оделся в свою порядком обветшалую одежонку и сел к столу, Хадича уже приготовилась рассказывать, какой она нынче видела сон, растолковать его и таким образом заранее узнать, чем кончится суд. Но только было начала:

— Я сегодня во сне...

Шариф тут же слегка испортил ей настроение:

— Аллаха ради, не квохчи ты мне про свои сны! И без твоих снов ясно, что будет: или так или эдак.

— Ага,— согласилась Хадича,— как аллах скажет, так и будет. Я — что...

— Тут и аллах не скажет, и шайтан не скажет. А будет, как скажет закон.

Сказал вроде решительно, однако утренний свой чай пил не впустую, как обычно, а вприкуску с той горькой мыслью, что если суд решит против него, то останется он с семьей посреди осени вроде разбитого улья.

«Я — человек трудящийся,— рассуждал обычно Шариф,— некогда нам чувствам отдаваться, унывать не пристало». Но, обычно и впрямь беспечный и благодушный, сегодня он ощущал тяжелую, непривычную на душе маету. Оттого и Хадиче отвечал наперекор, словно огрызался. Однако к концу чаепития он пришел к мысли, что ни он сам, ни Хадича в этой беде не виноваты. Истина — о которой он прежде не знал, не догадывался, даже краешка ее не углядывал — вдруг открылась ему во всю ширь своего обличья. Причину всех своих невзгод он вдруг увидел в своем татарском происхождении.

Уже собравшись уходить, он, словно извиняясь за свою давешнюю резкость, сказал:

— Не унывай, Хадича, живы будем, на улице не останемся. Житейской арбе так просто нас не переехать. Глотка есть, чтоб права свои отстоять, силенка тоже найдется.

Он уже стоял на пороге, когда в углу на зеленом, обитом старой тусклой жестью сундуке их двухлетняя дочка, уже

довольно бойко разговаривавшая, вдруг проснулась и села, потерла глаза и сказала:

— Эткей¹, ты мне книжку плинеси, с калтинками, ладно?

Суд в назначенное время не начался. Шариф то выходил в коридор, то снова заходил в зал заседания, слушал чужое дело, убивал потихонечку время, ждал, когда настанет его черед встать перед судейским столом. Он опять вышел в коридор покурить и столкнулся с Марией Петровной и торговцем Николаем Кузьмичом — он был у ней вроде адвоката. Шариф, как обычно, кивком поздоровался с ними. Они же, дескать и знать тебя не знаем, весьма неучтиво, даже головы не повернув, прошли мимо. Совсем как спесивые девушки-красавицы, что на мир только из своего окошка глядят — познакомятся сегодня, а завтра уже делают вид, что не помнят, с каким это они там парнем вчера познакомились.

Они прошли несколько шагов дальше и увидели какую-то русскую девушку, остановили ее и поздоровались.

— А вы здесь зачем? — спросила та. — С кем судитесь?

Мария Петровна глянула с таким видом, будто всех своих врагов победила и теперь их презирает, сказала:

— Так, с татаринном одним...

— Ну, я думала, что-нибудь серьезное.

Николай Кузьмич расправил свою впалую грудь и широко вздохнул:

— Ничего серьезного, так, пустячок, плевое дело.

«Для вас, может, и пустячок, плевое дело, а вот для меня, для татарина...» — подумал Шариф, опустил на шаткую, оттого что все четыре ножки у нее были разной длины, скамейку и закурил.

И как, потрескивая, горел табак, горело и потрескивало сердце Шарифа.

«Нет, только посмотри на них! Ведь с кем судятся? С татаринном! Не с Шарифом Ахмадуллиным или, скажем, с Иваном Ивановичем. Почему же не с гражданином, почему же с татаринном? Ладно, пусть судят, пусть расправляются, пусть на улицу выгоняют! Чего проще, взять и выгнать! Ничего не поделаешь, сиди и молчи, коли татарин. А кто виноват, что я таким уродился? Сам виноват? Или отец с матерью? Или время виновато? А я, значит, со своей полуголодной семьей на улицу должен выметаться? Ведь только на свидетелей их глянуть, сразу все ясно, все русские. Они только снаружи белые, а потроха у всех сажи черней. Поди,

¹ Эткей — папа.

натравят — сразу набросятся как бешеные псы... Ишь, как на меня косятся... Кто я им? Бедный татарин. Скажут, что вор, я и отпираться не буду, да, скажу, «вор». К тому же и народный судья, даже если сам башкир или татарин, всех соплеменников в холодный пот вгоняет: велит говорить по-русски. Вон давеча заставил одну молоденькую башкирку по-русски говорить, та против себя и наговорила... Где уж моей голове такое понять. Ведь что-то значит же это самое слово — «интернационал»... Да-а, недаром говорят: «Татарин коли в красный угол сядет — в красный угол и лапти свои повесит». Вот и наши татары — как в начальство выйдут, родной язык сразу в карман прячут, без креста крестятся, культур-мультиур свой показывают...»

В одиннадцать часов он стоял перед судейским столом.

Судья по бумажке зачитал, в чем обвиняется Шариф Ахмадуллин. А Шариф по совести, как думал, так и сказал: мол, ни в чем не виноват, столько лет прожил в этой комнате и жить имеет полное право и хозяйке Марье Петровне не должен ни копейки.

Марья Петровна же с Николаем Кузьмичом и свидетелями обвинили Шарифа и его семью во всяческих грехах.

Суд удалился на совещание.

Примерно через полчаса раздался звонок. Все, кто был в зале, встали. Вместе с другими поднялся и погруженный в невеселые думы Шариф Ахмадуллин. Подняться-то он поднялся — а сердце, мягко, без боли трепыхнувшись, оборвалось и полетело в какую-то пустоту. Он весь обмяк, пальцы задрожали, словно кисти вывешенного на плетне полотенца.

Народный судья густым голосом, наводящим на Шарифа ужас, возвестил:

— Именем Советской Социалистической республики... Ахмадуллин Шариф Фазлыевич из дома... по улице... принадлежащего домовладелице Поповой Марии Петровне подлежит выселению. Также в пользу гражданки Поповой надлежит выплатить сто три рубля квартирной платы. В случае несогласия приговор может быть обжалован в двухнедельный срок.

На лицах истцов расплылось выражение радости и полного довольства, на лице Шарифа прорезались гнев и недоумение. Куда пойдет, у кого попросит он защиты?

* * *

Когда Шариф вернулся домой, Хадича, обняв ребенка, сидела на зеленом, с отставшей жестяной обивкой сундуке,

и одна мысль билась у нее в голове: «Что будет? Что решит суд?» Только Шариф вошел и закрыл за собой дверь, она спустила ребенка на пол, подошла к мужу:

— Ну, с какой вестью явился? — И надежда и насмешка были в ее голосе.

Шариф по натуре своей привык ничему не удивляться, никаких невзгод, тем более житейских, близко к душе не принимать и на сей раз ответил мягко и даже беззаботно:

— Да с чем же еще?.. Выселяться, сказали.

Хадича, собирая на стол, с дрожью в голосе говорила:

— Только и слышу: «Все теперь для бедных! Самое, говорят, время для них». Как бы не так! Ты сна-отдыха не знаешь, с утра до вечера, с заката до рассвета, в жару и стужу *капиратиф* охраняешь, одежда не одежда, лохмотья одни, жена, дети голы-раздеты. Она же нигде не работает, а ест вкусней, чем у бая в гостях. Начнет на кухне печь да жарить, такие запахи-ароматы расходятся — языку щекотно. Идешь мимо, на сковородки ее, где в масле яства кипят, стараешься не смотреть, отварную картошку свою несешь. Да, слов нет, теперь все равные! Крепко мир уравнили, по ниточке вытянули! Бедным теперь хорошо. А врагам их, значит, плохо, никакой им теперь жизни нет.

А посмотреть — так у кого голова болит? На кого все шишки? Опять же на нас. И ты тоже только и знаешь что рот дерешь: «А ну, мол, посторонись, наша теперь власть!» Видел теперь? Там, в ауле, у нас хоть тележка ручная была, случись что, навалил пожитки, посадил сверху детей — и езжай куда хочешь. А здесь у нас что есть? Ничегошеньки нет! И раньше зазорно было счастьем с нами водиться, и сейчас зазорно, и впредь будет за стыд считать. — И Хадича взглядом, полным упрека и горького недоумения, словно учитель, который втолковывал, втолковывал что-то своему бестолковому шакирду, но так и не втолковал, но еще ждет от него хоть какого-нибудь ответа, уставилась на мужа.

— Ну что, все сказала? — пробормотал тот. — Больше сказать нечего?

— И того, что сказала, хватит, если поймешь, не ребенок ведь.

— Верно, — кивнул Шариф и принялся за еду.

Но такое поведение мужа Хадиче не понравилось — ей хотелось знать, по какой колее пойдет теперь их жизнь, жить им по-прежнему в этой комнате или на улице, а может, в аул возвращаться? Шариф, всегда-то невозмутимый и чувствам

отдававшийся туго, и сейчас ломать над этим голову посчитал излишним... Хотя жена натуру мужа знала хорошо, но слишком уж серьезным был случай, чтобы терпеть такое безразличие.

— Ты же не мальчишка, не сорванец какой-то, глава семейства,— с упреком сказала она.— Так ведь надо хоть немного подумать, с женой посоветоваться. Что делать-то собираешься? Или...

— Так ведь это, жена... Коли уж решили выселить нас отсюда, что же теперь, плакать, что ли? Что я, ребенок малый? Сама видишь, муж у тебя не молод, давно уже с бородой. Верно, сначала погоревал, а теперь-то что горевать? Плачь не плачь, а как приговорили, так и останется. Уже черным по белому написали. Не перепрыгнешь — ноги у нас короткие, через закон-то прыгать. А сам закон что резиновый — кто на себя сильнее потянет, туда и вытянется. Хочет туда, хочет сюда... Должен был на нашу сторону вытянуться, да что поделаешь... А потянешь на себя посильней, он вырвется да того, кто тянул, по лицу и хлопнет. Ладно, старуха, брось, не унывай. Горевать-то всякий умеет. А ты попробуй возьми и плюнь на все. По моему скудному разумению, нет такой беды, чтобы человек не сдюжил, на горбу своем не вынес. А коли беда непосильная, человек тут же и свалится. На том, сама знаешь, вассалам! С тем и конец. Так что и плакать незачем.

Шариф дохлебал суп, из кармана латаных-перелатаных штанов достал кисет с махоркой, свернул, прикурил и направился к накрытой продранной, с вылезшей черной ватой одеялом кровати, одной ножкой которой служили составленные столбиком кирпичи.

Хадича, собиравшая со стола посуду, вздрогнула вдруг, будто вспомнила что-то, и замерла:

— Нас отсюда когда выгонят?

— Через две недели,— ответил разлегшийся на кровати Шариф.

В затхлой, исходящей кисло-сладким духом гнилой капусты, луково-чесночными запахами комнате разошелся горький дымок махорки. Зловоние было такое, что у нынешних слабогрудых людей сразу перехватило бы дыхание. Но прожившей здесь несколько лет семье комната эта казалась просторной, уютной, и воздух, столь богатый на разные сердитые запахи, вовсе не кислился в носу.

...Как-то утром Хадича, провожая мужа на работу, сказала:

— Ты опять скажешь, мол, о завтрашнем пусть ишак голову ломает, а все же надо маленько шевелиться. Посчитай, и дней уже не осталось. Это только радость пока дойдет — ожиданием изведет, а беда не ленится — тут как тут. Уже скоро, неделя только осталась.

— А что, жена, поделаешь? Скоро так скоро. Не взять же и убежать, — сказал он, примял старую кепчонку на голове и вышел.

На улице сыпал мелкий холодный осенний дождик, под ногами было грязно и скользко. И промозглый унылый день, и слова, сказанные женой на прощанье, сбили его с благодушного настроения.

— А ведь и впрямь, — пустился он в рассуждения, — значит, случилось что... в такой холодный день вдруг выпрут из дома прямо в дождь и грязь, не больно-то обрадуешься. Будешь как эти желтые опавшие листья, что лежат под ногами. Нет уж, ничем судьба нас не одарит, нет, брат, от нее гостинцев не жди... Может, и впрямь надо что-то делать? Да, пожалуй, Хадича дело говорит. Еще неделя осталась, надо найти хоть закуток, хоть курятник какой-нибудь.

Через час, как Шариф ушел из дома, принесли бумагу. Там было сказано: если граждане такие-то не покинут данную комнату в добровольном порядке, то в два часа сего дня будут выселены в порядке принудительном. Но читать-писать Хадича не умела и что ей принесла эта бумажка, радость или беду, понять не могла. В странные все же игры играет судьба с человеком. Коли решит ему что-то дать, так непременно с опозданием, да чтоб при этом еще и вымаливал, а коли отнять пригрозится, тут как тут, даже вперед назначенного явится. Вот и ретивые судебные исполнители, хотя ничего им здесь не причиталось, к делу отнеслись добросовестно, прибыли еще задолго до двух.

Когда мокрые, посиневшие от холода судебный исполнитель и милиционер вошли в дом, Хадича, решившая к приходу мужа навести дома порядок, «чтоб все блестело», начала было мыть пол и наполовину уже вымыла. Увидев вошедших, она удивилась и поднялась на ноги. Опустила подоткнутую выше колен юбку и, держа в одной руке отжатую половую тряпку, другой показала на стулья:

— Добро пожаловать, вот, присядьте!

Эти же двое выслушали ее приглашение, поглядели на тряпку, которую она все еще держала в руке, и подумали: «Видать, эта баба полагает, что мы затем явились, чтобы сидеть и ждать, когда она свои полы домоет». И, возможно, оттого дело поставили ребром, решили, как говорится, «проехать на короткой вожже».

— Шариф Ахмадуллин здесь живет? — спросили они.

— Да, здесь.

— А сам он где?

— На работе, еще не пришел, через час-другой вернется. Если вам его ждать недосуг, заходите попозже.

— А вы кто будете?

— Жена буду, Хадича, значит...

— Тогда мы и без него обойдемся. Мы должны немедленно выселить вас из этой комнаты.

— Как это? А куда выселить?

— Куда, мы не знаем, это дело ваше, а наше дело откуда выселить — вот отсюда, из этой комнаты. Так что бросайте вашу тряпку и выносите вещи.

— Зачем это мне тряпку бросать? Я же еще пол не домыла. И пока муж не вернется, я ничего не знаю.

— У нас времени в обрез. Есть муж, нет мужа, а вы подлежите выселению. Давайте же, выносите вещи. В добровольном порядке не хотите, тогда, стало быть, мы в принудительном...

Хадича в отчаянии стиснула поломоющую тряпку, на вымытые половицы ручьем полилась грязная вода.

Судебный исполнитель велел милиционеру идти на улицу, привести одного-двоих, чтобы вынесли вещи. Через несколько минут милиционер вернулся с двумя дюжими, одетыми в длинные кирзовые сапоги и испачканные глиной брезентовые плащи молодцами. А Хадича, с потемневшим от горя лицом, прижав к себе замотанного в пеленки грудного младенца, сидела на покрытом тряпичным паласом сундуке. Маленький сын их прильнул к коленям матери и тихонько спрашивал:

— Мама, а мы куда переезжаем?

Но ответа ребенок так и не дождался.

Два дюжих молодца, получив от судебного исполнителя указания, принялись выносить скучную обстановку и как попало сваливать на грязной пожелтой траве посреди двора.

Вытащили все, кроме сундука, на котором сидела Хадича.

— Вставайте, — сказал милиционер, — сундук надо вынести, и сами тоже выходите.

Хадича подняла заплаканное лицо, прижала к груди мла-

денца, взяла за руку сына и после того, как взглядом, полным слез, обвела комнату, — словно жила она с подругой много лет и вот настало время разлучиться навсегда, — тихонько пошла к двери. Мальчик вел за руку сестричку. Судебный исполнитель, милиционер и два молодца вышли следом.

И лишь осталась в углу гряда кирпичей, что служила четвертой ножкой кровати...

Изгнанная из дома под осеннюю морось, Хадича осталась возле сваленных кучей пожитков и принялась ждать, когда вернется муж. Но сегодня Шариф в обычное время не пришел.

Подумала-подумала Хадича, и поскольку других советчиков, кроме собственной головушки, не нашлось, то и надумала: надо идти искать мужа. И совсем уже было собралась, но расплакались дети, и она осталась мокнуть под дождем.

Вытерла слезы рукавам и запричитала:

— Ну куда я с горемычными своими подамся? Были бы мы в лесу — под деревом спрятались, в дупло бы забились или шалаш поставили. А в городе? Здесь за каждую щепку, за кружку воды даже — и то деньги надо платить. Город, город, чтоб ему пусто было!

Так Хадича всласть костерила город, а Шариф, прослышав, что на такой-то улице, в таком-то доме есть комната, которая сдается внаем, после работы напрямиком, не заходя домой, отправился по адресу и очутился далеко на окраине.

Комната оказалась в старом покосившемся домишке, подоконник вровень с землей, потолок низкий, пазы меж бревен замазаны желтой глиной, воздух сырой и затхлый. И поди ж ты, несмотря на все такие прелести, маленькая эта комнатенка чем-то понравилась Шарифу.

— И почем будет за месяц? — спросил он у хозяина.

— Если в центре города — за такую хоромину двадцать берут. Я же по совести, по-божески... Так что на десяти и сойдемся. Десять — ни рублем больше, ни рублем меньше.

Шариф еще раз оглядел комнату и покачал головой:

— Чтобы десять рублей взять и выложить... таких дураков поискать надо. Не по карману, брат.

— Не по карману, так не по карману, — отрезал хозяин. — А дураков искать не надо, они сами придут.

Торговались долго, сошлись на восьми с полтиной в месяц. Шариф, считая комнату уже своей, расправил плечи и широко вздохнул:

— А когда переезжать можно?

— Через неделю освободится. Упреждаю наперед: я мою комнату в пустые руки не отдаю. Коли желаете оставить жилплощадь за собой, извольте сегодня же за месяц вперед.

«Вот еще загвоздка!» — крикнул Шариф про себя.

— По рукам! — сказал он. — Завтра-послезавтра поступаюсь занести, только уж, как договорились, чтобы никому больше комнату не сдавать.

Хозяин нехотя кивнул. Вид у него был кислый.

Шариф толкнул скрипучую покосившуюся калитку будущего своего жилища, вышел на улицу и зашагал домой. Прошел немного, и в голове сложилась песенка:

Где-же-де-неж-ки-най-ти?

Где-же-де-неж-ки-най-ти? —

в такт шагам повторял он про себя.

Когда подошел к дому и поднял ногу, чтобы перешагнуть через доску, которой была заложена подворотня (чтобы поросята не шастали на улицу), неотвязную песенку перебило следующее приятное соображение: «А ведь небось думала, куда, дескать, моему Шарифу комнату найти!» Сразу поднялось настроение, и Шариф твердой походкой человека, которому любые беды нипочем, зашагал по дорожке между садовой оградой и стеной двухэтажного дома. Дойдя до угла, он четко, по-солдатски сделал поворот налево — и невеселое зрелище открылось его глазам.

Шариф так и стал — рот открыт, правое плечо вперед.

— Где ты пропадал? — набросилась на него Хадича. — Видишь, какие тут дела творятся, дурья твоя голова! Где тебя до этой поры носило? Ну, что прикажешь делать? Ночь уже скоро!..

— Я комнату искал.

— Нашел?

— Нашел.

— Так чего стал, как столб? Иди, найди скорее лошадь, погрузи вещи и поедem.

— Постой, старуха, не суетись. Там еще до переезда... только через неделю будет.

— Через неделю? А до тех пор? В этом вот сундуке будем жить?

— Были бы денежки, может, и сегодня переехали... Задаток просят.

— Задаток? А сколько?

— Восемь с полтиной.

— Восемь полтиной? Ты, окаянный муж, хоть глаза бы открыл как следует, по сторонам огляделся, увидел, как твоя семья живет. А ты одно знаешь, одно высматриваешь: как бы на какой-нибудь заем подписаться! Нет, чтобы с женой посоветоваться. Всего-то жалование сорок рублей получаем — так нет, взял и опять — в третий уже раз! — на пятьдесят рублей подписался! И хоть бы раз, для смеха только, выиграл! Денежки-то к денежкам идут! Если бы ты свои крохи на эти разноцветные бумажки не менял, уж восемь-то с полтиной нашлись и мы уже под крышей были бы, а не мокли под дождем!

Шариф подошел к ведру с мукой и сел на закрывавший его расчерченный химическим карандашом на квадратики лист фанеры (в нужных случаях эта фанера служила доской для игры в шашки). Достал из кармана кисет, скрутил самокрутку, закурил.

— Эх, жена, жена!.. — вздохнул он. — Ну, за что ты меня ругаешь? Слов нет, языком молотить ты горазда, слов нет, а вот истинного смысла того, на что свою ругань изливаешь, тебе не понять. Когда бы ты с умом, с толком костерила, я бы первый сказал: «Гляди-ка, и моя жена до таких высот в ругани поднялась, самую суть постигла». Ругань, если хочешь знать, — это же не какое-то мелкое ремесло, это — божий промысел, высокое искусство. Этому не выучишься, одной лишь грамотой не постигнешь. Для этого дар нужен... А крыть мужа за то, что на заем подписался, — это ругань бес-таланная. Ты сама подумай: будь у государства большие деньги, оно не только для людей, даже для скота дворцы бы построило. И не знаю, что еще воздвигло! Нет, не видишь ты конца того аркана, которым мир стянут. А еще ругаться берешься, неумелый свой язык попусту истязает. Вот, скажем, я. Уж я-то нашел бы, что ругать, только языку волю дай. Хотя бы за то, что все мы, всем обществом, за собственной пазухой змею пригтели. Мария Петровна эта — кто она? Кто? Не наш ли первый враг? Враг. В собственном теплом доме, на собственных бархатом обитых стульях сидит. А мы где? Где мы? Крыша теперь у нас небо, стены — оком. А пролетарский суд нас под свое крыло взять не хочет, коротки у него крылышки-то оказались. А те вот пригтелись, под крыло ей забились, пользуются ее теплом. Вот если бы ты меня за это ругала, за это честила, на все косточки костерила — вот это была бы помощь, я бы только спасибо сказал. А насчет займа — держи язык за зубами, только лучше будет.

Каждым своим рублем, каждой копейкой мы должны помогать государству, то есть самим себе, чтобы построить новые большие дома, в которых каждый сможет жить по праву, чтобы у врагов своих, у Марь Петровен всяких, бедными просителями пороги не обивать.

Шариф кипел, словно бурливая вода под запрудой, — туда плеснется, сюда плеснется. «Что делать? Куда пойти?» — ломал он голову.

— Не унывай, жена, — сказал он наконец, — я завтра в рабоче-крестьянскую инспекцию пойду. Там какой-нибудь угол нам или найдут, или прикажут найти.

— У тебя всегда так: завтра, а нет, так послезавтра. Что мы сегодня будем делать, вот мне что ты скажи!

Шариф развел руками:

— А что сегодня? Сама видишь! Сегодня здесь заночуем, ничего другого не остается. Судьбу, жена, не объедешь! — рассмеялся он с горечью, встал и принялся укладывать удобней пожитки, устраивать детей.

Из тряпочного узелка Хадича достала краюшку хлеба, отрезала два ломтя, положила на «шашечную доску» и вместо горячего супа сходила к колодцу и принесла стакан холодной воды...

Рабочий чугунолитейного завода Борисов, русский парень лет тридцати, возвращался с работы и, шагая через двор, увидел: под мелким осенним дождем посреди двора Шариф и Хадича сидели за вечерней трапезой — стульями им служили два распиленных когда-то, но так ни одному топору и не поддавшихся чурбака, столом — накрытое листом фанеры ведро с мукой. В большом удивлении Борисов подошел к ним:

— Что это вы? Товарищ Шариф, что с вами?

— Так выселили нас! — развел Шариф руками. — Решение народного суда! Не захотела нас больше Марья Петровна.

— Ну, а коли выселили? Что же теперь, на улице жить? Осень уже, холодно. Так и ноги откинуть недолго. Давайте сейчас же к нам перебирайтесь. А ну-ка, живее! А кого из этого дома выселять, кого оставить, разберемся завтра, — и без долгих разговоров взял сколько мог из пожитков и зашагал к маленькому домику в глубине двора, где жил сам с семьей.

— Смотри-ка ты, кяфыр, а душа милосердная! — сказала пораженная Хадича.

— Настоящий рабочий! — сказал Шариф.

Скоро все вещи были занесены к Борисову в дом. Зеленый

сундук с отпавшими жестяными набойками встал возле стены.

Борисов огляделся по сторонам и с видом ребенка, потерявшего самую дорогую игрушку, спросил недоуменно:

— Так, это... а где же ваши детишки?

Шариф с улыбкой посмотрел на нового своего друга, шагнул к сундуку и откинул крышку.

Старшие сын и дочь вылезли сами, а грудного младенца достала Хадича.

Мальчик с девочкой, выкарабкавшись из сундука, с удивлением уставились на закатившегося от смеха Борисова. А младенец спал и только причмокивал во сне...

* * *

Хозяйка Мария Петровна на следующий же день, как выселили семью Ахмадуллиных, в освободившейся комнате, «из-за этой неряхи Хадичи превратившуюся в свинарник», сразу же затеяла ремонт. Мастерам было сказано: сделать все как можно быстрее — родственнику, Николаю Кузьмичу, не терпелось поселиться здесь.

И уже на третий день Николай Кузьмич переехал вместе со своей обстановкой. Праздничный обед накрыли у Марьи Петровны в зале. Попили, поели, Николай Кузьмич взял в руки гитару. Хотя пальцы его дрожали — в раскатившемся по комнате рокоте струн слышались и издевка над Шарифом и всей его изгнанной семьей, и чувства торжества победителей. Хозяйка и ее домохозяды с упоением слушали игру «будущего композитора».

Обед уже подходил к концу, когда принесли повестку: дело о выселении Шарифа Ахмадуллина подлежало новому рассмотрению.

Николай Кузьмич достал из кармана серебряный портсигар, вытянул толстую папиросу и, поколотив концом папиросы о ноготь большого пальца, сказал:

— Мы ведь этого татарина уже разок уму-разуму поучили. Видно, урок — не впрок. Опять, значит, придется поучить. Вот рвань, никак ему нейдет..

— О его бесчинствах все жильцы знают, они скажут. Люди солидные, каждому их слову поверят. Я их в свидетели возьму. Вот тогда получит он ответ. Такой ответ получит, что и не пикнет больше,— сказала Мария Петровна.

Зал суда был полон. Истец, ответчики, их свидетели с нетерпением ждали, когда выйдет судья.

— Только людей от дела отрываете, время зря убиваете. Пустые эти хлопоты...— сказала Марья Петровна в спину сидевшему на передней скамье Шарифу.

— Пустые не пустые, не вам судить,— отрезал Шариф.— Суд есть, он и решит.

Суд начался.

Судья спросила, все ли свидетели на месте, не находятся ли они с тяжбующимися сторонами в родственных отношениях. Выяснив это, велела им всем, в том числе и Борису, свидетелю со стороны Шарифа, покинуть зал.

Судья — миловидная, белолицая, синеглазая, с длинными ресницами, с пышными темными волосами, всем видом настоящая татарка — зачитала дело, уточнила суть тяжбы и дала слово Марии Петровне.

В своем слове Мария Петровна говорила о том, каким справедливым было решение предыдущего суда, постановившего выселить Шарифа Ахмадуллина из ее дома. Добавила также, что сама об истце она ничего не скажет, но о том, какой это безнравственный, нечистоплотный, невоспитанный человек, беспробудный пьяница, как он, позоря звание рабочего человека, бесчинствует, как день и ночь избивает свою ленивую, сварливую грязнулю-жену, известно всем, и об этом, конечно, не преминут сказать свидетели, люди положительные, серьезные и правдивые.

Судья, одетая в коричневую фуфайку, положив локти на стол, крутила в пальцах карандаш, и такой был у нее взгляд: какое бы ни вынесла она решение — примешь безоговорочно.

— Гражданин Шариф Ахмадуллин, пожалуйста, слово предоставляется вам.

Шариф, в забрызганном грязью плаще, двумя руками прижав к груди кепку, подошел к судейскому столу и довольно толково, сам от себя такой складности не ожидал, рассказал, как было дело.

— ...Стало быть, я с полным правом могу сказать, что давешний суд был несправедливый,— сказал Шариф в конце.— Слепой был суд, ничего не увидел. Если бы хоть немного пригляделся, хоть немного прислушался, разве он поступил бы так: в наше время, когда из богатых домов коммунальные квартиры делают, богатеи в своем гнездышке оставил, а меня с моей семьей словно мусор на улицу вымет? Уверен в

справедливости решения нашего советского суда! — сказал он с подъемом и замолчал.

Вошла свидетельница Лиза Ушакова.

— Ушакова, расскажите суду, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью гражданин Ахмадуллин разломал крышу дома гражданки Поповой?

— А я не знала, что он крышу ломал... Я не видела.

— Говорят, что безобразничает он, докучает жильцам, что житья от него нет. Часто он пьет?

— Нет, пьет он не часто.

— А с женой скандалит?

— Не чаще других. Случается, что погрызутся немного, но ведь это дело семейное...

— А как случилось, что он на кухне печь развалил?

— Какую печь?

— На кухне.

— А на кухне печь целая-целехонька. Что ей сделается? Кажись, уже лет семь, как ее переложили, и с тех пор не жалеемся, как зверь тянет. А чтобы Шарифка с печкой дрался, такого не видела.

Вошла следующая свидетельница, молодая русская женщина с ребенком на руках, работница пошивочной мастерской.

— В каком состоянии был Ахмадуллин, в трезвом или пьяном, когда камнем разбил ваше окно? — спросила судья.

— Он у нас окошка не разбивал. Это уличные мальчишки разбили. На них еще милиция протокол составила.

— Врет, врёт! — не стерпев, закричала Мария Петровна.

— Как вы считаете, на чьей стороне правда?

— В прошлый раз присудили несправедливо. Ахмадуллина выселили зря.

— Почему же вы в таком случае пришли в свидетели со стороны гражданки Поповой?

— А она узнала, что меня тоже в суд вызывают, и говорит: «Вы будьте свидетелем с моей стороны». — «Я, — говорю, — буду свидетелем со своей стороны». — «Ну что ж, милочка, — говорит она, — свидетельствуйте, свидетельствуйте в пользу какого-то там татарина, если, конечно, вам совесть позволит».

Судья повернулась к секретарю и сказала, чтобы эти слова внесли в протокол.

— А почему вы решили, что Ахмадуллина выселили неправильно?

— Потому что Мария Петровна за то на него взъелась, что, дескать, татарин он и к тому же бедный, обычный сторож,

вот и хочет с глаз долой. Это вовсе несправедливо! Разве татарин не человек? У него точно такие же права, как и у остальных. Чего же она того татарина не гонит, который на первом этаже живет? Потому что у него магазин есть? А бедного, голодного сторожа — за ворота, на все четыре стороны! Почему? Уж, наверное, суд не слепой, все увидит.

— Бесстыжая! Что ты мелешь! — прошипела Мария Петровна.

Судья постучала карандашом по столу:

— Я вам слово не давала!

Вошел Борисов.

Завидев его, вконец расстроенный Николай Кузьмич вскочил с места и просеменил к судейскому столу:

— Это такой человек, он сейчас вам все наврет! Мы не согласны, чтобы он выступал здесь как свидетель!

— Садитесь! Гражданин Борисов, расскажите суду о бесчинствах, которые учинил Ахмадуллин, когда жил в доме гражданки Поповой. И какой ущерб нанес — как самому зданию, так и здоровью и спокойствию окружающих?

— Я Шарифа Ахмадуллина уже год знаю, но такого хулиганства за ним не замечал.

— Может он платить хозяйке за квартиру?

— У него ведь хотели вещи описать в пользу хозяйки. И ничего не нашли, что можно продать. Вот и судите, какой он богатей.

— Врешь, он богаче, богаче! — взвизгнула Попова. — Любого здесь богаче!

— Чем же это он богаче?

— Да хотя бы правами! Правами своими!

— Вот это верно, — сказал Борисов, — этим он богат, так что же, этими своими правами ему с кровными своими врагами делиться? Нет уж, товарищи, такого допустить нельзя. Так же, как нельзя, чтобы пролетарский суд плясал под дудку гражданки Поповой. Видите как? Убежала в Сибирь, потом вернулась молчком, украдкой, заползла обратно в свой дом и теперь тихой сапой нашего брата выживает.

— Так что же, Ахмадуллину этот дом отдать? — закричал Николай Кузьмич. — Ну, отдайте! Сегодня отдадите — завтра уже дома на месте не найдете!

— Конечно! Когда он оставался, козы все деревья в саду изгрызли! — сказала Попова.

— Вы должны были спасибо ему сказать — не ему самому, а темноте его, невежеству его, как вы говорите, «татарству». Будь тогда у него сознание, какое нынче ему Советская власть

дала, он бы не коз в сад напустил, он бы все — и дом ваш, и все ваше богатство — ссыпал в наш советский сундук. Не то что ваш дом и сад, а все заводы и фабрики буржуев и капиталистов уже двенадцать лет как очень ловко в нашем советском сундуке улеглись. Вот потому и нужно принять решение, и как ржавый гвоздь клещами рвут из стены, так и их вырвать из этого дома!

Суд удалился на совещание. Час протомились в ожидании, и наконец судья зачитала решение: Ахмадуллина Шарифа с его семьей в двадцать четыре часа вернуть на прежнюю их жилплощадь, а также возбудить дело о передаче домовладения гражданки Поповой городскому совету.

Все разом хлынули из зала, сбились в дверях.

— Татарский суд! — прошипела Мария Петровна, протискиваясь через толпу.

— У нас татарского или русского суда нет, у нас есть только один общий суд — победившего пролетариата! — сказали ей Борисов и другие, подхватили Шарифа с двух сторон под руки и все вместе зашагали домой.



ХАДИЯ ДАВЛЕТШИНА

АЙБИКА



ХАДИЯ ДАВЛЕТШИНА (1905—1954)

Хадии Лутфулловне Давлетшиной выпало трудное счастье стать одной из первых женщин-писательниц из тюркоязычных литератур нашей страны. Вышедшая из среды иргизских башкир, осевших с давних времен в самарских степях, на берегу реки Иргиз, она принесла в башкирскую прозу 30-х годов прекрасное знание быта, обычаев народа, которые вступили в интересную взаимосвязь с веяниями новой жизни. «Сердоликовые зерна» — как она назвала людей нового мира в одном из очерков — стали главным объектом изображения и в повестях «Айбика», «Шум колосьев», и рассказах.

Тяжелые испытания, которые выпали на ее долю — арест мужа, крупного общественного деятеля республики Г. Давлетшина, а затем репрессии ее самой, работа на суконной фабрике, открывшийся туберкулез легких, жизнь под надзором в маленьком городе Бирске, — сломили ее здоровье, но не сломили духа. «Я всегда верно служила Родине...» — эта строчка из письма А. Фадееву выбита на памятнике в Бирске, сооруженном на средства, заработанные студентами пединститута. Именно здесь, работой ночного сторожа добывая на хлеб и бумагу, она совершила подвиг — создала роман «Иргиз» (1946—1952). Роман, с глубоким мастерством изображающий перерастание искорок народного гнева в широкое движение масс, восстановил прерванные в 30-е годы эпические традиции и дал толчок дальнейшему развитию башкирской романистики.

И когда в 1967 году была учреждена республиканская премия им. Салавата Юлаева, первым ее лауреатом по праву стала Хадия Давлетшина.



1

— Вставай, вставай же, Айбика-килен¹, вставай! Что это за бесконечный сон? Ночь длинна, словно год, а тебе все мало. Разве можно быть такой соней? С вечерних сумерек заваливаешься и спишь, покуда солнце не взойдет. Вон коровы твои мычат, пора их доить!

Айбика открыла глаза. Рядом стояла Гайша с кумганом в руке. Пока Айбика натягивала сапоги, Гайша продолжала ворчать, затем, выйдя ненадолго на двор, вернулась к своей перине и погрузилась в сладкий сон.

На самом деле Айбика легла совсем недавно. Свалилась на брошенную в углу грубую холстину, положила голову на подушку в черном напернике, накрылась ветхим халатом. Но не успела задремать, как послышались над ухом каждодневные ругань, брюзжание, брань.

Встав, Айбика завернула подстилку поверх подушки, умылась, потуже завязала на голове платок и вышла к скотине.

Рассвет едва обозначился, под ногами еще ничего толком не разглядишь. Клонит в сон, и неудержимо, сами собой смыкаются веки. В теле такая тяжесть, будто кто избил ее до полусмерти и бросил, а теперь она с трудом приходит в сознание. И вчера, и в предыдущие дни все тот же безрадостный рассвет, та же боль в теле от усталости, та же брань Гайши, те же коровы, телята, кобылицы, работа по дому, которой не видно конца и края.

Айбика подоила всех коров, подпустив к ним вначале телят, отнесла два ведра молока в клеть к сепаратору, выгнала буренушек в стадо, погнала пастись телят и овец. Вернувшись обратно, пропустила молоко через сепаратор, поставила самовар, отделила жеребят от подошедшего только что косяка кобылиц, раз пять сходила за водой, замесила тесто для хле-

¹ К и л е н — сноха, невестка.

ба, подмела полы, вскипятила и закисло молоко, вымыла посуду, поставила кипятить в казане эркет¹; тем временем подошла пора доить кобылиц.

Лишь тогда поднялась с мягкой перины Гайша.

— Приготовь чай, килен. Да разбуди Кюнхылу и Ишбулды, — распорядилась она. — Самого не поднимай, ему самовар после поставишь.

Сам — это хозяин Кутлуяр, загулявший вчера с гостями и теперь вволю отсыпавшийся.

Айбика вошла в комнату, где спали Ишбулды и Кюнхылу, потормошила девушку за плечо:

— Кюнхылу, проснись, чай готов!

Та лениво приоткрыла глаза, повернулась на другой бок и снова уснула. После безуспешных попыток поднять Кюнхылу и Ишбулды, Айбика вышла к Гайше, которая восседала около самовара на большой пестрой подушке.

— Енге, они не встают. Будила, будила...

— Ладно, пускай полежат, чего привязалась к ним? Позавтракают вместе с отцом.

Гайше, должно быть, показалось скучным чаевничать одной.

— Килен, сходи-ка, позови на чай Кюмош-енге, — попросила она.

Айбика быстро сбегала за старушкой, привела ее.

— Килен, самовар заглох. Подогрей его нам поскорей, — последовал новый приказ.

Подоспело тесто. Айбика разгребла в печи угли и посадила хлебы. Вычерпала из котла эркет, повесила его в мешке процеживаться. Проснулся Кутлуяр, поднял детей. Для них Айбика внесла второй самовар. Потом убирала чайную посуду. Во второй раз подоила кобылиц. А тут, спасаясь от оводов и слепней, прибежали из стада коровы. Пришлось поместить их в загон — подальше от телят. Только управилась с коровами, как пришел один из работающих на лугу косарей, чтобы нести работникам обед в поле. Айбика на скорую руку приготовила для них еду.

Сама она еще не успела поесть, некогда было. В полдень присела отдохнуть, взяла ломоть хлеба, налила из самовара кипятка, но Гайша тут как тут:

— Килен, в кумганах вода кончилась. Говори тебе, не говори — все одно. Неужели я должна следить за всем? А тазы

¹ Эркет — квашеное и сильно скисшее молоко, из которого делают корот — сыр особого приготовления.

какие стали? Люди увидят — засмеют. Что тебе стоит почистить их? Все бы успевала делать, если бы вставала пораньше, не дожидаясь, пока разбудят. Не забывай, вечером придут гости, так ты приберись в доме как следует... Казаны освободились? Поставишь в них вариться суп. Да сбегай к Асатаю, пускай он выберет в стаде жирную овцу...

Айбика наполнила водой кумганы и котлы, раздула тлевший в печи кизяк, начала чистить медные тазы. Хлеб она дожевала на ходу, между делом, а недопитая ею чашка кипятка осталась остывать у самовара.

2

Деревенский бай Кутлуяр жил в большом достатке. В прошлом он держал немало батраков, заставляя их трудиться зиму и лето за одни харчи. С каждым годом множились его стада, косяки лошадей, отары овец. Все было бы хорошо, если бы не революция. Правда, в гражданскую войну, когда наступали белые, у него появились было надежды на возвращение старых порядков, но быстро улетучились. Больше того, пропал и старший сын Ишбулат, бежавший с дутовцами в Сибирь.

Пришлось Кутлюяру приспособливаться к новой жизни. Прежде всего он рассчитал батраков — ведь с ними надо заключать договор, страховать их, одевать и выплачивать заработок. К тому же будешь считаться кулаком, что по нынешним временам далеко не безопасно. Хитрый Кутлуяр решил жить «по-советски». От двадцати с лишним коров сохранил всего пять, отару овец сократил до тридцати голов, распродал лошадей, оставив шестнадцать для работы, и пять дойных кобылиц. В дом взял Айбику, сноху старшего брата. Она вела хозяйство, а на сев, сенокос и уборку нанимал сезонных работников. Теперь никто не мог к нему придраться, и жил он припеваючи.

Детей у Кутлюяра было трое: кроме взрослого, ушедшего с белыми Ишбулата, девятнадцатилетняя Кюнхылу и Ишбулды, которому пошел семнадцатый год. То ли потому, что Кюнхылу была единственной дочерью, а Ишбулды младшеньким в семье — родители в них души не чаяли, растили в холе да ласке.

Кюнхылу училась в городском техникуме и приезжала домой лишь на время зимних и летних каникул.

Ишбулды тоже нынче ездил в город поступать на рабфак, но вернулся обратно. Его документы сомнений не вызывали:

сельсоветчик Абдулла, свояк Кутлуяра, засвидетельствовал в бумагах, что Ишбулды — сын «бедного крестьянина» и имеет «трудовой стаж». Просто его не приняли по возрасту.

— Ну, так ладно,— рассуждал отец.— Коли по годам не вышел, поедет на будущий год. А пока пусть поучится в школе второй ступени. Все равно определю, выведу в люди.

Кутлуяр по своему характеру был человеком жизнерадостным. Часто к нему сходились пить кумыс или медовуху близкие друзья, родственники. Он сидел среди них довольный, хмельной, с покрасневшимся лицом, поглаживал круглую черную бороду, часто смеялся, показывая крупные белые зубы. Он смеялся подолгу, до удушья, и тогда весело колыхался его пухлый живот, собирались складки под подбородком. Почему бы ему не быть довольным: сыт, одет, живет в таком достатке, который иному и не снится.

Несмотря на то, что Кутлуяру перевалило за шестьдесят, он выглядел моложаво. В темных волосах лишь несколько искорок седины — и то могло бы их не быть, они как след печали об Ишбулате. Но не горевать же все время: жизнь не всегда останется такой, бог даст, она выправится на прежний лад. А там, глядишь, и вернется его широкоплечий, статный Ишбулат в гимнастерке из хорошего, «прежнего» зеленого сукна, с золотыми погонями на плечах...

Таковы были сладкие мечты, тайные надежды Кутлуяра.

Но больше, чем муж, горевала и оплакивала сына Гайша. У нее сердце обрывалось при мысли, что ее мальчик где-то скитается, томится в дальней стороне. Наверное, приходится ему унижаться, заглядывать в глаза чужим людям. А может быть, и вовсе его нет в живых? И она раздавала милостыню, совершала «белые курбаны», собирая верующих стариков, чтобы они помолились во здравие ее сына. И откровенно проклинала красных и молила аллаха об их уничтожении.

— Лишь бы были живы-здоровы два мои оставшиеся зернышка,— вздыхала она, любуясь младшим сыном и дочерью.

Выросшая в семье богатого муллы и отданная в жены байскому сыну, Гайша мечтала о такой же беспечальной доле своей Кюнхылу. Одно огорчало мать — не осталось в окрестных аулах достойных женихов. Кто бежал, подобно Ишбулату, с белыми, кто убит, кого посадили. Поэтому Гайша не противилась, когда Кутлуяр устроил Кюнхылу в техникум. Мало ли в городе состоятельных людей! И она любила хвастаться дочерью перед соседями.

Вот сидят они с Кюмеш-енге, пьют чай. Гайша поправ-

ляет на голове платок, густо украшенный по белому полю яркими цветами, поглаживает полу казакея¹ из тонкого зеленого сукна, тербит край скатерти, неторопливо ведет разговор:

— Уф, совсем нас одолели, со всех концов засылают сватов. Не подумай, что хвалюсь, но где еще в нашем ауле найдешь невесту, равную моей Кюнхылу, — и умом, и статью вышла. Конечно, она уже вошла в возраст, но отец говорит, что надо подождать, мол, пускай поучится и станет человеком. Вот я и говорю, сколько живет в городе, а скромна. Разве мало таких: поучатся там, потом волосы остригут, начинают толкаться среди мужчин в сельсовете, собрания какие-то устраивают. Один срам! Ты знаешь учительницу Алмакай?

— Это дочь Апалея, что в нижнем конце аула?

— Она самая. Вернулась с учебы и воображает из себя невесту что. А сама как была нищей, такой и осталась. Пытается научить баб разводить огороды, сажать картофель. Что же они, прокормиться не смогут, если не будут, как русские, копать в земле? Тьфу! Своей вере вконец изменила. Да разве можно сравнить с ней Кюнхылу? Моя дочь, слава всевышнему, в навозе не возилась. Не станет она на корточках ползать по грядкам. Отец, вообще-то, не против, говорит: «Вреда нет, если научится работать, пускай ходит с ними и комсомолкой станет, время такое». А я отвечаю: «Брось, свихнется, распустится — на что толкаешь? Вот выйдет замуж, пусть делает, что хочет». Действительно, разве могу я послать ее на грубую работу? Единственная ведь она, доченька. Не позволю. Есть кому за нее работать, пусть катается, как почка в сале.

— Да, девичьи годы дважды не приходят. Выйдет замуж — успеет наработаться, — вздохнула Кюмеш-енге. — Хорошо, что есть у вас в хозяйстве Айбика. Суций клад.

При упоминании имени Айбики Гайша нахмурилась и с нескрываемым раздражением произнесла:

— Какой уж там клад! Ничего толком не умеет делать. Да и где было ей учиться? Не довелось вести путного хозяйства, разводить скотину, готовить хорошую пищу. Только из жалости и держим, потому что своя. Все же родственницей приходится. И ей на пользу: переймет у нас кое-что хорошего, немного пообтешется.

— А что с ее мужем, не слыхать?

¹ К а з а к е й — национальная одежда, род полукафтана на подкладке длиной выше колен, с рукавами до локтя и стоячим воротником.

— Как записался в коммунисты, так и пропал. В тот год, когда аул заняли красные, он весь наш дом вверх дном перевернул, разыскивая Ишбулата. Мужа моего под стражу посадил. С наганом к нему пристал: «Найди своего сына. Где прячешь офицерскую контру?» Должно быть, русским проданся этот проклятый Юлдыбай. Если бы он признавал родственников, разве поступил бы так с дядей, родным братом своего отца? Уж и не говори про те времена! Как вспомнишь, так волосы на голове дыбом встают. Ладно еще сын успел бежать, Юлдыбай непременно расстрелял бы его. Иногда предстанет все это перед глазами, вспомню бедного Ишбулата — готова загрызть Айбику. А потом думаю, что все не без воли аллаха. Он без всякого сомнения покарал нечестивца Юлдыбая. О, чтоб кости его собаки сглодали!..

3

Гости разошлись поздно. Айбика, прислуживавшая им, валилась с ног от усталости. Еле добралась до своей постели и вытянулась в изнеможении, но то ли слишком утомилась, то ли от горестных дум, не могла сразу заснуть. В углу прихожей скреблись мыши. Монотонно сверлил ночную тишину сверчок. Он стрекотал без умолку, с короткими передышками, навевая воспоминания о родном доме, о детстве.

В памяти Айбики возник маленький домик из необожженного кирпича, без сеней, с дверью прямо на улицу. Подслеповатые оконца затянуты карындыком¹. При каждом хлопке двери карындык приходит в движение, подаваясь то внутрь, то наружу, и издает при этом звук, похожий на отрывистый кашель. В солнечную погоду от окошек исходит золотое сияние, зато в ненастный день или под вечер едва проливается скудный сумрак.

Отец всегда сидит у окна на стуле, подстелив под себя старый войлок. Он занимается ремонтом обуви: тачает или чинит сапоги, подшивает валенки. Лицо у него коричневое, изрезанное глубокими морщинами, и седая борода клинышком. Близорукие глаза слезятся от постоянного напряжения. Он то и дело просит:

— Доченька, вдень нитку в иголку... Доченька, иголка упала, нашла бы ты ее...

Мать готовит для отца тарамыш — нити из конских сухо-

¹ Карындык — брюшина.

жилий. Руки у нее огрубевшие от работы, но ласковые. Даже когда Айбика заслуживала шлепок, эти руки никогда не бывали сердитыми.

Соседки, прибежавшие с заказами, иногда обращались и к матери:

— Бибикай-енге, башмаки распоролись сзади. Подшей чуток.

Они прятали от отца свои лица, закрываясь платками, а мать поучала Айбику:

— Нехорошо открывать лицо перед чужим мужчиной. Это грех. А когда мужчина идет, женщина не должна переходить перед ним дорогу.

Подобными наставлениями и заканчивалось воспитание маленькой дочери. Ей внушали страх перед нечистой силой, пугали возмездием за совершенные и за будущие грехи, прививали беспрекословное послушание старшим.

У отца с матерью было одиннадцать детей. Десять умерли от болезней, в живых осталась одна Айбика. Ей досталась вся неистраченная любовь родителей. Они по мере возможности баловали ее, по мере сил одевали, за столом отдавали лучший кусок. Одно печалило их, что единственный ребенок — девочка. Оставаясь наедине, они делились своим горем, сетовали на жизнь.

— Эх, Бибикай, пришлось нам с тобой на старости лет испытать нужду. Хотя бы Сынтимер жив остался, было бы ему теперь тринадцать лет. Мал, но мужик. Пособлял бы нам. А с меня какой толк? Седьмой десяток разменял. Каков сам, такова и моя работа. Захочешь жать — поясница не позволяет, возьмешься шить — глаза не видят. Ежели бы нам лошадь, так перебились бы в супряге с кем-нибудь.

— Что поделаешь, знать, так аллах предначертал, — перебивает его старуха, суеверно опасаясь, что невольный упрек отца нависнет роком над дочерью. — Люди в старину говорили: имеющий сына плачет и не имеющий его плачет. А девочка у нас — единственная отрада. Вот ведь уже два года, как моим рукам не дает прикоснуться до домашних дел. Если доведется ей пойти в хороший дом да за хорошего человека, глядишь, и нам помощь будет.

Вбегает с улицы Айбика, и тема беседы меняется. Отец вздрагивает, уколов палец иголкой.

— М-м-м-м! Будь я неладен со своими глазами! Лишь найдут облака, так ничего не вижу. Как назло и коробейники не появляются, хоть бы очки какие-нибудь купить.

Мать журит его:

— Летом тебе предлагали, а ты уперся, мол, дорого.

— Еще бы! Сорок копеек заломил, ни копейки скостить не хочет. Давал я ему тридцать пять, не уступил, каналья!

Вот так в одиночестве, за кропотливой работой проходила у старика со старухой вся зима. Никто не приглашал их в гости, никто погостить к ним не приходил. Заглядывали только мелкие заказчики. У более зажиточных людей зимняя пора — праздник. Ходят целыми семьями друг к другу, встречают гостей из других деревень и гуляют неделями, перебираясь из дома в дом. Сегодня позвали тебя, завтра сам пригласи — таков неписанный закон. Но он существовал не для родителей Айбики. Лишь изредка, обычно после жатвы, они готовили каурдак¹, приглашали несколько стариков и муллу, чтобы он прочитал молитвы из Корана и дал благословение.

На дворе бушует буран, наметая сугробы до самой крыши. Ветер завывает в трубе, сквозь щели в окне задувает снег. Несмотря на то, что с утра топили, избенка быстро остывает. Айбика, сунув за пазуху иман-шарты², бежит к жене муллы Фатиме, которая обучает ребятишек грамоте. Платят ей натурой: мукой, яйцами, сметаной, птицей. Отец Айбики не имеет такой возможности, но он шьет сапоги и ичиги для всей семьи муллы.

К тому времени, когда озябшая Айбика возвращается домой, мать, разворошив золу в очаге, извлекает кусочки тлеющего кизяка, поверх накладывает хворосту и посылает девочку открыть трубу. Айбика быстро взбегаёт на крышу, снимает с трубы большой камень и прижатый под ним мешочек с золой, скатывается по обледелой лестнице вниз. Огонь в очаге разгорается. Мать наливает в помятый медный самовар горячей воды, раздувает кизяк, чтобы самовар быстрее зашумел, и ставит его в предпечье. На столе появляются холщовая скатерть, почерневший от времени поднос с тремя чашками. Трещинки на чашках склеены замазкой, ручки поотбиты. Сахара нет. Травяной чай пьют без молока, с темным пшеничным хлебом. Отец, вытирая ладонью испарину, спрашивает об учебе.

— Что сегодня было, дочка?

— Абжат уже начали, отец.

— Это хорошо. Как закончите калиматен³, больше ходить не будешь. Девиде и этого хватит.

¹ Каурдак — национальное блюдо из жареного мяса.

² Иман-шарты — учебник для религиозных школ.

³ Абжат, калиматен — названия глав из молитвенника иман-шарты.

— Ну да,— вставляет слово мать,— знание имана, необходимое для намаза, вполне достаточно для девушки.

Айбика училась в течение трех зим. Она добросовестно твердила чужие, непонятные слова арабских молитв, но часто их путала. Наказание следовало незамедлительно. Фатима была тонким прутом по пальцам, дергала за волосы, выкручивала уши, щедро раздавала подзатыльники. Девочка не могла понять: ради какой цели мать с отцом обрекли ее на такую муку? Но она терпела, ибо именно терпению приучали ее с малых лет.

Не имея достатка, чтобы самим сеять хлеб, родители каждое лето работали на чужих полях. Айбика, когда была совсем маленькой, помогала раскладывать вязки, а в девять-десять лет уже начала жать. Худенькими ручонками она загребала пучок стеблей и взмахивала тяжелым серпом. Тугие колосья били ее по лицу, кололи глаза. Она и ростом-то была чуть выше пшеничного стебля.

Свою худосочную рыжую коровенку они оставляли на лето у соседки. Бабушка Нагима использовала молоко для своих нужд, зато для них заготавливала фунтов двадцать — двадцать пять масла и с полсотни голов корота. После жатвы Айбика с матерью собирали для себя оставшиеся в поле колоски. При удаче домой привозили мешка два пшеницы. С этими запасами кое-как перебивались зиму.

Детские годы сохранились в памяти Айбики как самая счастливая пора, овеванная необыкновенной теплотой. Трудиться приходилось много, но немало было и радостей. То похвалит отец, то мать приласкает. Пошлют в лес за хворостом — вволю наешься ягод. В жаркий день пойдешь с коромыслом за водой — искупаешься в речке.

А когда ей минуло четырнадцать лет, приехали сваты. Ошеломленную, испуганную Айбику выставили из дома, где шел серьезный разговор взрослых. До нее доносился лишь неразборчивый громкий говор и чужой смех.

Сваты долго торговаться не стали, дали шестнадцать рублей магара — выкупа за невесту. К свадьбе зарезали барана. Мулла совершил никах — скрепил молитвой брак. Мать повесила полог¹, накрыла стол. Посуду и большой самовар взяли у соседей. Пригласили немногих родственников. Приехавшая на свадьбу свекровь вошла за полог, где сидела Айбика, пожелала ей счастья и дала традиционные наставления:

¹ За пологом должна находиться невеста.

С суженым соединясь, с очагом будь¹, сношенька!
Шелком белым расстелись, будь проворной,
сношенька!

Свои губы не криви, не злословь зря, сношенька!
Не подсматривай, не шарь вострым глазом,
сношенька!

Желтым скрипнув сапожком и не спрятавши лица,
По соседкам не ходи, сор из дому не носи!
Коршун не собьет тебя, не обидит и злодей,
Если будешь ты сама не робкой средь людей.
Для смиренных и лягушка — жеребец.
Не будь забитой, лоб щелчкам не подставляй!

Бибилай-енге, отозвав своего старика в сторону, спросила:
— Слушай-ка, ведь Айбике еще пятнадцати нет, можно ли совершить никах?

— Да кто ж его знает? — смутился отец. — Мулла, сдастся мне, не меньше нас разумеет.

В маленькой избенке всех гостей не смогли разместить, женщин собрали в доме бабушки Нагимы. Старухи утешали беспрестанно плакавшую мать:

— Брось слезы лить, Бибилай! Испокон веков так ведется, что дочь растишь для других. Хоть еще пять лет держи при себе, все равно она твоей не будет. Девочка в семье — только гостя.

Но у них самих наворачивались на глаза слезы. Они плакали и пели:

Ласточка черная, пестрая шейка,
Ввысь поднялась и пропала бесследно.
Так вот и дочка, дитя дорогое,
Лишь подрастет — улетит безвозвратно.

— Ва-хе-хей... Годы вы, прошедшие годы!..

— Уй-й, что поделаешь, всем нам это пришлось пережить...

Песня не умолкает. Запевает вторая женщина, подхватывает третья. Потом все садятся за стол, закусывают, пьют чай. На улице, между двумя домами, молодые парни и девушки пляшут, поют частушки, ведут игры...

Так Айбика уехала снохой в аул, что в восемнадцати верстах от родного дома. Провожая, одели ее в красное сатиновое платье, плисовый казакей и новые сапожки. На грудь повесили хакал², который мать начала делать еще в ту пору, когда Айбика была совсем маленькой. Голову повязали цветистым кашемировым платком. Приданого за ней не было. Мать, не придумав ничего лучшего, вынесла и положила в телегу

¹ Пожелание семейного счастья, достатка.

² Хакал — женское нагрудное украшение из серебряных монет.

стеганое лоскутное одеяло и одну из двух своих больших подушек.

Подружки Айбики, соседские женщины, дети, старухи, а также отец и мать проводили телегу жениха до самой околицы деревни и долго еще смотрели вслед, пока она не скрылась из глаз.

Примолкшая, будто окаменевшая в последние дни, Айбика тряслась в телеге и безучастно глядела вдаль. В ушах у нее продолжали звучать напутственные слова матери:

— Несчастлиная ты моя доченька! Не смогла я тебя проводить, как положено, повесив сельтяр, надев кашмау, накиннув елян¹. Не подняла красный полог, не погнала за тобой стадо овец. Пусть тебе теперь откроется счастье, ласточка моя!

Мать говорила это, а сама, не переставая, лила слезы и дрожащей рукой гладила дочь по спине.

«Пусть откроется счастье, пусть откроется счастье!» — слова матери припомнились ей сейчас и неоднократно повторились в памяти, но вслед за тем таившаяся где-то в глубине души тяжесть навалилась на сердце горькой мыслью: «Так и не открылось мне счастье!»...

* * *

Показавшаяся впереди мужнина деревня вызвала любопытство у Айбики. Не такая она, как у них. Не по одну сторону речки притулилась, а раскинулась по обоим берегам. Часть домов круто подымается по склону горы. И улицы не прямые, а тянутся вкривь и вкось. Однако здешняя мечеть выше и богаче, ее железная крыша покрашена в зеленый цвет.

Айбике сделалось не по себе при виде незнакомого аула. Здесь живут совершенно чужие люди. Будут они, конечно, наблюдать и испытывать ее и все подмечать: как ступает, быстро ли ходит, не волочит ли ноги; расторопная ли в работе; на оба ли плеча кладет коромысло, когда ходит по воду; умеет ли держать себя скромно перед мужчинами; как ведет себя перед родителями мужа. Придут знакомиться и будут обо всем дознаваться, посудачат, может, посмеются над нею. Теперь уж ей не ходить простоволосой, как было в девичестве, а если ненароком покажешься на дворе в неправильно повязанном платке, то по всей деревне об этом заговорят. Поэтому отныне с умом

¹ С е л ь т я р — богатый нагрудник из монет и кораллов. К а ш м а у — старинный головной убор замужних женщин. Е л я н — верхняя одежда в виде халата без воротника.

надо делать каждый шаг, продумать каждое слово, прежде чем произнести, разговаривать тихо, громко не смеяться.

Айбика ехала и чувствовала себя несчастной. Рядом в тепле сидел муж Юлдыбай, и он тоже чужой, лишь три-четыре дня, как знакомы. Конечно, в сравнении с чужим аулом, с людьми, которых еще в глаза не видела, он и ближе, и приятнее, и добрее. В нем одном теперь вся опора и защита.

За всю дорогу Юлдыбай не произнес ни слова. Он весело понукал лошадь, пел вполголоса и лишь при въезде в деревню сказал:

— Вот это и есть наш аул, кэлэш¹.

Странно было слышать непривычное обращение «кэлэш», оно резало слух и давило тяжестью. Услышав его, Айбика вскинула голову и испуганно посмотрела на мужа. Тот засмеялся:

— Ай-яй, неужто ты заснула?

— Да нет же, я не сплю,— залилась краской Айбика.

Юлдыбай, заметив, что она печальна, оживленно стал говорить, пытаясь смешными словами и шутками развеселить ее, поднять настроение.

Когда воспоминания коснулись этого эпизода, Айбика улыбнулась, представив тогдашнюю свою детскую растерянность. Потом она горько вздохнула, повернулась на другой бок. Сон так и не шел к ней. В памяти, меняясь мгновенно, всплывали картины минувших дней.

Надо отдать должное Малыбаю и Фагиле-эби², они приняли сноху как родную дочь. В первые дни Айбика стеснялась в чужом доме и очень робела. Ей хотелось угодить старикам и мужу. Она поспешно бралась за любую работу, стремясь все сделать лучше. Как-то поднялась раньше свекрови, чтобы подоить корову. Буренка, почувствовав незнакомые руки, брыкнулась и опрокинула полный подойник. У Айбики в глазах потемнело от горя. Надо же так опозориться!

Все это видела Фагиля-эби. Она молча наблюдала за снохой с крыльца и, не сказав ни слова, ушла обратно в дом.

За завтраком Айбика не поднимала глаз от стола. Фагиля-эби, скрыв лукавую усмешку, скорбно сморщила лицо и произнесла, искренне охая:

— Совсем стара я стала, руки не слушаются. Сегодня уронила ведро. Так не обессудьте, что чай без молока. Отныне, килен, тебе доверяю свою корову.

¹ К э л э ш — женщина, недавно вступившая в брак.

² Э б и — бабушка.

В скором времени Айбика пообвыкла, обрела уверенность. Семья Малыбая ничем не отличалась от других бедняцких семей: те же дела и заботы, та же простота обычаев. Много было детей. Большинство из них, как и в других домах, покидали мир еще в младенческом возрасте от недоедания и болезней. У Малыбая остались в живых два сына и дочь. Чтобы вырастить их, он нанимался с женой пасти деревенское стадо. Заработок пастухов да урожай с небольшого клочка земли позволяли кое-как сводить концы с концами. Лишь когда подрос Юлдыбай, старики вздохнули облегченно: появился надежный помощник.

Фагиля-эби, несмотря на подорванное здоровье, жила в постоянных хлопотах. Весной и осенью ходила по домам стричь овец и верблюдов. Из полученной в уплату шерсти вязала шарфы и варежки. Сама выделявала овчину, шила тулупы и шубы. Домашнее хозяйство вели Айбика и подрастающая мужнина сестра Сибяр.

К концу лета, быстро справившись со своими посевами, Юлдыбай с женой уходили жать по найму. С этой работы они не возвращались до поздней осени. Юлдыбай и зимой нанимался в работники к богачам.

Так промелькнули два года замужества. День сменялся другим днем, одна работа подгоняла другую, так и жили, опираясь на одну корову и единственную лошадь, когда началась «германская война». После одного-двух наборов дошла очередь и до Юлдыбая, погнали его на фронт.

С его отъездом дом осиротел. Младший сын Малыбая Эптерей, возивший сено баю Исянгулу, промок под холодным дождем, заболел и, пролежав месяц в постели, умер. Шестнадцатилетнюю Сибяр той же осенью выдали замуж за вдовца из своей же деревни. Старик со старухой остались на попечении Айбики.

— Только ты одна и есть, на кого мы можем надеяться, — говорила Фагиля-эби. — Один сын здесь умер, другой там на волоске от смерти ходит... Может быть, и вернется, если прекратится война. На все воля царя-государя, как он захочет, так и сделает.

Письма от Юлдыбая в первое время приходили довольно часто. Но вот он стал писать все реже и реже. Иногда молчал по полгода. И тогда Фагиля-эби с нетерпением ожидала людей, ездивших в волость, бегала к таким же, как и она сама, старухам, сыновья которых ушли на войну, ожидая услышать хоть какие-нибудь новости, плакала вместе с ними. Малыбай, тоже охваченный глубоким горем, день-день-

ской слушал причитания своей старухи и тяжело вздыхал.

Подошла осень 1917 года. Дни стояли ненастные, мрачные. То польет холодный, тяжелый дождь, то закружатся в воздухе белые снежинки — колючие, злые вестники суровой зимы.

Как-то в один из таких дней свекор, укрывшись шубой, дремал в углу на нарах, а Фагиля-эби сидела у окна, разбирала конский волос, чтобы потом сплести из него недоуздок. Айбика теребила шерсть. Настроение у всех было под стать погоде. Да и было отчего: запасов нынче на зиму нет никаких. Для коровы нет сена. Война разорила почти весь аул. А самое главное — нет Юлдыбая. Ни слуху ни духу о нем, как в воду канул. Жив ли он, или его сразила чужеземная пуля? А может быть, убили свои? Сколько тревожных слухов доносится о том, как правительство жестоко расправляется с непокорными солдатами.

— Кажется, похолодало в доме, — зябко поежилась свекровь. — Килен, истолки куже¹ и свари хотя бы на воде. Я что-то проголодалась.

Айбика внесла из стоявшей в сенях кадки тустак² пшеницы, замочила ее, затем измельчила в деревянной ступе. Вскоре в котле закипела вода, по дому распространился вкусный запах разварившихся зерен. Только собрались сесть за стол, как резко рванулась дверь, вбежала запыхавшаяся Хатира, дочь дальнего родственника Ирмета.

— Атак³ дитя мое, потише, — произнесла старуха, но девочка, не переводя дыхания, радостно закричала:

— Фагиля-эби, хиенсе⁴! Я первая сообщила, я раньше всех успела! Дедушка Малыбай, вы слышите, хиенсе!

Все трое вскочили с мест.

— Что случилось, доченька? Какую весть ты принесла?

— Хиенсе, Айбика-енге! Что дашь, говори скорее!

— Целый самовар чаю одной тебе, а что у тебя, скажи?

— Дядя Юлдыбай вернулся! Отец ездил на базар, дядя Юлдыбай только что приехал вместе с ним. Я первая прибежала...

Ноги у Айбики словно ватными сделались. Вместо того, чтобы сразу выбежать на улицу, она бессильно опустилась на краешек нар. Смешались все чувства. От лица отхлынула кровь. Но все это продолжалось только мгновенье. В сле-

¹ Ку же — размятые зерна пшеницы для каши.

² Тустак — деревянная чаша, нередко служащая мерой.

³ Атак — восклицание, выражающее удивление.

⁴ Хиенсе — радостная весть; принесшему ее полагалось вознаграждение.

дующую секунду Айбика уже стояла одетая, обутая, однако выйти навстречу не успела: появился сам Юлдыбай, а вместе с ним Ирмет.

На Юлдыбае была серая шинель, подчеркивавшая страшную худобу его лица — одни глаза остались да широкая улыбка. На голове поношенная высокая шапка, на ногах здоровенные ботинки с обмотками. Войдя в дом, он бросил на нары походный мешок. В первую очередь поздоровался с отцом, с матерью, после — с женой.

— Господи, явь это или сон? Я уж думала, нет в живых моего сыночка! Бороденкой, смотри-ка, весь оброс, — приговаривала мать, суетясь около сына, вытирая рукавом глаза. Не было предела радости отца. Его сморщенное лицо, выцветшие глаза и беззубый рот дрожали в улыбке...

Сбежались соседи. Подсев к Юлдыбаю поближе, расспрашивали его обо всем. Молодые солдатики, смущаясь перед мужчинами, шептали свекровям на ухо:

— Мать, спроси у Юлдыбая, не видал ли он твоего сына?..

Молодухи с доброй завистью смотрели на Айбику и тихо вздыхали, вспоминая своих невернувшихся мужей, а матери переговаривались между собой:

— Бедняга Юлдыбай! Хлебнул из горькой чаши. По крупинке собирал свою судьбу, разбросанную на чужбине. Вернется ли мой сыночек, или умер он где-нибудь, закатив глазыньки?..

— Не дорогу ли предвещают мои сны? — вопрошает другая женщина. — Сегодня я видела, будто стою на берегу светлой речки и умываю лицо хорошим душистым мылом. Пены много, никак не могу ее смыть. Тут меня сноха Зулейха и разбудила.

— Хороший сон, дорогу сулит, — толкуют старухи. — Речка всегда к дороге, мыльная пена — лошадиный пот. Приедет твой сын, если будет милостив аллах...

В избе не протолкнуться. Уходят одни, приходят другие. Собрались и бывшие солдаты. Стоит неумолчный гомон. Душно и жарко от пара, валящего из котла, от табачного дыма и дыхания множества людей. Кто-то говорит:

— Ну, Юлдыбай, рад небось что приехал? Вот и мы вернулись, скинув царя. Ты как, через Самару ехал? А-а, потому и не встретились в дороге. Мы возвращались кружным путем, через Саратов, потом добрались до Яика...

Юлдыбай отвечает и сам задает вопросы, то и дело здоровается с входящими, видит возбужденные и радостные лица.

Многие из вернувшихся солдат — инвалиды. У одних не-

достаёт руки, другие хромают, третьи мучительно кашляют, хватаясь за грудь. Вспоминают прошлые времена, разные события, боевые схватки, ранения, лазареты, а кое-кто и пребывание в плену. Но чаще всего разговор заходит о свержении царя и прекращении войны.

— Как узнали мы, что возвращается из-за границы Ленин, все пошли на вокзал встречать его, — рассказывает Хусаин, побывавший в Петрограде. — Собрались рабочие, мы — солдаты и матросы. Ленин поднялся на броневи́к да как заговорит — от счастья прямо хоть ложись и помирай. Заводы — рабочим, земля — крестьянам, говорит. Царизм свергнут, завоевана свобода, да здравствует социалистическая революция!.. Мы, братец мой, кидаем в воздух шапки, кричим «ура». А радость такая, что не передать. Так и хочется подойти к Ленину и рассказать все, что на душе набралось.

— Стало быть, ты Ленина своими глазами видел?!

— Не просто видел, а стоял совсем близко. Расстояние между нами было такое, как вот сейчас до того места, где сидит дедушка Малыбай.

Хусаина обступили еще теснее, забросали вопросами.

— Ну, ну, какой он человек? Наверное, огромного роста?

— Раз он Ленин, так, должно быть, военный?

— Нет, не так, вовсе он не военный и ростом не велик. Обыкновенный человек, обыкновенного роста, широколобый, с большой головой. Пальто на нем, на голове кепка. Сняв ее, зажал в руке и начал говорить. Простой такой. Свой.

— Да неужто обыкновенный?

На лицах у многих восхищение, смешанное с удивлением. Некоторые думают про себя: «Не станет же обманывать Хусаин, раз своими глазами видел».

А женщины, подслушавшие рассказ Хусаина, толкуют меж собой:

— Кто он такой, про которого говорят?

Многознающая старуха Хабби отвечает:

— Сказывают, это тот самый человек, который войну остановил. Он же и пошел против царя и скинул его. Солдатам сказал, чтобы не воевали, вернулись домой и что за это ничего плохого им не будет.

— Вероятно, какой-то святой человек он. Раз поперек самого царя пошел, значит, не пустой человек...

И опять кипят страсти, обсуждаются бесконечные, самые свежие новости...

Радость Айбики беспредельна, будто и не было нескольких лет нужды, горестных дум и печали. Она ходила по дому, окры-

ленная счастьем: в доме снова появился хозяин, муж — опора семьи.

Юлдыбай был два раза ранен, долго лежал в госпиталях. Он порядком отоцал и обессилел, но благодаря заботам домашних вскоре поправился и окреп. Айбика предполагала, что он наймется, как и прежде, к мулле или баю Исянгулу — надо ведь зарабатывать на жизнь. Однако Юлдыбай неузнаваемо переменялся, хозяйство перестало его интересовать. Он целыми днями пропадал на сходках, занимался дележом байской земли, выборами в Советы. Порою и поесть домой не приходил.

«Раз война закончилась, надо бы ему посидеть спокойно», — думала Айбика. Она не раз пробовала высказать свою мысль Юлдыбаю, но тот лишь смеялся в ответ:

— Эх, жена, моя женушка, дела сами не делаются. Пришла свобода, все в наших руках. Нам теперь и работать надо, и строить жизнь на свой лад. Вот будем весной землю делить между бедняками, и надо сделать так, чтобы верховодили там не баи, а сами бедняки.

Кое-что из рассказов Юлдыбая Айбика понимала. Она была вовсе не против того, чтобы у баев отобрали лишнюю землю и имущество, передали беднякам. Что же касалось самой революции с ее словами: «рабочие, заводы, Ленин, Керенский, большевик, меньшевик» — все это было непонятное, незиданное и неслыханное, представлялось чем-то нереальным и расплывчатым, похожим на сон.

Недолго длились эти мирные дни. И года не прожил Юлдыбай дома после своего возвращения, записался в Красную гвардию и, веселый, снова собрался на войну.

Старики умоляли его:

— Не уходи, сынок, не оставляй нас одних на старости лет. Неужели тебе не надоело воевать? Чуть показался на глаза — опять покидаешь. Столько лет тебя жена дожидалась. Спасибо ей, бедняжке, не бросила нас в беде. Оставайся, не уходи!

У матери опять не просыхали глаза.

— Мама, понапрасну не лей слезы, — утешал ее Юлдыбай. — Я ведь ненадолго уезжаю. Пройдет месяца два, самое большее — три, и, вот посмотрите, я опять вернусь. Теперь не воевать нельзя. Сами слышали, как беднякам обещали землю, а баи не хотят отдавать ее. Теперь собственную власть будем отстаивать.

И опять его проводили со слезами. Айбика только и смогла вымолвить: «Возвращайся поскорее, ладно?» Все слова застребали в сдерживаемых рыданиях.

После отъезда Юлдыбая в доме стало пусто и темно, словно после покойника. Старуха, подавленная недобрыми предчувствиями, причитала:

— Господи, что за сын у нас уродился! Как это можно по своей воле в пекло лезть! Коли себя не жалеет, подумал бы о нас — долго ли нам с отцом жить осталось?!

Прошло три месяца. Полгода минуло — Юлдыбая все не было. В ауле стояли белые. Каратели арестовали двух большевиков. Они были инвалидами и не успели вовремя скрыться. Над ними долго издевались, потом зверски убили. Айбика с ужасом думала, что и с ее мужем могли бы поступить так.

Гражданская война затянулась. И все же счастье еще раз, хотя всего лишь на один день, улыбнулось Айбике. В середине девятнадцатого года, преследуя белогвардейцев, в деревню ворвался отряд Юлдыбая. В течение всего дня разыскивали попрятавшихся беляков, арестовали сына муллы, обыскали дом Кутлуяра, но его отпрыск — офицер Ишбулат — успел бежать. Юлдыбай заглянул к себе лишь на минуту. Ему не хватило времени даже чаю попить.

Фагиля-эби с Айбикой быстро сварили баурсак¹, сложили его в мешочек, подали Юлдыбаю — в дороге пригодится. Тот не стал брать.

— Зря вы беспокоитесь, — сказал он.

И все же мать засунула баурсак в его зеленую брезентовую сумку.

К вечеру отряд ушел из аула. Это была последняя встреча Айбики с Юлдыбаем. Правда, от Юлдыбая однажды пришло письмо. «Всем полком отправились в Петроград», — писал он. И с тех пор пропал навсегда. С наступлением мирных времен вернулись в аул те, кто остался в живых, но никто из них ничего не знал о судьбе боевого товарища.

Свекор со свекровью умерли в голодный год, когда кончились в середине зимы все припасы. Похоронив стариков, Айбика и сама ждала смерти. У нее с голоду опухло лицо. Она ела все, что попадало под руку, а если удавалось раздобыть лебеду, старалась растянуть ее подольше, съедала по горсточке в день. Все же молодой организм выдержал.

В деревне открыли бесплатную столовую, стало немного легче, хотя и там кормили плохо. Дело в том, что в ту пору председателем сельсовета был Хусаин, близкий друг Кутлуяра, в доме которого и разместили столовую. Продукты про-

¹ Баурсак — мелкие шарики из теста, замешанного на яйцах, сваренные в масле.

ходили через руки «своих» людей, они пудами делили между собой белую муку, какао, рис, голодающим доставались крохи. Недовольным угрожали, что перестанут совсем кормить. Зато жены богачей за фунт муки или мяса выменивали серебряные монисты, самовары, перины, подушки.

Тогда-то Кутлюяру и понадобился человек, который мог бы исправно вести домашние дела. Желающих нашлось бы много, но его выбор пал на Айбику: ей можно не платить, мало того — благодетелем будешь выглядеть. Айбика вынуждена была согласиться. Да и что оставалось ей делать? В доме ни дров, ни еды. Тоска да одиночество.

У Кутлюяра Айбике приходилось не сладко: изматывала бесконечная работа, ранили душу несправедливые попреки. Но в глубине сердца теплилась надежда, что Юлдыбай когда-нибудь вернется, и жизнь тогда переменится.

При воспоминании о муже из глаз Айбики выкатились крупные слезы. Всем телом она вздрогнула, заслышав шаги на крыльце. Показалось, что пришел Юлдыбай и стоит у двери, не решаясь войти. Сейчас он тихо и ласково позовет: «Айбика-а!» Только почему его голос похож на голос Гайши? Почему он сердито ворчит?..

Айбика очнулась, ощутив на щеке холодок от мокрой подушки. Скрипнула дверь. Звякнула крышка кумгана. Показалась Гайша.

— Господи, боже мой! Ты только еще встаешь? Охо-хо, гораздо спать. С вчерашних сумерек заваливаешься... покуда солнце не взойдет...

Какое там солнце — едва начинало светать...

4

Солнце, своим сиянием и теплом несущее в течение дня радость всему живому, склонилось к закату, спряталось за лесом, растущим на гребне горы. Последние багровые лучи пробились между деревьями множеством огненных копий. Легли на землю длинные тени. Со стороны речки повеяло прохладой.

Айбика выпустила на волю кобылиц и, боясь опоздать, поспешила в нижний конец деревни встретить стадо. По дороге ей повстречались учительницы Хадиса и Алмакай.

— Айбика-енге! — воскликнула Хадиса. — Подожди-ка, остановись! Мы как раз к тебе направлялись.

— Ну, что? — нетерпеливо откликнулась Айбика, замедлив шаги.

Хадиса подошла поближе.

— Ишь ты, как спешишь! Погоди, поговорить надо бы.

Айбика остановилась, поочередно оглядывая девушек. У белокурой, синеглазой Хадисы открытое, приветливое лицо. На ней хорошо отглаженная белая кофта с черной юбкой, на ногах носки и новые сандалии, на голове красный платок, завязанный сзади узлом. Алмакай одета поскромнее, но тоже нарядно. Она без платка, черные волосы коротко пострижены, на загорелом лице светятся темные глаза.

— Ну, что? — повторила вопрос Айбика. — Выкладывайте поскорее, вон уже мои коровы близко.

Девушки заговорили, перебивая друг друга:

— Приходи сегодня в клуб, енге. Вначале у нас собрание, а потом спектакль. Будет очень интересно. Придешь?

Айбика даже вздрогнула:

— Что вы, мои красавицы, где уж мне в клуб ходить! Не только туда пойти, даже если узнают, что разговариваю с вами, начнут ругать. И работы много у меня, повернуться некогда. Зовите других.

Она двинулась было с места, но Хадиса и Алмакай, не обращая внимания на отговорки Айбики, остановили ее, взяв за руки.

— Ты пустое не мели. Почему боишься Гайши? Что она — свекровь тебе или мать? Коровы ее, пусть сама их встречает.

— Много дел, говоришь, а разве клуб — это не дело? Какие у Гайши права на тебя? Если начнет ругаться, уходи от них. Ко мне переходи жить, — решительно сказала Алмакай.

— Так-то оно так... — задумчиво протянула Айбика.

— Нечего тут рассуждать. Мы и в прошлый раз искали тебя, ждали, а ты не пришла. Смотри, обидимся, — продолжала Алмакай, а Хадиса подхватила:

— Ты какая-то странная, енге. Сторонишься всех, как дикарка. Ты в клубе одна, что ли, будешь? Все женщины соберутся.

Айбика заколебалась, уже дружелюбнее и мягче посмотрела на девушек.

— Не знаю как и быть, — сказала она. — Ужин своим еще не приготовила. Если управлюсь с делами, подумаю.

— Управишься! Собрание начнется только в восемь.

Айбика с улыбкой пошла дальше. Алмакай ей в спину крикнула:

— Смотри, енге, уговор не нарушай!

Девушки, оживленно переговариваясь, направились в сторону клуба.

За речкой Аккондоз — будто черное облако поплыло по земле — двигалось стадо коров и овец. В ожидании его у моста столпились девушки, женщины, старухи, маленькие девчонки и мальчишки. Женщины судачили между собой. Девушки, поигрывая ивовыми прутьями, громко перешучивались, звонко хохотали, рисовались перед подружками, то и дело приглаживая волосы, одергивая платья и кофточки. Дети шалили, бегая наперегонки, взрослые на них покрикивали.

Стадо сгрудилось у запруды. Животные долго и смачно пили. Суетливо металась ягнята. Потеряв их, испуганно блеяли овцы. Мычали коровы. Щелкал бич пастуха. Несколько непривязанных телят прибежали к стаду и, разыскав своих маток, начали тыкаться к их вымени. Среди баб поднялся переполох.

— Карлугас-енге! Беги скорей, твою корову сосут. Теленок вон от той, с белой полоской на спине. Только что припал к ней, беги!

Карлугас, охая и ахая, подбежала к корове, оторвала присосавшегося к ее вымени теленка. Она во всю мочь легких ругала и теленка, и корову, и своего трехлетнего сынишку, уцепившегося за подол платья:

— Уй, глупый телок, прокляни тебя аллах! Хаш! Будь ты неладна, беспутная корова! Хаука! Уй, испортила ведь молоко-то! Да еще навязался на мою душу этот благословенный малец, повернуться не дает, прости господи! Айда, шагай, гони теленка! Вот, возьми этот прут и гони!

Малыш послушно подобрал с дороги прут и, шмыгая носом, подтягивая свободной рукой сползающие штанишки, погнал теленка. Ему ли не знать, что под горячую руку этим же прутом может достаться самому. Даже когда он споткнулся и упал, больно ушибив коленку, то лишь тихо захныкал. Мать снова закричала:

— Шагай проворнее, проклятый! Говорила тебе — не ходи. Чего реवेशь? Распустил нюни. Прекрати сейчас же!

Некоторые старушки, ласково похлопывая по спине своих таких же дряхлых, как и сами, кормилиц-буренушек, шли с ними рядышком. Мальчишки затеяли гонки — ухватят то одну, то другую корову за хвост и стеганут прутом. Коровы лениво начинали бежать по направлению к дому, колыхая раздутыми боками и переполненным выменем. Женщины набрасывались на озорников с бранью:

— Ах ты, чертов сучок! Сколько раз предупреждала, чтобы не гонял сытую корову!

Мальчишки ловко увертывались от подзатыльников.

В это время в нижнем конце запруды через каменный брод начал перебираться на ту сторону, на луга, косяк лошадей. И там, усиливая общий гвалт, тонко ржали жеребят, ржали кобылицы, брыкались с храпом жеребцы.

В толчее и суматохе Айбика отделила коров, овец и коз Кутлуяра и погнала их домой. Вскоре стадо растеклось по всей деревне, шум и гам постепенно затихли, но в воздухе еще долго висела, не оседая, желтая туча пыли.

* * *

Айбика быстро закончила вечернюю дойку, подала ужин хозяевам и, никому ничего не сказав, пошла в клуб.

Собрание уже началось. На сцене, освещенной двумя керосиновыми лампами, стоял накрытый красной материей стол. Сидели за ним незнакомые, по-видимому, приезжие люди. С докладом выступал батрак Сирай, выбранный недавно председателем сельсовета вместо подкулачника Абдуллы.

Когда Айбика вошла, ей показалось, что весь зал с любопытством уставился на нее. Она уже хотела повернуть обратно, но к ней подошла Алмакай, взяла за руку и усадила рядом с собой. Шепотом сообщила, что речь идет о кооперации, а приезжие — это шефы из города.

Сирай говорил нескладно, с трудом подбирая слова, но в голосе его звучала убежденность:

— Так что, товарищи, этот вопрос мы часто ставили на собраниях, говорили много, теперь пора переходить к делу. Вот и товарищи шефы дают слово помочь нам. Сельскохозяйственные орудия можно получить в Наркомземе, в длительную рассрочку. Что же касается кооперации, то и здесь с середины зимы наметились хорошие перемены. Раз так, на мой взгляд, больше нечего ждать, возьмем да и переселимся все в новый аул, начнем работать артелью. Вот и все, что я хотел сказать, товарищи...

Вопрос о переселении оказался злободневным. Речь шла о том, чтобы основать за речкой Аккондоз другую деревню, где собрались бы только те, кто вступает в артель. Места там более удобные и пашни рядышком. Было ли это вызвано тем, что старый аул лепился по склону горы, уступив лучшие участки богатым домам, или желанием начать новую жизнь на новом месте — сказать трудно. Горячие головы выступали за, но и возражений было немало.

После Сирая поднялся середняк Хусаин.

— На словах у тебя все легко и гладко, Сирай,— об-

ратился он к председателю. — А как все обернется? Тебе-то хорошо. Как говорится, нет ни кола ни двора. Взял пожитки да пошел. А у нас, хоть небольшое, есть хозяйство, постройки всякие. Коли переселяться, нужно дом разбирать по бревнышку, амбары переносить и сызнова ставить. Весь свой достаток придется издержать. Нет уж, дорогой, чем затевать возню да надрываться, спину гнуть на других, лучше остаться на месте. Как-никак у меня две лошади, три коровы. И семью прокормлю, и хозяйство останется целым.

Со скамеек, где расселись сынки богачей и зажиточные крестьяне, слышались голоса:

— Правильно говоришь, Хусаин-агай, выложи им всю правду!

— Брось, Хусаин-агай, — крикнул кто-то из другого угла. — Ерунду мелешь. Мы обо всем как следует договорились на прошлом собрании. Ты тогда не пришел, а теперь греметь начал.

Поднялась с места Габида-енге:

— Ты, Хусаин, поешь с чужого голоса. Почему тебя не было в тот раз? Потому что сидел у Кутлюяра и пил его брагу. Думаешь, мы не знаем? Вот и подпеваешь ему теперь. Никто никого силой не принуждает. Хочешь — переселяешься, а не хочешь — сиди в подкулачниках!

— Осторожно кидайся словами! — вскипел Хусаин. — Может быть, я для себя выяснить хочу. Имею же право высказаться. А вы, бабы, все на свой лад перетолкуете. Дали вам волю на свою голову!

— Какой толк из того, что ты мужик? — рассердилась Габида-енге. — У любой бабы ума больше, чем у тебя под шапкой!

Председатель вынужден был прервать разгоревшуюся перепалку и поставил вопрос на голосование. Все, за исключением десятка воздержавшихся, подняли руки.

Потом выступила Алмакай. Она говорила о неграмотности и отсталости женщин, о том, что они перегружены работой в хозяйстве и заботой о детях, обрисовала возможности, которые откроются перед ними в артели. В этом должна им помочь молодежь, в том числе и те, кто приехал с учебы на каникулы.

Айбика слушала внимательно и вместе с другими хлопала в ладоши. И робость, и сомнения, которые сковывали по пути на собрание, вмиг улетучились. «В самом деле, чего же это я боялась?» — подумала она.

Здесь говорились слова, близкие ее сердцу. Они западали

в душу. И Айбика расхрабрилась, подняла голову и стала разглядывать людей, пришедших на собрание. В клубе собралась почти вся деревенская молодежь. С грудным ребенком пришла на собрание жена Сирая. Много других знакомых лиц. Вон, в четвертом ряду, сидят сын муэдзина Фазлый с сыном бая Абдуллы, о чем-то тихо переговариваются между собой, что-то шепчут на ухо Хусаину, глядя в сторону женщин, нагло ухмыляются. Сами-то они пришли без жен.

После собрания начался спектакль, и когда он кончился, несмотря на то, что было уже поздно, люди не спешили расходиться. Айбика позабыла об усталости. Она возвращалась вместе с Алмакай, Хадисой и другими девушками. Догнала их Хуснуй-енге, тетушка Алмакай.

— Айбика, подруженька, неужели и ты пришла? Что-то не видно тебя было прежде. Хорошо сделала, так и надо. Мы вот всем домом выбрались.

— Плюнь через плечо, енге, не то сглазишь, — засмеялась Алмакай. — Я уж сама не нарадуюсь, что она с нами.

Впереди с товарищами шел брат Алмакай Таймас. Они обсуждали собрание и спектакль. Доносились отдельные их реплики:

— Хадиса молодец, очень хорошо получается у нее остатика.

— А на Акая посмотрите — вылитый Кутлуяр! И пузо так же выпятил. Неужели подушку засунул?

Оживленно, весело расходилась молодежь по домам.

С этого дня Айбика не пропускала ни одного собрания. Она записалась и в число переселенцев в новый аул. Кутлуяр и Гайша, по-видимому, еще не знали об этом. Проведав о самовольных отлучках Айбики, Гайша решила, что та завела себе кого-нибудь, и еще больше заставляла ее работать.

Кутлуяр в последнее время возвращался домой расстроенный, бранил жену и детей, придирался к Айбике. От его благодушия не осталось и следа, он уже не смеялся, как прежде. Даже при гостях хмурился, а когда кто-нибудь упоминал про колхоз, выходил из себя от ярости:

— Пускай переселяются! Пусть выметаются все из аула! Коли аллах не дал, разве что-нибудь прибудет у них, если сообща начнут работать? Вместе хлеб посеют, вместе жить будут, а потом и жен сделают общими. Нечего сказать, дожили! Конец света так и описывается в священных писаниях.

Конец света, наверное, действительно был близок, но только для самого Кутлуяра, потому что он, забыв про свою

спесь и высокомерие, мотался по всему аулу, уговаривая людей не записываться в колхоз. Он действовал где лестью, где угрозой, сея сомнения среди колеблющихся, но чаще и чаще встречал отпор даже там, где никак не ожидал. Самый ощутимый удар, пожалуй, нанесла ему Айбика. Да, та самая тихоня-Айбика, в которой он был уверен так же, как в собственных баранах.

Дело было так. Кутлуяр беседовал с соседом Суяргулом, увещевая его:

— Про безбожников, потерявших всякий стыд, и говорить не хочу. Им все одно. Но как мог попасть в волчью стаю ты, почтенный Суяргул, уважаемый всеми хозяин? Лишь потому, что твой мальчишка комсомольцем стал? Только дурной конь за стригунком увязывается. У тебя же, благодарение аллаху, есть достаток. Чем лишаться заслуженного покоя, не лучше ли было бы лежать себе дома да возносить молитвы всевышнему?

Старый Суяргул поправил на голове войлочную шляпу, погладил седую бородашку и, подумав немного, умиротворенным тоном сказал:

— Я молюсь теперь каждый день. Был грех, потерял однажды веру в аллаха. Сколько лет просил его снизить до моей бедности, дать корову и лошадь, чтоб спасти семью от нужды, но мои мольбы остались неслышанными. Лишь после того, как появились Советы, освободили бедняков от налогов и помогли им, завелись у меня две коровы, лошадь, другая скотина. Не иначе, как сам аллах принял советскую веру.

Кутлуяра передернуло от его слов. Суяргул, усмехнувшись, продолжал:

— Ты назвал меня дурным конем. Старики говорят: ум не в возрасте, а в голове. Вот и сын мой, хотя и молод, раскрыл глаза мне, старику. Есть еще поговорка: голый воды не боится. Так мы с будущей весны переселимся в новый аул и заживем там. Да ты что обо мне печешься, если и в твоём доме умные люди нашлись?

— Кто?! — рявкнул Кутлуяр, сразу переменившись в лице.

— Разве Айбика-килен раздумала? — удивился Суяргул. — Она собиралась. Я думал, ты знаешь...

Кутлуяр пришел домой чернее тучи. Увидев работавшую во дворе Айбику, он не сказал ни слова — не устраивать же скандал на улице. Вошел в комнату, тяжело сел, положив на стол сжатые кулаки, и только тогда велел позвать ее.

— Ты послушай меня, килен,— сказал он с мрачным спокойствием, едва удерживая накипавший внутри гнев.— Плохо ли тебе жилось у меня? Сыта ли не была, ходила ли разутой? Я вырвал тебя из когтей голодной смерти, принял, как свою родственницу, а чем ты меня отблагодарила?! Опозорила перед всем аулом! На собрания ходишь, переселяться надумала. И все тайком. Плох ли я, хорош ли, а все-таки родной брат твоего свекра, и тебе следовало бы потолковать, посоветоваться со мной.

— У нее совести совсем не осталось. Ходит там со всякими. Если бы путная была, то и муж не бросил бы. Не зря говорят, что он совсем в русского превратился. Теперь сама хочешь русской стать? Разве порядочная женщина будет толкаться среди мужиков? Я не удивлюсь, если она завтра и волосы острижет, как Алмакай. Уж они-то научат хорошему, байгуши!¹ — поддержала мужа Гайша.

К их общему хору присоединилась Кюнхылу, выгнанная нынешней зимой из техникума:

— Как же, коммунисткой она заделается!

— Говорят, заживевшая собака на хозяина бросается. Если хочешь жить с нами, сегодня же вычеркни свою фамилию из списка. Слышишь? — повысил голос Кутлуяр.— Иначе вон из моего дома! Не позорь мое имя, уходи.

Айбика, привыкшая к частой брани, слушала хозяев молча, с опущенной головой. Когда она поняла, что ее гонят, сказала с неожиданной решимостью:

— Нашли чем испугать! Я и сама давно хотела уйти. Руки свои, работа где угодно найдется. А ты, Кутлуяр-агай, только сегодня вспомнил, что приходишься братом моему свекру? Где ж ты был, когда он умирал с голоду? Живу я у вас пять лет, а купили ли вы мне какую-нибудь одежонку? Все время ношу ваши обноски. Почему я должна просить вашего совета? Ежели мне нужно посоветоваться, так для этого есть в ауле наш Совет. Он не даст мне умереть с голоду. А вас я не боюсь. Вот подам на суд, вверх дном вас перевернут, а заставят уплатить мне заработное!

Кутлуяр в первую минуту остолбенел, его и без того красное лицо налилось кровью.

— Смотри-ка ты, какая она? Смеет еще говорить! Нищая, дали ей кров и пищу, и вот как она решила отплатить? В суд, мол, подам. Ну и подавай! Кто боится твоего суда, дура?

¹ Б а й г у ш — птица неясный, в данном случае — голодранец.

Да-а, так оно и есть: сделай добро, в ответ получишь зло.

Заложив руки за спину, Кутлюяр забегал по комнате. Он хотел еще что-то сказать, но губы свело судорогой и вместо слов слышалось одно рычание.

Айбики в доме уже не было. Держа под мышкой все свои пожитки — подушку в черном напернике и ветхий стеганный халат — она бежала к дому Алмакай.

Айбику встретила мать Алмакай, Гюльемеш-эби, копошившаяся у очага.

— Детка Айбика, ты ли это? Здравствуй! — подняла она голову. — Проходи, садись, чего же ты стоишь? Вместе чаю попьем. Одной скучно. Таймас со снохой уехали за травой для лошади. Алмакай скоро должна прийти.

Айбика положила вещи на нары, присела возле них и несмело проговорила:

— Бабушка, я к вам насовсем пришла.

— Очень хорошо поступила, — нисколько не удивилась Гюльемеш-эби. — Давно пора. Для твоих живодеров хоть волосами землю подметай, все равно спасибо не скажут. А в честь твоего избавления сегодня курицу зарежем, баньку истопим...

Айбика, не привыкшая долго сидеть без дела, принялась помогать старухе. Она успокоилась, повеселела. Гюльемеш-эби к чаю вынесла сливки, мед. В это время появились Алмакай и Хадиса. Неразлучные подружки кинулись к Айбике, обняли ее, забросали вопросами. Та рассказала им обо всем, что произошло.

— Теперь всыпем Кутлюяру, как положено! — радовалась Алмакай. — Завтра же утром отправим заявление судье!..

5

На углу центральных улиц небольшого города стоит двухэтажный деревянный дом. Его обшитые тесом стены и наличники украшены затейливой резьбой. Глядят на улицу высокие окна с толстым зеркальным стеклом. От других коммунальных и частных домов он отличается тем, что его парадные двери с фигурным козырьком всегда наглухо закрыты, не играют под окнами дети, постоянно задернуты и не шелохнутся белые тюлевые шторы. И только в летние вечера, когда окна открыты, возвращающиеся из кино или театра люди слышат доносящиеся изнутри звуки пианино, серебристый женский смех, а сквозь густую листву фикусов можно разглядеть кружащиеся в вальсе пары.

Хозяйка дома Райса-ханум, стройная и изящная женщина еще в расцвете лет, подошла к окну, отодвинула штору, вглядываясь в дальний конец улицы. Рассмотреть что-либо подробнее ей мешали морозные узоры на наружной раме: стекло было разрисовано белыми соснами, диковинными листьями, озерным тростником, колосьями, блестками звезд. Все это сказочное кружевное великолепие тоненько задрезжало, когда мимо прогремел по мостовой автобус.

Райса-ханум отошла к трюмо, села в мягкое кресло и начала приводить себя в порядок. Она попудрила лицо, покрасила губы алой помадой, придирчиво оглядела себя, поднимая подбородок и поворачивая в разные стороны голову. Чувствовалось, что она любит себя. И в самом деле, было чем полюбоваться: пышные волосы, черные брови, светлоглазые, опущенные густыми ресницами, с загадочным блеском глаза. Ее смело можно было бы назвать красавицей, если бы не большой чувственный рот с недовольными, капризно опущенными уголками губ.

Вошла и остановилась нянька Закия. Райса, не оборачиваясь, спросила:

— Ребенок уснул?

— Спит. Сунул пальчик в рот и улыбается.

— Сегодня плохо натопили, дома прохладно.

— Я укрыла мальчика синим стеганым одеялом.

В это время с парадного крыльца послышался звонок. Райса вскочила с кресла, расправляя на бедрах домашнее фланелевое платье, сердито сказала Закие:

— Чего стоишь? Ведь слышишь, звонят. Иди, открой.

Заглянув в столовую, Райса возмущенно всплеснула руками:

— Ох, уж эта Салима! Тарелки и приборы расставила, а о салфетках, сколько ни толкуй, опять позабыла. До чего неотесанная, прямо голова кругом идет!

Она достала салфетки, разложила на столе. Определив по шагам, что муж не один, расцвела и оживилась, с приготовленной улыбкой вышла навстречу.

— Ну, Юлечка, ты заставил себя ждать. На целый час опоздал! — кокетливо сказала Райса, поцеловав Юлдыбая в щеку. Когда она увидела, что за ним идет какой-то бедно одетый крестьянин, приветливое выражение на ее лице мгновенно сменилось гримасой недовольства, брови нахмурились.

Юлдыбай бросил портфель на круглый столик в прихожей, начал говорить, раздеваясь:

— Думал уйти пораньше, Райсюк, да заседание было.

Рассматривали важный вопрос. Вот к обеду гостя привел. Познакомься, Райсюк, это друг моего детства, односельчанин. Не стесняйся, проходи, Таймас. Знакомься, моя жена.

Гость снял овчинную шубу, отряхнул от снега валенки и, с откровенным любопытством разглядывая хозяйку, отрекомендовался:

— Хайбуллин.

Райса нехотя протянула руку и тотчас отвернулась к Юлдыбайу:

— А где Хамит-эфенди¹?

— Говоря по правде, я звал его, но он отказался. Много работы, говорит, потому не может прийти. Вероятно, наведется завтра.

Сослуживец Юлдыбая бухгалтер Хамит Терегулов был близким другом семьи Азнабаевых, вернее, самой Райсы. Ей нравился этот лихой танцор, умевший ловко обращаться с дамами и смешить их до упаду остроумными анекдотами. Райса ждала его к обеду, надеясь приятной беседой развеять скуку, и теперь не скрывала своего разочарования. Зато Юлдыбай был радостно возбужден. Встреча с давним другом подняла его настроение. Потирая раскрасневшиеся от мороза руки и нос, он сказал:

— Ай-яй, ну и холодно же сегодня, так и прихватывает. Должно быть, не меньше тридцати градусов.

— Уж и не говори,— откликнулся Хайбуллин.— С трудом терпишь. Особенно когда добирались в санях до железной дороги. Два дня ехали, останавливались погреться в каждой деревне.

Юлдыбай с Таймасом завели разговор, то и дело заливались смехом. Райса все больше мрачнела.

— Обед подан,— сухо сказала она.

Юлдыбай провел Хайбуллина в столовую, пригласил к столу, сам сел рядом с женой.

Кухарка Салима внесла в белой фарфоровой миске суп. Райса молча разлила его по тарелкам и, не произнеся своего обычного «пожалуйста», принялась есть, низко наклонившись над столом. С досады, что вместо Терегулова пришел пропахший потом и овчиной мужик, ей хотелось плакать. Юлдыбай с Таймасом почувствовали нерасположенность хозяйки, их разговор уже не клеился, как вначале.

Как бы Юлдыбай не был доволен встречей с Таймасом, он испытывал некоторую вину перед женой, потому что при-

¹ Э ф е н д и — букв. господин, форма светского обращения к мужчине.

вел его без предупреждения. Сидел он настороженный, как на иголках, опасаясь, что Райса ненароком вдруг унизит гостя.

Таймас тоже держался стесненно и растерянно, будто заблудился и попал в какое-то доселе невиданное место и не знает, как отсюда выбраться. И это его угнетало. Прежде такое состояние он испытывал лишь перед грозными очами земского начальства да перед офицерами на воинской службе.

Едва войдя в дом, Таймас подивился богатству обстановки, но сейчас в нем вспыхнула враждебность к огромным зеркалам, мягким креслам и воздушным шторам. «Жаль, что не осень на улице, не то с удовольствием прошелся бы грязными сапогами вон по тому ковру», — подумал он, вспомнив, как покраснел вначале, когда увидел на блестящем полу мокрые следы от своих больших валенок. С неприязнью он смотрел на Райсу, которая держала ложку кончиками пальцев и, поднося ее ко рту, складывала губы бантиком. А блеск красного лака на ее ногтях раздражал его, как раздражает быка красная рубаха деревенского щеголя.

С иронией поглядывал Таймас на Юлдыбай. Тот казался ему не хозяином, а просто гостем, приглашенным к обеду. Смешно и неприятно было слушать, как он называет ее Райсюком, а она его — Юлечкой.

После супа Салима убрала посуду, расставила другие тарелки и внесла жаренного с картофелем гуся, а потом компот. Покончив с обедом, Юлдыбай сказал:

— Райсюк, я иду в госплан на заседание, вернусь не раньше десяти часов.

Райса удивленно вскинула брови.

— Разве ты забыл, что мы собирались в оперу? Мир не рухнет, если ты пропустишь одно заседание. Его проведут и без тебя.

«Начинается! — подумал Юлдыбай, внешне сохраняя спокойствие. Мягким голосом, но твердо он произнес:

— Невозможно, Райсюк. Будем обсуждать годовой план снабжения колхозов сельскохозяйственными орудиями.

Райса вспыхнула, резко поднялась с места и отшвырнула с грохотом стул:

— Конца не будет твоим заседаниям и планам! Какие-то друзья и дела для тебя дороже, чем я! Не хочешь идти, так я найду себе спутника, — выкрикнула она сквозь слезы и убежала в спальню.

Юлдыбай пошел за ней и долго не появлялся. Наконец вышел насупленный, оделся и сказал дожидавшемуся его Хайбуллину:

— Бежим, дружок.

Закия закрыла за ними дверь на задвижку. На свежем воздухе оба облегченно вздохнули. Некоторое время шли молча, затем Хайбуллин спросил:

— Дети у тебя есть?

— Два сына было. Старший умер, второму шесть месяцев исполнилось.

— Назвали как?

— Арсланом.

Таймас задавал вопросы лишь для того, чтобы нарушить молчание. Ему хотелось беседовать с Юлдыбаем легко и свободно, как это бывало в прошлом. Они оба родились в один год и вместе выросли, одновременно были призваны в армию и солдатами отправлены на войну. И в Красную Армию они записались добровольцами в один отряд. Под Белебеем Таймаса ранило в ногу, он попал в лазарет. Рана зажила, но его признали к военной службе непригодным и отправили домой. С тех пор два друга не встречались. И вот сегодня, когда Юлдыбай позвал Таймаса к себе, он с готовностью согласился и даже имел намерение заночевать у него, однако дело обернулось вон как...

Они прошли еще немного, и Таймас опять заговорил:

— Есть пословица: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Скажу тебе прямо — пропала твоя голова.

— Почему? — залился краской Юлдыбай, прекрасно понимая о чем идет речь.

— Ты еще спрашиваешь почему? Я полагал, ты умнее. Столько пережил. Воевал в Сибири и на Кавказе. Твой отряд, громивший контру под Петроградом, считался одним из лучших. В Москве учился. Состоишь сейчас на нужной и большой работе. Сельхозснабжение — это ведь и руки, и ноги колхоза. Ты наш, ты нужный и дорогой нам человек. Аходишь к тебе будто в какой-то буржуйский дом. Наверное, не забыл еще, как красногвардейцы башкирской бригады, громившие Юденича, выкуривали буржуев из их апартаментов. Мы же с тобой этим занимались. А теперь ты сам такой жизнью зажил. Если бы я знал, что твоя жена из той породы, ногой бы не ступил к вам!

— Оставь, Таймас, ты слишком глубоко забираешься. На мой взгляд, если твой путь правильный, то никакая жена изменить его не сможет. Райса моих дел не касается...

— Ты, Юлдыбай, хотя и говоришь так, а внутри сам себя поглаживаешь. В старину говорили: «Муж — голова, жена — шея». Не знаю, мне кажется, что твоя жена — не только шея...

— Брось, Таймас,— засмеялся Юлдыбай.— Что ты прицепился: жена да жена. Уперся в одну точку.

— Может быть, и уперся,— перебил его Таймас.— Вот ты скажи мне, зачем взял ее в жены? Она ни с одной стороны не подходит тебе. Или ты не видишь этого?

Юлдыбай глухо ответил:

— Эх, Таймас, все рассказывать — длинная история. Таиться перед тобой нечего: я, брат, сильно ошибся. Кабы знал, где упаду, постелил бы соломы. В другой раз, как будет время, расскажу тебе обо всем. А пока оставим этот вопрос. Лучше поведай о новостях, о переменах в деревне.

— Ладно, пусть будет по-твоему,— отступился Таймас.— Однако за пять минут про деревню не расскажешь. Главное — все до одного записались в колхоз.

Он все же коснулся сельских новостей, вспомнил кое-что из прежней жизни. Слушая его неторопливую, умную речь, Юлдыбай тоже ударился в воспоминания. Картины прошлого вставали перед глазами, будто он страницу за страницей перелистывал иллюстрированную книгу.

С какой энергией, с каким старанием работалось и жилось ему в те времена... Остались позади бои под Петроградом, на Кавказе, тысячи бесстрашных красногвардейцев, с которыми вместе шли в атаку, смеялись и пели, вместе проливали кровь. Где они теперь, товарищи, куда их рассеяло, раскидало по жизни?..

В памяти Юлдыбая возникло еще воспоминание, полузабытое, похожее на сон — это Айбика, с которой легко и незаметно прожил он два с половиной года. Юлдыбай хотел порасспросить про нее, но воздержался, предвидя, что Таймас с присущей ему прямоотой скажет еще более резкие, более горькие слова. Зачем ворошить прошлое? Пути разошлись одиннадцать лет назад, и никогда не свести их в одну дорогу. Все должно было забыться и забылось, хотя где-то на душе и оставалась незаживающая, пробуждающая сладкие воспоминания, рана.

Таймас, продолжая рассказывать об ауле, между тем коснулся и предмета тайных дум Юлдыбая.

— Помнишь старого Суяргула, что жил по соседству с твоим дядей? Председателем колхоза стал у нас его сын Алтынбай. А заместителем знаешь кого выбрали? Айбику.

Юлдыбай даже приостановился от неожиданности, хотел спросить: «Какую Айбику?», но и сам понял, что речь идет о его бывшей жене. Таймас, не прерывая своей речи, продолжал:

— Повидать бы тебе сейчас Айбику — ты, брат, сразу и не узнал бы ее. В двадцать шестом ее приняли в партию. В прошлом году закончила курсы трактористов. Пашет так, что мужчины за ней не угонятся. Она твою жидконогую Райсу одним щелчком перешибет. И грамоте самой первой из женщин научилась у Хадисы.

Таймас победоносно посмотрел на Юлдыбая, тот поперхнулся и сдавленным голосом спросил:

— Что, она замужем?

— При живом-то муже?! — усмехнулся Таймас. — Ты напрасно ее бросил. Ни разу даже письма не прислал. Ведь сколько лет тебя ждала, не зная где ты и что с тобой.

— Я думал, она умерла в голодный год вместе с моими стариками, — пробормотал Юлдыбай. — Сколько людских жизней тогда унесло... Как она жила?

— Много нужды испытала. В голодный год начала батрачить у Кутлуяра. Не платил он ей, издевался. Вырвали мы ее из его рук, самого поприжали как следует. По суду за все четыре года с него взыскали. Мало того, в тот год, когда ушла Айбика, у Кутлуяра обнаружили около тысячи пудов спрятанной пшеницы. Если рассказать о всех происшествиях хлебозаготовительной кампании, то слов не хватит. А Кутлуяра, его родственников Абдуллу, Кургашбая, Сыбара Шарипова и муллу Хаммата раскулачили, конфисковали имущество, а самих выгнали из аула, на поселение отправили.

— Да, много времени прошло. Легко сказать, одиннадцать лет исполнится скоро, как я ушел из аула. Очень хочется приехать повидать, но никак не удастся. Вначале учебу старался закончить, приходилось много заниматься. А теперь, как видишь, работа. Отпуск месячный, но то одно дело, то другое, не хватает времени.

Они уже дошли до места работы Юлдыбая, беседа прервалась. Юлдыбай взглянул на часы.

— Оказывается, пора. Ты в Доме крестьянина остановился? Обязательно встретимся и поговорим.

— Завтра у меня времени не будет. Зайду к тебе насчет трактора и к двум часам на проезд.

— Зачем торопиться? Погостил бы, город посмотрел.

— Спешу, товарищ Азнабаев. К весне готовимся. Да и в воллсполкоме, наверное, ждут не дождутся.

— Ну, ладно, до свидания, коли так. Передай всем привет.

— Обязательно передам. До свидания!

Юлдыбай переложил портфель из левой подмышки в правую и, спортившись, стал подниматься по высокой лестнице.

Таймас свернул с улицы в узкий переулок и растворился в сгущающихся зимних сумерках.

* * *

После ухода мужа Райса металась по комнатам, не зная, на ком сорвать душившую ее злость. Проснулся сын, потянулся к ней. Она искоса посмотрела на него и крикнула:

— Закия, возьми ребенка!

Закия прижала малыша к груди и поскорее выскользнула из детской. Райса пожалела, что отпустила ее так сразу. Она вышла в зал, постояла у окна. Сверкающие ледяные узоры на стекле напоминали ей детство, встречу Нового года, большую елку, упирающуюся в потолок. В лохматых ветвях горели свечи, играли блики на золотых шарах. Пахло хвоей, мандаринами, орехами...

Райса села за пианино, взяла несколько аккордов, начала наигрывать старинный вальс.

...А какими веселыми и шумными были домашние балы! Не в этом, а в другом, каменном доме, где жили прежде. В большом зале собирались подружки-гимназистки, мальчики из мужской гимназии. Танцевали до упаду, играли в почту, в фанты. А потом катались по городу на тройках. Были тайные свидания, поцелуи, клятвы и обещания. Жизнь казалась нескончаемым ярким праздником.

Зазвонил телефон. Райса сняла трубку.

— Хамит-эфенди? — спросила она замирающим голосом. Ей никто не ответил. Кто-то попал по ошибке. Тогда она позвонила сама и назвала телефонистке номер. Та тоже ошиблась и соединила с канцелярией какой-то школы. Вне себя Райса истерически закричала:

— Что за безобразие! Я прошу сто семнадцать, а вы даете сто восемнадцать!

Когда ее вновь соединили, она сразу переменяла тон.

— Квартира Терегулова-эфенди? Попросите его к телефону.

— Он еще не вернулся,— слышался в трубке лукавый женский голос.

Райса закусила губу: неужели он прячется от нее? Нет, не может быть. Сегодня он, конечно, будет на премьере новой оперы, и тогда она обязательно выяснит, что это за женщина была у него.

Немного успокоившись, Райса принялась примерять платья. Отбросила одно, другое, надела третье, придирчиво

оглядывая себя в зеркале. Прикинула, какую прическу надо будет сделать.

Звякнул на крыльце звонок. Торопливо убрав платья обратно, Райса привела себя в порядок. В голове мелькнула мысль, что это по дороге в театр за ней зашел Терегулов. Но в дверях показалась Наиля, давнишняя подруга по гимназии. Они поздоровались, поцеловались. Райса посветлела. Не выпуская ее рук, расплываясь в улыбке, сказала:

— Как удачно ты пришла, Наилякай! Я сегодня места себе не нахожу, на душе так скверно. Как дела, как себя чувствуешь? Мы так давно не виделись!

Райса помогла подруге снять пальто и шляпу, повела в зал, усадила рядом с собой на диване. Когда истощились взаимные расспросы и комплименты, Райса произнесла тоном обиженного ребенка:

— Ты и на глаза не показываешься, Наиля. А я после родов стала домоседкой, никуда не хожу.

— Ой, какие хлопоты, какое горе пришлось нам пережить за последнее время! — заохала Наиля. — Мать у меня больна, и отец плохо себя чувствует. Ведь сразу столько бед навалилось! Закрыли наш галантерейный магазин. За налоги описали все имущество. На днях приехал агент наркомфина, увез зеркала, буфет, мягкую мебель. Каменный трехэтажный дом забрал горкомхоз. Остались мы жить в такой же, как у тебя, деревянной развалюхе. Ладно еще часть мебели спасли...

Наиля залилась слезами. Райса смотрела на нее с глубоким сочувствием. Положив руку ей на плечо, она задумалась, потом принялась утешать:

— Не плачь, Наилякай! Ты думаешь, я не знаю про все это? Уже прослышала. Пробовала Юлечке говорить: нельзя ли потолковать с кем следует, да разве его проймешь? «И рта, — говорит, — не раскрывай. Ты что, хочешь найти во мне защитника нэпманов? Не жди, никогда этого не будет!» После три дня с ним не разговаривала.

Они помолчали. Достав из сумки розовый батистовый платочек, Наиля вытерла глаза.

— Разумеется, особенно убиваться нечего, все ценное в надежном месте. Но обидно же! Не сумели вовремя уехать за границу, теперь страдать приходится. И все из-за маминого упрямства. Жалко ей было, видите ли, бросать дома и магазин. Умные люди года два назад распродали имущество и укатили. Хорошо еще отец успел перевести кое-что в ценности.

— Тссс!.. — Райса прижала палец к губам и указала на дверь. — Говори тише, как бы девки не услышали.

У Наили тотчас изменились и голос, и выражение лица. Она приняла беспечный вид, заворковала:

— Сама ты как поживаешь, Райсюк? Вид у тебя утомленный.

— Вроде бы ничего особенного, но то одно, то другое на нервы действует. Утром ходила примерять шелковое платье, так портниха мне его совсем испортила. Я просила плиссировать подол, а она гофрировку сделала. Представляешь себе, какие пошли теперь портные, им бы только спецовки шить! Мало того, Юлдыбай вместо Хамита-эфенди притащил к обеду какого-то мужика. Я чуть в обморок не упала, когда этот мужик за гуся принялся. Юлдыбай оправдывался, мол, Терегулов был занят, а сам, я уверена, не пригласил, потому что не любит его.

— Возможно, Хамит-эфенди не смог прийти. Ведь знаешь, готовятся к чистке аппарата. Потому он старается не пропустить ни одного собрания или кружка.

— Я хороший обед приготовила. Сиж, радуюсь. А муженек отрапортовал: «Мой товарищ из колхоза приехал!» Нашел товарища, нечего сказать. От его шубы до сих пор в прихожей стоит кислый запах. На ногах огромные валенки, на голове малахай.

Райса безглаголиво поморщилась. Наила понимающе поддержала ее:

— И не говори, милая! Повылазили из грязи в князи, да еще нос гнут. У самих ни вежливости, ни культуры. Ладно хоть Юлдыбай у тебя другой. Как ты с ним?

— Тоже недалеко от них ушел,— махнула рукой Райса.— Воюю постоянно. Получает какие-то сто восемьдесят рублей и доволен. А тут кухарке и няне платить, самой одеваться. Сшила себе пальто цвета беж, думала поставить соболий воротник, но не удалось, пришлось ограничиться обезьяньим мехом. Если бы слушался он Терегулова — как сыр в масле катался бы. Но слышать о нем не хочет. Видите ли, принципиальный. Недавно захотела купить лайковые перчатки, а он уперся: долгов, мол, много, страховые взносы за прислугу не плачены три месяца. Только разве я поддамся? Говорю ему: «Что хочешь делай, меня не касаются твои долги. Раз не можешь прилично одеть меня, зачем тогда женился?» На шестьдесят пять рублей, которые он дал на питание, пошла и купила лайковые перчатки, фильдеперсовые чулки, духи, пудру. Вон видишь на комодке духи «Садайакко»?

Райса достала флакон, надушила Наилю и спросила:

— Хорошо?

Наиля похвалила.

— Все деньги потратила,— продолжала Райса.— А раз на продукты ничего не осталось, он принес еще пятьдесят рублей. С мужьями так надо. Не брать же мне пример с Фагили.

— Кто это? Не Акбулатова ли?

— Она самая. Жена наркома, а ходит в валенках и простой шали. Делегаткой называется!

Разговор двух скучающих бездельниц — это сложное искусство переливания из пустого в порожнее. Долго сидели Райса с Наилей, перебивая косточки всем знакомым, сетуя на трудную жизнь, обмениваясь комплиментами, но тайно за-видуя друг другу.

Наиля считала, что ее подруга прекрасно устроилась, выйдя замуж за ответственного советского работника. Та, в свою очередь, испытывала чувство ревности к белокурой, синеглазой Наиле. Она мила, свежа, ни за что не дашь тридцати лет. Ее мужа посадили на большой срок за крупные коммерческие махинации. Хозяйством и детьми не обременена, можно вести приятную, легкую жизнь, тем более что карманы не пустые, если собиралась бежать за границу. Ей ли жаловаться?! Другое дело у самой Райсы. Потеряла отца и брата еще в гражданскую войну, оставшись почти без средств к существованию. Только всего и сберегла, что этот маленький домик да кое-что из вещей. Теперь, собираясь в театр, она доставала из гардероба все свои платья, кофты, другие принадлежности туалета — не ударять же в грязь лицом перед Наилей!

— А сколько было раньше! — искренне сокрушалась она.— Хорошо, что хоть это сохранилось, не то давно ходила бы голая. В кооперативах у них сплошная нищета, мусор один.

— Помнишь, Райсюк, тот белый магазин на торговой площади, когда наши отцы были компаньонами? Какие там висели платья, были роскошные туфли, золотые и серебряные вещи!..

— Ой, как не помнить? И сейчас перед глазами все стоит. Не забуду тот день, когда мой отец и твой дедушка привезли нам из Москвы одинаковые платья из черного заграничного шелка.

— Да, да, и мы, надев эти платья, пошли на устроенный Хамитом-эфенди танцевальный вечер. Тогда он прислал за нами пару вороных. И мы обе влюбились в него — такой он был молодой и изящный!

Ударившись в воспоминания, перебивая друг дружку, Райса и Наиля забыли о времени и спохватились, когда гулко пробили часы. Они наскоро попудрились, подкрасились и выпорхнули из дома — две пустые нарядные бабочки, вынужденные по воле судьбы жить в суровом и деловом климате советских будней.

6

В январе тридцатого года в город съехались делегаты первого совещания колхозниц. Была среди них и Айбика.

Заседание открылось в пять часов вечера. В зале сидели не только колхозные делегатки, но и представительницы рабочих районов, различных учреждений и женотделов.

Избрали президиум. Начались выступления. Первой приветствовала собравшихся пожилая работница, приехавшая с металлургического завода. Ее морщинистое лицо и глубоко сидящие глаза светились улыбкой. Она взволнованно произнесла:

— Мы, женщины, бесконечно благодарны Советской власти, которая предоставила нам широкую свободу, открыла светлые пути. И на заводе, и в колхозе у нас одинаковые задачи: трудиться так, чтобы день ото дня родная отчизна становилась сильнее и богаче. Для того и нужна нам тесная смычка. Мы стремимся не только укрепить ее, но и добиваемся, чтобы она послужила успехом социалистического соревнования, успехом социализма.

«Какая приятная, умная женщина, — подумала Айбика. — Хорошо бы познакомиться с ней в перерыве».

Объявили повестку дня. С докладами должны были выступать председатель колхоза «Кызыл-тау» Тимербулатова и работник сельхозснабжения, представитель городского комитета ВКП(б) Юлдыбай Азнабаев.

Услышав имя и фамилию второго докладчика, Айбика почувствовала себя так, точно ее облили горячей водой. «Он, он, он!» — застучало в сердце.

Айбика до последнего времени хотя и не имела известий о муже, не переставала его ждать, питала еще какие-то призрачные надежды на возвращение Юлдыбая. Побывавший недавно в городе Таймас Хайбуллин рассказал ей о встрече с ним. Неожиданная новость взволновала Айбику, было больно услышать, что он женат на другой и имеет ребенка, но,

претерпев горечь обманутого человека, она все же порадовалась тому, что Юлдыбай жив.

Отправляясь в город на совещание, Айбика втайне надеялась встретить Юлдыбая. Ей хотелось посмотреть на него хоть издали — не видала одиннадцать лет! Какая удача, что он сам придет сюда. Не идти же к нему домой или караулить у крыльца. Она не смогла бы так поступить даже в ту ужасную зиму, когда умерли у нее на руках опухшие от голода его родители.

Доклад Тимербулатовой продолжался больше часа. Речь шла о создании колхоза «Кызыл-тау», о трудностях и борьбе с кулачеством, о первых победах. Много внимания уделялось участию женщин в общественной жизни.

Айбика, несмотря на охватившее ее волнение от предстоящей встречи с Юлдыбаем, старалась не пропустить ни слова, потому что из рассказа Тимербулатовой можно было почерпнуть для себя много полезного. С интересом слушали доклад и притихшие в зале делегатки, а по окончании долго и шумно аплодировали.

Когда Тимербулатова села на свое место, в президиуме произошла небольшая заминка. Председатель собрания с кем-то посоветовалась, звякнула колокольчиком.

— Товарищи! — обратилась она к залу. — Второй докладчик товарищ Азнабаев запаздывает. Пока объявляется перерыв.

Многие остались в зале, оживленно беседуя между собой. Айбика, перекинувшись несколькими словами с соседкой по поводу доклада, колебалась, выйти или нет. В это время снова прозвучал звонок. Все расселись по местам. Из двери, ведущей за кулисы, появился Юлдыбай, с озябшего лица которого еще не успел сойти румянец.

У Айбики запылали щеки. В голове с быстротой молнии промелькнула мысль: «Как он сильно изменился!» Она бессознательным движением сдернула с плеч толстую шаль, положила ее на колени и, не мигая, уставилась на Юлдыбая. Ей казалось, что он смотрит только на нее.

— Товарищи! Прежде чем приступить к докладу, разрешите мне приветствовать вас, участниц первого совещания колхозниц, как борцов за строительство социализма, идущих рука об руку с рабочими и работницами! — торжественно произнес Юлдыбай, и все захлопали в ответ. К дружному рукоплесканию зала присоединилась и Айбика.

Докладчик достал из кармана маленькую записную книж-

ку, заглянув в нее, начал говорить негромко и размеренно. Айбика постепенно успокоилась и стала прислушиваться к тому, о чем говорил Юлдыбай.

— ...Колхозные столовые и ясли — вот что освободит крестьянку от домашних хлопот и ухода за детьми. У нее появится время и для учебы, и для участия в общественной работе. Если мы не только будем говорить об этом, но и постараемся осуществить на деле, тогда легче будет решить вопрос о подготовке кадров из числа колхозниц. Специалисты нам очень нужны. Вы прекрасно это понимаете, знакомы с решениями съезда колхозниц, где указывается на необходимость подготовки женщин-трактористов и агрономов, председателей правлений и животноводов...

Айбике казалось, что говорит не Юлдыбай, а кто-то другой, которого она видит сегодня впервые.

Он не был похож на крепкого и стройного, смуглого до черноты Юлдыбая, одетого в черный стеганный халат с зеленым воротником, в белую войлочную шляпу и белые сарыки¹, которого она со слезами провожала на войну в четырнадцатом году.

Ничем он не напоминал того исхудавшего Юлдыбая, вернувшегося в семнадцатом — с котелком у пояса, в обтрепанной шинели и солдатских ботинках с обмотками.

И совсем он был далек от Юлдыбая, показавшегося лишь на один день летом девятнадцатого года, — отважного командира в кожаной тужурке, с револьвером и гранатами на боку, сидевшего верхом на таком же горячем, как сам, темно-сером коне, из-под копыт которого сыпались искры.

Теперешний Юлдыбай был совершенно другим.

Черные, как смоль, волнистые волосы, буйно выбивавшиеся некогда из-под шапки, выцвели и поредели, аккуратно зачесаны назад, отчего лоб кажется шире прежнего, а лицо бледнее. Да и руки не те: они выглядят белее и тоньше, значительно мягче, чем были когда-то. И одет он по-городскому безлико и официально: черный костюм, белая рубашка, на ногах желтые штиблеты.

Но была в его облике еще какая-то неуловимая перемена.

Немного подумав, Айбика обнаружила и ее. Лицо у него стало гладким и холеным, а вместо прежде свободно росших

¹ Сарыки — старинная обувь с кожаным носком и суконным голенищем.

усов он оставил лишь маленький кустик под самым носом.

Пятиминутного наблюдения для Айбики было достаточно, чтобы оценить все расстояние, отделяющее ее от Юлдыбая. В глубоком озере после бури, вздымающей мутные волны, вода успокаивается и отстаивается так, что солнечный луч пронизывает всю толщу насквозь. Так было теперь и на душе Айбики. Внезапное волнение, вызванное появлением близкого сердцу человека, улеглось и, наконец, совершенно пропало.

Юлдыбай закончил доклад. Полетели на стол президиума записки. Он обстоятельно ответил на них. Потом опять объявили перерыв.

Зал наполнился гомоном, шумом отодвигаемых стульев и скамеек. Айбика вышла в коридор. В другом конце, в окружении нескольких делегатов, стоял Юлдыбай. Вот он отделился от них и направился к буфету. Айбика, преодолев нерешительность, двинулась ему наперерез.

— Здравствуй, товарищ Юлдыбай! — звонким от напряжения голосом сказала она, протянув руку. Он машинально, как обычно при встречах со знакомыми, ответил на приветствие, мельком взглянул и тут же удивленно вскинул брови, безмолвно уставившись на нее.

— Айбика, ты-ы?! — проговорил он, придя в себя, и быстро схватил уже выпущенную после пожатия руку.

— Я самая и есть. Что, не ожидал? — улыбнулась она.

— Нет... но так случайно, здесь...

— Вот, послушала твой доклад и вышла, чтобы поздороваться с тобой.

— Ты сразу меня узнала?

— Как же тебя, меченую-то сосну, не узнать? — с нескрываемым упреком произнесла Айбика. — Это ты всех забыл, а мы тебя еще помним.

— И я помню, — пробормотал Юлдыбай, отводя глаза. Он сразу сообразил, что оправдания тут неуместны, и не знал, как вести себя, а молчать было неловко.

В эту минуту его врасплох захватило чувство виновности перед этой скромно одетой женщиной с бесхитростными темными глазами под прямыми черными бровями и гладким смуглым лицом. Ему хотелось сказать что-нибудь необыкновенно теплое, способное в какой-то мере искупить вину, хотя бы попросить прощения, но слова не приходили.

— Айбика, ты здорово изменилась, — только и смог он сказать.

— Меняется сама жизнь,— улыбнулась она и на этот раз.— А разве сам ты прежний?

— Есть, наверное, перемены и во мне.

Юлдыбай замолчал, искоса поглядывая на нее. Его выручил звонок. Он извинился и поспешно ушел в президиум. Айбика вошла в зал и села на свое место. Она внутренне радовалась тому, что сумела сохранить спокойствие. «Если бы встреча произошла года три-четыре назад, наверное, не сдержалась бы и расплакалась»,— подумалось ей.

Беспокойный взгляд Юлдыбая бежал весь зал, остановился на Айбике и теперь почти не отрывался от нее. Этот взгляд будто о чем-то робко молил, что-то хотел выразить тайное. Он мешал ей сосредоточиться, тревожил и размягчал, и она, усилием воли уклоняясь от него, старалась не смотреть в сторону президиума.

Начались прения по докладам. Взяла слово и Айбика. Слегка запинаясь от смущения, она начала:

— Тут товарищ Азнабаев говорил, как велика в колхозах нужда в сельскохозяйственных машинах и тракторах, что многое приходится покупать за границей, а с задатками и оплатой пока тяжело. Вот я и хочу сказать несколько слов. В деревнях у наших женщин-башкирок лежат без всякой пользы старинные монеты, хакалы, кашмау, подвески и тому подобные вещи. При теперешней новой жизни к чему они, эти пережитки прошлых обычаев? Вместо того, чтобы хранить их в сундуках, не лучше ли взять и передать в задаток за трактора? Например, мы, женщины колхоза «Оло узян», собрали монет и других серебряных украшений почти на тысячу рублей. Пусть так же поступят товарищи из других колхозов. Мы принесем этим пользу государству и себе.

Многие делегатки поддержали предложение Айбики и единогласно приняли его. Когда Айбика говорила, Юлдыбай не сводил с нее глаз. Ему казалось, что вся она — воплощение женской силы, крепости и уверенности, и даже ее не по моде длинное и широкое платье, обыкновенная шерстяная шаль, которую она держала в руках, как бы подчеркивали эту силу.

Юлдыбай любовался ею. «Когда она всему этому научилась? Откуда у нее взялись бойкость и уверенность?» — думал он. Ему хотелось еще раз увидеть ее и поговорить. После того как заседание окончилось, он вглядывался в повалившую из зала толпу, рассеянно отвечая на вопросы

окруживших его людей, увидел Айбику и снова потерял ее из виду.

Айбика оделась, но задержалась внизу, разговаривая с пожилой работницей металлургического завода. К ним присоединилась Мастюра, девушка из соседнего колхоза, соседка по гостиничному номеру.

— Ну, пошли к себе, Айбика? — сказала она.

Люди расходились группами, возбужденно делясь впечатлениями. Айбика и Мастюра вышли на улицу вдвоем. Не успели они пройти полквартила, как их нагнал Юлдыбай.

— Вам в какую сторону? — спросил он.

— В Дом крестьянина.

— Тогда мне с вами по пути, моя квартира в том же краю.

Они направились вдоль тротуара. Мастюра начала расспрашивать Юлдыбая о некоторых непонятных ей вопросах. Он отвечал. Поддерживала разговор и Айбика.

За квартал до того места, где надо было сворачивать к своему дому, Юлдыбай приумолк.

— Айбика, ты на меня не сердишься? — вдруг спросил он.

— Нет, с какой стати...

— Есть ведь причины...

— Не знаю. Но поверь, я и не думала на тебя сердиться.

Юлдыбай хотел еще что-то сказать, с досадой посмотрел на Мастюру, распрощался и ушел. Не понимая происходившего странного разговора, Мастюра спросила у спутницы:

— Разве этот человек тебе знаком?

Айбика, задумчиво провожая взглядом Юлдыбая, ответила:

— Он был моим мужем.

— Не шути,— обиделась Мастюра.— Он в городе живет, вон где работает!

— Ну и что из того? Прежде в деревне жил, теперь здесь.

— Ты развелась, что ли, с ним?

— Вроде этого... Не расходилась я и не разводилась,— сказала Айбика, засмеявшись: очень уж наивным было удивление Мастюры.— Как он уехал на войну, так и не вернулся. Сейчас у него другая жена, ребенок.

Обе женщины поднялись к себе в номер. Айбике не

хотелось продолжать беседу на затронутую тему, но Мастюра не унималась:

— Вот тебе на! То-то я гляжу: ты Азнабаева и он Азнабаев. С виду такой порядочный, а на самом деле... До чего же бессовестные эти мужчины! На твоём месте я бы отхлестала его по щекам.

— Толку-то что? Этим ничего не исправишь. Столько лет носило его в стороне. Отвык от своей деревни, другая жизнь завертела. Говорят, жена у него очень красивая, к тому же образованная. Встретились они, понравились друг другу. Кого винить?

— Ой, Айбика, сердце у тебя, видно, каменное. Я бы не стерпела. Пошла бы к нему домой и повырывала волосы у его красавицы, чтобы знала, как отбивать чужих мужей! Спрашиваешь, кого винить? Она во всем виновата. Знаю я этих городских мещанок! Хуже змей они. Виляют хвостом, мол, мы такие, сякие, не наша вина, что воспитание другое, воспитывайте по-пролетарски, мы не против. Выходят замуж за коммунистов, а потом под свой курай заставляют их плясать. Три года прожила я в городе в прислугах, многое навидалась.

Айбика лежала молча и слушала. Она не сомневалась в том, что слова Мастюры близки к истине.

— Хватит, не горячись,— прервала она соседку.— Юлдыбай не дурак, знает, наверное, что делает. А если припрет его, станет неспособен, махнет рукой и уйдет. Много есть других врагов покрупнее и пострашнее. Их нужно победить, тогда и такие домашние курочки, как его жена, сами по себе повыведутся.

— И я не считаю Юлдыбая дураком,— продолжала Мастюра.— Вон ведь с каким докладом выступил, заслушаешься. До чего тонко, близко знает наши колхозные проблемы. Думаю, что все же опомнится он когда-нибудь да поздно будет.

— Наутро у нас много дел, Мастюра, давай спать.

— Верно, спать пора. Ходить придется много. Поведут нас на завод, на склад сельскохозяйственных машин Наркомзема, а вечером — в кино или в театр.

— Пойдем во Дворец труда, там покажут спектакль. А пока — спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Айбика!

Юлдыбаю открыли дверь лишь после долгих настойчивых звонков. Из столовой слышались громкие голоса, смех, кто-то пел под аккомпанемент пианино. Опять гости!

Когда Юлдыбай прошел в столовую, там пили, чокаясь, коньяк Хамит Терегулов, Наиля, незнакомая пышная брюнетка в декольте, какой-то мужчина с хитро прищуренными глазами, впалыми щеками и острым носом. Все были навеселе. Блестели глаза у захмелевшей Райсы, горели неестественным румянцем щеки. Гости сразу окружили Юлдыбая.

— Вот он, наконец-то вернулся. Здравствуйте, товарищ Юлдыбай! — расплылся в угодливой улыбке Терегулов.

— Юлдыбай Малыбаевич, где вы так поздно пропадете? — кокетливо пропела Наиля.

На лице Райсы промелькнула тень неудовольствия, однако она приветливо сказала:

— А, Юлечка, гости совсем заждались тебя. Вот, познакомься. Моя подруга — Сара-ханум. А это ее муж — Рафкат-эфенди Каримов... Юлечка, кушать хочешь? Сейчас я положу тебе сёмги с лучком.

— Нет, нет, Райса-ханум, вы сначала налейте ему рюмочку, потом покормите, — пробасил мужчина с острым лисьим носом.

Юлдыбай холодно поздоровался с гостями, сел за стол, но пить категорически отказался. Гости, не желая принимать его отказа, шумно принялись уговаривать.

— Нет уж, Юлдыбай-эфенди, так не годится!

— Это не дело, чтобы хозяин не пил. Неуважение к обществу!

— Выпейте немножечко! Давайте поднимем тост за здоровье Райсы-ханум!

Юлдыбай невозмутимым тоном повторил:

— Прошу не уговаривать. Я никогда не пил.

Райса, прижавшись щекой к правой руке мужа и ласково заглядывая ему в глаза, сказала:

— Юлечка, душенька, выпьешь одну рюмочку ради гостей? Ты ведь послушаешься, если я очень попрошу тебя?

Томно улыбаясь, она поднесла свою рюмку к губам Юлдыбая. Ее остро блестящие, как у змеи, глаза, шевелящиеся, как пиявки, подведенные брови, винный запах изо рта вдруг вызвали в нем отвращение.

— Отстань, Райса! Знаешь, что не пью, зачем настаиваешь?

Резкий и решительный тон Юлдыбай подпортил настроение гостям. Они, иронически усмехаясь, переглянулись и замолчали. Райса не показала вида, что уязвлена.

— Да, за ним водится привычка покапризничать,— произнесла она, неестественно рассмеявшись.

Юлдыбай, наскоро поев, ушел в спальню. Вслед за ним поднялась Райса, чтобы высказать свою обиду.

— Ты очень груб! Разве так обращаются с гостями? Не хочешь пить, так вел бы себя прилично. Краснеть меня заставляешь...

— Иди, иди, ступай к своим бездельникам! Я и без того сегодня устал. Хочу отдохнуть.

— Это они бездельники? — задыхнулась от негодования Райса.— Ты бы столько зарабатывал, сколько они!

Она выскочила из спальни, хлопнув дверью изо всех сил. Юлдыбай успокоил проснувшегося ребенка, покачал кроватку.

Чувство отчуждения, которое он уже давно испытывал к жене, сегодня особенно обострилось. Не только разговаривать, но даже видеть ее сейчас не хотелось. Его всегда раздражали беспрестанные капризы, слезы, неуместные обиды. Мало того, она каждый день неизвестно с кем и неизвестно где пропадала или созывала гостей, устраивая попойки и карточные игры. Вот и теперь в спальню доносился ее хмельной голос: «Бью трефями, взятка моя!» Юлдыбай стиснул зубы, страдая от безвыходности положения и проклинал тот день, когда впервые встретился с ней.

Было это осенью двадцать четвертого года. Юлдыбай, демобилизовавшись из армии, поехал в Москву на учебу. Там он и встретил ее — высокую, красивую девушку. Райса рассказала, что она дочь инженера и еще до революции закончила гимназию, в прошлом году поступила на медфак, как нацменка. Говорила еще, что ее брат-большевик был расстрелян белыми. Юлдыбай принял все за чистую монету. Рассказал он ей и о себе.

Тяга к знаниям и культуре настолько велика была в нем, что умная, образованная девушка, хорошо разбиравшаяся в книгах и в музыке, начала казаться ему чуть ли не верхом совершенства. Ее близость кружила голову, и он со всей горячностью отдался вдруг нахлынувшей любви. Одно свидание последовало за другим. Встречались, беседовали, а в конце концов сошлись и стали жить вместе.

Юлдыбай считал себя самым счастливым человеком на свете. На смену прежнему невежеству и построенной на старинных обычаях семье в его жизнь входили знания, новая, культурная семья. «Вот станет Райса врачом, мы столько с ней сделаем!» — мечтал он. Однако Райса, сославшись на малокровие, бросила учебу на втором курсе. Ее несложные жизненные интересы сосредоточились вокруг создания домашнего очага, желания получше одеться, постоянно развлекаться. Она завела себе широкий круг знакомых, большей частью из нэпманов. Тогда-то и выяснилось, что ее отец вовсе был не инженером, а крупным торговцем в одном из городов Туркестана, а брат-«большевик» был белогвардейским офицером, которого расстреляли красные. Дело чуть не дошло до развода, но Райса тогда ходила в положении. Постепенно Юлдыбай внушил себе, что развитая, обладающая некоторыми знаниями жена сможет стать со временем полезным обществу человеком, только надо ее перевоспитать. В действительности получилось наоборот: она стала влиять на него, умело находила подход к нему, в нужных случаях приводила убедительные доводы, брала когда лаской, когда капризами, и Юлдыбай, в конечном счете, уступал.

Во время чистки партии его обвинили в связях с чуждыми элементами, в задолженности государству довольно крупной суммы денег и в совершении других неблагоприятных поступков. Ставился вопрос об исключении его из партии, но учли, что он выходец из крестьянской семьи, старый коммунист, проявил себя смелым командиром в Красной Армии и теперь слывет неплохим работником. Поэтому ограничились лишь объявлением выговора. Это подействовало на Юлдыбая отрезвляюще. Пораздумав, он пришел к убеждению, что причиной всему была Райса, опутавшая его по рукам и ногам своими эгоистичными желаниями и просьбами. Не будь ее, он не скатился бы в болото и вел бы иную, честную и принципиальную жизнь.

После разбора личного дела Юлдыбай поставил перед женой жесткие условия: никакой прислуги в доме, никаких гостей. Как начнет ребенок ходить — в ясли его, а ей самой — сразу на работу! К его удивлению Райса охотно согласилась, тотчас прекратила неразумные расходы, попросила лишь повременить с прислугой — сама она пока нездорова и, мол, трудно будет ей одной управляться с хозяйством и грудным младенцем.

Юлдыбай и не почувствовал, как попался на очередную уловку жены. По сути дела ничего не изменилось. Ему-

то казалось, что он одним рывком выберется из трясины, но после этого рывка его засосало еще глубже, и он теперь задышался, хватал ртом воздух, а что предпринять — не знал.

Во всех подробностях припомнилась ему встреча с Айбикой. Она предстала перед ним как спасительный образ, как соломинка, за которую можно ухватиться. Утраченное и вновь обретенное ощущение какой-то необъяснимой родственной близости к Айбике больно сжало его сердце. Почему Райса никогда не возбуждала в нем такой близости? Он изумился тому, что только сегодня задался этим вопросом. «Бедная Айбика,— подумал он,— даже обиды она не высказала!».

Юлдыбай не переставал курить, зажигая одну папиросу от другой. Пьяные голоса, долетавшие из гостиной, резали слух. Пробило пять часов. Было слышно, как поднялись гости, зашаркали ногами в прихожей, громко чмокались на прощанье. Похлопали двери, и все стихло. Мурлыкая песенку, в спальню зашла Райса и начала раздеваться. Увидев, что муж еще не спит, зло произнесла:

— Говорил, что устал, отказался посидеть с гостями, а сам лежишь и дымишь. Фу, безобразие, хоть топор вешай!

Юлдыбай хотел отмолчаться, но жена продолжала брюзжать.

— Перестань трещать, ложись,— сказал он.

Райса словно только и дожидалась, чтобы он заговорил.

— Нет, подождешь! — закричала она. — Сначала скажи-ка мне, красный молодец, где и с кем шатался до полуночи? Думаешь, я стану одна сидеть, покорно дожидаясь муженька, пока он не нагуляется?

— Райса, не поднимай по пустякам шум,— прервал ее Юлдыбай. — Ты пьяна. Ложись и спи. Дай мне возможность отдохнуть.

— Это ты поднимаешь шум, а не я! Почему не отвечаешь, где был?

— Я же сто раз говорил: в Наркомземе. Потом выступал с докладом на совещании колхозниц.

— Ты готов сидеть на совещании хоть у самого черта, лишь бы домой не идти. Полон дом гостей, пришли самые близкие мне люди, а ты не смог побыть с ними, поговорить по-человечески!

— Нет, Райса-ханум, уж будь с ними ты одна! — не выдержал Юлдыбай. — Я сколько предупреждал тебя, чтобы не приводила их к нам в дом. У меня с этими людьми нет ни-

чего общего. Из-за каких-то твоих мещан я оставлять дела не собираюсь.

— Если они мещане, то ты — мужик! — вскричала Райса и залилась слезами.

— Вот что, Райса, надоели мне твои сцены и скандалы. Конечно, я мужик, потому и думаю, что дальше нам вместе не жить.

Райса, не прекращая плакать, сыпала слова точно горох:

— Не хочешь жить, так уходи, не живи! Не ты выстроил этот дом, голодранец! Все, что здесь — мое приданое, от отца досталось. Что у тебя было, кроме байкового одеяла, когда на мне женился?.. Хотя тебе не удастся так легко улизнуть: имеешь ребенка. Никуда не денешься, если не хочешь превратиться в алиментщика!

У Юлдыбая закружилась голова, застучало в висках. Он вскочил с постели и резко, с металлом в голосе произнес:

— Ну, Райса, сколько говорил я тебе, старался втолковать, а ты не понимаешь и понять меня не хочешь. Я ожидал, что ты все-таки станешь человеком. Стало быть, ничего не вышло. К черту твою мебель, твои тряпки и побрякушки! Не их я выбирал, когда искал себе друга. Завтра пойдем в загс, и ты сама позаботишься о своей дальнейшей жизни. А сына я тебе не оставлю, отдам в дом грудника. Твоего воспитания он не получит!

Юлдыбай вышел из спальни и улегся на диване в гостиной, заложив руки за голову.

Оставшись одна, Райса осушила слезы. Ее губы и руки продолжали вздрагивать, вздымалась грудь. Она ожидала, что муж по обыкновению начнет ее успокаивать, искать примирения, но он ушел, и его слова, сказанные таким решительным тоном, вызвали в душе страх. Поборов свою гордыню, Райса поплелась в гостиную, села на краешек дивана в ногах у мужа. Голосом, полным раскаяния, прошептала:

— Не сердись на меня, Юлечка! Я ведь не со зла, а так, по дури. Ты ведь не сердишься?

На лице у Юлдыбая застыло выражение, от которого веяло холодом, уставленные в одну точку глаза не мигали.

— Уходи! — сказал он каким-то чужим голосом.

Райса выпрямилась точно от пощечины, надменно вскинула голову.

— Му-жик! — произнесла она еще раз — отдельно, по слогам, стараясь вложить в это слово как можно больше ненависти и презрения. Но и это не подействовало на Юлды-

бая. Он продолжал лежать молча, не замечая ее присутствия. Райса задержалась в дверях — никакого ответа не было, рвались последние нити. И она ничком, не сдерживая рыданий, рухнула в постель, на белые пуховые подушки...

7

Раннее вешнее солнце окрасило сизую дымку пара, поднимающегося от влажной земли, в голубые, зеленые и другие нежные тона. Щекоучий хмельной запах исходил не только от оттаявшей почвы и набухших почками деревьев, но даже от заваливающей сосновой щепки, пригретой розовыми утренними лучами.

Рано проснулась сегодня Айбика. Праздничным и легким было ее пробуждение. Возможно, причиной послужило письмо, полученное ею накануне из города. А может, и то, что начинался сев.

Взяв полотенце, она сбежала вниз к речке, протекавшей на задах. Долго и с удовольствием плескала на лицо студеную воду.

Ликующее великолепие утра заворожило Айбику. Она оглядывалась вокруг, словно впервые видела окружающую ее красоту. К югу от деревни Шонкар тянулись холмистой цепочкой горы, упираясь на горизонте в скалы синеющего в дымке Иремеля. Белой шапкой там лежал еще не растаявший снег. С другой стороны расстилалась широкая долина с колхозными пашнями. Между горами и долиной петляла речка Аккондоз. Она пряталась за крутоярами, ее путь на всем протяжении вычерчивался сизо-зеленой линией прибрежных тальников. По склонам гор взбирались ели и сосны, ветви которых казались настолько яркими и свежими, будто их обмакнули в весеннюю воду. Среди них белели стволы берез, усыпанных золотыми сережками.

За домом Айбики протянулись прямые улицы новой деревни, отделенной от старого аула запрудой. Остававшиеся там бедняцкие и середняцкие хозяйства нынче зимой поголовно примкнули к колхозу, который теперь насчитывал сто тринадцать хозяйств. Отсюда, от реки, виден высокий дом Кутлуяра, под его зеленой крышей вывеска: «Правление колхоза «Оло узян». В других кутлуяровских постройках хранится колхозное имущество, в сараях и под навесами стоят сельскохозяйственные машины. Над входом другого, двухэтажного дома, выстроенного в прошлом году, написано: «Трудовая школа 1-й степени».

На площади перед правлением с первыми лучами солнца собрались люди. Готовясь к выходу в поле, они еще раз проверяли отремонтированные шефской бригадой рабочих плуги, бороны, сеялки, лобогрейки и жнейки. Больше всех суетился председатель колхоза Алтынбай.

— Кутлуахмет-агай, найди Мурзаку. Чего он копается? Мы ждем керосина.

Кутлуахмет срывается с места и бежит довольно проворной для его возраста рысцой в сторону склада.

— Аубекир-агай,— продолжает распоряжаться Алтынбай,— ты собери свою группу и начинайте запрягать лошадей в сеялки. Между прочим, забыл напомнить Давлету и Айдару: пусть в железные бороны запрягут пару саврасок, а гнедую кобылу и бурку оставят на смену.

Рядом, возле двух тракторов «Интернационал», сосредоточенно возились Айбика и сын Кутлуахмета-агая Ахай, готовя машины к запуску.

Ожила вся деревня, каждый трудился на своем месте. Звенели ведрами доярки, несли молоко к сепараторам. Стучала маслобойка. Перекликались конюхи. Ржали кони. Даже на школьном участке Алмакай и Хадиса с учениками вскапывали землю под овощи, ведрами таскали из речки воду для поливки.

Тем временем посевищики закончили приготовления. Загребав моторами, тронулись с места трактора Айбики и Ахая. Клубы дыма окутали толпившихся вокруг людей. На трактористах брезентовые спецовки, большие кожаные рукавицы и поднятые на лоб очки с круглыми стеклами. Каждый трактор тащил за собой по четыре плуга, оставляя на земле узорчатые глубокие следы. На радиаторах полоскались маленькие красные флажки.

Следом двинулись две сеялки в упряжках, железные бороны, телеги с людьми, с семенами. Под трескотню моторов, храп и ржание лошадей, под шум и выкрики провожающих женщин и детей колхозники выехали из деревни.

Ровная накатанная дорога вела вдоль реки. Айбика достала из кармана письмо с намерением прочесть его еще раз, однако в кабине трясло, и трактор, не поддававшийся управлению одной рукой, съезжал с колеи. Пришлось письмо положить обратно. Оно было коротенькое. Юлдыбай писал: «Скоро приеду в ваш колхоз». На эту фразу и хотелось ей еще раз взглянуть.

Рысью подъехал Алтынбай.

— Айбика, напрямик не проехать, сворачивай влево. Пос-

ле половодья пойма не просохла. Придется сделать крюк.

Когда объехали низину и поднялись на холм, перед глазами Айбики открылась беспредельная ширь поля. Местами оно было распаханно еще с осени, местами расстился зеленый ковер озимых.

Айбика направила машину к невспаханному участку. Ее трактор фыркнул, выпустив густые клубы синеватого дыма, рванулся вперед. И сама она, вся устремленная вперед, нажимала на послушные рычаги, оставляя за собой ровную, прямую борозду.

1931



САГИТ АГИШ

КАК ПО МАСЛУ...



САГИТ АГИШ (1905—1973)

Один из первых представителей башкирской советской интеллигенции Сагит Агиш (Сагит Ишмухамметович Агишев) в полной мере разделил ее нелегкий путь становления, учился, учительствовал, активно занимался творчески-организационной и общественной деятельностью, как писатель работал почти во всех жанрах.

Первая книга стихов «Наш смех», вышедшая в 1928 году, не принесла ему славы поэта, зато маленькая повесть «Шартына килхен» («Как по маслу...») сразу ввела в ряды популярных прозаиков. В повестях «Махмутов», «Парни», «В доме муэдзина», в художественно-документальных повествованиях «Первые уроки», «Земляки», написанных в разные годы, писатель с различных позиций рассматривает сложные явления первого десятилетия Советской власти. Формирование национальной интеллигенции в эти же годы стало одной из важнейших сюжетных линий и романа «Фундамент», написанного уже в послевоенные годы.

Ученик классика татарской литературы Ш. Камала, с которым юного комсомольского работника судьба свела в Оренбургском педтехникуме, страстный почитатель А. Чехова (спустя годы он напишет полемическую статью — «Чехов — наш!»), Агиш вошел в литературу как признанный мастер короткого рассказа. Огромный собеседник и рассказчик (стоило ему появиться в коридорах издательств, в редакциях газет, как сразу вокруг него собирались благодарные слушатели его прекрасных импровизаций), Сагит Агиш перенес в свои произведения искрометную интонацию живого человеческого общения. Не случайно именно первый том его посмертного собрания сочинений, включивший «малый эпос», в 1974 году был удостоен республиканской премии им. Салавата Юлаева.



1

«Легче, легче, аккуратней, чтоб все как по маслу!..»

Вот самое его большое желание. Все мысли об этом. «Чуть оплошал, чуть что не так, жди беды. Нет, все должно быть точь-в-точь, волос-в-волос, чтоб комар носу не подточил! Как по маслу — чтоб и следа не оставалось».

Даже на собственную походку он теперь косился с опаской, с неприязнью. Плохая походка, опасная походка. С такой походкой сразу впросак попадешь. Нет, не может он, как те, вышагивать. Не получается. Только забудется — и сразу шаг мелкий, семенящий.

— А ведь *эти*, — напоминает он себе, — шагают прямо, ступают уверенно. И шаг у *них* покрупней, чем у нас.

Поднимаясь от вокзала в город, он поймал-таки походку. Шагал словно отмеривал, ступал на всю ступню. Походку-то отладил, но вот что заметил за собой: очень часто озирается по сторонам. Вот это уже никуда не годится! Сразу видно, идет человек и чего-то все время боится. Идти и под ноги себе смотреть? Тоже не годится. Это суфи после вечерней молитвы так расходятся, томные, убаженные. А кто еще, кроме суфи, так ходит? Только те, кому страшно, кто на каждом шагу трусит, даже глаз на людей поднять боится.

— Да, Саяф, нет, Саяф! Кто так ходит, Саяф? — говорит он себе. — Только насмерть перепуганный человек так ходит, Саяф. Так что, изволь, и вперед, и по сторонам смотри. Однако... однако все время вверх смотреть тоже не годится. Могут понять так, что занесся ты. И глядеть ни на кого не хочешь. А кто любит заноситься? Если на это через пролетарские очки смотреть: классово чуждый элемент, мечтатели и бездельники заносятся так!

От этих терзаний даже пот прошиб, лоб морщинками собрался. Наконец сообразил: шагать прямо и при этом размахивать руками. Прикинул — и пришел в восторг:

— Совсем как у *этих*! Ну, как по маслу!

Так и зашагал дальше. Светящее сбоку солнце тащит по асфальту его мельтешащую тень. Руки то и дело цепляются за полы, за висящую на боку котомку.

В глаза бросилась вывеска столовой. Возле дверей стоят двое. Один уж ногу на крыльцо поставил, хочет войти, второй стоит в сторонке, еще только раздумывает, заходить или нет.

— Эта столовая открыта ли?

— Открытая-то она открытая. Только в ней всякого жулья полно.

Саяф застыл на месте. Тоже думает: идти в столовую, где жулья полно, или не идти?

«Вперед, Саяф! Назад, Саяф! Иди, Саяф! Тебе не жулья бояться надо, Саяф. От жулья тебе вреда не будет. Еще, глядишь, даже польза какая выйдет».

Вошел. И впрямь неприглядненько. Народ — и одеждой и обличьем — тоже всякий. Таких, чтоб сидели и ели, почему-то мало, больше таких, что возле столов крутятся.

«За какой же стол теперь садиться? Туда, в красный угол, на самое видное место. Стой, Саяф, куда бросился? Знаешь, кто на самое видное место торопится сесть? Тот, кто издавна привык в красном углу сидеть. Вот сюда, вот сюда, Саяф, с краешку, с краешку. Гм... А кто от глаз подальше садится, к двери жметя? Тот, Саяф, к двери жметя, кто чего-то боится. Если, значит, случись что, взять и смыться. Давай, Саяф, широким твердым шагом вон туда — ни с краю, ни в середине».

Сел.

Сидит.

Никто к нему не подходит. Подавальщики проносятся мимо — и хоть бы глаз на него скосили. Долго сидел Саяф, все не решался кого-нибудь окликнуть. Отошли усталые, немало отшагавшие пролетарским шагом ноги, живее побежала по жилам кровь. И руки хорошо намахались, им тоже приятно было, дав отдых плечам, покойно лежат на столе.

«Очнись, Саяф! — толкнул он себя. — Кто вот так сидит и не пискнет, слово боится сказать? Известно кто. Тот, у кого совесть нечиста, кто вину за собой чует».

И даже подумать не успел, набрал в грудь воздуха и рявкнул:

— Пач-чему никто не идет! Что за бестолковость такая! А кулак уже сам грохнул по столу.

Все тело обмыло жаром и ознобом враз. «Пач-чему» очень

веско шлепнулась, а вот с «бестолковостью» не вышло. Длинные слова вообще получаются плохо. Ну что за слово «бестол-ко-вость»? Нет, лучше его оставить и впредь не применять. Хорошее же слово есть — «сволочь»! Так и горит, огонь, а не слово! Вот им и пользоваться. Из любого положения вывезет.

Не успел до конца додумать, как перед ним стоял прямой, как свечка, официант с недовольным лицом:

— Это что еще за безобразие?

С одной стороны, его слова напугали Саяфа, с другой стороны, он готов был вскочить и пожать ему руку за то, что подсказал ему такое хорошее слово — «безобразие»! Но сейчас это было бы неуместно.

— Конечно, безобразие! Полчаса жду. Это не одно, это уже четыре безобразия! — Хотел добавить «сволочь», но воздержался.

— Что подать? — смягчился официант.

Но Саяф решил, что съезжать сразу с высокого тона пока рановато.

— Топор! — гаркнул он.

— Какой топор? — опешил официант.

— Что, нет топора? Топоры не варите? Чего же спрашивать тогда? Суп подать, разумеется!

— Супов много, уважаемый. Щи, с вермишелью, рассольник, крестьянский.

— Конечно, рабоче-крестьянский!

— Талоны выбили?

— Воистину безобразие!

Пошел к кассе. С топором, слов нет, хорошо получилось! И суп «рабоче-крестьянским» тоже удачно назвал. Только это «воистину»... И как вдруг с языка спрыгнуло? Рядом с таким красивым, статным словом, как «безобразие», это «воистину» торчит вроде мосластого, не перелинявшего еще стригунка. Кассиру он тоже «рабоче-крестьянский суп» сказал.

— Что, оба? — спросил тот.

— Конечно, оба!

Держа два талона в руке, как два почетных мандата, он вернулся к столу. Принесли две тарелки супа.

— А почему два?

— Это щи, а это крестьянский.

— Ладно, съем оба.

И улыбнулся исподтишка: «За дело, Саяф! Первым делом берись за «рабочий». Коли с ним справишься, и «крестьянский» никуда не денется. Если подумать — весь смысл в этом».

И опять загвоздка. Надо есть так, чтобы комар носа не

подточил. Может, сидит уже какой-нибудь соглядатай и смотрит. Долго ломал голову, не знал, как за еду приняться. И опять плохо получается. Во-первых, суп стынет, во-вторых, есть хочется, в-третьих, сидеть, уставясь в тарелку, тоже не годится, подозрительно. И, как встарь, в былые светлые времена, взял и махнул две тарелки без оглядки. И широким шагом, каким поднимался от вокзала, размахивая руками, как ветряная мельница, вышел из столовой.

2

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ», — увидел Саяф вывеску и провел ладонью по щеке от виска к подбородку, борода и усы мягкой волной прошли под пальцами. Да, Саяф, нет, Саяф, по нынешним временам с таким богатством по улицам расхаживать опасно. Снять надо все, чтоб как у *этих* было. И какую теперь бороду прилично носить? Может, оставить маленькие усики, а бороду сбрить совсем? Или усы оставить пышные? С бородой все ясно — *их* рабоче-крестьянская идеология на такую пышную, как у него, бороду смотрит косо. Но вот с усами, с усами как быть?

С этими мыслями он вошел в парикмахерскую. Народу было много. Однако нашел свободный стул и сел. Прямо перед ним оказалось большое зеркало. Он покрутил подбородком, в последний раз со всех сторон осмотрел свою широкую, как лопата, бороду. И борода напомнила ему о давнем, о былом...

Бурный февральский день. Велел он заложить в большую кошевку пару гнедых впристяжку, уселся поудобней и весь утонул в большой лисьей шубе. Кучер, высоко воздев вожжи, ждал его приказаний.

— Трогай! — буркнул Саяф.

Только скрип железных полозьев на снегу и глухой топот копыт по заснеженной дороге доносится до него сквозь огромный воротник. Буран, облаком закрыв землю, крутится, вихрится по полям. Молчит Саяф, только глазом на буран косит. Ведь он тоже, как этот буран, любит порой взбаламутить, взбудоражить аул. Захотят вдруг прихожане что-то ему не угодное, Саяф такой буран-ураган поднимет — все их порывы, все их помыслы сугробами завалит. Саяф от гордости поерзал внутри лисьей шубы и густым, из самой груди поднимающимся голосом крикнул кучеру:

— Гони быстрее!

И сразу чаще, мельче застучали копыта по снежному на-

сту, тоньше засвистели полозья, кошевка полетела — эх, ну прямо как по маслу! Проходят еле видные за хлопьями снега вешки, словно кланяются ему. Сугробы, наметенные на краю лежащей под зябью пахоты, будто напуганные его взглядом, поспешно отползают назад. Долго ехали. Вот уже в густые вихри бурана начала вплетаться ночная темь.

Выехали на большую дорогу. Звонко, быстро заплясали копыта гнедых.

— Деревня скоро? — спросил он.

— Уже огоньки видать, мулла-агай.

— Гони еще быстрее!

— Но-о-а, лошадушки!

Лошадушки подлетели к дому попа алексеевского прихода и стали. Кучер слез, постучал в ворота. Въехали. Саяф выбрался из кошевки, сказал кучеру, чтоб присмотрел за лошадьми как следует, и с вышедшим навстречу попом Леонидом Андреевичем вошел в дом. Поп сообщил, что там уже сидят гости. Когда вошли в зал, Саяф первым делом увидел развалившегося на диване толстого человека с папиросой в руках. Их представили друг другу. Оказалось, известный в округе помещик, боярин Шалдин. Собрался расширить поместье, еще прикупить земли, с этими хлопотами и приехал сюда, да вот из-за бурана остался ночевать. Сын и дочка тоже с ним. Вот они — извольте познакомиться. Познакомились.

Молоденькая девушка, как вошел он, так взгляда и не отрывает. С восторгом смотрит. Саяф постоянно чувствует этот взгляд, но чем вызвал восхищение девушки, понять не может. Однако и спросить при всех: «Почему на меня так смотрите?» — не смеет. А девушка пошепчет что-то на ухо брату и смеется. Брат кивает и тоже чему-то усмехается. Тут уже не только Саяф, заметил и боярин.

— Моя дочка, — улыбнулся он Саяфу, — пышные бороды очень любит. А ваша борода, господин мулла, и впрямь хороша! Чудо природы! Сколько башкир знаю, а такой бороды не встречал. Вероятно, каким-то снадобьем пользуетесь?

Саяф растерялся: как на такой вопрос ответишь? Скажешь, нет, мол, не пользуюсь — и будешь выглядеть простым темным башкиром, который никаким даже снадобьем не пользуется. А простым башкиром выглядеть не хочется. Скажешь, да, мол, пользуюсь, они спросят, какое такое снадобье? А он такого лекарства, которым бороду растят, и не знает. Собрался было сказать: «Я ведь не простой башкир, у меня в предках русские есть», но передумал. Не поверят, еще и посмеются над ним исподтишка. Спасла его девушка.

— Однако,— сказала она,— такую бороду следует носить иначе. Надо от середины подбородка расчесать на две стороны — вот тогда загляденье, прямо губернаторская будет борода!

— Нет,— возразил на это брат,— борода и без того хорошая. А вот на голове волос нет. Не сочетается как-то. Будь у него волосы густые и длинные, как у батюшки Леонида Андреевича, было бы совсем красиво. Такая жалость, батюшка наш волосы отрастил, а бороду такую отрастить не сумел.

— А по-моему...— от восторга девушка выступила на середину.— А по-моему, надо сделать так! Надо взять у батюшки волосы, отдать господину мулле и поставить его в здешнем приходе попом, а батюшке обрить голову, надеть мусульманскую тюбетейку и отправить в мечеть. Как вы на это смотрите, господа?

Все, кроме попа и Саяфа, от души рассмеялись. Шалдин, потягивая папиросу, не смеется, а тихо рокочет. Весело ему смотреть, как его дети забавляются бородой. И Саяфу приятно, что отпрыскам известного своим богатством помещика угодил. И приятно и лестно: в кругу таких влиятельных людей сидит, хоть и бородой, а вызвал их восторг. «Ну-ка, сумеет какой-нибудь другой мулла так ублажить боярина? Нет, не сумеет, куда ему! А эти меня уже не забудут». Слышал он, что Шалдин вроде бы в каком-то городе то ли помощник губернатора, то ли еще кто-то. Во всяком случае, выпадет какая просьба, он теперь Саяфу не откажет.

После чаю у них с Шалдиным зашел разговор о покупке у башкир земель, о том, как это сделать ловчей. Тут уж Саяф совсем почувствовал себя вольготно.

— Ты, господин Шалдин, меня слушай,— сказал он.— По весне, как голод подождет, народ пояса потуже затянет — в одну неделю провернем. Почтенных наших мужей и людей состоятельных чуть-чуть подмажешь, горло им маленько прополощешь, размягчишь — как по маслу все пойдет.

Шалдин расхохотался — не как давеча над бородой, а громко, раскатисто, широко расправив грудь. Его смех передался и остальным. Хотя они не почувствовали того же удовольствия, что и Шалдин, но тоже рассмеялись вслед за ним. Посмеялся и Саяф. Шалдин вышел и вернулся с бутылкой коньяка. От предвкушения того, как живая эта вода будет литься в хрустальные, на тонких ножках рюмки, у Саяфа защекало в горле.

Шалдин поднял рюмку с коньяком, посмотрел на сына и дочь и сказал:

— Первую рюмку мы поднимаем за здоровье человека, явившегося к нам из бурана. За его столь полюбившуюся нам бороду. Пусть она будет такой же красивой, такой же пышной и такой же могучей и впредь! Пусть же борода выпьет первой! Вы согласны, господа?

— Браво!

— Слава бороде!

Когда часы на стене пробили десять, мулла уже был крепко навеселе. Уже не думал, как он выглядит перед Шалдиным, развязно или неразвязно.

— Землям,— говорил он,— я хозяин. Столкнетесь со мной — ваша земля. У башкир и без того земли много. Им хватит! Только скажите — межу у самой околицы проложим. Всю землю отдам! Башкирская корова ляжет — хвост на ваших землях будет. А вы ее за хвост ухватите и с них за траву сдерете. А не захотят платить — мы живо!.. Вот — бородой ручаюсь! Я это не просто языком, я это сердцем говорю... бородой говорю. Видите мою бороду? Видите, какая у меня борода?

— Славная борода,— сказали боярские дети.

Однако у Шалдина слегка испортилось настроение.

— Ты лучше пойд и в знак уважения к своей бороде ложись поспи,— сказал он.

Слова эти ударяют Саяфу в голову пуще коньяка. «Стой, погоди-ка,— говорит он себе,— Шалдин недоволен».

От этой мысли он словно бы даже трезвеет. Пошатываясь, идет к Шалдину, склоняет перед ним голову:

— Из... вините...

— Ваша очередь!

Это молоденькая парикмахерша окликнула его. Шалдин исчез, улетел куда-то прочь, вместе с папиросным дымом растаял. Там, где только что был боярин, стояла парикмахерша. И какая!.. «Пропал! — обомлел Саяф. — Какая соблазнительная!.. Однако, однако, держись, Саяф! Теперь не прежнее время, упаси аллах, чтобы ты себе позволил...» Ибо в прежние времена при виде женщины он сразу голову терял. Из оглобел, как говорится, готов был выскочить. А тут, как на беду, всем парикмахерша хороша, будто яблочко без изъяна. Молода, здорова, щечки алым пышут. И даже носик в точности, какой он любит, птичьим клювиком. «Не барышня, а чистый яд! Окаянная! — крикнул он про себя. — Беги, беги, Саяф, от греха подальше!.. Стой, Саяф! Что подумают? Кто вот так, ни с того ни с сего, удирает? Известно, какой элемент».

Сел в кресло.

Мало того что соблазнительная, еще и любезная, оказывается. Раза два к нему нагнулась, что-то одернула, что-то поправила, а движения мягкие, заманчивые. Саяф вспомнил свою младшую жену, когда она молодая была. Сразу перехватило дыхание, он покраснел, напыжился.

— Что прикажете?

Саяф:

— Бороду! — Захихикал, словно от щекотки, и на миг забылся. Что-то теплое, тягучее заволокло все мысли.

Тем временем ножницы обкорнали бороду, белая пена покрыла лицо. Саяф глянул и увидел себя в зеркале. Барышня своими мягкими ручками взяла голову Саяфа и положила поудобнее на спинку кресла. От щекотки Саяфу совсем невмоготу.

— Хи-хи-хи-хи... — захихикал он с тихим повизгиванием.

— Вы чего смеетесь?

— Нет, нет, так просто, молодость вспомнил. Хи-хи-хи... Вожделение окаянное, и впрямь чистый яд. Хи-хи-хи. Даже пятки вспотели, хи-хи-хи-и.

— Перестаньте! — сухо сказала парикмахерша.

Сказала — будто камнем в лоб закатали. От такого удара Саяф чуть назад не опрокинулся. И вся разлившаяся по телу щекотливость, как еж, которого ткнули палкой, собралась обратно, свернулась в клубок и исчезла. Саяфу показалось, что он весь со всеми своими тайнами открылся до потрохов, что какая-то твердая рука сдавила его за кадык: «Ах, вот, значит, кто ты такой!»

«Нет, опомнись, Саяф! — испуганно сказал он себе. — Кто вот так, при виде женщины, воском растекается? Уж, конечно, не рабоче-крестьянская кость. Соберись и возьми себя в руки!»

— Бритва не беспокоит? — уже гораздо мягче спросила женщина.

«Внимание, Саяф, нельзя показывать, что ты размяк в ее руках!»

— Еще как беспокоит! — огрызнулся он. И тут же: «Ты что, Саяф? Ты что мелешь? Кого бритва может беспокоить? Только белую кость, тех, у кого кожа нежная».

— А вот теперь совсем хорошо стало! — тут же исправил он свою ошибку.

Даже подхихикнул чуток. Но теперь смеяться не хотелось, выдавил с трудом.

И вот борода сбрита. Он опять увидел себя в зеркале. Ли-

цо темное, а скулы и подбородок, лет с двадцати не видевшие солнца, белые, как марля. Рот куда-то провалился, голова будто съжилась, стала совсем маленькой.

Правильно это? Или неправильно? Он провел рукой по щекам. Ладонь мягко скользнула по голой коже — нет, все как по маслу.

3

Выйдя из парикмахерской, Саяф напрямик отправился к свояку Ахметсафе. Прежде свояк был человек состоятельный, в самом центре торговых рядов имел галантерейную лавку, пятерых приказчиков держал. С нижегородскими, казанскими, макарьевскими купцами знался, в деловых отношениях был. Но в революцию разорился. Однако при нэпе вместе с несколькими бывшими торговцами снова в том же самом торговом ряду открыл компанию под названием «Луна». Хотя в грамоте Ахметсафа был не шибко силен, но счет-расчет знал хорошо, себя в обиду не давал, внакладе не оставался. Но теперь опять, по второму уже разу, богатства лишился. И даже за торговлю неположенным товаром несколько месяцев отсидел. Однако из-под полы приторговывает, деньги в кармане водятся. На случай, если вдруг подвернется подходящий товар, «казна», и не малая, всегда под рукой.

Вот этот самый Ахметсафа нашему, каждый свой шаг вымеряющему Саяфу, самый что ни на есть близкий свояк. Никогда раньше свояк от свояка секретов не держал, каждый и планы, и помыслы другого знал.

Сегодня же Ахметсафа показался Саяфу исхудавшим, крепко помятым жизнью человеком. И встретил он гостя без обычного радушия. Впрочем, Ахметсафа тоже нашел, что Саяф крепко изменился. Даже какое-то время смотрел на него и не мог узнать. Конечно, сказалось то, что и Саяф без бороды чувствовал себя не самим собой.

Сегодня они пьют чай. Однако нынешнее чаепитие совсем не похоже на их прежние застолья. Прежде они чай пили под граммофон, под те пластинки, какие у веселых «дамочек» играют. Песенки эти будто сердце щекотали, бодрили дух.

В 1907 году приехал Саяф в Уфу сдавать экзамены на получение «указа». Вместе с ним на место имама в той

же махалле¹ сдавал еще один шакирд. Саяф понял, что если он понадеется только на свои знания, то место имама ему не видать. Тогда созвал он сюда, в дом Ахметсафы, всех кази. Накормил-напоил их до отвала, да еще муфтию послал в знак уважения дорогие подарки. Так что Саяф экзамен выдержал и указ-намэ получил, что он «хатиб и мударрис² аула Атбаткан». На следующий день после указа они с Ахметсафой в этом же самом доме (тогда ему принадлежал и второй этаж) играли на граммофоне, пили чай с разными яствами и смеялись над тем шакирдом. Конечно, тот экзамена не выдержал. «С кем ведь шутки взялся шутить! С кем состязаться хочет! Прощелыга, шакирд вшивый! Не под силу благочинным глаза замазать — так не берись!» — издевались они.

Но в сегодняшнем застолье ни того складу-веселья, ни той спеси-гордости не было. Сегодня слова из уст с большой опаской, словно озираясь, выходят. Занавески на окнах хозяин опустил сразу. Детишек, чтобы возле них не крутились, не положенного им не слушали, давно уложили спать. Ахметсафа, его жена Гульзихан и Саяф чай пьют тихо, словно украдкой, — тихо, без звука, подплывают чашки к самовару и так же тихо, без звука, отплывают.

— Дело, значит, такое, — говорит Саяф и глубоко вздыхает. — Дорога жизни больно уже тряская пошла — сплошь ямы да ухабы. В ауле мне житья больше нет. Выход один — уехать подальше, чтоб и след потеряли. Вот я и решил.

— А документ? — спрашивает Ахметсафа.

Саяф опять смотрит в сторону. Он уже все углы в доме оглядел по нескольку раз. Опять вздохнул. Сначала он хотел про документ ничего свояку не говорить, но, оттого что он свояка и свояк его знал как облупленного, решил зря не скрывать.

— Комар носу не подточит. Сваяк твой теперь середняк. Хотя можно было и бедняком записаться, и даже батраком.

— Надо было партизаном, — с досадой перебил его Ахметсафа. — Знаешь, какой почет? Им все выдают. Хочешь, муки белой, хочешь, сахару, хочешь, чай сто пятый номер.

— Нет, нельзя. Я даже что колхозник не взял. С этим живо попадешься. А когда я единоличник, середняк, совсем другое дело. Так легче поверят. И врать придется только

¹ М а х а л л я — приход.

² Х а т и б — читающий проповедь; м у д а р р и с — старший преподаватель в медресе.

наполовину. Сам знаешь, у каждого свой нрав, свои повадки. А у меня нрав такой, бедняком или партизаном держать себя не могу.

— Партизан и ведет себя по-партизански,— согласился Ахметсафа.— И все же партизану лучше.

— Это мы знаем, только и там своя загвоздка.

— Документ-то как достал?

Саяф рассказал им историю документа.

4

— В прошлом году, в десятых числах января по старому стилю зашел я после ясих-намаза¹ к Гильмияру. Два года нашими стараниями был он председателем сельсовета. Гильмияр долго рассказывал мне, какие тяжелые идут времена, какие сгущаются тучи и какие на наши головы скоро обрушатся бури.

«Вы,— сказал бедняга,— помогли мне, а чем оплачу я вам? Вместе пили, вместе ели, камень за пазухой не держали, мусор друг другу в глаза не сыпали. Тайна какая — так вместе узлом завяжем, а придет время, вместе и развяжем. А нынче осенью бились вы, старались, а в Совет меня не протолкнули, и уселась вместо меня голытьба безлошадная-беступная, почтенных, состоятельных людей и в грош не ставят. И мне горько, и вам невесело. Прослышал я,— сказал бедняга,— что меня тоже в список внесли, с кулаками на один кукан нанизали. За то, что третьего года батраков держал».

Помолчал, и снова рот открыл, еще что-то хотел сказать, но почему-то не сказал.

До того как стать председателем сельсовета, он исполнял кое-какие поручения нашего диния-назирати². Вот тогда мы вместе с ним да еще несколько имамов и состоятельных хозяев из окрестных аулов организовали маленькое общество. В свое время это общество немало ручьев на нашу мельницу отвело. И жены дома на хике не сидели, среди женщин что челноки сновали, свой уток поперек основы тянули. Общество не общество, а так — у него даже имени своего не было. Подговаривали верующих с колхозниками не знаясь, в гости друг к другу не ходить, их невест в снохи не

¹ Я с и х - н а м а з (молитва), который читается после захода солнца.

² Д и н и я - н а з и р а т и — одно из высших духовных лиц.

брать, своих им не отдавать. Вроде об этом хотел сказать, но почему-то не сказал.

«Как жизнь пойдет — не угадаешь, — сказал бедняга, — сегодня так, а завтра уже эдак. Теперь даже того не знаешь, откуда завтра солнце встанет. Вот тебе две бумажки, хорошенько спрячь их. На них и штамп, и печать сельсовета стоят. Придет черный день, сделаешь из них себе документ. Только будь осторожен. Чтоб комар носу не подточил. И меня в своих молитвах не забывай. Сдается мне, что в том прошлогоднем деле... Ну, когда уполномоченный... умер... кончик нитки зацепили. Человек из района приезжал вчера, жену кузнеца Халькаса в сельсовет вызвал, о чем-то долго говорил с ней. Какое еще дело может быть у района к ней? А жена Халькаса, словно почуяла что-то, еще тогда женщинам говорила: это, мол, дело рук Гильмияра, всю ночь у них в заднем окошке свет горел. Так что жди, скоро случится что-то, и долго ждать не придется. Жаль, сразу эту жену Халькаса... не успокоили, — вздохнул бедняга. — Коли придется срочно спасаться, — сказал он, когда вышел меня провожать, — я в подпол под мечеть спрячусь, где зерно схоронено. Как исчезну, через день туда приходи, скрывать-ся мне поможешь».

Всю ночь я не мог заснуть, глаз даже не сомкнул. Сам себя начал бояться. Вставал, словно в бреду, шел на крыльцо, смотрел на окна Гильмияра. И назавтра весь день болело сердце. Сыскал я повод и опять заглянул к нему. Он говорит: «Ты больно ко мне не шастай. Еще подозревать начнут».

А вечером слышу: «За Гильмияром милиция приезжала, да не нашла». Наутро позвал к себе муэдзина, рассказал ему, где прячется Гильмияр. В тот же день уволил сторожа и топку печей в мечети поручил самому муэдзину. Неделью Гильмияр спасался в подполье. Там же с ним были двое из соседнего аула, перед самым раскулачиванием бежали. Попривыкли они тут, почувствовали себя вольготнее. Смеются даже: «Надо было летом печку здесь выложить, а трубу в ту печь, что наверху, вывести». Муэдзин у нас человек расторопный, еду им исправно доставляет.

Однажды мы с муэдзином сказали прихожанам: мол, должны еще намаз по обету прочитать — и после ясиха остались в мечети. Уговор был такой, если нужно встретиться, то встать на крышке лаза и трижды топнуть легонько. Так и сделали. Те открыли. Спустились мы в подпол — и что же видим? Они там железную печку приладили, сидят и пья-

ного зелья отведывают. И нас принялись уговаривать. Нам такое, конечно, не очень понравилось. А тут Гильмияр с веселой головы вот что придумал:

«Ты,— говорит,— собери людей понадежней и шепни им: так, мол, и так, за великий наш грех, за то, что допустили колхозы, страшное бедствие обрушил аллах на наши головы, ангелы приняли человеческое обличие, ходят по мечетям, читают намаз и насылают проклятия на колхозников. А все остальное мы сделаем сами».

Назавтра мы с муэдзином самым исправным образом через надежных людей пустили этот слух по аулу.

И вдруг в одну жуткую буранную ночь заколотили в ворота. Я бегом к окну, глянул, у ворот толпа. Стоят, съежились, по сторонам озираются, словно испугались чего-то. «Что там у вас?» — спрашиваю. «Выйди-ка!» — кричат.

Я не спеша оделся. Только вышел, они: «Слышишь?»

Я прислушался — сквозь буран со стороны мечети словно бы доносится плач и кто-то такбир¹ читает. Поначалу я и сам перепугался: аллах все милостивый, думаю, что это?! Потом смекнул: должно быть, те забавляются. Но, думаю, лицо мое как перекосилось от испуга, таким пусть и остается. Что же сказать им? Однако сразу никак не соображу. «Боюсь,— говорю,— не к добру это, ступайте домой, грехи свои отмаливайте». Стоят, уходить никто не хочет. «Что же это, хазрет?» — спрашивают. А я, как договорился с Гильмияром, сказать боюсь. «Ладно,— говорю,— вы люди в вере твердые и меня не выдадите. Это колхоз нам так отпрыгнул. Слышите, как ангелы плачут, убиваются, крестьян проклинают за то, что с пути истинного сбились, имущих грабят, в колхоз записались».

Немного погода все стихло. Сам над хитростью тех смеюсь, а самого жуть берет.

И что бы вы думали? Назавтра четыре человека написали заявление, что выходят из колхоза, и отнесли в правление. Так, мол, и так, не к добру все это. Их там и стыдили, и уговаривали, уверяли, что такого быть не может, а они: «Собственными ушами слышали» — и все тут.

Мы рассказали об этом Гильмияру. Посмеялись от души. Через пять дней повторилось снова.

Сначала они днем подбросили бутылку с куриной кровью, а на бутылке записка: «Это кровь, что прольется у тех отступников, которые сошли с пути праведного и записались в кол-

¹ Такбир — восхваление аллаха.

хоз». А ночью опять залезли на минарет и оттуда кричали азан. Опять толпа посреди ночи прибежала ко мне. Я уже в этот раз разговаривал по-другому. «Не ходите и не кричите, сами эту беду накликали, на себя обижайтесь», — сказал им через дверь, даже на улицу не вышел. Тем временем Гариф, секретарь этих партийных, и с ним Аслям-комсомол подоспели.

Гариф говорит холодно, сдержанно, а комсомол прямо на месте подпрыгивает:

«Где ключ? У кого ключ? Давайте ключ! Сам на минарет залезу, всю мечеть сверху донизу обшарю!»

Удивился народ. А парень еще сильнее распаляется: «Такое уж было, — кричит, — это кулацкие проделки!» Что делать? «Ладно, — говорю, — но если что случится, на меня не обижайтесь!»

Однако этой ночью в мечеть их не пустил. Назавтра еще шесть человек из колхоза вышли. Теперь уже колхозное правление крепко задумалось. Сообщило в район, попросило прислать людей. Ночью я об этом сказал Гильмияру. Решили, что еще до рассвета им надо исчезнуть. Я зашел в дом, лег спать. Во время утреннего намаза прибыли два парня. Быстро собрали народ, сколотили комиссию и начали обыск. И доискались-таки, нашли подпол, где наши отлеживались. Лаз туда под михрабом¹ был. Недотепы эти даже за собой не прибрали. Бутылки из-под водки, обглоданные кости, тарелки, ложки, карты, даже газеты — так все и осталось. Тот комсомол Аслям так и прыгает, словно курица, что вспорхнуть приготовилась.

«Ангелочки-то ваши — самые что ни на есть пьянчуги! Немало водки выпили. Здесь тринадцать бутылок, да с кровью четырнадцатая. И даже газеты читают. Ты только посмотри на них! Ангелы-то по-русски понимают! Русские газеты читают!»

Народ словно взяли и подменили. Почти все из тех, кто из колхоза вышли, обратно в колхоз подались, мало того, в порыве рассказания даже хлебное задание полностью ссыпали. Один старик по имени Хикмай заявление в ячейку притащил: возьмите, мол, меня в коммунисты. Вечером того же дня те два парня, что из района приехали, вызвали меня к себе. Я стоял на своем, причитал, плакал, слезы горохом сыпались: знать, мол, ничего не знал и ведать не ведал! Вызвали муэдзина. «Меня и самого удивление брало, — говорит

¹ М и х р а б — трибуна (амвон) в мечети.

муэдзин. — Приду иной раз, а замок на мечети открыт. Кто открывал, зачем открывал? Но ничего из мечети не пропадало, так и я шума не поднимал». Смотрят эти, кажись, арестовать нас хотят, но почему-то пока не арестовывают. Только подпись взяли, чтобы, значит, из аула нам не выезжать.

А Гильмияр словно в воду канул, куда делся, куда пропал — ни слуху ни духу.

Так и зажили, собственной тени боимся. У меня будто правое крыло обломили. С муэдзином и еще двумя-тремя из аула порой словом перекинемся, и все. Ни на что другое не решаемся. А ту пшеницу, что под мечеть спрятали, они так и не нашли. Муэдзин таскал ее помаленьку, птице-живности скармливал. Свезти бы на мельницу, перемолоть потихоньку, но опасно. А так ее не изведешь, в кармане не перетаскаешь.

Наступил февраль. Народ в колхоз валом повалил. И вот однажды ночью я проснулся от криков на улице. Ночь лунная, светлая, смотрю в окно: а там — муэдзина ведут. Дело плохо. Я быстренько оделся, один бланк в нагрудный карман положил, другой в брюки. Попрощался наспех с женой и припустил задами. Солнце еще только поднималось, когда я пришел в Алексеевку. Здешний поп Леонид Андреевич, оказывается, в другой дом переехал. Но все же разыскал, три дня жил у него. Поп своей рукой и заполнил мне бланк. Вот, свояк, и вся тебе история моего документа...

5

— А муэдзин? Что с ним случилось? — спросил Ахметсафа, подвигаясь ближе к Саяфу.

Гульзихан сидела ни жива ни мертва.

— Как я слышал, — вздохнул Саяф, — его тоже арестовали. Меня тоже сильно искали. Все вверх дном перевернули. Дом, имущество описали. Теперь, говорят, в моем доме колхозная канцелярия.

Муж с женой снова переменились в лице. Не только с испугом, они уже с жалостью смотрели на него. А Саяф, мол, коли начал говорить, уж договорю до конца, вздохнул глубоко. Даже голос изменился, пальцы трясутся, губы, будто у карася плавники, дрожат.

— Слышал, к расстрелу меня приговорили. Если поймают, непременно тут же расстреляют. Так ли, нет ли, ручаться не могу, но слух такой был.

Последние слова на мужа с женой произвели такое впечатление, словно вдруг перед глазами полыхнула молния. Будто распахнулась дверь и кто-то заорал: «А вот они где! А мы вас ищем, никак найти не можем, чтоб расстрелять!» Слушать такие страсти дальше они не захотели. Самовар и чашки исчезли со стола.

Посветлели занавески на окнах. Занимался апрельский рассвет. Город лежал в сизой дымке легкого тумана. Застыли голые, без листьев яблони в садах. Тянутся в небо заводские трубы. Поезд, выстукивая частушку, промчался по чугунному мосту и, разрезая городскую тишь, возвестил о своем прибытии к вокзалу.

6

Кассир вписал в последнюю графу ведомости сорок пять рублей и сказал смотревшему на него во все глаза Саяфу: — Подпись ставить умеешь?

«Как сказать?!»

В одну секунду десятки мыслей пронеслись в голове. Все же на двух языках когда-то учили писать. Но как тут сказать, что безопасней? Сообразил быстро:

— Если латинскими, могу.

Он даже не латинскими хотел сказать, а «по-яналифу». Однако надо, чтобы попроще вышло, по-мужицки, и он добавил:

— В ликбез ходил.

Сзади подтолкнули его. Долгие разговоры с кассиром очереди не понравились. Нынче все спешат.

— Скорей шевелись. Где ты учился, никому не интересно.

Саяф быстро пересчитал деньги и отошел в сторону. Опять, кажись, промашка, расстроился он, совсем не к месту с ликбезом этим влез, когда с подробностями лезешь, всегда подозрительно.

Работа сегодня закончилась. Куда теперь? Разве пойти возле завода прогуляться? Тоже подозрительно. С чего бы вдруг человеку возле завода без дела околачиваться? Он вышел из конторы.

Километрах в трех от города, вдоль реки Белой шумят-гремят лесопильные заводы. Заводы эти связаны между собой железнодорожной колеей. Все дома, бараки, построены из дерева, и потому воздух здесь чистый и мягкий, сосновый дух приятно щекочет в носу. Вон паровоз подцепил два ва-

гона и тянет их к укладчикам. Гремят в цеху рамы, взяли одну частоту и выстукивают ровно. С грохотом падают доски в вагоны. Вытянувшись цепочкой, переваливаясь с боку на бок, поднимаются из воды бревна. Кричат рабочие. Нафиков, по прозвищу Глотка, орет на всю Белую:

— Даешь вагон!

Нафиков с малых при заводе, здесь, можно сказать, и вырос, теперь он бригадир укладчиков. Глотка у него луженая, как гаркнет — голос летит через реку и ударяется о лес на том берегу. За то и прозвали его Глоткой. Так и повелось: Глотка и Глотка. Нафиков не обижается.

— Значит, поорем! — говорит он.

Неподалеку от лесопильного завода стоит фанерный. Там больше работают женщины.

Сейчас у них как раз пересменка. Вон вторая вахта застывает на работу. Укладчики кричат женщинам:

— Эй, гляжу, не выспались еще!

— А ты что растрепанная такая, волосы подбери!

— Эй, ребята, девушек не обижайте!

Здесь весело, жизнь так и кипит. Уже почти сошел снег. Вздывается Белая: вот-вот поднимусь, вот-вот все залью, тогда и увидите мою силушку. Потому и стараются быстрее поднять лес оттуда, где его может захватить паводок. Вроде хорошо управляются, но еще много на берегу плотов, огромные связки, день-два — и унесет половодьем. Но Саяфа эта суматоха, бойкая эта работа совсем не радует. «Посмотри, Саяф, — бормочет он. — Хорошенько гляди. Видишь, как бойко, с каким азартом работают. Нет, Саяф, они не просто работают — это они с такой страстью могилу тебе роют».

Уже пятнадцать дней отработал он на заводе. Завтра, если не подоспеют люди из колхозов, его совсем примут в штат. Он нарочно выбрал завод на окраине. Здесь, решил он, никаких знакомых быть не должно. И не ошибся. За пятнадцать дней он хорошо освоился. Еще месяц возле рам потолкается и, даст аллах, определится в сортировщики. Потом, если на какие-нибудь курсы прошмыгнет, глядишь, и рамщиком станет. А там уже все пойдет как по маслу.

Однако что-то в сон клонит. Вот опять зевнул. Может, взять одну литровую и заглянуть к свояку?

В этих раздумьях подошел к воротам. Рядом с воротами — доска объявлений. На одном из листочков написано: «Сегодня в 10 часов вечера общее собрание рабочих тринадцатого лесопильного завода. Вопрос: «О переходе на летний сезон работы».

Надо пойти. И там пень пнем не сидеть, маленько активность показать.

...В бараке стоял неумолчный гул. Живут здесь сезонные рабочие и холостая молодежь из местных. Когда Саяф вернулся, его смена уже пришла с обеда. Кто спит, кто просто вытянулся на кровати. Комсомолец Васька собрал возле себя нескольких рабочих и вслух читает газету. В непонятных местах дает разъяснение.

В сторонке, на своей кровати сидит Сулпанов. Зарплату он сегодня получал в «черной кассе» — там, где ее выдают прогульщикам. Френч свой снял только наполовину, из одного рукава вылез, а из другого еще нет. Сидит и вытаращенными глазами смотрит на тех, кто слушает газету. Саяф неслышно подошел к своей кровати, сел спиной к Сулпанову. В последнее время жизнь в бараке разонравилась ему. Уйма народу приходит сюда каждый день. Кто-нибудь узнает тебя, а ты и не заметишь. Надо что-нибудь придумать, придется отыскать жилье где-нибудь в таком месте, где не толчется столько народу. К тому же и спит беспокойно, все ему прошлое снится, даже во сне заговаривает. Не ровен час, и такое ляпнешь... такое, что сразу, еще сонного, возьмут за шкуру.

Он сидел, утонув в этих думах, когда кто-то подошел сзади и огрел по шее. Саяф взлетел с кровати. Обернулся, а это Сулпанов перед ним стоит:

— Ну что, земляк, в картишки перекинемся?

«Земляк?..» От этого слова Саяфа бросило в жар. Он так и впился взглядом в Сулпанова. Долго смотрел. Неужто и впрямь земляк? А коли земляк, чего же он пятнадцать дней молчал, ничего не говорил? Если земляк, надо быстрее увести отсюда, унять его.

А тот:

— Чего смотришь? В карты, что ли, не умеешь?

Конечно, картами шлепать мудрость невелика, но только не здесь, не здесь!.. Посмотреть, так и впрямь он где-то видел эту образину. Как же увести его отсюда?

— И что же, земляк? — сказал Саяф.

— Не понял? В карты, говорю, играешь?

— Нет, земляк, не играю. Может, сходим куда?

— Смазки нет.

— Подмажем.

Сулпанов повел его не в пивную, как думал Саяф, а в какое-то убогое заведение, где торговали пивом на вынос. Ни стола, ни стула даже нет. В углу средних лет мужчина

с широким, блестящим, как гречневый блин, лицом из вставленного в бочку крана разливает пиво. Большинство людей очереди держат четвертные бутылки, графины, чайники, только у нескольких в руках пивные кружки. В углу, облокотившись о пустую бочку, стоят те, кто пиво уже получил. «Гречневый блин» ругает очередь, что лезет, торопится, а порядка не знает, очередь огрызается, бранит его за медлительность.

Саяф остался возле дверей, осмотрелся, никакой опасности для себя не углядел, вот только уместно ли ему заходить в такое заведение или нет?

Тем временем Сулпанов раздобыл где-то большую железную миску и, на ходу вытирая ее полою френча, подошел к Саяфу:

— Давай деньги.

Чуть не вырвал деньги из рук Саяфа и, съежившись, сгорбившись, бочком полез прямо в середину очереди. Стоявшие в очереди набросились на него с бранью, но он молча продолжал пропихиваться.

Саяф стоял в сторонке и думал: земляк этот Сулпанов или не земляк? Посмотреть со спины — так и впрямь вроде бы видел он эту фигуру. Немного прошло, Сулпанов с полной миской пива вылез из толпы, поставил ее на бочку и достал из кармана помятую консервную банку:

— Ну-ка, земляк, черпани!

— Можно,— откашлялся Саяф, принимая банку.

И опять не знаешь, что сказать. «Как бы выведать, откуда Сулпанов, с какой стороны он мне земляк? Как бы эдак половчее спросить?»

— В ауле давно не был?

Сулпанов оживился. Даже пожухлый его голос против прежнего стал звонче:

— А чего я там не видел? Я, брат, в любых местах был, под каждым кустом ночевал. То — на одном производстве, то — на другом производстве, сегодня — Уфа, завтра — Челябинск. Нынче здесь, завтра там, пришел, зашел, поработал, не понравилось — докуда денег хватит — фью-у! Сел на «максимку» — и трюх-трюх, латта-лат, трюх-трюх, латта-лат, латта-латта-та и трепака! Мы, земляк, птицы перелетные, душа у нас крылатая. Что нам стыд, коли пьян да сыт?.. И земляки, вроде тебя, попадают. Я ведь что люблю? Я ведь люблю, когда оклад идет. А на сдельщине сидеть не люблю. Глянь-ка, земляк, на мою шею. Ну глянь же, глянь!

Сулпанов чуть не лег на бочку и показал Саяфу на ложбинку на шее.

— Что там? Клещ? — удивился Саяф.

— Видишь, какая ложбинка глубокая? А глубокая ложбинка сдельщину, брат, на дух не принимает. Пей давай, пей!

Опять Саяф нужного ответа не получил. Решил подъехать с другой стороны:

— Отец-то как сейчас, жив-здоров?

— А шайтан его знает. Он, когда здоровый, всегда живой. Я ему не пишу, он мне.

«Вот это хорошо!» — одобрил Саяф про себя.

— А почему не пишу? Ложбинка не велит. Отцу-то что? Поживет, поживет и помрет. Кто-нибудь палку на могилу воткнет. Верно, земляк? Конечно, верно. Пей давай, пей!

И тут не вышло. Саяф уже не знал, как дальше спрашивать. В прошлом году в их районе в трех аулах три пожара случились. Если он из одного из трех, дальше разобраться будет легче.

— Кажись, в прошлом году у вас пожар большой случился? Крепко погорели?

— А черт его знает! Погорели так погорели. Нам-то не все равно? Пускай себе горит, пускай пепел до неба летит. На угольках самовар поставим. Одно-то негорелое место для нас всегда найдется. Пей давай, пей!

«Тьфу ты, что за несуразный человек! Никак его за хвост не ухватишь. Мелет-мелет, а что, не поймешь. Ну, Саяф, с какой теперь стороны подъедешь?»

Плюнул и спросил напрямик:

— Ты меня знаешь?

— Это почему же не знаю? Думаешь, совсем пьяный? Давай на спор, до утра будем пить, а я тебя узнаю. Голова, земляк, покуда крепкая, все помню. Был у меня земляк, из Свердловска, кажись... или из Ташкента? Я его в Саратове к одному земляку повел. Пили, пили... а потом я упал. Они у меня спрашивают: «Кто мы?» А я лежу и кричу: «Саратовский мишарин и ташкентский узбек!» Я знаю... Пей давай, пей!

— Ты подожди, ты скажи, из какого ты аула? Ты почему на вопрос не отвечаешь? Дом родной, край родной у тебя есть? Или нет?

— Да брось ты! Зачем он, край родной? Если где не понравится, сразу на «максимку» — и фью-у! Трюх-трюх, латта-та, трюх-трюх, латта-та...

— Пора идти, — спохватился Саяф, — уже восемь.

— Да хоть десять!
— Мне на собрание надо.
— Собрание! Ты, земляк, все пустяками разными занимаешься! Зачем тебе собрание? А здесь что, не собрание? Мало тебе?

— Ладно, я пошел.

Сулпанов мутными глазами посмотрел на него:

— Пошел, говоришь?

— Да.

— Оставь три рубля.

«Что делать, как быть? Давать не давать? Думай, Саяф, быстрее шевели мозгами! Дай, Саяф, пусть подавится, три рубля не деньги. Нет, Саяф, не давай, Саяф! Кто деньгами сыплет? Тот, кто трусит, кто задобрить желает, подкупить хочет. А если он тебя знает? Возьмет и, как *эти* говорят, сорвет маску. Вот и отдашь голову за трешку». Подумал-подумал и:

— Так и быть,— сунул трешку и вышел.

Сулпанов только выматерился вслед.

7

Доклад был коротким. Директор завода говорил о том, что не сегодня завтра Белая разольется; хотя с берега лес убран, однако есть опасность, что вода подступит к самому заводу, и нужно организовать дело так, чтоб и во время разлива работа шла нормальным ходом. Но что среди всех насущных дел тревожило больше всего: рабочая сила используется не по плану, по договору колхозы должны были прислать людей, но ни одного человека еще не прислали. Оттого и пришлось в последнее время принимать кого попало, прямо с улицы, и потому, дал понять директор, на завод мог попасть и нежелательный элемент. Так что нужно привлечь свежие и надежные силы.

— Что делать?

Об этом думали, над этим ломали голову рабочие завода, и в первую очередь — ударники. Решил сказать свое слово и Саяф. Только вот как?

«Ты Саяф, умно скажи, правильно, в самую точку. Что ведь страшно? Силы эти, «свежие да надежные», — вот что страшно. Пока тебя здесь никто не знает. Даже Сулпанов — и то сомнительно. Но придут новые люди, а среди них и какой-нибудь землячок, да не такой, как Сулпанов. Тогда что?

Иди, Саяф, скажи, Саяф, нам, скажи, новых людей не требуется!»

Пока он так ломал голову, выступил старик Гардин. Он уже давно работает на этом заводе — и тяжелые, и веселые, всякие времена вместе с заводом пережил. Слова директора еще глубже пробороздили морщинками его лоб. По всегдашней привычке на сцену он не поднялся, а встал под трибуной.

— Поднимись на сцену,— сказал председатель.

— И отсюда сойдет,— отмахнулся старик и начал: — Во-первых, ты, товарищ директор, не плачь! — он загнул один палец.— Во-вторых, в рабочую силу надо верить. Был осенью на заводе прорыв? Был. Ликвидировали? Ликвидировали. А чьими силами ликвидировали? Силами рабочих.— Он загнул второй палец.— А в-третьих, хватит бумажками всякими заниматься! Надо завтра же с утра отправить людей по колхозам. Они в три дня завод рабочими обеспечат,— загнул и третий.— Надо штурмовую десятидневку объявить — это четыре. Каждой бригаде дать свой участок работы, за него она отвечает — это пять,— старик загнул еще два пальца и показал крепко сжатый кулак.— Вот!

Выступавшие следом поддержали Гардина, они говорили о том, что надо отходникам приготовить общежитие, столовую перевести поближе к месту работ, во время половодья не только на лошадях работать, но еще попросить трактора.

Взял слово и Саяф. Все, не отрываясь, смотрели на него, ждали, что скажет человек, который сам недавно прибыл из деревни. Осторожно ступая, он поднялся на сцену и встал возле трибуны. Правую ногу чуть выставил вперед. Хотел было прежде стукнуть себя в грудь, а потом начать речь, но спохватился: «Стой, Саяф, знаешь, кто так делает?..» — но додумывать, кто так делает, было уже некогда.

— Братья рабочие, собирайтесь в один кулак, в одну ударную силу! — начал он.— Тут многие товарищи говорили: на заводе рабочей силы не хватает — это, конечно, очень и очень прискорбно. И каждый пролетарий, равно как и тот, кто считает себя сочувствующим пролетариату, и каждый гражданин, кто от всего свободного сердца приносит пламенную, малым даже пятнышком не запятнанную клятву душой и телом быть верным Советской власти, должен быть опечален, товарищи! На минутку задумайтесь, на минутку представьте себе, товарищи! Дескать, на заводе не хватает рабочей силы! Кто это говорит? И как это понимать? Да, свободные полноправные граждане, скажите мне, как это понимать?

— Конкретно! — сказал кто-то. Почему так крикнул, Саяф не понял, не сбавляя голоса, продолжал:

— Да, понимать, товарищи, нужно конкретно! Есть между нами граждане, не понимающие конкретно! На этом я заканчиваю, но заканчиваю со словами «Да здравствует Советская власть!». Ибо мы для Советской власти жизни не пожалеем, до последней капли будем стараться для нее! Вот я — бедный крестьянин-единоличник. Дитя земли, так сказать, из земли родился, от земли кормился. И я повторяю: мы не сдадимся!

Саяф ожидал, что после такой пламенной речи народ проводит его бурными рукоплесканиями, может, даже «Ура!» покричит. Но... слова его вспыхнули, как папиросная бумага, и тут же погасли, даже дыма не оставили. Рабочие были озабочены тем, как исправить положение, что нужно делать, и потому пламенная эта проповедь отклика не нашла. Наоборот, председатель сказал следующему оратору:

— Не митингуйте, говорите конкретно!

Саяфу оставалось только подосадовать на тупость рабочей массы. Он вспомнил, как в семнадцатом году сходились на митингах и сабантуях, говорили о территориальной автономии, какие тогда произносились речи! И с сожалением вздохнул: вот было время! Пот, резкий, как скисшее молоко, прошиб Саяфа. Он протолкался к дверям, где было посвежей. Там, сидя на полу, Сулпанов скручивал самокрутку. Увидев Саяфа, он, словно нашел человека, которого давно высматривал, вскочил и протянул руку:

— Ну, земляк, оказывается, ты, земляк, чистый оратор!

8

Кто они такие? Что за люди собрались здесь? Неужто все только о производстве и болеют, за промфинплан страдают, за производительность труда горят? Все ли рады тому, как жизнь теперь так пошла? Может, такие есть, что думают: «Нам-то что, над нами не каплет, живем, хлеб жуем, лапти носим, сапог не просим, с нас и хватит». Или такие: «Отсидеться надо, вот когда дела вспять пойдут, тогда посмотрим». Вон технорук старик Гардин. Он и прежде здесь работал, и прежде был сыт, обут, одет, в достатке жил. Старый человек, в советской школе не учился, по-нынешнему не воспитывался. Как он думает? Тоже мой, дескать, завод, за про-

изводство болеет? Пожалуй что. На днях он тоже на собрании выступил.

— Я,— говорит,— человек уже старый, с заводом этим мы ровесники. Но только после революции провели на заводе реконструкцию, механизировали его. Так что и я тоже после революции заново родился. Во мне тоже реконструкция проходит. Я во вчерашней газете про вредителей прочитал, что они Советскую власть хотели свалить. Я, как советский специалист, выражаю им свой гнев и презрение, объявляю, что вступаю в ряды ударников и дополнительно подписываюсь на заем. «Пятилетку — в четыре года!» В размере месячной зарплаты! — говорил он с жаром, и в синих глазах под седыми бровями сверкали молодые искорки.

Вспомнил это Саяф, и опять в мыслях все перемешалось: «Есть же люди, Саяф, непременно должны быть люди вроде тебя, Саяф!»

Тут кочегарка лесопильного завода, огласив берега, дала пронзительный гудок — позвала на ночную смену. Длинный товарный поезд, выстукивая чечетку, шел по мосту. Старик бакенщик Василий стоял на берегу и думал о том, что скоро он будет каждый вечер объезжать на лодке бакены и зажигать их.

Надолго ли, нет ли, подумал Саяф, а придется ему здесь обжиться, и с этими мыслями отправился к Хуббиямал, работавшей на фанерной фабрике сторожихой. Когда он пришел, Хуббиямал стелила постель на ночь.

При встречах Саяф уже несколько раз заговаривал с ней и так, стороной, вызнал, что она уже много лет вдова, сына и дочь вырастила. Дочка на рабфаке учится. Живет Хуббиямал справно, к зарплате еще и пенсию получает. Зачем, с какими намерениями сюда явился, Саяф еще и сам не знал.

— Как, товарищ Хуббиямал, не устаешь? — заговорил он вкрадчиво. — Мне вот, к примеру, тяжело. («Что ты мелешь, Саяф?!») Нет, нет, после радостного, честного труда посчитал нужным заглянуть к вам!..

Хуббиямал никак не могла понять, зачем заявился Саяф, но на вопросы отвечала, на стул показала, чтоб сел.

— Красиво живете! — сказал Саяф, оглядывая комнату.

— Живем себе помаленьку...

— А вот у меня красиво не получается. В мои годы, товарищ Хуббиямал, от холостой жизни уже ни радости, ни сладости. А ведь и у меня... не шибко богатая, но была жизнь, не шибко красивая, но была жена.

Хуббиямал на это ничего не сказала, потому что и сказать на это было нечего. К тому же и углублять такой разговор ей не хотелось.

А Саяф мягко поехал дальше:

— Не знаю, может, и смешно это, но почему-то думаю, что еще налажу свою жизнь и буду жить в еще большей красоте и блаженстве, чем прежде. Потому что с женщинами,— тут он хихикнул, в точности как на днях в парикмахерской,— я себя очень хорошо держу. Я и на заводе с женщинами очень прилично веду себя.

«Саяф!» — сказал голос внутри. Саяф вздрогнул и поспешил исправить промашку.

— *Канишна*, — сказал он по-русски, — я не дервиш, который глаз от земли не поднимает. Не постный суфи или там немощный муэдзин. У меня душа есть, и страсть кипит, и силы еще имеются. Я ведь не как другие, прелести жизни для меня сном, едой да питьем не исчерпываются.

Хуббиямал растерялась. И понять толком не поймет. Сказала бы, что о нехорошем завел речь мужчина, но слова вроде бы приличные, даже в книгах такие пишут. Красиво говорит, витиевато. И направление разговора, кажется, вполне пристойное. Только сам вот чужой какой-то, на наших не похож, ни на хороших, ни на плохих.

— Вы, наверное, сами знаете... — только и пробормотала она.

— Отчего-то в эту вот минуту вы, товарищ Хуббиямал, в высшей степени понравились мне, отчего-то хочется мне тайны свои поведать, сердце свое открыть, утешиться вместе с вами, слиться в блаженстве, в далекое море уплыть, в небеса вспарить, от райского вина вместе с вами отпить глоток.

Хуббиямал и сейчас ничего не понимала, но уже почуяла, что нить разговора может завести далеко. И, словно вдруг разворотив угол дома, вошел кто-то и сказал ей: «Ты что, Хуббиямал-апай, не чуешь? Он же тебя придушить собирается!» И сама не заметила, как порхнула к двери, схватила метлу на длинной рукояти и замахнулась на Саяфа.

— А ну, выметайся, окаянный! Чего здесь бродишь, чего пришел? — заорала она.

Саяф упал со стула, вскочил, пытаясь одной рукой поймать метлу, попятился к двери и ринулся на улицу.

Солнце уже зашло. Хрустит под ногами ледок. Он пошел на берег и сел на бревна. Завод работает, рамы все так же отбивают частушки, режут бревна. После собрания-то рабо-

та еще живей пошла. Теперь и отстающие вахты выполняют норму. Саяфа зло взяло. На самого себя.

— Что ты здесь делаешь, Саяф? Ну, пришел ты на завод, и что же? Так и думаешь отсидеться, тишком да молчком? Даже работаешь на них, а они кто? Кто они? Всю твою жизнь поломали, все добро отняли, честь и достоинство!

Это были мысли, которые полагается думать, когда уже ночная тьма покрывает землю. Он вытащил из кармана несколько толстых длинных гвоздей. Красивые гвозди, прямые, острые... Эти гвозди он, как и два своих документа, пуще глаза бережет. Даже ночью, бывает, проснется и ощупывает пиджак: «Здесь ли, на месте ли, никто не украл?» Чтобы не звенели на ходу в кармане, каждый гвоздь завернул в газету. Он опять вытащил гвозди, подержал их в руке. Возьмешь гвоздь, вот так вот приставишь к бревну, потом поднимешь вот этот камень и два раза, всего только два раза, ударишь по гвоздю. И они с головкой, даже шляпки не увидишь, нырнут в бревно. Только как забивать? Ведь каждый гвоздь будет кричать, мол, в бревно его заколачивают, всех оповестит. Нет, Саяф знает, как надо сделать. Он на гвоздь тряпку положит и только потом по гвоздю камнем стукнет. Тряпка весь стук съест. А завтра эти бревна лягут на стальные цепи и тихо-мирно, как и все остальные бревна, поплывут к раме и яростно визжащие пилы, исходя воем от нетерпения, будут поджидать их и, как и во все остальные бревна, вгрызутся в них... и вот горячие их зубья встретятся с гвоздем...

9

Саяф вошел в барак. Вся вахта уже спала. Он тихонько разделся. Прежде он складывал пиджак и совал под подушку, а в этот раз бросил на стоявшую в изголовье тумбочку.

Сулпанов-то, оказывается, не спал. Лежал и смотрел:

— Ты, земляк, кажись, нашел куда деньги пристроить?

— Какие деньги?

— Ты раньше пиджак свой пуще глаза берег.

Саяф испугался: «Неужто он гвоздь заметил?» Долго думал, долго молчал, потом ответил:

— Да.

И всю ночь не мог заснуть, словно что-то терзало его тело, и утром поднялся раньше всех.

— Держи прямо! Ты бревно посередке подводи! — кричал рамщик старик Аллагул. — Ведете боком, и крайняя пила крутится впустую.

Саяф тоже крутился здесь, никак не мог заставить себя уйти. Следил за каждым идущим на раму бревном. Однако бревен, на которых сидел вчера, еще не видно. По его расчетам, они должны были попасть на эту раму.

«Прочь, Саяф! — говорит он себе. — Уходи подальше! Самое лучшее — ничего не видел, ничего не слышал!» Но хочется ему собственными глазами увидеть результат своей работы. Хоть тайком, но порадоваться, с каменным лицом, но посмеяться про себя.

Но все же отошел в сторону. Одно за другим лезут бревна, бегущие вдоль рамы, встречают их визжащие пилы. Саяф стоит неподалеку, косящим глазом ощупывает каждое бревно.

— Здорово!

Саяф вздрогнул. Оглянулся, а сзади председатель завкома стоит. Взгляд его простой, бесхитростный, такой же как всегда, вогнал Саяфа в страх.

— Здорово, говорю! Что, оглох слегка?

Саяф ожил. Ничего страшного в голосе завкома он не заметил.

— Нет, не оглох. Смотрю, как здорово работают! А сам думаю, смогу ли я когда-нибудь на раме вот так же работать?

— Отчего же не смочь? Коли постарайся, тоже квалифицированным рабочим станешь.

Завком замолчал, потом заговорил с подъемом:

— Вот что, Саяф, сейчас отходники придут. Мы так решили: от имени рабочих приветствовать их будешь ты. Ты ведь тоже вроде них, недавно из деревни пришел. Только это... как вчера, надолго не развози.

Саяф не знал, что отвечать. Соглашаться, не соглашаться? И так не хочется, и эдак не по душе. «Надо показать активность», — решил он наконец и согласился.

Оставшись один, он задумался. Чем начать свою речь и чем закончить? И как себя держать, чтоб совсем по-пролетарски было? Вернулся в барак. Но и там спокойно думать не смог, все что-то крутилось, что-то мельтешило в голове.

Вскоре и Сулпанов появился. Кажись, выпил маленько.

— Ухожу, земляк, ухожу отсюда. Все, надоело, сыт по горло. Чего я здесь не видел? Что здесь такого? А, земляк?

Ничего нет, ни такого, ни эдакого. Ударники-то, а? Весь почет ударникам. Вот они пусть и ударяют.

Саяф на это ничего не сказал. Кружилась голова, казалось, барак вот-вот рухнет на него. А Сулпанов бубнил свое:

— А ты, земляк, оставайся, ты тут как в гнездышке. Возьми и женись на Хуббиямал. Кажись, вчера ты из ее дома выходил? Уж, наверное, зазря-попусту не ходишь. А нам, земляк, не знаю... улыбнется солнышко или нет.

Саяф направился к двери.

— Постой-ка,— сказал Сулпанов,— ты куда пошел? К Хуббиямал торопишься?

— Чего тебе? — остановился Саяф.

— Дай денег. Я не говорю, что завтра же отдам. Уеду я, на какой-нибудь завод устроюсь. Почтой тебе вышлю. Я в Моршанск хочу поехать. Там, если хочешь знать, махорка отменная. Я тебе махорку пришлю. А, ты же табак не куришь! Ну, да ладно, дай два рубля, ну, давай же!

Саяф дал два рубля. Знал, что этих денег он больше не увидит, но дал, лишь бы отвязаться.

Он пришел в клуб.

Народ уже собрался. На передних скамьях сидели одетые по-деревенски люди. Саяф увидел их только со спины, его тут же увели на сцену и велели ждать там. Секретарь партийной ячейки сказал вступительное слово, следом говорил председатель завкома. Они ознакомили приехавших с сегодняшним днем завода.

— Оттащить от берега бревна!

— Несмотря на паводок, завод должен работать!

— Работа предстоит большая, выполнить ее в срок!

Все речи крутились вокруг этого. Наконец дали слово Саяфу. Только он вышел на сцену, как по всему заводу погас свет. Никого в зале разглядеть было нельзя. В темноте Саяф забыл, как он собирался держать свою речь. Но все же решительно махнул рукой и:

— Товарищи колхозники! — с подъемом начал он. — Мы, героический пролетариат, богатыри станка, рады видеть вас и от сердца, с широкой улыбкой приветствуем вас!

В первом ряду, где сидели колхозники, началось какое-то движение, словно возник какой-то спор.

— Да, мы рады приветствовать вас,— сказал Саяф,— мы и прежде радовались вам, а сегодня наша радость возросла еще больше. Вы приехали, и мы почувствовали, как прибавилось мощи, прибыло сил...

— Он! — сказал кто-то в первом ряду.

Опять зашептались, задвигались, снова заспорили о чем-то.

— Он самый! — раздался снова голос.

— Держи волка! — вдруг густо рывкнул кто-то. Это с последних рядов, держа за руку Хуббиямал, растолкав народ, пробился к сцене Нафиков.

Зал расхохотался.

— Вот это глотка так глотка!.. — изумился кто-то из колхозников.

— Погоди-ка, Нафиков, — сказал председатель и позвонил в колокольчик, — ты толком объясни.

— Ты мне слово дай, это такие слова, что их сразу говорить нужно. А Саяф пусть рядом постоит.

Саяф подался было за сцену, но там его перехватил директор клуба.

И тут зажегся свет.

— Спокойно, спокойно, товарищи!.. — загудел, повернувшись к залу, Нафиков. — Только что, и двадцать минут не прошло, на четвертой раме тринадцатого завода сломалась пила. В бревна были забиты вот эти гвозди. Видели, что там вчера после заката слонялся Саяф.

Стоявший с опущенной головой Саяф вскинулся и, выдавив на лице улыбку, сказал:

— Сопляк! Такое доказательство, даже чтоб подтереться, не годится. Ну, был я, и вечером был, после заката, и утром был, до восхода, так что же?..

— Слово представляется Хуббиямал-апай! — сказал Нафиков.

Хуббиямал шагнула к Саяфу:

— Я вчера метлой тебя огрела?

— Огрела, еще как! — отступил на шаг Саяф.

— Ты упал? У тебя из кармана сверток выпал? — сделала она еще один шаг.

— Нет... — еле выдавил Саяф и отступил еще на шаг. — Не выпал...

— Нет, абзый, выпал! — наступала Хуббиямал. — Ты подобрал его и убежал. А один-то гвоздь остался.

— Вот он, этот гвоздь! — пророкотал Нафиков. — Точно такой же, как в бревне.

Злобно оглядел всех Саяф, и самый злобный взгляд достался Хуббиямал. Хотелось сказать ей... сказать такое, чтоб ее насквозь прожгло, убило на месте. Но ничего не придумал, только прошипел сквозь зубы:

— Эх, и кто ведь подловил!.. А ведь все шло — ну прямо как по маслу!..

* * *

Два милиционера повели Саяфа в город. Навстречу попался Сулпанов, он шагнул на вокзал.

— Земляк! — закричал он, увидев Саяфа. — Я в Моршанск поехал! Махорки тебе пришлю. Как нехорошо станет, запалишь махорку — чем нам гореть, пусть лучше она, проклятая, горит!

В это время пилы тринадцатого лесопильного завода истошным воем оглашали берега Белой.

1932



ИМАЙ НАСЫРИ

ПОБЕЖДЕННЫЙ ОМУТ



ИМАЙ НАСЫРИ
(1898—1942)

Агитатор-организатор отдела башкирской бригады Уральского фронта, начальник отдела милиции в кишевшем буржуазными националистами Кудиейском кантоне Башкирии, комиссар управления Главмилиции Башкирской АССР, делегат X съезда партии, второй секретарь Уфимского городского и районного комитетов партии, инспектор облисполкома, одновременно редактор ряда газет и журналов — таковы далеко не полные вехи жизненного пути Имая Насыри (Имамутдина Низамутдиновича Насырова), прерванного сталинскими репрессиями 1937 года.

Начав свой творческий путь как поэт, он довольно скоро нашел себя в остросюжетной динамичной прозе. Его повесть «Живым в могиле», выросшая из газетной заметки о русском солдате, прошедшем под землей несколько лет, стала обвинением империалистической войне. Богатство жизненных впечатлений обусловило и напряженное развитие сюжетов, неожиданные повороты в судьбах героев романа «Кудей», повестей «Живым в могиле», «Гульдар», «В вагоне», «Нападение», «Сибай», «Побежденный омут» — этого, пожалуй, самого «профессионального» из прозаиков 30-х годов.



НА БЕРЕГАХ ИМЫКА

1

Между безбрежными, переливающимися морской зыбью и в безветренную погоду пшеничными полями и цепью приземистых, поросших лесами гор струится светлая река Имык.

О ней в народе сложены песни, былины, сказки.

Наверное, вы сами не раз пели песни, слушали, а может, и рассказывали сказки об этой дивнопрекрасной реке. И в самом деле, река чудесно красива! Трудно сказать, сколько ей столетий минуло, а река свежа, как только что сорванное с ветки румяное анисовое яблочко.

Местные жители называют Имык «Нежной рекою».

На правом берегу — березовые рощи. Белоствольные, светолюбивые березы сбежали прямо к воде, окунают в реку кудрявые косы.

Летними вечерами и на рассвете Имык окутывается легким синим туманом, и тогда река становится похожей на малышку, лежащую в колыбельке, прикрытую синим кисейным покрывалом.

А днем кисея откинута, и кажется, что любящая мать зеленой веткой отгоняет от спящей малютки мух, навевает на нее прохладу, — это березовые рощи баюкают дремлющую реку легкоструйным ветерком.

Ночами соловьи поют реке колыбельные песенки, а соловьев здесь уйма, не счесть, и когда сидишь над омутом, свесив с обрыва ноги, и слушаешь, то постепенно погружаешься в эту полнозвучную упоительную песню и уже не различаешь: то ли река, то ли соловьи, то ли березы, а может, и вся земля поет величавый гимн во славу жизни.

Заливные луга Имыка широкие, версты две, и столько там благоухающих цветов и разнотравья, что если знойным полднем пойдешь туда, то обязательно опьянеешь. Но это опьянение блаженное, тебя не ломит, как после ста-

кана водки, наоборот, ты становишься веселым, задорным. И ты начинаешь шагать быстрее, насвистывать, а через минуту прыгаешь, как шальной жеребенок, и смеешься, и горланишь песню, которую вспомнил, а быть может, только что сочинил.

Я много раз бродил по лугам Имыка, хмельной от сладкого, густого аромата цветов. И в какой уголок Советской страны ни забросила б меня судьба, я всегда помню этот головокружащий запах цветов Имыка.

А какие ягоды зреют в поймах Имыка, сочные, крупные, ярко-алые, сахарные. На базарах, на железнодорожных станциях молодухи торгуют отборной рассыпной ягодой, не мятой, не кислой, и если покупатель рискнет торговаться, то его и пристыдят:

— Обалдел, что ли?.. С поймы Имыка!

— Замечательные ягоды, имыкские! Душистее дыни, слаще меда!

А губы у молодух ярко-алые, сахарные, как ягоды...

В пойме Имыка, между рекою и лугами, лежат бездонные черные озера.

Пожалуй, старики правы: озера хранят в себе тайные клады. Иначе зачем бы им опоясываться тройным кольцом, сперва широколиственными кувшинками, затем острыми, как кинжал, камышами, а по самому краю берега — гибким, густым, не то что пешеходу — глазу недоступным тальником.

Но в некоторых былинах говорится, что в давние времена в озерах спрятались девушки, чтобы спастись от вражеского нападения. Оттого-то они и огородились тремя рядами заграждений, а воду вычернили слезами, черными, как их безутешное горе...

Было это тысячелетия назад, теперь девушки — сами понимаете! — превратились в русалок.

Заповедные убежища облюбовали резвые дикие утки. Их там тьма-тьмущая, взмоют в вышину, небо темнеет... Охотникам сюда не пробраться, и птицы гнездятся в камышах, выводят утят, воспитывают их ловкими и быстрыми, как змееныши.

Камыши растут не только вокруг озер, но и на берегу Имыка, они торчат, как штыки винтовок, и кажется, что солдаты сели на привале под обрывом, и потому их не видно, а ружья пехотинцы держат стоймя. От малейшего дуновения ветерка камыши шумят, и горожанам этот шум скоро надоедает — однообразный, монотонный, клонящий в сон.

А деревенские старики вслушиваются и в шорох и в шуршание, говорят:

— Камыш гудит — к дождю с бурей!

— Камыш шелестит — будет ведро!..

Сбываются ли эти предсказания погоды?

Не проверял...

В речных омурах и заводях раздолье рыбе. Там на дне лежат в несколько рядов утонувшие при сплаве бревна, рухнувшие с обрывов, подмытые ручьями деревья, и невод забросить невозможно, крючок удочки запутается в корнях. Потому рыба кишмя кишит.

Сомы жиреют, выгуливаются до двух пудов.

Рассказывают, что в деревне Кальсер рыбак Янтак с вечера изрядно выпил и отправился на рыбалку. Наживил крючок на сома вареной курицей, привязал леску к ноге и уснул на берегу. Ночью сом проглотил курицу, — не подавился, потащил рыбака в омут. Студеная вода мигом протрезвила Янтака, он завопил от ужаса, — плывет к берегу, а сом-великан тянет в глубину. Спасибо, косари услышали крики, прибежали, вытащили и рыбака и сома. Свесили, потянул сом на два пуда и три фунта.

Но я этого сома не видал...

Я лакомился имыкской стерлядкой. На станции Имык, едва поезд остановится, все пассажиры выскакивают на перрон и покупают у рыбаков, у молодух рыбу. Торговаться и здесь тоже считается неприличным. Едва поезд тронется, в вагонах начинается пиршество. Пассажиры лакомятся стерлядкой, нежной, как груша, янтарной, как мед, жирной, как сливочное масло. Есть стерлядь вяленая, есть горячего и холодного копчения!.. Костей в стерлядке нету — хрящи, сплошь залитые жиром. Так что можно уписывать рыбу за обе щеки, — не подавишься. Тот, кто хоть раз отведал имыкскую стерлядь, никогда ее не забудет. Если в компании зайдет разговор о хороших сортах рыбы, сразу же вспомнит имыкскую стерлядь, начнет ее с жаром расхваливать.

2

Оба берега Имыка — двадцать пять верст по течению — до революции принадлежали помещику Гуту.

Гут был здесь ханом. Какое! — он был страшнее любого средневекового хана. На законы Российской империи он плевал. Собственноручно хлестал плетью мужиков. Де-

ревенских девушек бесчестил. Старики до сих пор не могут без содрогания вспоминать о зверствах помещика. И заворачивают рубахи, показывают рубцы на спине и пониже, чтобы слушатели, особенно молодые, поверили.

Гут был веселым, любил развлечения, часто устраивал в своем имении праздники. Чтобы именитые гости не вязли осенью и веснами в грязи, на свои деньги замостил дорогу от станции Имык до усадьбы. Крестьяне не имели права ступить на мостовую ногой, заехать на телеге. А если в распутицу завернет какой-нибудь смельчак на торный путь, мигом налетят верхоконные стражники, накостыляют по шее, телегу сломают, а лошадь, последнюю, отберут...

Любил Гут охоту, держал заповедный бор, куда не пускал местных жителей: «Птицу-зверя распугаете!..»

Охотник из деревни Кальсер как-то пропал без вести, — старики решили: Гут собаками затравил.

Псарня у помещика была неисчислимая, и все собаки породистые, с редкими родословными, с наградными листами; ухаживали за ними псари.

Но стрелял Гут плохо, вечно мазал. Егеря шли на хитрость: ловили сетями, привязывали тончайшими, почти невидимыми шнурками к веткам придорожных деревьев птиц, — вот по ним помещик и бухал из двух стволов без промаха.

А ружье было диковинное, заграничное.

Если у какого-либо мужика дело не ладилось, то соседи смеялись: «Помещичья охота...»

Рыболовом Гут был тоже неказистым. Конечно, и воды, не только Имык, но и прибрежные пойменные озера, были заповедными, на ловлю был наложен строжайший запрет; стражники день и ночь шныряли с нагайками, а нагайки особенные, «гутовские»: в сыромятную кожу вплетена медная проволока.

Сети смельчаков, нарушивших запрет, рубили топорами в лапшу...

Имыкские омуты кишели рыбой. Лунными ночами вода рябила серебром, словно пересыпали из ладони в ладонь рубли-полтинники, — это сияли рыбы хребты. Щука плеснет на рассвете хвостом — так идет гул, будто ударили по воде плашмя доской.

Говорили, что Гут привозил из дальних мест мальков, разводил в своих водах новые сорта рыб: именно он переселил в Имык стерлядь со студеных уральских горных ручьев.

Трусом, подлым трусом был помещик Гут! Разводил вер-

ховых лошадей, скрещивал арабских скакунов с башкирскими резвыми кобылицами, а сесть в седло боялся. Каждую неделю с гостями закатывался на охоту, а при стрельбе затыкал уши ватой и жмурился. Всюду выдавал себя за страстного рыболова, но тряся, как в лихорадке, едва подходил к воде. И плавать не умел.

Положим, упрекать его за то, что воды страшился, не приходилось. Дело в том, что однажды доведенные до белого каления зверствами деревенские парни решили помещика проучить. И, подкараулив, когда он поедет в пролетке со станции, подпилили сваи моста через Имык. Мост рухнул в реку, едва на настил влетел рысак. Могучий кучер и сильная лошадь быстро выплыли, вскарабкались на берег. Низенький тучный Гут пошел, как тупой топор, на дно. Когда его кучер вытащил, он уже захлебнулся,— откачивали... Долго Гут метался в бреду, на гладкую стенку лез, будто на берег, ногти сломал, царапаясь.

Приехали доктора из Москвы и Петербурга — исцелили.

После этого Гут без лакеев и рыбаков к реке не подходил, вытягивая жилистую шею, издали любовался резвящейся белорыбцей.

Верным помощником в рыболовстве был помещику Шарафи-агай.

ЗНАМЕНИТЫЙ ШАРАФИ-АГАЙ

1

Сейчас Шарафи-агаю под пятьдесят, но он еще в силе, коренастое мускулистое тело не поддавалось увяданию. И ходит он по берегам Имыка той же размеренной, по первому взгляду неторопливой, но и неутомимой походкой, какой ходил в молодости,— ему хоть бы что отмахать за день полсотни верст. Седины в волосах, в бороде не видно. Словом, Шарафи-агай в самой поре; может, обмотав кулаки, разорвать железную цепь, способен вволю лакомиться плодами древа жизни.

Воды он не боится: в самый глубокий, с водоворотами омут плюхается, как бобр.

За это его и полюбил, к себе приблизил помещик Гут; смеясь, называл «водяной курицей».

Много, ой много воды утекло в Имыке с тех пор. Дворец Гута с белыми колоннами, напоминавшими взлетающих бе-

лых лебедей, сгорел дотла в девятьсот семнадцатом году, — испепелило помещичье гнездо народное возмездие. И осталась от Гута мощенная булыжником дорога, да и она заросла травой, взрыта ухабами. Остались у кое-каких стариков рубцы на спине и пониже от нагайки Гута. А в сказках и былинах помещик Гут превратился в злого аждаху¹...

На полях Гута раскинулся колхоз «Сулпан». Со станции Имык уже видны каменные амбары «Сулпана». Сюда приходят трудиться прилежно и неутомимо тракторы, комбайны Камлокульской МТС. Молодые трактористы гремят на берегах Имыка песнями, им откликаются смеющиеся девушки-огородницы.

И слушают их соловьи...

Все имение Гута перешло колхозу, но омуты и речные заводи остались как бы во владении Шарафи-агая. Словно резвые рыбы не желают подчиняться правлению колхоза «Сулпан». И командует рыбами Шарафи-агай, стоящий одной ногой в колхозе, а другой на берегу Черного омута. Он чувствует себя повелителем рыбьего царства, то ли по воле всевышнего, то ли по приговору самих рыб.

Надо заметить, что в Альметове издавна сложена сказка о русалке, живущей в Черном омуте. Лунными ночами она сидит на берегу, золотым гребнем расчесывает свои длинные, до пят косы, и волосы ее зелено-синие, словно лунный свет. Увидит заблудившийся прохожий русалку, — сразу же помрет. Детей, по недомыслию подбегавших к Черному омуту, русалка ловит и уносит в подводное царство.

В Черном омуте водились сомы-кочевники. Ночью они выползали на берег, закусывали свои хвосты и колесом катились в соседние озера на промысел.

И деревенские к омуту не ходили — боялись.

Шарафи-агай туда ходил и ночью, и на рассвете, и в сумерках, — не боялся ни русалки, ни сомов-кочевников. Он и правления колхоза «Сулпан» не боялся. Вот до чего храбрец!.. Потому его и прозвали: «Лев Шарафи». Но это не единственное его прозвище. Нос у Шарафи-агая огромный, толстый, — вот его и кличут: «Шарафи — нос картошкой». Но чаще всего его называют «упрямый Шарафи».

И это не случайно: Шарафи-агай хочет быть выше на вершок самого высокого мужчины в округе. Он злится, что благословенное солнце расточает свои добрые дары равномерно всем людям: и колхозникам, и ему, рыбаку, что лет-

¹ А ж д а х а — сказочный дракон.

ний сверкающий ливень шумит и над колхозными огородами в пойме Имыка, и над его картошкой и капустой.

Вот какой своенравный!..

2

Ранним ясным утром Шарафи-агай сидел на берегу пойменного озера и с наслаждением курил, сосал трубку, ему ровесницу по годам. За спиною билась нанизанная на гибкий таловый прут добыча: зубастая щука, трепеща плавниками, рвалась в воду; лещ сверкал, как продолговатый белой жести поднос; стерлядка сунула острую мордочку в траву, словно вынюхивала обратный путь в реку; карась лежал жирным овечьим курдюком.

Шарафи-агай наслаждался не только трубкой, но и уловом.

Прикинуть, так есть чему радоваться! Не замочив ног, взял килограммов пятнадцать первосортной рыбы. Крупная рыба, выгулявшаяся. Не каждому выпадет такое счастье. Но, кроме удачи, нужно уменье. Шарафи-агай, сидя на берегу, видит, что вытворяет рыба на дне озера. Приходится следить и за спящей рыбой. Рыба хитра, и рыбаку надо быть похитрее рыбы.

Шарафи-агаю известны повадки рыб. Но ведь его по заслугам прозвали «упрямый Шарафи» — увидит раздобревшую рыбину, не отступится. В избе не останется куска хлеба, пойдет в русскую деревню, где обычно продавал улов, займет у знакомых покупателей денег и опять днюет-ночует на берегу.

Как-то пудовый сом разорвал сеть Шарафи-агая, вильнул хвостом и был таков... В сердцах Шарафи бросил в омут сеть, выпустил улов. Едва не плакал, и не потому, что жаль порванную, утонувшую сеть, а потому, что впору помереть от срама.

Поклялся не возвращаться домой, пока не доконает, снова не поймает этого богатырского сома. У жены Халимы стащил всех куриц, залез в долги, а все-таки слово сдержал. Две недели торчал на берегу, наживлял крючок вареной курицей, наконец вытащил великана, которого надо бы не рыбой — зверем именовать...

Из головы сварил душистую наваристую уху и созвал знакомых, а сомину продал в русской деревне, сполна рассчитался с долгами.

На своем веку Шарафи-агай много раз обошел берега Имыка, пойменных озер, Черного омута, зорко следил за каждой заводью, перекатом. Дно всюду щупал: глина, или песок, или галька, срывал и пристально рассматривал подводные растения и все мотал на ус, прикидывал, размышлял, какая ж рыба здесь водится, чем ее подкармливать, на червяка ли, на муху ли, на мотыля ли ее брать...

Не подумайте, что только о рыбьих нравах, о способах ловли мог с увлечением рассказывать знакомым Шарафи-агай. Зимними долгими вечерами он интересно говорил об осаде Порт-Артура, юношей сражался на его фортах с японцами, в огненном котле кипел, но уцелел...

Бывалый человек!

3

Счастливейшим из всех смертных был бы Шарафи-агай, если бы его не допекала мысль, что рано или поздно колхоз заберет в свои руки рыбные угодья и жирные сомы, налимы, стерлядки пойдут не в его сумку, а в колхозный погреб.

Вот и сейчас он подумал об этом и поперхнулся, глотнул горького махорочного дыма, закашлялся. Ему показалось, что полудохлые рыбы бьются не только для того, чтобы сорваться с прута, но для того, чтобы ускользнуть от него.

Шарафи-агай не стерпел, выколотил трубку о пень, рывком закинул за спину улов, зашагал по тропе.

Рыбы трепыхались, как холодные змеи, били его хвостами по пояснице. Рассердившись, Шарафи дернул прут, буркнул:

— Нет, шалишь, не вырветесь! Я вам не кальсерский Шарифьян.

Спина пиджака Шарафи-агая была замазана рыбьей кровью, украшена узорами серебристой чешуи. Брюки, широкие, мятые, голенища и носки сапог были тоже густо запорошены чешуей, заляпаны липкой, как клей, сукровицей.

За десять шагов видно: рыбак, и рыбак давнишний, не новичок.

А вот захочет правление колхоза, и запретят Шарафи-агаю заниматься любимым и прибыльным ремеслом, так-то... И ничего не скажешь: у них сила!

Недавно приезжал из района какой-то ответственный дея-

тель, рябой, в кожаном костюме, бесцеремонный. На правлении речь произнес:

— Чего-то вы, товарищи, в землю зарылись? Колхоз многолюдный,— значит, надо тянуть руки к другим промыслам: кирпичный завод пора устроить, создать рыболовецкую бригаду. Пошире, товарищи, смотрите кругом, хозяйски используйте богатства родной земли!

Набатным колоколом загудели эти слова в ушах Шарафи-агая.

А парни, конечно, в первую очередь комсомольцы, словно взбесились, и на правлении и по избам завели разговоры:

— Шарафи-агай — знаменитый рыбак, он нам поможет!..

— Обойдемся и без агая, он сам сыт, тем и доволен.

— Да, нужно создавать бригаду рыбаков!

На людях Шарафи-агай мудро отмалчивался, но сейчас, на пустой дороге, дал волю языку:

— Знаменитый? Ну и что ж? Я знаменит для себя, а не для вас — любителей сладкой стерлядки. Ишь, умные головы, боятся взглянуть на Черный омут, а уже взяли ложки, чтобы хлебать мою уху!..

Он не заметил, как вошел в русскую деревню, как из ближних подворотен брызнули с захлебывающимся лаем псы. Шарафи не испугался: всех собак знал наперечет, по кличкам. И псы его признали, подобострастно завиляли хвостами.

Из окон изб, из калиток высунулись хозяйки, вытирая фартуками руки.

— Шарафи-агай, свежая ли рыба?

— А когда я старым торговал?

— Нет, не торговал, но все-таки...

— Видишь, трепыхается! — Шарафи повертывался спиной к покупателям. — И какая крупная! Не рыба — сало.

— А цена?

— Цена старая.

Заслышав крики и смех женщин, из пятистенного под железной крышей дома вышел лысый мужчина.

Это был закадычный приятель Шарафи — Иван Иванович.

— Шарафи-агай, свежая ли рыба?

— А когда я старым торговал?

— Нет, не торговал, но все-таки...

— Видишь, трепыхается! — Рыбак повернулся спиной к Ивану Ивановичу. — И какая крупная! Не рыба — сало.

— А цена?

— Цена старая.

— Беру оптом,— кивнул Иван Иванович.

Женщины зароптали: им тоже хотелось побаловать мужей янтарной ухой, но Иван Иванович уже снял с плеча Шарафи прут с уловом, взвесил в руке, словно на безмене.

— Фунтов тридцать пять,— сказал Шарафи.

— Ладно, пусть будет по-твоему,— согласился Иван Иванович и пригласил рыбака в дом за деньгами.

Иван Иванович до колхозной поры держал мельницу-ветрянку, крупорушку, но вовремя спохватился, распродал все достояние и заделался «бедняком, не имеющим определенных занятий».

Старики его оправдывали:

— С чего вы взяли, что Иван Иванович кулак? У него и батраков не было. Измажется, глядишь, в мучной пыли, как свинья в грязи. Тоже нашли предприятие — ветрянку! Это все равно что из воды сбивать сливки.

Комсомольцы, наоборот, свирепо наседали на Ивана Ивановича:

— Большая или маленькая мельница, а давала прибыли! И старик Иван крыльями своей ветрянки вычесывал из нас пух.

Все-таки Ивана Ивановича пока не раскулачили, в Сибирь не выслали.

У ИВАНА ИВАНОВИЧА

1

Введя рыбака в чистую половину дома, Иван Иванович вытащил без предисловий из-за иконостаса бутылку водки, пошутил:

— У воды стоять, да не вымокнуть!.. Согрейся. Лекарственное.

— Ба, ба, ладно ли?

— Как не ладно? Всегда было ладно! — Хозяин и себе налил стакан.— Эй, сноха, принеси-ка гостю горячих щец!

Из-за дощатой перегородки вышла молодая женщина в сарафане; на румянном круглом лице ее застыло кислое выражение, словно хотела ткнуть Ивану Ивановичу: «Надоел с бесконечными гостями!» Однако промолчала, через минуту принесла плошку с наваристыми густыми — ложка стояла — щами.

— А капуста? Что ж ты,— ласково напомнил хозяин. Молодуха пошла на погреб за кислой капустой.

Выпили, закусили. Иван Иванович, конечно, угощал гостя не за милую душу,— расспросить хотел о колхозных порядках.

— Значит, ты в колхозе состоишь, друг Шарафи?

— Определенно.

— И как ты успеваешь рыбой заниматься и в колхозе работать! — с наивным изумлением воскликнул хозяин.

— А я там не работаю,— невозмутимо ответил Шарафи, жадно хлебая щи.

— Зачем же пошел?

— Люди пошли, вот и я пошел. Я от народа не отставал.

— Но у вас же в деревне есть единоличники, в нижнем конце сыновья Хамидуллы. Верно?

— Видишь, сперва пошли овечьим стадом, потом поперли обратно, а я себе сказал: «Что будет, то будет». И остался. На трудодни, правда, не дают ни шиша, поскольку трудней у меня нету, но все же налогов меньше.

— Так и останешься колхозником? — насмешливо осведомился Иван Иванович.

— Вполне. Сейчас самое время держаться в колхозе. Поговаривают, что все озера и омуты Имыка заберут в колхоз, бригаду рыбацью сколотят, копильный цех построят...

— О-о-о-о!.. — Хозяин вздрогнул. — А на трудодни-то что-нибудь выдают?

— Да, понимаешь, люди приспособились: «Ни сыт, ни голоден, а привыкнешь — ни черта!..» Сами над собой смеются. И лежит колхоз, как черствый каравай.

Иван Иванович развеселился:

— Говоришь, черствый? Хо! Ну, плут ты, Шарафи-агай, отменный плут. Значит, черствый?

— Стукни кулаком, рассыплется крошками,— подтвердил Шарафи.

— И останется от колхоза зола?

— Зола.

Выпили по второму стакану.

— А что же будут делать комсомольцы, которые ходят в жару в черных пиджаках и ботинках с галошами? И речи произносят на правлении колхоза? — У Ивана Ивановича установилось хорошее настроение.

— Не знаю, не знаю, мне нет дела до комсомольцев,— с полным ртом, продолжая жевать, сказал Шарафи.— Наверно, станут ворованными курами торговать на станции.

— И это промысел, куры нынче в цене! — ликующе подхватил Иван Иванович. — Хе!.. Умный ты, Шарафи-агай. Потому и плут, что — умный. Дай-ка еще налью. Конечно, им и осталось только, что воровать кур у соседей и торговать на станции. Работать не хотят! Зимогорами ведь были, помню, — с отвращением добавил хозяин. — Какой же от них толк? Украсть куренка — мастаки, а до овцы не дотянуться.

— Не дотянуться, — согласился Шарафи: он всегда поддакивал тем, кто его угощал...

— То-то и оно-то, друг Шарафи, — расчувствовался Иван Иванович. — Пошел бы и я в колхоз, но сперва надо скотину продать. Не поведешь же скотину на колхозный двор!.. Туда — ворота широкие, назад — с игольное ушко. Не сегодня завтра колхоз вытечет, как просо из лопнувшего мешка. Ходи-ка ищи свою скотину! И за хвост не дадут подержаться.

— У меня скотины век не было, — сказал, ухмыльнувшись, Шарафи. — Потому и стою скалой на горе Хуснияра. «Грызите свой язык, а мне хоть бы что!» — говорю правленцам.

— Да, ты легкий человек, — позавидовал хозяин.

2

Сноха с ног сбилась, бегая то на погреб, то в чулан за угощением; подобрев, Иван Иванович вытащил вторую бутылку.

Пировали, беседовали до сумерек. Заскрипели ворота, это вернулись с подъема паров сыновья хозяина. Здоровые молодые мужики, входя в дом, крестились, но, заметив на столе пустые бутылки, грязные тарелки, куски капустных кочанов, недовольно морщились.

Наблюдательный Шарафи заметил и быстро поднялся. Прощаясь, обещал всю рыбу оптом носить исключительно Ивану Ивановичу.

Выйдя на улицу, Шарафи-агай потянулся, вспомнил, что в деревне есть должники, и пошел из избы в избу. Водкой не потчевали, но кое-кто из знакомых расплатился. Почувствовав, что карман потяжелел, Шарафи-агай с решительным видом свернул в кооперативную пивную и побаловался там пивом. Уфимское пиво было свежее, густое, как медовка, с еле уловимой, но от этого еще более приятной горчинкой; за первой бутылкой последовала вторая, третья...

На темной ночной дороге Шарафи-агай с удивлением заметил, что ноги его не держат, подкашиваются. Долго раз-

мышлять не приходилось: на ближнем картофельном поле, где ботва уже цвела, Шарафи растянулся в борозде. Земля была мягкая, горячая, как лежанка, — не остыла еще... «Вот и день прошел», — подумал рыбак и захрапел.

А в пойме Имыка гремели соловьи. Казалось, что в ветвях скрыты арфы с серебряными струнами, звенящими, поющими от дуновения ветра, но это пели соловьи. Из-под корней деревьев били родники, полнозвучные, чистые, но это тоже была соловьиная песнь. А на каменистых перекатах плотно рокотала река, словно вторила басом соловьям. На лугах стрекотали кузнечики, и это сухое стеклянное журчание тоже вливалось в соловьиный хор.

Был бы сейчас трезвым Шарафи-агай, шел бы он на пред-рассветную рыбалку, обязательно бы подумал, что это не соловьи поют, это певуче переливаются из омута в омут, из озера в озеро вешние воды...

Но пьяного Шарафи терзали кошмары. То верткие скользкие сомы вырывались из его рук, и он ломал ногти, цепляясь за их плавники, чешую. То члены правления «Сулпана» строго грозили ему: «Не смей без нашего разрешения закидывать сети в Черный омут!..» То он чинил сеть, а она расползалась, как паутина: в одном месте залатал, рядом — дыра, с дырой управился, пониже сквозит прореха... Застонал Шарафи-агай, прижимаясь плотнее к земле.

ЧЕРНЫЙ ОМУТ

1

Утром Шарафи-агай ломало, корчило; во рту черт-те что! Запухшие глазки виновато моргали. Солнце уже висело глухим красным шаром высоко над рекою. Домой ли идти отлеживаться или возвращаться в пивную на опохмелку? Шарафи терялся в размышлениях и, наконец, сказал себе: «Пойду к Черному омуту. Заядлый охотник в тяжелые минуты жизни ласкает, гладит свою любимую собаку». Шарафи-агаю захотелось ласковым взглядом приголубить щедрое, доброе к нему озеро.

Долго он стоял неподвижно на берегу, раздвинув широкими плечами зеленое кольцо кустарника. Вода была ровная, тяжелая и черная, как бы чугунная; ни рябинки, ни морщинки.

Черный омут лежал в пойме, словно черное солнце,

таинственное, злое для сторонних прохожих, понятное и родное Шарафи-агаю.

Губы его беззвучно шевелились.

«Ишь ты, какое!.. Вольное, неприступное, озеро,— думал рыбак.— Ничья рука, кроме моей, не притрагивалась к тебе. И теперь эти правленцы хотят отнять тебя! О-о-о!.. Не отдам, все равно не отдам! Не для колхоза лелеял я тебя, волшебное колдовское озеро! Не тянитесь длинными руками,— не получите!»

Набив трубку, затянувшись крепким махорочным дымком, Шарафи-агай почувствовал себя увереннее. Он расправил плечи, выпрямился. «Никому не подчинится Черный омут!..» И крупными твердыми шагами направился к проселочной дороге.

Вдруг совсем близко, на соседнем поле, осторожно застучал мотор трактора, словно пулемет проложил ровную очередь, и Шарафи-агай от неожиданности вздрогнул, боязливо оглянулся.

Вон они, враги-то! Опасность приближается... Шарафи стиснул зубами чубук трубки, словно хотел перекусить, выругался и вприскок зашагал в деревню.

У кладбища он услышал заунывное поминальное пение: мулла ли, набожный старец ли читал нараспев дребезжащим слабеньким голосом Коран.

У Шарафи сердце сжалось: час от часу не легче,— то трактор, то панихида. Приметы зловещие!.. И кого это принесло в такую рань на кладбище?

Шарафи-агай вспоминал об аллахе и пророке его лишь тогда, когда хворал,— на всякий случай. Обрядов не соблюдал. Старух предсказательниц не подпускал к порогу.

Сейчас и мерный стук работавшего трактора, и тоскливое, со слезами в голосе чтение Корана нагнали на него оторопь. Встряхнувшись, заставив себя приободриться, Шарафи-агай полез через дыру в деревянной ограде кладбища: решил посмотреть на чтеца.

Могильные камни вросли в землю, их затянула зеленая ржа, а кругом вперемежку тянулись к солнцу березки, липы, курчавые, молодые, беспечные, словно игравшие хоровод девушки.

Шарафи-агай затаил дыхание, прилег осторожно, пополз, прячась за камнями.

Худой, с рыжей тощей бородашкой, в рваной одежде мужчина, стоя на коленях, припал головою к могильному камню, причитал, тосковал, плакался безутешно:

— О господи, боже мой! Почему прогневался на покорного раба твоего? Возьми меня, прижми к своему доброму сердцу!.. Видишь, скудеет земля, люди сохнут, как трава в засушливый голодный год.

Вороны шумной каркающей стаей взвились из-за соседних деревьев.

— Не бойтесь, меня, вольные птицы! — прервав песнопение, обратился к ним плакальщик. — Я друг ваш, не враг, нет!

Шарафи-агай, припав к земле, грыз кислую травинку, слушал.

Отвесив низкий поклон, мужчина завел ту же молитву:

— Злодеи отняли у правоверных святой храм, где мы, дети твои, свершали богослужения.

«Это он о закрытых мечетях,— смекнул Шарафи.— А кому они нужны? То ли дело рыбное озеро».

— Правоверные оказывали благостное милосердие, выделяли десятину своих доходов священнослужителям, злодеи запретили этот обычай,— продолжал жаловаться незнакомец.

«И правильно поступили, что запретили,— подумал Шарафи.— Муллы и ахуны обирали людей, богатели, торговали, барышничали!..»

— Спаси нас, всевышний, от злодеяний, согрей нас, несчастных, лучами своей неизреченной благодати! — изливался в скорби рыжебородый.

Затем он начал читать Коран, но тише, с привычной деловитостью.

2

Шарафи-агаю надоело лежать, слушать, и он резко поднялся, пошел напрямик к могиле.

Чтец повернул к нему голову, и Шарафи узнал муэдзина Халила, своего давнего врага.

Халил снял с себя духовный сан в двадцать пятом году: налоги замучили. Собственно, хитрец не собирался расставаться со священнослужением, надеялся, что правоверные тряхнут мошной, заплатят за него. Но мусульмане единодушно уклонились от столь высокой чести, и у Халила за неуплату налога отобрали дом под зеленой железной крышей. На краю деревни Халил слепил саманный домик и стал жить, как птица божья: молитвами над умершими и подаяниями.

Всю жизнь муэдзин Халил и Шарафи-агай цапались, как собака с кошкой. Расчетливый рыбак не выделял Халилу десятины улова, как велит шариат.

Не раз Халил грозил с амвона:

— Если не станешь оказывать почтение служителям бога, твоя рыба превратится в греховную пищу и мусульмане вкушать ее не будут.

— А я русским продавал улов и буду всегда продавать, — не сдавался Шарафи. — Богу и времени нет считать выловленную мною рыбешку.

— Богохульничаешь, брат Шарафи! — гремел в мечети Халил. — От божьего глаза не скроешься. Он, великий, не то что рыбу, — волосы на твоей голове перечтет!

Старики тоже стыдили Шарафи-агая, и он перестал по пятницам посещать святой храм, — отправлялся накануне вечером к Черному омуту.

Но сегодня, то ли с похмелья, то ли от гула могучего трактора, то ли от гнетущих предчувствий, Шарафи смягчился, пожалел Халила: бывшего муэдзина сжигает тот же огонь, что и его, рыболова, властителя — до поры до времени — Черного омута. И он поверил в чистосердечие Халила, порадовался, что мусульманская церковь имеет таких верных слушателей.

— Будь здоров, муэдзин, как живешь?

Халил вытер полой засаленного архалука вспотевшее лицо, помедлил с ответом. В глазах его мелькнули злые искорки: «Этот проклятый откуда выскочил?» Но заговорил он ласково, кротко.

— Э-э-э, здоров пока... Спасибо. А ты почему так рано пришел?

— Да ведь ты еще раньше меня сюда явился!

— Таков мой долг, да, — вздохнул Халил. — Служение... Обет.

— И каждое утро здесь молишься?

Халил ответил уклончиво:

— Да, захаживаю... Могилы святых отцов! Светоч благочестия! Вера!

— Да разве здесь похоронены святые? — вытаращил глаза Шарафи.

— Как же, как же, конечно!.. Вот могила, — он показал, — да, могила святого шейха Сагди. Великий, величайший благовестник!.. Некогда мюриды приезжали к его камню на поклонение за сотни верст. Целитель! Благословлял немощного, прикладывал длань ко лбу его, и хворый момен-

тально выздоравливал. Предсказатель! Грядущее любого человека видел ясно, вот как я тебя вижу... А ты, брат Шарафи, смирился? — перешел в наступление Халил.

— Смирился, смирился...— Закурив, Шарафи поскорее занавесился густой пеленой пахучего дыма.— И на каких же это злодеев ты вымаливал божью кару, святой отец? — не остался он в долгу.

— Я не просил... зачем мне просить? Ты ослышался, брат! Наоборот, молил всевышнего простить врагов моих! Аллах — доброта всегда и во всем, брат Шарафи. Да! — залепетал Халил.

«Я тебе смирюсь»,— злорадно подумал Шарафи и с ленцой успокоил перепугавшегося муэдзина:

— Не бойся, святой отец, не бойся!.. Тебя выгнали из мечети, а меня нынче гонят от Имыка. Ты ловил золотую рыбку чалмой и халатом муэдзина, а я сетью и удочками... У тебя омут свой, и у меня свой, Черный. А теперь мы поравнялись, оба — нищие.

Муэдзин поднял руки к небу:

— Всевышний, сжался над идущими босиком по раскаленным углям!

Шарафи-агай настойчиво поддавал жару:

— Кланяюсь тебе десятиной будущих уловов, святой отец. Согласно шариату. Молись богу, чтобы покарал злодеев. Но пусть аллах и пророк стараются: злодеи-то шибко верткие!.. А нам надо сообща мутить воду: тебе — Кораном, мне — сапогами.

— Дай бог, дай бог,— бормотал муэдзин в бороду, не зная, верить ли Шарафи или не верить. Обманет, поди.

РАЗВЕДКА

1

День ото дня тракторы на колхозных полях гудели все громче, победнее, а Шарафи-агаю эти мирные рабочие машины представлялись грозными танками, идущими в атаку, ломающая все препятствия... Он чувствовал, что колхоз мужает, набирает силу, стать, что потихоньку да полегоньку тянутся к его Черному омуту артельные руки, чтобы прибрать невзнузданных сомов и стерлядей.

«Обложили,— уныло размышлял он,— как волка обло-

жили... И эти тракторы! Да они своим грохотом мне всю рыбу разгонят! И-их!..»

Как-то раз утром он добыл из Черного омута редкостных по величине и красе щук и залюбовался ими, а тут, как на грех, шли на делянку третьей бригады пахари, заметили и счастливого рыбака, и пляшущих в траве, словно серебряные пружины, щук, подбежали:

— День добрый, дядюшка!

— С богатым уловом!

Шарафи подозрительно покосился на парней: ведь никогда же не подходили к озеру, побаивались... Не иначе — разведчики. Отважный защитник Порт-Артура насупился, промолчал.

— Может, подаришь парочку щучек нашей бригаде? — спросил Ахмет. — Мы же на колхозном поле трудимся.

На Шарафи-агая эти слова не подействовали.

— А вы меня колхозной кониной потчуете?

— Согласно трудовням, — кольнул его шилом Ахмет. Парни обидно захохотали.

— Когда в колхоз принимали, так клялись, что всего будет вдоволь, — в свою очередь нанес меткий удар Шарафи.

— Так мы и работаем для того, чтобы всего было вдоволь, — сказал кто-то из парней.

— Ладно, ладно, проваливай! — рявкнул, всплыв, Шарафи.

Парни переглянулись и ушли.

Но вечером весь колхоз загудел разговорами, пересудами. Не скрою: две щуки превратились уже в десяток, и каждая из них весила по пуду... Комсомольцы бушевали:

— Омуты колхозные, — значит, и рыба колхозная!

— Выгнать этого хищника из колхоза, — ни одного трудодня!..

Старики рассуждали иначе:

— Выгнать — легко, вы заставьте Шарафи работать для колхоза.

— Говорил же приезжий из района, что пора создать рыболовецкую бригаду.

— Вот и назначайте этого лоботряса бригадиром!

Конечно, добродетельные соседки немедленно доложили Шарафи об этих разговорах и предположениях, добавив, что глас народа — глас божий.

Шарафи-агай затужил.

Председатель «Сулпана» Давлет худел не по дням — по часам, и жена плакала: «Верно, из-за этого проклятого колхоза решил преждевременно лечь в могилу!..» Но сев колхоз провел по-ударному, райком партии был доволен, Давлета отметили в газете, — казалось бы, теперь можно отоспаться, попить, отдохнуть. Однако Давлет пребывал в глубоком раздумье и часто, идя по меже, останавливался, о чем-то напряженно думал, размахивал руками, словно сам с собою спорил.

И виною всему был Черный Омут.

Давлет действительно решил создать в колхозе рыболовецкую бригаду, рыбокопильный цех, ларьки на базарах, — словом, образцовое рыбное хозяйство, какого ни у кого в республике не было.

«Такой реки, как Имык, ни у одного колхоза нету, — думал он. — Я ни разу не слышал о другой столь богатой рыбой реке. Если нашу стерлядку завернуть в парафиновую бумагу, так ее не то что в Уфе — в Москве с руками оторвут. Говорят, что русские цари обожали стерлядь из Суры. Пусть теперь советские люди лакомятся имыкской стерлядью».

Остроносый, сутулый, неразговорчивый Давлет лишь на первый взгляд казался мечтателем, а был он человеком дела. И, поехав в Уфу за ножами для косилок, обошел городские магазины, приценился к рыбе, и копченой, и свежей, и консервированной, спрашивал у продавцов, какие сорта в ходу... В Башсоюзе запродавал, конечно на словах, без договора, еще резвящуюся в заводях рыбу. Но осведомился и об авансе. Кооператоры Давлета заверили: аванс дадим...

Вернувшись домой, председатель услышал об очередной стычке между Шарафи и парнями, комсомольцы наседали, старики ворчали: «Рыба уплывает на сторону», — Давлет решил, что откладывать нечего, и созвал правление.

За Шарафи-агаем был наряжен посыльный.

Хозяин Черного омута только что перешагнул порог избы, не успел перекинуться с женою Халимой-енге приветным словом, как в горницу влетел босоногий, часто шмыгавший веснушчатым носом мальчишка и пронзительно крикнул:

— Дяденька, беги в правление! Велели, чтоб быстренько...

Шарафи был обескуражен таким натиском.

— Тш-шш! Не кричи! Котенок разбудил.

— Котенок — не человек, а кошка, эка важности!

— И котенок — божье создание, — сурово напомнил Ша-

рафи-агай.— Ты чей? Ты откуда, нахаленок? Сопли не научился вытирать, а дерзит солидным людям! Мальчишка!

— Я не мальчишка, я пионер, мы дежури́м в правлении летом связными. Как в штабе! Мальчишки без дела на улице бегают.

— Смелый! — покачал головою Шарафи.— Люблю смелых людей.

— Зато они тебя не любят,— выпалил обиженный насмешками пионер.

— Это почему же?

— Потому, что в колхозе не работаешь. Потому, что пьянствуешь. Потому, что в русской деревне ходишь из избы в избу, бутылки считаешь,— выпалил без запинки, как зазубренный урок, посыльный.

— Вон отсюда, щенок! — прошипел Шарафи сдавленным голосом.

3

Из-за перегородки вышла жена, скрестила на груди мокрые от стряпни руки, вопросительно взглянула на красного, сердитого Шарафи.

— А! Слышала? — пожаловался он.— Материнское молоко на губах не высохло, а тоже мне... Пререкается с почтенным рыбаком, у которого борода чуть не до пояса. Поучает!.. У кого они учатся такому злодейству? Учителя как будто порядочные люди. А эти... эти держат себя со взрослыми, как вонючие хомяки!

— Что поделаешь, отец, времена такие,— покорно вздохнула жена.

— Времена!.. — передразнил ее тяжело задышавший Шарафи.— Распустились! Зубы не прорезались, а берут людей за горло.

Халима-енге деликатно перевела разговор в другое русло:

— Тебя, отец, в правление зовут?

— Туда.

— Пока самовар не вскипел, сходи...

— Надо, так сами придут!

— Как бы не так... Правление придет в нашу избу? — Халима была потрясена такой гордыней мужа.

— Придут, поклонятся,— самоуверенно сказал Шарафи и полез в карман за трубкой.

— Из-за хлеба ж ни к кому не ходили, не кланя-

лись,— рассудительно заметила жена.— А какие хлеба нынче выдались. Саима вон не нахвалится: «Прут, как камыш в заводи. Зерном осенью засыплемся».

Дочь Саима работала в полеводческой бригаде...

— Не равняй хлеб с рыбой,— строго прикрикнул Шарафи.— Хлеб сам по себе, а рыба сама по себе. Хлеб дает-ся любому мужику, а рыба, скажем сом? Щука?.. Ага! Надо ж вникнуть в этот секрет. Тащи самовар!

Халима-енге упиралась:

— Не знаю твоего секрета-мекрета! Сходи-ка в правление! Ноги не отвалятся. В русскую деревню иногда по два раза на день бежишь с уловом. Вчера тетушки шли оттуда, сказывали: «У толстого Ивана пьет водку».

Шарафи-агай передернул лопатками, рот его приоткрылся. А если видали, как он спал в борозде картофельного поля? Сраму не оберешься!.. А дочь явится? С нею шутки коротки,— Саима крутым нравом перецеголяет отца.

В глубине души Шарафи носил кровоточащую рану. Несколько лет назад его сын Рашит, секретарь комсомольской ячейки колхоза, навечно разругался с ним и уехал на Аральское море, поступил там в рыболовецкую артель. Парню надое-ло выслушивать упреки, насмешки комсомольцев из-за отца. Со слезами Рашит упрашивал его опамятоваться, идти работать в колхоз. «Упрямый Шарафи» подстегивал сына, как озорного жеребенка, кричал: «С мое поживи, сопляк!» Чуть до драки не доходило. Шарафи топал ногами, грозил проклятием, а дерзкий парень требовал: «Не отбивайся от народа».

После ухода сына Шарафи заметил, что он побаивается Саимы. Конечно, он в этом и себе не признался бы открыто, но все-таки терялся в спорах с языкастой, смелой девушкой...

И потому Шарафи с особым старанием отстаивал перед дочерью свое достоинство.

От взора Халимы не ускользнула растерянность мужа, и она истолковала ее по-своему, напомнила:

— Правление ждет, иди!.. Родился упрямым, жил упрямым. Хоть перед смертью покорись. Дети чуждаются... Один сгинул в дальних краях, другая смотрит за околицу. Как пословица-то гласит: «Станешь буянить, а один ограду не сломаешь!» И в Имыке вода не течет вспять.

«Муэдзин спрашивает: «Смирился?», эта толкует: «Покорись...» — подумал Шарафи, сильно двигая вверх-вниз бровями, морщины собрались на лбу гармошкой.

— Тащи самовар! — скомандовал он зычно.

Халима-енге и на этот раз покорилась,— отплюнулась не здесь, а за перегородкой, но все-таки приволокла бушующий самовар.

Не успела налить чашки, в сенях послышались твердые быстрые шаги, и в избу вошел Давлет.

— Можно?

Хозяйка торопливо закрыла рот концами головного платка, как велел старинный обычай, покосилась на смутившегося мужа с укоризной: «Заставил такого большого человека прийти, эх...»

— Милости прошу, садитесь, сюда, сюда, в передний угол,— засуетился Шарафи.

Сперва он растерялся, но минуту спустя нагло выкатил глаза: пришли, поклонились,— значит, без Шарафи-агая не обойтись...

Давлет держался скромно, учтиво, присев к столу, рассыпался в похвалах:

— До чего ты заботливый хозяин, дядюшка, как погляжу! Дом и двор как игрушечка. Чистота. В саду какие-то диковинные цветы,— впервые вижу. Птицы полно: и курицы, и гуси. А скотины-то сколько! Даже сети на заборе развешаны с особым шиком. Да, образцовый, культурный хозяин!.. А ведь многих в деревне не призовешь к порядку. Заставляем убирать перед домом мусор,— замечает к соседу. Велишь сколотить уборную,— сделают, а на дверце замок, оправляются же по-прежнему за сараем. Дашь цветочных семян,— посеют, но не поливают. Конечно, погиб-ли... А у тебя, дядюшка, все сияет, цветет.

На что был наблюдательным Шарафи, но сейчас сразу не сообразил: искренне хвалит его председатель или подсмеивается. И сказал неопределенным тоном:

— Это дело рук Халимы-енге и Саимы. Я-то что!..

— Действительно, Халима-енге работающая колхозница,— подхватил Давлет.— Сознательная, прилежная. Первая премия в этом году обеспечена и ей и ее огородному звену... Мы уже обговорили на правлении. Оденем тебя, тетушка, в шелковые платья,— загляденье!

Халима смутилась, отвернулась.

— Не знаю, не знаю, товарищ Давлет, как еще обернется с капустой... Стараемся!

— Вот это мне и дорого, тетушка, что стараетесь,— сказал Давлет, принимая из ее рук чашку чая.

Неожиданно лицо его искривилось, он с трудом удержал стон, рвущийся из груди. Халима бросилась к нему, но

Давлет, откинувшись к стене, уже отдышался, через силу улыбнулся; лоб и виски его были мокрые.

— Ничего, ничего, уже прошло,— виновато сказал он тетушке Халиме,— душит вот эта грудная болезнь, так сожмет, что обольешься потом, обессилеешь, а пройдет — и как будто ничего не было!..

— Фу, как я испугалась! — вздохнула Халима.

— Доктора велют ехать на курорт, да разве летом бросишь колхоз? Вот уж по зиме, по первому снегу...

Шарафи-агай, поглощенный своими мучительными переживаниями, даже не заметил, что председателю было худо.

— Ты не хворай, Давлет,— сказала Халима-енге с доброй улыбкой.— Мы без тебя, как суточные утята без матери. И колхозники тебя очень ценят.

— В глаза не хвали, тетушка.

— Могу и в глаза, могу и за глаза! В прошлом-то году по десять кило зерновых на трудодень кто нам отсыпал? Ты, товарищ Давлет!.. Ни в одном колхозе не было такого богатого трудодня.

«Десять килограммов? — прикинул в уме Шарафи.— Нет, пожалуй, я побольше рыбой заработал. И ведь на поле чертоломили от зари до зари, а я прохлаждался...»

— Не хвали, тетушка в глаза,— повторил растроганный Давлет.

— Если тебя иные в глаза ругают, то, значит, и похвалить можно.

Председатель согласился:

— Ругают, тетушка, ох как ругают.

— На всех не угодишь,— заметила Халима.

— Справедливо! В колхозе все сбились толпой, как на сабантуе: тут тебе и сознательные, ударники, тут и лодыри, дураки, подкулачники. Если всем угождать, так меня же все и возненавидят.

Шарафи-агай насторожился, услышав «лодыри». И подтолкнул чашку незваному гостю:

— Пей, товарищ, хватит тебе о колхозе думать, здесь не правление.

— Спасибо.

— Старики говорили: «Когда угощают, приходится пить и воду»,— хмуро пошутил хозяин.

Давлет оценил его остроумие, усмехнулся.

— Второй день тебя ищу, дядюшка,— сказал он серьез-

нее.— Пионеров присылал, а они докладывают: переселился к русским.

— Мальчишка как змея! Огонь! — вспыхнул Шарафи.— Либо вырастет головорезом, либо выбьется в бо-о-о-ольшие люди... Так ты о чем?

— Сам знаешь, о чем,— теперь Давлет уже не улыбался.— «Сулпан» богат рыбными угожьями, а все дары Имыка плывут мимо колхозной кассы. Вот правление и решило запрячь сомов Черного омута в пристяжку колхозным лошадям, чтоб одну телегу везли.

— В тридцатом году так же собрали жеребят, а они потом с бескормицы копытами считали звезды в небе! — грубо отрезал Шарафи.

— Было и такое,— Давлет не оспаривал.— Теперь уже недохнут. Резвые! С горы на гору перепрыгивают. У помещика, поди, не водились подобные скакуны.

— У господина Гута каждый жеребенок был не жеребенок, а сказочный «конь-огонь»! — торжественно произнес Шарафи; бог весть, зачем ему понадобилось защищать конный завод Гута, да еще в эту минуту.— Каждый жеребенок словно из табуна пророка Магомета!

— Разве? А я слышал, что великий пророк седлал облезлую конягу с таким острым хребтом, что седло лопалось, как от удара ножом. И пророк, чтоб не свалиться, держался за уши коня, растянул их с аршин... Пока добрался до дворца аллаха, коняга превратилась в длинноухого осла!

Из вежливости Шарафи рассмеялся.

— Ну, забудем пока о Магомете,— неторопливо продолжал председатель.— Я пришел за советом, как нам подступить к имыкской рыбе?

— Рыба, она умная, в колхоз стадом не пойдет,— ядовито сказал Шарафи, останавливая суровым взглядом жену, порывавшуюся поддержать Давлета.— Это мы в тридцатом шли гурьбой... А рыба, ты к берегу подошел, а она учуяла, поняла, кто ты таков.

— Потому мы и хотим тебя, дядюшка, назначить бригадиром,— перешел в открытую игру Давлет.— Ты умнее самой умной рыбы, вот и бери на себя рыболовецкую бригаду. А я в Уфе заказал сети, лодки, снасти... Оптовый крупный заказ! По безналичному расчету.

— Значит, в порядке аванса под колхозную рыбу?

— Примерно так.

Шарафи почернел, как кленовый лист, охваченный пламенем лесного пожара. Мысли в его голове летели с лихорадочной быстротою, он прикидывал и так и сяк... Скажи «нет» — назначат какого-нибудь комсомольца; скажи «да» — и не отвертись.

— Соглашайся, отец! — взмолилась Халима-енге.

— Цыц! — окрысился на жену Шарафи, хлебнул залпом остывший чай, стукнул с размаху дном чашки по столу; была б воля, сжал бы, раздавил эту чашку в кулаке, чтоб хоть на ней сорвать гнев.— Сейчас не могу сказать ничего определенного! Подумаю,— буркнул, пряча глаза под мохнатыми, низко нависшими бровями.

— Конечно, надо подумать,— кивнул Давлет.— Но... не задерживайся! Ждем завтра ответа. Это ведь не от меня идет, от правления,— как бы извиняясь, добавил он.

Халима-енге с измученным видом махнула рукой и ушла за перегородку плакать.

4

Весь вечер у Шарафи-агая все валилось из рук. Упрямо он строил в уме ослепительно-радужные планы, а они рассыпались, как слабо связанный сноп. Вышел во двор, начал чинить сеть,— иголку обронил в траву. Долго ползал на коленках, еле нашел, а минуту спустя решил: «Если сеть сдавать в колхоз, так пусть и принимают дырявую... Шут с ними!» Виляя хвостом, подкатился в ноги Муйнак,— хозяин пнул его. А случилось это впервые: Шарафи любил пса... Курицы рылись в песке,— он прогнал их на задний двор.

Когда пришла с поля усталая Саима, отец покосился на нее враждебно, на приветствие не ответил, молча ушел в избу.

Дочь умылась, села за перегородкой к кухонному столу, ждала ужина... Разговаривать ей не хотелось, ноги-руки сладко ныли: умаялась.

Но при Саиме мать держалась храбрее и громко, чтобы Шарафи услышал, сказала:

— С поклоном председатель Давлет приходил, звал отца в бригадыры рыболовной бригады!

Шарафи в чистой горнице так и взвился, но усилием воли сдержал себя — не выругался.

— Ой, мама, как хорошо! Конечно, отец согласился! — с восторгом воскликнула Саима.

— Какое! — Халима заводи́ла все звончее. — Напомнил Давлету о жеребятках, какие в тридцатом копытами считали звезды!

— Отцовский язык лист кровельного железа пробьет насквозь, — помолчав, обидно засмеялась Саима. И вышла с уверенным видом в горницу, спросила в упор: — Ты почему не согласился?

Такую дерзость Шарафи не смог вынести.

— Тебе какое дело, сопливая?

— Во-первых, я не сопливая, а взрослая, самостоятельно работаю, — с достоинством ответила Саима, не пугаясь искрометных отцовских взглядов, — а во-вторых, мне надоело терпеть срам от народа... Ты лучше прямо скажи: «Живу сам по себе, а вы, жена и дочь, живите своим умом». Тогда я, как Рашит, найду свою дорогу.

За перегородкой всхлипнула Халима-енге.

— Осмелела! — крикнул Шарафи, но крикнул не властно, не строго, как ему хотелось, а визгливо: он и в самом деле терялся перед дочерью.

Саима не изменилась в лице, не съежилась, а выше вскинула голову.

— День-деньской работаешь, а все, что намотала в клубок, люди разматывают за минутку: «От Шарафи-ага путного не наберешься!...» Знакомым на глаза стараюсь не попадаться, хожу сторонкой. Как в огне горю! И работать-то охота пропадает. Уеду в город, либо учиться, либо на фабрику. Там хоть меня стыдить не будут!

Шарафи-агаю показалось, что его ткнули ножом да присыпали рану толченым стеклом. Его подмывало вопить, сквернословить, драться, но он и на этот раз утихомирился, плюнул и ушел спать на сеновал.

И ночью приснился ему Черный омут, посеребренный лунным блеском, в кайме певуче шумящих, бархатистых камышей. Тысячи тысяч птиц слетелись, чтобы величать разногласным хором его, единоправного властителя колдовского озера... И рыбы выплыли из глубины, чтобы восхитить его глаза своими кольчугами, кованными из чистейшего серебра. А вода, неподвижная, зелено-синяя, словно подернулась молодым льдом. И тишина такая же глубокая и волшебная, как омут.

Следующим утром Шарафи-агай, не сказав ни слова жене и дочери, серьезный, благодостный, направил шаги свои к правлению, долго сидел на крыльце, сосал трубку, поджидая председателя.

Идущие на работу в поле колхозники посматривали на него со злорадной ухмылкой: «Жизнь заставила...»

Шарафи-агай не обращал на них внимания.

Давлета он встретил почтительным, но не заискивающим поклоном и сказал без околичностей:

— Я согласен.

— Вот и замечательно, прямо замечательно,— просиял председатель, отмыкая дверь каменного дома, отобранного в тридцатом году у лавочника.

— Но я ставлю условие,— продолжал, смеясь, Шарафи.— Рыбаков подбираю сам. Рыба в глупые руки не дается. Тут нужны сноровка, ум, хитрость.

— Согласен, согласен,— сказал Давлет, не вдумавшись в просьбу, а ведь она не предвещала колхозу ничего хорошего.— Работай по своему разумению! Раскинь широкую сеть. На днях привезут снасти. А лодка вся голубая, под цвет воды, и руль прикреплен к корме, тяни бечевку вправо-влево, туда и свернет. Быстрая, как имыкская стерлядка! Вот так и тяни веревку, поворачивай! — Давлет показал, как надо поворачивать, и вдруг стул под ним с треском развалился, и он шлепнулся на пол.

Шарафи-агай с удовольствием расхохотался:

— Ну, если колхозная лодка так развалится, то прибыли не жди!

Вставая, отряхиваясь, председатель беззлобно ругался:

— Напасешься здесь стульев! Чугунные не выдержат. Сколько народу-то за день пройдет. И каждый раскачивается, гарцует, как в седле.

— Да, если и лодка такая же, как председательский стул, то дело скверное,— сказал Шарафи, хитро шурясь.— А бригада у меня будет маленькая, но ударная, боевая!

В комнату вошли посетители, и Давлет уже не слушал его, кивнул, как бы утверждая все планы нового бригадира.

Заручившись его согласием, Шарафи-агай побежал к муэдзину Халилу. «Этот кладбищенский плакальщик будет послуш-

ным, рта не раскроет без моего приказа», — думал Шарафи. А дом у Халила отобрали из-за налогов, не раскулачили же! Духовный сан он снял. Словом, кандидатура во всех смыслах подходящая.

Муэдзин прослезился, руку Шарафи-агаю облобызал в знак благодарности. Еще бы! — в колхоз пролез при его благосклонном попечении...

Вторым зачислил в бригаду Шарафи известного Шерекея, о котором в деревне говорили, что он всегда унюхает, где пахнет жареным мясом, а спит, свернувшись клубком, как кошка. Шерекей работал сейчас водоносом в колхозных яслях, носил воду с колодца, а за это ему давали глотать кости из супового котла и разрешали спать на кухонной плите...

Шерекей заколебался: выгодно ли менять суповые кости на рыбы, но Шарафи-агай обещал потчевать его ежедневно соминой или стерляжьей ухуою...

Третьим Шарафи взял в бригаду казаха Сиксанбая. Это был здоровенный парень, сын раскулаченного казахского бая. Убежав из родных степей, Сиксанбай обманом втерся в колхоз, работал молотобойцем в колхозной кузнице. Жил он в землянке на берегу Имыка, сам вырыл, в крышу воткнул шест с торчащим на нем лошадиным черепом. Этому черепу Сиксанбай и молился, клал поклоны. Деревенские изумлялись: «Да ты в аллаха-то веруешь?» Сиксанбай отвечал: «Верую в аллаха, пророка и лошадиного бога».

В рыбаки он пошел охотно, — руки вывернул тяжелым молотом...

2

На правлении колхоза состав бригады вызвал ожесточенные споры.

Валекей-агай высказался откровенно:

— Собрали всех проходимцев. Да какой же в этом толк? Чем иметь такую бригаду, лучше вообще плюнуть на эту рыбу. Пословица есть: «Поручи бестолковому дело делать, он кучу наворотит». Вот и здесь так же получается.

Пословица правленцев рассмешила, но учитель Сагдиев тоже кисло заметил, что у Шарафи-агая странный вкус...

Давлета донимала головная боль, он сидел иссиня-белый, часто клал руку на сердце.

— Давайте, товарищи, пока утвердим, — миролюбиво предложил он. — Конечно, это еще не бригада, согласен, а цыганс-

кий табор, какой веснами дымит у нашего Гутовского моста. Но важно начать. Потом укрепим...

— Я за уловы ручаюсь! — солидно заявил Шарафи-агай, а сердце екало: утвердят ли?

Утвердили.

За вечерней трапезой и Саима кольнула отца:

— Набрал ошпаренных колхозным кипятком!

Шарафи брякнул об стол ложку:

— Мне работать, не тебе! Честнейшие люди! Благородство!

— Особенно у муэдзина, — ядовито добавила дочь.

Видимо, Саима кому-то рассказала об этой перепалке, потому что к бригаде Шарафи-агая прилипла кличка: «Бригада ошпаренных». Но бригадира это не смущало. Знакомым он объяснил:

— Я не корабль с изорванным парусом, чтобы поворачиваться от каждого порыва колхозного ветра! Своя голова на плечах!..

Через неделю со станции привезли сеть, крючки, лески, остроги, чтоб ночью при факелах бить щук, новенькую голубую лодку с надписью «Красный рыбак».

Народ валом валил смотреть диковинные снасти; приходили из соседних деревень. В толпе шли оживленные разговоры:

— Если с такими приборами не наловить уйму рыбы, то лучше утопиться со стыда!

— Что Шарафи-агай! Спусти сеть, сиди на бережку, — рыба сама влезет.

— Позор отдавать такие богатые вещи в руки Сиксанбая и Шерекея.

Шарафи-агай не одергивал насмешников, не ругался с остряками, — хлопотал, запыхался. Ночевал на берегу у костра или в землянке Сиксанбая. Проявил такое усердие, что правленцы с изумлением разводили руками.

Серым июньским пасмурным утром закинули впервые сеть. Парни, мальчишки истоптали камыш на берегах Черного ому-та; у Шарафи-агая душа ныла от такого поругания святыни, но он молчал, поглощенный своими тайными хитроумными замыслами.

Пятидесятиметровая сеть радугой изогнулась от берега до берега, но Шарафи, изучивший омут, как свою ладонь, знал, что здесь дно бугристое, а значит, добычи не жди... Угодят в невод лишь мелкие сунцы, беспечно сверкающие на поверхности металлически блестящими спинками.

Так и случилось: набили мелочью три ведра. Вытащили замотавшуюся в сеть корягу с растопыренными, будто обугленными сучьями.

Колхозники разочарованно вздыхали.

Муэдзин Халил дергал рыжую реденькую бороденку, сетовал:

— Не по нашим угожьям эти снасти! Их бы в море.

Шарафи мужественно перенес неудачу, заверил мрачного Давлета:

— Такими сетями я ведь не промышлял, — с берега удочкой... Научимся!

Председатель не ответил, пошел в поле.

3

Шарафи был осторожен, рисковать не желал и сдавал колхозу каждый день то три, то пять-шесть ведер рыбы, но не сортовой... Так, рыбий мусор. Конечно, и эту раскупали по дешевке на базаре, на станции, но разве об этом мечтал Давлет?.. Подошел сенокос, председатель и забыл о рыбаках, а это было Шарафи-агаю на руку.

Давно он приглядывался к заводи с ровным песчаным дном, где, по всем приметам, была тьма окуней и стерляди. Конечно, Шарафи ею пользовался, но с берега, удочками, словно ложкой черпал... Сейчас было можно перегородить заводь широченной колхозной сетью и вычерпать котел до дна. Подручных он и стращал и кое-чему учил. Работали они старательно, — видели, что улов пойдет в их мощну, не в колхозный погреб. В этом случае можно и попотеть... Переговаривались жестами, чтобы не подслушал какой-нибудь прохожий.

Вечер стоял ясный, тихий, слышался лишь свист крыльев резвых чаек, носившихся над рекою.

Уже по скрипу веревок, которыми тащили сеть, догадались, что улов баснословный. «Вай-вай, упырмай!..»¹ — шептал Сиксанбай и со страхом и с восхищением.

Шарафи-агай прикрикнул на него, но тоже обрадовался — руки затряслись. Невод был плотно набит аршинными стерлядками, золотоперыми окунями, широкими, как лопата, лещами, жирными, словно поросята, сазанами. «Ура» бы прокричать в честь такого богатства! Но Шарафи грозил

¹ Казахское восклицание, означающее высшую степень удивления.

подручным кулаком, свирепо тарашил глаза, — помалкивайте... Шерекей фырчал в знак веселого изумления, как дикий кабан: «Хыр-тыр... эхе-хе». Муэдзин шепотом возблагодарил аллаха: «Рыба — божья, тобою дарованная! Спаси верных чад своих и рыбу от безбожников».

Шарафи-агай не нуждался ни в молитвах, ни в хрюкании, ни в ликующих восклицаниях. Взяв с лодки ведро, опрокинул его вверх дном, сел так, как садился в древности батыр на грудь поверженного врага, закурил.

Подручные молча дожидались дальнейших распоряжений.

Наконец муэдзин шепнул, но погромче, чтоб Шарафи услышал:

— Никогда не быть тебе в нужде!

— Да, не лазил ложкой в чужую миску, но и в свою не разрешу окунать чужие ложки, — согласился удовлетворенный Шарафи. Теперь ему захотелось поиграть, подразнить помощников.

— С прибылью сегодня колхоз! Товарищ Давлет останется довольным.

Рыбаки с выражением отчаяния на грязных, мокрых лицах переглянулись.

— Зачем колхоз? — взвыл Сиксанбай. — Какой колхоз? У колхоза — хлеб. У меня — рыба. Продам рыбу, куплю хлеба.

Шерекей оттопырил губы:

— Тыр-хыр... эххе-хе!

Муэдзин закатил глаза и сокрушенно вздохнул, показывая этим, что ему, священнослужителю, не привыкать к обидам и унижению.

— Сеть колхозная, заводь колхозная, — отрывисто напомнил им Шарафи. — Но... — Он подождал, насладился их жадным вниманием. — Но тянули сеть мы, маялись мы, в воде стыли мы... Не так ли?

У подручных вырвался вздох облегчения, и со стороны могло показаться, что это паровоз выпустил пары.

— Конечно, за снасти мы выделим колхозу кое-какую мелочь и жилистых щук, — продолжал Шарафи-агай, упиваясь собственным великодушием. — Каждый из вас получит по крупному лещу для домашней ухи. Остальное... Одним словом, выручка будет поделена поровну. Но ни гуту! Замкните рты на замок! — Он потянулся. — Эх, рыба, вот рыба, трясется, как жирный овечий курдюк... Ну, Сиксанбай, откормишь теперь этой рыбой своих вшей, — на выставку осенью отправишь.

Шарафи велел Шерекею и Сиксанбаю нести отобранную

им несортовую рыбу на колхозный погреб, а муэдзину шепнул:

— Беги к мельнику Ивану, скажи, чтоб запрягал лошадь и приезжал вон к тому мыску. А я туда подплыву на лодке.

Муэдзин замаялся, переступил с ноги на ногу.

— Да что с тобою? Мельника Ивана знаешь?

— Как не знать! Второй дом от церкви... Понимаешь, за-был, как по-русски «рыба», — признался Халил. — По-нашему «балык», а вот как по-ихнему?

— Эй, муэдзин, муэдзин, — осуждающе покачал головою бригадир. — Зубрил всю жизнь изречения пророка... И зря. «Балык» — «рыба-а-а», «рыба-а-а». Помни! Беги, ночь коротка, летнее солнце как девчонка, играющая в прятки: сама схоронилась, а подол торчит...

Муэдзин с досадой ударил себя по бокам.

— Ясное дело, «ри-и-иба»!.. Нужно помнить арабское слово «риба».

— Да, «риба» тебе знакома, — ехидно заметил Шарафи. — «Риба» — взятка. Не мог же священнослужитель обойтись без взяток.

— Бог простит, бог простит! — Халил шмыгнул носом.

— Арабские слова ты помнишь, а надо бы учить русские. Пригодится! — наставительно сказал Шарафи и вдруг гаркнул: — Беги, «ри-и-ба»!

Муэдзин ушел. Бригадир, оглянувшись, убедившись, что никто не подсматривает, отделил добрую толику сомов и стерляди, спрятал в яме, простелив крапивой. Это — личная доля Шарафи-агая. Это вознаграждение за ум, опыт, сноровку. Остальную рыбу, первосортную, отборную, он ссыпал в мешки, перенес их в лодку. И, набив поплотнее махоркой трубку, поплыл вниз по течению.

Имык плавно нес лодку; у крутых обрывов на воде лежали тяжелые тени, а на отмелях, в заливах вода была серая, со свинцовым отливом. Лодка охотно слушалась руля; дергая то правую, то левую бечевки, Шарафи вспомнил, как Давлет показывал ему в правлении способы вождения диковинной уфимской лодки (в здешних местах до сих пор рулили кормовым веслом) и забарахтался на полу в обломках стула... Недотепа этот Давлет! Святее муэдзина. Да разве такому — прекраснородушному — управлять колхозом? Поставили б Шарафи-агая, вот он развернулся б!..

Сидел на корме Шарафи величаво. Если б представить бронзовое изваяние капитана, смело ведущего корабль в бур-

ном море, то, бесспорно, он был бы похож на Шарафиагая.

У бригадира было такое счастливое настроение, что он запел вполголоса старинную песню:

Веет ветерок, играя гривой
Моего усталого коня...
Я на свет родился несчастливый —
Счастье не приметил меня.

Выйду к речке — тихо плещет речка;
Вижу камни черные на дне.
Изболелось у меня сердечко —
Горе камнем грудь сдавило мне¹.

4

Неожиданно из густого тальника на берегу раздался пронзительный свист. Шарафи вздрогнул, виновато засмеялся, — чуть не проскочил! — и круто направил лодку к отмели.

Иван Иванович выглянул из кустов, но не вышел на открытое место — осторожен...

— А я думал, прямо в город плывешь! — сказал он, когда лодка зашуршала днищем по песку и Шарафи выскочил на берег.

— Задумался, — объяснил бригадир.

— Дать волю думам, на тот свет уплывешь!

— А может, там и пригляднее, чем здесь? — вздохнул Шарафи. — Муэдзин ушел? Ага! Так вот слушай... Колхозу я оставил голову, копыта и осердие, тебе привез подпашку. Гони лошадь скорее в город. Товар городской: рыба к рыбе, рубль к рублю.

— Деловой ты человек, агай, — с искренним уважением сказал Иван Иванович. — Плут!.. А я тоже принес тебе подпашку. Продрог, думаю, мой Шарафи, иззябся... Конечно, захватил бутылку, хе! Снохе велел собрать богатую закуску. Осердилась: «И ночью с тем же...» Ну, я цыкнул, — притихла. Извини, друг, стакан забыл, придется прямо из горлышка.

Мешки перенесли на телегу. Лошадь была башкирской породы: не рослая, неприглядная, но выносливая, как верблюд, — добежит без кормежки до городского базара.

Иван Иванович и Шарафи сосали водку из горлышка,

¹ Стихи и песни в переводе В. Ганиева.

закусывали солеными огурцами, печеными яйцами, вареной бараниной. Отрыжка была сладкая. Дружья расстались довольные друг другом.

Светало, когда Шарафи причалил у колхозной пристани.

БЕЗ САИМЫ СКУЧНО

1

Наступила веселая пора сенокоса.

Заливные колхозные луга переливались, как зеленое море; трава стояла сильная, высокая, душистая, то по ней пробегали темные волны теней от облаков, то она горела и сияла цветами в лучах знойного солнца.

Колхозные старики напоминали Давлету:

— Пора косить, пока трава шелковая! День-два — и затвердеет, как осока.

Молодым ни к чему хозяйственные заботы, они мечтали резвиться в лугах, хороводы водить вечерами, через костры прыгать, украдкой целоваться-миловаться в лозняке. Девушки выбирали платья скромно-нарядные: и для работы, и для гулянки. Парни молодцевато крутили усы: им надо было блеснуть перед любимыми и сноровкой в косьбе, и выносливостью, и удалью.

Председатель отшучивался:

— С недельку бы обождать, гляди, лишних возов тридцать — сорок, а это колхозу прибыль.

— Да ведь трава переспеет! — визжали девушки.

— Смотрите вы не переспейте! — улыбался Давлет.

Наконец председатель, посоветовавшись со стариками, объявил, что завтра народ выходит на луга. Обрадованные парни бросились его качать, подбросили выше крыши правления и не заметили, как внезапно побледнел Давлет.

Фатхи, секретарь комсомольской ячейки, их отругал:

— Знаете же, больной! И катаете, как бревно. Последние жилы у сердца рвете!

Но Давлет не рассердился, понимал, что его любят, а чего еще желать председателю? И улыбнулся с трудом, кивнул:

— Вам бы с такой яростью косить!

— Не подкачаем, дядя Давлет! — кричали юноши. — Ты у нас прости! Мы по-медвежьи!..

Что с ними поделаешь!

И росистым утром луга расцвели ярко-пестрыми головными платками девушек, то синими, то красными, то зелеными платьями, и как ни щедра на выдумки и сочно-густые краски мать-земля, а девушки затмили луговые цветы. Во всяком случае, парни любовались сужеными,— не цветами. А разве есть у цветов такой жаркий румянец, такие белые, сверкающие в улыбке зубы, такие озорные, и карие, и синие, и смугло-черные, глазки? Цветы — немые, смирились с вечным молчанием, а девушки смеются, визжат, поют и старинные песни, и чуть-чуть соленые, но вообще-то вполне благопристойные частушки. Они подзадоривают косарей то покровительственными, то насмешливыми взглядами.

На ровном месте траву стригут конные косилки, а бугры, низинки, кустарник окрашивают парни вручную; девушки сгребают граблями траву в валки.

Косилки тараторят, стрекочут бойко; потные лошади со свистом отмахиваются хвостами от липнущих оводов; кося в быстром размахе сверкают, словно стерлядки в Имыке.

В прежние времена отцы не выпускали дочерей на сенокос в первый день,— сгребать, переворачивать скошенную траву можно и следующим утром. А долго ли до греха?.. Теперь колхозницы равноправные, как же, попробуй с ними совладать! Им бы скакать козочками, озорничать и ночевать у костра в копне вянущего, чуть-чуть влажного, пахнущего солнцем и медом до головокружения сена, и без усталости плясать, водить хороводы, и до рассвета тешиться песнями, то протяжно-грустными, то искрометно-шалыми.

2

Фатхи был высокий, проворный, русский, как русский; красивое добродушное лицо его слегка портил острый подбородок. Говорил он медлительно, обдуманно, любил дотошливо влезать в дело, докапываться до корня, с пылом кидался в споры. И в совпартшколе его прозвали «философом».

Однажды, часа два, до хрипоты он спорил с друзьями о том, почему лошадь — однокопытное животное, а корова — двухкопытное. И получил прозвище: «Друг животных».

Круглый сирота, он рос, воспитывался в детском доме, и Советская власть была ему матерью, не шибко нежной, но умной, рассудительной. Фатхи вырос в убеждении, что лучше и краше Советской страны нет ничего на

белом свете. Он люто ненавидел ее врагов, объединяя их одним словом: «контра»...

Приехал он в район по окончании совпартшколы, а диплом парню вручили с отличием, именно в тот момент, когда Рашит, сын Шарафи-агая, сбежал из дома от стыда и оскорблений. Комсомольская ячейка «Сулпана» осталась без секретаря... Райком партии предложил этот пост Фатхи. Вскоре он стал в деревне своим.

И сразу же его сердце полонила Саима. Приглядевшись к ее отцу, Фатхи со свойственным ему складом философского мышления определил Шарафи-агая «мелкобуржуазным болотом». И осудил в душе Рашита: комсомольцу надлежит не убегать, а высушить болото, превратить болото в тучную пашню. Теперь Фатхи страшило: не увязнет ли в болоте Саима? Конечно, у девушки нрав сильный, в работе прилежна, но всякое случается... А когда подружки не утаили от секретаря, что Саима решила по примеру брата убежать в Уфу, либо учиться, либо работать, то сердце Фатхи заныло. Бросить колхоз, комсомольскую ячейку, мчаться за ней вдогонку он не смог бы. Значит, его удел — век оставаться круглым сиротой.

Пожалуй, невозможно различить, с чего началась тоска Фатхи: с размышлений о «мелкобуржуазном болоте» или с восхищения Саимой. Теперь все это слилось во всепоглощающее, мучительное, но и одновременно светлое чувство любви. Пора бы объясниться, но парень робел так, как робеют глубоко и верно любящие...

На сенокосе сегодня он работал исступленно, чтобы забыться, чтобы — не будем скрывать — опередить всех парней, понравиться Саиме. К обеду косилка Фатхи оставила за собою далеко позади остальные машины, и девушки преподнесли своему секретарю премию: березовый туесок, наполненный с верхом крупной черной смородиной.

Фатхи раскланялся, благодарил, обещал, что в соревновании косарей займет первое место, как и подобает секретарю. «Авангардная роль», — назидательно поднял он указательный палец: девушки ничего не поняли, прыснули и разбежались; Саима летела быстрее всех, взяла грабли, начала работать на дальнем краю луга.

В эту минуту тетушка Салима, идущая мимо с ведром к ручью, всплеснула руками:

— Ай-ай, букет какой! Вот он, привет сердца! — и показала на привязанные к уздечкам лошадей пучки цветов; назывались они странно: «Болотное мыло», но были пре-

лестны: чистого сочного тона краски, острый, нежный аромат.— То-то Саима убежала!.. Спряталась. Ишь, проказница!

Фатхи подошел к лошадям, увидел букетики — «привет сердца» — и растроганно улыбнулся самому себе, словно никого кругом не было. Подружки подталкивали друг друга, хохотали, кололи его намеками, шутками, наблюдательная тетушка Салима с удовлетворением усмехнулась, а парень ничего не замечал, стоял, держа лошадей под уздцы, касаясь цветов, и доверчиво улыбался.

Вдруг он очнулся, как будто проснувшись, и глаза у него были одичалые: видел только что счастливый сон, сон в руку, и попросил мягко:

— Не дразните ее, девушки!

Комсомолки привыкли, что их секретарь вечно озабочен, говорит деловито, требовательно. Сейчас Фатхи был на себя непохож... Девушки рассмеялись, затем переглянулись, почему-то смутились и отошли.

3

Обед на всю бригаду варила тетушка Салима. Девушки принесли из дома и себе и парням ложки, тарелки. Хлеб — колхозный. В полдень, когда сухой воздух так и дрожал, переливался солнечным блеском, в тени развесистых плакучих ив на отлогом берегу собрались у костра с подвешенными над пламенем закопченными казанами косари в потемневших от пота рубахах. Девушки, конечно, не поленились, умылись, сидели свеженькие, чистенькие — залюбуешься... С минуту-другую молчали, лишь ложки мелькали да слышались вздохи проголодавшихся здоровых молодых людей. Затем пошли, как это водится, разговоры.

— Тетушка, эй, а что на второе?

— Зачем тебе второе,— лапша густая, ложкой не проворишь, картофелины с кулак! Проси добавки!

— А как же в городе: суп, типкели¹ и на третье компот,— не унимался какой-то привередник.

— Эк хватил — город!

— Рыбы можно было б нажарить,— мечтательно протянул Рахим.— Вон Черный омут, рядом!

Тетушка Салима была самолюбивой, привыкла к похвалам

¹ Т и п к е л и — искаженное башкирское произношение слова «тефтели».

и теперь, услышав, что среди обедающих есть недовольные, рассвирепела:

— Рыбой из Черного омута лакомится мельник Иван! — пронзительно воскликнула она. — Да, может, вот эту красоту отец потчует стерляжьей уху! — и ткнула уполовником в покрасневшую до слез Саиму.

Тишина пала тягостная, глубокая, все — и парни, и девушки, и даже самые заветные подружки, — с осуждением посмотрели на поднесшую было ко рту ложку, да так и оцепеневшую Саиму.

— Зря вы, ой зря, — поморщился Фатхи. — Никто ж не видел, что они продавали рыбу на сторону.

— Я видел! — с нажимом сказал веснушчатый Рахим и побледнел от гнева.

Саима швырнула ложку в траву, лицо у нее было отчужденно-замкнутое, словно перед прыжком с обрыва в омут. Кто-то из девушек всхлипнул. Рахим опустил глаза: уже раскаивался во вспыльчивости...

Фатхи нашел ее в кустарнике, — девушка лежала ничком на траве, плечи ее вздрагивали от горьких рыданий. Порою Саима коротко стонала от отчаяния... Она плакала потому, что у всех отец как отец, а ее отец — «Шарафи-упрямый», и потому, что любимый брат, с которым она была откровенной, сбежал, и потому, что ехать в Уфу боязно, а расставаться с Фатхи — еще страшнее...

— Саима, послушай, — сказал парень, опустившись на колени, и сам изумился, что твердый, грубый голос его прозвучал так проникновенно, ласково.

Девушка дернулась как от удара, вскочила и побежала сломя голову к деревне.

4

«Без Саимы скучно!.. Где ж Саима?» — рассуждали на другое утро косари и девушки. Фатхи угрюмо работал, не откликался на голоса приятелей, так ровненько и низко выстриг траву на своем участке, как не удалось бы парикмахеру, но сердце его кровоточило...

Пойти за нею он не мог, сам не знал почему, но не мог. Девушки посовещались, отрядили в деревню самую быстроногую подружку, но тетушка Халима в дом ее непустила, ничего путного не объяснила. Пришлось вернуться ни с чем.

Саима вернулась без приглашений и утешений, но не скоро — уже трава высохла и сено метали в копны. Она похудела и подурнела, словно после тяжелой болезни, ни с кем не разговаривала, молча взяла вилы и метала, приседая, такие охапки, что парней брала зависть.

Но вечером она осталась одна-одинешенька. Подруги потянулись стайкой к высокому костру, где гармонист уже завел задорную плясовую, да такую стремительную, подмывающую, что в груди спирало и прерывалось дыхание...

— А ну песню,— попросил кто-то, и поплыла над рекою, уже вечерней, в густом синем тумане, легкая, как дым костра, щемяще-грустная, но полная девичьей веры в близкое счастье мелодия.

Саима ушла к реке.

Она ждала, что одиночество принесет ей, как и дневная работа, успокоение, но оказалось, что в тишине уремы думалось еще пронзительнее и горше. Слава богу, что Фатхи не догнал, не попытался развлечь, успокоить, а то она встретила б его насмешкой.

Но жизнь не оставила и здесь Саиму в покое. По низкому берегу пролежала дорога, слышался скрип колес, голоса идущих за телегой колхозников.

— Да как же неправда, если дядя Садрислам наскочил на воз, полный отборной стерляди? — пробасил кто-то с возмущением.— Не мельник Иван наловил, ясно каждому...

— Положим, дочь не виновата,— рассудительно заметил собеседник.

— Виновата, виновата, знает, что колхозная рыба уплывает к мельнику,— упрямо возразил обладатель могучего баса и, чтоб сорвать злость, грубо прикрикнул на лошадь.

— Фатхи ее прикрывает,— помолчав, сказал спутник. Колеса скрипели тише и тише...

5

Фатхи бросился искать Саиму, но запутался в тальнике, сбился с тропки и вышел к темному заливу. Невидимая во мраке вода лизала с монотонным шорохом песок, взбивала каемку грязно-мутной пены. Парень уже повернул обратно, но наскочил на лежавшего в кустах то ли человека, то ли дикого кабана — сразу не разобрал.

— Да кто тут? — крикнул Фатхи; он был парнем храбрым, но сейчас голос дрогнул от неожиданности.

— Эхе-хе... Тыр-хыр... — захрюкал незнакомец.
— Выходи! — раздельно приказал Фатхи.
— Это я, я, Шерекей... тыр-хыр... ты ж меня, товарищ Фатхи, знаешь!
— Зачем туда забился?
— Холодно, ветрено... эхе-хе!
— Костер разожги! Где Шарафи-агай? — еще строже спросил Фатхи.

— Не знаю, не знаю... я домой пошел... эхе-хе... — Шерекей взял с песка ведро, сетку и торопливо зашагал к дороге, он семенил, почти бежал, словно боялся погони.

Фатхи проводил его настороженным взглядом, а затем пошел по берегу, то перепрыгивая через выброшенные паводком бревна, то ныряя под низкие ветви деревьев. Попал в высокую траву, промок от росы до пояса. Теперь он старался ступать бесшумно, чтоб сучья не трещали, песок не скрипел, трава не хрустела под сапогами.

И наконец он заметил в заводи тусклый слабенький огонек, плывущий в темноте, словно бакен, если на бакен смотреть с парохода. Парень лег на песок, пополз.

Шарафи-агай плавал в лодке по омуту; на носу в жаровне пылала береста. Рыбак черпал сачком замороженную светом рыбу, мелочь тут же выбрасывал обратно в воду, крупную нанизывал на таловый прут. Шея Шарафи непрерывно вертелась, — озирался по сторонам, побаивался.

Приложив рупором ладони ко рту, Фатхи произнес измененным, сирым голосом:

— Берегись, Шарафи-агай, следят!.. Берегись!

У рыбака был невозмутимый характер: не испугался, не задрожал, а молниеносно опрокинул жаровню в воду, береста зашипела, и темнота, как упавший полог, занавесила лодку Шарафи-агая.

Весла он окунал осторожно, чтоб не шлепали, не бурлили, но греб сильно, в порыве ярости и злости; лодка стрелой летела... Лишь километра за два от заводи Шарафи-агай с изнеможением откинулся, перевел дыхание, вытер рукавом мокрый лоб. Сейчас он старался уверить себя, что почудилось, никто не выследил... А минуту спустя сказал себе: нет, говорил человек, не водяной, не леший. Но вот в чем заковыка: если друг — почему тайлся, если враг — почему не позвал косарей?

Благоразумие заставило Шарафи-агая сдать весь ночной улов колхозу. Давлет обрадовался: никогда еще бригадир не приносил такой мерной стерляди... Неделю Шарафи не наве-

щал мельника Ивана Ивановича, подручным пригрозил, чтоб не заикались о выручке. Колхозные уловы невиданно возросли... Бухгалтер подсчитывал прибыль.

Шарафи-агай не знал, что всю неделю за ним следили, глаз не спускали Рахим и комсомолцы. А если б узнал, то заметался, запетлял, наделал глупостей и неминуемо бы попался им в сети.

САИМА ИСЧЕЗЛА

1

Бывают люди, живущие чужим, отраженным светом, и в этом отношении они похожи на луну, несущую к матери-земле не свои — солнечные лучи. У таких людей нет ничего за душой: и слова, и думы, и чувства позаимствованы то ли у родителей, то ли у друзей. Легко им существовать на белом свете: грязью плеснут, — отряхнутся; заденут упреком, — не поморщатся. Это о них гласит пословица: «Стыд — не дым, глаза не выест».

Саиму никогда не прельщала такая «лунная» доля. Она была углублена в себя, таила же в сердце многое невысказанное, размышляла о жизни и людях, может быть, и наивно, но серьезно.

По первому взгляду этого нельзя было приметить. Девушка ничем не отличалась от подружек. Так же, как и они, ехала, свесив ноги, трясясь, на телеге туманным утром в поле. Так же, как они, бегом-бегом сгребала, метала в копны сено. Подруги смеялись — Саима смеялась, они плясали, и Саима выходила в круг. В песнях не отставала, вплетала чистый голосок в девичий хор.

Ее жизнь была на виду у деревни.

Не раз правление награждало Саиму за прилежание ценными премиями. Матери говорили дочерям: «Бери пример с Саимы, — и скромная и работающая». А сыновьям: «Чего роешься? Лучше жены не найдешь; если по сердцу — зашлем сватов!» И парни зачастую мечтали: «А в самом деле, почему б не жениться на Саиме?»

И никто не ведал, что Саима носила в себе неизбывное горе. Вообще-то она была мечтательницей, упивалась крылатыми фантазиями, иногда всю ночь глаз не смыкала, путешествуя в бескрайнем океане грез, а утром подружки подсмеивались: «Гулять до рассвета — трудней не собрать!..»

Саима на них не обижалась: трудней ей хватало с избытком.

Когда лук на огороде пропалывали, Саима отошла в сторонку, прилегла и сразу уснула. Девушки ее тормозили, — не очнулась. А через часок вскочила как встрепанная, умылась и с таким пылом взялась, что перевыполнила норму.

Тетушка Салима умилилась:

— Был бы у меня умный сын, обязательно бы просватала тебя, милая. Да мой непутевый, черт чертом, не стоит твоего отстриженного ногтя!..

Радоваться бы девушке, а Саима тосковала, иногда днями не знала, куда деваться от зловещих предчувствий. И всему виною отец, его Черный омут, его дружба с мельником Иваном Ивановичем, его злое упорство. Вот уж правда: «Шарафи-упрямый»...

Выпадали такие страшные минуты — готова была обрезать нити, связывающие ее с жизнью. Однажды ночью подошла к глубокому колодцу старика Шайхи, заглянула... Вода лежала в глубине блестящим лунным диском. И внезапно прелесть ее юности, головокружащие мечты о счастье с любимым, тихая красота лунной ночи сковали Саиму, заставили повернуться, уйти сперва мелкими шажками, словно по льду, потом бежать к дому, к матери, к родному гнезду...

Подушка в ту ночь вымокла от ее слез.

И Саима решилась.

2

Халима-енге вскипятила самовар, ходила дома на цыпочках, чтоб не разбудить дочку: умаялась вчера на сенокосе, пусть понежится с часок. Рано еще — третьи петухи только что прогорланили зорю... Уже солнечный луч пролетел золотокрылым голубем в вышине, когда мать заглянула в клеть, где обычно летом спала Саима.

Постель была не смята.

— Ай, аллах, — ужаснулась Халима, и ноги ее отяжелели, — видно, не ночевала!.. Да ведь вечером ужинала, ушла к себе, переоделась...

Шарафи-агай последние дни дома не появлялся, — занимался якобы ночным ловом, но Халима-енге подозревала, и не без оснований, что он непробудно пьянствовал у мельника...

Мать сбегала к соседкам, к подругам, расспрашивала ос-

торожно, не впрямую, чтобы не ослабить дочку. Никто не видел Саиму... «На лугу работали, вместе воротились! Правда, молчала, но на обиды не жаловалась...»

Мать глубоко вздохнула: да разве такая пожалеется!

Забежав на минутку домой, поплавав, Халима умылась, надела выходное платье и пошла в правление. Ей теперь казалось, что Саима говорила о каком-то срочном деле, о распоряжении Давлета... Себя обманывала мать, ясно помнила, что за ужином шел разговор о незначительных событиях деревенской жизни.

Председатель Давлет был удивлен:

— Никого из девушек не посылал ни в поле, ни на ферму! Да, может, она у отца на реке?

— Очень ей отец нужен! — вырвалось у тетушки Халимы.

Залилась она горячими слезами не в кабинете Давлета — тут удержалась, — а в переулке, где, кроме козы, усыпанной репьями, никто ее не видел.

Фатхи возвращался с купания на Имыке в отличном настроении, накинув полотенце на шею, балуясь сладкой душистой папироской.

Наткнувшись на плачущую тетушку Халиму, он хотел отвернуться, чтобы не оскорбить ее любопытством, но она сама окликнула парня:

— Сынок, Фатхи, где Саима?

«Сынок!..» Так круглого сироту ни в детдоме, ни в школе, ни здесь, в колхозе, никогда не называли. Сердце юноши дрогнуло, покатилося...

— Сегодня еще не видел. Вчера допоздна последние копы дометывали вместе. Да что случилось?

— Не ночевала! Постель не раскинута! — Халима захлебнулась рыданием, как водою.

— А в правлении спрашивали?

— Как не спрашивать! Конечно, спрашивала.

— К Шарафи-агаю ушла? — Фатхи тотчас понял, что говорит чепуху, и смутился.

— Шарафи-агай двое суток пьянствует у мельника, — безжалостно отрубил Халима: вчера о богоданном муже она так не сказала бы...

— Так я поищу, — предложил Фатхи в полнейшей растерянности.

«Не утопилась бы», — подумал парень, но это предположение было до того страшным, что он даже застонал.

Слава богу, Халима, убитая своим горем, не заметила.

— Буду искать,— повторил Фатхи и побежал в правление.

Давлет встретил его весело,— уже о Саиме. Упрекать его за это нельзя: много посетителей толпится в председательском кабинете, и у каждого свои беды, свои тревоги.

— Не пожар ли, комсомол? Запыхался!

— Дядя Давлет, она сегодня не заходила? — с трудом разжимая искусанные губы, спросил парень.

— Кто это она?

— Саима.

— Вот почему ты задохнулся! А!.. Нет, ее не было, мать приходила недавно. Найдется. Корова три дня в лесу ходит, а ведь возвращается к колхозной кормушке,— грубо пошутил Давлет.

Фатхи поморщился: не дяде Давлету бы так ухмыляться.

— Тетушку жаль, убивается, земли из-за слез не видит!

Председатель спохватился, сам заметил оплошность, предложил серьезным тоном:

— Оседлай моего Голубя, скачи по округе, спрашивай сторожей, рыбаков. Действуй!

Голубь был сильным, неутомимым в беге жеребцом, но и он заklubился мыльной пеной, задышал сипло, со свистом, подхлестываемый плетью Фатхи.

Парень обскакал поля, луга, объехал берега Имыка, завернул к мельнику Ивану Ивановичу, но тот, опухший, сонный, буркнул с неохотой, что Шарафи уехал утренним поездом в город. «Да ведь у нее родственники в Кальсере!» — уцепился за последнюю надежду, слабенькую, паутинную, Фатхи и, беспощадно подгоняя Голубя, полетел туда.

Лишь теперь юноша чувствовал, как дорога ему Саима, он в кровь кусал губы, чтобы не плакать, а ему было бы легче, если б заплакал. Он беззвучно звал ее: «Ненаглядная, откликнись! Я умираю от любви к тебе! Ты светоч моих очей, ты отрада и утешение моей жизни...»

К вечеру и Давлет забеспокоился, велел комсомольцам седлать колхозных коней, искать девушку.

Саима пропала, словно к ноге привязала камень и прыгнула в Черный омут.

3

Тетушка Халима постарела за день, осунулась, черные морщины избороздили опухшее от слез лицо. Сидела непод-

вижно на крыльце, голодные утята и цыплята с писком крутились у ее ног,— не замечала. Соседки из-за плетней кричали: «Найдется! Девки, они шальные»,— не слышала.

Дом притих, опустел, будто вынесли покойника. Впервые за всю жизнь Халима ночевала одна. Лампу она не зажигала: пусть соседи решат, что уснула, и не стучатся... Прислушивалась к шагам на улице, до боли в глазах всматривалась в мелькающие за окном ночные тени. То и дело заходила в клеть, как будто надеялась, что там, на перинке, под ватным мягким одеялом, и найдет беглянку...

«Сына лишилась, теперь дочь...» — твердила себе Халима, словно крупной солью посыпая жгучую рану.

Следующим утром в деревне, как это всегда случается, отыскиались свидетели, видевшие, как босая, с растрепанными косами, в рубаше Саима бежала ночью к Черному омуту...

Давлет вызвал всех очевидцев, гурьбою, в правление, но там они отнекивались, сваливали друг на друга: «Тетка ж говорила... Дед Хабибулла сказал...»

Ничего от болтунов не добившись, Давлет так на них гаркнул, с размаху треснув кулаком по столу, что они еле поползли, закаявшись чесать языки...

Однако отыскать Саиму это не помогло.

А в сумерках из тарантаса вылез Шарафи-агай, важный, солидный, с котомкой в руке. Обычно после длительного пьянства он улещивал жену и дочку подарками... И сейчас, бойко простучав каблуками по крыльцу, он без предисловий бросил на стол узелок.

— Вот, мать, тебе полушалок, Саиме шелковые чулочки. Жена Тагира исключительно из-за уважения ко мне достала в наркомовском распределителе. Там товары очень дешевые, но не это важно,— денег, слава те, не занимать,— а важно, что товары первосортные. Жена Тагира говорит: «Шарафи-агай, не стесняйся, приехал в Уфу, скажи, что требуется... А за рыбу спасибо!»

«Значит, выменял на ворованную рыбу!» — острой занозой кольнуло Халиму-енге в сердце.

— А где дочь? — продолжал Шарафи еще веселее. — Разве легла?

— Чулочки шелковые тебе придется носить,— с ожесточением сказала жена. — Два уж дня, две ночи, как дочь твоя пропала! Искали всей деревней — не нашли.

Обухом ударили Шарафи-агая в макушку, затряслись про-

пыленные волосы. Опустился на скрипнувший стул, тупо уставился на босые ноги жены.

— Двух детей погубил! — голосом судьи, оглашавшего приговор, произнесла Халима. — Теперь осталось меня выгнать!.. И живи один в пустых хоромах, наслаждайся своим упрямством.

Шарафи-агай силился что-то вымолвить, но язык не послушался, — замычал, как налетевший на закрытые ворота бык.

КОМИССАР ФАТХИ

1

С ненавистью глядел теперь Фатхи с крутого берега на Черный омут. Озеро дышало тихо, еле слышно, как медведь в берлоге. Но парню омут представлялся страшнее медведя. Сунь в берлогу горящее полено, вот Мишка-великан взвояет и вылезет прямо на рогатину или под выстрел. А это озеро воистину колдовское — погубило и Рашита и Саиму... Ветерок зарябил воду, и Фатхи показалось, что Черный омут мстительно усмехается над его горем.

Тут, у реки, его и нашел Давлет, молча сел рядом, так же без слов протянул кисет с махоркой.

— Фу, башка трещит, — пожаловался председатель. — Вторых петухов сидели на правлении в сплошном дыму, утверждали план уборочной. И прошу не курить — никакого впечатления.

— Ты, дядюшка, сам-то пазишь как паровоз, — безучастно заметил парень.

Давлет был умен и зорек, чувствовал, почему так вяло держится Фатхи, сказал без перехода, в упор:

— Надо чего-то делать с рыбаками!

Фатхи горько улыбнулся:

— Месяц твердим, что пора... Садрислам своими глазами видел, как мельник Иван торговал мерной стерлядью. Комсомольцы бунтуют: доверили золотой омут жуликам.

— Так ведь Шарафи заявил, что ему больше четырех помощников не требуется, — напомнил Давлет.

— Значит, не нашел в деревне пятого жулика! — горячо воскликнул Фатхи. — Какая река!.. Почему же Кальсерский колхоз торгует аршинными щуками? Ведь у нас техника лучше, чем у них. Чем они ловят? Дедовскими рванными сет-

ками. Наш улов — мальки, их улов — полупудовые щуки и сомы. Видно, суть не в технике, а в честных душах.

— И что ты предлагаешь?

— Направить туда комсомольцев. Мигом хвост прижмут. Да я бы и сам пошел!

— Жаль отпускать тебя с полевой бригады,— задумчиво сказал Давлет, пристально глядя на тлеющий кончик сигарки.

— А я успею и в поле и на реке,— спокойно, веско ответил Фатхи; значит, обдумал, решил.

В этот же вечер правление по предложению Давлета утвердило Фатхи бригадиром рыболовецкой бригады.

Утром парень оделся уже по-рыбацки: куртка, высокие сапоги...

В совпартшколе философия была для Фатхи отвлеченной наукой, которая объясняла ему многое в жизни, но которая не научила его жить... И зачастую он видел себя директором большого совхоза, с удовлетворением созерцающим море волнующейся золотистой пшеницы, мчащимся по степной дороге в блестящем автомобиле. Крутые волны жизни прибили Фатхи совсем к противоположному берегу: он шагнул за плугом, с усилием отдирая от липкого чернозема пудовые сапоги; он таскал на плечах мешки с зерном, такие тяжелые, что кости хрустели; он жарился под палящим солнцем на косилке, выстригая луговую траву; он пешком ходил пятнадцать — восемнадцать километров в соседние деревни делать доклады по путевке райкома комсомола.

Бывали ночи, когда глаз не смыкал, сгорбившись над газетой, книгой.

Это и была философия; сейчас Фатхи понял...

Куда б его ни поворачивали, он пахал безотказно, словно могучий трактор ЧТЗ.

Фатхи возмужал в колхозе, закалился.

2

Шарафи-агай, узнав о назначении Фатхи, негодовал и плевался:

— Помрешь от досады!.. Сопливого мальчишку приставили комиссаром к знаменитому рыболову. Я не осужденный каторжник, чтобы работать под караулом. Вот захочу и уйду, завтра же уйду. Пусть комиссар черпает воду своей тубетейкой, ловит рыбу своими штанами!.. Черный омут —

ад, настоящий ад. Мне и то иногда страшно! Но я держусь, потому что на мне ответственность перед колхозом.

Однако встретил он Фатхи с деланно сладкой улыбкой:

— Рад тебя видеть, дружок! Зачем пожаловал?

— Разве Давлет-агай не говорил? — Фатхи застеснялся.

— Говорил, говорил... А! Значит, ты «рыбий инженер», будешь нас учить уму-разуму! — Шарафи извивался, как червяк на крючке удочки. — Нам чрезвычайно нужны знатоки. Рыба, она увертливая, как змея, — и ухватиться-то не за что!.. Или ты пришел следить, комиссаром?

Фатхи уже совладал с минутной растерянностью.

— Прежде всего мне самому надо подучиться.

— У кого? — Шарафи надменно вскинул бороду.

— У вас, дядюшка.

Если бы Фатхи осадил его, то Шарафи раскричался бы, побушевал всласть. Но у парня было добродушное выражение лица, говорил он мягко, как бы просяще. И Шарафи растерял все свои заранее приготовленные попреки.

— Дружок, нам нужны не ученики, а учителя. Мы — неразумные, в Уфе не обучались. И мы готовы смиренно вкусить благодать из уст «рыбьего инженера». А если хочешь сам учиться, иди к мальчишкам под Гutowский мост, вон они там поклевывают на червяка, закидывают удочки на мелководье... И я так же учился.

— Да нет, дядюшка, мне и здесь хорошо будет, — сказал Фатхи резко; надоело это кривляние...

— Значит, комиссаром?

— Считаю комиссаром.

Подручные Шарафи-агая в пререкания не вступали.

Шерекей и Сиксанбай чистили сети от тины, вынимали из ячеек запутавшиеся щепки, сучья, но молчали они выразительно, как бы хотели сказать: мы люди простые, у нас есть начальник, пусть он и хлопочет...

Халил-муэдзин раскланялся с Фатхи приветливо, потирая ручки, старался умаслить комиссара: смотри, дескать, на мою работу, а не на мое духовное происхождение.

Бросив на помощников злой взгляд: «Мне за вас отдуваться», Шарафи-агай продолжал досаждать Фатхи:

— Кажется, мы сдаем рыбу исправно...

— Видишь, дядюшка, говорят: «На чужой роток не накинешь платок», — сказал парень, решив тоже наступать, а не обороняться. — Люди начинают с блохи, а доходят до верблюда!.. Как их остановишь? И на правлении опять кричали: «Мельник Иван торгует с воза стерлядкой».

— И в Кальсере ловят рыбу,— нашелся Шарафи-агай.
— Правильно,— кивнул Фатхи,— но в районе два колхозных ларька: у кальсеровцев — огромные щуки, лещи, у нас — мелочь.

У Шарафи-агая в запасе не оказалось подходящего ответа, и он занялся трубкой, чтобы оттянуть время.

На выручку бросился муэдзин:

— Нечистый людей путает, потому и болтают черт-те что!.. Грех, великий грех осуждать ближних. Вот поработашь с нами, сам убедишься, что тут все дело случая!

Фатхи согласился с Халилом:

— Конечно, надо работать.

Невод закинули после обеда. Шарафи-агай метался в челноке по Черному омуту как одержимый, шлепая гулко веслом по воде, чтобы загнать сомов, а сам про себя хихикал: «Как же! Комиссара я испугаюсь!» Сеть он забросил с таким расчетом, чтоб вытянуть одни коряги, но суетился, подгонял подручных, сам нарочно плюхнулся с лодки, вымок до ноздрей. Фатхи тянул сеть, голова у него раскалывалась от жары и криков Шарафи-агая, в якобы непромокаемых сапогах хлюпала вода, и действительно, парень ничего не понял в этой кутерьме...

Как и ожидал Шарафи-агай, в сети оказались коряга и веселые синцы. Набралось три ведра мелкой, блестящей, как обрезки жести, рыбешки.

С трудом скрывая торжествующую улыбку, Шарафи заскорбел:

— Будь ты «рыбьим инженером», комиссаром, чертом, а не пойдет рыба,— значит, не пойдет!

Халил-муэдзин подтвердил его слова сокрушенным вздохом.

Мрачный Фатхи понял, что он нынче осрамился.

ПОШЕЛ КО ДНУ КАК ТОПОР

1

Шарафи-агай смеялся.

На пропавшую дочь он рукой махнул, с женою почти не разговаривал. И смеялся он в одиночку, на сеновале ночью или в клетке; беззвучные судороги, похожие не на смех — на рыдания, сотрясали его тело; он кулак закусывал,

чтоб из глотки не вырвался хохочущий вой... Вот вам и комиссар! Вот и комсомольский секретарь! Гонору — с лихвой, а Черный омут и ему не поддался...

А хлопотал Шарафи неусыпно, сам таскал на спине мокрую сеть, а раньше взваливал ее на подручных, сам отважно лез в воду, одежду сушил тут же, на берегу у костра. Увяз в долгах у Ивана Ивановича. Когда Фатхи уходил в деревню, вбивал на богатых рыбьих угодьях колья в дно, чтобы рвать сеть. В кишачие стерлядкой заводи лил с лодки деготь, а стерлядь — рыба прихотливая, понюхает, да и уйдет на чистую воду, подальше от колхоза.

«Вы у меня этого комиссара заберете», — ликовал Шарафи.

И верно, правленцы и даже порою Давлет морщились, когда кладовщик с унылым видом докладывал:

— Опять три ведра мальков... четыре ведра...

Такие скудные уловы и без комиссара бывали. А если Фатхи не справился, так нечего время тянуть — занимайся, голубчик, жатвой! Значит, умудренный жизнью Шарафи-агай прав: переводится сортная рыба в Имыке, распугали грохотом тракторов...

Поползла ядовитая сплетня, что Фатхи знает, где Саима, что он с Шарафи в сговоре: вот разживется деньгами и убежит из колхоза вдогонку за суженой...

А Фатхи ничего не слышал, не замечал, — он словно окостенел за последние недели. Его поразило бесчувствие Шарафи-агая; о пропавшей Саиме отец и не заикался. Отрекся, что ли, и от сына и от дочери? Да неужто столь сильна власть наживы над человеком, что он может с легким сердцем променять единокровных детей на деньги, пусть даже большие деньги?

Если Фатхи худел и подсыхал, то Шарафи-агай именно сейчас поглядывал озорно на встречаемых, бойко разговаривал со знакомыми крестьянами, словом, переживал пору щедрого цветения.

Тем временем о подводные камни Имыка точил длинные ногти и муэдзин Халил.

Однажды он разговорился с Сиксанбаем:

— Парень, ты любишь красных?

— Ай-ай, нет, не люблю.

— Почему?

— За что мне красных любить? Ай, упырмай, красные прогнали меня из степей, отобрали табун лошадей, стадо баранов. За какого ж черта их любить!

— А в колхоз пошел!.. — укоризненно заметил Халил. — К красным.

— Я в кузнице работал, мне деньги платили. Разве я колхозник? Я кузнец, — неуклюже оправдывался Сиксанбай, не понимая, чего от него нужно муэдзину.

— А в бога веришь?

— Не верю. Сколько принес аллаху даров!.. А он палец не поднял, чтобы меня защитить от красных. — Парень подумал и добавил: — Пользы от бога нету.

— Грех, Сиксанбай, грех! — страстно воскликнул муэдзин. — Помрешь неправовверным и угодишь в ад на вечное мучение. Нельзя осуждать всевышнего, он посылает нам испытания, и мы, рабы его, обязаны терпеть. «После неудачи приходит удача, и после дней отчаяния наступят светлые дни». И господь терпелив. Видит с небес наши прегрешения, но терпит же, не посылает на нас молнии и громы!

Парню стало скучно от этих поучений, он зевнул.

Муэдзин предпринял хитрый маневр:

— Красных не любишь, а садишься и плывешь в лодке, на носу которой написано «Красный рыбак». Значит, и ты красный!..

Сиксанбай бросил испуганный взгляд на лодку:

— Разве так написано? Я разбираю только Коран.

— Именно так написано: «Красный...»

— Дай-ка я соскоблю! — И парень вытащил из-за голенища сапога узкий ножик, похожий на кинжал, со скрежетом и скрипом стер большие буквы.

Стоя за его спиной, муэдзин комкал в кулаке бородавку, усмехался. Ему казалось, что он отомстил «красным» за все поругания: и за конфискованный пятистенный дом под железной крышей, и за превращенную в школу мечеть, приносившую ему когда-то тысячные доходы, и за то, что верующие отшатнулись от мусульманства и не жалеют его теперь, не балуют подарками...

— Замажь это место глиной, чтобы в глаза не бросалось, — сказал он взмокнувшему от напряжения парню. — Иначе привяжется лохматый жеребенок.

Сиксанбай догадался, что «лохматым жеребенком» прозывался Фатхи.

— А ему-то что?

— Как это «что»? В тюрьму посадят. И пропадет твоя головушка в железной клетке. Соскоблил такую вывеску: «Красный...» — Халил говорил серьезно и даже несколько раз оглянулся по сторонам.

У парня мурашки побежали по спине. «Вот святоша!.. Чего ж ты меня втянул в эту затею?» — подумал Сиксанбай и быстро замазал нос лодки мокрой глиной.

— Видишь, и следа не осталось!

— Вижу, вижу!.. Эдаким манером соскоблить бы да замазать глиной самого лохматого жеребенка, — обронил в бороду муэдзин как бы случайно. — Этого красного жеребенка!.. А много у тебя было жеребят в табуне?

— О! — крикнул в порыве ненависти Сиксанбай.

И так был страшен его крик, что муэдзин боязливо попятился.

2

Перед закатом жаркого июльского солнца бригада Шарафи-агай закинула сети в Черный омут.

Днем озеро безмятежно нежилось в лучах солнца, словно капризный ребенок; краски на неподвижной воде лежали ясные, густые, то ярко-розовые, то золотистые... А к вечеру камыши у берега встрепенились, словно ресницы сердитого глаза. И красно-золотые полосы на воде быстро превратились в черные морщины.

В лодке плыли Фатхи и Сиксанбай. Лодка вихляла кормой вправо-влево. Сиксанбай греб неумело, грубыми сильными рывками, и Шарафи-агай крикнул с тревогой:

— Держи прямо! Завертелся пьяным козлом!..

В суетне ни он, ни Фатхи не заметили замазанного глиной носа челнока.

Сиксанбай зло сверкнул глазами на бригадира, не ответил. Он и в самом деле весь день был словно пьяный. Даже положивший крепкую закваску в котел муэдзин не разобрал, как буйно заиграл хмель, как ошалел Сиксанбай.

Стоя Фатхи забрасывал аккуратной сложенной слоями сеть. Лишь в работе он забывался. Слово Давлету сдержал: успевал потрудиться и в поле и на рыбалке. Спал мало, но чувствовал себя бодро, не смекнув, что живет лишь болезненным напряжением нервов. Он страшился бессонных ночей, знал, что его камнем придавит тоска о Саиме... И нарочно уставал так, что еле доползал до койки.

Как на грех, нынче выдался баснословный улов: то ли рыбы Черного омута вышли из повиновения Шарафи-агаю,

то ли он решил блеснуть мастерством и перед Фатхи и перед правлением колхоза.

— Э, непобедимый омут! Так я ж нанесу тебе сегодня первый удар! — неожиданно воскликнул Фатхи, зорко подметив, как в сети забурлили, заметались тяжеловесные красноперые рыбы.

Почерневший от злобы Сиксанбай, вряд ли сознавая, что делает, круто накренил лодку: «Вот тебе, красный, за табуны, за отары!..» И, нелепо взмахнув руками, Фатхи полетел за борт.

Он не то чтоб плавал щукой, но на воде держался смело, от парней обычно не отставал, однако сейчас сердце пропустило два-три удара, и Фатхи топором пошел на дно.

На берегу Шарафи-агай испуганно взвизгнул, подпрыгнул: — А-а-а!.. Да что же это? Господи!

Муэдзин отвернулся в смятении, но шагу не шагнул. Фатхи бы спасся; всплыв, он ухватился за борт лодки, ногу перекинул, но обезумевший Сиксанбай, скрипнув зубами, опрокинул челнок, бултыхнулся в воду и крупными саженками, в халате, в сапогах, поплыл к противоположному берегу.

— Спасите! Спасите! — дребезжащим голосом завел муэдзин, словно с минарета в былые времена призывая правоверных к службе, но шагу не шагнул.

Ломая кустарник, топча с хрустом сучья, на берег вывалился Шерекей; в руках его гремели пустые ведра... Закрыв лицо ладонями, он застонал, — ведра покатались по песку.

Шарафи-агай, ни о чем не раздумывая, не колеблясь, скинул пиджак, сапоги, бросился в омут.

Быстро подплыв к то погружающемуся, то выталкиваемому водой Фатхи, он цепко схватил парня за ворот, поволок за собою, крича муэдзину и Шерекею:

— Чего остолбенели?.. Кидайте веревки!

Ноги Фатхи запутались в сети, а сеть была тяжелая, плотно набитая рыбой, и юноша выскользнул из рук Шарафи-агая и скрылся в воде.

Его дыхание раз-другой пузырями прорвало воду и улетило к небу, слилось с небом.

Черный омут утянул в глубину и сеть с уловом и тело Фатхи.

Шарафи-агай, хоть и наглец, но в душе был паническим трусом и, конечно, даже в мыслях не рискнул бы топить Фатхи. «Комиссара» он ненавидел, мечтал любыми средствами от него отделаться, но никогда бы не пошел на преступление.

И бросился спасать юношу он совсем не потому, что хотел оправдаться, а потому, что нельзя бесчувственно палить глаза на гибнувшего человека. Шерекей бы тонул, — Шарафи тоже бы кинулся за ним, хотя и называл всегда своего верного подручного «вонючим клопом». Выдать дочь за Фатхи, иметь такого въедливого зятя Шарафи-агай не хотел, однако так расквитаться с ним он тоже никогда б не решился.

Отдышавшись, он поплыл за лодкой, пригнал ее к берегу, велел трясущимся муэдзину и Шерекею тянуть сеть.

Лицо Фатхи мгновенно побелело, было словно изваянным из мрамора, и юноша похорошел, кроткая улыбка застыла на его полуоткрытых устах.

Положив утопленника на траву, Шерекей вдруг завопил дурным голосом, побежал в деревню, да так быстро, как будто за ним гнался оживший чудом Фатхи.

Муэдзин повернулся лицом к Мекке, сложил ручки на груди, забормотал-запел поминальную молитву.

— Эй, божий благовестник! — обрушился на него Шарафи. — И ты беги в деревню, неси добрую весть! Тебя же выведут к березам на кладбище и расстреляют без суда и следствия. А где же казахский бай?

— Я-то... Сам знаешь!.. Я ни при чем тут, мое дело сторона... Не грешен! — лепетал Халил, взывая громко к господу: — Милостливый повелитель, клянусь твоим святым именем...

— Помолчи! — оборвал его Шарафи. — Советские судьи не верят таким клятвам, годятся эти завывания кладбищенским заросшим плесенью камням. Где, спрашиваю, Сиксанбай?

— Не видел... не заметил...

— Иди в правление, скажи, как было дело.

Муэдзину не хотелось идти в правление, но послушаться Шарафи он не мог, заковылял по песку на растопыренных паучьих ножках, каждую минуту останавливаясь, взывая:

— Всевышний, не оставь милостью своею, оберегай слугителя своего от козней злодеев! — А про себя добавил:

«Я ж говорил Сиксанбаю: «соскобли», не говорил: «убей»...»

Вытащив надежное утешение — трубку, Шарафи-агай закурил. Он не испытывал ни раскаяния, ни страха перед возмездием. Хотя у его ног лежал мертвый Фатхи, он считал юношу как бы ушедшим вслед за сыном, за Саимой; втроем они отреклись от Шарафи, от его корысти и ушли к иным людям, более чистым душевно, благородным. Обида была именно в том, что Рашит, Саима и теперь Фатхи — ушли... Оставили Шарафи-агая наедине с Черным омутом, кладезем богатства и преступления.

«Где ж казахский бай?» — вспомнил Шарафи.

Но Сиксанбай скрылся.

И хотя его бегство оправдало Шарафи-агая, он пожалел, что не может пуститься в погоню.

Без угрызений совести он Сиксанбая бы задушил.

ПРОЩАЙ, ФАТХИ

1

Муэдзин до деревни не добежал, — скорбную весть туда принес ополоумевший от случившегося Шерекей.

Конечно, Халил не торопился. Служителю всевышнего негоже лететь сломя голову, тем более что утонул безбожник, как бы гяур... Еще неизвестно, радуется или плачет на небесах господь, узнав о смерти Фатхи.

В стороне от дороги стоял старый сухой вяз с глубоким дуплом, — муэдзин и решил здесь посидеть, подождать...

Терпение — удел счастливых; муэдзин сел в двух-трех шагах от вяза, с таким расчетом, чтоб его не заметили с дороги, и закрыл глаза, шепча молитву...

Неожиданно деревня взорвалась протяжным могучим грохотом, словно плотину прорвало, — и бурнокипящий вал хлынул, сметая все на пути... Через несколько минут мимо согнувшегося Халила по дороге промчались парни, они бежали, как пехотинцы в атаку, сжав кулаки, с искаженными от ярости и горя лицами, с развевающимися волосами, мерно, плотно стуча сапогами. Мгновение спустя их догнали, перегнали всадники, хлещущие коней. Подпрыгивая в колеях, быстро проехала телега с кошмами и подушками. За нею бежали задыхающиеся от усталости встрепанные женщины. С визгом и плачем спешили дети, ничего не понимающие, испуганные отчаянием взрослых.

Халил-муэдзин занес было ногу в дупло, чтобы там схорониться, переждать, но так и замер,— никто его не заметил... Паводок вышвырнул его на берег грязной щепкой.

— А-а-а!..— То затихая, то нарастая, бился у омута стон сбежавшихся людей. Женщины рыдали, рвали на себе волосы, причитали. Комсомольцы с гневом озирались, словно не узнавали друг друга. Скажи им сейчас: «Вон убийца!» — и они, не размышляя, бросились на любого, затоптали бы их.

Положили на белопенную кошму Фатхи, подсунули под его голову пуховые подушки.

Жениху в свадебную ночь так заботливо не взбивают подушки...

Прощай, Фатхи, прощай! Ты был пришельцем, а стал всей деревне родным, роднее близких и свойских. Были парни в ауле красивее тебя, но ты был душевнее. Были джигиты храбрее тебя, а ты был добрее. Ты ничего не брал себе, а все, что было в сердце, отдавал людям. Ты работал не для себя, а для всего колхоза. Никакие корыстные помыслы не омрачили твоего чела. Ты был образованнее всех в деревне, но не кичился, не важничал.

Прощай, Фатхи!..

Телега, окруженная всадниками, угрюмыми, замкнувшимися в молчании мужчинами, плачущими женщинами, тронулась.

Так везут с поля битвы погибшего командира.

2

Дорога круто взбегала на высокий берег, и похоронная колесница — телега с расшатанными колесами — еле ползла, но, видимо, это так и нужно было: никто не отстал.

Девушки и дети рвали на лужайках цветы, связывали травую букеты, кидали их в телегу.

И вскоре все тело вытянувшегося Фатхи было прикрыто благоухающим, сочно и пестро расшитым саваном.

А беломраморное лицо юноши покоилось на подушках, высоко-высоко, и Фатхи словно в последний раз видел своих комсомольцев и желал им счастья.

«Обо мне не жалейте,— безмолвно говорил он им.— Прожил жизнь хорошо! И умер не на больничной койке — на боевом посту».

Старики, опираясь на посохи, вышли за околицу и помя-

нули парня кто молитвой, кто слезою, кто проклятием во-рогам.

Давлет был на дальнем поле; сказали, что утонул Фатхи,— пошатнулся, будто мечом рассекли плечо. И помчался на усталом за день-деньской коне к реке. Он сразу поверил, что стряслась беда, и беда непоправимая. И не потому, что ждал ее, а потому, что т а к о е выдумать о Фатхи было невозможно.

Спешившись, упал на траву, земно поклонился праху. И все замолчали, ибо это было отцовское горе, высушившее слезы, подавившее крик.

Его подняли, и Давлет уцепился за телегу, зашагал, с трудом переставляя ноги,— вот, вот он, путь последний, и непеносимо тяжка ноша расставания.

Не принесли красного знамени, красного полотнища, лишь над домом правления вдалеке трепетал, струился флаг, словно маяк, указывающий народу верный курс.

Теперь и женщины и дети исплакали горючие слезы и шли молча, а это труднее — идти молча за погибшим и думать о своей судьбе и об участи Фатхи.

Темнело, траурной каймою подернулся край неба, тучка, черная, как горе людское, быстро росла, ширилась, низко плыла, как бы заставляя людей наклонять головы.

Давлет выпрямился наперекор горю, тучам, понял, что он и здесь, в похоронном шествии,— вожак, что у него учатся люди редкому, но нужному умению преодолевать отчаяние, и запел сильным, мужественным голосом:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Девушки и парни дружно, словно уже загодя приготовились, подхватили, и полетела над рекою, над поймой, над колдовским Черным омутом песня отваги, революционной дерзости, грянул гимн всепобеждающей борьбы, прославляя убитого в перестрелке красного солдата.

Прощай, Фатхи! Мы тебя не забудем.

СОВЕТ ИВАНА ИВАНОВИЧА

1

Если б комсомольцы сейчас на берегу окружили Шарафигая, сказали: «Ты приговорен!» — то он бы не сопротивлялся, принял бы безропотно любое наказание.

Однако люди не замечали его, словно Шарафи раство-

рился табачным дымом в вечерних сумерках. И в этом пренебрежении было самое горькое унижение.

Рядом с ним вполголоса переговаривались мужчины:

— Погубили такого парня!

— И ничего нет удивительного: послали к злодеям в капкан.

— Своими руками посадили в клетку к хищникам.

— Приняли змей за сыновей, а у них жало ядовитое.

И Шарафи видел, что крестьяне говорят между собою негромко не потому, что щадят его достоинство, а потому, что не хотят бранью осквернить память незабвенного Фатхи.

Когда похоронное шествие скрылось за тальником, Шарафи-агай остался у омута наедине со своими размышлениями. Его корчило, места себе не находил, зашагал по берегу, забегал и внезапно увидел, что надпись на лодке соскоблена ножом, заляпана глиной; комки высохшей глины отвалились, обнажая углубления, оставшиеся от букв.

«Чья же это затея? Ах, подлецы! — напряженно думал Шарафи.— Да я ж ни единым словом не обмолвился против «Красного»... Да, «Красный рыбак», а что тут такого, действительно, все мы красные...»

Он сердито оглядел противоположный берег, где, по его предположениям, прятался в тальнике Сиксанбай, и крикнул:

— Казахский бай, эге-ге!.. Это твоя работа?

Никто не ответил. Шарафи-агаю стало как-то студено, словно на сквозняке. Он не знал, что делать... Домой идти? Жена встретит не слезами, не попреками, а молчанием, но таким красноречивым, что терпеть невыносимо... Вздохи Халимы-енге говорят: «Третий!.. Сперва сын, потом Саима, теперь — Фатхи!» От этого сердце расколется на мельчайшие куски... Идти на похороны, к могиле — кощунство. Это муэдзин Халил, конечно, примчится на кладбище, заведет заунывную панихиду.

В этот момент от деревни донеслось могучее, звонкоголосое:

Вы жертвою пали...

Шарафи-агай бессильно опустился на песок.

2

Иван Иванович ложился спать, вышел в сени в белье, толстый, приземистый.

— Здорово, друг! Рыбу привез?

— Нет, друг, не рыбу на этот раз, а себя привез,— натянуто засмеялся Шарафи.

Он плыл сюда в лодке, и если раньше вечерами с наслаждением заслушивался озорно-веселого пения птиц, с трельями, с прищелкиванием, с переливами и перекатами, опьянялся спиртным благоуханием береговых цветов, то нынче река насупилась, помрачнела, словно поздней осенью перед ледоставом...

Узнав, что рыбы не предвидится, мельник заговорил сухие:

— Себя, что ли, продаешь вместо рыбы?

— Кому я нужен! — честно признался Шарафи. — Так ты ничего еще не знаешь?..

— Заходи!

Выслушав его, Иван Иванович зажмурился, словно его ослепил блеск занесенного кинжала. Кому-кому, а мельнику было известно, что Фатхи поклялся покорить Черный омут, выловить не только жирных пудовых сомов, но и ворюг. А среди этих ворюг числился и мельник... Теперь Ивану Ивановичу захотелось остаться в тени.

— Надо уезжать, — безоговорочно заявил он. — Страна большая, не найдут. А когда улягутся страсти, я дам сигнал — возвращайся. Деревня накалена, как каменка в парной бане. Конечно, я-то верю, что ты не топил, а поверят ли комсомольцы? Всем понятно, что ты Фатхи не любил.

— Да я ж не топил! — с отчаянием вскричал Шарафи.

— Вот это и говори судьям — не мне!..

Потерять детей — тяжело. Расстаться с родным домом, с Имыком куда мучительнее. Шарафи-агай чувствовал, что гибнет. Ехать на канал, встречать там высланных в тридцатом деревенских кулаков, того же Ахмуша, — нет, в петлю лучше...

— И куда же мне бежать? — помолчав, спросил Шарафи.

— К рыбе. Ты коренной рыбак, — значит, примут, дадут работу на рыбных промыслах. Поезжай в Астрахань! Там много татар, — помогут...

— Да нужны ли им рыбаки?

— И-и-и, милый, при царе всем там доставался кусок калача с икрою, а уж сейчас-то подавно, — веселее сказал Иван Иванович. — А вообще-то я не неволю! Сам решай. Либо — либо... Либо тюрьма, либо Астрахань.

«Нет, совать шею в петлю преждевременно», — решил Шарафи.

— Ты мне хоть билет купи на поезд, я в канаве затаюсь,— попросил он смиренным тоном.

Иван Иванович кивнул покровительственно:

— Об этом не беспокойся! Знакомые проводники: и усадят, и провезут. А билет мне кассир вынесет, в карман сунет.

«Да-а-а, ты жить умеешь»,— подумал Шарафи с обидой и завистью.

Выбирать не приходилось; он встал, протянул мельнику руку.

Порешили, что Шарафи-агай тронется в путь завтра ночным поездом.

Я НЕ УБИВАЛ

1

Узнав о бегстве Шарафи-агая, муэдзин Халил впал в глубочайшее уныние и отправился привычной тропой на кладбище, чтобы излить тоску в молитвенных песнопениях.

Припав к намогильному камню святого имама, Халил зашептал:

— Твое заступничество, благочестивый отец, до сих пор спасало меня... Друзей моих сослали в Сибирь, в холодную тайгу рубить лес. А кое-кто из закадычных приятелей отправился в Карелию рыть канал. Я же под твоим крылом отсиделся... Даже тогда, когда читал правоверным секретное послание Духовного мусульманского управления, гроза миновала меня...

Вороны, слышав его дребезжащий голосок, приветственно закаркали, с треском захлопали крыльями, словно чествовали единомышленника. Халил умилился: «Ишь, твари! Чуткие! Сразу признали...»

И омыл горькими слезами камень имама. Перебрал в памяти все свои грехи, вольные и невольные, и попросил святого замолвить словечко перед всевышним, чтобы простил. Читал подряд молитвы, псалмы, перешел к Корану; изредка муэдзин колотил себя в грудь кулаками и всхлипывал.

— Господи! Тебе ж известно, что я стоял на берегу и смотрел и никакого участия в злодеянии не принимал! А велели,— потянул сеть. Этот дикий казах качнул лодку, уронил Фатхи в омут. Мы ж хотели спасти парня, да ноги его запутались в сетях, потому и утоп. А соскоблить «Красный» с лодки я не велел,— в шутку говорил.

Неожиданно вороны с адским карканьем и шумом взлетели с берез, закружились, будто предупреждали Халила об опасности.

За кладбищенской стеною кто-то сказал:

— Как вороны начинают верещать, так мы узнаем, что муэдзин здесь служит панихиды. Тут уж без ошибки! Хором оплакивают покойников.

Халил разогнулся, но вскочить не смог: коленки вросли в землю. Кровь в жилах застыла, он превратился в камень.

По извивающейся между могилами тропинке шли двое военных.

— Халил Хакимов? Следуйте за нами.

— Как же так, товарищи? В этом деле я...— У муэдзина что-то хлюпнуло в горле.

— Каком это деле? — прищурился высокий незнакомец. — Мы вас еще не спрашивали ни о каком деле.

— Я же невиновен! — залепетал Халил. — Отдавайте под суд тех, кто убивал.

— А кто убил?

— Бестолковый казах! Скрылся...

— Найдем. Все едино войдет в наши двери, — заверил муэдзина военный. — Пошли.

Вороны плотной стаей уселись на придорожных деревьях и провожали молитвенника таким зловещим карканьем, что даже военные поежились, оглянулись.

И Халилу подумалось, что только эти взъерошенные горластые птицы да надмогильные в зеленой плесени камни любили его... Он вспомнил наставления Шарафи-агая: «В случае чего не козыряй именем бога, те люди пуще рассердятся!..» И решил хитрить, топить в тюремном омуте Сиксанбая.

Остановившись, муэдзин попросил с достоинством:

— Прошу вести меня за гумнами.

— Боишься показаться своей пастве? Раньше надо было об этом думать...— Высокий военный, видимо старший, презрительно хмыкнул.

Муэдзин склонил голову, придал лицу плаксивое выражение и зашагал по деревенской улице. У ворот стояли мужчины, женщины, дети, бывшие его прихожане, не год и не два оказывавшие ему, священнослужителю, и уважение и посильную помощь. Теперь они смотрели на него с гадливостью, с отвращением, и Халил понял, что никто из правоверных не заступится за него. Народ был там, с Фатхи, и велико было горе народное, жаждавшее отмщения.

Сиксанбай, увидев муэдзина, невольно усмехнулся и, показав белые крепкие зубы, вздыбил грязную свалывшуюся бороду.

Бледный, съезжившийся, весь размякший, Халил напоминал ягненка, попавшего в когти беркута...

В былые времена Сиксанбай не раз видел, как беркут когтил ягнят. Как-то из стада исчезли сразу пять ягнят. Сиксанбай не раздумывая вскочил на вороного жеребца и помчался к Беркутовой горе, где гнездились хищники. Выстрел из ружья не испугал, а как бы изумил терзающих кровоточащие жертвы беркутов. Вторым выстрелом Сиксанбай подбил закувыркавшуюся вниз по крутизне огромную, сильную птицу. Свесив головы, беркуты долго смотрели на всадника, словно прикидывали — стоит ли связываться с дерзким? — а затем с пронзительным клекотом бросились на парня. Сиксанбай не стал ожидать, когда разъяренные крылатые демоны выключут ему глаза, повернул коня и поскакал в степь...

«Крепко ж тебя закогтили!» — подумал парень, продолжая посмеиваться над трясущимся муэдзином.

Допрашивал их толстый, угрюмый, с глубоким шрамом над бровью военный.

— Фамилия? Имя?

— Сиксанбай Сиксанбаев.

— А отца тоже Сиксанбаем кличут?

— Нет, отец Туксанбай.

— Сколько овец было в отаре отца?

— Нет, я бедняк! Приехал сюда искать работу.

— Бедняк, гм?.. И бедняки же прогнали тебя из Казахстана?

— Нет, я бедняк! — упрямо повторил парень.

— Да, две с половиной тысячи овец — это бедняцкое хозяйство, — невозмутимо согласился следователь. — И все-таки ты врешь!.. Хватит дурака валять. Говори, за что убил комсомольца Фатхи?

— Я не убивал. Сам утонул. Я ведь вместе с ним упал в воду. Я тоже чуть ко дну не пошел.

— Халил Хакимов, кто утопил Фатхи? — обратился к муэдзину следователь.

Вскочив, Халил привычно лстивым голосом зачастил:

— Ваша милость, он утопил, клянусь на Коране. Видел своими глазами... А вот я на бережку стоял, я в таком звер-

ском преступлении не замешан, прикажите меня отпустить...

Заросшее густой бородою и щетинистыми усами лицо Сиксанбая почернело, по горлу задвигался кадык, словно какой-то клапан то открывался, то закрывался; рука парня ухватилась судорожно за платок, опоясавший халат, где раньше обычно висел кинжал.

— Я не убивал! — крикнул он сдавленно. — Врет муэдзин! Гореть ему в вечном огне! Какой это слуга божий? Это жулик, а не слуга божий!..

Халил застенчиво опустил глаза; он чувствовал себя теперь спокойнее.

— Ваша милость, Сиксанбай нарочно качнул лодку, а когда Фатхи выплыл и уцепился за борт, опрокинул челнок. Могу дать клятву!.. Я иду по пути божьему. Душа у меня чиста! С умыслом опрокинул лодку и уплыл. Руку не протянул утопающему, э-э-э!..

— Ты, святая душа! — взвыл Сиксанбай, потрясая кулаками. — А кто велел мне соскоблить ножом буквы «Красный рыбак»?.. А когда я на лодке срезал эту безбожную надпись, ты же, лжец, сказал: «Лохматого жеребенка так бы соскоблить».

— Это вы товарища Фатхи называли «лохматым жеребенком»? — откинулся на спинку стула следовательно, и шрам на его лбу побагровел.

— Норовистый жеребенок! В любой момент лягнуть может, — объяснил тоном знатока Сиксанбай.

— Шутка, ваша милость, обычная деревенская шутка, — заискивающе улыбнулся муэдзин.

— Нет, я верю Сиксанбаю, — оборвал его военный. — В этом как раз верю...

Муэдзин задышал учащенно и хрипло, губы его посинели. Допрос Шерекея закончился быстро, следовательно понял, что этот фырчащий «тыр-пыр... эхе-хе» проходимец был мелкой пешкой в шайке, и прогнал:

— Иди опять в ясли, таскай воду, глодай кости, подбирай в золе горох!

Шерекей убежал в состоянии буйного блаженства...

А Шарафи-агая не нашли. Арестованный мельник знал, что его обвиняют в спекуляции рыбой, к гибели Фатхи не пришивают, наказание грозит не шибко тяжкое. Никто не знает, кто помог бежать Шарафи-агаю. «Всю вину на него же свалю», — размышлял Иван Иванович.

Черный омут опять затаился в мстительном одиночестве. Заросли травой тропы, выпрямился смятый рыбаками камыш, тальник как бы сдвигался плотнее, путал и сплетал гибкие ветви, чтобы преградить все пути к озеру. Смерть Фатхи, такая нелепая и такая горестная, оживила все былины и сказки о колдовском омуте. Старушки зашептали, что Саима действительно утопилась там и Фатхи, обезумев от безутешного горя, бросился к ней, чтобы в раю насладиться любовью суженой. И следовательно, судить священнослужителя Халила не за что...

Вода в омуте снова стояла неподвижно, густая, дегтеобразная, и когда плескались осмелевшие крупные рыбы, то круги расходились нехотя, как бы увязали в густом расоле.

И никто из деревенских рыбой не интересовался.

Напрасно Давлет на правлении говорил, что надо создать новую бригаду из комсомольцев, что это и будет лучшей памятью Фатхи,— не только пожилые мужчины, даже парни упирали на то, что пора жать пшеницу, в ней, не в рыбе, колхозное богатство.

Районные организации тоже требовали уборочных сводок и, казалось, забыли о рыбьих угодьях колхоза.

Мечты Давлета о рыбозаводе, о стерлядке, упакованной в блестящую бумагу, украшающей прилавки столичных магазинов, лопнули, как мыльный пузырь.

Злые языки в деревне пустили по ветру пословицу: «Разбогатеет с рыбы из Черного омута».

Давлет чувствовал себя скверно: и боль в груди не проходила, донимал кашель, и смерть Фатхи, такого умницы, такого молодого, наполняла душу неизбывным горем, и в райкоме партии объявили выговор за то, что принял в колхоз беглого байского сына Сиксанбая...

Примириться с гибелью Фатхи он все еще не мог,— слезы душили.

Но ему нужно было исполнять обычную работу, поднимать народ на жатву, хлопотать в МТС, чтобы выделили не два, как хотели, а три комбайна, и отремонтировать амбары, мосты на дорогах и уговаривать домохозяек, чтобы пошли поварами в полевые станы.

И Давлет работал,— никто не слышал от него жалобы...

В опустевшем и непривычно просторном доме бродит бессонными ночами одинокая Халима-енге.

Днем хоть в поле, на людях, а вечером страшно входить в дом, зная, что там никто тебя не ждет... Вскипятит полный самовар, вскинет его, задохнувшись, на стол, а на скатерке одна чашка с потускневшей позолотой, ее чашка, Халимы-енге. И самовар-то хныкал, словно ребенок, оставленный без присмотра, а через несколько минут обиженно замолкал.

Есть вовсе не хотелось,— хлеб царапал горло, будто был с осотом, суп казался пересоленным, мясо неприятно пахло...

И все здесь, в гулком, прохладном, как погреб, доме напоминало об ушедших: выйдет Халима во двор, вспомнит, что на заборе, на кольях, Шарафи развешивал для просушки сети и бредень. В клеть завернет, увидит постель Саимы,— слезы навернутся на глаза. В шкафу стоят в полном порядке книги Рашита,— Халима аккуратно перетирает их тряпочкой, жалеет, что не может прочитать.

И раньше жизнь Халимы была не легкой: дети кружились подле, как утята; их надо было кормить, мыть, обшивать, обстирывать, то наказывать, то жалеть, но это была святая ноша матери, и теперь Халима поняла, как несчастны бездетные женщины.

Сядет вечером Халима на крыльце, сбегутся утята, цыплята, она крошит корки, и чудится ей, что птенцы клюют хлебные крошки неохотно. И ягнята не прыгают беспечно, весело по двору, как бывало, а норовят забиться в хлев.

Раньше Халима корову доила быстро, ловко, а сейчас сидела с полчаса на скамеечке, и лень было руку протянуть к вымени. Случалось, подойник проливала, безучастно смотрела, как впитывается в сухую землю белая лужа.

Дом и двор Халимы-енге сиял еще недавно, как принарядившаяся, в новом платье, с пунцовыми лентами в косе девушка.

Прошло недели две, и двор стал похожим на давно не бритого, грязного пьянчужку — зарос лопухами, лебедой. Конский щавель, который Халима добавляла к отрубям в затирку утятам, валялся засохшими пучками. Цветы на клумбах, любовно возделанные Саимой, надломились, словно побитые градом.

Кисейные занавески на окнах пожелтели. У монотонно тикающих часов-ходиков хозяйка однажды забыла подтянуть гирьку, да и махнула рукой: зачем ей следить за течением времени?.. И в доме стало еще тише. Паук вскоре опутал часы паутиной,— Халима и за тряпкой не потянулась.

Давлет, называвший дом и двор Шарафи «игрушкой», пришел к Халиме-енге за рыболовными снастями бригады и остолебел. Такие дворы сосланных кулаков встречались в деревне в тридцатом году.

— И тебя-то, тетушка, я расхваливал за чистоплотность! — вздохнул председатель.

— Душа ни к чему не лежит,— призналась Халима.— Измучилась!

— Зря опустила крылышки, ой зря, — строго сказал Давлет.— Вернутся дети...

— Может, и вернутся, да меня-то не застанут,— заплакала хозяйка.— Хоть бы написали, что здоровы...

Председатель промолчал: действительно, матери-то обязанности были написать...

— Я же работу в колхозе не бросаю! — сказала с оттенком обиды Халима.

— За это я вас глубоко уважаю, тетушка.— Давлет поклонился.

Видимо, председатель кому-то шепнул, потому что со следующего дня девушки-соседки стали наведываться к Халиме-енге, корову доили, птицу кормили, прибирались в доме. И ночевать оставались, если, конечно, хозяйка приглашала.

После жнивья премировали Халиму отрезом на платье. Зерно по трудодням привезли на трех возах — хватит до нового урожая, да и на базар можно отправить, если понадобятся деньжата... А там еще с колхозного огорода причитаются ей капуста, картошка, огурцы, свекла.

Живи, Халима-енге, в полное удовольствие!

Но жить Халиме не хотелось...

2

Поздней осенью к ней запыхавшись влетели девушки Фатима и Зухра, заговорили, перебивая от волнения друг друга:

— Тетушка Халима, ведь у Рашита была знакомая...

— Учительница в Ахметове...

— Зовут ее Зулейха!

— Не может этого быть, чтоб Рашит ей ни разу не написал.

Халима-енге сперва ничего не поняла из их стрекотания, потом поняла и расплакалась, воскликнула, закрывшись фартуком:

— Как же я туда, в Ахметово, доберусь?

— А мы тебе лошадь достанем,— обещали девушки.— Сейчас пойдем к председателю.

Председатель велел запрячь не разъезжую лошадь, на которой обычно колхозники по очереди ездили на базар, а своего Голубя и кучера посадил на козлы, чтобы тетушка ехала с почетом, как и подобает знатной звеньевой.

Восемнадцать километров Голубь пролетел за час.

Первый же встречный в Ахметове не только показал, где живет учительница Зулейха,— на козлы вскочил, чтобы проводить до ворот. По лихому сытому коню догадался человек, что приезжая-то не из простых.

И верно, не простая ведь колхозница,— передовая!..

В горнице Зулейхи было уютно: кровать со взбитыми пуховиками, подушками, а наволочки белее инея, и занавески такие же белопенные, и цветы на окнах, а пол устлан половиками, недорогими, но только что выстиранными.

«Если у этой учительницы нрав такой же пригожий, как ее светелка, то Рашит не ошибся в выборе»,— с замиранием сердца подумала Халима, и впервые за это время у нее стало хорошо на душе.

Невысокая, легонькая, с коротко подстриженными иссиня-черными волосами, с добрыми карими глазами девушка встретила гостью сердечно.

— Здравствуй, дитя мое, здорова ли? — осведомилась прежде всего Халима, а уж затем опустила на стул у печки.

Зулейха, видимо, готовилась к урокам,— на столе разбросаны книги, тетрадки...

— Здравствуйте, нет, нет, не сюда, проходите, пожалуйста, в передний угол, абыстай!..¹

Халима не отказалась от такой чести.

В дороге она думала, как бы начать разговор деликатнее, а сейчас забыла все приготовленные слова, спросила наивно:

— Ты моего сына знаешь, дочка?

— Если он учится в нашей школе, то, конечно, знаю,— улыбнулась учительница.

— Нет, он не учится, он отучился уже,— растерялась

¹ А б ы с т а й — почтительное обращение к пожилой женщине.

Халима,— зовут его Рашитом, а я его мать... Рашит, сын Шарафи-агая.

Девушка вспыхнула, потупилась.

— Значит, вы мать Рашита?

— Выходит, мать... Да ты его знала?

— Когда-то знала! — Зулейха отвернулась.

— Почему же вы поссорились? — спросила Халима с бесцеремонностью любящей матери.

— Мы не ссорились, абыстай,— девушка замялась.— Уехал!

— Да, да, уехал.— Халима проглотила слезы.— Но он хоть писал тебе? Скажи, писал? Я ведь не получала ни одной весточки. Уехал сын из-за упрямства отца, я его не обвиняю, махнул рукой и исчез, а теперь и сестру сманил... Вот и осталась одна на старости! — Она с безнадежным видом развела руками.— Были б дети непутевые, глупые, озорные,— куда бы ни шло! А ведь работающие, умные, председатель Давлет до сих пор говорит: «Скорее бы возвращались, веселее с ними пойдут дела в колхозе». За год, дитя мое, я поседела, щеки ввалились, нет терпения от головных болей. А в доме всего избыток,— жаловалась мать, трясая головою.

Зулейха получала письма от Рашита, но он просил ее никому и ни при каких обстоятельствах не давать его адреса. Разве она могла ослушаться?.. Это было бы предательством любимого человека. Глядя на плачущую Халиму, девушка была готова тоже разрыдаться.

— Жив ли Рашит, дитя мое? — умоляюще спросила мать.

— Жив, вполне здоров, работает на Аральском море на рыбных промыслах! — Это было еще не полное предательство: адреса-то Зулейха не выдала.— Там работают наши земляки, вот от них и знаю! — Девушка окончательно запуталась, так и пылала от стыда, что приходится врать.

— Так ты напиши землякам, чтоб они отыскивали Рашита,— потребовала Халима более властно.— Так и напиши, что живу в большом горе, что отец уехал и я одна-одинешенька осталась на белом свете, что Саима тоже в отлучке. Пиши, дитя мое, ничего не пропускай!..

Зулейха негромко, но твердо сказала:

— Тетушка, земляки... земляки знают и о смерти Фатхи, и о том, что Шарафи-агай скрылся от следствия. Ведь об этом и в газете писали.

Ей было не легко вымолвить это, но откладывать еще хуже.

— Разве было в газете? — Халима вздрогнула.

— Конечно, написали, как и что... Сразу после похорон!

Халима-енге совсем закручинилась, поднялась с окаменевшим лицом, но тут сердце Зулейхи не выдержало, и она воскликнула:

— Тетушка, я напишу... знакомым, что вы одна остались!

— Спасибо, дитя мое, так и напиши! — Халима залилась слезами, но уже радостными, обняла, расцеловала девушку.

Позвав хозяйку, Зулейха попросила ее угостить гостью чаем и принялась писать. Писала она долго, вздыхала, несколько раз принималась сиротливо всхлипывать...

Письмо заканчивалось так:

«...Если не хочешь, чтобы твоя мать от горя и одиночества сошла в могилу, если не хочешь, чтобы Зулейха попала в чужие руки, немедленно возвращайся на берега Имыка! Мать твоя вся седая. Голова болит часто, — с постели встать не может. По хозяйству работать некому. Председатель Давлет ждет тебя, хочет, чтобы ты заменил Фатхи. Приезжай, дитятко ненаглядное. Не заставляй старую мать мучиться...»

Когда Зулейха читала вслух письмо Халиме и хозяйке, то, конечно, пропустила все, что к ней самой относилось. Письмо произвело потрясающее впечатление: и гостья, и хозяйка то всплескивали руками, то обменивались сияющими улыбками, то начинали вопить в голос, как на поминках... Обнимали и целовали они Зулейху несчетное количество раз.

— Мастерница! Как складно написано! — отрывисто выкрикивала Халима. — Мой Рашит тоже мастер писать. Все стенные газеты, какие он издавал в колхозе, храню в сундуке. Боялась, что злодеи, которых он критиковал, изорвут газеты, — взяла их в правлении, спрятала... И писал быстро, не успеешь, бывало, уследить за его рукою. Ну, когда вы поженились, — мать уже все решила точно и безоговорочно, — красивая пара получится! Я тебя, дитя мое, полюбила. Буду лежать! Не посажу на стул, не сдунав с него пылинки!

Зулейха была готова сквозь пол провалиться...

После столь счастливого путешествия в Ахметово Халима-енге повеселела, навела чистоту в доме, захлопотала по хозяйству. В колхозе работы на перевале между поздней осенью и ранней зимою не было...

Всем знакомым, отправлявшимся на станцию Имык, наказывала смотреть в оба, не пропустить Рашита; говорила, что сын приедет в кожаном пальто до пят.

Почему-то Халима сейчас видела сына только в кожаном пальто.

Волны на море высокие, крутые, бегут, гонимые ветром, с такой яростной быстротою, словно хотят захлестнуть всю широкую равнину, но натываются на могучие береговые скалы и откатываются обратно. Собравшись с силами, морские валы, еще более злые, вскоченные, мчатся к берегу, вступают в единоборство со скалами. Но каменные исполины сдерживают их натиск, и волны с сухим стеклянным треском разбиваются, катятся все дальше и дальше от берегов, в глубину моря.

Тысячи лет так перекатываются валы по просторам Аральского моря, и всюду натываются на каменные бастионы, и беснуются, шустрые, крутолобые, не знающие устали...

Рашит, вспоминая мелкие озорные волны Имыка, всегда теперь думал, что они похожи на водяные морщины в деревянном корыте, в котором матери моют маленьких детей.

И все-таки волны Имыка красивее морских валов! Прежде всего, речная вода чище, светлее. Здесь, в Арале, волны словно отлиты из зеленого стекла с пузырьками пены. А в Имыке вода то золотистая от солнечных лучей, то синяя от отражающегося в речном зеркале неба, а у берегов зеленая, — кудрявые деревья, кустарники глядятся в заводи, красят их своей нежной изумрудной тенью...

Имык — река певучая: соловьи воспевают ее сладкозвучными гимнами, радуя, восхищая людей хрустально-светлыми, как ее струи, переливами, пересвистами.

А на Арале водяные горы угрюмо рычат. Шныряющие туда-сюда чайки, бакланы песнями не увлекаются, — с сердитым верещанием гонятся за рыбой, а если промахнутся, упустят добычу, то скрипуче вскрикивают от обиды.

Нет здесь цветущих благоуханных лугов, нет кудрявой поймы с перепутавшимся лозняком, нет стреловидных бархатистых камышей, плавающих широколистных, с как бы из воска изваянных цветов водяных лилий.

Спереди вода, и сзади вода, и куда ни взгляни — кругом вода...

Выйдешь на берег — песок, и тоже ему нет конца-края, как и морю, бегут низкие сыпучие волны, жгуче-желтые. Облезлый верблюд — иноходец пустыни, вскинув высоко змеиную узкую голову, равнодушно перекатывает во рту жвачку. Колючие безлиственные кусты торчат кое-где, похожие

на обглоданные волками лошадиные кости, не тянут к себе, а отталкивают от себя прохожего,— до того отвратительные. Горячая земля сквозь сапог обжигает ногу пешехода, и человек вздрагивает, словно от ледяного холода... Уныло выглядит пустыня, а обернешься к морю, и там такая же бесконечная хмурая водяная пустыня.

Рашит чувствовал себя на Арале чужаком. Нет, он исправно работал, и бригадир нахвалиться не мог его прилежанием и сноровкой... И раскаиваться, что из дома убежал, парню тоже не хотелось. Это был не лучший выход; Давлет прав, нужно было спорить, бороться с отцом, а не отступать. Рашит смалодушничал, но из-за юношеского самолюбия пока не признавался в этом. То есть перед собою-то признался, но в письмах к Зулейхе упорствовал, стоял на своем...

Затем пришло письмо от сестры: Саима тоже не выдержала отцовского гнета, уехала в Уфу, поступила там на фабрику. Она просила брата не сообщать ни отцу, ни матери, ни деревенским подружкам ее адреса,— Рашит исполнил ее просьбу.

Удары сыпались один за другим: Зулейха прислала вырезку из районной газеты, и с замиранием сердца Рашит прочел, что Фатхи утонул, арестованы Сиксанбай, муэдзин Халил, мельник Иван Иванович, а отец скрылся... С Фатхи Рашит не встречался, но если тот был вознагражден доверием Давлета, признан деревенскими комсомольцами своим вожаком, то, значит, парень достойный... И погибнуть в такие годы! Ух, страшно....

Рашит затосковал. Его тянуло на луга Имыка, где он ребенком без штанов гарцевал верхом на прутике, изображая ловкого наездника, где он на косилке косил ровными рядами богатырски сильную, сочную траву, впитавшую в себя и запахи цветов, меда, и жар солнца... Ему осточертели желто-серые скалы, и монотонный рокот разбивавшихся о берег волн, и жалобные вопли чаек. Лишь юношеская взвинченность, болезненное упрямство мешали ему взять расчет и уехать домой.

Ему было плохо без Зулейхи, во сне он видел ее задорно смеющиеся глаза, слышал ее родниково-чистый голосок; здесь, на чужбине, она стала ему ближе, желаннее.

«Надо что-то делать,— уговаривал себя Рашит.— Либо ее звать сюда, либо возвращаться!»

И ничего не решал, тянул время...

Маленький проворный пароходик обладал могучим басовитым гудком, и когда протрубил у причала, то Рашит невольно вздрогнул. Стоя у борта, задумавшись, он и не заметил, что уже приплыли к рейду.

Весь берег был завален тяжелыми двухсотметровыми сетями, коническими кучами уснувшей свинцово-тусклой крупночешуйчатой рыбы. Рыба была дорогих — осетровых — сортов, редкостная по вкусу, весу.

Между промыслом и рейдом лежала раскинувшаяся на версту отмель, — здесь надо было плыть на лодке. Рыбаки и пассажиры, толкаясь, с шутками и смехом, спустились в широкую тихоходную, но устойчивую шлюпку.

Но и она до берега не доползла, — ветер нагнал за ночь песок, киль лодки закрипел, впился в грунт... Пришлось прыгать, шлепать по воде.

Только Рашит забурился высокими, до бедра, сапогами, взвихрив песок, лодочник крикнул:

— Письмо тебе, парены! Пляши!

— На берегу, — засмеялся Рашит.

— Нет, здесь, прямо в воде, спляши!

На промыслах был нерушимый обычай: счастливчик, получивший с очередной почтой долгожданную весточку, плясал или горланил во все горло песню, а рыбаки хлопали в ладоши, хохотали, подбадривали... Делать нечего: Рашит затоптался в воде, запрыгал, как гусак, промок до пояса, а пассажирам и приятелям любо — скалят зубы, смеются.

Выйдя на берег, парень лег на горячий песок, нетерпеливо вскрыл конверт. Писала Зулейха, но писала не о себе — об одинокой хворой матери... Рашит застонал от стыда: свое самолюбие оберегал как зеницу ока, о любимой скупался, а о родимой матери не вспомнил. О-о-о, срам!.. В пустом, занесенном сугробами доме рыдает безутешно, места себе не находит от печали покинутая детьми и непутевым мужем старушка.

Он скомкал письмо в кулаке, но вдруг расправил, перечел: да, и Зулейха ясно говорит, что устала ждать. «Чужие руки»? Значит, наведывается какой-то красавчик, улещивает, предлагает женитьбу?

В конторе за сколоченным из ящичных досок столом сидел с газетой в руках тучный мрачный начальник промысла; волосы его были взлохмачены.

— Только что от матери получил письмо! — сбивчиво

сказал запыхавшийся Рашит.— Больна!.. Разреши недели на две съездить домой.

— Да ведь разгар сезона! — начальник взглянул с возмущением на взволнованного парня.

— Так уж пришлось.

— И самые заработки,— напомнил начальник.

— Что поделаешь, что поделаешь... Да вот письмо, читай!

Повертев в волосатых пальцах конверт, начальник вернул его Рашиту непрочитанным,— поверил. Вздыхнув, сказал:

— Давай заявление! — Он был убежден, что Рашит его не обманет.

У РЫБЫ БЕЗ РЫБЫ

1

В начале августа Шарафи-агай благополучно добрался до Астрахани. В кармане его засаленного пиджака осталось два рубля. Купил на пристани килограмм белого хлеба,— сжевал быстрее голодного волка, грызущего похищенно-го ягненка. Нестерпимо захотелось пить,— залпом опрокинул три стакана подряд противно теплого кваса. После столь пышного пира капитал Шарафи снизился до двугривенного...

С полегчавшей котомкой за спиною Шарафи зашагал в город.

Астрахань кипела, бурлила как котел с ухой. Люди не шли по улицам — бежали. Знакомые переговаривались на ходу, не останавливаясь. Все толкались. Дикими кабанами рычали грузовики; на перекрестках они гудели так пронзительно, что у ошеломленного Шарафи ныло в ушах. То ли дело извозчики в прежние-то годы,— сидит на возу, мурлычет песенку или идет вразвалку за телегой ленивый подводчик и никуда не торопится, лень лошадь подхлестнуть кнутом. А эти громоподобно грохочущие машины летят как бы вслепую: только зазевайся, и костей от тебя не соберут...

Шарафи-агаю было жутко.

Он обращался к прохожим с расспросами, где нанимают рабочих на рыбные промыслы, кое-кто и не отвечал, спешил по своим неотложным делам, кто-то буркал: «Иди, отец, завтра утром в рыботрест!», а где этот трест находится — не объяснял. Иные нахально посмеивались: «Сам

работы ищущу» — и убыстряли шаги. Шарафи чувствовал себя щепкой в многоводном стремительном потоке... Остановился было на углу, но его тотчас затолкали, оттиснули к стене дома. Никому здесь не нужен Шарафи-агай, людям до него и дела нет.

А горожане идут с уверенным видом, лица у всех блестящие, словно бронзовые, взгляды решительные. Да что и толковать! — свой город, своя улица, есть место в жизни... Это Шарафи — чужой.

«Куда ж я иду?» — спросил себя усталый Шарафи-агай. И не нашел ответа. Теперь он стоял перед ярко освещенной витриной магазина; за толстым, зеркально сияющим стеклом, словно в омуте, нежились огромные копченые осетры с выпученными глазами, с аппетитно зарумянившейся корочкой, с острыми плавниками. Не рыбы — подводные лодки! И сотворит же всевышний таких богатырей! А рядом в открытых жестянках крупная, как дробь, словно изморосью подернувшаяся икра. Вот ломтями нарезанный балык, розовый, как девичьи щеки, маслянистый, как ветчина домашнего изготовления. И еще какие-то невиданные Шарафи рыбы, то белые на изломе, то ярко-красные и, вероятно, сладчайшие на вкус, духовитые, — вон из полуоткрытой двери так и шибает густым, ноздри щекочущим ароматом.

Шарафи-агай решился, толкнул дверь.

В магазине было мало покупателей, тотчас же к нему учтиво обратился пожилой благообразный продавец в белом фартуке:

— Что прикажете, гражданин? В полном ассортименте!..

— Это я вижу, — кивнул Шарафи, — а ты мне скажи, приятель, как устроиться на промыслы, чтобы рыбу ловить?

Продавец неопределенно повел носом.

— В магазине ведь рыбу не ловят...

— Это я понимаю, хоть и деревенский, но где нанимают рыбаков?

— Видимо, в тресте. А может, и прямо на промыслах. Никогда не интересовался. — Продавец с разочарованным видом отвернулся.

Шарафи-агай чувствовал себя обиженным. Вот он, город-то!.. И разговаривать не желают. В этот момент Шарафи не помнил, что он сам-то, спеша на рыбалку, ленился показать прохожему, где правление колхоза или сельсовет, отмахивался и прибавлял ходу.

На улице уже темнело. После ярко освещенного мага-

зина Шарафи-агаю показалось, что он спустился в погреб. Толпы прохожих не убывали. Летом на Имыке вечерняя заря не успеет погаснуть, а восток уже светлеет. Здесь ночь падала внезапно, как тяжелая занавеска.

Где же он проведет эту первую ночь в неприветливом городе? С двадцатью копейками не найдешь ночлега. А ноги гудели от усталости, ломило истомой все тело.

Людской поток продолжал клокотать, кипеть, проноситься мимо Шарафи-агая.

Наконец в тенистом прохладном саду он отыскал на боковой аллее скамейку и решил здесь коротать ночь. В котомке нашлись кусок черствого хлеба и тощая вобла. Шарафи с трудом жевал скудную пищу и думал, что положение его неприглядное.

Вскоре к скамейке подошел сторож в белом фартуке с метлою.

— Давай, давай отсюда! Здесь тебе не ночлежка.

— Да у меня и денег-то нету на ночлежку,— признался Шарафи.

— Нельзя,— значит, нельзя! Я тоже человек подневольный.

Спорить со сторожем не приходилось,— Шарафи зашагал по темной и теперь уже опустевшей улице.

Судьба сжалилась над скитальцем: он услышал под мостом через узкую речушку голоса, заглянул туда,— на песке сидели и лежали какие-то бродяги. Шарафи полез, согнувшись... Встретили его по-свойски: земли не жалко, ложись, приятель.

Подложив котомку под голову, Шарафи тотчас захрипел. К утру земля захламилась, и он проснулся от царапающей спину стужи... Тело затекло — не разогнуться. Сквознячок крутил Шарафи-агая; так осенний утренник крутит кочан капусты на огороде...

Поднявшись, Шарафи зашагал взад-вперед по берегу, прыгал, колотил себя кулаками по бокам и груди, чтобы согреться.

Голод минута за минутой мучил его все сильнее. Шарафи привык съедать в день фунт мяса и три фунта хлеба: фунт — утром, фунт — в обед и фунт — за ужином. Рыба была ему обычно лакомством, несерьезной пищей, и он на рыбалке отваливался лишь от пустого, чисто выскобленного котла с ухой. Под бутылку водки с мельником Иваном Ивановичем он уписывал десятка два полномерных жареных окуней.

Сейчас живот Шарафи-агая отвис, как дырявый мешок...

«Домой, что ли, возвращаться? — с отчаянием подумал он. — Ну, пусть в тюрьму посадят! Арестантов же кормят... А работы я не боюсь: и лес стану рубить, и канал копать».

Но доехать с двадцатью копейками из Астрахани в Башкирию, до «Сулпана», — невысказано. Пролегли между берегами Каспия и берегами Имыка тысячи верст.

Шарафи-агай поплелся на пристань.

2

Волга плавно и привольно несла к морю позлащенные солнцем воды свои; радужно играли пятна нефти, у причалов плескались грязные, со щепками и мусором волны.

Вот такой же щепкой болтался сейчас в житейских волнах Шарафи-агай.

Длинные плоские плоты скользили вниз по течению; бревна в три обхвата, янтарные, крепко пахнущие смолой, — это башкирский строевой лес. По Уфимке, по Белой, по Каме, по Волге приплыли сюда плоты. Шарафи-агаю было тяжело встречаться здесь с земляками.

Белые, высокие, легкие в беге пароходы были очень хороши, с лебединой статью... Палубы кишат пассажирами, всюду слышится смех, беспечные шутки, детский визг. А вон у речного вокзала под парусиновой крышей раскинут ресторанчик: солидно вкушают люди дары Каспия; рыбка свежая, не с холодильников и погребов, тающая во рту; икра крупнозернистая. Уху варят из живой, не из уснувшей рыбы; захочет посетитель — сам пойдет на кухню, выберет приглянувшуюся стерлядку в тазу... На столах не заметишь ломтей черного хлеба, — все обедают с белым калачиком.

У Шарафи-агая потекли голодные слюнки... Что-то оборвалось в груди, так, как отрывают пристывшее к тушке овцы сердце.

Женщина в шелковом платке стояла у киоска и со счастливым видом жевала белую булку, — Шарафи почувствовал, что он способен подскочить к ней, вырвать кусок и проглотить, как сахар. Ему стало стыдно, — отвернулся.

У подъезда на него набежал испуганный, вспотевший путник в туркестанской тюбетейке; в руках он нес чемоданы, узелки, за спиною висела котомка.

В этот момент пароход могуче громыхнул гудком.

— Агай, эй, как тебя... Помоги-ка донести, опаздываю,— обратился к Шарафи пассажир.— Возьми у жены корзинки! Заплачу, как положено. Эй, кривоногая, шевелись, свисток уже был! — крикнул он через силу бредущей, тоже низенькой и толстой, как он сам, жене.

Шарафи-агай не надо было уговаривать,— подхватил корзинки, чемодан тяжелый, словно набитый камнями, рысью побежал к сходням...

— Не беспокойтесь, гражданин, мигом, мигом...— приговаривал Шарафи, как завзятый носильщик.

«Полтинник хоть отвалит, и то спасибо,— мелькнула лихорадочно быстрая мысль.— А может, и рублик!..»

Но если б пассажир ничего не заплатил, Шарафи-агай не обиделся бы. Сильнее голода его мучило чувство одиночества, отверженности, он был как зачумленный. Люди шарахались от Шарафи,— так ему, во всяком случае, казалось... А тут он кому-то понадобился, вот с ним заговорил, обратился с просьбой путник. Никогда Шарафи представить себе не мог, что такой сущий пустяк может его обрадовать на старости лет.

Корзины и чемоданы были вовремя внесены в каюту отправляющегося вверх по реке парохода «Роза Люксембург». Шарафи-агай успел помочь окончательно изнемогающей от жары и спешки жене пассажира вскарабкаться по крутой лесенке на палубу.

— Уф-ф,— валясь на скамейку, смахивая рукавом капли пота со лба и щек, блаженно простонал толстяк.— Минута в минуту! А я уж рукой махнул — не успеем. Получай, агай, спасибо! — и сунул приятно ошеломленному Шарафи пятерку.

— Счастливого пути! — Шарафи-агай расплылся в широкой улыбке.

Сходни уже убрали, он перепрыгнул через борт.

Белоснежный красавец пароход, взбивая колесами рычащую воду, отвалил от пристани, долгим зычным гудком попрощался с Астраханью и, раскидывая за кормой хвосты всклокоченных валов, резво поплыл наперекор течению.

«Неужели я сюда приехал на таком же красавце?» — не поверил Шарафи.

В киоске тут же у речного вокзала он купил два килограмма черного хлеба, десяток огурцов. На рыбу не раскошелится,— не по карману... А на прилавке лежала и воб-

ла связками, и аппетитная белорыбица, вся в слезинках вытопившегося от жары жира.

На берегу он отыскал ворох старых, едко пахнущих рыбой рогож, видимо выброшенных за ненадобностью, растянулся и так, лежа, сварганил скудный, но показавшийся вкуснее жареной гусятины, какой некогда потчевала его Халима-енге, завтрак.

Захотелось курить, вытащил трубку, а в ней — зола. Но идти в киоск за табаком уже не смог, — повернулся на живот, чтоб солнце не жгло глаза, и уснул непробудным, как говорят, каменным сном.

РАЗРЕШИТЕ, ПОДБРОШУ ВЕЩИЧКИ

1

Шарафи-агай решил стать носильщиком; пятерка, полученная даром, вскружила ему голову. Он все в жизни делал основательно и теперь точно прикинул: «Да если по рублевке будут платить, и то жить можно. А осмотрюсь, привыкну к городу — и махну на рыбные промыслы. Лишь бы первые дни продержаться».

И весь день он топтался у ворот речного порта в толпе таких же, как он, неряшливо одетых мужчин, обращался с заискивающей улыбочкой к прохожим:

— Разрешите, подброшу вещички!.. Донести чемоданчик до парохода?.. Не извольте беспокоиться, успеем!..

Как это он быстро приспособился и кговору и к манерам носильщиков, — прямо-таки удивляться приходится такой сообразительности.

Удача долго не выпадала ему: то пассажир обрывал: «Свои руки есть», то интересовался: «А где ж твой номер?», то нагло огрызался: «Знаем вас, голубчики, доверь чемодан, и пиши пропало».

Все-таки ухитрился перехватить двух путников. Одному, в кожаной куртке, с торчащими из-под кожаной фуражки грязными вихрами, помог донести клетку с кроликами.

— Сколько тебе?

Шарафи политично ответил:

— Сами знаете, гражданин, сколько платят, лишнего не запрашиваю.

Пассажир, скрипя кожанкой, отсчитал полтинник.

На берегу Шарафи подкинул на ладони монеты, обнаружил, что гривенник-то царского чекана.

«Тьфу, подлец! По лицу видно, форменный негодяй!» — ругался Шарафи-агай, искренне в этот момент веря, что сам никогда и никого за всю жизнь не обманывал.

Второй оказался кооператором, велел Шарафи перенести с тележки на палубу восемь больших ящиков. Какой в них хранился товар — понять трудно: что-то гроыхало, дребезжало.

— Получи по пятнадцать копеек с ящика!

У Шарафи-агая уныло вытянулось лицо.

— Как-то несходственно получается, гражданин!

— Я ж кооператор, мне отчитываться надо в казенных деньгах, а у тебя и номера нету, по-настоящему я обязан препроводить тебя в милицию! — выкатил глаза пассажир.

Шарафи пустился с палубы без оглядки...

Но, подсчитав в сумерках выручку, Шарафи-агай воспрянул духом: шесть рублей да еще николаевский гривенник — его выбрасывать негоже, в суматохе можно всучить зазевавшемуся продавцу... А работать нынче Шарафи начал поздно, — нужно приходить сюда спозаранку, вызубрить расписание, не пропускать ни одного парохода. Тогда возможно заколачивать десятку в день, а это три сотни в месяц, — живи припеваючи!

В ближайшей столовой Шарафи похлебал горячего супу, а затем с таких высоких прибытков расщедрился на табак. Затянулся с жадностью, глубоко, — голова пошла кругом, словно опьянел... Теперь Шарафи-агай смотрел в грядущее увереннее, поверил, что смекалистый человек в жизни не погибнет. Главное — не растеряться, крепко ухватить норовистого жеребца судьбы за холку!..

Мог бы переночевать в Доме колхозника, но пожалел денег, завернулся в остро пахнущие селедочным рассолом рогожи у причала. Чем студение становилась ночь, тем глубже зарывался в рогожи, как медведь в берлогу.

2

Так Шарафи-агай стал носильщиком. Правда, на груди его не было форменной бляхи, а это сулило в будущем серьезные неприятности: то милиционер прогонит от пристани, то конкуренты, такие же бродяжки, как он, пообещают накостылять шею... Но Шарафи не падал духом, тас-

кал любой багаж, с пассажирами не торговался, метался от парохода к пароходу, выкручивался, выгонят в одну дверь — влезет в соседнюю... Меньше пятерки в день не собирал, а посчастливится — и десятка в кармане зашевелится.

Снял койку в Доме колхозника, в баню ходил...

Но справедливо сказано: катит беда, отворяй ворота. Шарафи-агай не учел, что наступает осень. С Каспия летел резкий порывистый ветер, взметающий в городе тучи пыли, громоздящий на Волге высокие волны. Пароходы ходили реже, пассажиров было все меньше и меньше. Доходы Шарафи упали.

На счастье, у него сохранилась справка из колхоза. Знакомые носильщики-татары посоветовали проситься в союз носильщиков. Встретили его там сперва недружелюбно: «А-а-а!.. Худо стало хищничать-то по вольному положению? Захотел согреться зимою под крылышком союза?» Однако Шарафи-агай воинственно размахивал колхозной справкой... ну, кое-кого из нужных людей угостил...

Получив белый фартук и бляху с номером 81, Шарафи приобрел право на трудовую, охраняемую законом жизнь. И походка изменилась — шагал на пристань твердо, уверенно. Перед пассажирами не лебезил, а с достойным видом ждал, когда к нему обратятся.

В холостяцком общежитии союза ему дали койку, прикрепили к рабочей столовой. «Хочешь хлеба — получи хлеб, хочешь чаю-сахару, получи чай-сахар... Пожалуйста, Шарафи-агай, для трудового человека мы ничего не жалеем!» — так, казалось ему, обращались к недавнему беглецу и официантки и повара. Значит, если ты работаешь честно, то жизнь повернется к тебе с доброй улыбкой!.. Давно ли он сторонился прохожих, считал себя изгоем? Сейчас Шарафи-агай чувствует себя полноправным человеком, идет по улице, выкашивая грудь, гордо поглядывая на встречных. А в общежитии его ждет кровать с белым покрывалом, с мягкими подушками, как бы приглашает: «Пожалуйста, Шарафи-агай, отдохни!..»

Через месяц приняли в профсоюз; красивая веселая девушка вручила Шарафи профсоюзный билет, а ведь это документ поценнее колхозной справки...

— Теперь, товарищ, жениться пора, — засмеялась девушка.

— Где мне! Прошли годы...

— Ну, не скажите! В иноземных странах мужчины обычно к сорока, к пятидесяти начинают присматривать жену... Самое время!

— Ты ведь за меня не пойдешь, а старую мне даром не надо,— в лад ей пошутил польщенный Шарафи.

Вот сейчас бы утихомириться Шарафи-агаю, исправно работать, прочно устроиться на новом месте, комнату выхлопотать, но такой уж у него сквалыжный нрав: у соседа в миске обязательно щи погуще, жирнее; у коренных астраханцев-носильщиков доходы выше... Зависть гложет сердце! Как-то подкараулили: содрал с рыхлой растерявшейся вдовы с тремя маленькими детьми пятнадцать рублей, а по таксе полагалась всего трешка... Профсоюзное собрание на первых порах ограничилось выговором. Шарафи-агай озлился, словно шалому жеребцу вожжа под хвост попала... «У меня своя голова на плечах! Нашли дурака! Да где это видано, чтобы отказываться от доходов?» Затаил обиду, стал поступать хитрее: снимал фартук, бляху, уходил на дальние пристани и там, обнаглев, срывал со стариков, с женщин, прижимавших к груди крошечных ребятишек, солидные куши... И это не помогло,— выследили, единогласно выгнали из артели.

Ноябрьским холодным днем Шарафи-агай очутился на улице. Ветер переменился, дул с севера, играл в посиневшем воздухе первыми снежинками. Шарафи зябко ежился: на нем был все тот же просаленный, измазанный глиной пиджак, в каком он щеголял когда-то на берегах Имыка.

Но в рукаве пиджака были зашиты последние триста рублей. Шарафи-агай подумал и махнул пароходом в Махач-Калу: там и теплее, и работу можно найти значительно легче, чем в Астрахани...

На пристани осталась о нем память: карикатура в стенной газете: маленький, с мизинец, человечек тянулся длинными руками к карману пассажира. Пониже написано: «Вон мародеров из союза советских носильщиков!»

ГОСТЕПРИИМНАЯ СУСАННА

1

Город взбегал ввысь плоскими крышами каменных домов, как ступенями лестницы, которая уготована для шествия, пожалуй, только исполинов.

У самого подножия гор морской порт неистово клочкотал гудками пароходов и грузовиков, лязгом и грохотом кранов, перебрасывающих богатырскими руками, словно игрушки, связки тюков хлопка, мешки с зерном, тракторы, станки, воз-

бужденными криками суетящихся, бегущих то к кассам, то к сходням пассажиров.

Здесь толпа была погорячее, чем в Астрахани, швыряла Шарафи-агая с места на место, как морские волны разбитую лодку... Опять он почувствовал себя одиноким, слабым,— вот собьют с ног и затопчут, как кожуру огурца. Еле-еле выбрался из людского водоворота, отыскал свободную скамью в зале ожидания и задремал...

Очнувшись, Шарафи увидел, что рядом с ним сидела, привалившись к его плечу, полная, средних лет женщина с задорно играющими большими черными глазами. Смуглое круглое личико ее было стиснуто шелковым желтым, с разводами платком. Незнакомка, чавкая, жевала яблоко. Почувствовав, что сосед проснулся, она спросила с обескураживающей простотою:

— Приезжий?

— Да, из Астрахани,— вяло сказал Шарафи, еще не зная, как ему держаться.

— И надолго к нам?

— А это как получится.

— Значит, вам комната нужна?

Шарафи-агай подозрительно оглядел соседку с ног до головы. Женщина улыбалась весело, простодушно.

— Вы мусульманин? — настойчиво продолжала она расспросы.

— Конечно, мусульманин! — с оттенком гордости ответил Шарафи; на берегах Имыка он никогда не задумывался, что выгоднее — выдавать себя за правоверного, или за христианина, или за безбожника... Как видно, в здешних краях были свои обычаи.

— Я мусульман люблю, они добрые,— призналась женщина.— У меня муж был астраханский татарин, мусульманин, исключительной доброты человек, все-все мне прощал, он фруктами торговал, плыл на пароходе в Красноводск, конечно, за товаром ехал, так его волною с борта смыло, утонул,— без запинки отчеканила соседка.— Прожили мы пятнадцать лет, пальцем не тронул, нежил, баловал, только и слышишь: «Сусанночка, Сусанночка!..» Что поделаешь, видно, так богу угодно, против его воли не пойдешь,— Сусанночка сморщилась, смахнула платком с сухих глаз невидимые слезинки.— Дочь у меня хорошая, добрая, все-все мне прощает, сейчас в совхоз уехала, работает в виноградарском совхозе, по воскресеньям, а иногда и реже навещает... У меня дом хороший, две комнаты, одной жить скучно, так я

сдаю холостякам, дорого не запрашиваю... А вы рыбак?

Шарафи-агай вовсе обалдел от ее трескотни, с усилием встряхнулся:

— Разве я похож на рыбака?

— Пиджак заскорузлый, как у рыбака! — Сусанна отличалась наблюдательностью.— Махач-Кала город рыбный. Здесь счастье дается людям около рыбы.

— Да, я истонный рыбак,— серьезно сказал Шарафи.

— Я люблю рыбаков! — с удовольствием рассмеялась Сусанна.— Рыбаки сильные и веселые. В прошлом году на промыслах, пятнадцать километров отсюда, солила рыбу. Парни — астраханские татары — с нами работали. Такие веселые, сильные! — Она зажмурилась от приятных воспоминаний.— Силач был, Ахмет, у-у-у, подкову разгибал, железную цепь руками рвал в клочья... Слабосильный в рыбаки не пойдет, нет, не сдюжит, кишку надорвет.

Шарафи-агай молодецкато выпрямился: похвалы рыбакам пришлось ему по сердцу.

2

Дом Сусанны был врезан в гору: одна стена земляная, три — из крупных камней, обмазанных глиной; плоская крыша заросла жухлым бурьяном.

Шарафи-агаю дом показался врытой в гору могилой...

Хозяйка отомкнула дверь, шустро прыгнула в темноту, щелкнула выключателем. Внутри домик оказался уютным, стены чисто выбелены известкой, на подоконниках — цветы в горшках и деревянных кадках. Круглый стол покрыт кружевной скатертью. В полуоткрытую дверь видна в соседней комнатке высокая кровать под белым покрывалом.

— Это вон та комната? — спросил Шарафи, снимая с плеч, опуская на пол котомку.

— Та самая. Теплая, сухая. А летом — прохладная. Летом жил курортник, одинокий, солидный, так был доволен, так доволен... «Ну, Сусанна, говорит, и ты хороша, и квартира твоя хороша! Была б воля, остался». До последнего гудка парохода держал меня за руку, не отпускал... — Сусанна горько вздохнула.

— Сколько ж ты хочешь за комнату? — решительно перешел к деловым переговорам Шарафи.

— Не знаю, не знаю... — Хозяйка застеснялась.— Курортник платил сорок рублей.

— Я же не курортник, а бедный рыбак,— вразумительно сказал Шарафи.

— Ну, десятку скину.

— А работу я здесь найду?

— Рыбаку в рыбном городе да не устроиться! — фыркнула Сусанна.— На промыслы не попадешь, можно купить лодку, бредень, крючки. У нас много самостоятельных рыбаков. Говорят, есть выгода, и не малая.

«Еще бы не было выгоды»,— по-хозяйски прицелился Шарафи.

— Да я тебя сама устрою,— успокоила его Сусанна.

Утром Шарафи-агай проснулся в мягкой кровати, под ватным одеялом и долго с изумлением озирался, словно глазам не верил, себя спрашивал: «Да как я сюда попал?»

Дверь в столовую была широко распахнута, Сусанна сидела у стола, что-то шила. Вид у нее был домашний, затрапезный, как у жены, поджидавшей пробуждения мужа.

Шарафи потянулся, пружины матраца затрещали.

Сусанна отложила рукоделье, через минуту шмыгнула без стеснения к постояльцу, держа в руке мягкие туфли.

— Сапоги твои я вымыла,— объяснила она, так и лучась добродушием.— Пока сохнут, надень-ка эти туфли. От мужа остались. Бедняжка, царство ему небесное, бывало, утром сладко-сладко потянется, кричит: «Сусанночка, туфли!» А я быстренько несу, тепленькие.

Туфли были на меху, разношенные, как раз по ноге, но почему-то Шарафи-агаю они показались неудобными. Несмотря всунул ноги, внутренне оправдываясь, что не пойдешь же босиком по цементированному полу.

На узком дворике его ждала хозяйка с медным кувшином и полотенцем. Пока Шарафи умывался, Сусанна не отходила, рядом стояла, а когда постоялец, отфыркиваясь, потянул к себе полотенце с ее плеча, ласково похлопала его по мокрой шее:

— Теперь вижу, что настоящий рыбак! У рыбаков всегда бывают такие толстые шеи! — плотоядно усмехнулась вдова.

Угощала она Шарафи пирогами и жареной рыбой; самовар ворчал благодушно, умиротворенно, чай был крепкий, ароматичный.

«А за еду-то она отдельно сдерет,— хмурился Шара-

фи.— Мне такие пиры не по карману... И задаток, видно, за комнату спросит».

Дары жизни Шарафи-агай не умел принимать смиренно — либо подозревал подвох, либо страшился, что придется расплачиваться по-крупному...

Однако Сусанна о деньгах не обмолвилась, проводила его до калитки, попросила опять-таки тоном внимательной жены:

— К обеду не опаздывай! Смерть не люблю разогревать жаркое, вкус не тот...

Шарафи только голову втянул в плечи, не ответил. Он терялся в догадках: чего ждет от него эта добрая женщина? Не бескорыстно ж она приютила бездомного скитальца!

Пощупал зашитую в полу пиджака пачечку денег: здесь... А ведь Сусанна вполне могла ночью распороть шов, вон какие по-мужски неуклюжие крупные стежки, сразу в глаза бросаются. Поди-ка докажи в милиции, что хозяйка тебя обчистила!.. Да и в милицию забоишься идти с мятой колхозной справкой.

Но домик обставлен богато, два шифоньера, непохоже, что Сусанна нуждается в деньгах.

Шарафи с внезапно нахлынувшей удалей махнул рукой: э, была не была...

Пошел он привычно к пристани. На беду, оказалось, что здешние носильщики зубастее астраханских, сразу же заметили, что он липнет к пассажирам, отвели в отделение.

Весь день Шарафи вертелся, как кошка, ждущая, когда хозяйка перельет молоко из подойника в крынки, чтобы слизнуть упавшие на половицы капли... Четыре рубля все-таки выручил! Не бог весть что, а на чужой стороне и этому порадуешься... И зашагал в сумерках обратно к Сусанне,— ночевать на берегу, зарываться в рогожи уже не хотелось. Забарствовал!

Обед был обильный, вкусный, из-за тарелок лукаво выглядывал графин с водкой.

Поздней ночью Сусанна жарко шепнула Шарафи-агаю: — Хорошо иметь мужа-рыбака!..

Шарафи не ответил, утомленно вздыхал. Собственно, льнувшая к нему хозяйка и не требовала, чтобы новый постоялец развлекал ее разговорами...

Едва ударили холода, Сусанна вытащила из сундука пропахшую нафталином шубу с каракулевым воротником, натянула ее на могучие плечи Шарафи-агая.

— Муж носил, не сносил, пусть теперь тебя греет!..

Шарафи коробило, что она непрерывно вспоминала мужа, но покорился и на этот раз смолчал.

Зато глазастая соседка, с которой рядом Сусанна осенью торговала яблоками на базаре, ехидно заметила:

— Это что ж, Сусанночка, квартирант или как? — И поджала бесцветные губы.

— Ты это о чем? — лениво зевнула Сусанна.

— Нет, мне-то что!.. Я говорю: в мужниной шубе гуляет.

— Советская власть учит помогать ближним, — серьезно ответила вдова. — Пожалела хорошего человека!..

Соседка одобрила выбор:

— Мужчина видный!

Шарафи не слышал этой короткой беседы соседок, а если б услышал, то, пожалуй, отплюнулся бы и постарался поскорее забыть. Он раскис, словно и день и ночь сидел у раскаленной печки, — в дремоту тянуло, не хотелось ни думать, ни работать.

В ближайшее воскресенье рано утром постучали в дверь, Сусанна перелезла через Шарафи, спрыгнула с постели, побежала, чертыхаясь, в сени.

Приехала из совхоза дочь.

— Ты что, мама, опять замуж вышла? — без предисловия спросила девушка сильным звонким голосом.

— Я еще не старая, и мне жить хочется! — отрезала Сусанна, стоя в одной рубашке перед дочерью. — Это ты не можешь подыскать себе подходящего супруга, торчишь, как наскочившая на мель баржа!

— Ну, таких-то мужей я могу хоть сегодня, хоть завтра отыскать дюжину! — возмущенно воскликнула девушка. — С каждым постояльцем...

— Бесстыжая! — взвизгнула Сусанна, топая босыми ногами. — Родную мать оскорбила! Я тебя, зловредную, вспоила-вскормила...

— Ноги моей здесь не будет! — Дочь зарыдала.

Шарафи-агай слушал, забившись под одеяло, как мышь в норку. Было ясно, что он попал в скверную историю. Его так и коржило от стыда.

Убежать бы! Но скитаться налегке зимней порою не хотелось, ой не хотелось. И сапоги-то починены, перетянуты за счет Сусанны. И нижняя рубаша куплена ею. Пиджак, правда, висит в сених на гвоздике, но ведь он на рыбьем меху, а в Махач-Кале ветры студеные, так и пронизывают до костей...

В столовой плакали, то целовались, то осыпали друг друга проклятиями; Сусанна вопила, что руки на себя наложит, дочь не оставалась в долгу, грозила, что уедет в Баку.

2

— Слушай, я так жить не могу! — негодовал Шарафи. — Поступать в союз носильщиков ты не разрешаешь. Денег у меня не осталось, а жить прихлебателем я не согласен.

Вдова колыхнула высокой грудью, глазки ее сверкнули.

— Да кто ж об этом думает? «Прихлебатель»... Милый! Я хотела, чтобы ты отдохнул, поправился. Хочешь работать? Работай.

И Шарафи-агай начал трудиться: ездил по окрестным аулам, у верных людей, адреса которых давала вдова, скупал виноград, орехи, яблоки. Он подозревал, что адреса остались от покойного мужа Сусанны... Кому перепродавала в городе фрукты хозяйка — не интересовался. Ему полагалось столько-то заплатить, найти грузовик, привезти товар, а далее торговлей занималась и, видимо, не без прибыли, сама вдова.

Шарафи она справила строгий черный костюм, штиблеты, потребовала, чтобы снял усы и бороду. Напрасно он спорил, такой крик подняла, что плюнул и поплелся в парикмахерскую... Соседки с ним раскланивались теперь с привычной небрежностью: свой.

Наконец в ближних и дальних аулах запасы фруктов, орехов истощились, и Сусанна снарядила Шарафи-агаю в азербайджанские городки, южнее. Уже не церемонилась — купила билет на поезд, велела собираться...

Товар Шарафи получил в кредит от каких-то давних знакомых Сусанны, вернее — мужа, погрузил малой скоростью пятнадцать ящиков и тюков. И в Баку, где была пересадка,

долго прохладился в вокзальном ресторане: со вкусом, с толком пообедал, выпил водочки...

И за две-три минутки до отхода поезда с независимым видом, хмельной, важный, в шубе с каракулевым воротником, направился к своему вагону.

— Гражданин, вы, кажется, едете из Ганджи? — неожиданно остановил его какой-то низкорослый человек в форме железнодорожника.

— Я? Нет, я не из Ганджи... — Шарафи потерялся. — Я недалеко отсюда сел, на маленькой станции.

— На маленькой? Как называется?

— Ходайбек! — наобум брякнул покрасневший Шарафи. — Да чего привязался? Поезд же отходит.

— Такой станции нету! — Незнакомец хитренько засмеялся. — Ну-ка, пошли в отделение.

Мимо испуганного Шарафи-агая сначала медленно, потом все быстрее и быстрее проплывали окна вагона, табличка «Баку — Махач-Кала», ступеньки. Резко вырвавшись, он неуклюже побежал за вагоном, но ему наперерез метнулись носильщик, милиционер, мигом скрутили руки за спину, повели.

Красный фонарик на последнем вагоне злорадно подмигнул: «Попался!..»

Шарафи-агай буйствовал, толкался:

— Билет пропал! Беззаконие!

С ним не разговаривали, вежливо, но настойчиво довели до отделения милиции, усадили там на скамейку и как будто забыли, — во всяком случае, не расспрашивали, не обыскивали.

Шарафи готовился к отпору, про себя возмущался: издевательство!.. Да разве он преступник? Среди бела дня схватили за шиворот, стащили с отходящего поезда. Если он и торгует фруктами, то, во-первых, не самостоятельно, он — посредник, агент, а во-вторых, весь поезд набит спекулянтами из Ганджи. Почему же их не трогают?.. Вдруг зловещая догадка больно сжала его сердце: это всплыла история смерти Фатхи, наконец-то опознали беглеца... Вот где откликнулся-то эхом возмездия Черный омут!.. Значит, даром получают жалованье милиционеры: в Баку, на дальней стороне, нашли Шарафи-агая.

В висках назойливо стучали молоточки: сполна получишь теперь за злодеяние.

ОТ ТЮРЬМЫ ДА ОТ СУМЫ НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ

Допрашивал Шарафи-агая тот самый низкорослый, который задержал его у вагона, но сейчас он был не в железнодорожной форме, а в военного образца гимнастерке с какими-то значками в петлицах.

— Значит, это ваши багажные квитанции? Откуда были? — Говорил он устало, через силу, — видимо, надоело возиться со спекулянтами.

— Из Махач-Калы.

— Знаю, что из Махач-Калы. Я спрашиваю, откуда в Махач-Калу приехали?

— Я тамошний, — сипло, внезапно осевшим баском пробормотал Шарафи.

— Документы.

— Дома оставил, — тотчас вильнул в сторону Шарафи.

На следователя этот хитроумный маневр не произвел ни малейшего впечатления.

— Значит, беглый кулак? Только не ври, не ври, врать бесполезно; кто врет, тот долго сидит, кто признается — раньше выйдет.

У Шарафи-агая взмок затылок, вцепился в край стола, чтобы унять дрожавшие пальцы.

Вдруг его осенило: если считают беглым кулаком, то, значит, ничего не знают о смерти Фатхи?.. Спекуляция фруктами, конечно, преступление, но все-таки это не смертоубийство, к стенке не поставят...

— Я не беглый кулак, товар, — он ткнул на багажные квитанции, — принадлежит не мне, я, собственно, экспедитор, сопровождающий.

Следователь с отвращением махнул рукою:

— Иди в тюрьму, бессовестный лгун, может, там поумнеешь...

И вызвал конвойного.

В камере Шарафи-агая встретили с той неподдельной радостью, с какой жители таежной заимки встречают случайно пришедшего охотника. Новый человек — новые вести... Узнаем, что творится на вольном свете. Шуба с каракулевым воротником тоже вселила в сердца арестантов сладкие надежды: «Шкура толстая, — наверно, найдется табачок!..»

Парень в длинной холщовой рубашке, с бесцветными, жидкими как мочало, волосами принял удрученного Шарафи-агая в объятия:

— Добро пожаловать! Тюремные нары — резиновые, растягиваются, всем места хватит. В тесноте, да не в обиде. Жена-то у тебя, приятель, имеется?

— Не одна,— две,— неизвестно для чего брякнул Шарафи.

— Две? Ха! Глядите, у него две, а у меня, несчастного, ни одной! — воскликнул парень.

— Значит, никудышный,— сказал Шарафи-агай, озираясь. Ему было нестерпимо стыдно, что он на старости лет попал в компанию босяков и мелких воришек.

Парень надул губы:

— Всю жизнь шатаюсь по тюрьмам, времени не было жениться. А так-то я о-го-го!.. Ты, пожалуй, впервые угодил в клетку? А жены у тебя толстые?

Окружившие Шарафи-агай арестанты смеялись.

— Мои жены — перины: взобьешь, так сразу становятся пышными,— храбро отшучивался Шарафи: он слышал, что в тюрьме не любят смиренных, робких,— обчистят...

И правда, парень тянулся уже к его узелку.

— Шуба у тебя, приятель, заглядение! Поди, и в узелке принес что-нибудь лакомое. Или ты, как мы, дохлая курица, из которой не выжмешь яичка?

— Знал бы, что к вам сегодня попаду, обязательно принес бы пирогов,— вздохнул Шарафи.

— Разве сцапали, как кошка мышку?

— Примерно так.

— У-у-у, эти изверги, они умываются не каспийской, а биби-айбатской водою! — возмутился парень.

Шарафи не понял, что к чему, но арестанты, видимо коренные бакинцы, с удовольствием расхохотались.

— Сказки умеешь рассказывать? — продолжал допрос парень.

— Умею.

— Анекдоты?

— А это что такое? — удивился Шарафи.

— Веселые сказки. Про это самое.

— «Про это самое» не умею. Мальчишка я вам, что ли? — рассердился Шарафи.

2

Северные бураны, летящие из астраханских степей, уже сменились теплыми ветрами, несущими из Ирана запах цветущих апельсиновых деревьев, а Шарафи все еще тосковал

в тюремной камере. Его угнетала не жиденькая баланда, какой потчевали арестантов, не насмешки и приставания обалдевших от скуки здешних старожилов, а обида... Прославленный рыболов Шарафи-агай томится без вины в каземате. Это ж надо понять! Конечно, в деревне Шарафи иногда кривил душою, ловчил, не брезгал и своей бригадой ошпаренных, и пособничеством Ивана Ивановича, но не такое уж это лютое злодеяние, чтоб заточить его в темницу. Помогал Сусанне? Да, помогал одинокой вдове. И совершенно бескорыстно. Всю прибыль жадная баба припрятывала или пускала опять в оборот.

Шарафи не знал, что Сусанна приезжала в Баку, сулила кое-кому из знакомых щедрые подношения, но вызволить его из заточения пока не смогла.

Однажды арестантов повели за город ремонтировать шоссе. День был веселый, земля сияла глянцеви́то-зеленой травой, сочной и пряной листвою деревьев; каждая стекляшка на пустыре за дорогой задорно отражала и умножала солнечный блеск. Опустив ноги в канаву, угрюмый, заросший до самых глаз седеющей бородою Шарафи уныло жевал кусок черного хлеба, выданный ему на завтрак, и безучастно смотрел на окружающий его празднично светлый мир.

По дороге проскользнула с монотонным рокотом легковая ярко-синяя машина; смеющиеся девушки и юноши, счастливые так, как только восемнадцатилетние могут быть счастливыми, без особой причины, попросту от полноты жизни, от упоения жизнью, спешили куда-то. А вот куда?.. Может, и сами не ведали куда, — до ближайшей рощи, с прохладной тенью, с благоуханием цветущих полей, со звонкоголосым родником...

Шарафи глотнул чад бензина, запершило в горле, и он закашлял, отплюнулся. И тюремный хлеб показался ему горьким. Но горько было ему сейчас не от запаха бензина, не от пыли, летящей в лицо, даже не от арестантского пайка, а от того, что жизнь проносится мимо, а он, Шарафи-агай, как сломанное колесо, нашел прибежище в канаве.

Он чувствовал себя одиноким. В сущности, Шарафи никогда не отличался общительностью, друзей не искал и даже к мельнику Ивану Ивановичу заглядывал из-за торговли рыбой и водки с плотной закуской. Однако раньше одиночество не тяготило Шарафи-агаю, а теперь он увидел, что не нужен никому — ни жене, ни детям, ни охочей на житейские утехы Сусанне.

Говорят, что мужчины к пятидесяти годам разучиваются

плакать: порываются какие-то тончайшие нити, соединяющие душу с глазами... Шарафи-агай опроверг это утверждение: он заплакал, как ребенок, со всхлипами, стонами.

Через неделю его выпустили.

Юркий, щеголевато одетый молодой человек встретил его у ворот тюрьмы, по поручению Сусанны вручил билет до Махач-Калы, деньги и пожелал доброго здоровья.

У РЫБАКОВ КАСПИЯ

1

Сусанна, сидя в рубашке на краю кровати, расчесывая густые черные волосы, неожиданно обернулась к прохлаждавшемуся Шарафи-агаю, шепнула с торжествующей улыбкой: — Знаешь, скоро у нас будет ребеночек!

Резиновый мячик, брошенный с силой на пол, не подпрыгивает так высоко, резво, как подлетел Шарафи. Минуту назад он нежился, потягивался, зевал со сладкой истомой. Буквально за неделю заботливая Сусанна его отмыла, откормила, и он опять раздобрел, позабыл арестантскую похлебку и жесткие нары, вольготно разваливался на пуховиках, хлебал жирные супы с таким ожесточением, что за ушами трещало... Три рюмки водки разжигали аппетит: накидывался с волчьим блеском в глазах на жаркое. Тело Шарафи налилось силой, мужеством, — как и в былые годы, готов был гнуть железо...

— Что, что ты сказала? — Шарафи почувствовал удар прямо в сердце.

— Ребеночек!.. — прильнув к нему, стыдливо призналась вдова.

Шарафи повернулся лицом к стене, накрылся с головой ватным одеялом. Теперь голос Сусанны доносился до него глухо: она то ли неудержимо смеялась, то ли расплакалась. Тюремная камера показалась Шарафи божьим раем по сравнению с нынешней благодатью. Он не откликался на приглашения Сусанны вставать и завтракать. Вдова нарочно громко стукнула донышком графинчика о стол. И этот долгожданный сигнал не прельстил Шарафи-агая. «Утонуть бы мне в Черном омуте», — проскулил он под нос, как озябший щенок.

Наконец Сусанне надоело плясать у кровати, она рывком сдернула одеяло и взвизгнула: от Шарафи валил пар, словно он только что спрыгнул с полка в жарко нагретой бане.

— Да что с тобою? Заболел, что ли?

— Пожалуй, занемог,— соврал Шарафи, жмурясь.— Ломота по всему телу. Пот прошиб.

— Так я знакомую знахарку позову. Близко живет, в пе-реулке! Сейчас побегу! — Вдова встревожилась не на шутку.

— Ой, нет, нет, терпеть не могу этих старушек.

— За доктором пойду.

— Пройдет, само собой пройдет, отлежусь,— успокоил ее Шарафи.

От водки он все же не отказался.

2

Пока Шарафи прозябал в темнице, торговые обороты Сусанны заметно сократились. Разъезжать по дальним районам она побаивалась, искать новых агентов тоже боязно. Первого встречного не возьмешь в подручные! А вдруг обманет, сбежит с деньгами?..хлопоты за Шарафи тоже изрядно потрясли ее карман: тому дай, этого угости... Но тут уж скупиться не пришлось: ляпнет чего-нибудь на допросе — и пиши пропало... О себе пеклась, не об очередном постояльце.

Раньше расставалась легко, верила: «У бога найдутся и другие мужчины». Теперь, вертясь перед зеркалом, вырывая из кос седые волосы, думала, что пора быть осмотрительнее, а то, не ровен час, придется коротать старость в полном одиночестве. Потому и обрадовалась, что забеременела. Самое время — вить гнездо, еще год, два, и уже поздно: бабьи годы катучие. А если упустить Шарафи-агая, то все торговки засмеют: «Станешь рожать от каждого жильца,— открывай детский сад...»

Следовательно, нужно привязать Шарафи-агая накрепко.

Как будто это удалось, и Сусанна решила найти ему работу повыгоднее.

На ловца и зверь бежит,— встретила на базаре заместителя директора рыбного промысла, человека, тертого-пертертого жизнью, не унывающего в любых передрыгах.

— Ты бы, Сусанночка, к нам шла на путину. Заработки приличные! Открыли хорошую столовку. Давай отработай еще сезон,— уговаривал ее, озорно подмигивая, приятель.— Из Астрахани приедут парни-богатыри. Ты ведь любила когда-то татарских парней.

— Что мне парни! И солидных мужиков люблю,— молодая, защebetала вдова.

— И мужики найдутся, гарантирую.

— Да у меня есть постоянный,— от давнего дружка Сусанна не таилась.

— Ах, вон что! То-то потолстела, похорошела!

— Я же не стручок, из которого высыпались все горошины,— обиженно выпятила губки вдова.— Слава богу, все в порядке.

— Расписались?

— Это успеется! А ты чего расспрашиваешь?

— Ревную. Помнишь, сколько дней за тобою бегал?

— Бегал-бегал и добегался же,— Сусанна пожалала плечами.— Свое получил.

— А нельзя ли?..— Приятель осторожно кашлянул.

— Ах, масляные глаза! — с притворным негодованием воскликнула Сусанна.— Понравилось? Значит, сладко?.. Ладно, как-нибудь столкнемся, но ты возьми моего старика на сезон. Он — рыбак, правда речной, не морской, но все-таки рыбак. Только уговор: доходную давай должность. Кое-какую работенку ему я и здесь найду.

— Если меня станешь навещать, то и твоему постоянно-му окажу почет! Назначу помощником засольщика Ивана. Но в рыбном-то деле он разбирается?

— Еще бы! Приехал сюда черпать счастье вместе с рыбной икрой!

Ударили по рукам, скрепили договор самыми чистосердечными улыбками.

Так Шарафи-агай был запродан Сусанной на рыбный промысел, кстати, за вполне приличную плату.

На другой же день Сусанна отвезла его на промысел. Шарафи не упрямился. Едва ему в ноздри ударил острый запах коптящейся в сараях рыбы, гниющей в грудях на песке рыбьей чешуи, кожуры, как сердце бывалого рыболова забилось учащенно. Родившаяся на базаре, под прилавком, выросшая на базаре, нашедшая счастье жизни в базаре Сусанна ему надоела до тошноты... Он с ужасом думал, что же с ним станет, когда родится ребенок? А ведь с этой настырной бабищей не сговоришься,— на своем настоит, чтобы удержать при себе мужчину.

Потому Шарафи-агай покорно отправился на путину. Петрушка в балагане поворачивается туда, куда его поворачивает кукольник... Так и Шарафи глядел в ту сторону, куда велела смотреть Сусанна. В тайниках души он лелеял думу о побеге. Но после тюрьмы без денег и исправного документа пускаться в дальний путь неблагоприятно.

Сусанна провожала его на промысел и всю дорогу стрекотала. И о том, какого цвета глаза будут у ихнего ребенка. И о том, что они осенью купят лошадь. И о том, что она приобретет моторную лодку и Шарафи начнет заниматься рыбным делом в особицу, — выгоднее и спокойнее. И о том, что зимою они, разжившись на путине, построят двухэтажный дом.

Шарафи угрюмо молчал, и она часто его толкала локтем в бок:

— Слышишь?..

Директор промысла уже был наслышан о приезде знатного башкирского рыбака и без околичностей сказал, что оклад — двести пятьдесят рублей, а за перевыполнение плана — особо премии, что будет работать Шарафи на засоле селетки вместе с опытным мастером Иваном Васильевичем.

Шарафи на все был согласен.

Иван Васильевич ему понравился: сутулый седобородый старик с твердым взглядом, с властными манерами. Чаны для засола были цементные, огромные, словно ямы.

— Проворный человек! — с похвалой отозвался о Иване Васильевиче директор.

Когда старика называют проворным, то это кое-что значит...

Поселили Шарафи-агаю в бараке; парни вповалку спали на двухъярусных нарах, но ему предоставили койку. Почет!

Сусанна при рыбаках обняла и расцеловала Шарафи, красноречиво засвидетельствовав этим, что он — постоянный. И, шепнув: «Мне еще на минутку к заместителю!» — исчезла. Шарафи не интересовался, поехала ли она в город или где-то здесь застряла... Ему все надоело. Работать пора, работать!

Вечером он долго лежал без сна, вспоминал Саиму, умницу, шустрю, расторопную, Рашита, мастера на все руки, парня смелого и решительного, мягкосердечную, всепрощающую жену. Как-то там живет его старуха? Ведь в доме оставалось полтора пуда муки, когда он убежал на Волгу. Он представил себе измученную голодом, костлявую, с ввалившимися глазами Халиму-енге и забился в безмолвных рыданиях.

Всю жизнь Шарафи-агай был доволен собою, ни в чем себя не упрекал, а если щемило сердце, то рьяно защищал свои привычки и склонности. Теперь из защитника он превратился в прокурора — бичевал и клеймил собственные прегрешения...

Засольщик Иван Васильевич работал по первому впечат-

лению неторопливо, но это лишь казалось, а рыбное дело он знал как свои пять пальцев. И Шарафи-агая он учил как бы исподволь, одним-двумя словами, иногда движением серых бровей, — щадил стариковское самолюбие.

Первый же улов — тридцать тонн — они засолили быстрее, чем полагалось по плану, и директор объявил им благодарность в приказе. Тридцать тонн! Добыча сомов и стерлядок на Имыке показалась теперь Шарафи детской забавой. В прежние времена он со снисходительной усмешкой смотрел, как у Гутовского моста мальчишки таскали удочками мальков, сидя на сваях или стоя по колено в воде... Видимо, Иван Васильевич улыбнулся б так же, узнав, с какой опаской промышляли двухпудовым уловом Шарафи и мельник Иван Иванович.

Благодарность в приказе! Впервые в жизни Советская власть благодарила Шарафи-агая за трудолюбие.

Начались дни путины, полные солнечного блеска, крепких толчков ветра, летящего из морских просторов, скрипа шаланд и лодок на влажном песке. В сетях билась и кипела рыба, словно пчелиный рой, а чайки кричали с обидой: «Ишь, сколько наловили, а нам не даете! Скупцы!...» Но когда им удавалось выхватить из груд расползающихся по берегу, бьющихся в сильных судорогах, отливающих серебром рыб лакомую добычу, чайки визгливо хохотали, со свистом взрывая крыльями воздух. Морские волны поминутно меняли цвет, были то густо-синими, то прозрачно-зелеными, как расплавленное бутылочное стекло, то белыми в кружеве пены, как закипающее молоко, и Шарафи, любуясь ими, вспоминал деревенских девушек, меняющих в праздник, и поутру, и в обед, и к вечеру, яркие платья и ленты в косах...

Тони в двадцать пять — тридцать тонн здесь были обычным делом, только бригадиры в такие дни почаще кричали: «Давай, давай!» — да астраханские парни бегали попроторнее.

Постепенно Шарафи привыкал к баснословному рыбьему изобилию и уже прикидывал, сколько премии ему сулит сотая тонна селедки... Свободными вечерами он охотно заходил к астраханцам в барак. Там и выпивали, но в меру, разумно, там и на гармонии шпарили разудалые татарские песни, плясали так, что стены дрожали, а половицы ходили ходуном.

Как-то раз без предупреждения на промысел примчалась Сусанна и заглянула в астраханский барак. Шарафи-агай был там... Парни встретили красотку ликующим свистом, возгласами:

- Заходи, заходи!
- Ба, да ты жива, старушка!..
- Слава богу, посластимся!

На что была закалена в житейских передрягах Сусанна, но тут вспыхнула: «Болтуны!» — и захлопнула дверь.

Шарафи-агай в эту минуту окончательно решил, что ему пора уезжать.

3

Путина закончилась. Астраханцы звали с собою Шарафи, обещали устроить на доходную работенку. Он ответил неопределенно: «Загляну». Зажав в кулаке премию — сто пятьдесят рублей — и получку, а она была потяжелее премии, он зашагал к морю.

Сусанна через заместителя директора передала, что она придет за Шарафи утром на попутном грузовике.

Возвращаться в пуховики, в уютный домик, где с утра до полночи так аппетитно пахнет то жареной бараниной, то копченой рыбой?

Снова напяливать чужую, с мужниного плеча шубу с каракулевым воротником? Баловаться тремя рюмками водки за очередной трапезой и перезрелыми пышными телесами хозяйки дома ночами?..

Ночь была жаркая, светлая. Луна осыпала как бы заснувшее неподвижное море острыми, колющими глаза искрами. Помнится, Черный омут так же сиял летними ночами, но колдовское озеро было круглым, как янтарное ожерелье, а море сливалось на горизонте с небом, таким же бесконечным, синезеленым, словно Каспий.

Нет, возвращаться к Сусанне Шарафи-агай не мог. Пора было направить стопы свои к дому. Возмездие сейчас не страшило его. Распахнутые двери тюрьмы показались ему сейчас желаннее раскрытых объятий Сусанны.

И Шарафи, махнув рукой на оставшиеся в бараке пожитки, зашагал по берегу к железной дороге.

ДОМА

1

Неряшливо одетый, заросший седой щетиной старик сошел с поезда на станции Имык. Если б за ним следили, то заметили бы, что он старается затеряться в толпе пассажиров,

держится с виноватым видом. Но никому не было дела до Шарафи-агая, милиционер с молодцеватой осанкой расхаживал по асфальтированному перрону и не обратил внимания на странника с тощей котомкой.

А котомка была легкая,— не разбогател на чужбине Шарафи. И славы не нажил,— улыбался робко, как бы заискивал перед любым встречным...

У коновязей толпились подводчики, зазывали пассажиров, но Шарафи-агай круто свернул в переулочек, зашагал по проселочной дороге. Его удивило, что дорога заброшена, поросла травой, изрыта колдобинами.

За канавой старушка вязала шерстяной чулок, стерегла теленка.

— Бабушка,— обратился к ней Шарафи,— да разве по проселку теперь не ездят?

— Значит, не ездят, помещичью дорогу отремонтировали,— радушно объяснила старушка.

— Ба, ба, какая ж в этом надобность?

— Машин в МТС прибавилось, да и «Сулпан» купил грузовик. А машинам нужен торный путь. Вот и пригодилось помещичье корыто!

Поблагодарив добрую старушку, Шарафи пошел высокими подсолнухами прямой тропкой к Гутовскому шоссе. Поминутно он оглядывался, словно бежавший из каземата узник. Но ведь он не спасается от суда, добровольно идет в тюрьму. Чего же ему страшиться?.. Знакомые опознают? Всю дорогу, и на пароходе и в поезде, Шарафи готовился к встрече не только со знакомыми,— с женою, с детьми. Значит, неминуемо ему предстоит испытание — стать лицом к лицу с родными, со всей деревней. И тут уж сверху вниз не глянешь, как он привык некогда с покровительственной ухмылкой измерять взглядом встречающих,— теперь придется рухнуть на колени, пряча глаза.

Поднявшись на холм, Шарафи вдохнул полной грудью медовый, свежий воздух Имыка, и так сладко-сладко закружилась голова. Он дышал, как шахтер, проработавший две смены подряд в забое, во мраке и наконец-то вышедший к солнцу... Ему захотелось громко рассмеяться безо всякого повода и, звучно щелкая пальцами, пуститься в пляс... А в скитаниях он редко шутил, еще реже улыбался, и Сусанна обычно ему выговаривала: «Медведем смотришь... Бирюк!» И верно, там, на чужбине, он ходил почерневшим от грызущей душу тоски, а здесь сами собой на язык навертываются слова песни, какую пел в молодости:

По родной реке, по Агидели
Стая лебединая плывет...
Над рекою песни зазвенели.
Как же мне не петь? Душа поет!

Он силился вспомнить, как же пели птицы в Астрахани и на Кавказе, а в ушах отдавались лишь гортанные крики чаек. Не может быть, чтобы в тех краях царило вечное безмолвие, чтобы всевышний не сотворил вдохновенных голосистых пернатых певцов для тамошних мест!.. Значит, в странствиях душа Шарафи заледенела и не откликалась на ласковый птичий пересвист.

А здесь он с болезненным упоением заслушался соловьиного мерного рокота, вдруг рассыпавшегося звучными брызгами, воркования горлинки, мягких переливов иволги. Пчелы с веселым жужжанием рылись в луговых цветах, а когда улетали с добычей, то за ними долго, словно паутинки, тянулось бархатистое гудение.

Река ясно, с медным отливом, неподвижно — издалека течение почти не замечалось — сияла сквозь деревья, зеленошумные, густоветвистые.

И луга на берегах Имыка не то что каменистые, безрадостные берега Каспия, астраханские пески, — трава по колёно, сочная, густая, с рябинками золотистых одуванчиков, с серебряными блестками кашки, с полнокровно алыми кистями дикого мака.

Шарафи медленно пошел к реке, и ему в лицо пахнуло влажной прохладой, горьковатым запахом осинника и полыни, дымком далекого костра.

Камыши в пойме и у озер шелестели сонно, безмятежно, и Шарафи-агай привычно подумал: «К вёдру».

А за древней ровной грядой стояли горы, сизо-синие, косматые от хвойных лесов. На Кавказе горы голые, без деревца, со злыми осками скал, а в Астрахани и вовсе нет ни бугорка, — ровные, как скатерка, рыжие пески.

Вытащив трубку, Шарафи-агай закурил, и впервые за последний год чубук не горчил, в горле не першило, — и запах и вкус табака, дешевого, не из лучших, показались ему сладчайшим нектаром.

Сделав круг по лугу, он вышел на Гутовское шоссе. Прочно отремонтированное, аккуратно посыпанное мелкосеяным имыкским песком, оно бежало по полям светло-желтой лентой. Ни ухаба, ни колдобины... Недоверчивый Шарафи вышел на середину, топнул каблуком: «Не обман ли?» Однако дорога была крепкая.

Из-за поворота выскочила и проворно приближалась к нему грузовая машина; в кузове стояла девушка и блаженно шурилась от тугих порывов ветра, блеска солнца. Шарафи-агай посторонился, отошел к кювету.

Машина везла какие-то пустые корзины, ящики.

Девушка небрежно взглянула на пешехода, затем по ее румяному личику пробежала тень раздумья, словно она что-то с напряжением припоминала...

Шарафи поправил за плечами котомку, зашагал следом.

Неожиданно машина остановилась, резко скрипнули тормоза.

Шарафи-агаю хотелось перепрыгнуть канаву, свернуть в поле, но он заставил себя идти крупными твердыми шагами вдогонку.

Девушка пристально вглядывалась в его запыленное лицо, а когда он поравнялся с кузовом, воскликнула:

— Дядюшка Шарафи, да ты ли?..

Невероятным напряжением воли Шарафи-агай исподволь готовил себя именно к этому вопросу и лишь потому не вздрогнул, не шарахнулся в кусты, как вспугнутый выстрелом кабан.

— Я, я... — кивнул Шарафи, остановившись, закинув голову. — А ты кто? погоди, кажись, Шамсия, подруга Саимы.

— Она самая, — Шамсия улыбнулась и с затаенным испугом, и с радостным изумлением. — Садись, дядюшка! — Она протянула Шарафи руку.

Из кабины выпрыгнул шофер, потянулся, брови его, и без того крутые, изогнулись коромыслами.

— Здорово, дядя Шарафи!

— Ба, ба, да ты не сын ли Шарифьяна? — развел руками Шарафи.

— Точно.

— Ишь как за год выровнялись! — вырвалось у Шарафи-агая так искренне, что Шамсия и шофер покраснели.

— Садись, садись, дядя, подбросим к самому дому!

Шарафи ловко влез в кузов, встал рядом с Шамсией, а шофер закурил, сидя на скамейке.

— Чья же это машина? — поинтересовался путник.

— Наша! Хлеб продали зимою и вот купили. За наличные.

— Скажите! — Шарафи пожатием плеч выразил восхищение, и неподдельное.

Ему хотелось спросить о семье, но он тянул время, мелко покашливал, и деликатная Шамсия поспешила на вырчку:

— Халима-енге здорова, живет богато... Рашит женился на учительнице из Ахметова, поздней осенью ребенка ждут... Работает бригадиром и опять же комсомольским секретарем... Саима в Уфе, на фабрике и в вечернем техникуме. Замуж не собирается! — выпалила единым духом Шамсия; ей пришлось передохнуть после этого, вытереть платочком губы.

У Шарафи-агая отлегло от сердца.

— Скажите, а как с тем делом-то? — проще, прямее спросил он.

Шамсия и шофер переглянулись.

— Всем присудили по «пятерке», — с грубоватой откровенностью сказал шофер. — Правда, Сиксанбая увезли в Казахстан, у него и там обнаружились кое-какие делишки. Значит, по совокупности. Ваше участие будет рассмотрено дополнительно. После явки в суд, — бесцеремонно добавил он.

Слов нет, Шарафи-агаю стало не по себе, спина взмокла, но в лице его не дрогнула ни одна жилка, и не потому, что с него глаз не спускали Шамсия и шофер, а потому, что он всю дорогу домой внутренне готовился к этому последнему испытанию.

Помолчали.

Чтобы овладеть собою, сменить тему разговора, Шарафи ударил носком сапога пустые корзинки, ящики, ровными штабелями сложенные в кузове.

— На станцию чего-то возили? А?..

— Рыбу, дядюшка, рыбу! — На этот раз Шамсия не скрыла своего торжества.

— Из Черного омута? — нетерпеливо спросил Шарафи.

— Теперь нет Черного, — подчеркнуто строго сказала девушка. — Рашит взялся за рыбу... Воду спустили, вычистили дно от коряг, сучьев, тины. А весною паводковые воды хлынули в омут, светлые!

— Обмелел, поди! — горько вздохнул бывший владыка омута.

— И пусть, пусть, зато вода чистая, пустили туда мальков стерляди!

— Да, пусть, — согласился Шарафи-агай. Ему было трудно, очень трудно произнести эти слова.

— Теперь вода не черная, не чугунная, дно золотится, мальки играют, резвятся, — пылко рассказывала ему Шам-

сия, а старик понуро кивал головою и не знал — радоваться ему или скорбеть: обмелел омут! Обмелел...

Шофер затоптал окурков каблуком, деловито крикнул:

— Поехали!

Ветер засвистел в ушах, машина помчалась плавно, со все возрастающей скоростью.

Когда въехали в русскую деревню, Шарафи невесело рас- смеялся.

Шамсия удивилась:

— Чего вы, дядя?

— Понимаешь, никто не встречает: «Принес свежей рыбки?..» И собаки не лают, не бесятся,— с угрюмым лукав- ством объяснил Шарафи.— А ведь всех помню... Вон та, тем- ная, Тарасова, белоногая — Николая Кашмара,— он показал на забившихся в канавы псов.— Проходу мне не давали, а сей- час сторонятся!

— Не по зубам шины грузовика,— по-своему поняла девушка.

— Да, не по зубам...

У дома мельника Ивана Ивановича стояла простоволосая молодуха, безучастно взглянула на Шарафи — не узнала, отвернулась от пахнүвшей из-под колес пыли.

— Давлет здоров?

— Здоров, здоров, зимою в санатории лечился.

Машина мчалась цветущими берегами Имыка. Вот пока- зались крыши домов «Сулпана», и соломенные, и тесовые, и железные; железных, кажись, прибавилось. Потянуло запа- хом парного молока, навоза, дегтя, ржанных лепешек, только что вынутых из очага, и еще чем-то смутно уловимым, жи- тейским, тем, чем пахнут обжитые дома, в которых много маленьких детей и печь жаркая, с пирогами.

Шарафи-агай вернулся в семью, в деревню, то ли блудным сыном, вымолившим прощение, то ли преступником, готовым выслушать — с опозданием — суровый приговор, но все-таки вернулся... Навсегда!



КИРЕЙ МЭРГЭН

БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО



КИРЕЙ МЭРГЭН
(1912—1983)

Доктор филологических наук, профессор Ахняф Нуриевич Киреев (Кирей Мэргэн) — ученый-фольклорист, видный прозаик, один из зачинателей рабочей темы в башкирской романтике («На склоне Нарыштау»), исторической прозы («Крыло беркута»). Участник Великой Отечественной войны, один из первых историков Башкирской кавалерийской дивизии («Башикры», «Джигиты»), в литературу он пришел как очеркист, новеллист, метко запечатлевший в своих произведениях второй половины 30-х годов то, как после жестокой ломки векового уклада вновь формировался народный быт, как крепло народное самосознание, как оно рождалось юмором, порой горьковатого, пробивалось сквозь суровые напластования «великого перелома», — повесть «Беспокойное лето». Сборники рассказов «Поиски», «Суетливый человек» показали умение писателя раскрыть в сегодняшнем исторические корни народных традиций. Убедительной психологической мотивировкой образов, своеобразием жизненного материала отличаются книги рассказов «Гора Фирузы», «Дневник души».



1

Едва только на дороге, что ведет из районного центра в Куштирэк, показались лошади, шумливая стайка босоногой ребятни запыхала в сторону аула.

— Едут! Едут!

Ребячий крик донесся до правления колхоза, где, давно закончив свои дневные дела, спокойно покуривали мужчины — кто прислонившись к забору, а кто усевшись на невысоком крылечке. Они, казалось, чего-то ждали, и как только за-слышали ребяташек, все сразу поднялись и стали затапты-вать свои самокрутки.

А запыхавшиеся мальчишки, подбежав, сначала не могли выговорить ничего путного. Глядя на них, можно было поду-мать, будто они и гордились только тем, что опередили лоша-дей.

— Едут! Едут! Вон показались...

Тут же распахнулось на обе половинки окно правления, выкрашенное в синий цвет. Показалась крупная голова в тюбетейке, шевельнула мохнатыми бровями:

— Кто едет? Чего вы так разгались?

Мальчишки вмиг отдышались, выстроились под окном и снова закричали наперебой:

— Капустники едут, Ярулла-агай!

— На двух телегах!

— Мы их загодя увидели! Как ты велел!..

— Фу-ты! — ответил председатель на весь этот звонкий ребячий гомон, и голова в тюбетейке исчезла. Синие створки окна с треском запахнулись. Видимо, от ребят ждали доне-сения поважнее.

Так оно, наверное, и было, а может, председатель решил нарочно подзадорить ребят. Вскоре он сам — большеголо-вый, плечистый, в просторной рубаше и в больших сапогах из добротной кожи — вышел к воротам.

— А я-то думал, сельповские с товарами возвращаются,— сказал он, зевая, чем окончательно обескуражил босоногий дозор.

— Они давно вернулись, Ярулла-агай!

— Когда? — Председатель, сморщив лоб, высоко поднял брови.

— Еще в полдень.

Заслонившись рукой от солнца, Ярулла-агай глянул в ту сторону, откуда приближались подводы капустников, но сразу же отвернулся и стал смотреть в сторону селпо.

— Значит, в полдень приехали? — переспросил он ребят то ли с досадой, то ли с укоризной.— А где же вы были? Почему сразу не просигналили? Или забыли о своих обязанностях, а?

— Так они же приехали, когда мы еще в школе были,— не растерялся перед ним самый бойкий из мальчишек.

Председатель, наверное, не расслышав этих слов, продолжал мрачно смотреть в сторону магазина селпо, словно оттуда кто-то еще должен был появиться. Но тут на двух телегах подкатили капустники, и он обратил на них свой приторно-равнодушный взор.

Обе телеги — одинаковой длины и ширины, не иначе как сработанные рукой одного мастера,— нагружены ящиками, тюками, мешками. Жалобно поскрипывая, они покорно тащились каждая за своей лошастью, будто приговаривая: «Вот и приехали, вот и приехали...»

На передней сидел крепко сложенный усатый мужчина в широкополой фетровой шляпе, а на другой — две молодые женщины, до самых глаз закутанные в платки — от пыли и солнца. Видать, ехали быстро, потому что от притомившихся лошадей всюду валил пар.

— Н-но, айда, скотинушка! — мирно понукал хозяин переднего конягу.— Н-но! Еще разок! — И, легонько дергая вожжи, свободной рукой поглаживал свои усы.

Послушный конь перешел на мелкую ленивую рысцу, но после нескольких шажков скосил на хозяина глаз с явным намеком: «Не пора ли и честь знать и вожжи ослабить, Кулмет-агай? Мы ведь дома почти!»

Как только телега поравнялась с председателем, чуткий конь сразу ощутил прибавление груза, потому что Ярулла-агай на ходу изловчился, подпрыгнул и мигом оказался на каком-то тюке. Телега накренилась, а коняга сразу прибавил прыти: наверное, догадался, что ему оказал честь самый глав-

ный человек в Куштирэке, а может, решил побыстрее пройти последние сажени дороги.

— Ну, хорошо ли съездили? — спросил Ярулла-агай, взглянув на Кулмета.

— Так, неплохо, — уклончиво ответил тот, помахивая вожжами.

Председатель сразу понял, что дела у капустников сложились гораздо хуже, чем он предполагал, но не подал вида, что ожидал совсем иного ответа. Спрыгнув с телеги, он пошел впереди, не оборачиваясь и больше не взглянув на Кулмета.

Такая холодная встреча ничуть не смутила капустников. Торжественно, чуть ли не с победным спокойствием Кулмет укрепил на передке своей телеги маленький красный флажок, в последний раз подстегнул конягу и с шумом въехал в ворота правления.

Кто-то из встречавших выкрикнул насмешливо приветствие капустникам, но сразу примолк, не получив поддержки. Взрослые и дети ринулись толпой за телегой Кулмета. Все ждали, с какой новостью вернулся капустник в аул.

Но Кулмет-агай не очень-то спешил делиться новостями. Остановив конягу возле самого крыльца правления, он слез с телеги и стал дожидаться, пока подъедет вторая подвода. Поговорив о чем-то тихонько с двумя женщинами, приехавшими вместе с ним, он отправил их по домам и только потом принялся разгружать свои возы, переносить тюки и ящики в кладовую. Землякам ничего не оставалось, как сделать вид, что они сами его не торопят. Они скрутили сигарки и снова уселись, кто прислонившись спиной к забору, а кто на крылечке. Можно было даже подумать, что они вовсе забыли про Кулмета. Но как только он взял с опустевшей телеги свою знаменитую холщовую сумку, которая всегда с успехом заменяла ему и мешок и портфель, они дружно поднялись и направились вслед за ним к дверям правления.

Ярулла-агай, который к этому времени уже успел окупнуться в другие заботы, тоже, видно, не забыл про капустника. Едва тот переступил порог правления, председатель, сидевший за широким столом, сразу поднял голову от бумаг.

— Ну, рассказывай, как дела, — встретил он Кулмета. — А то ведь я сначала-то и не заметил красного флажка на твоей телеге.

— Да так. Ничего вроде, — неторопливо начал Кулмет, думая о том, как бы растянуть эти дорогие его сердцу минуты. Очень уж ему было приятно, что люди с таким нетерпением ждут, что он скажет. Всей своей спиной ощущал Кул-

мет это нетерпение земляков-куштирэковцев, которые, стоя в дверях, дымили самокрутками.

— Ничего вроде...— повторил Кулмет и положил на конторский стол рядом с председательской тубетейкой свою выдавшую виды, хорошо известную всем куштирэковцам холщовую сумку. Не спеша извлек из нее тетрадь в клеенчатой обложке, из тетради вынул большой самодельный конверт, а из конверта вытащил сложенный вдвое плотный лист бумаги. Его он почему-то не стал разворачивать, а так и протянул колхозному счетоводу Маснави, оказавшемуся рядом с председателем.

— На-ко вот. Почитай,— сказал Кулмет.— Вслух читай!

Куштирэковцы тесным кольцом обступили председателя, счетовода Маснави и капустника Кулмета. Ярулла-агай откинулся на спинку стула и зачем-то передвинул чернильницу. Люди разглядели в руках счетовода бумагу, очень похожую на диплом, какой выдают об окончании разных курсов. Все притихли и с напряжением следили за выражением лица счетовода Маснави: что еще за документ привез с собой капустник?

Наконец Маснави нарушил тишину возгласом не то удивления, не то восторга:

— Молодец, Кулмет! Вот это здорово! Грамоту привез!

Тут уж куштирэковцы заговорили все разом, громко возторгаясь Кулметом.

— Чего другого, а уж грамоту он в колхоз привезет,— сухо вмешался председатель, всем своим видом показывая, что недоволен этим одобрением.— Ну ладно, читай скорее.

Счетовод Маснави понял настроение председателя и в наступившей тишине принялся читать нарочито внятно, четко, выделяя каждое слово:

— Те-е-ек, здесь сказано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Тэ-э-эк. «Тысяча девятьсот тридцать девятый год, двадцать пятое сентября». Тээк... «Диплом». Те-ек, значит. «Выдан, сказано, колхозу «Куштирэк» в том, что таковой принял участие своими овощными культурами в районной сельскохозяйственной выставке». Те-е-ек... «И по сорту и по качеству выращенных овощей занял шестое место». Тэк. Слышали? Шестое. Читаю дальше: «Комитет районной сельскохозяйственной выставки 1939 года колхозу «Куштирэк» и руководителю бригады овощеводства Кулмету Котлюкову выносит благодарность». Тэк. Поняли? «Председатель выставки Уразметов, секретарь Васильев, члены...»

— Ладно, хватит! — остановил счетовода Ярулла.— Зачем нам еще фамилии членов?

— Почему? Пусть читает! — раздалось от дверей.

— А кто занял первое место?

— Есть уж, наверное, — снова заулыбался счетовод Маснави, — раз есть шестое место, значит, есть и первое.

— Гей! Так кто же именно первый?

Все взгляды обратились к Кулмету.

— Первое место? Конечно, есть первое место... А отчего ему не быть? — глубокомысленно изрек капустаник, пожимая плечами.

— Гей, Кулмет, сразу говори, не тяни! — снова раздалось от дверей.

— Так я разве тяну? — Кулмет вздохнул. — Я и говорю, вот, значит... первое место получил колхоз «Рассвет».

— Из Михайловки? — мрачно уточнил председатель.

— Из Михайловки, — подтвердил Кулмет.

Ярулла-агай сначала сдвинул, а потом высоко поднял брови:

— Так там же твой друг работает. Яшков, кажется, да?

— Да, он самый. Яшков Митрофан Кузьмич, — поспешно ответил Кулмет, не догадываясь еще, что за подвох готовит ему председатель.

— Фу-ты! — Ярулла-агай сердито нахмурился. — Какой же это друг, если он не пожалел тебя, а? Сам занял первое место, а тебя отодвинул на шестое!

На этот раз Кулмет не промедлил с ответом:

— Так не Яшков же это сделал. А получилось так, что мы сами отодвинулись...

— Сами... с усами! Выходит, усы-то тебе и подрезали, а? Так, что ли, капустаник?

Все, кто был в правлении, конечно, заметили, как после этих слов председателя Кулмет-агай с достоинством погладил свои усы: вот, мол, в целости они. Похоже было, что и прозвище «капустник» ничуть не обидело Кулмета, а даже прозвучало для него хоть и нечаянной, но все же похвалой.

— Ничего, Ярулла-кордаш, — неожиданно для всех с гордостью и каким-то вызовом сказал Кулмет, — не нынче, так на будущий год первое место наше будет!

— Ты что! И на будущий год собираешься такими дипломами колхоз кормить? — возмутился Ярулла. — Смотрите-ка на него! А? Понравилось в шестых-то ходить!

— В шестых или пятых — не все ли равно? Главное, чтоб дело было, — рассудительно возразил Кулмет.

— Да где оно, дело-то твое? — председатель даже вскочил со стула. — Где, спрашивается?

На этот раз вместо Кулмета председателю поспешил ответить счетовод Маснави, который не тратил время попусту и за спиной своего грозного начальника прилаживал к стене новый диплом:

— Что вы, Ярулла-агай,— сказал Маснави слащавым голосом, с ехидной улыбкой на лице.— Разве не видите, как блестит! Золотыми буквами написано! Не всем такая удача!..

Но председатель даже не обернулся.

— Можете вернуть ему бумагу эту на память. Пусть любит.

— Нет уж, мы его на видное место устроим. Как положено,— не унимался Маснави.— Чтоб все видели. Пусть знают, что у нас есть капустаники, которые метили на первое место, да попали на шестое. Если бы они еще чуть-чуть захотели...

— Ничего, ничего,— приговаривал в это время Кулмет, вытирая ладонью пот, выступивший на лбу,— лето у нас, правда, было беспокойное... Но зато хорошее, жаркое было лето. Еще разок такое лето и...

— Чего? Чего? — свел брови и снова насторожился сердитый Ярулла.

Тут уже Кулмет замолчал, сообразив наконец-то, что пока лучше ничего не говорить председателю о своих планах на будущее лето. Посмотрев на стенку, где счетовод Маснави прикрепил-таки новенький диплом, он взял свою сумку, нахлобучил шляпу и направился к выходу.

Вслед за ним начали расходиться и те куштирэковцы, которые так терпеливо ждали приезда капустаников, покуривая во дворе правления. Теперь у них появилась не менее важная забота: поскорее обсудить последние новости с соседями.

Когда правление опустело, Ярулла-агай тяжело вздохнул и резким движением распахнул окно. Со двора в помещение ворвался гомон ребятни, собиравшейся вести к водопое усталых лошадей.

— Шибко не гоняйте! Кони после дороги! — в сердцах крикнул председатель.— Вот я вам... Бездельники!

Трудно было понять, к кому именно относились его последние слова. Во всяком случае, Кулмет-агай, услышав их уже за воротами правления, не принял попрека на свой счет.

Хотя Кулмет и старался в правлении не уронить своего достоинства, разговор с председателем разбередил его ду-

шу. Конечно, если разобраться как следует, то стыдиться ему вовсе нечего. Ну разве не он, Кулмет Котлюков, стал первым выращивать овощи на колхозном огороде? И слово, данное землякам-куштирэковцам, сдержал. А кто добился участия колхоза на районной выставке? Может, председатель? И все-таки, перебирая в памяти сказанное председателем, Кулмет тяжело вздохнул. Да что говорить, и сам он, и другие ждали лучшего результата... А что касается Яруллы, так он и не думал об иной оценке, кроме самой высокой. И опасался только одного: как бы его капуста не оплошала, не засмутились, когда их объявят победителями. Отправляя огородников в районный центр, председатель так и напутствовал:

— Если возьмут да и премируют, не тушуйтесь. Держитесь достойно. Отвечайте хорошим словом.

Не так все получилось. Ох, не так...

Сам не свой ходил Кулмет по выставке. Даже не знал, что ему делать: радоваться или огорчаться? Туда привезли такие овощи! Едва взглянув на них, сразу можно было сказать: «Вот это да!» Но самым неожиданным для него было то, что многие участники выставки оказались из башкирских колхозов. Именно это обстоятельство пробудило в сердце Кулмета жгучую ревность. Ведь, по правде говоря, он считал себя одним из самых первых башкир в здешних местах, научившихся огородному делу.

А кто виноват, что так отстали? Понятно, упрямец Ярулла! С невеселой душой шел Кулмет домой.

Но едва открыл калитку, сразу почувствовал, что рано еще так унывать, есть повод и порадоваться. Из дома доносился аромат какой-то вкусной пищи. «Молодец женушка,— подумал Кулмет, остановившись посреди двора и стараясь заранее по запаху угадать, какое именно блюдо ждет его.— Что бы там ни случилось, а только жена умеет по-настоящему встречать мужа из дальней поездки!»

Что же приготовила на этот раз Сания-енге?

«Это, конечно, что-то мясное,— думал Кулмет.— Должно быть, мясо с картошкой... А что еще может быть? — Он сделал несколько шагов по направлению к дому.— Ага! Вот теперь улавливается и запах капусты. И моркови, пожалуй... Видно, состряпано что-то вроде борща... Сания научилась это готовить. Да, да, пахнет еще и свеклой! Значит, женушка сварила борщ...»

Надо ли говорить, что Кулмет-агай очень любил овощи.

Вот и теперь он угадал почти все запахи, исходящие из котла. В таких случаях он довольно редко ошибался. Ну, а сегодня если и сплеховал, то самую малость. Видно, еще не полностью оценил достоинства и способности своей хозяйшки, заботливой Сании.

Кулмет-агай поднялся на крыльцо, предвкушая долгожданный домашний обед. Бог с ней, с этой выставкой! Теперь уже ничего не поделаешь. Быть бы живым-здоровым, а уж он свое возьмет: в будущем году вырастит такой урожай, что все ахнут! Кулмет даже приосанился, но снова поник, вспомнив слова председателя: «Ты что? И на будущий год еще собираешься?..»

«Может, Ярулла и людей теперь не выделит на огородные работы или лошадей отберет? — с тоской подумал Кулмет. — Всякое может случиться. Скажет, все равно от огорода толку мало... А вдруг председатель раззадорится? Велит расширить участок! И так может быть. Разве угадаешь? Но пока не нужно думать об этом. Для меня приготовлен вкусный обед. Жenuшка знает, как я голоден».

Повесив в сенях свою широкополую шляпу, Кулмет-агай не спеша прошел в дом.

— Ну, что нового? Все ли здоровы? — приветствовал он жену и маленькую дочурку Рашиду.

— Что же с нами может случиться? — подталкивая к отцу Рашиду, живо откликнулась принарядившаяся к приезду мужа Сания-енге. — А вот сами-то как съездили?

Кулмет-агай, поглаживая дочурку по голове, сделал вид, будто не расслышал вопроса. Догадливая Сания-енге, поняв, что ему не очень-то приятно рассказывать свои новости, поспешно засуетилась возле печи. Но терпения ей хватило ненадолго:

— Люди говорили, будто у вас все провалилось. Дескать, Кулмет нос повесил...

— А! Бабы разговоры! Чего им еще не хватает? — стараясь казаться бодрым, ответил Кулмет.

Сания-енге снова оживилась:

— Ну вот, и я тоже так ответила. Завидуют все, говорю, моему мужу, вот и болтают!

— А кто болтает? Тот, кто не понимает ничего! Умный-то лишнего не скажет.

— Вот и я так думаю. Я им говорю: муж мой — человек честный! Побольше бы таких людей в колхозе, дела в гору пошли бы. Он еще, говорю, покажет, на что способен!

— Ну это уж ты зря. Зачем хвалиться наперед?

— А что же мне было делать? Молчать, что ли?

— Ну ладно, ладно...

Кулмет-агай лишь для порядка, да и то слегка одернул жену, а внутренне остался ею доволен. Наконец-то она начала понимать что к чему! Когда ему придется бывать в отъезде, Сания-енге сумеет постоять за мужа и за их теперь общее дело.

Сания-енге, конечно, почувствовала, что своим разговором весьма угодила муженьку. Не так уж часто случались в Куштирэке подобные семейные беседы, когда жены обсуждали бы с мужьями не только домашние события, но и важные колхозные дела. Однако Сания не забыла и про обед, который в эту минуту был все же важнее самых больших колхозных забот. Но она никак не могла подумать о том, что после первой же ложки борща внезапно оборвется их такая содержательная беседа.

Сания-енге помогла мужу умыться. Подала полотенце. И как только он сел к столу, перед ним задымился обед, источая прямо-таки сказочный запах. Сания-енге усадила маленькую Рашиду, присела сама и заставила себя примолкнуть, чтобы муженек мог насладиться едой. Она ждала того мгновенья, когда Кулмет возьмет ложку и зачерпнет ею из миски. Но что это? Едва сделав первый глоток, Кулмет-агай поперхнулся и лицо его страшно исказилось. Он не мог проронить ни слова и только в упор уставился на жену изумленными глазами.

— Ах, боже мой,— всплеснула руками Сания-енге.— Что же такое случилось?

— Что ты приготовила? — вымолвил наконец Кулмет-агай.— Разве это борщ?

— А что? — испугалась жена.— Такой, какой ты любишь...

Она совсем недавно научилась готовить борщ. Обычно в Куштирэке хозяйки заправляли супы лапшой, вермишелью или крупой: пшеном, овсянкой, гречкой. Об овощах она совсем еще недавно знала лишь понаслышке: от тех людей, кто пробовал их в соседних русских селеньях и говорил, что это очень вкусная пища. Когда Кулмет-агай стал приносить в собственный дом морковь, свеклу, капусту и стал понемногу сажать их на огороде, Сания-енге даже в руки сначала брала их с опаской.

Все это время Кулмет-агай терпеливо наставлял жену: «Когда положишь только капусту, это будут щи. А если еще свеклу и морковь добавить, то получится борщ».

Ее мужа не зря прозвали капустаником: «щи» и «борщи» Кулмет очень любил. И Сания-енге поэтому изо всех сил старалась вложить свою любовь в их приготовление. А вместе с любовью не жалела для новых кушаний ни масла, ни сметаны. Ведь в глубине души она очень гордилась своим мужем и хотела стать хорошей помощницей в его необычных для всего аула делах.

Сегодня Сания-енге впервые отважилась на свое маленькое новшество: вместо свеклы щедро заправила борщ несколькими желтыми репами. Она не допускала и мысли, что ее варево может оказаться несъедобным, тем более что на мясо она не поскупилась. А вот насчет вкуса...

Кулмет-агай, расстроившись, бросил ложку.

— Стоит только ненадолго уехать, как ты уже портишь добро!

— Ах, боже мой, что еще за напасть! — воскликнула Сания и поспешила тоже отведать похлебку.

До этой минуты у нее и в мыслях не было сразу раскрывать тайну своего «борща». Пусть бы муженек сначала похвалил еду, а уж потом она бы ему призналась. Сначала она подумала, что проголодавшемся Кулмету не до того, чтобы сразу начать разгадывать ее тонкости и секреты. А теперь поняла, что и похвалы не дождешься: ей и самой стоило больших усилий не поперхнуться и не поморщиться.

— Ах, дорогой Кулмет,— пролепетала Сания-енге виновато,— я думала, так будет вкуснее... Эта репа, будь она неладна! Знала бы, скотине выбросила!

Теперь уже ничего не оставалось, как извлечь мясо из чугуна и без всякой приправы поставить перед мужем. Кулмет молча принялся за еду. Ну и сердит же он был в эту минуту! Ах, если бы Сания-енге могла знать, какая мысль терзала ее мужа! Настроение его испортилось окончательно. Но виной этому было не шестое место на районной выставке, не холодная встреча в ауле и даже не этот злосчастный борщ. Кулмет-агай невыносимо терзался оттого, что так и не сумел, пока жена не сказала, угадать запах репы. Не различил его, даже зачерпнув полную ложку! А ведь в ауле он слывет — и вовсе недаром — первым овощеводом. «Вот тебе и мастер. Вот тебе и капустаник. Тьфу!»

В самом деле, не зря носил Кулмет-агай прозвище «капустник». Удивительная страсть к овощам завладела его душой, можно сказать, с самого детства, когда отец впервые взял его с собой на базар в соседнее русское село. У мальчика глазенки разбежались при виде длинных торговых ря-

дов, на которых были выложены горы незнакомых по форме, запаху и цвету разнообразных плодов. Русские тетушки и бабушки зазывали башкир покупать капусту, огурцы, помидоры, свеклу, морковь... Кулмет охотно и без всякой опаски попробовал все, что покупал ему отец. И прихватил с собой немного, чтобы показать друзьям-товарищам в ауле. Не просто показывал, но и давал понюхать, попробовать — всем по кусочку. Мальчишки прыгали, восхищались. Лишь некоторые делали вид, будто бы огурец им не в новинку:

— Хи! Подумаешь, огурцов не видали! На прошлом базаре мы даже помидорку пробовали!

Кто-то из ровесников тогда его спросил:

— Эй, Кулмет, а почему эту штуку называли «огурец»?

— Это же русские так говорят, а по-нашему... По-нашему это...

Но по-башкирски «эта штука» названия еще не имела. Маленькому Кулмету даже совестно стало, словно это он был виноват, что для такой хорошей «штуки» еще не найдено какого-нибудь подходящего слова. И он все-таки нашелся:

— А по-нашему это тоже «угурсэ» называется.— И для убедительности добавил: — Папа говорил.

Отец его действительно произносил это слово почти так же, как русские.

На следующей неделе, очутившись на базаре, Кулмет постарался как следует распробовать то, что называли помидорами. Хотя он и не признался отцу, первая помидорка ему не понравилась. Конечно, он доел ее, но пожалел, что не попросил купить ему прохладных пупырчатых огурцов. Ну, а поскольку отец на этот раз не догадался угостить его огурцами, Кулмету пришлось надкусить вторую помидорку, потом третью... В конце концов он распробовал: оказывается, и помидоры имеют свой, даже очень хороший вкус. Так постепенно перепробовал он все овощи, никогда не произраставшие на земле аула Куштирэк. Не изведаль только лука и чеснока, да и то только потому, что тогда их еще не выращивали нигде во всей округе.

В ту пору жены некоторых наиболее расторопных людей уже начинали употреблять овощи в пищу. И отец Кулмета изредка привозил с базара что-нибудь новое. В такие дни у них в доме бывало очень оживленно. Капусту мать обычно совала в котел целиком и только потом, уже вареную, крошила. А когда стало ясно, что капуста быстрее сварится, если ее разрезать на части, Кулмету иногда доставалась кочерыжка, такая же вкусная, как репа, только немного тверже.

К тому времени, когда Кулмет подросток, его отец завел знакомство с одним русским мужиком из села Михайловка. Какой это был год, Кулмет не запомнил, но именно тогда пришла очень плохая весна. Отец горевал, не зная, где достать семян. Не у кого было даже занять: у всех едва хватало самим, а кое у кого и вовсе не было. И вот тогда этот русский, по имени Кузьма, дал отцу Кулмета семена взаймы. А тот, в свою очередь, уступил Кузьме на один год незасеянный участок земли. С тех пор они и стали близкими людьми. И не только проездом, но и по праздникам заглядывали друг к другу в гости, попить чайку. «Совсем неплохо завести знакомство с кем-нибудь из русских,— говаривал отец.— И за делом можно поехать, и в базарный день поговорить о том, о сем».

Эта дружба продолжалась и после революции. А во время гражданской войны, когда Кулмет ушел в Красную Армию сражаться за Советскую власть, его отец скончался, а вскоре похоронили старого Кузьму. Горе сблизило Кулмета с сыном Кузьмы — Митрофаном. И они тоже стали навещать друг друга.

Конечно, Кулмет-агай, стараясь подчеркнуть свою скромность, наезжал к Митрофану Кузьмичу не так часто. Но уж по праздникам бывал обязательно, так же как это делал его отец.

И Митрофан Кузьмич приезжал в Куштирэк на сабантуй. А однажды пожаловал вместе с супругой. И, конечно, не забыл пригласить жену Кулмета побывать у них в Михайловке вместе с мужем.

Что и говорить, Сания-енге всегда была не против прокатиться, посмотреть, как живут другие люди, тем более в русском селе. Кулмету в таких случаях особенно долго упрашивать ее не приходилось. Собираясь в гости, она прежде всего старательно украшала повозку: устилала ее самым лучшим ковром, заранее подкрашивала дугу в тех местах, где голубая краска немножко облупилась. А потом уже наряжалась сама: доставала хакал или хэситэ¹, позвякивающие нашитыми на них монетами, растряхивала аккуратно сложенный яркий платок. Выходя из дома в таких случаях, Сания-енге старалась, чтобы походка ее была плавной, степенной: пусть люди видят, что они с мужем отправляются не куда-нибудь поблизости, а едут далеко. И хотя до Михайловки можно было бы дойти и пешком, Кулмет-агай запрягал буланого, хорошо знаю-

¹ Хакал и хэситэ — башкирские национальные женские украшения с вышивкой и нашитыми монетами.

щего туда дорогу конягу. Этим буланым всегда любовался Митрофан Кузьмич, понимающий толк в лошадях, так же как и в овощах.

Завидев в окно их повозку, Митрофан Кузьмич и Анастасия Петровна встречали гостей на пороге. Мужчины здоровались за руку, а женщины кланялись друг другу в пояс. Как только Кулмет-агай и Сания-енге проходили в избу, Анастасия Петровна сразу же принималась накрывать на стол и вскоре приглашала отведать угощение. Заметим только: будь это в Михайловке или в Куштирэке, жены обычно сидели за столом молча, а разговор вели мужчины.

Всякий раз, когда муж и жена Котлююловы бывали у Митрофана Кузьмича, Сания-енге с большим удовольствием ела соленые огурцы, помидоры и квашеную капусту. Пробовала также и мясные и молочные кушанья, примечая, что каждое из них приготовлено в особом горшке. Сама же она потчевала гостей жирным бешбармаком¹, мясным бульоном, который наливала в фарфоровые пиалы, а кумыс подавала в деревянных чашах. Как только Митрофан Кузьмич и Анастасия Петровна приступали к еде, Сания-енге пристально наблюдала: нравится ли?

Каждая из женщин старалась на свой обычай, чтобы стол выглядел по-праздничному. Но у михайловских всяческих блюд и кушаний всегда оказывалось больше. Их выручали овощи, а также и напитки: кислый квас, сладкая брага. А у куштирэковских преобладали мясо да кумыс. К чаю, правда, подавалось еще сливочное масло, баурхак², сушеные ягоды, курут³. И какое бы угощение ни ставила Сания-енге на стол, брать его приходилось руками или деревянными ложками. А у Митрофана Кузьмича к разным блюдам были заведены и разные приборы: чайные ложечки — отдельно, столовые — отдельно. И еще подавались вилки — для мяса и капусты.

Из-за этих самых вилок однажды и оконфузилась в гостях Сания-енге. Да так, что и до сих пор об этом случае Котлююловы на людях помалкивают, а вспоминают, посмеиваясь, лишь промеж собой.

Дело было так. Кулмет-агай и Сания-енге приехали в Михайловку на базар. Митрофан Кузьмич, как только увидал их среди приезжих, после взаимных приветствий и расспро-

¹ Бешбармак — башкирское национальное кушанье, готовится из мяса и теста.

² Баурхак — мелкие пышечки, сваренные на масле.

³ Курут — сухой сыр.

сов о здоровье, сказал: «Айда к нам чай пить!» Может, он и сказал это ради приличия, потому что был петров день — время, когда надо травы косить. Все может быть. Но Кулмет-агай охотно согласился, тихонечко шепнув жене, что ему прямо до зарезу надо посоветоваться с Митрофаном Кузьмичом. Главная же причина заключалась в другом: ему очень хотелось, чтобы Сания-енге убедилась, как хорошо он разговаривает по-русски. Была и еще одна причина: они с женой с самого утра ничего не ели и ремень, которым Кулмет подпоясывался, заметно ослаб.

Пошли. Для начала выпили по кружке прохладного квасу. После жаркого базарного дня это удовольствие ни с чем не сравнимо. Затем Анастасия Петровна стала накрывать на стол. Прежде всего принесла в миске соленую капусту. Поставила тарелку с вареными яйцами, крынку с топленым молоком. Потом вынула из печи чугунок, в котором дымилось мясо с картошкой, и выложила все это в большое блюдо. Кулмет тихонечко толкнул жену локтем и шепнул:

— Запомни: это называется жаркое.

Приступили к еде. Кулмет-агай сильно проголодался и потому сразу не заметил, что его женушка сидела не двигаясь. Но Митрофан Кузьмич заметил.

— Не стесняйтесь. Кушайте, пожалуйста,— сказал он.— Когда я бываю у вас, то себя просить не заставляю.

Сания-енге молча улыбнулась, но не притронулась к еде. Тут уж и Кулмет, зная, что она голодна, вынужден был подбодрить ее:

— Что же ты смущаешься? Давай кушай...

Только после этого она немного оживилась и робко взяла вилку, которая лежала перед ней. Если бы она только знала, чем это кончится, предпочла бы вовсе остаться голодной! А все дело в том, что Сания-енге привыкла управляться руками и теперь боялась, как бы не подумали, будто она не умеет пользоваться вилок.

Примерившись к наиболее привлекательному и, как ей казалось, наиболее удобному куску мяса, лежавшему в тарелке, она подцепила его вилок. Но мясо выскользнуло и шлепнулось на стол. Что делать? Нельзя же показать свою растерянность: еще просмеют! Быстро схватив мясо, Сания-енге надела его на вилку, а потом зажала ее обеими руками, как это делают маленькие дети, и поднесла ко рту.

Обращение с вилок уже не составляло особой премудрости для Кулмета. Можно представить, каково ему было видеть

неловкость жены. Он был готов прямо-таки провалиться со стыда! Однако быстро сообразил, как исправить положение. Единственный выход: немедленно и незаметно для хозяев толкнуть жену в бок. И тут же он сделал это. Причем так легонько, так вежливо, что хозяева ничего не заметили, а Сания-енге чуть было не свалилась со скамьи. Потом в том самом месте, куда угодил локоть муженька, она обнаружила весьма приличного размера синяк. Но это произошло уже на другой день. Гораздо хуже было то, что, ощутив толчок, она не сразу поняла в чем дело, хотя и догадалась женским чутьем, что допустила какую-то оплошность. Сания-енге расстроилась и перестала есть.

— Да кушайте, кушайте, — немного погодя повторил Митрофан Кузьмич. — Не стесняйтесь, берите прямо рукой.

Согласно кивая словам хозяина, Сания-енге наконец-то поняла, в чем ее ошибка. И хотя Митрофан Кузьмич делал вид, будто ничего не случилось, она так и не прикоснулась больше к мясу, не отведала даже соленой капусты, которую так жаждал ее желудок, и уехала домой, выпив только один стакан чая.

Кулмет ругал жену всю дорогу, до самого дома. И на другой день никак не мог успокоиться, повторяя одно и то же: «Заставила меня краснеть перед хорошими людьми! Лучше бы я один поехал на базар!» Но вскоре, после очередной отлучки из Куштирэка, он привез какой-то сверток:

— На возьми, пригодятся, — миролюбиво сказал он жене, стараясь показать, что прошлое забыто. — Там должно быть десять штук.

Сания-енге развернула бумагу и увидела вилки. Сначала она их пересчитала. После этого рассмотрела как следует, без опаски. А потом, аккуратно завернув, положила на полку для кухонной утвари — подальше, к самой стенке. Однако вилки там долго не залежались: с того самого дня, по настоянию хозяина, на стол вместе с ложками стали подаваться и вилки.

Так впервые появились в ауле Куштирэк непривычные для здешних башкир столовые приборы.

Первое время, приходя к ним и увидев вилки, люди удивлялись, а теперь уже об этом никто и не вспомнит. Но сам Кулмет никогда об этом не забывает, считая себя человеком, который ввел новшество в ауле. Не важно, сколь велико оно, а важно, что новшество. Тем более что Кулмет-агай не остановился на малом.

Давно уже начал он расспрашивать Митрофана Кузьмича о

том, как растет капуста. Как огурцы? Морковь? Репа... Как их сажать? Как за ними ухаживать? После каждой поездки в Михайловку он все больше и больше интересовался овощами.

Сначала Кулмет привез в Куштирэк семена репы и посадил их для пробы. Вскоре вкусной репкой, посеянной, можно сказать, шутя, лакомились все ребятишки аула. На следующую весну он принялся за дело с еще большим рвением. Привез от Митрофана Кузьмича семена в шести мешочках и еще в нескольких пакетиках разной величины. Оборудовал рассадник на самом высоком месте своего земельного участка. Посадил там капусту, огурцы, морковь, свеклу и все остальное. Пока подрастала рассада, вспахал землю под огород, вывез навоз. Через некоторое время еще раз вспахал, заборонил. И наконец сделал гряды, куда и пересадил все то, что уже вовсю зеленело в рассаднике. Работал он сам, никому не доверял.

Что и говорить, это занятие требовало немалых хлопот. Ранним утром Кулмет поливал гряды водой. Днем еще раз. К вечеру еще. Окучивал. Пропалывал. И не один раз. Ведь не успеешь оглянуться, сорняки тут как тут...

Сания-енге, таская воду на огород, к вечеру не могла расправить плечи. А уж во время прополки поясница ее становилась как не своя. Но она стойко переносила все тягости и боли: ни словом не возразила против необычной затеи Кулмета. Да и что толку возражать? Ей ли не знать характер своего муженька? Говори, не говори, плачь не плачь — все равно выйдет по его воле.

С середины лета у Котлюковых все чаще стали появляться на столе то зеленый лучок, то огурчики, то редиска. А к осени подоспел добрый урожай капусты, свеклы и моркови. Маленькая Рашида с удовольствием лакомилась сладкой морковкой. А Сания-енге даже засолила несколько кочанов капусты: очень уж ей нравилась соленая капуста, какой не раз потчевала ее в Михайловке Анастасия Петровна. Будто невзначай в дом Кулмета все чаще заглядывали соседи. И как бывало в детстве, он охотно угощал каждого огурцом или помидоркой, а кто выказывал особый интерес, тому давал и с собой.

Земляки-куштирэковцы по-разному относились к огородным затеям Кулмета. Одни говорили с усмешкой: «Еще никто не разбогател на капусте!» Другие откровенно жалели своего соседа: «Не лучше ли купить капусту на базаре, чем поливать ее собственным потом?» Ну, а иные тем временем втихомолку приглядывались к тому, что и как растет

у Кулмета на огороде. А хозяйки нет-нет да и спросят: много ли капусты и свеклы при варке борща кладет Сания-енге в свой котел? Приглядывались, расспрашивали, а потом и сами стали понемногу, не спеша рыхлить да поливать на своих наделах кто одну грядку, а кто две или три...

Так и появились на земле башкирского аула, раскинувшегося на берегах реки Караидель, растения-новоселы, а у старожилов-куштирэковцев новые хлопоты.

4

Шли годы. И с каждой весной на огороде Кулмета прибавлялось грядок. С прежними поселенцами — огурцами, помидорами, капустой — дружно соседствовали листья тыквы и редьки, турнепса и хрена... Но среди куштирэковцев все еще оставалось немало упрямцев. И пошутить они любили как прежде. «Этой зимой Кулмет совсем откажется от хлеба, — говорили земляки. — Зачем хлеб, если можно есть капусту?»

Но Кулмет-агай пропускал насмешки мимо ушей. «Хлебу свое место, а луку с капустой свое, — рассуждал он. — Будет много овощей, будет и хлеба в излишке».

«Ну и Кулмет! Ай да джигит... За огородом ухаживает как за молодой женой!» — поговаривали его соседи. Однако тут же спешили к своим грядкам, чтобы ничего не упустить, сделать так же, как у капустника. А уж он-то, пожалуй, переупрямит их всех.

Когда Кулмету случалось поехать в районный центр или в какое-либо русское село, он не упускал возможности посоветоваться там со знающими людьми. И отовсюду привозил новые сорта семян. Больше того. Следуя примеру Митрофана Кузьмича, он выписал на дом разные газеты и журналы, в которых читал все, что написано про огороды. Тогда же он приобрел и свою знаменитую тетрадь в клеенчатом переплете, куда стал записывать все самое мудрое, что узнавал об овощах, а также и то, что казалось ему важным из собственного опыта.

Надо сказать, что за эти годы Кулмет постиг многие тайны огородной науки. И все-таки однажды небольшая газетная заметка так разволновала его, что он долго не мог уснуть.

Писалось же в газете о том, что на Украине организован большой совхоз, в котором будут выращивать только овощи. Обрабатывать грядки там будут машины, а для полива овощей проложен водопровод длиной в несколько километ-

ров. Кулмет закрывал глаза и старался представить, как на грядки проливается дождик из труб... И получалось, что это похоже на праздничные фонтаны, которые он однажды видел в Уфе, в центральном парке культуры и отдыха.

«Вот оно, значит, как дело-то повернулось,— размышлял Кулмет.— Само государство озаботилось выращиванием овощей!» При этой неожиданной мысли, что пришла к нему в ночной тишине, он даже вскочил с постели. «Вот оно как, значит!» — повторял он, расхаживая босиком в темноте. Множество новых, внезапно нахлынувших вопросов не давали ему уснуть. Успокоился он лишь тогда, когда вдруг совершенно по-новому оценил значительность всех своих прежних и нынешних забот. Кулмет очень ясно представил, как уважительно в недалеком будущем, может быть уже завтра или послезавтра, станут с ним разговаривать, начнут просить его советов земляки-куштирэковцы.

И вот так, по-новому оценив значительность своего дела, он смог уже спокойнее и с сознанием собственного огородного опыта размышлять о хлопотах далекого украинского совхоза. «Машины, допустим, сажают и выкапывают,— думал он,— ну а как же там управляют с прополкой?» Потом Кулмет прикидывал, хватит ли воды в его родной реке Караидели, чтоб поливать такие большие огороды. И вообще, найдется ли в Башкирии столько свободной земли — многие сотни и тысячи десятин, чтобы подошла для овощей?..

Ответ отыскался один-единственный, иного и быть не могло: за такую огромную работу надо браться сообща. Ведь не только на Украине, но и в их районе появились к тому времени большие коллективные хозяйства. Кулмет-агай успел побывать в некоторых из них. И почти каждый раз его клеенчатая тетрадь пополнялась новыми ценными записями.

5

Пришла пора и самим куштирэковцам думать об организации колхоза. Было это в тысяча девятьсот двадцать девятом году. Кулмет-агай нетерпеливо ждал этого события и как следует к нему подготовился. Несколько дней он даже в свой огород не заглядывал, доверив его жене, а сам засел за книги и газеты. До поздней ночи, не жалея керосина, он вписывал в заветную клеенчатую тетрадь разные цифры и ценные мысли. А потом самое уж что ни на есть мудрое выписал из тетради на большой отдельный лист. Некоторые

цифры при переписке запомнились сами собой, а остальные он выучил наизусть. За эти дни он снова перечитал многие страницы агрономических книг и огородных брошюр. Словом, на собрание куштирэковцев, посвященное организации колхоза, Кулмет явился во всеоружии не только личного огородного опыта, но и книжной науки.

Собрание было долгим и шумным. Кулмет-агай терпеливо и одинаково внимательно слушал все выступления — и «за» и «против». Наконец, выбрав удобный момент, сам поднял руку с зажатой в ней заветной бумагой.

— Вот что, товарищи-граждане, я сам очень давно веду расчет,— начал он и для важности подержал перед глазами бумагу.— Так вот, значит, если один человек будет целый год работать день и ночь, то он сможет обработать только одну десятину.— Тут Кулмет поднял вверх один палец и потряс им для большей убедительности.— А если за дело возьмутся сто человек, тогда, по моему подсчету, можно обработать целых пятьсот десятин! Так. Прикидываем: на одного человека теперь падает целых пять десятин.— Кулмет поднял вверх руку и растопырил все пять пальцев.— Теперь понимаете, в чем дело-то? Но я не об этом. Я вам хочу сказать про культурную жизнь...

Надо заметить, что при этих словах капустаника его земляки-куштирэковцы в третий раз удивленно переглянулись меж собой. Сначала они удивились бумаге, которая была у него в руке. Потом недоумевали, отчего это он ни единым словом не обмолвился о капусте... А он, оказывается, и дальше повернул не к овощам, а хочет сказать про культурную жизнь...

— Так вот,— продолжал Кулмет как ни в чем не бывало.— Культурная жизнь, товарищи-граждане, это значит еще и разнообразное питание. Вот я, к примеру, всю зиму ем капусту, а вот Гильман-агай не ест. Почему? Да потому, что у нас пока нет...

Тут собрание дрогнуло от общего хохота, и слова Кулмета потонули в невообразимом шуме. Но всех перекричал куштирэковец, которого Кулмет упрекнул в том, что он зимой не ест овощей:

— Гей! Гей! Ты опять про свою капусту! — выкрикнул он что есть силы, так как стоял возле самых дверей. Заметим при этом, что не всем куштирэковцам хватило сидячих мест, хотя они собрались в самой большой избе и принесли с собой много лавок.

При этих словах Гильмана многие еще громче засмеялись. Но Кулмет даже не улыбнулся, потому что сразу смекнул,

что у него появилась хорошая возможность легонько кольнуть этого упрямяца при всем народе.

— Да, я опять про капусту,— сказал он как можно громче.— Гейкать-то ты, Гильман-агай, конечно, мастер. А вот не знаешь, какую такую пользу капуста дает человеку! Что толку гейкать...

Взрыв смеха снова заглушил слова Кулмета. На этот раз куштирэксовцы смеялись потому, что Гильман-агай действительно очень любил «гейкать». Такая уж у него была привычка: почти перед каждым словом говорить «гей». За это он и был прозван «Гей-Гильманом».

— Что толку «гейкать»,— продолжал Кулмет, как только смех немного уgomонился.— Я вот хочу сказать для тебя и для других, которые в этом деле пока не видят прока... Хочу сказать, что в овощах разных есть такая штука, то есть такие штуки полезные, которые называются митаминами...— Тут Кулмет, чуточку осекся и быстро заглянул в свою бумагу, потому что боялся ошибиться.— Да, да, так и есть, витаминами. А они нужны каждому, особенно малым ребятишкам. Это, брат ты мой, такое лекарство, что каждому требуется для организма! Так вот этого митамина, то есть витамина много бывает в свекле, в моркови и в капусте. Да! Это наши деды и отцы жили без всякого такого понятия. А вы-то теперь понимаете, товарищи-граждане...

— Понимать-то понимаем, а при чем тут колхоз? — закричали от дверей.

Кулмет поморгал глазами, спохватился:

— А при том, что, скажем, выделили тебе сто десятин...

— Чего? Чего?

— Я говорю, сто гектаров...

— Чего сто гектаров? Кому?

— Как кому? — искренне удивился сбитый с толку Кулмет.— Я же говорю: под огород...

Очередной взрыв хохота, постучав по графину с водой карандашом, остановил председатель собрания:

— Да тише, граждане! Тише! Дайте человеку договорить!

Но в избе не сразу смолкли громкие возгласы, и Кулмету нелегко было отличить сочувствие от возмущения, добрую усмешку от зубоскальства.

— Гей! Гей! Пусть он сам ест свои матраины!

— Жили без них и теперь обойдемся...

— Тут большое дело решаем, а он с капустой своей суется...

— Эй, Кулмет-агай, говори прямо: ты за колхоз или...

— Так я о том и говорю,— решил перекричать-таки своих непонятливых земляков Кулмет.— Я же и хочу сказать про культурную жизнь! И хлеб, и овощи, в которых множество полезных витаминов, надо выращивать сообща. Вот у меня здесь записано... Это из газеты! Верно написано! Совхоз такой есть — очень большой, на Украине... Там на огороде овощи сажают и выкапывают машины, а сам огород — в десять тысяч десятин! И еще построили водопровод — много километров...

— Гей! Хватит!

— Довольно!

— Надоело! — раздались голоса теперь уже со всех сторон избы.

— Нет, не хватит! — заупрямился Кулмет.— Здесь у меня так прямо и написано: капуста содержит митаминов... Тыфу ты, витаминов до тридцати процентов. Свекла, значит, десять. В моркови — пятнадцать. А помидоры... Помидоры имеют...

— Гей! Гей! Пусть сам и ест свои помидоры!

Кулмет на секундочку умолк, стараясь поглубже вздохнуть, потому что перекричать земляков, по правде говоря, было трудновато.

— Следующий,— твердо произнес в этот самый миг председатель.— Кто еще, граждане, будет говорить?

Тот самый Гильман, которого прозвали Гей-Гильманом и которого Кулмет малость уколол, решил, видно, с ним поквитаться.

— Гей, Кулмет,— крикнул он пронзительным голосом,— скажи-ка заодно, а в навозе много этих самых твоих матраминов?

Все притихли, ожидая ответа на такой замысловатый вопрос. Молчал и Кулмет.

— В дерьме коровьем, спрашиваю, много матраминов, а? — ободренный тишиной, еще раз крикнул Гей-Гильман.

— Для тебя хватит. Можешь не беспокоиться! — ответил Кулмет и сел на свое место.

Вообще-то Кулмет-агай был человеком незлоязычным. Даже, пожалуй, безответным. Он впервые вот так удачно отбил от язвительных нападок.

Ну и смеялись куштирэкзовцы! Очень долго смеялись. Некоторые даже слезы вытирали. И председатель собрания сам тоже в конце концов рассмеялся.

— Ай да Кулмет!

— Вот это джигит!

— Пусть дальше говорит!

Уловив одобрительные выкрики, Кулмет, конечно, не растерялся.

— Вот смотрите! Читайте, пожалуйста,— снова начал он, размахивая бумагой.— Я здесь написал то, что сам проверил научно и собственноручно...— Тут он снова едва не осекся и сильно покраснел. Может, люди подумали, что краска на его лице появилась от жары и напряжения, потому что говорить приходилось очень громко, а на самом-то деле Кулмета немного кольнула совесть. Дело в том, что ни единой цифры он не успел проверить и только накануне выписал из календаря. Справедливости ради заметим, что календарю капустаник верил так же, как богобоязненные люди верят Священному писанию.

— Так вот я и говорю, товарищи-граждане,— продолжал Кулмет после легкой заминки.— Земли-то у нас много, а обрабатывать мы ее как следует не умеем. Сообща-то нам будет легче! Вот здесь сказано...

Однако написанного Кулметом оказалось слишком много для того, чтобы он мог успеть все это растолковать, а куштирэковцы могли бы выслушать. Народ снова зашумел. И получилось, что Кулмет, сам того не желая, повредил своему капустному делу. Слишком уж перегрузил он головы своих земляков цифрами да витаминами, а может, и у них не хватило терпения его дослушать, во всяком случае мало кто из куштирэковцев поддержал на собрании своего капустника. Лишь два или три почтенных человека, посмотрев в его сторону, сказали, мол, как-никак, а говорил Кулмет-агай по книге, а в книгах врать не будет, и может, стоит когда-нибудь об этом хорошенько подумать. А насчет колхоза...

После долгих споров и колебаний в ауле Куштирэк, что раскинулся на берегу реки Караидель, организовался колхоз из восемнадцати хозяйств. Название ему дали такое же — «Куштирэк». Кулмет-агай стал не просто одним из первых членов этого колхоза, а, по определению земляков-куштирэковцев, членом «витаминным».

6

Было время, когда Кулмету совсем уж показалось, что его мечта о большом огороде надолго отодвинулась от него. Первые годы для молодого колхоза стали годами испытаний. В ауле пристально приглядывались к колхозникам,

интересовались каждым их шагом: «Выйдет что-нибудь у них или нет?» Поэтому пришлось все силы отдать одному делу, которое сочли самым главным: от мала до велика налегли на полеводство.

И на второй год урожай получили всей округе на удивление. Да что там — округе! На каждый трудодень раздали по двенадцать килограммов зерна!

Кулмет-агай и до вступления в колхоз не знал особой нужды, жил средне — не голодал, не страдал от стужи в доме, но теперь привалило такого богатства, какого ему никогда не приходилось видеть...

По аулу целый день разъезжали празднично разнаряженные подводы, полные мешков с зерном и с красными флажками на дугах — то в одном, то в другом дворе женщины весело поторапливали колхозников разгружать заработанное.

Кулмету вначале привезли пять возов пшеницы, которая доверху заполнила небольшой амбар. Сания-енге решила, что на этом и конец, и отправилась было ставить самовар, но ее остановил Кулмет-агай. Оказалось, что надо ждать других возов.

— Сколько же еще? — спросила Сания-енге и озабоченно заморгала.

— Воза два будет, — ответил Кулмет, всем своим видом выказывая мудрое спокойствие, и даже махнул рукой: мол, количеством зерна его не удивишь.

Вскоре у ворот показался новый обоз. И опять — из пяти возов.

— Гэй, хозяйева! — закричал джигит, который сидел на самой задней подводе.

Сания-енге заметалась возле ворот. Куда ж надевать столько хлеба! Да еще торопят!

Уже в амбаре и на дворе наполнились все мешки, порожние ящики, желоба и прочие домашние сосуды и емкости, попавшие под руку, а оказался выгруженным только один воз.

— Гей, живее пошевеливайтесь! — не переставали сердито подбадривать с улицы. — Не для вас одних возить! Надо всем успеть!

Это конечно, был голос джигита по имени Мулюк, достойного сына Гильмана, которого, как известно, в ауле звали Гей-Гильманом. Вот и дети его очень любят бойкое словечко «гей»! Как и отец их, Гильман-агай, через каждое слово — «гей» да «ах». Тут вам еще одно подтверждение, что прозвища не даются спроста, а ведь у самого Гильмана этих

прозвищ было целых два — «Гей-Гильман» и как бы попроще «Гильман ахающий».

Кулмет-агай и Сания-енге торопясь и не успевая отирать с лица пот, сгружали хлеб из второго воза прямо на пол чулана. Но и чулан был не резиновый.

— Гей, граждане, будьте же расторопней! — снова не жалел глотки все тот же неутомимый Мулюк, сын гейкающего Гильмана.

Третий воз разгрузили под нары. А на улице еще торчали два полных воза.

— Гей, Кулмет-агай! Побыстрей!

Ничего не оставалось, как ссыпать все остальное зерно посреди избы. Потом будет видно, лишь бы хоть сейчас отделаться от этих неумных возчиков. Вон ведь, все торопят и торопят.

— Гей, Сания-енге, — научился гейкать еще один из возчиков. — Совсем плохо, когда хлеба много? А? Некуда сыпать-то, а? Ты штаны своего мужа возьми...

— Давай, давай, товарищи, скорее освобождайте телеги!

Золотистые груды отборного зерна заполонили избу. Даже дорожки не осталось, по которой Сания-енге могла бы пройти к печке.

После того как возчики наконец-то уехали, Кулмет-агай вышел на крыльцо, присел, вытер лоб. Немного отдохнув, он снова поднялся, лопатой отгреб в угол выгруженное впопыхах зерно. А потом высыпал не меньше пуда курам, так что в этот день вся домашняя птица близких и дальних соседей и родственников досыта насласилась колхозным овсом...

К третьей весне народ в колхоз повалил валом. Даже те, что долго держались особняком, сами пришли к председателю с заявлением. Колхоз вырос до ста двадцати хозяйств. Теперь-то уж могло хватить силенок не только для полеводства, а и для того, чтобы развернуть хозяйство во всю ширь и по разным руслам. Но и в этом году Кулмету не удалось добиться внимания к своим витаминным предложениям.

И только на пятом году существования колхоза правленцы решили «витаминировать» хозяйство. Так возникла овощеводческая бригада, а возглавил ее, конечно же, не кто иной, как Кулмет-агай.

Бригада бригадой, да в ней всего шесть человек. Шесть человек вместе с самим Кулметом! Как распорядиться этой армией? С чего начать?

И Кулмет-агай первым делом поехал в Михайловку. К ста-

рому другу своей семьи Митрофану Кузьмичу. Не то чтобы прямо за советом (он теперь в них мало нуждался, сам с «усам»), а так просто — развеяться, поделиться новостями и тогда уж попутно разведать, в чем именно михайловцы преуспели на своем колхозном огороде после организации артели.

Но его встретила потрясающая новость: михайловцы сделали Митрофана Кузьмича председателем колхоза и он совершенно забросил колхозный огород! Тот самый огород, где работал до этого бригадиром. Кулмет-агай искренне пожалел об этом и от души посочувствовал своему русскому другу. И не потому, что на сей раз ничего нового почерпнуть не удалось, а потому, что такое полезное и занятное, по его мнению, дело может погибнуть без Митрофана Кузьмича.

— Как же теперь-то? — спросил Кулмет озабоченно.

— За всем не угонишься, — ответил Митрофан Кузьмич. — Бабы будут работать в огороде.

— Ну-у-у, раз бабы, значит, дело гиблое, — сказал Кулмет-агай с глубоким сожалением. — Такое дело погубили! Такое дело!

Как истинный башкир, он не любил, когда в серьезные дела вмешиваются женщины. И не то чтобы он придерживался пословицы: «Женщине дорога — от печки до порога». Нет. Он представлял дорогу женщины гораздо шире: женщина может даже пахать и сеять, косить сено, скирдовать солому, даже может таскать мешки, если, конечно, позволят плечи. Но сделать женщину бригадиром или председателем... Извините, зачем? Когда для таких ответственных поручений существуют мужчины!

Понятно, что, услышав такую печальную для его слуха весть — о верховодстве женщин на огороде в колхозе «Рассвет», Кулмет-агай пренебрежительно махнул рукой в сторону этого самого огорода и поспешил домой.

Он лишь попросил на прощание Митрофана Кузьмича:

— Будешь встречаться с нашим председателем где-нибудь на совещании, скажи словечко в пользу капусты и прочего. Он ведь у нас такой... Еще непривычный, от огорода не ждет толку...

Да, не скоро Ярулла и правление колхоза стали проявлять интерес к огородным делам. Крепко досадовал на это Кулмет, но и винить их было трудно: в колхозе много забот, сразу все не охватишь. И все же на председателя он обижался всерьез. Но как-то Ярулла сам вызвал Кулмета в правление, повертел в руках его знаменитую и из-

рядно потрепанную тетрадь с клеенчатой обложкой, посмотрел в ней все записи и цифры и сказал:

— Хорошо. Попробуем. Будь что будет!

Созвал заседание, поставил на обсуждение и, даже не дожидаясь результатов голосования, заключил:

— Ну, ты смотри, Кулмет, чтобы на первое место вышел! Пока у нас в районе этим делом мало кто занимается. Только два-три русских колхоза выращивают капусту, а там это еще от стариков. Мы будем первыми из башкирских колхозов. Понятно? Пер-вы-ми! Значит, первыми и надо быть. Понял?

Вообще Ярулла-агай очень любил выходить на первое место. Когда он услышал, что осенью организуется районная сельхозвыставка, то его уже не пришлось уговаривать. Даже людей выделил дополнительно для поливки. Велел особо ухаживать за крупными сортами капусты, тыквы и других выгодных для показа овощей.

Кулмет-агай ликовал. Такой большой удачи он не мог, казалось, и ждать. Он пропадал целыми днями на колхозном огороде. Часто приходил туда даже по ночам. Он снова порхал на крыльях счастья от грядки к грядке, как мотылек с цветка на цветок. Казалось, не только он видел, но и ощущал, на какие доли вершка прибавляют за день отдельные стебельки огурцов, помидоров, следил за тем, как и за какие сутки набухают и раздаются вширь тыквы и кабачки...

Овощи, выращенные на колхозном огороде, дали урожая во много раз больше, чем раньше, когда Кулмет-агай выращивал их на своем маленьком единоличном огороде. Таких крупных луковиц, хрустящих и сочных огурцов, налитых красавцев-кабачков и желтобоких великанш-тыкв, таких огромных кочанов капусты не видели еще до сих пор не только в Куштирэке, но и в близлежащих селах.

Осенью к воротам колхозников подкатили тележки с овощами нового урожая. Праздничных флажков, как на возах с зерном, здесь не было, зато всех поразило разнообразие цвета и аромата, которые источали эти груды огородных плодов. От праздника людей перепало удовольствия и аульской скотине. Козы и овцы важно жевали сочные листья капусты, словно отдавая должное трудам Кулмета. Коровы уминали репу и турнепс. Куштирэковские ребята соревновались в меткости с помощью огурцов, конечно, было разбито в этот день немало окон в ауле. А тыквам и кабачкам досталось еще больше внимания: кабачки и тыквы

важно и чинно катались по улицам аула, движимые нежными пинками все тех же деревенских мальчишек.

Все было хорошо, шумно, весело. Но...

Бывает иногда так, что на одном возьмешь, так на другом потеряешь. Выставка не дала ожидаемого успеха. И вот теперь вместо премии привезли только диплом вроде справки.

Отобедал Кулмет-агай и долго, очень долго ломал голову над этой неудачей. Причина была только одна, и довольно простая: пока Ярулла и правленцы раскачивались, все колхозы в районе крепко взялись за это дело. Овощи нынче не редкость, их выращивают повсюду. Что же дальше-то будет? Не кончать же с огородом! Упаси аллах! Надо, наоборот, принапрячься, да так, чтобы лучше, чем у других, вышло. Больше и лучше, а что скажет Ярулла? Вдруг он повернет вспять и прикажет перепахать весь участок огорода, скажем, под озими. И будет там колоситься сплошная рожь, а не зеленеть рядками белокочанная капуста.

Кулмет-агай серьезно опасался, что могут отговорить председателя, поэтому решил идти к нему в тот же день, по приезде с выставки.

«Вначале надо поговорить непременно с самим Яруллой,— думал он,— и зайти в такой момент, когда не будет счетовода. Но когда? Этот счетовод Маснави день и ночь сидит за своим столом, словно прилип к нему. А он из тех, кто любит пошутить. Возьмет да и скажет что-нибудь невпопад, пряча улыбку за усами, как он это уже сделал сегодня при чтении выставочного диплома. И тогда, считай, все труды пойдут прахом. А если уговорить самого Яруллу, будет легче на правлении. Да, да, вначале поговорить только с ним, только с ним. Но где его встретить? Ничего другого не остается, как идти к нему домой...» И подумать только! И в гражданскую вместе воевали, и со своими баями uprawились, а на капусте — на тебе! — разошлись.

7

Идти к председателю домой дело не такое уж простое, как может показаться некоторым. Хотя он и односельчанин, хотя друг друга они знают как облупленные с малых лет. Начальник есть начальник, без особой причины, с бухты-барахты, не к лицу вваливаться к нему домой.

Какой же крайний до зарезу повод найти ему, Кул-

мету Котлюкову, бригадиру овощеводов колхоза «Куш-тирэк», не оправдавшему надежды своего председателя? Хорошо бы, оно конечно, пригласить самого Яруллу в гости. Но ведь не пьет, окаянный, ни капельки в рот не берет. Вообще-то председатели делятся на две группы: на пьющих и непьющих. С пьющими куда как проще и легче: пошел, пригласил, угостил и выложил все чего ни пожелаешь. Под хмельком он тебе все сделает. Всего наобещает, как душе твоей хочется. А с непьющими все иначе. Как подойдешь? Как скажешь? Где удобный случай для сердечного разговора найдешь?

Но не бывает так, чтобы у человека не было хоть какой-нибудь маленькой слабости. Нет! Даже непьющие председатели не свободны от этого. Была такая слабость и у Яруллы: он любил баню, просто обожал попариться в горячей баньке.

Разные истории рассказывали в ауле на сей счет. Рассказывали, будто, когда ему выделили усадьбу, построил он себе вначале баню, а лишь потом, несколько лет спустя, сколотил дом, в котором и сейчас живет. Говорили, что он не довольствуется березовым веником, каким обычно пользуются аульчане, а придумал и связал для себя самоличное дубовое хлесталище. Сказывали даже, что на голову он нахлобучивает особого покроя войлочную ушанку, когда бьет по своей спине этим дубовым веником, а на руках у него в это время особые, только для бани сшитые варежки — из бычьей шкуры!

За эту-то слабую струнку председателя и решил ухватиться Кулмет, чтобы не перехватили Яруллу правленцы и не успели наговорить ему (упаси аллах!) чего плохого про огород. После неудачной поездки на выставку мало ли как могут настроить председателя? И поэтому Кулмет лихорадочно думал о том, как наедине сойтись с председателем, и вот вроде бы нашел.

— Затопи баню, — скомандовал он жене своей, — да поскорее. И смотри, чтобы пар был как никогда и воды с запасом.

Пока топится баня, пока Сания-енге усердно таскает воду, скажем несколько подробнее о виновнике этих хлопот. Кто же он такой есть — тот, чья единственная слабость — добрый дубовый веничек. А может, и другие слабости за ним водятся?

Не будем занимать времени упоминанием его имени, фамилии, возраста и тем более должности. Все это уже известно

нашему читателю. Скажем лишь одно: председатели в этих краях делятся не только на пьющих и непьющих, к числу последних, к нашей радости, но не к очень большому удовольствию Кулмета, относится и Ярулла-агай; они, эти председатели, делятся еще и на работающих и не работающих. И снова надо сказать, что куштирэкковцам и в этом отношении повезло: их председатель оказался работающим. Можно, конечно, и тут провести разделение: бывают, мол, председатели, которые только делают вид, что работают. Такие суетятся, создают много шума, много показухи, а чаще такие «работающие», что безвылазно сидят в своих канцеляриях, откуда и предпочитают посылать на поля и огороды свои ценные указания. Так вот, куштирэкковцам повезло и тут (в который уж раз им везет!). Но и то сказать, не они ли сами избрали Яруллу в председатели? Словом, их председатель был работающим в полном и прямом смысле этого слова.

В правлении колхоза Ярулла-агай стал бывать почаще только за последний год. В первые же годы создания колхоза его больше видели в поле, где нужнее были его пример и опыт. А в правлении посадил счетовода, знавшего толк во всяких бумагах и отчетах. Сам Ярулла вместе с колхозниками пахал, сеял, косил сено, убирал хлеб. Вначале-то колхоз был маленький и хозяйство было небольшое. В правлении один счетовод справлялся. А когда нужен председатель, этот самый счетовод Маснави прикатывал к нему прямо в поле. Приезжал и говорил: «Ярулла-агай, нужна твоя подпись». Ярулла-агай, значит, на пять минут останавливал свою лошадь в борозде и подписывал бумажку — у себя на колене, а то и прямо на спине грамотного счетовода. И только после этого прочитывал, что написано на бумажке.

— Я, браток, тебе верю, — говорил он, обернувшись к своему счетоводу. — Но предупредить не мешает. Будь внимательным, дорогой. Пиши, значит, разборчивее, чтоб, не дай бог, ошибку какую не совершить. Хозяйство-то не только наше с тобой, а восемнадцать дворов смотрят на нас.

Затем он махал счетоводу рукой — ступай, мол, — и снова впрягался в работу. Колхозники сообща порешили выписать Ярулле по одному трудодню за каждый день его председательства. Но летом в поле он вырабатывал вместе с другими еще по два и по три трудодня. Когда осенью пришла пора делить урожай, возникло затруднение: как учесть труд Яруллы? Насчитать как председателю по одному трудодню в день или же начислить их как рядовому колхознику. Или же за то и другое вместе?

Колхозники зашумели:

— Пусть получит как хочет.

— Чего там скряжничать? Выдать ему и за это и за то...

— Сполна надо платить! Чем он хуже других!

Но сам Ярулла отказался:

— Я, товарищи, как председатель особенного ничего еще не сделал. Поэтому сделайте расчет за дни в поле. И все тут.

После долгих разговоров решили так: начислить за летние месяцы из расчета его работы в поле, а за зимние — как председателю.

Кроме истории с трудоднями, и многое другое казалось аульчанам удивительным в поведении Яруллы-агая. Никакой мелочи, например, не берет из колхозного амбара без согласия правленцев. Прямо удивительно: ведь сам хозяин! Полновластный хозяин!

Этот человек, невысокого роста, но довольно крепкого телосложения, с черными пронизательными глазами, черноусый и чернобородый (борода, правда, оставлена только у самого подбородка), в широкополой шляпе и в тяжелых больших сапогах, в которых его видят и весной, и летом, и осенью, с жилистыми руками и такими сильными пальцами, которыми он подковы гнул, с беспокойным живым лицом, — казалось, родился на посту председателя колхоза «Куштирэк», и родился именно для того, чтобы быть председателем этого колхоза. Конечно, и кто другой мог бы успешно занять эту должность. Но так уж всем казалось, что председателем колхоза «Куштирэк» должен быть не кто иной, как Ярулла во всем его непременном обликии и поведении.

Это лишь внешне он кажется степенным и скромным, иногда даже — тихим и кротким, будто и впрямь большой ягненок, но палец в рот ягненку не клади! Не укусит, конечно. Но кулак свой увесистый покажет. Тихий, скромный, а блеснуть при случае колхозом своим любит. Про подобных председателей говорят, что, мол, форсун, показушник и так далее. А вот про Яруллу такого почему-то не скажешь. Да потому, что вовсе он не форсун, а просто хочет, чтобы ахнули, глянув на его колхоз. Не собой же он в конце концов форсит, не себя выставляет напоказ, колхоз свой и его успехи. Конечно, когда выпадает хвала колхозу, то и председателю воздается теплым словом должное — что, мол, умен он, находчив, энергичен и так далее. Ну, какому председателю не будет приятно, если хвалят его колхоз?

Чего уж там скрывать, Ярулла-агай любил этак скром-

ненько похвастаться своим колхозом. Ай, как любил! Душа его таяла, если случалось ему услышать где-нибудь на стороне что-нибудь хорошее про свой колхоз, о его людях. Лицо расплывалось в улыбке, глаза от удовольствия замуривались... Уши воспринимали такую весть, как песню любимую... И ему хотелось продлить это блаженное состояние, хотелось, чтобы все слышали, все знали, что председателем этого колхоза есть вот он сам, Ярулла... Думал, блаженствовал, а сам отвечал: что вы, мол, пустяки... Не стоит, мол, шуметь об этом. Говорил вслух, а думал про себя другое: «Как бы еще блеснуть чем-нибудь, как бы еще что-нибудь такое сделать, чтобы ахнули все кругом».

Его колхоз на второй год прославился тем, что в нем на каждый трудодень получили по двенадцать килограммов хлеба. Сколько говорили об этом на совещаниях, ставили в пример, конечно не забывая при этом назвать фамилию председателя. Ой, как хорошо это было! Тогда-то как раз и почувствовал Ярулла-агай, какое это сладостное состояние, когда тебя хвалят при всем народе.

Но скоро такого уже успеха добились многие колхозы района, а некоторые взяли и побольше. Удивлять было некого. Поэтому Ярулла-агай решил круто повернуть в сторону животноводства. Срочно организовали молочную ферму, построили коровник и снова оказались на виду у районного начальства. Приятно это было. Но вскоре и такие фермы стали никому не в удивление. Ярулла-агай решил взять «не мытьем, так катаньем». Он открыл в колхозе кумысную: выделил двадцать кобылиц, а за мастерами далеко не ходить — в ауле каждый умел делать кумыс, — и неожиданно куштирэковцы снова привлекли внимание всего района.

Кумыс! Кто только в районе не пробовал куштирэковский кумыс! Ароматный, густой, как сливки, и в то же время пряно-кислый, бодряще-острый — выпьешь глоточек — прямо в нос ударяет, выпьешь один тустак — в животе сразу движение серьезное начинается. Конечно, бывает и так: заедет какой-нибудь гость издалека, набросится на кумыс, осушит без достаточной привычки сразу несколько бутылок, а потом жалостно ищет глазами некоторое заведение...

В общем, кумыс куштирэковский прошумел по всей округе, благодаря чему, конечно, не раз и не на одном совещании упоминалось имя Яруллы. Но разве он, сам Ярулла, виноват в этом!

Почему, думаете, появился кумыс в Куштирэке? Потому

что лошадей было много. А некоторые злые языки говорят, что Ярулла уж так расстарался, чтобы показать себя...

Коней действительно немало у куштирэковцев, причем все хорошие, выносливые, упитанные, взглянуть одно удовольствие — глаз не оторвешь. Опять же здесь сказывается не только хороший уход, а главное (скажем по секрету) и инвентарь конский — сбруя и упряжь у любого лошадника вызовут зависть свежестью и блеском. А уж это, конечно, заслуга Яруллы.

Взять, к примеру, телеги. Все они в куштирэковском колхозе новые, крепкие, с железной осью — до сорока пудов могут выдержать. Покрашены эти телеги в голубой цвет. Далее, хомуты и седелки, вожжи и подседельники, шлеи и чересседельники — в общем, все, что принято разуместь под словами сбруя или упряжь, выделано из добротной крепкой кожи, так и сверкает на куштирэковских лошадях. Ну, а кто из председателей других колхозов, например, додумался покрасить все колхозные дуги в одинаковый цвет, чтобы люди издали примечали, что тащатся не какие-то там посторонние, а несутся куштирэковские кони, где председателем...

Да что там долго говорить — в районе и то скоро привыкли определять по цвету дуги, куштирэковский это конь или нет. Скажем, приехал какой-нибудь гость или командировочный из Уфы, надо ему поехать в Куштирэк, а дорогу не знает и лошадей подходящих не найдет. Что делать? Ему тут же толкуют: «Останови любого, у кого дуга голубого цвета, не ошибешься, садись и поезжай», или скажут: «Сытый конь, добротная упряжь, голубая дуга и веселый возчик — наверняка куштирэковец».

Насчет дуги этой голубой даже песню сложили в Куштирэке на протяжный манер старинной народной песни «Сибай», которую в шутку, а то и всерьез затягивали молодые затейники, не опасаясь присутствия иногда и самого Яруллы.

Запрягай, Ярулла, свою гнедую
В сани узорчатые с голубой дугой.
Не мешало бы купить машину,
Чтоб прокатиться разок-другой!

Ну и выдумают же! Зачем ему машина, когда без нее, слава богу, все идет складно, хорошо, сытно и уютно. Вообще-то, оно конечно, неплохо бы на машине прокатиться в район или к соседям. Напоказ. Ну, а вдруг перевернешься? Вдруг поломается что-то и где-нибудь в пути? Что тогда делать? А лошадь, она, брат, тянет надежно, только овса не жалей да кнутом угощай немножечко...

Ярулла-агай рвался вперед своим чередом, а аульчане кое-где своим. Хлеба много, мяса — хвала аллаху! — хоть отбавляй. Чего еще надо? Колхозники все чаще и чаще стали ездить в районный центр и дальше — в Уфу, чтобы купить вещи, без которых прежде свободно обходились. Теперь часто можно было встретить в ауле мужчину в хорошем городском костюме, в хромовых сапогах, в штиблетах со скрипом. Ведь совсем не женщины определяют и задают тон в одежде и моде, а мужчины, — кому же еще, кроме них?

Нарядно стали одеваться в Куштирэке. Да и внутри домов стало веселей — появились в них предметы, которых не приходилось видеть от века: большие зеркала в рамах, стенные часы. Магазин сельпо, который еще недавно торговал себе преспокойно, тихо, сонно, вдруг словно очнулся от спячки. Председатель сельпо старик Мутал и продавец Искандер-солдат до этого только и знали забот что о чае да сахаре, о соли да спичках, о керосине и прочей привычной малости, а теперь у сельповцев требовали велосипедов, часов, шерстяных тканей и книг даже...

Ярулла-агай тоже по-своему «давил» на Мутала, не давая покоя, зато и помогал при случае «выбить» какой-либо новенький или особо редкостный товар на районной базе. Так, например, благодаря участию Яруллы осенью торжественно доставили в Куштирэк штук с двадцать железных кроватей, самолично выхлопотанных председателем в райпотребсоюзе. Правда, вскоре Ярулла зачесал затылок от досады и огорчения, когда узнал, что в райпотребсоюзе очень обрадовались, что сплавил в Куштирэк залежалый товар. Кровати привезли, а их и в ауле никто не берет. Старик Мутал словно с ножом к горлу насел на Яруллу: «Деньги угробили!» И тут Ярулла-агай принимает мудрое решение: всем правленцам, включая счетовода, бригадирам и звеньевым — всем выкупить из сельпо по одной кровати. И все тут. Раскупили, и что вы думаете? Кто-то из ершистых аульчан даже поднял шум:

— Что это наше начальство только о себе заботится? Новый товар — так сразу себе? Что мы, хуже? Вези и нам тоже!

И старик Мутал, председатель сельпо, сам съездил на базу и еще штук тридцать кроватей привез в Куштирэк. Так вот и кровати железные впервые появились в Куштирэке. Надо сказать, что в домах аульчан вначале никто не спешил их занять и они пустовали, эти кровати, потому что

хозяева их предпочитали спать на нарах или даже на полу, — что поделаешь, привыкли в Куштирэке раскидываться на ночь свободно, чтобы ни с какой стороны не стесняло...

В тот день, когда Кулмет возвратился с выставки, в сельпо привезли тарелки, и опять по настоянию Яруллы, привезли в избытке. Внутри маленького магазина негде было повернуться, все заполнилось тарелками, которые громоздились столбами от пола до потолка. Тарелок было так много, что и сам Ярулла растерялся.

— Куда столько? Всю улицу можно застелить, — сказал он, не скрывая беспокойства. — Куда теперь их денем?

— Ты же сам велел, — ответил старик Мутал, лукаво прищурившись, — берите, пожалста, кушайте, за нами дело не станет!

И опять же не обошлось без злых языков, кое-кто в ауле поговаривал, что ни к чему, мол, этакая роскошь для куштирэковцев.

— Зачем эти тарелки? Для кого? Для чего?

— Как для чего? Придешь домой, раздашь детям своим, а потом каждому положишь каши с мясом, как в столовой...

— Ха! Что я — кошка, чтоб мне порцию выдавать? Из тарелок у нас только котят кормят. Ты мне ставь на стол все — и мясо и картошку. А сколько мне надо — я сам возьму!

Как поступить с тарелками, куда их девать — до поры до времени никто не знал. Во всяком случае, Ярулла-агай был озадачен этим вопросом больше, чем все другие аульчане, в том числе и сельповцы.

Такой уж характер был у председателя колхоза «Куштирэк», который любил крепко попариться веничком и для которого овощевод Кулмет, после неудачной поездки на выставку, приготовил сегодня добрую баньку, намереваясь не только сгладить положение, но и твердо нацелившись на то, чтобы вырвать у председателя согласие на расширение огорода, а также на приобретение кое-каких машин, инвентаря и прочего и прочего.

Словом, чего только не придумает человек, на какие только хитрости не пойдет, когда ему позарез нужно добиться своего. Тем более когда тот, от которого зависит судьба дела, относится к числу непьющих...

Зная повадки своего председателя, Кулмет-агай самолично проверил степень готовности бани и, только убедившись, что жару в ней предостаточно, послал сына за Яруллой.

— Иди, скажи, зовут, мол, тебя, Ярулла-агай, в баньке свежей попариться.

«Придет! — подумал Кулмет не без удовольствия и потер ладони. — Обязательно придет. Вот тут-то я ему и скажу...»

Постой, а где же он скажет-то? Хорошо, если Ярулла согласится после бани чайку попить. А если откажет? Не лучше ли забраться вместе с ним в баню? Если, конечно, выдержишь адский жар. А вдруг за Яруллой потянется и его жена?..

Пока Кулмет-агай думал да передумывал, сын его прискакал на своем деревянном коне к дому Яруллы, чтобы передать приглашение отца, но к великому огорчению обнаружил, что председателя нет дома.

И где, вы думаете, Ярулла-агай был в это время? Он был в ба-не! Услышав удручающую весть, мальчик с поникшей головой повернул было обратно, но жена Яруллы, привыкшая докладывать мужу о любом и каждом посетителе, спросила:

— А что, сынок, ему передать?

— Да ничего, — ответил мальчик уклончиво и горестно, — раз он уже в бане. Я пойду домой.

— Хы, — отвернулась хозяйка с некоторой обидой, — какие нынче пошли дети неприступные! Иди тогда сам к нему в баню, коль не хочешь сказать мне...

Мальчик на этот раз не ждал повторения, тут же поскакал к бане, где парился Ярулла-агай и откуда за много шагов доносились его вскрики, словно председатель во всю мочь погонял какую-то лошадь.

— Ярулла-агай! — крикнул мальчик и, не услышав ответа, закричал еще сильнее: — Ярулла-агай!

— Кто там? — наконец раздался голос Яруллы.

— Это я, Ярулла-агай, папа прислал пригласить тебя в баню, но ты, оказывается, уже успел...

— Что? Что?

Мальчику пришлось быть отважным до конца и закричать во все легкие:

— Наши затопили баню! Прислали, чтобы пригласить тебя! Я скажу, что ты паришься у себя...

И что, вы думаете, ответил на это Ярулла-агай? Он сначала спросил, но только как бы для уточнения:

— Баню, говоришь, затопили?

— Да.

— Давно?

— Сейчас уже готова. Папа сказал, чтобы...

— Ладно,— ответил Ярулла.— Скажи папе, что пушу еще разок пару, пройдусь разочка три веником, умоюсь и приду...

Мальчика так ошарашило это сообщение, что он застыл как вкопанный, не зная, мчаться ли ему домой или дожидаться председателя здесь.

— Обязательно приду,— подтвердил Ярулла-агай еще громче,— так и скажи папе. Иди с богом!

И в самом деле, пришел Ярулла без всякой задержки — прямо из бани в баню. К особому удовлетворению Кулмета председатель явился к тому же и один, без супруги своей, которая и вообще-то была у него умна и примерна, и это выражалось прежде всего в том, что она редко показывалась на улице вместе с мужем, а когда позволяла себе такое, шла не рядом с Яруллой, а семенила на целый шаг позади его.

Итак, Ярулла-агай пришел один, и теперь-то никак нельзя было упустить столь удобного случая. Поэтому, встретив гостя прямо у ворот, хозяин бани уже не отпускал его ни на шаг, на ходу затеявая нужный разговор:

— Ай, хорошо, что пришел. Я уж перепугался.

— Ну, разве можно отказаться от бани? Тем более от твоей!

Каждая баня имеет свой неповторимый дух, свои, только ей присущие запахи. Кто понимает толк в банных делах, тот знает, что ни одна баня на свете не похожа на другую. Даже в одной и той же бане не всегда одинаково попаришься. От многих причин и секретов зависит, чтобы баня как следует поспела в назначенный час. От строения и расположения печки, от кирпича и дров, от топки, от хозяина и, само собой, от его настроения.

Раз на раз никогда не приходится — это уж все равно как бешбармак у одной и той же хозяйки получается каждый раз по-разному.

Уже в предбаннике гость ощутил тот особенный дух, что предвещает настоящую добрую баньку.

— Разве можно отказаться от такой штуки,— повторил Ярулла, снимая мокрую одежду,— прислушайся, как пахнет-то! А?

Он жадно, с наслаждением вдохнул этот ни с чем не сравнимый по аромату и жару банный воздух, пропитанный уга-

ром и дымком, и потянулся к двери. За ним последовал, как послушный баран, и хозяин бани, сам Кулмет-агай.

— Где у тебя тут каменка находится? — спросил Ярулла-агай, хотя уже не раз имел удовольствие испытать ее силу. — Ну-ка, поддай жару!

Как только Ярулла-агай забрался на полку и привычной рукой ухватил сдвоенный специально для него березовый веник, загремела, затрещала каменка и адский пар так ударил в лицо Кулмета, что он еле устоял на ногах.

— Ну, как? — спросил он гостя. — Хватит или еще?

— Давай, давай! — командовал председатель. Он уже не слышал, как снова затрещала каменка. А потом еще и еще — в эти минуты он уже полностью отдался радостям бани, хлестал себя вдоль и поперек свежим березовым веником, от которого летели во все стороны оборванные листья.

— Может, помочь тебе?

— Давай, давай! А? Что?

— Может, говорю, по спинке твоей веником пройтись? А?

— Давай, давай! А? Что? Веником? Не надо. Лучше я сам. Давай еще!

Говоря по правде, Кулмету было уже не до того, чтобы махать веником. Он еще кое-как держался на ногах, но дышать стало совсем неважно, и ничего не оставалось, как повалиться прямо на пол.

— Давай, давай! — доносились до него отчаянные возгласы откуда-то сверху. — Ах! Ах! Ух! Ах! Ых! Хар-ра-шо!

Хозяин замер, прижавшись к полу, а гость, нахлестывая себя на полке, успел подумать о том, что оно, конечно, не мешало бы, чтоб кто другой прошелся бы веником эдак ласково по его телу, могучему и выносливому... Но ведь такое позволяли себе раньше только баи и аульные старосты. А он, как-никак, председатель колхоза, да притом передового...

Председатель долго наслаждался веником, пока вдруг не заметил исчезновение хозяина и не разглядел, что тот почти без движения лежит на полу, не шевельнется.

— Эй, Кулмет, ты чего разлегся? — крикнул Ярулла, с некоторой тревогой, но еще и рассчитывая на то, что Кулмет живо подскочит и бросит несколько ковшиков на каменку. — Давай поднимайся сюда!

Но гостю самому пришлось слезать с полка, поднимать почти бездыханного хозяина и едва не на руках выносить его в предбанник. Очнувшись, Кулмет-агай тут же вспомнил о том, ради какой важной цели пригласил председателя в баню, и за-

торопился выложить все, словно опасаясь навсегда опоздать или позабыть заранее приготовленные слова.

Но сил ему еще не хватало, чтобы говорить внятно:

— Слушай, Ярулла, ты нас не того... не обижай того... огородников... Ты давай не того... не зажимай...

— Что ты там бормочешь? Видно, угорел ты, брат,— сказал Ярулла озабоченно и взял в руки ведро с водой.— Давай-ка я тебя искупаю.

— Нет, нет, я серьезно,— твердил свое Кулмет, фыркая и отирая ладонью мокрое лицо,— ты дай нам укрепиться. Земли прибавь, дай еще немного людей, машину там...

— Ну, довольно! — оборвал Ярулла, давая понять, что продолжать разговор не желает.— Побаловались, и хватит! Никаких людей и никаких гвоздей! Ни жару, ни пару больше, понял?

Не понять было Кулмету — всерьез говорит председатель или переводит в шутку этот важный разговор. А о том, что председатель не намерен шутить, Кулмет-агай догадался тут же, когда Ярулла-агай, вроде бы как раз шутя и любя, ткнул ему в живот увесистый кулак и повторил свое последнее слово: «Понял?»

Понял Кулмет-агай, яснее ясного понял, что нужный для него разговор не получился и не принес ожидаемых плодов, хотя ради него и была затеяна эта баня, в которой Кулмет едва не отдал душу. А теперь его грызла обида и досада. И не только потому, что так вот непочтительно оборвал его председатель, обидно было, что, пожалуй, без всякой пользы ошпарил он свои уши и волосы, подбиваясь к обожающему пар-жар председателю. Сам-то он, жаролюбивый и парообожающий Ярулла, не забыл прихватить в баню ушанку войлочную и свои варежки, сшитые из бычьей шкуры.

9

Дело клонилось к осени, и Кулмет спешил своими силами вспахать огород, чтобы доказать всем аульчанам свое право быть бригадиром, а заодно и дать понять правленцам, что участок под огород занят его бригадой не временно, не на один сезон, а навсегда!

Хорошо бы в таких случаях с бригадой своей поговорить, собраться и обсудить, а потом всем вместе, гуртом налечь на председателя. Да где она, бригада? Одно, можно сказать, название. Из шести человек — четыре женщины. А что с ними,

с женщинами, сделаешь, если они только и знают, что покорно выполнять кем-то сказанное, не поднимая головы от грядки с утра до вечера. Есть во всей бригаде единственный парень, которого зовут Мулюк, точнее Гей-Мулюк. Помните? Приставку «Гей» к его имени аульчане прибавили не случайно, а в честь того, что он являлся сыном известного в ауле Гильмана, который в свою очередь прозван Гей-Гильманом. Если же забираться еще глубже, то и к самому Гей-Гильману фамильная приставка перешла от его отца, старика Юлдаша. То есть еще деду Мулюка Юлдашу досталось от аульчан это завидное счастье — носить перед своим именем такое, что никого не обойдет и не оставит без внимания, — «Гей». Это ли не клич! И его по праву первым присоединили к имени старика Юлдаша, старого джигита, который на скачках подбадривал всех этим возгласом и, между прочим, всегда приходил первым. И так привык, что без этого словечка к людям и не обращался. Потом и сын Гей-Юлдаша стал Гей-Гильманом, а сын Гей-Гильмана, не посрамив рода, стал Гей-Мулюком. Наследники старого Юлдаша не только не утратили дедовской привычки, но и прибавили к «Гей» и «Хай» много новых красочных оттенков.

Подойдет, скажем, Кулмет-агай к Мулюку, единственному представителю мужского пола в своей бригаде, даже рот не успеет открыть, чтобы дать очередное поручение, а тот уже кричит:

— Гей, Кулмет-агай, все будет сделано!

— Гей, Кулмет-агай, я мигом!

— Гей, Кулмет-агай, все в порядке будет!

Прикинул Кулмет и решил пойти именно к нему, единственному мужчине в бригаде, прозванному Гей-Мулюком.

Он выбрал день, когда Ярулла уехал в район на правленческом жеребце, запряженном в тарантас. Долго смотрел Кулмет-агай вслед удалявшейся голубой куштирэкховской дуге, а когда Ярулла совсем скрылся из виду, поспешил на колхозную конюшню и велел заложить две пары лошадей для пахоты. Потом опять заторопился — теперь уже к Мулюку: успеть бы им вдвоем перепахать участок, пока не вернется Ярулла.

И как, вы думаете, встретил Кулмета этот самый единственный мужчина в бригаде, его опора и последняя надежда по имени Гей-Мулюк? Он сказал бодро:

— Гей, Кулмет-агай, рад бы сделать, да не могу. Потому — повестка!

И он показал повестку, которая имеет такую силу, что

может остановить любого скакуна, мчащегося со скоростью поезда.

В повестке было сказано о том, что получивший ее Мулюк, сын Гильмана, должен явиться в военкомат на предмет определения пригодности для службы в рядах Красной Армии.

Вот тебе и Гей-Мулюк, опора и последняя надежда всей капустной бригады!

Ничего не смог сказать на это Кулмет-агай, хотя ему, как старшему, полагалось бы поздравить будущего воина и произнести какое-нибудь подобающее случаю напутственное слово. Впрочем, своим молчанием он облегчил положение шустрого Гей-Мулюка, в этот миг собравшегося на свидание к своей девушке. Парень надеялся еще немного и отдохнуть от многочисленных поздравлений аульчан, а особенно — от мудрых наставлений бывалых солдат из аула Куштирэк. В общем, Мулюк вполне порадовался, что Кулмет не бросился его поздравлять, а только промолчал.

— Гей, Кулмет-агай, не унывай! — произнес Мулюк, навострившись поскорее скрыться с глаз своего бригадира. — Я мигом вернусь! Вот увидишь: через два годика буду тут как тут!

Легко сказать: через два года! А что будет делать все это время руководитель огороднической бригады колхоза «Куштирэк» без него? Ведь остаются одни бабы! Одни женщины, которых ни пахать не заставишь, ни боронить, правда, еще никому не известно, намного ли хуже мужчин справятся они с любой задачей, если ее все-таки им поручат. А вдруг и справятся? А кому тогда с утра до ночи копошиться над грядками, если бы в руки женщины вверили коня с плугом?

Так и вышел сегодня Кулмет-агай один на весь огород, погоняя пару лошадей, впряженных в плуг. И опять он спешил, понукая коней и голосом и кнутом, забыв об отдыхе и еде. Но все же не смог одолеть до самого вечера свой огородный гектар. Намерился было сделать еще круг или два после заката, но темень помешала. Потный и усталый он вернулся домой и крепко-накрепко наказал жене — разбудить с рассветом.

А утром куштирэковцы стали свидетелями удивительного и доселе небывалого зрелища: землю пахали осенью. Пронесшемуся слуху мало кто поверил, и тогда стали сходить-ся и сбегаться к огороду, чтобы увидеть собственными глазами. Кулмет-агай не удостаивал любопытных даже взглядом и знал свое — гонять лошадей да как можно прямее выдерживать борозду. А борозда ложилась к борозде так плотно,

так красиво, что казалось, они прижимались друг к другу словно живые. Что касается красоты, то ее, конечно, понимали и видели те, кто вообще знает толк в этом деле и кого земля может увлечь даже одним своим запахом. Кулмет-агай не слышал и не замечал, что толковали о нем вокруг. А говорили разное:

— Зачем портить землю, а? Для чего разворачивать, когда на носу зима? Когда укрыть бы ее, чтоб теплее было!

— Знает, наверное, сам не хуже нас. Вычитал, может, из книги какой.

— Конечно, вычитал. Так пашут теперь везде. Это зябь называется.

Так вот и рядили. Одни осуждали ненужную затею, вредную для матушки-земли. Другие считали вспашку очередным чудачеством Кулмета, страсть как любившего всяческие новшества. Шума и споров было бы куда больше, появившись в толпе любопытных хоть один человек вроде Гей-Гильмана. Но Гильман, прозванный Гей-Гильманом, на этот раз не показывался возле огорода, а от подобной возможности пошуметь и поспорить его могли отвлечь только заботы о проводах своего достойного сына Гей-Мулюка. Кулмет продолжал работу, и аульчанам ничего не осталось делать, как понемногу да потихоньку разойтись по домам.

В цифровых колонках счетоводческих книг, где сосчитана общая площадь колхозной земли, один гектар не выглядит очень уж внушительной величиной, на которую сразу обращают внимание. Подумаешь, всего-то одна палочка в инвентарной книге или одна костяшка на счетах. А вот попробуй его вспахать, этот гектар, да еще за один день! На лошадях, конечно, однолемешным плугом. Лучшие пахари не смогли бы! Так вот, не смог одолеть свой гектар с единого разу и Кулмет-агай. Только на следующий день, начав спозаранку, завершил работу к полудню.

Если ж говорить по справедливости, то и гектар этот мог оказаться с большим «гаком». Такое частенько бывает у башкир, а уж у куштирэковцев — в особенности. Все у них с «гаком» — и гектары и километры.

Рассказывают: как-то один куштирэковец вез в свой аул какого-то начальника из райцентра. Едут, едут и все не могут доехать, а времени прошло порядочно, по расчетам вроде бы давно пора быть в ауле Куштирэк. Тот не стерпел, спросил: «Когда же доедем?..» Возчик ответил: «Скоро». — «Сколько же всего до вас километров?» — «Да этак двадцать с га-

ком». — «А сколько же будет в гаке?» — «А как еще столько же...»

Здесь, на участке Кулмета, могло случиться если и не смешней, так и не легче, имея в виду расход человеческой и лошадиной силы. Кто же ее, эту землю, измерял сто на сто метров точь-в-точь? Наверняка и здесь «как» был солидный. А к нему еще и сам Кулмет-агай прихватил — не удержался от нескольких дополнительных кругов, когда заранее наметенный участок был закончен. Короче говоря, прибавил к своему огороду заметный кусок за счет соседних участков, предназначенных по плану то ли под овес, то ли под горох.

Закончил капустный бригадир свою работу, отвел лошадей на конюшню и возвращался к себе домой, усталый, но довольный, очень довольный тем, что удалось ему перехитрить упрямого и несговорчивого председателя. И вдруг... что вы думаете? Навстречу ему тут как тут сам Ярулла-агай. Успел-таки вернуться из райцентра.

— Здорово, капустник! Как дела?

На этот раз Кулмет-агай не обиделся за «капустника», только улыбнулся виновато и заморгал, будто в ожидании более серьезных нареканий и словечек порезче.

— Видно, хватит у тебя сил не на одну баню, — сказал Ярулла, намекая на недавнюю историю. — Ишь какую гору переворoshiл! Молодец!

Даже обидно стало Кулмету за такой исход — хоть бы поругал человек, что ли! Так ведь получается, что все его ухищрения в расчет даже не принимаются!

По аулу быстро разнеслась и многих взволновала весть о том, что из призывников, приглашенных в райвоенкомат, четверо молодых куштирэковцев признаны годными для военной службы в рядах Красной Армии. Вспыхнули разговоры, суды-пересуды: кто радовался, а кто и удивлялся, пожимая плечами — почему, мол, мало отобрали в армию куштирэковцев. Шутка ли? Вызывали в район чуть не два десятка парней, а приняли только четверых! Теперь эти четверо ходили в счастливчиках, молодежь аула не скрывала зависти к ним, но что поделать! — готовилась устроить своим товарищам достойные проводы. Родители же этих ребят, особенно их мамы, не только гордились своими детьми, но больше, пожалуй, тревожились за них, порою и слезу не могли удержать и шли на всякие хитрости, чтоб подольше в оставшиеся дни побыть рядом с любимыми сыновьями, чтобы насмотреться, наглядеться на них, поговорить перед дальней и нелегкой дорогой, дать им последнее родительское напутствие. Но чаще

всего их усилия оказывались тщетными. Несмотря на удвоенный дозор и всякие домашние ухищрения, ребятам удалось улизнуть к своим девушкам, с которыми они все-таки проводили больше времени, чем дома. Словом, аул шумел, аул гудел.

Только двое куштирэковцев, каждый по-своему, выделялись своим настроением среди возбужденных односельчан. Кулмет-агай, например, совсем затосковал из-за того, что Мулюк, прозванный Гей-Мулюком, оказался в числе призванных, пригодных к строевой службе. В глубине души бригадир до последнего часа надеялся, что, может, еще забракуют парня и тем самым окажут большую услугу колхозному огороду в ауле Куштирэк. Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает,— не вышло! Видимо, на роду написано Кулмету работать с этими бабами, одному теперь и представлять сильный пол во всей своей могучей капустной бригаде.

А как отнестся к призыву и призывникам Ярулла-агай, сам председатель колхоза? Он внешне ничем не выдал себя, мол, дело естественное, обычное, на то они и джигиты, чтобы служить, ничего, мол, особенного нет, пусть едут. Но в груди невозмутимого председателя бушевала буря чувств: он сразу принял эту весть о призыве как счастливую находку, как алтын, найденный неожиданно на дороге. Дело в том, что в председательской голове давно кружились мысли, какой бы найти повод, чтобы пригласить в аул гостей из районных учреждений и соседних колхозов, показать им свой колхоз во всем блеске и во всем куштирэковском хлебосольстве. Тем самым можно было бы, между прочим, сгладить неприятный осадок, оставшийся от поездки капустников на районную выставку. Они, по мнению председателя, позорно подорвали престиж колхоза, заняв последнее, шестое место. Ярулла-агай был верен своей любимой пословице: «Не ягненком, так козленком», и мучительно искал, какого бы на этот раз найти «козленка», коль скоро не удалось из капустного «ягненка» вырастить хорошую овцу.

И вот выпал случай очень даже подходящий, чтобы созвать гостей, показать себя, показать колхоз, повеселиться. Надо же председательским словом напутствовать будущих красноармейцев и выпить малость за их здоровье и честную службу. Вот и решил Ярулла-агай особый день отвести для такого мероприятия, чтобы проводы призывников запомнились всему району.

Мы ведь знаем, была такая слабость у Яруллы — всегда

быть на примете, совершить такое, чего до поры до времени не бывало у других.

Готовились как надо: зарезали нескольких баранов и бычка холощенного. И было все, что надо гостю. Ему ведь мяса давай побольше да согревающего. Ну, а у куштирэковцев теперь есть что ставить на стол и кроме мяса. А картошка? А капуста? А огурцы? В общем, стол получился богатый.

Без маленького митинга какой же большой праздник может обойтись? И потому были произнесены подобающие речи, а потом все сели за столы. Гостей наехало много, да и сами куштирэковцы не запоздали — не заставили себя ждать. Зачем же мучить гостей? Конечно, только мужчины явились на этот праздник. Женщин в Куштирэке в таких случаях не приглашали. А зачем? У каждой хозяйки, во-первых, дома дела, а кроме того, и кто-то из гостей захочет вдруг навестить давнего приятеля, как это бывает в дни сабантуя, и хозяйка на этот случай должна же сидеть наготове? А потом... а потом, ведь провожают-то все-таки мужчин!

Итак, все мужчины собрались, гости приехали вовремя, и застолье началось. Надо напомнить, что подобное торжество даже и в Куштирэке проводилось тоже впервые. Сам-то Ярулла-агай, конечно, такое не раз видывал в жизни — в городе бывает человек, на совещания разные его приглашают. А ведь Куштирэк — не город и даже не районный центр, где же ему до банкетов, о которых пишут в газетах: «состоялся прием» или там в честь кого-то «был дан обед».

В Куштирэке принято так: соберутся мужчины и все гуртом ходят из одного дома в другой, пьют и угощаются. Появился, скажем, гость у кого-нибудь, так его не выпустят из аула, пока он не побудет во всех домах и не испробует еды и питья, приготовленных умелыми руками хозяек. Так и катится гость по всему аулу, как бочка, переполненная жиром. От такого гостеприимства, конечно, некоторым гостям случалось попадать и в лечебные учреждения. Ну и что из этого? Не для того ли и существуют больницы, чтобы лечить людей? Во всяком случае, смертельных бед от переедания не было.

Застолье началось председательским приветствием в честь гостей, которых потом перечисляли поименно, а если гость был из русских, вроде знакомого всем соседа Митрофана Кузьмича, то и отчество не забывали упомянуть, и не просто перечисляли по именам, а в честь каждого гостя поднимались бокалы, которые в Куштирэке заменялись гранеными стаканами. Гостей же было столько, что пока очередь дошла до тех, ради кого затеяли весь сегодняшний праздник, пока

вспомнили о призывниках, участники застолья изрядно повеселились. Кое-кто начал уже настраиваться на песенный лад. Не осмеливались же грянуть во весь голос только потому, что помешали неожиданные споры, разгоревшиеся на разных концах стола.

Причиной этих оживленных споров стали тарелки, в которых подали еду, те самые тарелки, которые привезли в магазин сельпо по настоянию самого Яруллы. Лежали они себе на прилавках, не находя до себя больших охотников. Продавец Мутал, он же и завмаг, принялся наседать на Яруллу: так, мол, и так, денежки только зря замораживаем. Тогда Ярулла сделал смелый шаг — закупил все тарелки оптом в колхоз, намерившись позднее раздавать их колхозникам по трудодням. Ногодились они еще раньше —годились к делу вот теперь, когда устроили столь многолюдное застолье! В точку угодил председатель Ярулла, как в воду смотрел!

Сам он, конечно, довольный своей дальновидностью, сидел за столом на почетном месте, расплывшись в улыбке и поглаживая живот, хотя не все присутствующие разделяли его радость по поводу тарелок, а наоборот, иные не стеснялись осуждать председателя.

— Чего только не придумает этот Ярулла,— заныл небызвестный Гей-Гильман.— Из тарелок только кошек кормят!

— Да уж! — поддержал Гильмана сосед.— Прямо стыдно перед гостями. Подумают, мяса у нас мало...

— Хы! — почему-то произнес Гей-Гильман вместо привычного для него «гей».— Какое же угощение в тарелках, а не в общей чаше? Его, угощения этого, и не видно совсем.

В подобных разговорах говорилось многое и «за» и «против». Тут и Кулмет-агай не стерпел, вмешался и поддержал Яруллу, хотя и не простил председателя за огород и за баню.

— Что вы знаете? — сказал Кулмет резко.— Что вы можете знать, что вы можете соображать? Разве можно за таким столом, при районных и прочих гостях кушать из одной чаши? Черт знает что могли бы о нас подумать! Сраму бы нажили на всю округу! Понимать надо!

Кто-то произнес новый тост, благодаря чему разговоры и перешептывания на минуту смолкли.

— Предлагаю, товарищи, выпить в честь нашего неизменного гостя и соседа Митрофана Кузьмича, председателя колхоза «Рассвет».

Выпили и снова принялись за закуски, шумно перекли-

каясь через столы. И гости, и сами куштирэкковцы не заставляли себя уговаривать, управлялись с едой проворно, без остановки. И все же Ярулла-агай через каждые два слова повторял:

— Кушайте-ка, дорогие гости, кушайте!

Гости кушали славно, пили и снова кушали, а Ярулла-агай знай повторял и повторял свое:

— Кушайте, товарищи, дорогие гости, кушайте.

— Ты рукой своей угощай,— крикнул кто-то председателю с другого конца стола,— собственной рукой!

Есть такой обычай у башкир — угощать собственной рукой. Этот обычай называется «хогондороу».

— Можно и так,— согласился Ярулла, и, взяв ложкой жирный кусок мяса, поднес к губам ближайшего из гостей.— Откушайте, пожалуйста.

— Гей, гей,— воскликнул со своего места Гильман,— не так! Не так! Руками! Пятерней надо! Что обычай старинный портишь? Придумает же, ложкой!

— Кто это сказал? — грозно спросил Ярулла-агай.— Чем я порчу старинный обычай? А? Ложкой? А пятерней, если хочешь знать, не положено в культурном обществе! Понял?

— Может быть, и так,— не унимался Гильман,— все равно с ложкой не то! Смысл не тот! Когда ты рукой своей, пятерней даешь, ты его и уважаешь больше. Собственной, значит, рукой кормишь!

— А ну вас,— махнул рукой Кулмет и, чтоб не слушать спорщиков, затянул песню:

Издали величаво красуется
Белокаменная гора Иремель.
Где только не несет службу
Храбрый джигит и его верный конь.

Песню никто не поддержал, и даже одобрительных возгласов не послышалось. Зато сразу вспомнили, что собрались то по поводу джигитов, отъезжающих на службу. Да еще каких джигитов! Да еще на какую службу!

Всем застольем разом крикнули:

— За здоровье призывников!

— За хорошую службу!

— За...

Ярулла-агай вскочил словно ошпаренный и крикнул во всю мочь:

— Тише, товарищи, дорогие, успокойтесь!

Чуть было не забыл он произнести свою речь, которую

готовился сказать в самом начале и которую задумывал еще с вечера. Он перечислил заслуги джигитов, призванных теперь в Красную Армию, но особенно тепло отозвался о Гей-Мулюке и его огородных делах, чем вызвал новое оживление за столами — вот и капустаникам в Куштирэке выпала неожиданная честь.

А потом снова потекли разговоры о том, кто и где и в каких частях нес военную службу, какую кто награду получил или чуть-чуть не получил в гражданскую войну.

Много интересного мог вставить в такой разговор и сам Ярулла — ведь ему довелось воевать в красной кавалерии и даже самого товарища Буденного видеть однажды на маневрах. Да, были у колхозного председателя дела боевые, кавалерийские... Кавалерия, брат, это настоящая служба, не то что пехота!

С глубоким сожалением подумал Ярулла-агай о том, что ребят нынче берут в армию без коней. А каких коней мог бы он выделить для молодых куштирэковских джигитов, для кавалерии красной! Каких коней! Видно, подумал он, пехота взяла верх в нашей Красной Армии, а в этом он, Ярулла-агай, усмотрел серьезное упущение самого наркома Ворошилова. Занятый своей невеселой думой, он не заметил, как подсел к нему Кулмет-агай, устремивший на председателя очень уж выпрашивающий и просительный взгляд. «Не догадался ли этот капустаник, о чем я думаю, — промелькнуло в голове Яруллы-агай, — не дай бог, еще не так поймет».

Кулмет-агай и в самом деле думал в эту минуту о делах военных, и тоже думал о них с сожалением. Мысли его не вознеслись, как у Яруллы, до самого наркома, зато уже военкомату в его мыслях доставалось изрядно. Это они, военкоматчики, оголили его огородную бригаду, взяв в армию Гей-Мулюка. Разве не могли найти другого джигита, даже в другом ауле?

— Чего подсел, как кошка? — сказал Ярулла-агай и хитро улыбнулся. — Подсел и не скажешь, чего тебе надо.

— Чего мне надо? — с упреком ответил Кулмет-агай. — Человека надо, вместо Мулюка Юлдашева.

— Ишь ты! Нет у меня людей для тебя, понял? Не могу его вернуть из Красной Армии. Сам нарком теперь распоряжается ими, сам Ворошилов, понял?

— Ими нарком будет командовать, а в колхозе пока ты... Чего мне одному. В огороде-то?

— Гей! — воскликнул Ярулла, и это получилось у него даже лучше, чем у самого Гей-Гильмана. — Гей, Кулмет-

кордаш, не горюй! Не пропадать же нам теперь из-за Мулюка твоего!

— С кем я буду работать? — настаивал Кулмет, решивший, что отступать уже некуда. — С кем выращивать ту же самую капусту? А?

— Капусту? — переспросил Ярулла, ехидно улыбаясь. — А зачем?

— Как это — зачем? — вспыхнул Кулмет, не желая принимать злых шуток председателя. — Чтобы вот таким, как ты, председателям было чем гордиться. Понял?

Он еще не знал в эту минуту, что Ярулле тоже было не до шуток. Давно назревала в его душе неприязнь к этим вот капустным затеям Кулмета. И вот пришло время высказать это прямо в глаза.

— Не надо нам, дорогой, твоей капусты. Потешились, и хватит! А участок твой отберем и засеем что-нибудь такое, чего не было во всем районе. Чтобы все ахнули от того, как работают в колхозе Куштирэк. Понял? А с капустой твоей, брат, далеко не уедешь! Все, кончено!

10

Порою и за год ничего особенного не случается в ауле Куштирэк, если не считать, что в каких-то домах рождаются дети, а в каких-то уходят из жизни старики. Само собой, кто-то дом новый построит или там баню или обзаведется скотиной, но такое почти ни в ком не вызывает удивления. Все привыкли и к тому, что со времени создания колхоза каждый год появляется в ауле какое-то новое здание. Скорее куштирэковцы удивились бы обратному; то есть если бы вдруг какой-то год обошелся без новой постройки. Надо, однако, сказать, что детишек в ауле Куштирэк рождается все же гораздо больше, чем возникает новых домов. Об этом со всей серьезностью заявил счетовод колхоза Маснави, тот самый Маснави, который любит все считать да пересчитывать. Но и помимо его подсчетов, новорожденных в сельсовете (так же, как и умерших, а также и вступивших в брак) записывают в особую книгу, а потом выдают на руки бумагу, называемую метрикой. Конечно, в давнишних обычаях куштирэковцев такого не водилось, чтобы аульчане жили по справкам и бумажкам. Но раз уж все это исходит от властей, а властям виднее, то и стали в Куштирэке не только постепенно привыкать к этим бумажкам, но и питать к ним положенное уважение.

Ничего не изменилось в ауле Куштирэк и за эту зиму, что принесла, как всегда, много снега и холода.

Колхозники в эту пору не утруждали себя особыми заботами — днем чаще всего проявляли интерес к сытной еде, а вечером посещали кто клуб, а кто школу, где придумали обучать грамоте таких «детей», у которых своих было по десятку. В общем, жизнь протекала в тепле и уюте, на заботы никто не жаловался, но хлопоты иногда выпадали. Ведь не обойдешься, например, без того, чтобы не съездить в гости, а потом, конечно, и самому принимать гостей.

Кулмет-агай в эту зиму не принимал гостей и сам ни к кому не ездил. Не посещал он также и ликбеза, ибо считался в ауле одним из грамотеев. Не только на своем родном языке мог читать и писать, но и русской грамотой владел довольно сносно. Не так, конечно, скажем, как тот же счетовод Маснави, умеющий по всякому поводу составить тебе акт или протокол или там накатать заявление хоть в райцентр, хоть в Уфу. Кулмет-агай не имел обычая возиться с такого рода делами. Он предпочитал газеты и журналы, а также брошюры, особенно если попадались про огороды и про овощи. Читал он медленно, по слогам, но упорно. Брошюру о пользе помидоров в жизни человека он зачитал до дырок — пять раз с начала и до конца! Не потому, что помидоры были ему дороже других культур, а просто не имелось под руками другой книги. Только в эту зиму он получил пополнение — две брошюры прислал ему красноармеец Мулюк Гильманович Юлдашев, который нес службу на украинской земле.

О том, что на имя Кулмета Котлуюлова прибыл большой конверт, в котором прощупывались какие-то книги, в ауле говорили как о крупном событии. Особенно довелось поусердствовать Гей-Гильману, и это понятно: ведь он был отцом Мулюка, прозванного Гей-Мулюком. Каков же оказался сынок! Обидел отца на старости лет: прислал подарочек не родителю своему, а бригадиру. Лишь чуть позднее Гей-Гильман одумался и повернул свои речи по-новому.

— Гей, слышали? — говорил он почти каждому, кто попадался на глаза. — Сын-то мой, красноармеец, что стал творить? А? Бригадира своего стал учить! В меня пошел, чертяга, у отца унаследовал. А если посмотреть вглубь, весь род наш такой! Дело знаем и грамота при нас!

Кулмет посмеивался, довольный тем, что своей болтовней Гей-Гильман оказывал ценную услугу и ему, Кулмету, и его огородному делу: никто так не мог раззвонить о пользе овощей, как делал это Гей-Гильман.

Что касается присланных книг, то читались они с небывалым еще трудом. На каждой странице Кулмета подстерегали пять, шесть, а то и до десятка непонятных для него слов. Он почти ежеминутно лез в словарь, где отыскивал похожие слова и часто вовсе путался в смысле, но упрямо листал дальше свою книгу. Конечно, мог бы он и к сыну обратиться, чтоб помог. Сынок учился в шестом классе и в русской грамоте был, наверное, посильнее своего отца, но как это вдруг обращаться за помощью к такому шалопаю! Разве лишь для того, чтобы опозориться в глазах всей семьи или даже всего аула. А к кому пойдешь, если из мужчин-сверстников нет в ауле никого, кто был бы грамотнее самого Кулмета.

Мог бы он, конечно, пойти к учительнице. Но как тогда аульчане истолкуют это его посещение? Не сочтут ли, что Кулмет зазнался до того, что захотел для себя личного ликбеза? Выходит, отпала надежда и на учительницу. И осталось карабкаться и продираться сквозь страницы книг в одиночку, постигать в муках строчку за строчкой. К весне он сумел все-таки одолеть обе книги и понять, что к чему в них.

Тихо и мирно, в книжном труде протекали дни Кулмета, однако не забывались и обиды, нанесенные ему председателем. Видно, Ярулла совсем перестал верить в Кулмета, но и Кулмет уже не надеялся на Яруллу. Настало время беспокоиться о самом малом и последнем — сохранить бы и тот огород, что есть, а не помышлять о машинах и бескрайних грядках.

Кулмет-агай с тех пор, как стал бригадиром-овощеводом, привык делить людей аула на два сорта: на тех, кто душой за огород и за овощи, и на тех, кто против. Так вот, хотел или не хотел Кулмет, а теперь должен был признать, что сам Ярулла, председатель колхоза «Куштирэк», стал противником огорода.

Конечно, и противники разные бывают. Кто-то по своей неучености и по привычке дурной кричит: мол, не надо, не люблю, не хочу капусты или там моркови. Вкуса, мол, и запаха не выношу. Таких можно сразу осадить. Сам, мол, не любишь, зато детям твоим от овощей польза будет. Уж кто-кто, а Кулмет-агай знает теперь, как появляется у людей вкус к овощам. А вот когда противник оказывается грамотным или, как говорят, культурным, да еще к тому же и сидит у самого руля, тогда никакой борщ не поможет.

Кулмет-агай знал уже, что лаской такого противника не возьмешь, уговоры на него тоже не действуют. Пугать его или давить на него — себе дороже станет. Поехать в район и

заручиться там бумажкой от каких-либо властей? Этим тоже не возьмешь. Бумагу Ярулла передаст счетоводу Маснави, тот прочтет вслух, пришьет к делу, на том все и кончится.

Что же станется с огородом? Как быть дальше? Неужели пропадет в зачатке такое хорошее дело и никогда не будет в Куштирэке своих овощей?

Всю зиму терзался Кулмет-агай этими вопросами и так затосковал о своем огороде, что не выдержал и однажды в погожий весенний день пошел навестить. Земля, покрытая снегом, спала спокойно. Лишь кое-где слегка подтаяло, а наст еще держался крепко. Кулмет нагнулся и своими захватистыми варежками выгреб в одном месте широкую лунку, чтобы повидать хоть чуточку земли, родной ее кусочек. И вскоре в глубине снежной ямки зачернел зрачок — это земля выглянула из-под снега, словно ребенок, спросонок приоткрыла глаз.

— Спишь? — сказал Кулмет, обращаясь к земле. — Спи... спи... Даст бог, мы еще тебя разбудим, дружок.

Никогда раньше он не разговаривал так, один на один с землей-кормилицей. Он не мог не растрогаться при мысли, что никогда прежде ему в голову не приходило так поговорить... И долго еще стоял Кулмет, обозревая свой огородный участок. Ему казалось, что земля дышит, словно живая, и просит его руки.

11

С приближением весны все тревожнее становилось на душе Кулмета. Каждый раз при встрече с Яруллой его охватывало тяжелое чувство. Ведь с ним еще в пору юности вместе бегали за девушками, а потом не однажды делили пополам единственный кусок хлеба. Да и в более серьезных передраках не раз бывали и выручали друг друга. Надо же случиться такому, что человек, которого он считал самым близким другом, превратился теперь в противника его дела. С большим трудом сохраняя внешнее спокойствие, Кулмет решил действовать обходным путем, через счетовода Маснави, предварительно переманив его на свою сторону.

Нашелся очень удобный крючок, на который он и намерился подцепить счетовода: разве не в его бригаде работает жена Маснави! Чем не повод поболтать о житействе и попутно поговорить о судьбе колхозного огорода?

Жену счетовода звали Салимой. Как и все порядочные люди в Куштирэке, она тоже имела прозвище: «кумысница». И опять же, как и все прозвища, закрепленные в Куштирэке за порядочными людьми, ее прозвище оправдано было тем,

что она умела делать лучше других и в чем ей сильнее всего завидовали. Искусство готовить кумыс передала ей родная мать, может быть и сама того не желая. Да и как пожелать дочерям этот промысел, требующий постоянного беспокойства и многих бессонных ночей? Но Салима втянулась в это занятие без каких-либо тягот ума и сердца, как будто на роду ей было написано стать искусной кумысницей. Перебравшись в дом жениха (а она и росла в ауле Куштирэк), Салима тут же взялась доить кобылиц, готовить кумыс, никого даже ни о чем и не спрашивая. К тому времени, когда они с мужем Маснави отделились от отцовского дома, Салима накопила немалый опыт в хлопотливом хозяйстве свекрови. Разумеется, ее имя называли первой, когда речь зашла о производстве кумыса в колхозе Куштирэк и о том, чтобы выбрать мастериц этого тонкого дела. Она согласилась без промедления и даже с радостью. Салима увидела в этом заботу и признание своего искусства мужем, который, конечно, рассказал на правлении о достоинствах своей жены. Ах, если бы ей знать, что ее Маснави из всех сил возражал против этого и против кумыса вообще, а согласился лишь под нажимом других. Да и какой же порядочный муж, тем более счетовод всего колхоза, сможет отпустить жену из дома на целый день-деньской!

При первом же удобном случае Маснави вырвал Салиму из кумысной, где уже сколотилась к тому времени неплохая бригада, и перевел ее к капустникам.

Перевел не то чтобы с согласия Кулмета, а даже немножко и нажал на него. Тот взял, как говорится, со скрипом, надеясь лишь, что в случае чего, если дела не заладятся, можно будет и сплавить Салиму из бригады, тогда и счетовод поможет. Но вышло так, что Салиму не пришлось сплавлять. В работе она была неутомима — не давала покоя другим, и даже сам бригадир Кулмет не всегда за ней поспевал.

Словом, у Салимы все горело в руках: и в огороде и дома. А это как раз и устраивало Кулмета, и мужа ее счетовода Маснави.

Итак, Кулмет-агай пришел к счетоводу не просто как бригадир, под началом которого находится жена Маснави. Он зашел в правление вроде бы не к Маснави-счетоводу, а к Маснави-мужу. Понятное дело, он выбрал для этого час, когда не было в правлении Яруллы, разговор же с Маснави начал все-таки со счетоводческих забот — так требовало приличие, да и нужную струнку в душе Маснави надо было задеть сразу.

— Как дела, Маснави? — как можно сочувственнее спросил Кулмет. — Не устают ли твои умные пальцы?

— С чего бы это? — удивился тот. — Было бы что считать... Пальцы выдержат.

— При твоей расторопности найдется и что считать, — подмазал колесо покотившегося разговора Кулмет-агай. — Ты ведь в ауле самый грамотный и культурный!

«Колесо» будто бы закрутилось, завертелось веселее, и разговор побежал словно сам собой.

— Тэ-э-эк, — усмехнулся, однако, Маснави. — Что дальше?

— Все могут твои умные руки, — не смущаясь, сыпал Кулмет хвалебные слова. — Ты ведь так хорошо и складно пишешь по-русски, что даже председатель ЦИКа, сам товарищ Калинин, не возвращает твои бумаги.

Маснави успел, конечно, понять, что Кулмет появился к нему неспроста, пришел по какой-то неотложной надобности — иначе зачем же еще бригадиру, ответственному человеку, рассыпаться в похвалах перед простым колхозным счетоводом. Поэтому Маснави, не мешкая, круто перевел «колесо» с колеи на обочину.

— Понял, Кулмет-агай, — сказал он, спрятав улыбку, — говори прямо: что тебе надо?

Не ожидая столь быстрого и крутого поворота, Кулмет-агай даже растерялся.

— Чего прямо? — спросил он, часто моргая глазами. — Разве я не говорю прямо?

— Нет, ты что-то другое пришел сказать, Кулмет-агай, — продолжал Маснави, стараясь глядеть на бригадира участливыми и добрыми глазами. — Не затем же пришел, чтобы меня хвалить. А? Давай лучше, выкладывай сразу, пока никто не мешает.

— Так ведь и ты понимаешь, браток Маснави! — вздохнул Кулмет. — Палка и то сразу не поддается, возьмешь в руки и не ломаешь...

— Считай, что я уже готов. Сломался. Начинай.

— Ну, ладно. Начинать так начинать.

— Жду.

— Сказать прямо или надо сначала объяснять?

— Прямо, прямо, не стесняйся, Кулмет-агай.

— Сначала все-таки малость поясню. А то вдруг не поймешь или поймешь, да не так.

— Нет, нет, давай прямо, без пояснений.

— Ну, что ж, прямо так прямо, — набрался решимости

Кулмет, хотя и покашлял при этом без всякой необходимости.— Вот я и хочу сказать тебе прямо.

— Да, да. Я жду.

— Ты, конечно, знаешь, сколько и где женщин работает в нашем колхозе, чем они заняты...

Маснави оторвался от своей конторской книги и посмотрел на Кулмета удивленными глазами: мол, ничего себе прямой разговор и не стал ли заговариваться капуста.

— Ты о чем, Кулмет-агай?

— Как о чем? О делах наших колхозных, браток Маснави. О том хочу сказать, что людей не хватает. Поэтому всем надо работать — и мужчинам, и женщинам. Ведь, слава богу, у нас равноправие.

— Ну да, равноправие,— согласился счетовод.— Мы так и делаем. Никого не обижаем. Ни мужчин, ни женщин. Всем даем работу — кто, конечно, хочет работать.

— Не-ет, брат, ты не хитри,— протянул Кулмет-агай, довольный, что наконец-то может выложить самое наболевшее.— Работы, ее много, да не все на нее рвутся. Взять хотя бы женушек нашего начальства. Мало ли их сидит по домам? А народ удивляется. Народ пальцем указывает.

— На кого указывает? Моя-то Салима, слава богу, за двоих тянет. Твоя тоже работает. Все лето спин не разгибали.

— Ты ведь сам просил, чтоб я взял Салиму.

— Ну, просил. Что из этого?

— Просил, чтобы удобнее было. Ближе от дому и так далее.

— Ну, допустим, так. Что дальше?

— Огород как-никак — не кумысная, где надо пропадать днями и ночами. Там они встают вместе с солнцем и ложатся с солнцем. По пяти-шести разов за день доят кобылиц... А потом каждый час, а то и каждую минуту следи, как кумыс твой созревает... Так что, брат ты мой, это разные вещи — в огороде или в кумысной работать!

— Работа — везде работа,— не сдавался Маснави.

— Так-то оно так,— наступал Кулмет.— В огороде, однако, выгоднее жену держать. Понял? Прибежала туда, покопалась малость, опрыснула водой грядки — и опять домой быстренько... Чего еще мужьям надо? Им того и надо, чтобы жена побольше дома сидела, чтобы за порядком там следила. Разве и ты не этого хотел, когда просил взять Салиму на огород! Хотел хоть малость выгадать — чтобы жена шибко не отлучалась от дома...

Лицо Маснави залилось густой краской. «А ведь правду подметил хитрый капустаник!» Ему стало неловко и захотелось побыстрее дать разговору другой поворот.

— Вот что, Кулмет-агай,— сказал Маснави подчеркнуто сухим голосом.— Разве не ты у нас бригадир огородников? И разве это не твоя обязанность — следить, чтоб все работали на совесть, а не разбегались по домам? А если ты все же бригадир, то почему тебе не подчиняется жена счетовода?

— Нет, нет! Я на нее не жалуюсь,— замахал руками и поспешил внести ясность Кулмет.— Боже упаси! Салима у тебя труженица. Откуда только силы? Ни-ни! Об этом даже речи нет. Получше многих мужчин управляется. Судьба тебя не обидела, брат...

— Так на что же ты тогда жалуешься?

— Я не жалуюсь. Я только говорю... Я только хочу спросить... хочешь ли ты, чтобы твоя жена оставалась на нынешнем месте, на огороде, значит?..

— Так ты пойдй у нее спроси.

— Не-е-е, брат, это тебя больше касается, чем ее.— Кулмет-агай уже смекнул, что Маснави склоняется на его сторону.— Ответь: хочешь или нет? Сразу видать, что хочешь, только не говоришь.

— Ну, пусть будет по-твоему.— Маснави посмотрел на Кулмета так, словно хитрый капустаник совсем его доконал.

И только теперь Кулмет-агай поведал счетоводу всю горестную огородную историю, а потом выложил свой план спасения участка дорогой для него земли, над которой нависла угроза уничтожения со стороны самого председателя колхоза «Куштирэк».

— Фу-ты ну-ты, давно бы об этом сказать,— воспрянул Маснави, выслушав рассказ бригадира.— А то тянешь, тянешь, попробуй догадайся, чего ты хочешь!

Затем он помолчал, постоял возле своего стола, подумал и сказал:

— Хорошо. Согласен. Попробуем образумить председателя. А уговорами не получится, тогда...

Счетовод еще и сам не знал, что придумать, если Ярулла-агай заупрямится и будет настаивать на ликвидации огорода. Во всяком случае, теперь-то Маснави приготовили к тому, чтобы перехитрить председателя, коли не поможет разговор на прямоту. Колхозный огород должен уцелеть, и пусть Кулмет думает, что Маснави постарался ради своей жены. А что? И это тоже верно. Разве плохо Салиме на огороде, где она работает лучше всех?

— Обещаю тебе, Кулмет-агай,— сказал счетовод на прощание,— огород останется на месте. И бригадир его тоже. И все остальные...

— Хорошо,— сказал Кулмет, окрыленный удачей, и молодецки вскочил на ноги.— Ты настоящий джигит, брат Маснави. Про таких, как ты, раньше говорили: с таким коней воровать можно!

12

К Майскому празднику Кулмет-агай получил новую посылку от красноармейца Мулюка Гильмановича Юлдаева, бывшего капустника колхоза «Куштирэк». В посылке было несколько книг, но еще в ней оказались пакетики с семенами каких-то новых сортов овощей, выращиваемых на украинской земле. С большой радостью принял посылку Кулмет-агай, а потом с гордостью рассказывал о ее содержимом, и аульчане высказывались с одобрением о красноармейце Мулюке, немножко завидуя при этом бригадиру Кулмету, которого не забывал молодой капустник. Пожалуй, один лишь Гей-Гильман воспринял это событие без всякой радости, усмотрев в этом поступке сына Мулюка чуть ли не измену своему роду-племени.

— Я его, шайтанова сына, вырастил,— рассказывал Гей-Гильман с горечью,— я его воспитал, в Красную Армию отправил. А он что делает? Отца родного забывает, а капустнику своему, гей! — этому самому Кулмету, каждый месяц посылки высылает. Я ему покажу, как вернется, я его выпорю при всех, чтоб неповадно было!

Кто хорошо знал Гей-Гильмана, тот сразу смекал, что папаша лишь для виду напускает на себя гнев и обиду. На самом же деле хочется ему лишний раз выпятить деловую хватку своего сына, мол, и в армии не забывает своего занятия. Что касается Кулмета, так ему казалось, что это вся Красная Армия, во главе с самим наркомом Ворошиловым, поддерживает его, Кулмета, за капустные дела в ауле Куштирэк. Был доволен и счетовод Маснави, который серьезно готовился к решающему разговору с Яруллой и собирал все подходящие факты и цифры, не упуская ни газетных сообщений, ни высказываний односельчан в пользу огорода.

После памятного разговора с Кулметом Маснави сам списался с Мулюком, расспросил обо всем и по достоинству оценил его преданность капустному делу. Заодно и как будто невзначай посоветовал Мулюку написать подробное пись-

мо самому председателю с небольшим напоминанием, что вот, мол, вернусь в колхоз и опять возьмусь за овощи. Как там, мол, поживает наш колхозный огород? Прибавили под него земли? Пусть-ка попробует Ярулла не откликнуться на голос красноармейца, защитника нашей Родины! Тогда ему самому не поздоровится, в том числе от своих же аульчан-куштирэковцев.

Все тонко рассчитал счетовод, прежде чем повести разговор со своим председателем; продумал каждую мелочь, с чего начать, куда клонить и чем кончить. Не бывало еще такого случая за все годы, что они проработали вместе, чтобы счетовод Маснави не убедил в чем-либо своего председателя. Не случится такого и на этот раз.

Разговор их состоялся как раз накануне сева, когда Ярулла-агай вернулся из района с очередной важной встречи председателей колхозов. Он появился в ауле веселый и бодрый, так что сразу чувствовалось — не зря съездил в район, а приехал с какими-то новыми планами, которые непременно помогут прославить колхоз с какой-то новой стороны, вознести его на новую высоту, ну, а вместе с колхозом вознесется, конечно, и его скромный председатель.

Начал Маснави издавека — будто перенял повадку Кулмета в памятной беседе с ним самим.

— Красноармейцы-то наши хорошо служат! — сообщил счетовод, когда Ярулла-агай уселся на своем правленческом стуле. — Оправдали наше доверие и наказания. Ей-богу!

— А чего им не служить? — не удивился старый конник Ярулла. — Живут по распорядку и горя не знают.

— Видно, обучают их там всему, заодно готовят и к мирным занятиям...

— А чего еще остается? Войны, слава богу, пока нет... «Ать, два, кругом!» И все! То ли дело, когда мы служили!

— Да-а! — обрадованно подхватил Маснави. — Вам-то пришлось повоевать... Про кавалерию красную песен одних сколько!..

Тут уж Ярулла поспешил сам оседлать любимую тему:

— А все же недодумали наши большие командиры, что призывают нынче молодежь без коня. Пехтурой идут в армию. Какой же служака без коня? Куда он годится, пеший против конного?

— Истинную правду говорите, Ярулла-агай, совершенно верно.

— Эх, каких коней я отдал бы им, а! И своего бы жеребца не пожалел...

— Своего? Гнедого?

— Ну да, гнедого. Сам бы в район на другом ездил!

— Ох, Ярулла-агай! Будто сердце вы оставили в красной кавалерии!

Так Маснави плескал понемногу маслица в огонь, который уже и без того разгорался все сильнее.

— Да-а-а, Ярулла-агай,— еще капельку плеснул счетовод,— только вы можете так! А другой бы ни за что!

Видимо, все-таки уловил многоопытный председатель некоторый излишек слащавости в речах своего счетовода и сразу насторожился: подобные изменения в голосе происходили обычно перед тем, как председателю приходилось выслушивать очередную неприятную для него просьбу.

— Чего это ты вдруг распелся? — хмуро спросил Ярулла, меняясь в лице.— Или нужда какая пришла? А?

— Мне-то? — Маснави выгадывал время.

— Мне, что ли? — напирал Ярулла-агай.— Конечно, тебе. Может, в гости к своей теще собираешься?

— Какая там теща? Весной не до гостей.

— А чего же тогда?

— «Чего, чего»?! Мне ничего не надо, Ярулла-агай, ничегошеньки! Сыт и одет, слава богу. Работаю честно, и скажу прямо: работать с вами одно удовольствие. Если бы даже стал просить, и то не для себя.

— То-то же! Затараторил «ты» да «вы». Ты давай, брат, хвали, да знай меру!

— Я всего-то и хотел спросить: вам успели передать письмо Мулюка Юлдашева? Вот и все...

— Ну, и что, если успели? Что?

— Так, ничего. Я просто так. Хорошо ведь, когда красноармейцы наши пишут. Не забывают колхоз, про дела свои не забывают...

Вот, кажется, и подоспела та минута, когда в самый раз выложить председателю все неоспоримые доводы в пользу колхозного огорода и окончательно выяснить, каково все-таки решение Яруллы на сей счет. Если он против разведения овощей, тогда уж ничего не останется, как созывать общее собрание и товарищей из района приглашать на подмогу... Маснави уже набрал воздуху в легкие, чтобы на едином дыхании, без запинки произнести решающую фразу, но Ярулла-агай опередил его неожиданным вопросом:

— Скажи-ка, Маснави, сколько лет твоя женушка кумысом занимается?

— Она? Жена моя? Салима? — опешил счетовод.

— Ну да, я о ней спрашиваю, о Салиме.

— Так она с детства,— ответил Маснави и с каким-то необъяснимым беспокойством посмотрел на председателя.— А к чему это вы?

— А к тому,— ответил председатель, повышая голос,— к тому говорю, что ей придется снова заняться кумысом.

— Снова? Как снова? Как это понимать?

— Понимать надо так,— спокойно разъяснил председатель.— Будет Салима впредь заниматься тем, чему научена с детства.

— Ну а, ну а...— начал Маснави и почувствовал, что у него вдруг пересохло во рту.— Ну а кто будет там... И что будет там?

— Там будет трарарам! Придет время, посмотрим, кто и что будет там.

Маснави живо представил себе, как его Салима снова запропаستится на этой кумысной, а все домашнее хозяйство враз обрушится на его плечи, то есть на плечи мужчины, и не просто мужчины, а колхозного счетовода, который теперь вот в один миг успел взвесить и сосчитать не только тяжесть домашних хлопот, но и количество едких соседских насмешек. В глазах его не то чтобы потемнело от этих расчетов, но как-то сильно зарябило.

— На кумыс? — переспросил он, осмелев от собственных подсчетов.— Нет, Ярулла-агай, хватит с нее. На кумыс надо молодых ставить...

Маснави, однако, не мог и подумать о том, как далеко простирались замыслы председателя колхоза «Куштирэк». Ярулла-агай загадывал так далеко и так широко, что не обратил никакого внимания на смелое замечание Маснави, а когда счетовод услышал наконец о председательских планах, вот тогда-то у него по-настоящему потемнело в глазах. А что, вы думаете, сказал ему Ярулла-агай?

— Салиму, брат ты мой, мы отправим в этом году к нашим соседям. Пусть научит их делать кумыс. Пошлем ее как бы в длительную командировку. В колхоз «Рассвет». Друзья наши в Михайловке кумысом заняться задумали, надо им помочь...

Маснави ничего не ответил. Он остолбенел. Ярулла-агай будто и не говорил с ним, а читал торжественное постановление и заключил для пущей важности:

— Это, брат ты мой, приказ сверху! Понял? Из райцентра исходит!

Если Маснави все-таки больше заботился о собственном благополучии, то Кулмет-агай, как мы знаем, забыл обо всем на свете, кроме своего злосчастливого огорода. Забыл о сне и отдыхе, а впереди его ждала и вовсе убийственная весть. «Все! — решил он тогда про себя. — Если уж Салиму, жену счетовода, сам председатель убирает, значит, огороду каюк! Значит, и землю отберут, а людей разошлют по другим бригадам».

Кулмет-агай заболел. Слег самым серьезным образом и даже от лечения отказался. Сания-енге заварила ему настой из разных трав, раздобыла сушеных ягод, лесных и полевых — ничего не помогло. Да и как могло помочь, если сам Кулмет-агай даже не притронулся ни к одному из лекарственных снадобий.

— Не живот у меня болит, женушка, — говорил он заботливой своей супруге. — Вот здесь болит. Вот здесь. В груди.

При этом он обводил рукой окружность возле сердца, и бедная Сания-енге все больше теряла покой. «Не иначе как шайтан попутал, — думала она. — Надо хоть молитву над ним произнести...»

Сказать о своих мыслях мужу она побоялась. Не таков ее Кулмет. Видно, недаром всю жизнь тянуло его к книжкам — вот и уверовал больше в силу своей капусты и моркови с их витаминами, чем в молитвы и шепот знахарей!

Болезнь Кулмета дала аульчанам новый повод для разговоров на его любимую тему — о якобы огромной пользе витаминов для всякого человека. Противники хлопотных огородных затей расценили его немочь как верный знак того, что пользы от витаминов никакой не существует. Иначе, мол, не заболел бы сам Кулмет-агай, главный капустник и витаминщик аула.

— Заболел, значит, — говорили они, — и капуста не выручила?

— Вот и верь этим самым витаминам! Уж он-то употреблял их, он-то принимал! Проценты даже высчитывал.

Особенно часто в таких разговорах слышался зычный голос Гильмана, прозванного Гей-Гильманом.

— Ничего он толком не знает, бедный наш Кулмет! Только и повторял: «Овощи да витамины...» Не то, братцы, не то! Постарел и ослаб наш главный капустник.

— Из-за чего столько шума? — заступались за Кулмета

те, кто сочувствовал его капустным затеям.— Отлежится, встанет, шибче прежнего возьмется за свое. Сейчас для огородников самая пора наступает.

— Встать-то встанет,— все не унимался Гей-Гильман,— а толку от него теперь? Истинную правду вам говорю. Гей! Вот сын вернется из Красной Армии, тот покажет! Совсем не так повернет дело. Он, братцы мои, такого посеет да насажает, что всякая болезнь аул за версту обойдет.

— Где же он, твой сынок, этакое достанет?

— А он достал уже, если хотите знать! Гей! Это вам не капуста — одна штучка в кулаке уместится, а самую распроклятую болезнь выгонит. Понятно?

— Даже холеру?

— И холеру, и оспу!

— Как оно хоть называется? Открой и нам. Может, где попадется...

— А называется, братцы мои, по-русски шеснок.

— Ага, а не чеснок ли?

— Может, и чеснок. Черт его знает. Кто там в названиях копался? Дело не в том, как называется, а какую силу она, эта штучка имеет. Я вам скажу, от одного его запаха всякая болезнь пятится. А сжевать да проглотить всего дольку надо! Вот столечко!

— Н-да! А что же он, твой сын, чесноком этим бригадиру своему не пособил?

— Да разве пособишь за тыщу верст? На таком расстоянии! Как-никак Мулюк мой на службе! В Красной Армии! Или не понятно? Гей! Вот приедет, тогда уж покажет!

Люди навещали больного Кулмета, расспрашивали Санию о самочувствии муженька, не скупились на советы: как лечить, чего давать, а чего не давать, чем кормить и чем поить. И для всех казалось странным и непонятным, что Кулмет-агай никого не слушал и никому не отвечал. Поговаривали аульчане, что и вообще-то за все дни Кулмет-агай не произнес ни одного слова. Смотрел куда-то в одну точку и все лежал... Только рукой иногда махал, кто подходил близко: мол, не утруждайся, я сам все знаю и все понимаю.

Старухи по аулу перешептывались: «Не иначе, как шайтан попутал Кулмета. Совсем языка лишился, бедняга. Дескать, надо было знахаря к нему какого...»

Но совсем всполошились в ауле, когда в одну прекрасную ночь больной исчез из дома. С вечера лежал как обычно, как положено больному, а стоило женошке его отлучиться, чтобы хоть чуток вздремнуть, встал себе и пошел. Никто

в доме не спохватился — дети тоже спали. Лишь под самое утро Сания-енге обнаружила пропажу мужа и вся в безумной тревоге бросилась к соседям за помощью. На дворе уже светало. Подняли шум-гам, крик, кто кинулся в сарай, а кто в хлев, лезли уже и на крышу — больной исчез без следа. Опамятовались, однако, когда кто-то из ребят крикнул, показывая в сторону колхозного огорода:

— Там он, там!

Да и где же еще оказаться Кулмету? Кое у кого в этот миг мелькнула мысль: уж не собрался ли тяжкий больной в последний раз взглянуть на свой огород? А то и слечь там навсегда! Куда там! Аульчане не поверили своим глазам: когда же это успел Кулмет забороновать весь огородный участок, который расстилался теперь перед аульчанами словно большое и мягкое одеяло — хоть ложись на него и грейся его пухом. А не хочешь — смотри и любуйся.

Никому ничего не сказал Кулмет-агай, будто и не окружили аульчане огород со всех концов. Он безмолвно правил бороной. Когда сделал последний круг, со стороны аула показался озабоченный Ярулла.

— Нашелся? — крикнул он еще издалека. — Куда же он денется, чудака эдакий!

Вот тут и вернулся к Кулмету дар речи. Да еще как вернулся! Для Кулмета дар, а для Яруллы — прямо удар.

— Не подходи! — заорал на председателя Кулмет-агай.

— Что? — опешил Ярулла, не поверивший своим ушам. — Что? Как это?..

— Не подходи! Все равно не пущу!

Люди вокруг переглядывались, молча сходясь во мнении, что болезнь еще не покинула бедного Кулмета, который не думал униматься и упрямо кричал свое:

— Не твой участок, а колхозный! Решали всем правлением! Не имеешь права у нас отнимать!

Аульчанам осталось лишь удивляться небывалой смелости Кулмета. Ведь всегда знали капустника как человека тихого и безропотного, а тут — с криком, да на кого! На самого председателя Яруллу!

«Ишь, однако, как осмелел, — озадачился между тем и сам Ярулла. — Прямо не узнать! Уж не витамины ли помогли? Уж не в капусте ли секрет?»

А Кулмет-агай все напирал на председателя:

— Нет у тебя права. Народ не давал. И на собрании люди тебе напомним. Напомним тебе, когда отчитываться будешь.

Говорил Кулмет-агай много и горячо, однако в словах его все видели толк и все признавали в душе, что никогда еще капуста не выступал так складно. Правда, и тут некоторые куштирэковцы нашли достойный повод поспорить меж собой. Одни из них утверждали, что в голо-се Кулмета было много злости, накопившейся у него на Ярулла за долгое время. Другие же считали, что огородник если и кричал, то от боли за свое капустное дело, а на председателя он вроде бы по-дружески сетовал; как это, мол, заслуженный боец красной кавалерии не понимает простых вещей и воюет изо всех сил с капустой, тыквой и огурцами!

14

В памятном разговоре со счетоводом Маснави Ярулла-агай малость приврал, когда сослался на какое-то строгое указание из райцентра. Никакого указания не было, а просто председатели колхозов «Куштирэк» и «Рассвет» договорились однажды меж собой об этом обмене опытом, после чего Ярулла пообещал послать к соседям мастерицу кумысного промысла.

А было так. На очередном совещании в районном центре два соседа и два давнишних знакомых сошлись в столовой за одним столом. И о чем только не успели они поговорить. И о том, как землю получше пахать и как дома строить покрепче, и о том, как молодежь удержать в деревне и как привлечь со стороны нужных для колхоза специалистов.

— А слушай, Ярулла Хайбулович,— обратился вдруг председатель колхоза «Рассвет» к куштирэковскому председателю,— ты не поможешь ли нам наладить кумысное дело?

— Кумысное? — переспросил Ярулла-агай.— Зачем тебе кумыс? Бери, Митрофан Кузьмич, у нас. Сколь хочешь отпустим.

— Не-е-е, брат, это не то! Ты, во-первых, бесплатно не отпустишь. А второе, самое главное, надо нам иметь свой целебный напиток. Чтоб всегда под руками. Разве плохо? А?

— Нет, так-то неплохо! — понимающе и будто с одобрением улыбнулся Ярулла-агай.— Да не странно ли выйдет: вдруг кумыс и в русской деревне!..

— Привыкнут. А потом, друг ты мой, не буржуи какие мы с тобой, чтобы прятать друга от друга все по-

лезное. У нас закон другой: я тебе, ты мне. То есть что в нашем колхозе есть хорошего — смотри, перенимай. А у тебя мы позаимствуем. Польза всем будет...

— Ты мне и я тебе... — машинально повторил за ним Ярулла-агай. — Я тебе и ты мне. Что же ты мне взамен обещаешь? Кого?

— Кого угодно. Кузнецы, столяры, даже шорников могу прислать.

— Кузнецов и столяров ты оставь у себя; а от шорников, пожалуй, не откажусь.

Ярулла-агай удовлетворенно потер руки. Ему пришелся по вкусу этот разговор, который вели на равных два руководителя соседних хозяйств. А что? Разве они разрешили вопрос не по-государственному? Но Ярулла-агай, как известно, отличался скромностью. Он рассчитывал лишь на то, что и сегодняшний добрососедский обмен заметят в районе, не обойдут похвальным словом на каком-нибудь новом совещании: вот, мол, колхоз «Куштирэк» по предложению своего председателя щедро передает опыт кумысного промысла русским соседям...

— Хорошо! — протянул он руку Митрофану Кузьмичу. — Договорились! Я вам таких мастериц пришлю! Самых лучших! Каких не сыскать во всем районе.

Вот при этих-то словах Ярулла-агай не мог, конечно, подумать ни о ком другом, как о кумысной искуснице Салиме, которая, чего он сразу не учел, всего-навсего приходилась женой колхозному счетоводу Маснави. А уж о том, что Салима занята в бригаде капустников, председатель и вовсе не вспомнил. Огород для Яруллы давно перестал иметь хоть какое-нибудь значение, и он не держал в памяти ничего, что касалось этой несчастной капусты.

Вернее сказать — он старался забыть эти зеленые кочаны в бесчисленных одежках-листьях, как забывают об изношенных и брошенных одежках. Пусть себе Кулмет копается в своих грядках — разве ему запретишь? Мудрый Ярулла знал, что никакая сила не остановит человека, если уж всей душой ушел он в свое дело.

Для самого Яруллы кумысный промысел стал на это время главной целью жизни. И не одну только Салиму, а еще двух девушек ей на подмогу послал куштирэкковский председатель в колхоз «Рассвет». Да еще самостоятельно наказал им так поставить дело, чтоб соседи-михайловцы век вспоминали потом мастериц-аульчанок, а заодно и их председателя.

Ну, а кого, вы думаете, прислал михайловский председатель, Митрофан Кузьмич, в аул Куштирэк? То есть каких своих искусников-умельцев прислал в Куштирэк взамен кумысниц? А прислал он... Прислал он, выражаясь языком куштирэковцев, капустниц! Да, да, настоящих капустниц! Не пожалев и Марьи Петровны, огородной бригадирши, которая приняла михайловский огород из его собственных рук. Митрофан Кузьмич рассудил просто: коль уж сам Ярулла не настаивал особенно, каких мастеров или мастериц прислать в Куштирэк, значит, можно сделать свой выбор. Речь, правда, шла тогда о шорнике. Да шорник в Михайловке один, а из Куштирэка приехали сразу три кумысницы. Как тут не вспомнить о том, что у соседей захирело огородное дело, а давнишний друг и приятель его Кулмет, по слухам, вовсе изболелся без людской подмоги? Не пришла ли пора выручить друга? И соседям помощь будет в лучшем виде, и натуральная по всем статьям: за трех мастериц-кумысниц три мастерицы-огородницы. Как говорится, баш на баш.

Михайловская капустница Марья, по отчеству Петровна, быстро разыскала Кулмета. И времени на расспросы у нее почти нисколько не ушло, живо со своими подругами принялась за работу. Когда же появлялось какое-то непонимание, высказывалась без стеснения: почему, мол, так, а не этак. Мол, давайте сделаем по-другому. По-нашему не годится? Спробуем по-вашему.

Куштирэковским капустникам Марья пришлось по душе. Только одного они опасались: что-то скажет и подумает о ней жenuшка Кулмета? Не зря же таких, как Марья, сами русские называют «бой-баба»? Как ни раскидывай, а только в первый же день опаска куштирэковцев не оказалась напрасной. Среди всего прочего встал вопрос, в чьих домах приютить капустниц из Михайловки. Марья Петровна сразу объявила, что не намерена часто отлучаться в родную деревню, а потому и пришлось немедленно решать, где ей жить и где ночевать уже сегодня.

Надо сказать, что сам Кулмет долго над этим не ломал голову, а поступил так, как велел закон гостеприимства. Как бригадир и как хозяин он не раздумывая пригласил Марью Петровну к себе, а та и не подумала отказываться. Лишь в глубине души Кулмета шевельнулось сомнение: как-то встретит гостью Сания-енге, что скажет?

С этим вот сомнением и переступил Кулмет-агай порог собственного дома, а когда представлял Марью Петров-

ну жене, голос его предательски дрогнул. Догадливая Сания мигом смекнула, в чем тут дело, и поспешила на помощь своему растерявшемуся муженьку и пришедшей с ним гостье.

— Проходи,— сказала она просто, но и с достоинством.— Милости просим. Раздевайся. Садись. Сейчас я стол накрою.

Впрочем, и Марья Петровна была не из тех людей, что заставляют себя упрашивать или там бояться слово лишнее вымолвить и шаг ступить. Она везде находила себе место, а рукам своим занятие, ну и, конечно, к любому человеку знала как обратиться и завести с ним доброе знакомство. Вот и теперь, едва успев умыться, она уже хлопотала по дому рядом с женушкой Кулмета, не ожидая подсказок или просьб хозяйки. Словом, за один тот вечер стала она совсем своей в семье Котлююловых. А наутро по аулу пронеслась новая молва: капустаник Кулмет, недавно еще не поднимавшийся с постели, привел в дом вторую жену, к тому же русскую.

— Две жены! Ха! — восклицали любители необычайных вестей.— Вот тебе капустаник! Вот тебе тихоня!

— Видно, захотел к старине повернуть,— рассудили злые языки.— Раньше-то любой мусульманин имел право на двух жен!

— Зачем двух? Муллы имели до четырех!

— Кулмет-то наш не мулла, а всего-то капустаник колхоза «Куштирэк»!

— Зато у него и не четыре, а две только!

— Только! А вторая-то русская! Выходит, переплюнул Кулмет тех же мулл и всех прочих, кто жил в многоженстве!

— Ай да Кулмет! Ай да капустаник!

— Вот до чего довели витамины!

Шутки аульчан крепко досаждали Кулмету. Пришлось ему и потеть от них, и кряхтеть. Сания-енге в таких случаях чаще всего улыбалась какой-то тихой и вроде виноватой улыбкой. А Марья Петровна, заслышав о шутках и досужих пересудах, и сама все обратила в шутку — только и махнула рукой, во весь голос объявив:

— Ничего! Кулмет мужик ядреный! Его и на двух хватит!

Постепенно в ауле приутихла молва о двоеженстве капустаника Кулмета. Меж тем за шутками да пересудами иные куштирэковцы и не заметили, как на колхозном огороде взошла зелень новых ростков.

Работали там изо дня в день, не покладая рук. Марья Петровна если и отлучалась из аула в конце недели, то и возвращалась каждый раз непременно с новой затеей. С попутной подводой, а то и верхом на лошади, которую еще раньше закрепили за ее бригадой в Михайловке, она привозила новую рассадку то одних, то других овощей, спешила высадить и посмотреть их в грядке, полюбоваться. А однажды Марья Петровна привезла на телеге некую затейливую машину — настоящую дождевальную установку, сработанную кузнецами колхоза «Рассвет».

Было на что поглазеть аульской ребятне, да и взрослым куштирэковцам, было о чем потолковать в это беспокойное, однако и не скучное на события лето.

15

А осенью все будто повторилось. Все началось как и в прошлом году, когда к правлению колхоза прибежали запыхавшиеся ребяташки и хором заорали, точь-в-точь как сейчас: — Едут!

И любопытных зевак возле правления собралось не меньше, чем прошлой осенью. Хотя, как и тогда, приближался вечер и для многих нашлось бы дело дома. Но никто не спешил домой, зато, услышав крик ребятни, все пришли в движение и устремили взгляды в тот конец улицы, откуда показались запряженные лошади. Голубая дуга передней повозки, мерно покачиваясь, возвещала о том, что лошади идут плавной рысцой. Вскоре распахнулось и окно правления, и так же, как в прошлом году, показалась голова в тюбетейке.

— Кто едет?

— Капустники едут, Ярулла-агай, с выставки возвращаются!

— Куда же им деться, как не в свой аул? Наездились!

Видно, председателю не очень-то хотелось, чтобы встреча его с Кулметом произошла при лишних свидетелях, а предстоящий разговор с капустником услышан многими любопытными ушами. Вот он и крикнул ребятне, надеясь, что и взрослые поймут и сразу заторопятся к своим женам:

— Марш домой!

Но никто и виду не подал, что засобирался уходить, даже мальчишки, которым он приказывал, кружили на одном месте.

— Точь-в-точь как в прошлом году, — произнес кто-то из толпы, — впереди сам Кулмет, а на второй повозке женщины.

— Да, вроде и кони те же, что в прошлом году...

И дальше тоже все было так, как в прошлую осень. Остановил Кулмет коня, передал ребятам вожжи, а сам важно спустился с телеги и безмолвно зашагал в правление.

И там, внутри конторы, все повторилось: неторопливой походкой подошел Кулмет к столу председателя. Открыл свою знаменитую сумку, которая служила ему зараз и портфелем, и вещевым мешком. Вытащил оттуда тетрадь в клеенчатой обложке, давно знакомую аульчанам, а уже из тетради извлек бережно сложенную бумажку. И на этот раз Кулмет протянул ее не самому председателю, а прямо счетоводу Маснави, сидевшему рядом с Яруллой.

— Тэ-э-эк,— затянул Маснави,— значит, опять диплом? Или грамота?

— Читай, читай,— приказал Кулмет,— чего в руках вертишь?

— Тэ-э-эк. Чего тут читать? Все видно и так: выставка, значит, была в тысяча девятьсот сороковом году... И... ваше, значит, место... пятое... пятое место!

Никто в конторе даже глазом не моргнул. Ни удивления, ни одобрения!

— Да-а-а,— сказал Маснави, возвращая диплом Кулмету,— пятое, братцы, не шестое! Как-никак, а одной ступенькой выше...

— Да-а-а. Пятое не шестое,— будто передразнил счетовода Ярулла-агай.— Эдак годков через десять наши капустастики и на первое выберутся. Правильно я говорю?

Никто, однако, не поддержал председателя. Это его задело даже больше, чем само не очень-то радостное сообщение о пятом месте. Кроме того, в молчании аульчан Ярулла углядел сочувствие капустнику Кулмету, а может, и недостаток уважения к словам своего председателя. Ярулла быстро сообразил, что взывать к поддержке аульчан сейчас не время — надо жать на Кулмета, и люди сами увидят, кому верить и на кого надеяться по-настоящему.

— А тыкву брали с собой? — Ярулла впервые обратился прямо к Кулмету после памятной весенней стычки.— Ту, большую, что весила десять кило?

— А как же? На самое видное место выставили.

— Ну и что же?

— У других и крупнее были...

— А капуста? А морковь? Их-то собрали чуть не вдвое против прошлогоднего!

— Другие тоже не спали...

— Вот народ! — разошелся Ярулла-агай. — Вот черти! А? Никак не дают нашему капустнику проскочить вперед!

Председатель громко засмеялся, но и тут никто не поддержал его смех. Видно, и на этот раз люди сочувствовали Кулмету: одно дело — смеяться от веселой шутки, другое — от неуместной досады. И Ярулла тоже понял, что где-то перехватил лишку: то ли хохотнул чересчур громко, то ли словечко какое невпопад брякнул, а вот уже, гляди-ка, и пошатнулось прежнее уважение к председателю. «Ну и народ! — подумал Ярулла-агай с обидой. — Председатель смеется, а им хоть бы что. Чуть не зевают. Вот и все их звуки!»

Ярулла-агай оборвал свой смех столь же внезапно, как и начал. Мол, время потехи кончилось, пора и к другим делам вернуться, что будут поважнее капусты. Он уже и обратился было к счетоводу Маснави с каким-то вопросом насчет колхозной конюшни, да только сам же не выдержал этой игры — еще осталась в нем надежда хоть малость потешить напоследок собственное самолюбие:

— Кстати, а как там наши соседи? — вдруг опять спросил председатель Кулмета.

— «Рассвет» занял второе место, — спокойно ответил капустник.

— А? Второе? — не скрыл своего удивления Ярулла-агай. — Михайловские на втором месте?

— Точно, на втором, — повторил Кулмет.

И тут Ярулла-агай разразился таким дьявольским смехом, словно его сам леший щекотал где-нибудь в лесной чащобе.

— Ух-ух-ах! — смеялся он, еле переводя дух и вытирая слезы. — Эдак как же? Как же получается? Ух-ах-хах-хах! Ух-хах-хах! Вых-хо-дит... Выходит, что... ух-хах!

Но в который уже раз никто не засмеялся вместе с председателем. Поначалу даже переглянулись тревожно. В самом деле, не так-то легко было разобраться, чему радуется и над чем смеется Ярулла-агай. По привычке мог он смеяться над капустниками, но ведь и над самим собой тоже мог смеяться. В таком случае не лучше ли ему хохотать одному? Так и обидеть недолго человека, если помогать ему смеяться над самим собой.

— Ух-хах-ха-хах! — сквозь смех Яруллы прорывались нечленораздельные звуки, напоминавшие о его необыкновенных банных страстях. Лишь из отдельных словечек аульчане наконец-то стали понимать причину этого богатырского

хохота. Ух, мол, хах-хах! Марья-то, мол, Петровна сошла ступенькой ниже, чтоб поднять их Кулмета на ступеньку выше... Ух-хах-хах! Того и гляди, на будущий год «Куштирэк» и «Рассвет» совсем сблизятся и усядутся на одной ступеньке!

Но и тут засомневались аульчане: то ли рад их председатель такой близости с «Рассветом», то ли его заедает этакая помощь соседей. Так или иначе, а смех Яруллы сильнее всего задел Кулмета, и все видели, что капустаник готов взорваться в любой миг. Поэтому все присутствующие посчитали за счастье, что председатель остановился вовремя.

Ярулла-агай вдруг поднялся со своего места, вытер носовым платком слезы и сказал как ни в чем не бывало:

— Ну, ладно! Хватит. Потешились.

Все согласились с его мудрым решением. Хотя вообще-то тешился он один, а другие остались просто довольны, что пришла, кажется, к своему все-таки концу вся эта потеха с капустой.

...По-прежнему бегут друг за другом дни и ночи в ауле Куштирэк. По-прежнему дни проходят шумно, а ночи в тишине и покое. По-прежнему председатель шумно парится в бане, а старик Гильман «гейкает», так что прозвище свое Гей-Гильман носит достойно. По-прежнему хлопочет беспокойный Кулмет, главный капустаник и витаминник колхоза, в колхозном огороде. Только теперь куштирэковские мальчишки не катают по улице кабачков и тыкв, не кидаются помидорами и огурцами — так что и сами сыты, и окна целы. А козы и овцы аула Куштирэк давно уже лишились возможности лакомиться капустой — сами аульчане очень охотно употребляют ее в пищу.

Вот и вся капустная история, которая произошла в одном из аулов, расположенных на берегу реки Караидель.

* * *

Летят дни и ночи. Летят месяцы и годы, и даже десятилетия. И теперь можно было бы рассказать о многих новых событиях, которые произошли на берегах Караидели, в том же ауле Куштирэк, скажем, через десять, двадцать, тридцать, а то и спустя сорок лет после памятной истории с капустой. Правда, для такого рассказа потребовалась бы новая книга, да еще и не одна! В свою очередь, новые книги, чтобы их написать, потребуют новых дней и ночей, а то и лет, а может быть, и десятилетий!

Кое о чем, дорогой читатель, мы вам все же расскажем. А уж если захочется узнать поподробней, как живут куштирэковцы и какие события волновали их за все эти годы, приезжайте-ка сами в этот чудесный аул, что находится в Башкирии, на берегу славной и бурной Караидели.

Приезжайте, пожалуйста. Вас встретят радушно и сразу отведут место в колхозной гостинице. Живите на здоровье и сколько угодно! К тому же вам не придется стеснять аульчан, у которых теперь новые дома всего из пяти или шести комнат. Там за вами пришлось бы ухаживать, а это, прямо скажем, не такое уж простое дело. Кому его доверишь? Женщины в Куштирэке не считают теперь зазорной никакую работу — кто трудится в поле, а кто на огороде. Их мужья тоже заняты. Многие из них как бы заново осознали, что рождены для важных дел — они подписывают накладные и наряды, курят в конторах, ездят с портфелями и сумками в район.

Приезжайте, пожалуйста. Вас встретят, что называется, со всем башкирским хлебосольством. Разве лишь на бешбармак, пожалуй, в свой дом мало кто пригласит. Просто нет такой необходимости, потому что любого гостя можно хорошо угостить в аульском ресторане, куда нередко заглядывают и самые почтенные мужи Куштирэка. Зачем отрывать жен от работы в поле ради домашней стряпни? Пусть себе спокойно работают, а важные мужские дела можно решать и без них.

Поездка в Куштирэк — сплошное удовольствие! Сел в Уфе на самолет до райцентра, а оттуда автобус три раза в день, как часы — только не попадайте на последний рейс! Иначе вы прежде времени окажетесь рядом с теми людьми, что ездят в райцентр решать важные вопросы, достойные настоящих мужчин. Вы угадаете их по внешнему виду, по походке, по голосам, а также и по особому аромату, который остается только после посещения районной парикмахерской. Так что еще в автобусе вы сможете убедиться, что у мужчин аула Куштирэк были в райцентре действительно важные дела, которые они решили подобающим образом.

При желании можно добраться в Куштирэк и на такси. Тем более что (скажу по секрету) половина всех таксистов в районе — те же куштирэковцы. Никто из них не станет спрашивать у вас дороги и задавать прочие лишние вопросы, куда, мол, да зачем. Вас помчат к цели без всяких там намеков о надбавке за скорость. Может быть, такое обхождение покажется вам непривычным, да мало ли чего не увидит человек, решившийся на путешествие в Куштирэк? Не вздумайте, например, таксисту-куштирэковцу дать хотя бы

одну лишнюю копейку. Есть среди них и такие, что не полелят-ся выскочить вслед за вами из машины и опозорить на всю улицу: гей, гражданин, получите, мол, сдачу!

Услышав такой крик, не подумайте, что все куштирэковцы стали теперь «гейкать» и «хайкать». Кроме известного вам Гей-Мулюка, то бишь Мулюка Гильмановича Юлдашева, колхозного агронома, уважаемого человека не только в районе, но и во всей округе, это бодрящее словечко употребляют только трое его сыновей. Все эти джигиты работают в районном таксомоторном парке, потому что так же, как и славный их прадед Гей-Юлдаш, любят быструю езду.

Следовательно, в своем путешествии вы можете выбирать любой вид транспорта, который придется вам по душе. Кроме, извините, лошадей. Чего нет, того нет. Вы немедленно спросите: а как же тогда с кумысом, если лошадей-то нет? Отвечу прямо: и кумыса в Куштирэке теперь не делают, а привозят — откуда вы думаете? Его привозят... из Михайловки. Да, да. Именно в русском селе Михайловке изготавливают теперь этот прекрасный напиток. И тут уж немалая заслуга искусной кумысницы Салимы, а значит, и Яруллы... Помните? Это он посылал ее к михайловцам со строгим наказом: так поставить дело, чтобы соседи век вспоминали мастериц Куштирэка, а заодно и их председателя. Зато куштирэковцы гордятся своими тыквами, капустой, огурцами, не говоря уже о всеисцеляющем чесноке, который усилиями Кулмета и Гей-Мулюка все же прижился на земле аула Куштирэк. Дело в том, что сразу после войны соседи объединились в один колхоз, а там и порешили, какому селу чем заниматься сподручнее и выгодней. Председателем колхоза куштирэковцы и михайловские выбрали... Кого бы вы думали? Марью Петровну. Да, да, ту самую «бой-бабу», которую прислал в свое время в аул Митрофан Кузьмич обучать башкир огородному делу. Почему люди выбрали Марию Петровну? Да потому, что именно она председательствовала четыре военных года в колхозе «Рассвет», где остались в то время одни женщины, дети да старики. И у куштирэковцев к той поре взгляд на женщину, скажем прямо, изменился в лучшую сторону. Ведь мужчины ушли на фронт. Многие из них не вернулись в аул Куштирэк, и в Михайловку, и в районный центр. Не вернулись и Митрофан Кузьмич и Ярулла-агай — оба сложили свои головы в дальней стороне: один в бою под Будапештом, другой на подступах к Берлину...

Уже три десятка лет председательствует в объединенном колхозе Мария Петровна. И хотя все это долгое время она

ратует за овощеводство, Кулмет-агай никак не может примириться с утратой своего близкого друга Яруллы. Пусть и не хотел уступать ему упрямый председатель, а все же можно было иногда потешить себя надеждой, пригласив его попариться в баньке... А у Марьи Петровны в характере (это всем хорошо известно!) — ни единой слабинки. Только один раз, совсем недавно, уступила она настойчивой просьбе своих земляков: повременить годок-другой с пенсией, пока позволяет здоровье.

Счетоводом в колхозе, как и до войны, работает Маснави. Теперь у него еще больше забот, ведь доходы растут и растут. И случается, устают его «умные» пальцы (как однажды очень точно подметил Кулмет-агай), потому что давно уже все счетоводы в округе умножают и вычитают с помощью арифмометров, а Маснави по старинке все стучит и стучит костяшками счет. Вы подумаете, что, как и всякий куштирэковец, он обладает завидным упрямством? Может быть... Только, скорее всего, это не так. Ведь у всех арифмометров ручка, которую надо крутить, расположена справа, и с этой же стороны рукав пиджака у колхозного счетовода аккуратно подколлот булавкой: в сорок четвертом он подорвался на фашистской мине.

И Кулмет-агай — все такой же, не меняет своих привычек. Ему уже за семьдесят, а он каждое утро — ни свет ни заря — на колхозном огороде. Правда, он теперь уже не бригадир, а консультант, так сказать, на общественных началах. И это, конечно, расширяет не только круг его интересов, но и полномочий. Два года назад ездил он вместе со своим верным учеником и продолжателем Гей-Мулюком в Москву, на Выставку достижений народного хозяйства. И хотя Марья Петровна ожидала их не иначе как с золотой медалью, возвратились они всего-навсего с малой серебряной медалью и дипломом. Как и в давние времена, счетовод Маснави, невзирая на недовольство председателя и старательно пряча улыбку в своих поседевших усах, прикрепил этот диплом на самое почетное место в новом здании колхозного правления. А совсем недавно произошло еще одно важное событие в жизни старого Кулмета: в Куштирэк пришла телеграмма от его друзей-однополчан, которые приглашали его приехать на Украину. Туда, где когда-то так мечтал он побывать, чтобы увидеть огромный совхоз-огород, и где побывал в тяжкие годы войны, прошагав в своих солдатских сапогах по всей Украине...

Провожали ветерана всем аулом. Земляки нагрузили его и башкирским медом, и баурхак положили в чемодан, и

сушеные ягоды, и курут... Пусть отведают однополчане их Кулмета самое лучшее, что есть в Куштирэке. Сам же он добавил к этому грузу старую солдатскую пилотку, которую носил целых четыре года вместо широкополой фетровой шляпы, да еще прихватил новую толстую тетрадь в клеенчатом переплете. Земляки его сразу смекнули, что Кулмет не оставит без внимания опыт знатных украинских овощеводов.

Сания-енге, собирая муженька в дальнюю дорогу, не забыла до полного блеска начистить его трудовые и боевые награды. Она даже помолодела в тот день, и все потому, что всегда умела по-настоящему гордиться своим Кулметом.

В районном аэропорту, при виде самолета, Сания-енге неожиданно всплакнула: ей вдруг припомнилось, как проводжали они в авиационное училище своего младшего сына... Было это как раз в тот год, когда нашу Землю облетел первый искусственный спутник, и весть об этом взбудоражила умы куштирэковцев, так же как и всю планету. Теперь младший Котлуюлов уже лейтенант, военный летчик. «Вот посмотришь, женушка, будет он у нас с тобой еще и космонавтом», — частенько поговаривает Кулмет. «А пока-то все другие летают в этот космос», — думает Сания-енге и поспешно вытирает платочком навернувшиеся слезы...

Старший сын и дочка Котлуюловых, Рашида, уже давно разлетелись из-под родимой крыши. Редко, очень редко, разве что в отпуск, приезжают они погостить в Куштирэк. Видимо, заняты большими, серьезными делами. Но уж зато какая радость бывает у стариков, когда приходит вдруг телеграмма: «Едем, встречайте!»

Если и вы все-таки соберетесь в аул Куштирэк, первыми вас обязательно встретят мальчишки. Да, да, на той самой дороге, что ведет туда из районного центра. Годы проходят, но никогда, видно, не изменится эта хорошая традиция в гостеприимном ауле. Все новые и новые поколения выставляют на этой дороге свои остроглазые дозоры. Куштирэковцы только и ждут, когда ребяшня загорланит на все голоса: «Едут!», «Едут!»

Так что приезжайте. Непременно приезжайте в Куштирэк!

1960, 1976



ЗАЙНАБ БИИШЕВА

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК



ЗАЙНАБ БИИШЕВА

(р. 1908)

Вдумчивый бытописатель своего народа, лауреат республиканской премии им. Салавата Юлаева Зайнаб Абдулловна Биешева известна всесоюзному читателю прежде всего как автор трилогии «К свету!», в которую вошли созданные в 60-е годы романы «Униженные», «У большого Ика», «Емеш». Насыщенная подробным изображением быта, трилогия разворачивает перед читателями панораму жизни башкир в годы империалистической войны, Октябрьской социалистической революции, гражданской войны и восстановления народного хозяйства. В романах запечатлено многообразие трудового, бытового, культурного опыта поколений, создан многоликий образ народа, проходящего решающие испытания эпохи.

А начинала З. Биешева как журналист, очеркист. Затем последовали повесть «Кюнхылу», сборники стихов и историко-этнографические пьесы «Обет», «Вошебный курай». В повестях 60-х годов «Думы, думы...», «Станный человек», «Мастер и подмастерье», «Где ты, Гульниса?» она рассказала о том, как сквозь корку тогдашних догматических представлений пробивалось новое понимание высшего предназначения человека, его взаимоотношений со временем и обществом.



1

Работаю я каменщиком в строительном тресте в городе нефтяников Ишимбае. Гадельша Коросбаев я, но товарищи зовут меня просто Гадель, что значит — «Справедливый». Признаюсь, нравится мне такое имя, по душе, но жить с ним нелегко. Оно, как строгий, неподкупный судья, не дает тебе покоя: постоянно напоминает, каким человеком должен ты быть, чтобы, не дай бог, не посрамить его каким-нибудь недостойным поступком.

Разменял я уже пятый десяток, но, как, бывало, говаривал мой отец, известный когда-то в округе плотник, — «мужик в самой силе»: и по возрасту, и по здоровью, и по мастеровой хватке. Здесь же, в одном городе со мной, живет и мой односельчанин, ровесник и однокашник по школе Галиакбар Валиакберов. Вот он почему-то зовет меня не иначе, как чудаком, а то странным человеком или счастливымчиком. Как ни встретимся, только и слышу:

— Ну и чудака же ты, Гадельша!

Или:

— Ох и счастливый ты человек, земляк!

Я и сам думаю, что судьба у меня удачливая, прямо-таки счастливая. Еще от отца частенько я слышал: «Вложи в труд всю душу — счастье само тебя найдет! Счастье ведь не в холе да сытости, а в здоровье и спорой работе. С огоньком работаешь — и устали не знаешь, и людей радуешь тем, как все у тебя играючи да складно получается. А видя их радость, и сам радуешься! Вот тебе и счастье!..»

Я и живу, можно сказать, по отцовскому завету: работаю до седьмого пота, и хворь меня не берет. А если вспомнить, что и делом-то я занимаюсь не случайным, а тем, что мне крепко по душе, и что хоть и вернулся я с фронта с тремя ранениями, но до сих пор жив-здоров, да и сыновья мои уже в люди вышли, и меня за работу мою избрали в Вер-

ховный Совет республики, да к тому еще приплюсовать немало всяких добрых обязанностей, которые я как депутат выполняю со всею охотою, то ведь и впрямь не грех почувствовать себя счастливым!.. Поэтому на «счастливчика» я всегда уверенно и отвечаю Галиакбару:

— Что правда, то правда, земляк.

Но вот когда он с усмешечкой говорит, что я «странный человек», да еще при этом добавляет, что, мол, «рановато ты на свет появился, земляк,— родиться бы тебе при полном коммунизме, ты же несовременный человек!»— поднимается во мне протест и даже возмущение.

«Чудаком, не от мира сего» Галиакбар зовет меня еще с тех пор, как мы с ним в парнях ходили. Тогда я его насмешки мимо ушей пропускал, а теперь я стал над ними все больше задумываться, да и над его собственным житьем-бытьем... Как же так — чем же это я несовременный человек? А может, справедливее было бы сказать как раз наоборот?..

2

Как сейчас, помню тот памятный день, когда мы переступили вместе с Галиакбаром порог только что отстроенной школы, еще остро пахнувшей свежесрубленной сосной. И все десять лет с первого класса сидели мы с ним за одной партой. Жили мы соседями и во всех играх и проказах дружно участвовали. Словом, пока в школу не пошли,— всегда вместе, водой не разольешь. Оба озорные, сорвиголовы. А в школе оказалось, что мы с ним очень разные: меня учителя называли «прилежным», «способным», а его «ленивым». И чем чаще, бывало, хвалили меня учителя на уроках и ставили мне пятерки, тем хуже я чувствовал себя перед другом, которого ребята прозвали лентяем и троечником, и, стыдясь сам не зная чего, я виновато опускал голову. Каждый урок превращался для меня в муку — сижу и переживаю за Галиакбара, втайне молю его: «Ну, Галиакбар, постарайся же! Вот здорово было бы, если б и ты пятерку отхватил...» А ему хоть бы что! Посмеивается только надо мной:

— Давай, давай пыхти! Авось опять пятерку получишь! Глядишь — похвалят! Тебя ведь хлебом не корми — дай у доски покрасоваться...

Ох и сердился же я на Галиакбара, обижался, чего

только не приходило в голову: «Какой ехидный человек придумал эти злополучные отметки! Верно, при коммунизме никому не будут ставить отметки. Пусть уж каждый учится, как умеет. А жизнь сама разберется, чего он стоит: двойки или пятерки... С детства отметки эти жить спокойно мешают...»

Вот я и старался, чтобы отметки эти нашу дружбу с Галиакбаром не порушили. Идем, бывало, из школы и я упрашиваю его:

— Галиакбар! Приходи вечером. Вместе позанимаемся.

Жду его весь вечер, а он не торопится. Я уж кончаю свои нелюбимые предметы готовить (их я всегда напоследок оставлял) — алгебру, физику, химию, — тут наконец-то и он заявляется. Руки в брюки, смотрит таким гоголем и спрашивает ломающимся баском:

— Ну что, решил задачи?

А я будто провинился чем перед ним — не знаю, как ему угодить.

— Решил, решил... Сейчас покажу, — говорю ему просительно.

А он коротко бросает:

— А ну уйди. Сам разберусь.

Я уступаю ему место. Он садится этак небрежно за стол и, не вынимая левой руки из кармана, начинает списывать решение. А задания по черчению он и вовсе получал от меня всегда в готовом виде — терпеть не мог корпеть над чертежами. Спишет приготовленные мной задания, сунет под мышку чертеж и, вызываясь сплюнув сквозь зубы, не прощаясь, уходит. Я же радуюсь, что помог другу — на уроке алгебры завтра хоть двойку не схватит. Но мама часто сердилась, негодовала на Галиакбара:

— Подумать только, какой нахальный мальчишка! Важничает, будто не отец его председатель колхоза, а он сам! Зайдет и не поздоровается даже. И не просит помочь, а дай ему, и все! А ведь отец-то его какой хороший, уважительный человек... И в кого только пошел этот Галиакбар!

Иногда она и за меня принималась:

— Посмотрите на этого дурачка! Каждый день за двоих надрывается!

Спасибо, отец заступался:

— Ну что ты, мать, расходилась! Не ругай его зря. Радоваться надо, что парень не гнушается тянуть два воза кряду! Хуже было бы, если б и свой груз на чужие плечи

норовил скинуть. Бездельник ни дому, ни миру не опора. Кто ленится, тот не ценится.

3

Весной, когда я окончил школу, внезапно скончался отец. О дальнейшей учебе нечего было и думать. Тем более что я был младшим в семье и, по обычаю прадедов, считался наследником отчего дома, кормильцем матери. Старшие-то братья давно отделились, жили своим домом. И решил я пойти на работу, да не на любую, а стать, как и отец, строителем. Хотя, правда, и уговаривали меня и председатель колхоза, и бригадир учиться дальше — очень уж им хотелось, чтобы я окончил институт. Но ни на какие уговоры я не поддался. Видно, крепко запала мне в душу одна история, рассказанная отцом незадолго до его смерти.

В ту пору колхоз строил амбары под зерно, и отец с головой ушел в работу. Домой приходил только поздним вечером. Как-то за ужином завел он разговор о моем будущем.

— Ты вот, Гадель, нынче десятилетку заканчиваешь. Радуешь нас с матерью. Нам такого счастья не выпало... — заговорил он неторопливо, задумчиво. — В институт, поди, подашься, а? Теперь это в моде — со школьной скамьи и прямо в институт. А я бы посоветовал тебе, сынок, поработать сначала малость. Освоишь какое дело по душе. А там — учись дальше, овладевай любимой профессией. Работа, сынок, должна быть не в тягость, а в радость.

Вот послушай, какая закавыка однажды со мной вышла... Ты еще под стол пешком ходил, когда назначили вдруг меня заведующим овцефермой. «Нужен нам настоящий хозяин на ферме, — сказали мне тогда. — Ты человек ухватистый, деловой. Вот и командуй». А я сызмальства плотничал. Не хотелось мне бросать топор да рубанок, но, вижу, колхозники важное дело поручают мне, доверие, словом, оказывают... Да и матери твоей льстило походить в женах хоть и маленького, но руководителя. Ну я и согласился. К тому же и досада брала: сколько, бывало, ни говорили на собраниях — дела на ферме из рук вон плохо шли.

Говорил отец не спеша, обдумывая каждое слово, пытаясь втолковать мне что-то свое, очень сокровенное и важное. И я, кажется, почувствовал всю серьезность неспроста

затейного им со мною разговора и сидел, весь превратившись в слух.

— Слушай дальше... Поработал я эдак с год, и дела на ферме будто на лад пошли. На собраниях даже стали похваливать... Так новая незадача — мать твоя начала браниться: мол, день-деньской только об овцах и думаешь! Ни поговорить с тобой, ни посмеяться, как бывало... Не подступишься. А раз так — бросай свою ферму. И наконец заявила: «Или овцы, или я. Лучше плотничай...»

Честно если сказать, втайне я ждал от нее этих слов. К ферме я и сам сердцем не прирос. Раньше, бывало, срубишь кому дом или хоть амбарчик поставишь, радуешься, точно жар-птицу поймал... И так захотелось мне красивые дома возводить, амбары ставить, чтобы видеть, как люди радоваться будут, справляя новоселье. А то ведь с этими овцами, один вид которых нагонял на меня тоску зеленую, я совсем загоревал, будто что дорогое в жизни потерял... Уставятся на тебя бессмысленными глазами и блеют: «Бэ-э!..» — да так нудно, будто дразнят: мол, где же те дни, когда ты, весело насвистывая, тесал смолистую сосну?

Поэтому не успела твоя мать досказать все, что она об овцах думает, как я уже к председателю побежал. К отцу дружка твоего Галиакбара. Он ведь у нас с первого дня организации колхоза хозяйствует. Дельный мужик... Да, так вот... прибежал я к нему и говорю:

«Хоть голову руби, но избавь меня от овец. Не мое это дело, и все тут!»

«Как не твое? — удивился председатель. — Ферму-то и узнать теперь нельзя. Овцы нагулянные. Ягнят прибавилось. Овчары работать стали не за страх, а за совесть. Чего же тебе еще надо?.. Чего не хватает?»

«Топора да скобеля, — говорю я ему запальчиво. — Тебя ведь, браток, выбрали не для того, чтобы ты только об овцах заботился, но и обо мне подумал бы тоже с пониманием. Овцы толстеют, а я с тоски пропадаю с тех пор, как отлучили меня от любимого дела... Это ты видишь?!»

А он спокойненько мне отвечает:

«Ну, дуралей!.. Да о тебе же заботились, когда на ферму определяли. Там и работа полегче, и трудодней пишется больше. Семья-то — ребятишек четверо, мал мала меньше... Запасец, поди, карман не продырявит?»

«Да видишь ли, живу я на свете не для того, чтобы брюхо побольше набить, — совсем распалился я. — Так что

ты уж, браток, лучше дай мне работу по душе. А то на этой зачахну!»

«Ну и Арслан! Ну и привередник!» — развел руками председатель, а сам смотрит на меня во все глаза. Словно впервые увидел. Да улыбается эдак тепло. Ну, думаю, понимает...

Вот так вернул я себе любимую работу, и на душе будто солнышко взошло. И мать повеселела. И вы сыты, обуты. И нет человека богаче меня. Каждый новый дом — это мой дом. Радость их хозяев — моя радость.

Отец помолчал, потом, вздохнув, промолвил:

— Ты, Гадель, вырос, джигитом стал. Думаю, догадался, о чем я тебе толкую?

Да, прозорливым, смекалистым человеком был мой отец, хоть и проработал всю жизнь простым плотником. Ну, а что касается профессии, — из всех его сыновей только мне привилась страсть к строительному делу. Отец азартным работником был. Частенько мне приходилось с едой к нему бегать. Особенно помню, как школу нашу ставили. Вот и нагляделся я, как ловко он топором да рубанком орудовал. Маленьким я еще был, а уже любил баловаться разным инструментом, и в играх подбивал мальчишек чего-нибудь «строить»... Поэтому долго не думал, когда твердо решил стать, как и отец, строителем. Но в колхозе, ясное дело, не тот размах, а меня тянуло на большие стройки. Несмотря на уговоры председателя, подался я на строительство города нефтяников, раскинувшегося в пятидесяти километрах от нашего аула.

Провожая меня, мама расстроилась. Не могла удержать слез.

— Хотела я тебя ученым человеком видеть... Врачом или учителем. А ты по рабочей дорожке отца пошел. Галиакбару-то счастье привалило. Слыхала, в институт едет, даром что плохо учился...

— Эх, мама, — прерываю я ее нарочито бодрым голосом. — Кто знает, где оно — счастье-то! Помнишь, как отец говорил: «Выбери дело по душе — счастье само тебя найдет». Не горюй! Устроюсь вот в городе, за тобой приеду.

Вспомнил отца и расстроился. Осиротели мы с мамой. Чтобы самому не заплакать, обнял я мать да и заторопился из дому — надумал на одной из попутных машин в город махнуть, благо много их сновало по шоссе за аулом. Закинул котомку за спину и почти бегом по улице. Только

поравнялся с домом Галиакбара — он мне навстречу из ворот выходит. Руки, как всегда, в карманах брюк, походочка развязная, а на лице ухмылка. По всему видно — не знал, куда себя деть, чем заняться, от скуки, бедный, изнывал.

— Ну, до свидания, друг,— протянул я ему руку.— Не забывай нас, когда в институт поступишь.

Взяв меня за руку, он вдруг посерьезнел.

— Послушай-ка, Гадель,— начал он нерешительно.— Поговорить с тобой хотел... Да разве ты слушаешь! Ты же у нас человек-то странный...

Тогда-то впервые и назвал он меня странным человеком. Удивился я, но, рассмеявшись, сказал:

— А ты говори, говори. Да только покороче. Некогда мне с тобой лясы точить — видишь, персональная машина ждет на шоссе.

Не выпуская моей руки, он заговорил полупрошептом:

— Эх, мне бы твой аттестат! Одни пятерки! Да на твоём месте я бы в самой Москве учился. В университете... А ты в работяги подался. Ну не болван ли ты? Работа не волк — в лес не убежит... Да разве тебе втолкуешь!

— Ну что ты тянешь, говори скорее! Мне до вечера в город надо поспеть.— А сам не хочу, чтобы он заметил, как мне трудно расставаться с родным домом, с мамой да и с ним,— с непутевым Галиакбаром.

Приблизившись вплотную, он говорит тогда напрямик:

— Кинь-ка ты эту котомку, друг, и айда со мной. В любой город поедem. Поступим в один институт. Как и в школе, вместе будем к лекциям готовиться. А отец мой матери твоей поможет. Попрошу его. Идет?

— Ах вот ты как? Ты мне — я тебе!— Выдернул я руку из его пухлой ладони и, не оглядываясь, пошел к шоссе. Только слышал, как бросил он мне вслед презрительно:

— Ну и чудак же ты, Гадельша!..

4

Приехал я в Ишимбай, когда город только еще отстраивался. Нелегко мне было на первых порах: после теплого родительского дома — палатка, после сытной маминой стряпни — сухоматка. Словом, и работа и жизнь здесь были совсем непохожи на то, что я наводумывал в своих мечтах. Специальности никакой. За спиной — деся-

тилетка, навыки решения задач по физике, математике... А как применить их к жизни — не знаю и не умею. Не обучали нас тогда в школе никакому ремеслу. Вот и вышло, что знания мои — сами по себе, а жизнь и труд к ним вроде и отношения не имеют. И пошел я на стройку учеником каменщика. Отцова жилка, видать, была во мне сильна.

Прошли годы, и там, где когда-то были лишь разбросанные по степи палатки, похожие на стаю белых лебедей, вырос благоустроенный каменный город с широкими асфальтированными и озелененными улицами и парками. Вот когда пришла и ко мне радость отца, которому даже забор, любовно обтесанный его руками, казался чудом. Теперь и я, как, бывало, отец, радовался, глядя на красивые многоэтажные дома, построенные мной и моими товарищами. Давно мы уже с мамой жили вместе. Поначалу не все ей нравилось в городе: скучала по деревне, вечерами грустила, вспоминая свой дом. Потом привыкла. Жизнь наладилась, и я стал все чаще подумывать: «Не пора ли теперь и поучиться?» Об этом же мне говорили и мать и товарищи по бригаде, и в комитете комсомола.

— Ты способный парень, Гадельша. Надо взяться за учебу. Из тебя хороший инженер-строитель получится...

Я и сам не против, и сам думал так же. Завет отца я выполнил — в труде себя испытал, работу выбрал по душе. Если пойду учиться дальше по своей строительской специальности, то тоже не наперекор воле отцовской. Словом, я нашел свою дорогу в жизни, оставалось подать документы в институт. Но... И каким же могущественным было это «но»!.. Влюбился я в замечательную девушку Нафису. Работала она штукатуром. Другой такой красавицы я в жизни не встречал — стройная, тоненькая, глаза большие, чуть ли не в пол-лица. И работать мастерица, и характером веселая. У меня сердце замирало от одного взгляда ее черных, сияющих, как звезды, ясных глаз. И все мои мысли об учебе таяли и испарялись куда-то, как только я встречал ее. Совсем другое стало волновать и беспокоить меня: «Как же я оставлю Нафису? А вдруг, пока я буду зубрить сопромат, она приглянется другому? Что же тогда со мной станет, если я потеряю ее?»

А тут еще и сама она подойдет, бывало, ко мне, улыбнется ласково и просит:

— Не уезжай, Гадель! Поступай на заочный в строительный институт. Я же вот кончаю заочно горный техни-

кум. Учиться и работать даже интереснее. Верно, Гадель? Правда, труднее, чем на дневном отделении, но ведь без заботы не жди радости от работы... Зато вместе будем...

Разве мог я устоять! Поступил я на заочный факультет инженерно-строительного института в Куйбышеве. А там вскоре мы с Нафисой поженились. И все у нас в жизни спорилось — работали, и учились, и в кино и в библиотеку успевали сходить. Родила мне Нафиса двух сыновей, и оба — в меня. Хорошо мы жили: в любви и согласии. А какая жизнерадостная да ловкая была моя Нафиса! Словно излучала она солнечную энергию и жажду жизни.

Три года мы прожили с ней, и грянула Отечественная война. Я ушел на фронт добровольцем. Помню тот июньский день, когда мы прощались с ней у военкомата. Нет, она не говорила мне: «Останься», — хотя оставалась с двумя малышами на руках и с моей матерью. Наоборот, старалась держать себя спокойно, только ее большие, всегда сияющие глаза выдавали тревогу. Она смотрела на меня с такой невысказанной тоской и душевной болью, словно предчувствовала, что мы с ней видимся в последний раз, но побелевшие губы ее тихо шептали:

— Иди, Гадель, иди! Какой джигит может сидеть дома, когда враги топчут родную землю? Если бы не наши малыши, и я вместе с тобой ушла бы на фронт...

Вот такая женщина была моя Нафиса! Эти прощальные слова ее и глаза, полные любви и печали, навечно в моей памяти...

5

В одном из своих писем Нафиса как-то мне написала: «Помнишь, перед самой войной ты строил с товарищами клуб нефтяников? Заведующим там твой земляк, некий Галиакбар Валиакберов. Ну и ловкач же, скажу я тебе! Внешне — сама скромность, даже походка какая-то вкрадчивая, как у кошки. Всегда с улыбочкой — словом, этакий тихоня, а с людьми говорит нагло, так и лезет бесцеремонно тебе в душу. Узнал, что я твоя жена, пристал как банный лист. Все о тебе расспрашивает. Когда сказала я, что ты добровольцем ушел в действующую армию, он откровенно засмеялся: «Это на него похоже. Узнаю Гаделя! Он же странный человек!» Хотелось мне поговорить с ним о его «странностях», да сдержалась. Все же он твой земляк. Но

вот в голове не укладывается, как ты мог дружить с таким противным типом?!»

Новость эта удивила меня. Что Галиакбар провалился на вступительных экзаменах и жил у родителей, я знал давно. Но каким образом он мог стать заведующим клубом, да еще в нашем городе, — тут уж у меня фантазии не хватало. Из других писем Нафисы выяснилось, что Галиакбар, оказывается, успел до войны окончить политехсветшколу и получил назначение в Ишимбай. И здоровьем стал плох, поэтому снят с военного учета.

«Видел бы ты этого болящего! Сытый, упитанный, как боров. Поневоле задумаешься, что это за недуг его гложет. Скорее всего, просто сумел уклониться... А уж как пресмыкается перед «выгодными» людьми! Прямо готов половиком им под ноги лечь. Умеет пыль в глаза пустить да себя показать... А управляющему трестом он по сердцу пришелся. Видать, любит таких услужливых... Да, земляк твой из тех, для кого трудное время — не горе. Из любых передрыг ужом вывернется...»

Дела и на фронте и в тылу были такими напряженными, что нам с Нафисой в письмах стало не до разговоров о Галиакбаре. Мы надолго замолчали о нем.

Сражения с фашистскими захватчиками шли по всей огромной линии фронта. Наша башкирская дивизия под Сталинградом почти не выходила из боев за каждый метр земли... Каких отчаянно-храбрых, отважных людей узнал я на войне в те дни! С виду самых обычных, малозаметных, с которыми я из одного котелка солдатскую кашу ел, в бою они вдруг оказывались бесстрашными воинами — мужественно встречали врага штыком и гранатой. Сколько молоденьких ребят, вчерашних школьников, погибло у меня на глазах! Каких друзей-товарищей похоронил я наспех, в перерывах между атаками... Да и сам был несколько раз ранен. Трусом не был, без бахвальства скажу, — ордена мои подтвердят.

А в тылу, на родном Урале, женщины повсюду заменяли ушедших на фронт мужчин, и конечно же, среди них была и моя Нафиса. Жили они тогда одним заветом, одной целью: «Все для фронта, все для победы!» Не хватало специалистов, люди работали по две, а то и по три смены. Нафиса окончила краткосрочные курсы и трудилась оператором на промыслах. Писала мне, что теперь важнее нефть добывать — фронту нужна! Значит, и тут старалась от меня не отстать, воевала с врагом по-своему.

У меня сердце сжималось от жалости, когда я представлял свою нежную Нафису на тяжелой мужской работе. Но за всю войну жалоб на трудности я от нее не слышал. В письмах ее всегда было столько ободряющего душу тепла, улыбки и даже юмора! После каждой ее весточки я и в бою чувствовал себя уверенней, будто родная земля, вся наша огромная Отчизна вливали в меня свежие силы, помогали приблизить победу.

Радостно мне было узнавать из писем Нафисы о ее работе, о матери, о том, как подрастают мои малыши. «Будь батыром. Сражайся храбро, как бились с врагом твои предки. Пусть гордится тобой народ, сыновья. А любовь моя будет пылать неугасимо...»

Вот так все долгие годы войны была Нафиса для меня путеводной звездой. И даже сама смерть отступала от меня, не в силах побороть такую любовь-звезду... Только последнее ее письмо было каким-то непривычно взволнованным. Видел я, что и тут не хотела она расстраивать меня: писала осторожно, будто нарочно подбирая безобидные слова... Но я сразу почувствовал, что дошла моя милая Нафиса до крайности, иначе не решилась бы рассказать мне об этом.

«...Представь себе: Галиакбар стал теперь профсоюзным руководителем в нашем тресте. Некого — все настоящие мужчины на фронте. Выдвинули его... К сожалению, таким приспособленцам теперь сладко живется. Умеют они для себя местечко повыгоднее найти...»

К нему-то мне и довелось обратиться за помощью: надо было вывезти из лесу дрова, заготовленные мною еще с лета. Вот и пришлось пойти к другу моему, Галиакбару. «Помогите,— говорю ему,— вывезти дрова. Печь нечем топить. Детишки мерзнут». И ты думаешь, он откликнулся? Накричал, чтобы я не забивала ему голову всякой чепухой. Мол, у людей забота о Родине, а я о дровах, видите ли, речь веду. Мол, на фронте не такие трудности переносят. Словом, пристыдил, поучил уму-разуму... Велел терпеть, а сам разъялся—противно смотреть. Не жалуюсь я вовсе, а просто хочу, чтобы ты знал истинное лицо своего земляка...»

Разве мог я быть спокойным после такого известия? Понял — бедствует моя семья. Не выдержал я и пошел к комиссару полка, благо были мы на отдыхе перед рейдом в тыл врага. Вскоре он мне сообщил, что семью мою обеспечили дровами. Но... от самой Нафисы я весточки не по-

лучил. Мама написала о ее трагической смерти. В конверт она вложила листки из дневника Нафисы. Прочитал я их и будто ослеп и оглох — все передо мной померкло...

Вот о чем писала в своем дневнике моя незабвенная Нафиса:

«...Навалилась на меня беда, и все из-за дров... Могла разве я допустить, чтобы ребятишки и мама дрожали от холода в собственном доме? Надоело мне упрашивать Галиакбара, и пошла я в военкомат. Там, как ни трудно было, в тот же день дали мне лошадь и сани. Выехали мы со свекровью еще до рассвета. Торопились поскорее управиться с дровами. Январское утро было морозное, ясное. Над Уральским хребтом поднялось угрюмое, неласковое солнце. Нерадостно и у меня на душе. Лошадь оказалась до того старой, что еле переставляла ноги, но кое-как дотаскилась до леса. Нагрузили сани и тронулись в обратный путь. «Скорее бы уж домой! Привезем дровишек, истопим печь, накормим детей горячим обедом», — так, не сговариваясь, наверное, думали мы обе, мечтая увидеть их повеселевшие глазенки. Но бедная лошадь с полным возом совсем выдохлась: проковыляла с полкилометра и, вконец обессилев, встала. И, как мы ни бились, дальше ни шагу. Что оставалось нам делать? Чуть не плача, скинули мы с саней полвоза дров. «Хоть полвоза привезем, и то хорошо...» — утешали мы друг друга.

Лошадь, почувствовав облегчение, тронулась, но, сделав несколько шагов, снова встала, виновато опустив голову, — словно прощения у нас просила, бедняга. «Эх, что б нам захватить с собой хоть кусочек хлебца! Пожевала бы — глядишь, и осилила бы путь...» Пришлось половинить воз еще раз. И снова мы трогались в путь, то и дело оставаясь... Пока не повыкидывали из саней все дрова до единого полешка. Как в сказке о той невестке, что безжалостно отдавала на съедение ведьме своих дочерей-красавиц, пока та в конце концов не съела ее самоё... Кляча совсем ослабла и не могла тащить даже пустые сани. Так, подталкивая ее с двух сторон, мы кое-как добрались до города. А тут еще улица на подъем пошла, и лошадь опять встала как вкопанная. Мы со свекровью из сил выбились — устали, измёрзли. Горюем, как лошадь вернуть. На счастье, откуда-то появилась группа солдат. Они-то и выручили нас: и лошадь и сани чуть не на руках в гору втащили...

Рады-радехоньки были, что хоть живую сдали в воен-

комат. Военкома я не виню. Время трудное, все добрые кони на фронте. Что раздобыл, то и дал. Правда, мужчина наверняка не рискнул бы на такой кляче отправиться в лес, да еще за шесть километров.

Вернулись домой. В комнате холодина. Наши малыши наплакались вволю, дожидаясь нас. Старший, проснувшись, и насмешил нас, и взгрустнуть заставил: «Мамочка, а мы с братиком долго-долго в окна глядели. Вас ждали... А вас все нет и нет. На улице уже пусто, только одна круглая луна. А братик говорит: «Вдруг мама с бабушкой не вернутся? Ты будешь мне мамой и папой, а кто же бабушкой будет?» Мне так жалко стало вас. Я заплакал. И братик заревел... Смотрим на луну и плачем. А когда она спряталась за тучу, и мы залезли под одеяло...»

Расскажи об этом после войны — не поверят. Скажут: «Да бросьте вы, не выдумывайте. В четыре годика малыш не мог так говорить». Конечно, так скажут те, кто не застал войны, кто позже нас жить начал. Они могут и не поверить, что война превратила наших детей в маленьких старичков, лишила их детства... Скорее бы уж настало мирное время, чтобы можно было обо всем этом позабыть!..

С той поездки я и заболела. Видно, простудилась тогда... Температура очень высокая. Врач говорит — воспаление легких. Я верю, что одолею болезнь...

Гадель, если бы ты знал, как мне не хватает тебя! Твоих добрых глаз, ласковых рук... Вот я и стала вести дневник. Будто делюсь с тобой всем, что на сердце у меня... Как бывало раньше. Помнишь? Уложим детей, сядем обнявшись на диван и обо всем-то переговорим. Горит на столе под зеленым абажуром лампа, и так хорошо и спокойно на душе...

Ах, Гадель, скорее бы наступил долгожданный мир. Тогда мы вместе как-нибудь почитаем мой дневник. Тебе, наверное, будет интересно узнать, как мы тут без тебя жили. Больше писать сегодня не могу. Слабость, голова кружится... Завтра...»

На этих строчках записи в дневнике обрывались. Это были последние слова Нафисы, обращенные ко мне. Для нее «завтра» уже не наступило.

Окончилась война, вернулся я в родной Ишимбай. Первым делом пошел в свой трест. Оказалось, что Галиакбар все еще работал в профсоюзе. Видеть не мог я этого подлеца, чинушу. Из-за него потерял я свою Нафису. Но встретиться все же пришлось. Столкнулись мы с ним на улице, неподалеку от моего дома. Поначалу я даже не узнал его. В новом драповом пальто с каракулевым воротником, на ногах фетровые бурки, на руках кожаные перчатки, шея обмотана каким-то немисливо пестрым кашне, смахивающим на петушинный хвост... Когда-то худой, ниже меня на целую голову, он так растолстел, что стал поперек себя толще. Из одутловатых, готовых вот-вот лопнуть щек выглядывает нос-пуговка, да помаргивают в узких щелочках пронирыльные глазки. Увидел меня, — пухлые, вишнево-красные губы расплылись в улыбке.

Диво, да и только, до чего изменился человек! Даже походка другая — идет животом вперед, степенно. Словом, не мой однокашник Галиакбар, а солидный, знающий себе цену ответственный работник.

Смотрю я на его круглую, как блин, самодовольную физиономию и слова не могу вымолвить. «Черти, что ли, подменили его, пока мы воевали?!» А Галиакбар, решив, видно, что я растерялся перед его величественной фигурой, как, бывало, терялся в детстве от его наглой самоуверенности, заговорил первым:

— Ну, здравствуй, земляк! Здравствуй! Рад видеть. С победой! Свернули мы все-таки фашистам шею. А ты похудел. Да ничего. Были бы кости, а жир нарастет. Знаю, знаю, горе у тебя. Главное — духом не падай. Все образуется. Не так ли, друг? — а сам крутит у меня на шинели пуговицу и в глаза заглядывает.

Отшатнулся я от него. «Ах, ты, думаю, мерзавец, угробил жену да еще и в утешители лезешь!» А он как ни в чем не бывало продолжает:

— Счастливый ты человек, Гадельша! Я всегда говорил. Четыре года воевал, а жив-здоров и вся грудь в орденах. Теперь вам, фронтовикам, почет и слава. А мне вот, друг, не повезло. Нет, не выпало такого счастья!

— Да кто же тебя лишил такого счастья — родину защищать?! — вырвалось у меня с ненавистью.

А он глазом не моргнув отвечает:

— Болезни, земляк, болезни... Чуть ноги не протянул. Такая язва, брат, в желудке оказалась. О!..

Вспомнил я нашего политрука — он в нашу часть попал из московского ополчения. Не посмотрел на язву желудка, добровольцем в армию пошел. Да разве с этим типом можно о чем-нибудь серьезно говорить? Я молча повернулся и зашагал к дому. Но от Галиакбара так просто не отделаешься. Он схватил меня за рукав.

— Ну погоди, земляк. Столько не виделись... Давай поговорим, чтоб встреча так уже встреча...

Я все убыстряю и убыстряю шаг, а он не отстает, семечит рядом и все про язву свою бормочет. А меня отвращение душит. «Какой же хитрый, подлый мужичонка вышел из ленивого, избалованного мальчишки?! Подумать только!» Оказывается, и женился-то он на женщине много старше себя. Но зато она врач. Ей-то он и жизнью обязан, иначе распроклятая эта язва ей-ей свела бы его в могилу...

— Габида моя — женщина замечательная. Работает в гор-здраве... Все в ее руках. Живем дружно. А уж ухаживает за мной! В квартире одна обстановочка чего стоит. Повезло мне, друг, — лучше некуда... Ну а что человеку еще нужно?

Видно ожидая, что после его исповеди я поддакну ему, шел он некоторое время молча. Потом не выдержал, еще больше разоткровенничался: мол, в нынешнюю пору самое выгодное дело жениться на женщине хоть и старше тебя, но зато с положением.

— Неприятно, конечно, поначалу было. Смеялись: мол, у Галиакбара жена рябая да старая. Чуть ли не в матери ему годится. Посплетничали да успокоились. А мне разве худо: перина пуховая, еда сладкая! Вот так, земляк. Хочешь, она и тебе поможет. Инвалидность там организовать... Только подход к ней сумеи найти... — довольный собой, Галиакбар хихикал.

«Подлец! Навозный жук!» — хочу я крикнуть ему в лицо. Да язык словно отнялся от возмущения. Не прощаясь с ним, я почти бегом припустил к дому. Услышал только, как он бросил мне вслед:

— Станный же ты человек, Гадельша!

Хорошо, что сдержался, не ударил негодяя. Не стоило руки марать. А вот что подлецом не назвал, пожалел крепко...

Родительское собрание в 10 «А», где я классный руководитель, прошло на редкость дружно. Наметили интересные мероприятия. По предложению Гадельши Коросбаева, отца одного из моих учеников, летом решили всем классом пойти в поход по родному краю. Казалось бы, радоваться надо, а мне вдруг взгрустнулось, хотя и наслушалась я много добрых слов о себе. Третий год после окончания пединститута я живу в Ишимбае, преподаю в средней школе физику. Коллеги учителя и ученики меня уважают, часто обращаются ко мне за советом, считая знающим, опытным педагогом. Завуч сегодня говорила кому-то по телефону: «У Гульбикэ Уметкуловой успеваемость по ее предмету хорошая. Ученики любят ее...» Я смутилась, схватила журнал и поспешно вышла из учительской. Эх, знали бы они все, какую непростительную ошибку, а вернее, глупость допустила в своей жизни опытная Уметкулова...

...Была я тогда первокурсницей. Мест в общежитии не хватало, и родители устроили меня на квартиру к знакомой женщине. Там же, во дворе, в отдельном флигеле жил доцент сельскохозяйственного института, кандидат наук, Миннибай Нажипович Мыжиков. Жильцы нашего дома звали его между собой просто Нажипыч. Он был холост, и многие женщины, особенно молоденькие вдовушки, осиротевшие в войну, всерьез обижались на него за то, что он ни с кем не разговаривал, ни на кого не обращал внимания.

— Вот бирюк! Только собой занят, а до чужой беды и дела нет. Станный какой-то человек!

— Уверена, что неспроста он не женился! Поди, страсть какой жадный! Верно, боится — а ну как жена все добро в свои руки возьмет... А самому уж за сорок, и виски седые.

— А в квартире у него, говорят, как в комиссионке: добра всякого видимо-невидимо!

Веселая хохотушка, мало чего понимающая в жизни, я с любопытством впитывала в себя эти разговоры и не заметила, как по-настоящему заинтересовалась им. Все меня восхищало в нем: и ученая степень, и то, что он имел (подумать только!) научные труды, и то, что он, по словам жильцов, прекрасный преподаватель. Высокий, статный, всегда отлично одетый, он поразил мое девчоночье воображение. Мне нравилось и его уважительное отношение

к людям: как ни спешил он на работу, но, проходя по двору с туго набитым черным портфелем в руке, обязательно легким кивком поприветствует жильцов и досужих кумушек, перемывающих ему же косточки... И я легко поверила в его несомненное превосходство над окружающими. Даже подчас не очень лестные речи о нем не в меру любопытных женщин только лишний раз, как мне казалось, подтверждали, что он — личность удивительная, необыкновенная...

И закружилась моя бедная головушка: только завижу, бывало, его во дворе — так и спешу попасться ему на глаза, первая здороваюсь. А он, недоуменно вскинув брови, ответит: «Здравствуй, здравствуй, озорница!» — и, улыбнувшись, пройдет мимо. Веселость моя улетучивается. Мне почему-то плакать хочется...

«И правда бирюк какой-то! Даже не спросит, как зовут. Все озорница и озорница! Не буду больше с ним здороваться...» — сержусь я, бывало. Но на следующий день все повторяется снова: опять я выскакиваю ему навстречу, первая здороваюсь, а он, снисходительно кивнув, проходит мимо.

Так и заполнил он все мои мысли и чувства. «Да что же это за напасть такая? Что со мной происходит? — все чаще стала задумываться я. — Тянет меня к нему, как магнитом. Отчего бы это? Может, раззадоривает меня его равнодушие ко мне? А может, я влюбилась? — пугаясь, спрашивала я себя. — Да нет! Какая там любовь! Мне восемнадцать, а ему скоро пятьдесят... Он же старый совсем. Просто он интересный человек, и мне хочется с ним поговорить...» — с отчаянием убеждала я себя, стараясь отогнать прочь эти неотступные, непрошеные мысли.

Раздумавшись так, на радостях я уже, бывало, смеюсь сама над собой, довольная, что наконец-то поняла свое настроение. Вспоминая сейчас ту смешливую, наивную Гульбикэ, я тоже улыбаюсь, — самой не верится, что была такой легкомысленной девчонкой. Попробуй кому Расскажи — ни за что не поверят!

Заметив, что я частенько без всякой видимой причины вот так хохочу сама с собой, хозяйка моя не на шутку встревожилась.

— Что с тобой, Гульбикэ? Уж не заболела ли ты? Может, маме написать? Шайтан, что ли, тебя щекочет?

— Ох, не знаю, тетушка Минниса! — а самой будто смешинка в рот попала. Еще пуще заливаюсь смехом.

Но когда я перешла на второй курс, отношения наши

круто изменились: Миннибай Нажипович стал проявлять ко мне внимание. Теперь уж он не проходил с равнодушным видом мимо, как, бывало, раньше. Первый остановит меня, пошутит, расспросит, как идут у меня занятия в институте. А однажды, будто к слову пришлось, поинтересовался о родителях, кто, мол, они, где и кем работают. А я на седьмом небе от счастья. Рассказываю ему о нашем деревенском житье-бытье до мельчайших подробностей. Похвасталась, что живут мои родители в колхозе, отец — Герой Социалистического Труда. Случись нужда — вся семья придет мне на помощь...

Мои бесхитростные, искренние рассказы, видно, нравились ему. Он улыбался, слушая меня, и, не в силах скрыть свою радость, весело поддакивал: «Прекрасно, прекрасно!..»

Одобренная его вниманием, я входила в азарт и договаривалась бог знает до чего, расписывая наш семейный достаток:

— А у нас на обед съедают целого барана! Мама умеет разделывать гуся хоть на двадцать четыре куска... А папа любит, чтобы в праздник за столом каждому доставалось по жирному гуся...

Встречались мы с Миннибаем Нажиповичем теперь часто, иногда он приглашал меня в театр, в кино. Все было бы хорошо, но почему-то ему всегда доставались самые дешевые билеты... Миннибай Нажипович всякий раз смущенно просил у меня прощения, а я, огорчаясь, переживала за него и мысленно ругала кассиршу, которая не могла уж догадаться оставить лучшие места такому уважаемому человеку. И я рьяно принималась убеждать его, что в театре люблю сидеть только на галерке, а в кино — на первом ряду, прямо перед экраном... И правда, когда я была с ним, все места были для меня удобными, а фильмы и спектакли — замечательными. Дома же я только диву давалась своему вранью.

«Что это такое? Неужели я влюбилась? — не раз задавала я себе вопрос. — Ужас! В такого старого... Нет, не надо мне с ним встречаться. Не надо! Все! Все!» Такую клятву я давала себе, ложась спать, а утром моя решимость испарялась, и опять я весь день жила надеждой на новую встречу.

Почти каждое воскресенье мы теперь обедали вместе. Я охотно шла с ним в столовую, хотя и частенько уходила оттуда голодная... Пожалуй, никогда не забыть мне тот день, когда он впервые пригласил меня вместе отобедать.

Были зимние каникулы. Встретив меня, как обычно, во дворе, он поинтересовался экзаменами, похвалил за успехи, пошутил, что, мол, за расторопность меня надо бы звать не Гульбикэ, а Ульгербикэ¹, а потом пригласил отметить окончание сессии совместным обедом.

Надо ли говорить, с какой радостью откликнулась я на его приглашение. День был морозный, меня познабливало в стареньком демисезонном пальтишке, которое я носила еще с десятого класса, но я, не раздумывая, храбро пошла в столовую, находившуюся довольно далеко от нашего дома. Сам же Миннибай Нажипович одет был в добротное зимнее пальто, модное и красивое. Высокий, плечистый... Я рядом с ним, наверное, выглядела жалким заморышем-цыпленком. Но настроение у меня было таким ликующим, что я не замечала ни холода, ни забавной разницы между нами.

В столовой нам пришлось немного постоять у входа в зал, хотя и были свободные столики. Нас вежливо приглашали пройти, но Нажипыч, к моему удивлению, мягко отказывался. Оказывается, он всегда обедал за «своим» столиком — в укромном уголке, подальше от продуваемых окон. Наконец рыжеволосая веснушчатая официантка с живыми любопытными глазами убрала со стола и приветливо позвала:

— Пожалуйста, Миннибай Нажипович!..

У меня от ее голоса вдруг сжало сердце и даже колени подогнулись. «Вот из-за кого он ждал свой столик... Наверно, он нарочно привел меня сюда, чтобы потом посмеяться с ней надо мной! Какая же глупая я, глупая девочка!..»

— Пойдем, мой цветок. Нас приглашают,— услышала я, как сквозь вату, его ласковый говорок.— Я обедаю здесь каждый день, и официантки знают... С уважением ко мне...— и он предупредительно взял меня под руку.

Мы с достоинством прошли к столу. Нажипыч снял и повесил на спинку стула отлично выглаженный, без единой морщинки пиджак из темно-серого бостона и остался в белой украинской косоворотке, превратившись из солидного мужчины в простого задорного парня. Подтянув на коленях брюки, аккуратно усевшись на стуле, он деловито углубился в меню.

Я же сидела растерянная, обескураженная своей рев-

¹ У л ь г е р б и к э — вездесущая женщина.

нивой вспышкой. «Вот так новость! Выходит, я очень ревнивая! Какая же я дурочка! Будто никто, кроме меня, даже по имени его не может назвать...»

Изучив меню и сделав в уме какие-то сложные подсчеты, Миннибай Нажипович обратился ко мне:

— Извини меня, Гульбикэ, но я не переношу жирных супов и мяса... Тяжелая пища... Не правда ли?

Пока я в замешательстве соображала, что же ему ответить, он успел рассказать мне о пользе овощных и крупяных блюд. Впервые я узнала, что гороховый суп богат витаминами и белками, а гречневая каша особенно хороша при малокровии, в ней много железа... У меня же язык не поворачивался сказать — я тоже не люблю мяса... Слишком уж бессовестным было бы мое вранье. Но тут, на мое счастье, подошла рыжая официантка и, кокетливо улынувшись, спросила:

— Миннибай Нажипович, принести ваши любимые блюда? Нажипыч обрадованно откликнулся:

— Да, да, пожалуйста, принесите! Только на двоих... Когда официантка отошла, он поспешил объяснить мне:

— Тут все уже знают, что я люблю брать на обед. Я ведь захожу к ним каждый день...

Официантка вскоре подала нам гороховый суп, а на второе — гречневую кашу с жиденькой подливкой.

— Приятного аппетита, Миннибай Нажипович!

— О, спасибо! Большое спасибо! — оживленно приговаривал Нажипыч, осторожно прихлебывая с ложки горячий суп.

Я невольно посмотрела на соседние столики, где в тарелках дымились жареная гусятина, бифштексы с яйцом... Но делать нечего: пришлось есть гороховый суп. Взглянув на мою кислую физиономию, Нажипыч ободряюще промолвил:

— Ешь, цветок мой, ешь! Суп очень вкусный — язык проглотить.

Мне было приятно, что он теперь называл меня «мой цветок». От таких нежных слов у меня темнело в глазах и голова шла кругом. Да и у какой девушки не закружится голова от такого ласкового обращения.

Ради него я готова съесть и гороховый суп, который терпеть не могла. Но, попробовав сделать два-три глотка, я с отвращением отложила ложку и украдкой стала наблюдать за Нажипычем. Как же красиво и изящно он ел! Он не чавкал, как некоторые, когда ели первое. Длин-

ными пальцами он отламывал маленькие кусочки хлеба и неторопливо прожевывал, плотно сжав пунцовые, по-женски пухлые губы. Нет, он даже не ел, а священнодействовал, будто совершал какой-то обряд... И все это серьезно, вдумчиво. Я, девушка, и то не чувствовала себя за столом так легко и непринужденно.

Наконец-то я внимательно рассмотрела его. Вблизи он оказался еще симпатичнее, и даже не верилось, что ему уже за сорок: так молодо он выглядел. И если бы не седина, посверкивающая в черных кудрявых волосах, ни за что бы не догадаться о его солидном возрасте. Портили его только выдающийся вперед подбородок и впалые виски. Мама, бывало, говорила, что человек с такими висками почти всегда мелочный и жадный. Да и людей с пронырливыми, бегающими глазами не одобряла: «У кого чисто на душе, тот прямо смотрит тебе в глаза, а не юлит туда-сюда...»

Я вдруг с огорчением заметила, что и у Миннибая Нажиповича какие-то беспокойные глаза. Они упорно избегают твоего взгляда, все кружат и кружат, скользят по тебе, точно осы, норовя побольнее ужалить... Как странно! Они жили словно сами по себе, отдельно от лица, постоянно озаренного милой обаятельной улыбкой, от всего его скромного, даже застенчивого облика...

Расстроенная, я пыталась убедить себя, что все это чепуха. «Мало ли что скажет мама! А может, это от суеверия у нее? И не выдумывай, дуреха! А еще комсомолка! Стыд-то какой! Да разве можно судить о человеке по глазам — хороший он или плохой. Просто Нажипыч деловой, энергичный человек, поэтому и глаза у него такие живые. Лучше, что ли, если бы они были сонными и равнодушными? Да нет же, я люблю его, люблю! Он замечательный!..»

— Что же ты не ешь, мой цветочек?

Застигнутая врасплох его ласковым вопросом, я поспешно склонилась над тарелкой и так густо покраснела, словно ела не остывший гороховый суп, а только что снятый с огня бешбармак. Мне было ужасно неловко за свои недобрые мысли о нем, и я торопливо глотала суп, боясь взглянуть на него, будто он мог прочитать их в моих глазах. Между тем Нажипыч с завидным аппетитом доел гречневую кашу и, тщательно вытерев остатки подливки хлебным мякишем, съел и его. Увидев, что он взялся за пиджак, я тоже встала из-за стола, пробормотав, что сыта — успела поесть перед уходом из дома...

Весной произошло событие, перевернувшее мою дальнейшую жизнь. Миннибай Нажипович торжественно объявил мне, что надумал покончить с холостяцкой жизнью и хочет видеть меня своей женой. Я, не раздумывая, не посоветовавшись даже с родителями, не помня себя от счастья, дала согласие.

8

Перешла я на третий курс, и мы поженились. Как сейчас, помню тот летний солнечный день, когда, сгорая от любопытства, провожаемая добрыми напутствиями хозяйки, я впервые переступила порог таинственного флигеля Миннибая Нажиповича. Захлопнулась за мной тяжелая, массивная дверь, и меня объяла такая глухая непроницаемая тишина, которая будто сразу отрезала, отдалила меня от всего простого и привычного, что было у меня до этого в жизни...

Во флигеле, помимо кухни, оказалось еще две комнаты: зал и спальня, поразившие меня своим мрачным убранством. В зале вся мебель была таких внушительных размеров, будто жили здесь не обыкновенные люди, а какие-то циклопы. Почти полкомнаты занимал громоздкий, обитый коричневой кожей диван, украшенный резными львиными головами, по бокам выстроились неуклюжие красного дерева стулья с высокими спинками, потолок подпирали два книжных шкафа, а посреди комнаты чернел полированный письменный стол. Замки у шкафов проржавели. Видно было, что открывали их редко. На стенах — в позолоченных рамах картины, краски которых так потемнели, что нельзя было ничего разобрать...

Я даже расстроилась — так жалко стало Нажипыча. «Как же ему, должно быть, плохо было жить! Все один и один... Вот и привык прятать все под замок... Теперь-то начнется иная жизнь! И закрывать уж ему ничего не придется...»

...Однажды лекции в институте закончились раньше обычного, и я в нетерпении прибежала домой: уж очень хотелось до прихода Нажипыча прибраться, навести уют в безотраднo сумрачных комнатах. Вытираю пыль с мебели, прикидываю, какими бы нарядными гардинами заменить нынешние темно-бордовые, а у самой на душе неспокойно и грустно. Привыкла я все же жить в большой дружной семье, любила шумные студенческие компании, а тут вдруг полное одино-

чество. Никто к Нажипычу не ходил, даже знакомые не заглядывали... И такая тоска и скука наваливались на меня, что, бывало, жалеть начинала о своем замужестве... Пытаюсь отвлечься, вспоминая что-нибудь забавное, веселое из институтской жизни, но на сердце все равно тяжело, и настроение — хоть плачь...

Поскорее закончив уборку, я решила почитать какую-нибудь интересную книгу. Вон их сколько стояло в шкафах! И время до прихода мужа пролетит незаметно, и развлекусь. Но не тут-то было! Шкафы опять заперты на ключ. Но на письменном столе вдруг замечаю — белеет какая-то книжка. Обрадованная, я забралась с ногами на диван и взялась за книгу, которая оказалась кандидатской диссертацией Нажипыча. Я даже засмеялась от радости. Ведь как-никак мой муж написал такой объемистый научный труд! Но чем больше я прочитывала глав, тем стремительнее испарялась моя радость, и такая досада меня брала, что разорвала бы их на мелкие кусочки... Но я заставляю дочитать себя до конца. «Мало ли что! Может, в последних главах он пишет о своем открытии», — успокаиваю я себя, листая страницу за страницей.

Вспоминалась другая книга с похожим названием: «Навоз и урожай». А у Нажипыча только название длиннее — «Почва, навоз и урожай пшеницы». Но того автора мой отец, потомственный хлебороб, уважал, и труд его был у него настольной книгой. Я тоже иногда из любопытства в нее заглядывала и помню, что автор давал земледельцам много полезных практических советов и рекомендаций. И написана она была очень ясным, доступным языком. А в труде Нажипыча, как ни напрягалась я, пытаюсь выискать хоть что-нибудь ценное, так и не смогла обнаружить ни одной самостоятельной мысли, ни одного опыта, который был бы новым словом в практике земледелия и имел бы значение для агрономической науки. Это была пустая наукообразная болтовня о навозе: из чего, мол, он образуется, как по цвету и запаху определить его свежесть, в десятках вариантов повторялись смехотворные рассуждения о способах подсчетов зерен, какие можно собрать с колосьев на удобренном участке и на неудобренном, и делался глубоко-мысленный вывод о научном значении таких подсчетов в определении взаимодействия удобрений на почву, а почвы на урожай... И видимо, чтобы придать труду научный «вес», чуть ли не на каждой странице помещены были таблицы и диаграммы.

Обескураженная, долго еще сидела я на диване, лис-
тая труд Нажипыча и терзая себя сомнениями. «Неужели
я ошиблась в нем? Недалекого, ограниченного человека при-
няла за незаурядного ученого! Влюбилась без памяти... В
кого, в кого, дурочка!»

Я с ненавистью разглядывала книгу и вдруг обратила
внимание на год ее издания. Вышла она, оказывается, пят-
надцать лет назад. «Так это же очень давно!— вздохнула
я с облегчением.— Нажипыч был совсем еще молодым, а
кто же в юности не ошибается? У него и опыта ни-
какого не было... Да, но почему же он держит ее на виду, а
не запрятал от стыда подальше? Ведь наверняка нарочно по-
ложил на стол, чтобы я прочла... Значит...»

И все же нелегко смириться с крушением своих иллю-
зий, и я упрямо пыталась найти оправдание Нажипычу,
обрушившись на себя за недоверие к любимому человеку,
которого и узнать-то еще толком не могла за десять дней
совместной жизни... «Нельзя же так,— убеждала я себя,—
рубить сплеча. Недалекий, бездарный... Не разобравшись ни
в чем... Разве это справедливо? Вот защитит он скоро док-
торскую и докажет, что ученый он настоящий. Отец не-
даром говорил, что несправедливость — один из худших по-
роков. Так ведь и счастье свое недолго разрушить...»

Успокоившись, я вспомнила, что сегодня получила сти-
пендию, и решила приготовить что-нибудь вкусное на обед.
Я быстро собралась и побежала на базар. Купила кило-
грамм баранины, разные специи, муку и заторопилась до-
мой. Хотелось успеть до прихода Нажипыча приготовить
халму¹. Но когда я вернулась, он был уже дома: сидел на
диване и с довольной улыбкой листал свою книжку.

«Бог мой!— едва не вырвалось у меня вслух.— Значит,
диссертация эта — вершина его учености?!» И вновь нахлы-
нули горькие мысли. Увидев меня, он кинулся мне нав-
стречу.

— Где ты была, мой цветок?— ласково обняв, он взял
из моих рук сумку и, разворачивая на ходу свертки, про-
шел на кухню.

«Какой же он добрый, милый! А я чего только не на-
выдумывала о нем!..»— так упрекая себя, я поспешила раз-
деться и весело крикнула ему из прихожей:

— Сейчас будем обедать, Нажипыч. Халму пригото-
влю. Ты такую и не пробовал никогда. По маминому ре-
цепту... Это тебе не гороховый суп!

¹ Х а л м а — мучное блюдо с мясом.

Когда я вошла на кухню, Нажипыч с удивлением и даже, как мне показалось, с неудовольствием разглядывал баранину. Я молча остановилась в дверях, не понимая, чем он мог быть недоволен. Кусок был преотличный, и я очень гордилась своей удачно сделанной покупкой. Но вот он положил мясо на разделочный стол и взялся за топорик.

— Гульбикэ, цветочек мой! Надо разрубить мясо на четыре кусочка. Тебе хватит на четыре дня.

— Как на четыре?!— невольно всплеснула я руками.— Я боялась, мало будет. Мама, бывало, на халму тратила целый котел баранины...

— Ах, цветок мой, так нельзя...

— Да кто же готовит халму без мяса?— пыталась я возражать ему.

Но он уже разрубил баранину на четыре куска и один сунул мне в руку.

— Это, Гульбикэ, тебе на сегодня. Сейчас я и муку для лапши дам... Да, да, приготовишь нам лапшу. А то на халму много муки потратишь.

Остальные кусочки баранины он вынес в кладовую. На меня будто столбняк напал. Стою посреди кухни с мясом в руках, не знаю, за что взяться, с чего начать... Вернувшись, Нажипыч достал из своего черного портфеля пакет муки и отсыпал немного в стоявший на столе ящичек.

«А я-то, дура, думала, что он рукописи в нем свои таскает...— мысленно выругала я себя за свою наивность.— Да, все в этом доме есть. Нет только места для жены...»

Нажипыч между тем взял из ящичка горсть муки, высыпал на доску, а остальную заровнял и уплотнил так, что остались отпечатки его пальцев. С улыбкой взглянув на меня, он промолвил:

— Ну вот, цветочек мой, это тебе на лапшу. Без меня муку лучше не трогай...— Его маленькие глазки с ненасытной алчностью оглядели ящик, словно он хотел запомнить, сколько же там оставалось еще муки.

Потом он тщательно вымыл руки, ласково погладил меня по щеке и с важным видом проследовал в зал, кинув на ходу:

— Посмотрим, посмотрим, хозяйюшка, вкусна ли будет твоя лапша... Начинай готовить, цветок мой.

Мне же все стало до того постылым, что, швырнув баранину на стол, я тоже пришла в зал и села там на диван в каком-то странном оцепенении. Нажипыч стоял у письменного стола и листал свой сборник.

У меня будто пелена спала с глаз: с ужасающей ясностью я вдруг поняла, что сделала непоправимую ошибку. И флигель Нажипыча, бывший когда-то для меня чуть ли не храмом науки, тешивший детское мое воображение своим необычным убранством, внезапно превратился в жилище дикаря... Мне даже почудилось, что из всех углов запахло плесенью. «Да, да, сюда никогда не заглянет солнце, никогда не придут добрые люди...» — с отчаянием думала я.

Видимо заметив мое состояние, Миннибай Нажипович отложил свою книгу и, ласково улыбаясь, подсел ко мне на диван.

— Ну, глупышка, чему же ты удивилась, а? — Чугунной тяжестью легли мне на плечи его холодные цепкие руки, и я с отвращением отодвинулась от него.

«Что я наделала! Что я наделала! Сама себя обманула!» — терзалась я в тоске и обиде.

Мы долго молчали. Я — потрясенная жестоким разочарованием, а он, возможно, из-за черствости и мелочности своей натуры не находил нужных слов. Перехватив мой невидящий взгляд, устремленный на картину, висевшую на противоположной стене, он спросил меня, вкрадчиво улыбаясь:

— Не правда ли, хороша?

Тут только я рассмотрела ее внимательно. Аляповато и грубо она изображала большой приземистый дом, нижний этаж которого был из кирпича, а верхний — бревенчатый. Так и чудилось, что за массивной дверью стоял раньше прилавок и дородная купчиха отмеряла покупателям цветастые ткани. Пожалуй, удались художнику высоченные сосны, растущие возле дома, но и в них не было того одухотворения, какое радует в вещах талантливых.

— Хороша ведь? — переспросил Нажипыч, и, то ли не добившись от меня ответа, то ли от своих собственных мыслей, он вздохнул и неожиданно признался: — Это наш дом... В тридцатые годы... раскулачили отца. Я успел отделиться... А то мне тоже пришлось бы бродить в другом сосняке... где-нибудь в Сибири...

Он усмехнулся и, повернув меня к себе за плечи, заглянул в глаза.

— Эх, вернуть бы прежнее время, ты бы, цветочек мой, в золоте купалась... Невесткой в самый богатый дом вошла бы... Теперь там правление колхоза, сельсовет. Только картина и утешает. А что тут поделаешь? — он тихонько засмеялся.

Я взглянула на него и содрогнулась. Он, словно безгрешное дитя, простодушно смеялся, но его маленькие, близко посаженные глазки будто жили отдельно от лица — такая затаилась в них злобная ненависть...

«Подумать только! Вот он какой!.. — похолодев от ужаса, повторяла я про себя. — Он же ничего не поймет и никогда не забудет...»

С того дня я забыла, когда была веселой и озорной. Исчезла без следа беззаботная девчонка...

9

Однообразной вереницей потянулись серые, тусклые дни моей замужней жизни. Нелегко мне было и в институте учиться, и справляться со всеми делами по дому. Миннибай Нажипович все домашние заботы взвалил на меня, рассчитав и выверив каждый мой шаг, каждую мою обязанность чуть ли не по часам и минутам. В одно и то же время я подавала ему завтрак, обед и ужин. Утром, пока он еще нежился в постели, я должна была прогладить ему брюки, галстук, носовые платки, приготовить свежую сорочку. И боже упаси, если найдет он на рубашке хоть одну морщинку! Все чтобы отвечало его вкусам и требованиям. Но как ни старалась я приноровиться, угодить ему было невозможно. Кажется, все сделаю без сучка и задоринки, но он все равно найдет к чему придраться. И, одеваясь, ворчит и ворчит своим приторно-сладким голосом:

— Ну что ж, посмотрим, посмотрим, цветочек мой, хорошо ли ты выстирала мою рубашку? Ну вот, опять складочка! Когда ты научишься гладить, моя дорогая? И на брюках линия кривая... Галстук блестит, как фартук у сапожника! Наверное, не через тряпку гладила. Ну разве так можно?! — И обиженным тоном добавит: — Не забывай, милочка, что ты — жена Миннибая Нажиповича. И тебе не к лицу быть такой неумехой. Уж постарайся, цветок мой, научиться ухаживать за мужем. Сама подумай, с каким человеком свела тебя судьба... Ну что ты глаза отводишь? Я же вижу: нет в тебе огонька!..

Меня так изводили его постоянные упреки и придирки, что я, бывало, крутилась как белка в колесе, не зная, как только угодить ему. Но что бы я ни сделала, ничто не радовало его, все было не по нутру. Только в начале и в конце месяца лицо его озаряла по-детски счастливая улыбка

и сияли довольством маленькие буравчики-глаза. По его оживлению я сразу догадывалась, что он получил сегодня зарплату. Он садился на диван и брался за свои сберегательные книжки, всякий раз рассматривая их с каким-то восторженным умилением, и, обращаясь ко мне, назидательно поучал:

— Деньги, мой цветок, не брусника. На кустике не растут. Их надо уметь добывать, приумножать и беречь...

Впервые я услышала от него этот «священный» девиз еще в тот памятный печальный день, когда так неожиданно и безобразно оборвался наш медовый месяц. Помню, он заявил мне тогда, что теперь ходить нам в столовую незачем, надо экономить. И выдал мне на ведение хозяйства деньги.

— Ежемесячно, цветочек мой, буду давать тебе по двести рублей¹. С твоей стипендией нам четыреста шестьдесят рублей в месяц с лихвой хватит... Мясо нам каждый день ни к чему. И для здоровья вредно, и весьма чувствительно для бюджета. Сама понимаешь, жили мы отнюдь не бедно, но мама моя готовила мясное только два раза в неделю... В остальные дни — кислое молоко, вегетарианские блюда. И ничего — еще как вкусно-то было! Вот и ты будешь так же готовить. Выкroiшь себе на тряпки — пожалуйста. Я не жадный... Но помни: деньги счет любят. Только расчетливость и бережливость ведут к достатку...

Он достал из кармана две сберкнижки и долго разглядывал записи в них с таким любопытством, будто впервые их видел. Видно, сумма была там изрядная, потому что он весь так и лучился от счастья. Я же сидела рядом с ним в полной растерянности, не зная, куда девать его деньги, которые раскаленным углем жгли мне ладонь. Видя, что я не выражаю никакого сочувствия, он сунул книжки в карман и, вскочив с дивана, прошелся по комнате.

— Так-то, цветочек мой! Запомни — деньги не брусника. На болоте не растут. Денежки идут к деньгам... Умей их добывать, приумножать, беречь...

Он пытался и мне привить свои привычки и нравы, заставляя жить так, как жил сам. Ради денег, ради накопления богатства, все подчиняя наживе, какой бы она ни была. Частенько я слышала от него: «Цветочек мой! Надо делать деньги. Умей копить их, не выпускай из рук. Умей

¹ До денежной реформы 1961 года.

вернуть и обратно, если они ненароком выскочили из твоего кармана!»

Теперь-то я видела, что и преподавал он не из любви к своему делу, не из-за преданности науке, а лишь бы побольше урвать учебных часов и получить за них деньги. Если появлялась хоть маленькая возможность подзаработать, для него не существовало никаких преград. Он забывал даже об усталости. Помимо своего института он еще ухитрялся преподавать на каких-то курсах, консультировал заочников, читал платные лекции. Даже принимал участие в составлении программ и учебников для средней школы, хотя никогда там не работал и не имел к ней никакого отношения. Словом, жил только одной «идеей», одной религией — деньги, деньги и деньги, ставшие главным стимулом его жизни. Мне даже казалось, что и отношение ко мне диктовалось теми же правилами, какими он руководствовался во всех случаях жизни. «Убыток будет мне или польза, если я столько-то минут уделю на разговор с женой, или на ее ласку, или давая ей поручение?» — так и читались порой на его лице хладнокровные прикидывания и взвешивания, прежде чем он решался что-либо предпринять.

Раздумавшись так однажды, я даже поразились, как метко прилепилось к нему его имя. На мочке правого уха у Нажипыча маленькое родимое пятно величиной с горошину — мин. Чтобы пятно не разрослось и не закрыло все лицо, к имени ребенка, по старинному поверью, обязательно прибавляли слово «мин». Частым упоминанием пятну словно жить спокойнее не дают, и оно становится все меньше и меньше. Из-за такого родимого пятна и называли его Миннибай — родившийся с пятном. Оно у него и вправду осталось маленьким, как в детстве. Но все проглядели другое родимое пятно — на самом сердце. Вот оно-то чудовищно разрослось и отгородило его от всех людей, от нашей светлой жизни. Да, таким он и был — человеком с темным пятном на сердце и совести...

10

Особенно тяжелым был для меня год, когда я готовилась стать матерью. Я надеялась, что ребенок скрасит мою безотрадную жизнь с Нажипычем. И я ждала его, ждала, как луч света в непроглядном мирке нашей затворнической семейной жизни, как избавления от снедающей меня

тоски... Я долго не говорила Нажипычу, понимая, что это вряд ли обрадует его. И не ошиблась. Однажды, когда нельзя уже было больше скрывать, я обмолвилась, что у нас будет ребенок. Зная его прижимистый, скупой характер, я не ждала от него бурной радости, но и представить себе не могла, что даже отцовство не смягчит его сердце. Куда только подевались его обычные выдержка и учтивая сдержанность, снижавшие ему репутацию порядочного человека. Он, как дикий зверь, попавший в неволю, заметался по комнате, хватаясь за голову, рычал и стонал, пытаюсь уговорить меня избавиться от нашего ребенка...

— Ты понимаешь, цветок мой, что ты наделала? Ты еще учишься, я не защитил докторскую... Он же мешать, мешать мне будет! Писк, пеленки... Я не смогу писать диссертацию! А ты знаешь, какая у меня будет зарплата, если я стану доктором? Тысяч пять! А может, и десять! Да где уж тебе понять! И как ты можешь втягивать меня в расходы на никому не нужного ребенка? Зачем, зачем я только, дурак, женился!

Он наконец перестал бегать по комнате, сел ко мне на диван и, сверля меня своими острыми, как буравчики, глазами, вкрадчиво стал допытываться:

— Признайся, дитя мое, почему ты таилась от меня? У меня связи. Пригласил бы лучшего в городе акушера... И ахнуть не успела бы! Все было бы в порядке... А может, еще не поздно, а?

Но я с какой-то не свойственной мне раньше твердостью отрезала:

— Нет, нет и нет! Поздно! Я буду рожать!

...С рождением сына вошли в мою жизнь и большая забота, и ни с чем не сравнимая радость. Будто солнце согрело мою душу. Я так привязалась к моему малышу, что могла бы часами заниматься с ним, если бы не заботы по дому, не требования и капризы мужа, который с рождением ребенка ходил угрюмый, как ненастный, осенний день. Мне было очень тяжело вести хозяйство, ухаживать за сыночком, учиться в институте, и я хотела пригласить к нам свою маму, но Нажипыч и слышать об этом не желал. Отказался он и от помощи своей родни.

— А ясли на что? Ты разве забыла о них, цветок мой?— строго спрашивал он меня, равнодушно наблюдая, как я пеленаю сына.— Все отдают детей в ясли, а ты что же, особенная? Да и такова воля нашего государства...

Я надеялась, что у Нажипыча проснется совесть и все

расходы по уходу за ребенком он возьмет на себя, но он не добавил к обычным двумстам рублям в месяц ни копейки. Пришлось мне выкручиваться на стипендию. От такой жизни я так осунулась и похудела, что друзья мои по институту не на шутку встревожились. Меня вызывали в комитет комсомола, беседовали то всем бюро, то наедине, пытались понять, в чем тут дело. Но разве могла я им признаться, в какой капкан попала из-за своей же глупости! Я и от родителей скрывала свою беду, упорно твердила: «Живу хорошо. Лучше некуда. Помощи мне не надо...»

Ради сыночка я готова была вытерпеть все тяготы и трудности. Как же он радовал и веселил меня! С ним я забывала и свою непомерную усталость, и постоянное недоедание, и даже черствость Нажипыча. Бывало, хожу с ним по комнатам, напевая ему детские песенки, не обращая никакого внимания на холодные косые взгляды мужа, и не могу налюбоваться на своего малыша. Светловолосый, сероглазый, он рос как крепенький огурчик на грядке. Что мне ворчание Нажипыча — я гордилась и была счастлива своим материнством. Но радость моя оказалась скоротечной. Как-то весной во время половодья, возвращаясь с сыном из яслей, попала я под проливной дождь. Вымокли мы с ним насквозь. Хотела я было переждать дождь, да на беду вспомнила, что не успела приготовить обед Нажипычу, и заспешила. И так извел он меня своими вечными попреками.

У меня начались госэкзамены, а сыночек мой метался в горячке. Не смогли врачи спасти его от воспаления легких — поздно я к ним обратилась. Так угасла последняя искорка моей девичьей мечты... Я почернела от горя, а Нажипыч вдруг посветлел лицом — будто не сына потерял, а прибавилась сумма на сберкнижке...

Не помню, как я только сумела выдержать госэкзамены. Получила диплом и попросила направить меня в Ишимбай, где я до сих пор и учительствую. В день моего отъезда Нажипыча не было дома. Пользуясь летним отпуском, носился он по городу, стараясь набрать себе побольше учебных часов на курсах. Я оставила ему короткую и резкую, как пощечина, записку: «Прощай! Меня не ищи. Мы — люди из разных миров. Наши пути никогда не пересекутся».

Представляю, как он удивился. Ведь он и предполагать не мог, что безответная деревенская девушка способна на такой смелый поступок. Но удивление его быстро сменится тихой радостью: «Это же чудесно, мой цветок! Давно бы пора тебе уехать!» И ничто не нарушит его бездушной,

автоматической жизни. Так же педантично он будет в одно и то же время вставать и ложиться, так же спешить по утрам на работу с толстым черным портфелем под мышкой. И женщины во дворе по-прежнему будут судачить о нем. Одни — нахваливать, другие — после моего исчезновения — опасаться... И на службе его многим будут ставить в пример, как одного из самых деловитых сотрудников. Ведь никто же не знает, кроме меня, какой злобный хищник таится под этой внешне обманчивой, благородной личиной.

Только одно меня утешает: не сможет он защитить докторскую — прошли времена для таких начетчиков и приспособленцев. Науке нужны люди думающие, талантливые.

Горько и больно вспоминать мне годы, прожитые с Нажипычем. И эта страшная ошибка моей юности постоянно мучает меня. В школе, конечно, знают, что я разошлась с мужем, но никто не подозревает, что я пережила. Друзья только иногда удивляются моей не по годам серьезности. Да разве могу я им рассказать, какой тяжелейший курс жизненного университета пришлось мне «окончить» по собственной же глупости, кому я подарила свои самые первые, как весенние ростки, чувства! Доверчивая, наивная молодость!..

11

Незаметно летит время. Прошло уже четырнадцать лет, как разгромили фашизм, и мы, бывшие солдаты, воюем на мирном фронте. Посеребрили годы мою черную шевелюру, не тот уж я бравый сержант Гадельша. Изменился и мой однокашник Галиакбар. Едва ли признаешь в нем того самодовольного профсоюзного деятеля, индюком надувавшегося перед такими скромными труженицами, как моя Нафиса. Полетел с насиженного кресла и управляющий трестом, не выдержавший проверки совестью, окруживший себя подхалимами и карьеристами вроде моего земляка.

Работает теперь Галиакбар простым управдомом. Напрасно учили его в училище, тратили на него государственные деньги — не доверил ему народ заведовать клубом, нести культуру людям. Все за эти годы увидели истинное его лицо: пуст человек, как орех без ядра... Домá, поди, тоже не хотели бы иметь с ним дело, но, увы, нет у них языка. Разве будет он стараться на новом месте? Вряд ли.

Ведь нет плохой или хорошей работы. Есть люди, работающие одни — со старанием, другие — спустя рукава. Вот и Галиакбар: куда его ни поставь, куда ни определи — везде окажется случайным человеком.

Теперь его и по одежде не узнать. Когда я с фронта вернулся, бегал он таким гладким жеребчиком, аж лоснился от сытости. Сейчас же больше смахивает на уставшую заморенную клячу. Бобриковое поношенное пальто, кирзовые сапоги... Люди шутят, смеются: Габида-апай хочет, чтобы муж постарел скорей, вот, мол, и бережет себя, разъелась, стала как колодочный улей, а Галиакбара в черном теле держит. То-то ходит как ошипанный петух...

Народ справедлив, не очень-то жалеет Галиакбара: «Всякому свое счастье, в чужое не заедешь. Сам нашел. Не захотел на девушке-одногодке жениться. Как же — не дай бог! — хлопот не оберешься. Сладкую жизнь предпочел. Притулился к богатой вдове на готовенькое. Вот и получай!»

Давно уже не осталось и следа от нашей детской дружбы. Не могу простить ему бессердечия и черствости к моей Нафисе... Но и в мыслях нет, чтобы мстить за гибель жены. Мечь — удел слабых. Ни один уважающий себя джигит не ударит лежачего. А Галиакбар и так сам себя в яму посадил. И нет у меня к нему ни сочувствия, ни злости, одно отвращение. Вот до какого позора может довести человека лень да желание пожить за чужой счет. Мог ведь и он, как другие, иметь семью, детей, работать по специальности, хоть и в заботах, но в почете у людей...

Изредка мы с ним встречаемся. Куда уж тут денешься — все же земляки. Делимся новостями из родного колхоза. О международных событиях потолкуем; оба, похоже, верим, что будущие поколения забудут даже само проклятое слово «война». Но в одном Галиакбар остался прежним: неизменно зовет меня странным человеком, чудачком. Замечаю, что с годами он все упрямее утверждает в этой своей пресловутой «правоте». Чудак я для него — и только! И всякий раз при встрече раздражает и сердит меня.

Вот и сегодня вышла у меня с ним нечаянная встреча. Выхожу я из школы, куда заходил по очень важному для меня делу, настроение — лучше не бывает. Глядь, а у ворот маячит Галиакбар. Прямо нюх у него на меня, как у хорошей гончей.

— Что это тебе дома не сидится, земляк? Куда не пойдешь — везде тебя встретишь...

— Чего это ты такой довольный? Уж не радость ли какая случилась? Ишь, губы-то распустил...

— Случилась, земляк, случилась,— а сам смеюсь от души.— Не ошибся. Радость у меня сегодня большая.

Глаза его блеснули любопытством.

— Поделись, земляк, поделись. Чай не чужие...— и он торопливо зашагал рядом.— Я и сам давно примечаю... Пора, пора... Сколько можно ходить вдовцом!

Я будто о камень споткнулся — остановился, куда и смех пропал.

— Ты что болтаешь, земляк? Говори, да не заговаривайся!

Остерегаясь моего гнева, Галиакбар отошел чуть в сторонку.

— Да я ничего, ничего... Это я так... Сам скажи, друг, сам. Какая же радость у тебя? Может, грамоту похвальную дали? Впрочем, тебя ими не удивишь. Попривык ты к ним, попривык...— зачастил Галиакбар, ловко повернув разговор в другое русло.

Он снова пошел со мной рядом, стараясь шагать в ногу.

— И в газетах, и по радио только о твоей бригаде и говорят: «Бригада каменщиков Коросбаева — семилетку за четыре года!», «Новый метод кладки — предложение Коросбаева!», «Депутат Коросбаев с избирателями»... Неужто у тебя голова не кружится от таких-то похвал? Так ведь не мудрено и шею себе свернуть — работаешь-то эвон на какой высоте...

Галиакбар все говорил и говорил, словно торопился высказать мне все свои обиды и недовольство.

— Можно подумать, что ты один строишь коммунизм. Разве справедливо это, а?

Я даже растерялся. Стою перед ним и глазам не верю. Тот ли это Галиакбар? Настроение он мне начисто испортил, но нельзя не признать — в словах его и правда есть. И впрямь слишком уж много шумят о нашей бригаде газеты.

— Не ожидал, не ожидал... Оказывается, и ты порой можешь правду-матку сказать,— вымолвил я наконец.— Вот за это спасибо, земляк.

Теперь Галиакбар от удивления замер, глядя на меня недоумевающими глазами.

— Как? Что ты сказал, Гадельша?

Мне даже смешно стало. Верно, он думал, что я тоже вспылю и в сердцах выскажу ему все, что имею против

него. Оба мы и освободились бы от давнишней тяжести, что лежала у нас на сердце. Но разве можно сердиться и обижаться на человека за справедливые упреки? Я и сам уже стал с досадой подумывать о слишком ретивых корреспондентах. И слушать твои протесты не хотят. Все стараются выведать, разузнать, а там — в газету, на радио.

— Ты же ведь прав, земляк,— говорю я ему, подходя поближе.— Меня это тоже давно волнует. В самом деле, к чему такое внимание? Что я особенного сделал? Ну ладно, скажем, бригадир бригады коммунистического труда, мастер своего дела. Разве таких, как я, мало? Нас же тысячи, миллионы. Мы и обязаны работать на совесть. Ведь на себя же работаем, а не на какого-нибудь там капиталиста. А раз так — чем же тут гордиться? Добрый труд должен стать привычкой, обычным делом... Нет, ты прав. Чем же тут гордиться? Да, удивил ты меня, удивил... Пожалуй, за всю жизнь, сколько я тебя знаю, ты только сейчас и сказал правдиво. Ну, пока, земляк, некогда мне...

Но Галиакбар уже опомнился и, лукаво подмигнув мне, загородил дорогу.

— Нет, уж погоди, земляк! Какой же ты, право, странный человек! Я же ведь нарочно тебе все это наговорил. Чтобы испытать тебя. А ты раскипятился! Ну и чудак же ты! Сам подумай — какой дурак от похвалы откажется? Да я бы на твоём месте знал, что делать. Я бы уж... А ты... неисправимый чудак! Давно уж я хотел тебя отругать, да все случая не было. Вот теперь-то ты мне кстати попался...

— Ну, давай, давай ругай! Только за дело.— Настроение у меня снова поднялось. Стало даже интересно, чего же еще подметил Галиакбар. Человек-то он, оказывается, неглупый, умеет ухватить суть. Но он уже снова сел на своего конька — заговорил о таких вещах, к чему никогда не лежала у меня душа.

— Послушай, Гадельша! Тебя, депутата, вся республика знает. А в какой квартире ты живешь? В финском домике. В одном из первых домов города! А товарищей по бригаде устроил в новые, благоустроенные дома, с газом и ванной... Ну не глупость ли это, а?

— Как хочешь, так и думай,— резко обрываю я его, не желая больше и слушать об этом.— Вот получают все нуждающиеся квартиры — придет и мой черед...

— Не понимаю, почему бы первому себе не взять? Все права у тебя... И возможность есть...— буквально стонет Галиакбар.

— Да где уж тебе понять! Не по совести это!
— Нет, такого дурака надо еще поискать!
— Думай, как знаешь. А мне наплевать.
— Нет уж, стой! Хочешь, начистоту признаюсь? Я ведь про газетную шумиху малость приврал. Нигде ты себя не выпячиваешь, наоборот, норовишь кого-нибудь из бригады вперед выставить. А сам из-за его спины выглядываешь. Зря, что ли, я зову тебя чудаком. Может, и обидишься на меня, Гадель, но скажу тебе прямо: не ценишь ты внимания к себе. Ведь почет тебе и уважение! Понимаешь ли ты хоть это? Ну ладно о себе не думаешь, но ты и меня, своего единственного в городе земляка, забываешь! Не догадываешься даже на какое-нибудь видное местечко устроить... Ты что же, всерьез считаешь, что Галиакбар не желает быть турэ¹, хотя бы самым маленьким? Я еще не сдурел, чтобы век сидеть в управдомах!

Да, это был прежний Галиакбар — мелкая душа.

— Хватит, земляк! Можешь просить об этом свою Габиду. Она же тебя в люди вывела... А мы с тобой никогда не пойдем друг друга. Давеча ты чудом каким-то слово верное молвил, даже уважение у меня вызвал. А теперь все начисто перечеркнул...

Я заторопился уйти от него прочь. Но Галиакбар засеменил рядом, прикидываясь простачком.

— Пошутил я, земляк. Ей-богу! А ты как ребенок — шуток не понимаешь. Вот чудак!

— Верно, я человек прямой. Люблю говорить начистоту. Без выкрутас. Не всегда раскусишь речи образованных-то, — кольнул я его. — И твои шуточки мне не по нутру. Так и знай!

— Хорошо, хорошо, — заговорил примирительно Галиакбар. — Давай лучше о другом. Ты вон из школы вылетел, как на крыльях. Может, поделишься?.. Уж не Гульбикэ ли ханум воодушевила? Ах, и птичка, скажу я тебе!

Во мне поднимается нестерпимое желание схватить его длинный язык и узелком завязать. «Эх, думаю, любого запачкает поганый язык!..» Но Галиакбар, не заметив моего состояния, как ни в чем не бывало продолжает:

— Ну и женщина! Гордячка, правда, большая. Но хороша: стройненькая, как тростиночка. Если уж понравилась, земляк, смотри не упусти! Сам знаешь — гордость женская что утренний туман... Ветерок заиграет — и нет его... Не так, что ли, друг? Хи-хи-хи...

¹ Турэ — чиновник, власть имущий.

Чтобы заставить его замолчать о Гульбикэ, я сказал откровенно:

— В школу я заходил по делу. Передал им свой депутатский гонорар.

И не ошибся. Галиакбар мигом забыл о Гульбикэ, с лица его сошла приторно-сладенькая улыбка, овечьи глазки округлились и в изумлении уставились на меня.

— Повтори, что ты сказал?.. Депутатские деньги школе? Зачем?!

— Детям, детям отдал. Вот и радуюсь, что мой скромный дар приняли...

— Значит, депутатские деньги больше не получишь?

— Конечно. Я же подарил их школе.

— Неужто ты в деньгах не нуждаешься?— с пристрастием спрашивает Галиакбар, все больше удивляясь.

— Нужны будут — заработаю. Пока хватает зарплаты,— отвечаю я, в свою очередь удивляясь его непритворному потрясению.

Но тут Галиакбар перестает удивляться и кидается в атаку.

— Хватает? Что у тебя, дача, машина, что ли, есть? А может, и гарнитур спальный приобрел, тысяч этак за десять?

— А я в них не нуждаюсь. Понадобятся — куплю,— говорю я, весьма довольный, что он так и кипит от злости.— Не в вещах счастье...

Но Галиакбар, как глухарь на току, уже не слышит моих доводов:

— Дурень! Какой же ты дурень! Надо же до такого додуматься! Коли своего ума не хватает, чего же со мной не посоветовался? Говорил же я, что ты не вовремя родился! Жить бы тебе при первобытном обществе или уж при полном коммунизме, когда деньги будут ни к чему. Так нет ведь! Ах, чудак!.. Ой, глупец! Тьфу, глаза бы мои на тебя не глядели!

На этот раз брань Галиакбара меня совсем не трогала. Наоборот, чем сильнее он досадовал и раздражался, тем яснее я понимал, что сделал доброе дело. Вроде и на душе стало светлее. Поэтому я спокойно сказал:

— Эх, Галиакбар, Галиакбар! Только жадному все мало. Это ты странный человек. Тебе-то уж точно надо было родиться до революции, когда деньги и у нас были всему голова. Ты уж наверняка был бы не управдомом, а самым домовладельцем,— и я, круто повернувшись, направился своей дорогой.

А Галиакбар растерянно пробормотал мне вслед:

— А я-то думал, что он с Гульбикэ-ханум объяснился. Она ведь ему давно симпатизирует. А он? Вот чудака-то!

12

Вот уже три года, как я работаю в средней школе. Нравится мне моя учительская профессия, люблю я учеников своих, товарищей по работе. А прошлое стараюсь не вспоминать. Что было, то сплыло. Жалей не жалей — ничего не исправишь и ничто не вернешь... Хоть плачь день и ночь, слезами юность не воротишь. Поэтому со всей нерастраченной энергией я окунулась в работу, благо не сумел Нажипыч подавить мое жизнелюбие... Стала я только сдержаннее, серьезнее. И на сердце у меня тихо и спокойно. Боюсь только, не похоже ли это душевное затишье на затаенный покой моря перед штормовым ненастьем: налетит ураганный ветер — и взволнуется, вскипит море, ударит волнами в скалистые берега. Столько мощи, избытка сил таится в величавом, гордом покое!.. Так и я боюсь одного — кого-нибудь полюбить... Как я хочу, чтобы мое сердце больше не знало любви и никогда бы ни перед кем не трепетало.

Два года я так и жила и чувствовала себя вольной птицей. Держала себя строго и неприступно, избегала ухаживаний и знакомств. Всюду мне мерещился Нажипыч, и все мужчины казались мне похожими на него. Я панически боялась совершить новую ошибку. Тогда бы я перестала себя уважать...

Я поняла, почему я так глупо ошиблась в Нажипыче. Я вовсе и не любила его. Просто в своем детском увлечении необычным человеком, поразившим мое воображение, я приняла свой острый интерес к нему за любовь... Моему тщеславию льстило внимание такого видного мужчины. Ведь если бы я его любила, я не смогла бы уйти от него. Теперь-то я убеждена, что не так-то легко расстаться с любимым человеком, забыть его, даже если у него и тяжелый характер. Думаю, что это, пожалуй, невозможно...

Горечь и отвращение — в моем сердце нет сейчас иных чувств к Нажипычу, жизнь с которым кажется мне каким-то кошмарным сном. Ах, как бы я хотела забыть его, совсем и навсегда! Но увы! Он все еще преследует меня, мешает моему счастью. Нет, нет и нет! Не хочу я, чтобы он воплотился в новом обличье... Поэтому и не даю воли сердцу.

Иногда в грустную минуту вспоминаются мамины слова: «Не повезло утром — едва ли повезет вечером, если же и вечером не повезет — не жди совсем удачи». Я отгоняю от себя невеселые мысли. Я учительница, комсомолка, и суеверия мне не к лицу. Но все же, все же...

Два года я стойко держалась, избегая всяких знакомств, и вот уже год, как я снова влюбилась... Подумать только! И почему, почему так неукротима моя душа! Почему я такая влюбчивая?! И опять он старше меня. Ведь немало сверстников увлекалось мной в институте. Взять хотя бы Хамида, моего однокурсника, земляка. Он любил меня чуть ли не с детства. Как он радовался, когда я ушла от Нажипыча, предлагал пожениться. Он и до сих пор не женат, все ждет меня, надеется...

Но я и смолоду была какая-то странная: никогда не принимала своих сверстников всерьез. «Какие они женихи! — думала я. — Легкомысленные мальчишки». Мне всегда казалось, что сила, мужество, ум и знания — неотъемлемые качества только взрослых, солидных мужчин. Выходит, что есть такие девушки, которым нравятся мужчины намного старше себя. Влюбилась же Мария в старого гетмана Мазепу! Соколиный взгляд его, как острая булатная сабля, поразил ее девичье сердце... Неисправимая фантазерка! Додумалась сравнить себя с Марией! С такой сумасбродной натурой невольно попадешь впросак.

Да, себя не обманешь, никуда от себя не убежишь — я влюбилась. Где бы я ни была, грустила бы или радовалась, всегда он незримо со мной... Теперь уж и друзья мои стали замечать, что я постоянно интересуюсь им — его работой, семьей.

— Уж не влюбилась ли Гульбикэ в нашего Гаделя? Одобряем, одобряем... Джигит достойный.

А я готова сквозь землю провалиться... Краснею, как девчонка, от стыда и неловкости. Пытаюсь и себя и их убедить, что это неправда, им только кажется. С неделю стараюсь не думать о нем, не обращать на него никакого внимания. Но все напрасно — ничего не могу с собой поделать. И в кого я такая легкомысленная и влюбчивая?! Если уж я не могу разобраться в себе самой, то как же можно оценить и понять другого человека? И разве можно быть уверенной, что не совершишь ошибки, что он и есть именно тот человек, которого ты втайне ждешь всем сердцем? А впрочем, человек, наверное, тем и интересен, что его никогда нельзя узнать до конца. Он весь в духовном

движении, как ежесекундно меняется вода в реке, уносимая быстрым течением. Был бы он прозрачен, как хрусталь, то, пожалуй, и не привлекал бы к себе внимания. Взглянул бы разок — и все ясно...

Но с Гаделем у меня все наоборот. Кажется, все о нем знаю: и жизнь его, и дела, и то, как смотрит он на мир, и все мне понятно и близко... Но чем ближе он мне и понятнее, тем дороже. Сердцем чувствую: да, это — он! Тот человек, о ком я мечтала, кого ждала. Я люблю Гаделя! Люблю! Если бы он об этом догадался! И опять одолевают сомнения. А вдруг я снова заблуждаюсь в своих чувствах и принимаю свое уважение к нему за любовь?..

13

Сыновья Гаделя учились в нашей школе, и оба прошли через мой класс, где я была классным руководителем, а Гадель председателем родительского комитета. Гадель Коросбаев — один из заслуженных строителей республики, депутат. Но как бы ни был он занят, всегда находил время для школы, для детей. Он сумел и многих родителей увлечь школьными делами, сплотил дружный коллектив. Первым откликнулся на все наши нужды, помогал, чем мог. И все это — деловито, напористо, весело. Поэтому и учителя его очень уважали. Помню, и мой отец тоже любил детей и всегда помогал школе. Возможно, моя симпатия к Гаделю и началась с того, что он своим отношением к детям живо напомнил мне отца. Они даже и внешне с ним похожи. То ли оттого, что постоянно работает на свежем воздухе, то ли уж от рождения, но только Гадель настоящий богатырь: высокий, крепко сложенный, с открытым моложавым лицом...

Я убеждена, что учитель должен знать, как живут его ученики, и поэтому всегда заходила к ним домой. Приходила я по школьным делам и к Гаделю, познакомилась с матерью его, Гайшой-апай. Она и рассказала мне о его счастливой, но очень короткой семейной жизни. Жена у него была настоящей красавицей. И поженились они по любви. Но Нафиса безвременно умерла в годы войны, оставив сиротами двух малышей. Детей выходила Гайша-апай, удивительно добрая, обходительная, умная женщина.

Я люблю своих учеников, но сыновей Гаделя почему-то сердцем выделила из всех. Приветливые, чистосердеч-

ные, они вызывали у меня такое теплое чувство, будто это были мои собственные сыновья... Чувствовалось, что они старались во всем подражать отцу, на которого были очень похожи: широкоплечие, с густыми черными кудрями, блестящими карими глазами. Трудолюбивые, толковые, они и в учебе не знали середины — учились основательно. Не только я, но и другие преподаватели любили их. В учительской часто поговаривали, что неплохо бы опыт воспитания Коросбаева перенять и другим родителям. Однажды по просьбе директора я попросила Гаделя провести беседу с родителями, поделиться своим опытом. В ответ он от души рассмеялся, а потом резонно спросил:

— А вы, товарищ Уметкулова, серьезно думаете, что такой нелегкий многолетний труд можно запросто уложить в слова?

Он всегда обращается ко мне только по фамилии. А как мне было бы приятно, если бы он сказал «Гульбикэ»! Впрочем, я в свое время наслушалась столько приторно-ласковых слов Нажипыча, что само имя мое становилось противным... Пусть уж лучше Гадель зовет меня по фамилии.

Я долго молчала, не зная, как ответить на его вопрос. И в самом деле, разве так просто расскажешь о бессонных ночах, о каждодневных поисках ключика к ребячьим сердцам... А он, видимо догадавшись о моих мыслях, убежденно сказал:

— По-моему, товарищ Уметкулова, главное в воспитании детей — это самому жить по совести. У достойных родителей и дети вырастут честными, порядочными людьми. Не верю я в фатальное влияние улицы и дурных товарищей. Привили ребенку в семье нравственные убеждения — он морально защищен. И ничто дурное к нему не пристанет. Наоборот, он сам окажет влияние на окружающих... Не он, а ему станут подражать... брать пример.

— Вот об этом и поговорите, — наконец нашлась я и, смутившись, неудержимо покраснела.

Он внимательно посмотрел на меня, а затем, улыбнувшись, заметил:

— Если бы вы попросили новую школу построить, наша бригада взялась бы за это с превеликим удовольствием. Нам, каменщикам, легче кирпичи поднимать, чем играть словами. Поучать других — не мое дело...

И он снова искренне рассмеялся.

Уроки давно кончились, ребята разошлись по домам,

и в классе мы были одни. Сидели мы беседуя, смеясь, словно радуясь чему-то... Смех у Гаделя был такой веселый и заразительный, что я и сама невольно начинала смеяться от души, как бывало в дни моей беспечной юности. От всего его облика веяло завидным здоровьем, какой-то внутренней силой и обаянием.

Вот так и вошел он в мою жизнь, как хорошая, задушевная песня. И я знаю — мне его никогда не забыть...

14

Раньше Гадель частенько заглядывал в школу, интересовался учебой, поведением своих ребят. Но мальчики его окончили десятилетку: старший в прошлом году, а младший в нынешнем. По старой памяти он иногда заходит в школу с неизменным желанием чем-нибудь помочь, но видется с ним мы стали теперь редко.

На днях в школе произошло праздничное событие, виновником которого был, конечно, Гадель. Случилось это во время большой перемены. Я наблюдала в коридоре за порядком, как вдруг увидела Гаделя. С тех пор как его младший окончил школу, я ни разу не виделась с ним. Да и причин не было... У меня даже сердце забилося — так я соскучилась по нему! А он кивнул мне издали и, словно застеснявшись, скрылся в кабинете директора. Подождав немного, я все же решилась зайти в кабинет: уж очень мне хотелось его увидеть, узнать, зачем он пожаловал в школу. Я уверена была, что привело его к нам какое-нибудь важное дело. И не ошиблась...

Вошла я в кабинет в тот момент, когда Гадель, вроде чем-то сконфуженный, смущенно, чуть ли не с виноватым видом протягивал директору какую-то сберкнижку.

— Прошу вас, примите, пожалуйста... Здесь мой депутатский гонорар. Примите как дар для школьной самодеятельности...

Все, кто был в кабинете, замерли от удивления. А я, зная непостижимую скупость Нажипыча, была просто потрясена его поступком. Вначале я даже не поверила. Подумала, что ослышалась. И все это просто, естественно, без малейшей рисовки! Словно речь шла не о крупной сумме, а о каких-то жалких копейках. А он, не замечая нашего удивления, уже овладел собой и заговорил, дружески улыбаясь:

— Я давно хотел помочь вам приобрести музыкальные инструменты для струнного школьного оркестра. А то ведь как бывает: ребенок музыкально одарен, а семья не имеет возможности приобрести инструмент. Иные даже не догадываются о своем призвании... Вот я бы и хотел помочь таким ребятам. Пусть в школе испытают себя.

Директор и завуч растерянно жмут руку Гаделю. Им тоже, наверное, кажется, что все происходит как во сне.

Гадель, попрощавшись с нами, ушел, еще и извинившись перед нами за то, что отнял у нас время. Я так и осталась стоять, не промолвив ни слова.

Мне всегда было радостно общаться с Гаделем, у которого удивительная способность дарить людям счастье. Вот и сегодня пришел он в школу будто невзначай — и осчастливил добрую сотню ребят, коллектив учителей... Мне казалось, что вряд ли найдется другой такой человек, способный так внимательно подойти к людям, уметь решить по-человечески тепло любое, подчас даже самое сложное, щекотливое дело, как он.

Говорят, что он любил свою жену больше всего на свете. Недаром ни одна женщина так и не приглянулась ему... Нафиса! Какая же она была счастливая женщина! Даже после смерти муж верен ей. Да разве я могу мечтать о нем, на что-то надеяться?! Ведь я же не переживу, если он скажет мне: «Как же ты могла вообразить, что сможешь сравниться с моей Нафисой?» И что мне делать — тоже не знаю. Люблю я его, люблю... И ни за что не осмеюсь ему в этом признаться...

15

Вот наступил и шестидесятый год. Течет время безостановочно, как волны большой полноводной реки. Пятнадцать лет, как ушла из жизни моя Нафиса... А я все не могу смириться с этим. Память сердца, как рана, не дает покоя душе. Все чаще раздумываю о жизни, о наших ребятах, горюю, что не дано было ей порадоваться, глядя на наших сыновей. Настоящими джигитами выросли, теперь вот оба учатся в институте. Надеюсь, хорошими инженерами станут. Надо бы определить их на работу, да учителя отсоветовали. Ребята, мол, способные, таким прямая дорога в вуз. Стране нужны хорошие специалисты. Пришлось благословить их сразу после десятилетки. Может, и ошиб-

ся. Отец мой все же был прав: жизнь сейчас так повернулась, что молодежь после школы сама стремится поработать на производстве.

Мне и самому, несмотря на возраст, до сих пор хочется учиться. Война опрокинула все мои планы. Как успел до войны окончить первый курс заочного строительного института, с тем и остался. Я не жалею — все силы отдал на воспитание сыновей, был им в семье и за отца, и за мать... Клятву я дал моей Нафисе, когда вернулся с фронта, что не введу в дом мачехи, пока не вырастут наши птенцы. Что будут они такими же счастливыми, как при ней.

Немало усилий и терпения потребовалось мне, чтобы выполнить эту первую мою клятву...

И вот дети выросли. Каждый нашел свою дорогу, свое призвание.

И еще одну клятву я дал. Не в торжественной обстановке и не на людях, а мысленно, перед самим собой, перед родиной, народом, перед погибшими на фронте товарищами. Работать не только за себя, но и за всех не вернувшихся с войны. И никто, кроме меня, не знает о ней. Но я сам себе строгий судья. Пока ни в чем упрекнуть себя не могу — жил и работал по совести. Один кирпич за себя — десять за погибших друзей...

Каким же неузнаваемо прекрасным, благоустроенным стал наш город, в первых домах которого есть и наши с Нафисой кирпичи. Светло и радостно на душе, как подумаешь, что в его красоту вложены и твой труд, и твое вдохновение.

«Нет, Гадельша,— уговариваю иногда я себя, когда одолевают сомнения.— Счастье не обошло тебя! И тут непутевый Галиакбар прав. Немало ты еще построишь домов, немало добрых дел совершишь в первых рядах строителей! Так что радость и гордость твои заслуженные!»

И все же в последнее время все чаще посещают меня грустные мысли. Сыновья выросли, забот поубавилось. Коротаем мы с мамой дни в одиночестве. Хоть и сам я давно отец, и седина в волосах, а она по-прежнему как о маленьком заботится. Но достаточно ли мне теперь одного материнского тепла! Иногда я даже упрекаю мою Нафису. Зачем, зачем ты не дождалась меня? Из самого ада я вернулся к тебе. А ты...

Да, с годами я все сильнее страдаю от одиночества. Есть на то и причина... Признаешься — люди засмеют. Скажут: «Влюбился чужак, когда за сорок перевалило!» Влю-

бился я в Гульбикэ, и, кажется, безответно... Как робкий мальчишка стыжусь и прячусь от своей любви. Как подумаешь — так и Галиакбар иной раз прав, когда обзывает меня странным человеком. Три года, как это случилось, а я все не решаюсь признаться...

Помню, как сейчас, зашла она к нам вечером проводить моих мальчишек. Молодой учительнице интересно: дети простого каменщика, а первые ученики, отличники. Ребята готовили домашние задания, а я читал «Войну и мир» Льва Толстого.

Тоненькая, стройная, с пышной короной волос из двух толстых кос, уложенных вокруг головы. Она поразила меня внимательным грустным взглядом своих больших черных глаз. И по внешности, и по характеру они очень разные с Нафисой. Та была как огонь живая, веселая, хохотунья. И тем не менее с той первой встречи, с первого взгляда я полюбил ее. Наконец-то я встретил женщину, которая пришла к мне по сердцу.

В тот вечер мы долго сидели за самоваром. Гульбикэ тепло отзывалась о моих ребятах, интересовалась их житьем-бытьем. Матери моей Гульбикэ тоже очень понравилась. Она не знала, где ее усадить, чем угостить. Долго, душевно расспрашивала ее о семье, откуда она родом, стараясь подольше задержать милую гостью, бросая на меня одному мне понятные взгляды.

«Смотри, сынок, какая чудесная женщина! Ах, если бы ты утешил мою старость. Полюбил, женился... Я уже стара. Ребята — взрослые. Ты же останешься один-одинешенек... Нафису не вернуть...»

Я и сам все прекрасно понимал, но до сих пор не встречал женщины, которая могла бы войти в семью вместо Нафисы. А сейчас она сидит напротив меня. Она любит моих мальчиков, и они отвечают ей взаимностью. Это видно по их глазам, по тому, как они с ней говорят. Целый рой мыслей кружился у меня в голове, заставляя меня беспричинно улыбаться. Как знать, может, и она равнодушна ко мне. Ах, если бы знать! Тогда я счастливейший из смертных! Но нет, это невозможно. Гульбикэ моложе на целых пятнадцать лет! Сможет ли она полюбить меня? Открою ей свои чувства, а вдруг откажет... Нет, это был бы слишком тяжелый удар! Нет, нет... Я никогда не признаюсь ей в своих чувствах. Не хочу быть смешным в ее глазах...

Сегодня у нас в тресте было собрание строителей, где с благодарностью говорили о многих наших рационализаторах. Упомянули и о моем новом методе кладки. Оказывается, введенное в практику мое предложение здорово повысило темпы работы, на всех участках сэкономлены десятки тысяч рублей. Поэтому с собрания я вышел в праздничном настроении и долго бродил по вечерним улицам города, думал о товарищах прикидывал, чего бы еще можно было бы сделать полезного для облегчения труда строителей.

Размечтался и не заметил, как совсем стемнело. На улицах тихо, легкий морозец холодит лицо. Поскрипывает снег под ногами. Медленно кружатся в воздухе крупные снежные хлопья. Смотрю я на ярко освещенные окна и, как, бывало, некогда мой отец радовался, радуюсь и я счастьем людей, живущих за ними.

«Нет, не зря, Гадельша, выбрал ты профессию строителя. Почти в каждый дом вложил ты частицу и своего труда. Значит, даришь ты людям новоселье, жизнь, тепло, уют. Отдаешь им ласку своего сердца... Скоротечна жизнь человека. А тут, глядишь, и доживешь ты с кем-нибудь из миллионов неизвестных тебе тружеников до коммунизма... Большое счастье жить такими интересами...»

Счастье... Неожиданно мысли мои свернули к моей личной жизни, о чем я всегда старательно избегаю думать, а сегодня особенно не хотел портить себе настроения. Но они уже захватили меня в полон и кружатся, кружатся вокруг Гульбикэ, будто подталкивают меня на решительный поступок: «Что же, Гадель! Будь мужчиной! Ребята твои возмужали. Не пора ли тебе расстаться с одиночеством и обрести наконец заслуженное, долгожданное семейное счастье?..»

Пока мои сыновья учились в школе, мы с Гульбикэ виделись довольно часто. Но вот и младший уехал в институт, и она перестала к нам заходить. И у меня не стало никаких дел в школе. А так хочется заглянуть, повидаться с ней. Если уж начистоту говорить, то временами готов все бросить и бежать к ней, рассказать, что творится у меня на душе, объясниться...

«Гульбикэ, я люблю тебя. Прошу не казнить, а миловать. Умоляю, будь моей женой! Не могу я без тебя жить!»

Пожалуй, так и сделаю: пойду и скажу. Чем мучиться годами в неизвестности, не лучше ли знать правду?

Дорогу к ее дому я давно проторил. Теперь я каждый вечер после работы хожу мимо ее дома, хотя мне вовсе и не по пути. Подолгу я стою под ее окном, жалею Гульбикэ, которая всегда грустна и, похоже, очень одинока... «А может, надо зайти? И ей веселее стало бы...» — всякий раз думаю я, но тут же лезут в голову унижающие меня мысли, и я ухожу домой. В молодости все легко и просто, а сейчас любовь трудная, и объяснение еще тяжелей.

Долго я еще крутился у ворот, пока наконец решился и чуть ли не бегом припустил к подъезду ее дома и тут только заметил, что в окнах ее квартиры не горит свет. Забыв обо всем, я все же взбежал на второй этаж, но замок, висевший на двери, обескуражил меня. Огорченный, я медленно спускаюсь с лестницы и выхожу на улицу.

«Куда же ушла Гульбикэ? И с кем? С кем же? Неужели кто-то перешел мне дорогу?»

Никогда я раньше не испытывал такого жгучего чувства ревности, даже когда бегал за Нафисой. Я не нахожу себе места и, как разъяренный медведь, топчусь у ворот. Нет, сегодня я во что бы то ни стало дождусь ее. Давно уже за полночь, а Гульбикэ все не возвращается.

«Где же ты, милая Гульбикэ? Неужели ты ушла отсюда навсегда и мы с тобой больше не встретимся?»

Полный горького сожаления и раскаяния, я клянусь себя за малодушие и нерешительность:

«Поделом тебе, поделом! Три года тянул, не решался поговорить с Гульбикэ. Находил отговорки. То ждал, когда сыновья школу окончат, то сомневался в Гульбикэ... Ну что ж, только смелым улыбается удача, а трусы всегда остаются с носом...»

Завихрилась метель. Снежные хлопья пчелиным роем кружатся в воздухе, облепляют плечи, шапку, и я постепенно превращаюсь в деда-мороза. Я сердито отряхиваюсь, но снег снова и снова густо обсыпает меня, будто угрожает, хочет вспугнуть: «Напрасно ты ждешь Гульбикэ. Она не живет здесь. Уходи подобру-поздорову, а то засыплю тебя».

Но я не могу уйти. Я буду упрямо ждать. Я должен увидеть ее, открыть ей, что у меня на сердце.

Город крепко спит и видит зимние сны. Беснуется буран, валом валит снег. Вот уже на востоке забрезжила заря. А я все жду и буду ждать. «Где же ты, моя Гульбикэ?!»

Кажется, чем дольше я не вижу Гаделя, тем сильнее его люблю. А видимся мы с ним совсем редко. В этом году он заходил в школу с начала занятий только один раз, чтобы посмотреть на музыкальные инструменты, купленные на подаренные им школе деньги. Поговорил с ребятами, участниками струнного оркестра, и ушел... С тех пор не бывал. Да и зачем ему заходить? Сыновья окончили школу. И что ему за печаль о какой-то учительнице Гульбикэ, которая думает о нем день и ночь! А я совсем измучилась. Не знает душа покоя, тянется к нему, только к нему. Сколько раз пыталась заставить себя зайти к нему домой — навестить Гайшу-апай, услышать весточку о своих бывших учениках, но с полдороги возвращалась. А вдруг догадается о моем чувстве? Я же со стыда сгорю...

Вот и сегодня весь день тревожно на сердце, пришла с уроков домой и все думаю — то ли пойти, то ли нет. Чтобы отвлечься, взялась после ужина за журналы и газеты.

В какое счастливое, небывало интересное время мы живем! Сегодня весь мир узнал о волнующем событии: наша ракета облетела вокруг Луны и сфотографировала ее с обратной стороны. Сообщение это взбудоражило всю школу, на уроках только и было разговоров о космосе, о звездах, о жизни на других планетах, о далеких мирах... Нам, к сожалению, летать уже не дано, но за ребят радостно — среди них наверняка есть будущие космонавты. Завоеватели Вселенной! Захотят — на Марс, на Венеру! Только учись — дороги открыты. Раздумаешься — и обидно становится, что твои собственные дела и мечты далеко не так вдохновенны, а порой и вовсе бескрылы. Какие-то неурядицы в личной жизни волнуют тебя больше, чем эти невиданные события.

Конечно, понимаешь — школа не космодром, здесь все будничнее, проще. Никакой тебе пылкой романтики! Но разве с покорением космических просторов твоя профессия стала бескрылой и скучной? А может, потеряла свою значимость? Нет, я люблю свою профессию и знаю, что воспитание человека коммунистического будущего — самая важная и ответственная задача. Цель и смысл нашего педагогического труда, наш долг, как говорил Николай Островский, — научить людей «жить полезно, радостно и красиво».

Я и живу в полную силу души только на работе, в школе... Там я спокойна и уверена в себе, но стоит прийти домой — не знаю, чем заняться, все падает из рук. «И скучно, и грустно! — и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...»

Себя не обманешь — терзает меня одиночество. Так чего же ждать? Разве не звал меня вернуться Нажипытч? Клялся в письмах своих в любви, раскаивался... И друг детства Хамид пишет мне чуть ли не каждый день. Просит разрешения приехать, предлагая свое доброе сердце. Вот только вчера я получила от него письмо:

«Гульбикэ, я люблю тебя. И буду любить всю жизнь. Даже без твоей взаимности... Не отвергай меня...»

О Миннибае Нажиповиче не может быть и речи. Такие закоренелые эгоисты вряд ли могут стать другими людьми. Но если даже поверить, что жизнь встряхнула его и он стал лучше, у меня уже нет к нему прежних чувств. Писал скорее всего от тоски и досады, что не сумел защитить докторскую диссертацию. Но Хамид — честный, хороший человек. Он достоин любви. И я его очень уважаю. Но сердцу не прикажешь — люблю я Гаделя...

А если любишь, то почему же не находишь в себе душевной энергии бороться за свое счастье? Нет уж, довольно! Или выходи замуж за Гаделя, или уезжай в другой город и забудь о нем. Люди готовятся к полетам в космос, а ты живешь робко, уныло, как птица с подбитым крылом. Не находишь в себе смелости увидеться с Гаделем, объяснить с ним.

«Гадель, ты можешь смеяться надо мной, сердиться, но я тебя люблю... И нет мне без тебя счастья...»

Так, споря сама с собой, коротала я вечер. Наконец не выдержала — накинула пальто и выбежала на улицу.

18

Было уже довольно поздно, около одиннадцати, но Гайша-апай встретила меня очень радушно, несколько не удивившись моему приходу в неурочный час. Не успела я спросить о Гаделе, как она сама торопливо сообщила, что он еще не вернулся с собрания и она скучает весь вечер одна. Старушка усадила меня за стол и выложила передо мной целый ворох писем и фотографий внуков.

— Что же ты, деточка, так давно нас не навещала? Понимаю, понимаю, мимоходом зашла... И на том спасибо. Вот посмотри на внуков моих. Выросли-то как! Прямо батыры! Послушай, что пишут: «Бабушка, береги себя, гони все хвори. Кончим учиться, — вместе будем жить. Ты у нас делать ничего не будешь. Хватит, наработалась! Скоро мы сами поухаживаем за тобой». Спасибо им за добрые слова. Только не при-

выкла я жить бездельницей. А услышать такую заботу от внуков — приятно. Уж такие уважительные! Дорожат отцом и мной, старухой. Спасибо им за это. Пусть никогда не покинет их радость и удача. Тут и твоя заслуга, дочка, есть. Вложила и ты им ума-разума... Не стесняйся, не стесняйся. Правду я говорю.

Ласковая старушка собрала чай и угостила меня смородиновой пастилой, что прислали ей из деревни. И все рассказывала мне о внуках, о сыне.

Чтобы как-то протянуть время и дожидаться Гаделя, я поинтересовалась их домашней библиотекой. Оказалось, что Гадель заядлый книголюб. Самодельные книжные полки занимали целую стену в комнате от пола до потолка. Каких только книг здесь не было! И на башкирском языке, и на русском. Художественная литература, политическая, технические труды, связанные с его профессией строителя. Видя, что я рассматриваю книги, Гайша-апай с гордостью заметила:

— Мой Гадель с малолетства к книгам привязан. И детям эту любовь привил. Бывало, после работы не сладости там какие мальчикам несет, а целую охапку книг. А те и рады. Прыгают, кричат... Лучшего подарка не было для них. Деньги на завтрак дашь, а они на книжки истратят. Беда да и только! Голодные со школы прибегут. Их книги в отдельном шкафу стоят. Ох и тоскливо нам с Гаделем без них-то! Он и на письменном их столе не велит ничего трогать, чтобы все, как при них, было... Будто не уехали вовсе ребятки, а просто ненадолго отлучились.

Гайша-апай вдруг взгрустнула и с горечью заговорила об одиночестве Гаделя, не желающего знать никакой женщины после Нафисы.

— Что с ним делать — ума не приложу! Не дай бог, со мной что случится, ведь останется один как перст.

Она долгим, испытующим взглядом посмотрела на меня. Неужели я чем-то выдала свою сердечную тайну? Похоже, догадывается. Тепло улыбнувшись, она ласково погладила меня по спине:

— Эх, кабы мне такую невестку! То-то радость была бы!

Я покраснела от смущения. А она, будто не замечая, все расхваливает Гаделя, какой он умница, скромный, работающий. И детей очень любит. Сижу я, слушаю старушку и готова, кажется, слушать о нем не только всю эту случайно выпавшую ночь, а всю жизнь...

Часы пробили двенадцать. Гайша-апай встревоженно поглядывает на часы. Я тоже начинаю беспокоиться. Нехорошо

так долго засиживаться у них, а уйти, не выполнив задуманное, не могу. Переломив свою застенчивость, я все же спрашиваю Гайшу-апай:

— А что, Гадель всегда так запаздывает? Верно, заходит к кому-нибудь?

— Да нет у него никого. И сама не знаю, что думать. Никогда он не припозднлся...

Мы с ней надолго замолкаем и сидим, напряженно прислушиваясь, надеясь уловить шаги на лестнице. Сердце мое вдруг холодеет от недобрых предчувствий. Час ночи, а Гаделя все нет. Я понимаю, что мне нельзя больше здесь оставаться, встаю и, едва сдерживая слезы, через силу улыбаюсь Гайше-апай.

— Я пойду, Гайша-апай. Очень уж поздно. Передайте привет Гаделю. Пусть не забывает нас... Директор просил... заходить.

— Погоди, дочка, не уходи,— пытается удержать меня расстроенная старушка.— Не оставляй уж меня одну. Давай в клуб сходим. Может, собрание затянулось... А может, земляк Галиакбар к себе затащил. Прилипчивый — не отвяжешься. Одной-то мне не дойти. Плохо вижу в темноте-то. А сидеть и ждать еще тяжелее. Не случилось ли уж чего?

— Хорошо, я вас провожу,— согласилась я с нескрываемой радостью.

Торопливо одевшись, мы вышли на улицу.

Ночь была тихая, безлунная. Крупные пушистые хлопья кружатся в воздухе. Снега навалило уже довольно много — трудно идти. Клуб нефтяников находится в двух кварталах от дома Гаделя, но мне показалось, что мы до него никогда не дойдем. Старушка плохо видела, задыхалась, не могла быстро идти. А мне не терпелось скорее его увидеть. «Когда же мы дойдем? Когда узнаем, там он или нет?» От этих тревожных мыслей больно колотится сердце. Поддерживая Гайшу-апай, я иду молча, не в силах вымолвить ни слова.

Наконец показался клуб, но в окнах его не было света. Значит, собрание закончилось.

— Ах-ах!.. Что же это такое? — потерянно бормочет Гайша-апай.— Куда же пропал наш Гадель?

«Наш Гадель...— повторяю я про себя ее слова.— Какое дорогое сердцу имя! Но вряд ли я буду в числе тех, кто может сказать «наш»...»

— Пойдем, доченька, к Галиакбару,— умоляюще просит бабушка Гайша.— Может, он там. Любят они поспорить...

— А кто такой Галиакбар? — нерешительно откликаюсь

я. — Не подумали бы, что это я разыскиваю Гаделя. Неудобно...

— А мы не скажем, что ищем его. Тут близко, за угол только завернуть.

Окна квартиры Галиакбара освещены — значит, еще не спят.

— Здесь он, пожалуй. Где же быть-то ему еще? Негде.

Забыв о своем возрасте, об одышке, бабушка Гайша проворно поднимается на третий этаж. Я иду за ней.

Когда мы вошли, Габида-апай стояла перед большим овальным зеркалом на комод. Ее черные с проседью волосы были закручены на бигуди, и теперь она накладывала на рябоватое широкоскулое лицо крем. Приветливо улыбнувшись мясистыми губами, она повернула в нашу сторону голову. По мужски крупное, крепкое тело ее дышало здоровьем.

Открыв нам дверь, Галиакбар, словно сирота, случайно зашедший погреться, примостился на табуретке у порога.

В комнате невиданная чистота и порядок. Мебель в белых чехлах, на буфете, комод, на подоконнике — вышитые салфетки, белоснежные дорожки. Даже настенные ковры украшены ручными вышивками. На комод — разные безделушки, вазы с бумажными цветами, в буфете за стеклом — дорогой сервиз. Вещей было так много, что Габида-апай едва протискивалась между комодом и столом.

Стараясь не выдать своего волнения, я с любопытством разглядывала убранство комнаты. Убедившись, что Гаделя тут нет, Гайша-апай заторопилась поскорее уйти:

— Ладно, Габида, поздно уж. Не беспокойся. Зайдем как-нибудь в другой раз. У меня к тебе просьба. Гадельша мой малость прихворнул, простудился. Хотела напоить его малинкой, да запасы мои вышли. Думаю, Габида хорошая хозяйка. У нее уж наверняка есть. Вот и прибежала к тебе.

Заметив недоумевающий взгляд Габиды в мою сторону, бабушка Гайша поспешила предупредить ее безмолвный вопрос:

— Стара я больно стала. Плохо вижу в темноте... Тут, на счастье, встретила Гульбикэ. От подруги домой шла. Вот и попросила ее проводить меня. Ныне молодежь добрая пошла. Уважила старуху.

Тут вставил свое слово Галиакбар, до тех пор дремавший на своей табуретке.

— Когда же это Гадель успел простудиться? — спрашивает он удивленно. — Только что вместе с собрания вышли. Был, как говорится, жив-здоров, и настроение преотличное. Опять его там расхваливали... С чего бы хворать-то, а?

— А когда закончилось собрание? — забыв про всякую

осторожность, спрашиваю вдруг я.— Давно ли? — Чувствую сама, залилась румянцем. Галиакбар сделал вид, что не заметил моего смущения, и ответил просто:

— В одиннадцать. Думал я после собрания потолковать с ним. Да куда там! Шапку схватил — и бегом... Только его и видели. Сыновей дома нет, а он, как стельная корова, домой бежит. Вот поди ж ты, привычка осталась...

Бабушка Гайша, не слушая рассуждений Галиакбара, сунула в карман пакетик с сухой малиной и проворно встала с дивана.

— Пойдем, дочка, проводи меня уж до дома... Ах, старость — не радость.

Хозяева провожали нас, стоя у двери с выражением острого любопытства на лицах.

Мы почти бегом спустились по лестнице и вышли на улицу.

— Значит, собрание давно закончилось,— обрадованно говорит Гайша-апай.— Ничего с ним не случилось. К товарищу, поди, зашел, а может, в кино. Айда, доченька, скорее домой!..

— Богато живет Габида-апай,— заметила я вскользь.— Видать, женщина хозяйственная...

— А как же иначе? — удивилась Гайша-апай.— Живут с мужем вдвоем, детей нет. Убрала комнату — на неделю порядок. Ты же видела — Галиакбара дальше порога не пускает, чтобы, сохрани бог, беспорядку не наделал... Да какой толк в порядке-то этом? В доме только одни вещи и живут. Человеку там и дышать-то нечем,— с горечью сказала Гайша-апай и снова заговорила о Гаделе: — Теперь уж дома небось Гадель. Скорее бы уж дойти, дочка. Уж так он обрадуется, тебя увидев. От матери не скроешь — любит он тебя, дочка, любит... Скрывает только. Верно, боится, что откажешь ему... Ах, доченька, если такого человека отвергнешь, накажет тебя бог! Истинно накажет...

Добрая старушка и не подозревала, какую бурю вызвали ее признания в моей душе. На радостях мне хотелось петь и смеяться, но я иду молча, едва сдерживая гулкое биение сердца. Ноги мои легки, как крылья. Мне хочется подхватить милую старушку на руки и бежать, бежать скорее домой. А путь наш, как нарочно, кажется теперь особенно долгим, и словно нет и не будет ему конца.

«Ах, как хороша, как удивительно хороша жизни!..»

Мы проходим мимо здания больницы, которую строит бригада Гаделя. Я готова приласкать и эти холодные кирпи-

чи, и долговязый, как журавль, подъемный кран, высящийся над этажами. А Гайша-апай, крепко держа под руку, настойчиво и ласково все говорит и говорит:

— Полюби ты, доченька, моего Гаделя! Полюби!

Поднялись мы к дверям квартиры и растерялись. Дверь закрыта, Гаделя дома нет. Бабушка Гайша побелела как полотно и тяжело оперлась на мою руку. Мне очень жаль ее, я стараюсь, как могу, утешить ее, воодушевить, а у самой глаза застилаются слезами.

И снова мы сидим друг против друга за столом, прислушиваясь к шорохам и стуку. Осунувшаяся старушка, умоляюще глядя в глаза, упавшим голосом повторяет:

— Оставайся, дочка, со мной... Не уходи. Сейчас он придет.

Я остаюсь. Да и как я могу уйти, не зная, что с Гаделем? И разве можно оставить в такой тревоге его мать?

Проходит час за часом. Мы сидим, притихшие, безмолвные, и ждем. Мне кажется, что отчаянное биение моего сердца заглушает все звуки. Я ничего сейчас не слышу, кроме его требовательных ударов.

«Гадель, Гадель, Гадель...— стучит оно, то ликующе страстно, призывно, то грустно...— Гадель, нет без тебя мне жизни. Не мил без тебя свет. Я жду тебя, Гадель, скорей приходи!..»

В комнату вливается серо-голубой свет. За окнами просыпается город. Мы ждем. Я жду. Вот-вот, сейчас, он придет вместе с рассветом. Появится передо мной, как эта утренняя заря...

1961





ТРУДНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

Роман... Повесть... Несмотря на, казалось бы, устоявшиеся каноны, наука о литературе имеет и свои, прихотливые и не всегда объяснимые, «правила игры». Порой самое обычное бытовое явление неисповедимыми путями переходит в термин и закрепляется как теоретическое завоевание. Взять, к примеру, термин «роман». Как известно, первоначально он обозначал произведения, написанные на романском языке, а затем — превратился в важнейший жанр новой литературы. В башкирский литературный обиход, кажется, одним из первых ввел его в начале века начинающий тогда поэт Мажит Гафури.

Давайте наладим издание газет
и журналов,
Создадим свой национальный роман,
Будем способствовать росту просвещения! —
(Подстр. перевод)

писал он в 1902 году.

Так в башкирскую литературу, представленную к тому времени богатейшим фольклором, интенсивно формирующейся разножанровой публицистикой, поэзией и прозой, вошло новое понятие, опередившее появление самих произведений этого жанра почти на четверть века. Хотелось бы тут, пусть мимоходом, отметить неслучайность этого факта. Ведь возникновение потребности в еще не народившемся жанре совпало с годами пробуждения и развития национального самосознания, вызванного бурным подъемом революционного движения в центре и на окраинах России. Осознание необходимости в эпическом осмыслении переживаемого исторического момента привело к тому, что слово «роман» стало в эти годы одним из распространенных.

Подобно пушкинской Татьяне, герои и героини произведений, написанных в духе просветительства, зачитываются инонациональными романами, перенимают проповедуемые в них уроки добродетели и нравственности, выверяют по образцу их персонажей свое поведение... Словно новую одежду, писатели, читатели «примеривают» новый термин к самым различным по объему, содержанию и форме произведениям. Под него подводили сбор-

ники рассказов, историко-публицистические сочинения, просветительские трактаты. О романе пишут как о важном средстве воспитания национального чувства, как о необходимом условии сохранения и развития национального языка и даже нации в целом...

Совсем по-иному воспринималась повесть, отнюдь не привлекавшая к себе такого повышенного эмоционального внимания. Как-то буднично, спокойно вошла она в читательское сознание и понесла на своих плечах просветительские идеи. И при этом ее нисколько не «обижало» совсем «не литературоведческое» обозначение, сохранившееся вплоть до начала 30-х годов, — хикэйз — повествование. Но ускоренное развитие литературного процесса привело к поискам более четкого жанрового определения. Сначала возникло обозначение по объему изображения: зур хикэйз — большое повествование. И лишь потом «хикэйз» стал рассказом, а за произведениями «больше рассказа» закрепился термин «повесть». Становление и укрепление жанра повести шло, таким образом, и через освоение новых пластов действительности, и через поиск новых принципов ее изображения.

Незатейливо ведя героя по жизни, подчеркивая будничность самого героического деяния, повесть говорила с читателем о простых человеческих судьбах. В отличие от романа, хранящего память о монументально-эпической поэтике народного эпоса и потому склонного приподнять, возвысить героя, повесть, как правило, исследовала жизнь обыденную, «прозаическую». А так как тяготела она к изображению обыденного, «массового», то и испытывала своего героя в кругу бытовых конфликтов, «одежда» которых для героя повести оказывалась «в самый раз». За этим крылся глубокий демократизм жанра. И потому можно сказать, что именно через повесть в башкирскую прозу полноправно вошла народная жизнь. Повести М. Гафури «Жизнь в нищете» (1910), «Солдатка Хамида» (1915) и произведения А. Тагирова, З. Хади, Д. Юлтыя определили поворот башкирской литературы от просветительства к критическому реализму. И вплоть до 60—70-х годов нашего столетия успехи национальной башкирской прозы были связаны преимущественно с повестью и рассказом.

Башкирские повести 20 — 30-х годов, лучшие образцы которых преимущественно представлены в этом сборнике, вобрали в себя многообразные жизненные явления, многоголосие участников революции и послевоенного строительства. Широко распахнув свои страницы башкирам и татарам, русским и украинцам, евреям и марийцам, чувашам и латышам, авторы — сами свидетели и активные участники развернувшихся событий — показали этих людей как интернациональную массу, объединенную пафосом разрушения старого и созидания нового мира. Это обусловило единство проблематики, конфликтных коллизий и сюжетных решений башкирских повестей с произведениями многонациональной литературы. Необходимость конкретного воплощения общих жизненных процессов обострила и поиски «своей» темы, «своего» героя, «своей» среды. К тому времени проблема национального своеобразия именно в этом ракурсе уже была поставлена просвети-

тельской эстетикой начала века. Но время требовало тогда акцента не на национальной специфике, а на религиозно-этнической общности героев и среды.

Октябрьская социалистическая революция выдвинула задачу воспитания нового человека из народа — пассивного продукта обстоятельств — в творца исторического процесса. А это, в свою очередь, привело в литературе к поиску новых средств художественного обобщения, благодаря которым общее и частное предстали бы в органическом единстве.

В повестях 20 — 30-х годов (за это время увидело свет более тридцати произведений этого жанра) в башкирской прозе наметилось два подхода к решению проблемы. У ряда писателей рождается усиленное внимание к этнографическим подробностям, описанию обычаев, обрядов, предметов и реалий быта. Так, желание выделить себя в среде подобных приводит к этнографизму. А о том, насколько сильна была эта тенденция, говорит огромная популярность в 20-е годы журнала «Башкорт аймагы» («Башкирский край»), чьи этнографические зарисовки и очерки буквально сливались со стилистикой многих повестей, рассказов, драматических произведений тех лет. Сохранившие для нынешних дней любопытные, «вымывавшиеся» последующими событиями подробности быта, эти произведения сегодня во многом воспринимаются уже как музейные реликвии, хотя конечно же создавались они не только для поэтизации этнографических особенностей. Авторы лучших повестей, таких, как, например, Губай Давлетшин, ставили перед собой конкретные социально-педагогические и воспитательные задачи, продолжая традиции просветительской литературы. «Эти вещи,— предупреждал Г. Давлетшин читателей повестей «Зильский», «Жизнь в бедности» (1926),— написаны отнюдь не писателем-профессионалом: они создавались между делом, из желания хоть каким-то образом помочь в борьбе против существующих недостатков. А многие из них написаны с целью борьбы против старых предрассудков, с желанием запечатлеть отдельные моменты классовых столкновений в деревне, отстегать факты проникновения в новую жизнь чужих и чуждых элементов».

Вот характерный фрагмент из его произведения. «Между тем по жесту Акназара проворно вскочил на ноги самый молодой из приглашенных, взял в руки начищенный до блеска кумган и медный тазик, кинул на плечо белоснежный тастымал и начал поливать теплой водой из кумгана на руки подходивших по одному гостей. Омывающие руки удовлетворенно кряхтели, желали ему богатства, счастья, красавицу невесту, долгих лет жизни, благополучия.

После того как был справлен этот обряд, под присловья и молитву расстелили на полу огромную скатерть. Тут, как в культурных домах, тарелками не гремели, ложками, вилками, ножами не стучали. Да и нужды в них не было: ведь на то и еда, чтобы ее принять своими руками. Неимоверное количество посуды заменил оло куштабак — большое блюдо, доверху наполненное кудмайой. Поверх кудмаи уложена подрагивающая жиром грудин-

ка казахского барана — куя из-под Оренбурга, нарезанная кусками с ладонь величиной. И вот сам хозяин Акназар, беря по одному куску, вкладывал руками мясо прямо в рот сначала мулле, затем тестю, свояку, а потом и остальным. Еще раз обошел в том же порядке всех. И лишь потом промолвил: «Пожалуйте, уважаемые гости, ешьте!» — «Начнем, пожалуй, хазрет, а?» — важно кивнул аксакал Аралбай. И, сотворив молитву, сказал мулла: «С богом, гости, приступим» — и первым протянул руку к пище.

Вслед за ним, отогнув рукава, потянулись и остальные к жирной кулдаме, заправленной накрошенным мясом, четырехугольными кусками теста, политой пахучим, покрытым звездочками блестящих точек жира тузлуком — бульоном.

Тишина.

Только и слышно «сурт!», «сурт!» — от слизывания языком сочащегося между пальцами жира. Плотное сало огузка не дает ходу более постному куску. Не каждому под силу вобрать в себя весь кусок бешбармака. Где-то в полости рта мясо задевает за что-то, беспокоит, щекочет. И потому бдительный Акназар велит одному из сидящих рядом вновь начать угощение с руки. Нашлись доброхоты и на том конце застолья. Те, кому досталась эта честь, выбирают с блюда мясо, тесто, уплотняют, левой рукой скатывают их шариком на ладони, а затем вталкивают в рот соседу. А как пища наполнит рот да упрется в язычок, так и сидит тот не в силах ни прожевать, ни продохнуть. А тут еще какой-нибудь шутник постарается вывести его из себя вопросом: «Звать-то как?» — соседи так и падают со смеху.

Это сочное описание понадобилось Г. Давлетшину для того, чтобы осудить беспечность Акназара, который, отдав дань обычаю осенью, к весне оставляет семью почти без куска хлеба.

Рядом с этнографическими произведениями развивалось направление, опирающееся на социально-гражданственную тематику газетной публицистики, в недрах его создавались произведения, положившие начало историко-революционной, социально-психологической повести: «Господин Ярошевский» Г. Гумера, «Октябрь в деревне», «На излуках бурной реки» А. Тагирова и др. Достоинства и недостатки этого направления в башкирской повести хорошо подметил в свое время Александр Фадеев. Уехав в начале 30-х годов по настоянию М. Горького от суеты литературно-административных баталий в Уфу, он около двух лет с перерывами работал в Башкирии над романом «Последний из удэге». Внимательно ознакомившись с произведениями А. Тагирова, в письмах А. М. Горькому и во время выступлений на писательских собраниях в Уфе он отмечал «глубокое содержание, идейность и мобильность писателя, готовность откликнуться на те требования, которые ставит перед ним социалистическое строительство». Вместе с тем Фадеев говорил и о «сползании в схематизм», о том, что у ряда персонажей Тагирова «нет ни одной характерной черты, чтобы вспомнить о нем».

Если бы литературный процесс 20-х годов и последующих лет развивался естественным путем, без административного вмешательства, творческое

взаимодействие и взаимопроникновение этих начал, возможно, предостерегло бы башкирскую повесть как от экзотического самолюбования, так и от умерщвления живой плоти искусства прямолинейной социальной оценкой. И, может быть, успехи национальной прозы были бы более ощутимыми.

Своеобразным синтезом лучших качеств обоих направлений в творчестве башкирских писателей стала повесть Мажита Гафури «Чернолик» (1926). Ограничив повествование пределами одного аула, народный поэт Башкирии внимательнейшим образом прослеживает его жизнь на уровне бытовых отношений. Во всяком случае, юный герой повести Гали, от имени которого ведется рассказ, не замечает социальной неоднородности его жителей. Более того, мир этот кажется ему незыблемым. Высшим судьей сообщества является мулла, к которому тянутся все нити духовной и административной жизни. Его авторитет поддерживается обязательными к исполнению обрядами, подкрепляется переходящими из уст в уста жуткими историями об ослушниках. Но вот этот мир привычного, установленного расколот необычайным происшествием: молодые Закир и Галима нарушили один из важнейших канонов шариата — запрет девушке, женщине вступать в разговор с мужчиной.

Измазав лица сажей, связав вместе их руки, молодых водят по улицам, избивая, забрасывая старьем, проклиная и обзывая последними словами.

Односельчане, вчера еще такие добрые, приветливые, на глазах у Гали превращаются в жестоких, готовых растерзать несчастных влюбленных фанатиков, налетающих на избиваемых молодых людей, хищников — в жаждущее крови «серое воронье».

Изображая дикий бесчеловечный обычай расправы над человеческими чувствами, помноженный на религиозное мировоззрение и законы шариата, автор подвергает его суду с высоты исторических завоеваний свершившейся революции. Эта бескомпромиссная позиция автора придает внешне бесстрастному тону повествования глубоко гуманистическую окраску.

М. Гафури убедительно раскрывает, как обычаи, нравы, освященные законами шариата, ложной заботой «о моральной чистоте народа», изживительной традиции превращаются в сковывавшую душу противоположность. И чем более тесным кольцом опутывают они простого человека, тем больше простора у носителей этих законов для расправы с инакомыслящими, для двойной морали, лицемерия. Юный Гали поражен, узнав, что уважаемые приспешники муллы — хальфа, яростнее всех призывавшие к расправе над ослушниками, между собой цинично рассуждают о «нерастратенном жаре тела больной Галимы», упрекают ее за то, что «связалась с мужиком», а намекнула бы им — все было бы в порядке. На людях — святые, а между собой — богохульники, жующие наркотики. И этот мир прошлого, мир лицемерия наваливается всей своей вековой мощью на Красоту, Любовь, оставляя человеку лишь узкую, строго регламентированную полоску забот о куске хлеба да молитв во славу аллаха. Но вместе с тем как раз загубленная во имя «чистоты нравов» любовь Галимы и Закира, поруганная красо-

та пробудившейся было к самостоятельным шагам в жизни личности всей логикой повествования приводят читателя к мысли о необходимости и неотвратимости возмездия.

Эстафету исследования взаимоотношений светлой и чистой личности и косной среды, изуродовавшей самое себя превратившимися в предрассудки обычаями, подхватил в повести «Алима, или Свадьба старика Мырдаша» Даут Юлтый. Как и Гафури, Д. Юлтый очерчивает границы повествования одним-двумя аулами. Связи с «внешним миром» здесь весьма ограничены. Герои, выходя за эти пределы, или начисто выключаются из повествования, или принимают в нем участие лишь постольку, поскольку это касается оставшихся «по эту сторону» действующих лиц. Так ведут себя, например, братья Алимы Иманкул и Давлеткул. Иманкул уезжает в Ташкент и навсегда исчезает из поля зрения. А письма тянувшего «где-то» (характерный прием ограничения информации) солдатскую лямку Давлеткула содержат только советы и наставления Алиме. Но ведь так же изображался и Закир, единственный выехавший из аула в город персонаж повести «Черноликые». Вернувшись домой, он не рассказывает ничего, что бы вышло за пределы фабулы и расширило сюжетные рамки произведения. Но у этого приема есть и свои преимущества, идущие опять-таки от просветительства. Четкость локальных сюжетных границ позволяла с предельным вниманием исследовать и дать срез исторической и социально-психологической среды.

Сосредоточившись на изображении деревенской общины, сплоченной десятилетиями совместной жизни, общностью быта, труда, выработавшей свою защитно-регулирующую систему морально-этических ценностей, Д. Юлтый также акцентирует внимание на консерватизме ее психологии, на стремлении подогнать все новое, необычное «под свое», а если это не удастся, то решительно и безжалостно отвергнуть. Именно таким «раздражителем» для аула Юлаево и его окрестностей оказывается умная, красивая, образованная девушка, которую автор нарек таким же «говорящим», как и героиню повести «Черноликые», именем («Алима», «Галима» в переводе с арабского означают «ученая», «образованная»). Дочь торговца средней руки, она учится в медресе, благодаря младшему брату хорошо играет на тальянке, знакома с географией и историей, арифметикой и литературой. С благословения матери и по совету брата она мечтает «служить народу, а учительство — самое важное дело на земле! Ученый человек знает свое достоинство, а неграмотный и темный до конца дней остается рабом сильных».

Д. Юлтый тщательно описывает импульсивное, легко поддающееся настроениям состояние невежественной толпы, которой правит не разум, но эмоции, не свое трезвое суждение, а мнение большинства жителей деревни, стремление не понять, а желание подогнать все под свои привычные представления о жизни. Стоило услышать, что Алима по вечерам собирает подружек не на традиционные, от веку заведенные девичьи посиделки, а для того, чтобы научить их читать и писать, как злобные старушки стали нашептывать по всем углам, что «соблазнил девку шайтан, связалась она с дья-

вольским отродьем, путается с ведьмами... К Алиме, видно, давно шайтан сватается, вот она и старается угодить ему сатанинскими делами, сводит с пути праведного наших детей...».

Подогнав ее таким образом «под свой аршин», среда успокаивается. А когда скупой старик Мустак оказал незначительную помощь да еще при всех сказал, что Алима занимается святым делом, тут уж все аульчане начали восхищаться ее целомудрием, наперебой приглашать ее к себе в гости. Но стоило Хайбрахман-баю, не пожелавшему нищей невесты для своего сына, распустить сплетню о том, что Алима-де — распутница, соблазнила и хочет силой женить на себе его младшего Канзафара, озлобились и отвернулись от нее даже родные.

Так, несмотря на разницу в социальном положении, две тезки (Галима и Алима) становятся безвинными жертвами обстоятельств. Счастливый случай, благодаря которому Алима в последнюю минуту спасается от насильников, вырывается из лап возжелавшего ее купца Мырдаша, лишь оттеняет типичность их судеб.

Широка и многообразна панорама башкирской повести, стремительно осваивавшей динамичную действительность первых послереволюционных десятилетий. Главным ее героем стал человек из народа — вчерашний участник империалистической войны, затем революции и гражданской войны, пахарь и рабочий, первые представители советской национальной интеллигенции, сотрудники кооперации в городе и на селе. И, конечно, молодежь.

Нет, пожалуй, ни одного автора, кто бы так или иначе не прикоснулся к этому свежему и мощно заявившему о себе пласту народа — активистам, комсомольцам, председателям сельских Советов, организаторам комсомольских ячеек, делегатских собраний женщин, синеблузникам.

Освоение этого типа героя, как правило изображаемого в центре социально-классовых катаклизмов времени, вело к большому социальному насыщению повести, стимулировало исследование в ней современной жизни.

Да, герой повести С. Агиша Махмутов и Фатима из «Женщины» Г. Хайри, герой очерковой повести А. Тагирова Амир Биккулов и Айбика Х. Давлетшиной — и это четко и рельефно зафиксировано авторами — были сменой, пронесшей сквозь годы и достоинства и пороки своего времени, сумевшей передать в день нынешний страсть созидания и административно-кавалерийскую нетерпимость, классовую чуткость и сверхнастороженное отношение ко всякой инициативе и предприимчивости, разумную осмотрительность и тягу к категорически-безапелляционному отвержению инакомыслящих.

В этом смысле произведения и оставшихся за пределами предлагаемого сборника трех десятков авторов, и тех, кого читатель найдет в сборнике, являются свидетельствами исторических перипетий, в которые попадал человек своего времени.

В какие же конфликты вступают, с чем борются эти герои, являю-

щиеся, по представлению их авторов, воплощением положительных типов времени?

В первую очередь, это борьба с сохранившимися представителями старого мира — возродившимися в годы нэпа богачами, кулаками. Их попытки повернуть ход событий в свою пользу в 20-е годы преодолеваются политическим путем: в повестях Г. Давлетшина, Г. Хайри, Х. Давлетшиной кулаки, пытающиеся пробраться в кооперативы, терпят сокрушительное поражение пока что на собраниях, во время выборов. Но чем дальше, тем больше борьба принимает административно-репрессивный характер, и уже не выбор возможных вариантов судьбы, а раскулачивание, выселение определяет пути разрешения конфликтов, что отражало получающую все более широкое распространение общественно-политическую практику и общую историко-литературную ситуацию.

Не менее колоритны и отрицательные персонажи, расположенные на периферии повествования. Любопытно, что при современном прочтении именно их образы оказываются запечатленными наиболее глубоко. Так, в повести Гайнана Хайри «Женщина» (1930) среди антиподов Фатимы выведена фигура чинуши-председателя сельсовета, который именем Советской власти помыкает земляками. А когда его с треском снимают, он готов квалифицировать это как покушение на авторитет власти и даже чуть ли не как вредительство.

Или вот центральный персонаж сатирической повести Сагита Агиды «Как по маслу...» (1932) — мулла в недавнем прошлом, а ныне «рабочий лесопильного завода из крестьян-середняков» Саяф. Писатель выхватил из жизни тип оборотня, постоянно разглядывающего себя со стороны. Чтобы не попасться, все должно соответствовать новой социальной роли — «в самую точку», «как по маслу». Он надел ненавистный пиджак, сбрил предмет былой гордости — бороду и даже «суп крестьянский», который предлагают ему в столовой, поспешно переименовывает в «рабоче-крестьянский». Но, кажется, крепче всего он усвоил, что, «проявив активность», можно укрыться в нужную минуту за громкими словами и демагогическими речами, ибо, как всякий приспособленец-хамелеон, он почувствовал — и тут нельзя не отметить писательскую зоркость к приметам времени — возрастающую спасительную цену вовремя сказанного слова, звонкой фразы.

Башкирской повести 20 — 30-х годов не удалось создать героя типа «Ивана Ивановича, человека на уровне» (1931) М. Кольцова, но черты оборотня в административном кресле авторами были усвоены хорошо. Они видны в увязшем было в болоте мещанства муже Айбики и в прикрывшемся партбилетом Абсалямове-старшем из повести Али Карная «Абсалямовы», который так беззастенчиво откровенничает перед младшим братом:

«Жить хорошо — это значит целиком отдаваться делу социализма. Это значит — уметь тесно соединить общественную и личную жизнь. Вот я лично: живу в свое удовольствие, а ведь тебе известно, как много нам приходится работать: дня не проходит без заседаний, а в иные дни их — по три-

четыре — аж голова трещит. Поработаешь вот так, поешь хорошенько, оденешься с иголки — то есть создашь бытовые условия для удовлетворения своих потребностей. Вот так-то.

Скажем, для разъездов мне выделена персональная машина... А ведь дали-то ее неспроста. Кто-то ведь подумал: с чего это наш Абсаямов пешком ходит? Находился-набегался в молодости, хватит. Да и положение соответствует, подумали, наверное. Мы ведь старая гвардия, а ее надо ой как беречь».

Достоверно запечатлев в художественных образах факты своей эпохи, писатели помогают современному читателю увидеть, понять *социально-исторические истоки* явлений нашего нынешнего бытия, подмечают, как в еще незначительной мимикрии персонажей закладываются основы крупных социально-психологических и нравственных деформаций последующих лет. Смотрите, какая со временем успела образоваться дистанция между вчерашними соседями по борозде в повести К. Мэргэна «Беспокойное лето». К каким только ухищрениям не приходится прибегнуть влюбленному в свое дело Кулмету, чтобы ублажить и убедить всемогущего председателя колхоза в необходимости сохранить звено овощеводов: тут и тонкая лесть, и демарш через счетовода, и неудачная попытка сыграть на слабости Яруллы — страсти попариться в аспидно-горячей баньке... Как трепещет талантливый, болеющий за интересы дела человек, пока еще не утерявший чувства хозяина земли, перед своеволием непредсказуемого в своих решениях председателя?!

Правда, эти взаимоотношения пронизаны мягким лирическим юмором, на который К. Мэргэн был мастер в лучших своих произведениях, и это придает рассказанной истории оттенок веселого недоразумения.

Но за авторской улыбкой, как бы незлобливо пародирующей бесконфликтные произведения «о прекрасной колхозной жизни», стоят важные факты: и дружба двух народов, нашедшая преломление в быту — в пристрастии башкир к овощеводству, которому они научились у русских соседей, и наводящая на размышления о человеческом призвании и возможностях его реализации судьба Кулмета, и многое другое. Так, верная своей жанрово-содержательной сути, повесть, не выходя за пределы будничного, ведет разговор о серьезных вещах и явлениях жизни.

С первых лет своего зарождения башкирская повесть уделяла большое внимание женским судьбам, изображению изменений в ее социальном положении в пору крутых и необратимых перемен.

В «Черноликих» М. Гафури читатель знакомился с трагической судьбой женщины-мусульманки до Октября. Судьба Галимы, которая, кажется, для того и явилась в свет, чтобы доказать несовместимость красоты, чистых и высоких чувств и этого донельзя регламентированного шариатом мира, оттеняется в повести социальными и нравственными возможностями, которые открывал перед женщиной мир новых отношений. И авторов, увлеченных исследованием и изображением первых итогов этой свободы, не сму-

щает даже прямая переключка имен героев их поэм, рассказов, повестей. Видимо, безо всякого уговора, естественно Б. Ишемгул, Г. Гумер, Д. Юлтый, Т. Янаби выносят в названия произведений одно имя — Айхылу (Луноликой) — бригадира, трактористки, учительницы. В их судьбах, в характерах отразилось то новое, что получила башкирская женщина после революции.

Одним из первых, еще в очерках «В башкирском ауле» (1925), обратил внимание на этот новый тип женщины Гайнан Хайри. В его повести «Женщина» (1930) сталкиваются самые разнородные представления о человеке и породившем его времени.

Персонажи повести с недоумением замечают, что Фатима, невестка отнюдь не богатого человека, активистка, вожак молодежи, «живет ничуть не хуже дочек лавочника Мифтаха. Как же это понять?» — вопросом, в одинаковой мере исходящим и от себя самого, заостряет внимание на необычной ситуации автор.

«На мой взгляд, во время культурной революции можно стать культурной и не будучи особо богатой. А потом: чем плакаться, что нет то того, то другого, лучше с толком использовать то, что есть... И нечего жалобить людей тем, что ты беден. Не надо быть рабой жизни, нужно устроить ее на свой лад».

Так, несколько идеализируя свою героиню, автор полемически выступает и против аскезы, апологии бедности, и против вульгарной распущенности под видом женской свободы.

Хайри с большим вниманием относится к социально-пестрой, открывающей перед человеком различные варианты устройства своей судьбы, непостоянной действительности, и за каждым из героев он оставляет возможность выбора. Признавая право молодых на свой путь в жизни, автор подчеркивает, например, что право на свои представления о ней имеет и середняк Сулейман.

Несмотря на категорические требования вульгарно-социологической критики «прибавить огня!», «подсыпать ненависти», «обнажить агонию старого и кричащую новизну нового!», автор настойчиво стремился утвердить в литературе свой взгляд на многообразие жизни.

Столкновение старого и нового в быту становится объектом изображения и в повести Хадии Давлетшиной «Айбика».

Мастерски изображая свою героиню в нескончаемой круговерти домашних дел и забот, она прекрасно доносит до читателя неестественность, сковывающую человеческую душу узость быта, обычаев, обрядов. Но драматизм ситуации в том, что этого не чувствует пока сама Айбика. Ее терпеливо приучали к покорности: настойчиво, мягко — родители, розгой — учительница, примеривая на нее колодку обычаев — родители и родственники мужа... А душа пока глуха: «Одно лишь печалит ее, что единственный ребенок — девочка».

Новое входит в этот устоявшийся мир, берега которого ограждены обычаями, привычками и старыми представлениями, в облике сельской коопе-

рации. Не случайно душа героини, выведенная из берегов личного счастья и покоя, впервые уподобляется стихии: «В глубоком озере после бури, вздымающей мутные волны, вода успокаивается и отстаивается так, что солнечный луч пронизывает всю толщу насквозь. Так было теперь и на душе Ай-бики».

Изображая пробуждение героини, писательница напряженно размышляет о гармонии общественного и личного, социального и интимного, то есть тех категорий, которые в 30-е годы начинают резко противопоставляться друг другу.

Такое же стремление увидеть возможные пути развития нового общества еще в момент его зарождения составляет одну из важных линий повести Али Карная «Мы вернемся».

«Это были первые дни Советской власти. Каждая губерния, каждый уезд становились республикой со своими совнарками. Была эпоха «власти на местах» без достаточно четкого подчинения центру, без единой дисциплины, идущей от верхов к низам, без прочной системы, определяющей задачи каждого звена. Как партийные, так и беспартийные большевики вели дела, нередко руководствуясь лишь классовым инстинктом. А незавершенных дел и нерешенных проблем было больше чем достаточно». Таков публицистический контур исторической обстановки на одной из страниц повести.

Можно сказать, что за 40 лет до появления романа «Соленая Падь» (1969) С. Залыгина молодой башкирский писатель исследует почти «лабораторную» ситуацию, когда на ограниченной площадке жизни путем проб и ошибок начиналось строительство нового мира. На территории Башкирии, помимо послужившего материалом для повести Бирского совнаркома, недолго, но мощно заявила о себе Красноусольская рабочая республика. Как можно видеть, в этих котлах кипели пары того же нагрева, что и по всей стране.

И в центре людской массы, поднятой революционной волной с привычных углов и вовлеченной в бурный поток истории, волостной военком Сагидуллин и председатель волисполкома Камалов. Сагидуллиным руководит бьющая через край ненависть к старому миру и боль за инертность и пассивность братьев по классу, покорно плетущихся за событиями. На этом фоне ярко вырисовывается импульсивно-взрывной характер героя, обделенного теплом, но тянущегося к людям, ищущего у них понимания своих порывов и стремлений.

«Не для себя я комиссар, для людей же», — отводит он упреки отца в том, что от его дела нет проку никому. К самоотверженному самоограничению героя автор относится с пониманием. Но в то же время он показывает: когда в поступках, оценке людей берет верх прежде всего ненависть, это ограничивает трезвую оценку окружающего. Тут возможны не только ошибки в отношении к своим, но — и это важно для автора — могут случиться перекосы, перегибы, способные оттолкнуть сомневающихся к врагам.

В отличие от Сагидуллина, предельно внимательный к человеку интел-

лигент Камалов искренне склонен считать, что революция, уже тем, что она свершилась, способна проложить пути к торжеству добра и справедливости в каждом. Именно поэтому, ведя борьбу за то, чтобы как можно раньше раздать зерно крестьянам, обеспечить хлебом голодающие города, он старается действовать силой убеждения. А. Карнай убедительно показывает, как людям типа Камалова, председателя уездного совнаркома Чернявского удастся без окрика, угроз, лишь силой убеждения, человеческого обаяния привлечь на сторону революции лучшие умы города и деревни.

Но трагедия разыгравшейся гражданской войны и вспыхнувших непримиримых столкновений такова, что героям зачастую против их воли приходится перешагивать через убеждения и прибегать к жестокому регламенту револьвера.

Объединяют же Сагидуллина и Камалова, как две альтернативы развития революции, слившиеся воедино в критическую минуту, осознание необходимости идти до конца — убеждение, что из каждой капли крови большевика, пролитой врагами нового мира, родятся тысячи коммунистов.

О многозначности бытия, оказывающегося намного сложнее привычных клише и штампов, и повесть Г. Хайри «Комната» (1929). У центрального героя повести Шарифа Ахмадуллина вполне благополучная, соответствующая самым строгим анкетам своего времени биография. В деревне он был батраком, вот уже 12 лет как в городе служит сторожем, жена тоже из бедняков, на заем подписался, курсы по ликвидации безграмотности прошел, газеты читает и даже терпит притеснение от бывшего буржуа. Но всем ходом повествования автор показывает, что этот «анкетный труженик» ой как далек от того, чтобы стать хозяином своей страны. Да, он «правами богат», но это понимает не сам Шариф, а выгнавшая его семью из комнаты домохозяйка Попова. С грустной иронией автор повествует о том, что, прожив на свете немало лет, нажив семью и детей, Шариф остается социально и психологически инертным, покорно плетущимся за жизнью существом. Еще более опасно то, что свое неосознаваемое духовное рабство Шариф и его жена наивно прикрывают услышанными и вычитанными газетными фразами, чуть ли не встают в позу горожанина перед земляком из глуши, из деревни.

Хорошо, что на этот раз на защиту человеческих прав Шарифа встал суд, вернувший ему крышу над головой, да энергичный сосед, взявший его с собой на завод. А если суд отвернется от его неумело сформулированных просьб?

Писатель не исключает такого исхода, и потому до сегодняшнего дня доходит его тревога за судьбу человека в новом обществе.

Признавая огромную преобразующую роль социальных катаклизмов в поведении человека, другой автор повестей 20 — 30-х годов, Имай Насыри, также склонен был считать, что его внутренний мир подвергается переменам гораздо медленнее.

Вот и вокруг героя повести «Побежденный омут» (1937) Шарафи течет уже отстоявшаяся и принеся некоторое успокоение после «головокру-

жений от успехов» колхозная жизнь. Налаживается ее уклад, начинающий вписываться в вековой трудовой ритм крестьянства. Но в этом заливе покоя как знак его несовершенства автор оставляет своеобразный островок — так и не вступившего в колхоз «упрямца» Шарафи, продолжающего считать Черный омут только ему принадлежащим рыбацким угольем.

«Ничья рука, кроме моей, не притрагивалась к тебе,— обращается он к омуту, словно к живому существу,— и теперь эти правленцы хотят отнять тебя! О-о-о! Не отдам, все равно не отдам! Не для колхоза лелеял я тебя, волшебное полноводное озеро! Не тянитесь длинными руками — не получите!» Примечательно, что в отличие от повестей начала десятилетия, где конфликт разрешался в противопоставлении активиста и сомневающегося крестьянина, кулака с его остервенелой ненавистью и председателя-организатора колхоза, противоречия здесь перенесены во внутренний мир героя. Если посудить, всерьез никто и не «давит» на Шарафи, скорее, наоборот, ему оказано даже доверие — разрешено по своему усмотрению набрать рабочую артель. Как и герою поэмы «Страна Муравия» Моргунку, на долю Шарафи выпадают скитания по стране, длинная цепь мытарств, прежде чем он осознает невозможность жизни для себя без колхозного труда.

Сбежав из родного аула после убийства компаньонами комсомольского вожака бригадира Фатхи, этот, «мечтающий быть выше на вершок самого высокого мужчины в округе», человек окажется в далекой Махачкале. Но именно здесь, где, казалось бы, обретены и душевное спокойствие, и материальный достаток, в полной мере обнаруживается самое ценное в его душе — трудовое начало характера. Его не удовлетворяет безбедная, хлебосольная роль мужа-примака у спекулянтки Сусанны. Противна его натуре «упрямца», не привыкшего укрываться за чужой спиной, и роль спекулянта-перекупщика, на которую навечно готова определить его новоявленная жена. Автору бесконечно дорого, что суровая школа нравственного, социального созревания и признания героем великих ценностей жизни — любви к труду, памяти о семье, родном доме, готовности признать свои ошибки и отвечать за них — идет не за счет нивелировки его личности. Чем длительней метания и горше признания героя, тем большую убедительность приобретает характер Шарафи.

В целом, следует подчеркнуть, что художественно убедительное изображение Имаем Насыри неспешного выбора героями жизненного пути, предельное внимание к их внутреннему миру, неповторимым поворотам их судеб существенно «сбивали» получавшие все большее распространение в жизни и литературе уравнилельские тенденции.

Вот к каким курьезам приводило противопоставление личного общественному, прозвучавшее в одном из башкирских очерков тех лет: «Она улыбнулась не потому, что увидела идущего навстречу любимого человека, а потому, что выполнила сменную норму на 170 процентов».

Для героев И. Насыри категорически невозможно подобное безостаточное растворение в общем. Наоборот, честный труд на благо общества, к не-

обходимости которого приходит герой повести «Побежденный омут», способен удовлетворить и «его упрямую гордыню».

Вот возвращающемуся после странствий «блудному сыну» в родной аул подруга дочери рассказывает о главных событиях прошлого года: «Воду спустили, дно вычистили от коряг, сучьев, гнили! А весной паводковые воды хлынули в омут, светлые... Теперь вода не черная, не чугунная, дно золотится, мальки играют, резвятся». Это ведь она рассказывает о душе Шарафи, очистившейся от ила и гнили предубеждений, принявшей новый мир и готовый к суду и к прощанию: лишь бы не потерять себя, вновь обретенного.

Продолжение этих тенденций на новом витке мы находим в Махмутове, герое одноименной повести Сагита Агиша. Под острым и чутким к языку пером писателя этот окунувшийся в жизнь периода нэпа молодой человек своей находчивостью, пробивающейся каждый раз хитринкой сродни героям плутовского романа. В этом смысле он духовный собрат героев И. Насыри, способных найти выход из самых немыслимых положений и ситуаций. Истоки этой внутренней свободы героев, позволяющей свободно рассуждать об окружающем мире и свободно поступать в революции и обстановке нэпа, прибавившей к обретенной социальной свободе инициативу, оборотистость, поиск (действие повести С. Агиша, написанной в 1939 году, происходит в 1924 году). Именно потому, впервые оказавшись в незнакомом городе без работы, без знакомых, он чувствует себя весьма уверенно: ведь за его спиной — правда новой действительности.

Одновременно во взгляде Махмутова (и стоящего за ним автора) на свое время присутствует и жестокая категоричность, выдающая его как сына новой эпохи. Ведь на события середины 20-х годов, столь привлекательные своей вариативностью, открывшие незаурядную, широко мыслящую личность женщины у Г. Хайри и Х. Давлетшиной, С. Агиш и его герой смотрят сквозь «подправленные окуляры» 30-х годов, усиленно внедрявшегося убеждения, будто в нэпе что ни бери, все плохо, а его практики — сплошь да рядом замаскировавшиеся враги, которых нужно разоблачить: не чем иным, «как скрытой контрреволюцией», оказываются и попытки кооператоров («частников», в терминах повести) объединиться и создать свое правление, и национальные вечера, на которых посетителей обхаживают те же кооператоры, организовавшие башкирскую, татарскую, узбекскую кухни. Так 16 лет, отмеченные «великим переломом», «борьбой против правого и левого уклона», «теорией усиления классовой борьбы по мере строительства социализма», задевшие своим железным крылом и самого автора, зашоривают зрение героя, постоянно распаляющего себя в поисках «новых козней» все новых «врагов». Но все же примечательно, что сквозь эти неизбежные напластования прорывается характер нового человека, несущего в себе память о свободе — революции. Отсюда тщательно отстайваемое Махмутовым чувство внутреннего достоинства, ощущение прочной опоры под собой, несмотря на все колебания «почвы».

Живет этот дух и в характере героя повести «Станный человек» Зай-

наб Бишевой — Гадельбая Коросбаева. Жизненным кодексом этого человека с говорящими именем и фамилией (Гадель — справедливый, Корос — сталь) являются услышанные еще в детстве слова отца: «Счастье ведь не в холе да сытости, а в здоровой и спорой работе. С огоньком работаешь — и устали не знаешь, и людей радуешь тем, что все у тебя играючи да складно получается. А видя их рядом, и сам радуешься. Вот тебе и счастье!..»

Нелегко оказывается построить такую жизнь, но поскольку нравственный фундамент, заложенный родительским воспитанием да помноженный на трудовую основу нового, был прочным, и она, жизнь, складывается ладом, как дом из кирпичиков.

Произведения с подобным пафосом да еще построенные как повествование от первого лица зачастую страдают от излишнего дидактизма. Но повесть «Странный человек» от прямолинейной поучительности спасает то, что судьба Гадельбая предстает перед читателем как бы в тройном измерении: рассказ-исповедь героя дополняется оценкой сверстника Галиакбара Валиакберова и учительницы Гульбикэ Уметкуловой. Благодаря тому, что у каждого из этих персонажей есть своя биография, своя жизненная позиция, лирически-приподнятое повествование получает необходимую многомерность.

Как антипод бескорыстного, живущего не по расчету, а больше по зову души Коросбаева предстает Галиакбар. Привыкший к почтению сын председателя колхоза, он с детства растет потребителем. В школе он отсиживается за спинами одноклассников, переписывая у них задания, упрасывая их выполнить за него рисунок или чертеж. Годы войны он проведет, прикинувшись больным, в тылу на «ответственной работе». И от самой жизни он будет скрываться за спиной жены — пусть дурнушки, пусть старше годами, зато с достатком. И естественно, что бы ни делал Гадельбай Коросбаев, все кажется ему странным. Окончил тот школу чуть ли не с золотой медалью, а поступает не в вуз, решает испытать себя сначала на стройке — странно. Грянула война, и Гадельбай, сдав бронь, добивается отправки на фронт — странно. Собрался Гадель до войны поступать в институт, но тут встретился со своей Нафисой, которую полюбил всей нерастраченной душой, и что-бы не разлучаться с ней, устроился на заочное отделение — странно.

Убедителен кажущийся Галиакбару «странным» человек и тогда, когда он, воспитав без рано умершей жены двух сыновей, не перестает интересоваться делами школы и когда передает депутатский гонорар школе для приобретения музыкальных инструментов. «Мне хватает денег, заработанных на стройке. А на эти пусть радуются дети и учатся доброму делу», — говорит он убитому якобы «никому не нужной щедростью земляка» Галиакбару.

Под влиянием душевного тепла, исходящего от открытого и честного Гадельбая, оттаивает ледок отчуждения, недоверия к людям у учительницы Гульбикэ Уметкуловой. Надежность, прочность духовной основы — вот что почувствовала в его личности некогда обманутая внешним блеском «человека с родимым пятном на сердце», Мыжикова Миннибая,

женщина. Такой писательский прием не свел монологи этих с опозданием идущих друг к другу людей в диалог, не превратил повесть в очередное произведение с благополучным финалом, которого так жаждет порой читатель.

«В комнату врывается серо-голубой свет. За окнами просыпается город. Мы ждем. Я жду. Вот-вот, сейчас он придет вместе с рассветом. Появится передо мной, как эта утренняя заря...»

Но эта «незавершенность» созвучна всей лирически-приподнятой атмосфере повествования о человеке, прошедшем дорогами войны, познавшем счастье труда, любви и утрат, с широким и трезвым взглядом на жизнь, на свое место хозяина страны.

Но тут важно, на мой взгляд, сделать такую оговорку. Между героями повестей 20 — 30 — 40-х годов и Гадельбаем Коросбаевым лежит война и послевоенное десятилетие. Если на войне советский человек успел вновь ощутить себя творцом истории страны, то в 40 — 50-е годы он вновь был водворен на место «винтика», что и отразилось на характере героев бесконфликтных повестей и романов-кирпичей с «незначительными, легко преодолеваемыми недостатками в нашей прекрасной жизни». Но это — уже новая страница в развитии башкирской повести и новые ступени трудного восхождения героя к правде.

РАИФ АМИРОВ



СОДЕРЖАНИЕ

Мажит Гафури	
Черноликие. <i>Перевод А. Борщаговского</i>	3
Даут Юлтый	
Алима, или Свадьба старика Мырдаша. <i>Перевод С. Матюшина</i> . . .	83
Али Карнай	
Мы вернемся. <i>Перевод Г. Соловьева</i>	139
Гайнан Хайри	
Комната* ¹ . <i>Перевод И. Каримова</i>	229
Хадия Давлетшина	
Айбика. <i>Перевод Р. Ахмедова</i>	253
Сагит Агиш	
Как по маслу...* <i>Перевод И. Каримова</i>	307
Имай Насыри	
Побежденный омут. <i>Перевод В. Василевского</i>	339
Кирей Мэргэн	
Беспокойное лето. <i>Перевод Л. Куликовой</i>	443
Зайнаб Бишиева	
Станный человек. <i>Перевод Е. Корнеевой (редактор Т. Мирзоян)</i>	519
Р. Амиров. Трудное восхождение. Послесловие	575

¹ Произведения, отмеченные звездочкой: © Перевод на русский язык. Издательство «Современник», 1989.

Литературно-художественное издание

СТУПЕНИ ЖИЗНИ

Повести

**Составители АМИРОВ Раиф Кадимович,
КАРИМОВ Ильгиз Мустафович**

Редактор **Е. И. Корнеева**

Художник **Ю. А. Боярский**

Художественный редактор **О. Г. Червцова**

Технический редактор **Н. В. Ганина**

Корректоры **Г. А. Голубкова, А. А. Володина**

ИБ № 5449

Сдано в набор 20.02.89. Подписано к печати 28.09.89. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура Таймс. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,08. Уч.-изд. л. 34,94. Тираж 100 000 экз. Заказ 311. Цена 2 р. 90 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

—Cincinnati—

БИБЛИОТЕКА ЛИТЕРАТУР НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ

СТУПЕНИ ЖИЗНИ

СТУПЕНИ
ЖИЗНИ